SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мемуары Федора Степуна (1884-1965) принадлежат к вершинным образцам жанра в русской литературе XX века. Человек необычайно разнообразной одаренности и бурной судьбы – философ, критик, журналист, театральный режиссер, романист, русский офицер периода Первой Мировой войны, политический деятель, член Временного правительства, наконец, эмигрант и прославленный профессор, возглавлявший много лет кафедру истории русской культуры Мюнхенского университета, – Степун запечатлел в своих мемуарах широкую панораму русского духовного Ренессанса начала XX века.

- Федор Августович Степун
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Том 1
  - Глава II ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. МОСКВА
  - Глава III ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ• КОЛОМНА. КЛЕМЕНТЬЕВО
  - Глава IV ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ Гейдельбергский университет. Прусские поместья.
  - Глава V ЖЕНИТЬБА. СМЕРТЬ ЖЕНЫ. ШВЕЙЦАРИЯ. ФРАНЦИЯ. ИТАЛИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ
  - Глава VI РОССИЯ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЗАГРАНИЦЫ
  - Глава VII РОССИЯ НАКАНУНЕ 1914 ГОДА
  - Глава VIII ВОЙНА 1914-ГО ГОДА
  - Том 2
  - Глава II ОКТЯБРЬ

Федор Августович Степун

Бывшее и несбывшееся

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Бывшее и несбывшееся» не только воспоминания, не только рассказ о бывшем, пережитом, но и раздумье о том, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло», раздумье о несбывшемся. Эта философская, в широком смысле слова даже научная сторона моей книги, представляется мне не менее важной, чем повествовательная. Я писал и как беллетрист, не чуждый лирического волнения, и как философ, как социолог и даже как политик, не замечая вполне естественных для меня переходов из одной области в другую.

Близкий по своим философским взглядам славя-нофильски-Соловьевскому учению о положительном всеединстве, как о высшем предмете познания, я попытался подойти к нему в методе положительного всеединства всех методов познания. Врагами моей работы, с которыми я сознательно боролся, были: идеологическая узость, публицистическая заносчивость и эстетически-аморфное приблизительное писательство.

«Воспоминанья нежной грустью меня в чело целуют». По опыту знаю, до чего губительны эти поцелуи. Пристрастные к прошлому и несправедливые к настоящему, воспоминания неизбежно разлагают душу сентиментальной мечтательностью и ввергают мысль в реакционное окаменение. Будем откровенны, и того и другого все еще много в редеющих рядах старой эмиграции.

Новая эмиграция нашими недугами не страдает.

Ее опасность скорее в обратном, в полном отсутствии пленительных воспоминаний. Соблазнять людей, родившихся под красною звездой, образами затонувшей России – дело столь же безнадежное, сколь и неправильное. Ведь мы и о грешных сторонах нашей жизни вспоминаем с умилением:

И тройка у крыльца и слуги на пороге…

Общих воспоминаний у нас быть не может, но у нас и может и должна быть общая память.

Ты, память, муз вскормившая, свята, Тебя зову, но не воспоминанья.

В противоположность туманно трепетным воспоминаниям, светлая память чтит и любит в прошлом не то, что в нем было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, не ожило: его завещание грядущим дням и поколениям. В противоположность воспоминаниям, память со временем не спорит; она не тоскует о его безвозвратно-ушедшем счастьи, так как она несет его непреходящую правду в себе.

Воспоминания – это романтика, лирика. Память же, анамнезис Платона и вечная память панихиды, это, говоря философским языком, онтология, а религиозно-церковным – литургия.

Вдумчиво и критически вспоминать прошлое – не значит его исследовать. Воспоминания современников не научные работы, а лишь материал для работы будущих историков. Несмотря на таковую мою точку зрения, я прочел почти все мемуары почти всех главных деятелей Февраля и ряд русских и иностранных работ о революции, что видно и из текста моей книги.

Кое-какие внешние пробелы памяти были мною, на основании этого чтения, восстановлены. Но восстанавливая, ради цельности картины, забытое, я никогда не изменял твердо запомнившегося и не ретушировал, на основании чужих мнений, своих оценок людей и событий.

В заключение просьба к читателю: не упускать из виду датировки отдельных частей моих воспоминаний.

Федор Степун

Том 1

Глава I ДЕТСТВО. ДЕРЕВНЯ

На высоком берегу, впадающей в Угру Шани, трудолюбиво обслуживающей турбины писчебумажной фабрики, стоит построенный покоем и выкрашенный в желтый цвет просторный двухэтажный дом. Против главного подъезда, за традиционным кругом акации, красуется гордость губернии, построенная, согласно местному преданию, по проекту Растрелли, небольшая церковь. С северо-востока ее охватывает тихий мир прицерковного погоста: деревянные покосившиеся кресты среди густых кустов сирени и жасмина, а в дальнем углу, где из-за кирпичной стены в дождливую погоду хозяйственно попахивает навоз-цем – крапива да лопух.

На конном дворе стоят до шестидесяти лошадей. Те, что помельче, – прилежно работают в доходном прифабричном имении: лесопилка, кирпичный завод, торфяные болота. Громадные же битюги, мерно мотая под тяжелыми дугами, чуть ли не аршинными головами, изо дня в день шагают по ведущему в Москву шоссе, доставляя на Николаевский вокзал тяжелые тюки высококачественной бумаги, главным образом, бристольского картона для игральных карт.

Отец – главный директор известных на всю Россию писчебумажных фабрик. Мы занимаем прекрасную служебную квартиру в десять комнат. Помню зеленовато-коричневый полумрак отцовского кабинета, лунный свет маминой мягкой гостиной, обтянутой го

лубым шелком, душистый утренний воздух в открытых окнах наших больших детских и всегда залитой золотым солнцем – вероятно царственный обман благодарной памяти – двусветный зал в цветах и растениях, с двумя высокими стеклянными дверьми, выходящими на охватывающий весь фасад дома балкон. Когда однажды, похожий на факира, «артист эксцентрик, мелодекламатор и гримо-мимико-портретист», как значилось на афише, «проездом в Москву и Петербург» давал на фабрике свое «гала-представление», на балконе с легкостью разместились все служащие фабрики со своими чадами и домочадцами. Под балконом, с которого летом бывало так весело смотреть на разбросанные по зеленому газону яркие цветочные орнаменты, темнел вход в сырую, пахнущую землею, оранжерею с

таинственно-страшноватой витой лестницей, по которой мы с братом пробирались в биллиардную, затейливую комнату с камином, очень высокими кожаными диванами вдоль стен и киями в особых стойках. Иной раз здесь разгорались настоящие страсти, и нам с братом бывало очень занятно наблюдать, как кто-нибудь из заезжих игроков, выбросив вперед руку и по-птичьему вытянув назад ногу, звонким ударом загонял шар в лузу.

Отец по всему складу своей души и по всем своим интересам не был ни инженером, ни коммерсантом, а случайно не состоявшимся естествоиспытателем. Больше всего в жизни он любил сельское хозяйство и охоту. На заднем дворе за парком у него под надзором странного человека, которого мы все почему-то звали азиатом, размеренно жили своею профессионально-спортивною жизнью около тридцати охотничьих собак. Тут были: грудастые, как боксеры, черные, с круглыми желтыми бровями и подпалинами гончие, плоскоголовые, с изогнутыми хребтами дегенеративно-аристократические борзые и, мои любимцы, женственно-печальноокие сеттера с длинною шелковистою шерстью. Шумные охотничьи рассказы отца и его знакомых о том, как старая борзая справляется , одна с «матерым» волком, приводили нас с братом

в большой восторг. Надо ли говорить, что, наслушавшись таких рассказов, мы в отсутствии отца частенько забегали в его устланный волчьими шкурами кабинет, лихо «седлали» подбитых зеленым сукном «матерых» и, схватив левою рукою волчьи загривки, беспощадно прокалывали деревянными кинжалами слегка пахнувшие нафталином сердца наших жертв…

Лучшая пора деревенской жизни – лето. Какое было неописуемое счастье выскочить рано поутру из постели, быстро одеться, быстро напиться чаю и вприпрыжку пронестись по саду, по парку, заглянуть на птичий двор, где, наливая кровью свои лысые генеральские черепа и подбородки, забавно чванились индейские петухи, нервно подергивали своими кокетливо-миниатюрными головками почему-то по-вдовьи одетые Господом Богом цесарки и, истошным криком предупреждая мир о какой-то им одним ведомой опасности, смешным пешим лётом внезапно сносились к тинистому пруду гуси. Какое было счастье после птичьего заглянуть на скотный двор, где рационально кормились и доились соловые сементалки и чернопегие холмогорки – странные существа с задумчиво устремленными вдаль бессмысленными глазами – и где взволнованно хрюкали, чавкали и повизгивали йоркширские свиньи и борова, породистые соотечественники основателя фабрики, висло-щекого, тупоносого,

но все же весьма благообразного англичанина, большой портрет которого висел над письменным столом отца в фабричной конторе…

В России даже по мелочам запад непременно окажется рядом с востоком: перемахнув через забор, мы с братом уже сидим на крыльце у татарина-кумысника, которого вместе с тремя ребрастыми кобылами отец ежегодно «за гроши» выписывал на лето, свято веря

в целительную силу остро-кисловатого напитка. Отведенная под татарское жилье и производство изба стояла недалеко от прачечной, у открытого окна которой, цыганистая красавица Груня, веселая и голосистая женщина, целыми днями крахмалила и гладила дамские наряды. Нежно колеблемые утренним ветром, они на длинных шестах-вешалках ежедневно проплывали разноцветными облаками в большой барский дом. У нас каждое лето съезжалось много гостей. Труд, по городским понятиям, в деревне даровой. Вот и гофрировала Груня, не разгибая спины, кружевные жабо, кофточки и платья, чтобы через день, другой снова бросить их в корыто с мыльной водой. Боюсь, не громила ли в революцию милая Груня, голос которой я подростком так любил слушать в саду на вечерней заре, наше Кондрово. Если и громила, кто осудит ее? В течение всей нашей деревенской жизни никто ни разу не задумался над смыслом ее стояния у открытого окна, не пожалел ее поистине сизифовой работы и ее прекрасного, быть может, оперного голоса.

Время летит. Нам надо поспеть еще в самый дальний угол парка, где помещается, с трудом переносимое матерью, любимое детище отца – «вонючий» зверинец. В крепко слаженных и, как в заправском зоологическом саду, обставленных деревьями, пнями, камнями и колесами клетках сидят, лежат, кружатся, скучают и волнуются волчата, лисицы, куницы, хорьки, белки, ежи, ястреба, совы и всякая иная лесная и полевая живность и нечисть средней полосы России. Особую брезгливость мать испытывала к непрерывной, хвостатой суетне всевозможных крыс, мышей, змей и ужей.

Долго заглядываться на все это зверье нам с братом, впрочем, не приходится. Ровно в восемь мы верхом выезжаем навстречу нашему учителю, Ивану Васильевичу Власову, очень еще молодому человеку с ласково-застенчивой улыбкой, с ласково светящимися глазами и с непослушною пепельною кудрей над левой бровью. Мама, очень серьезно относящаяся к своим обязанностям попечительницы народной школы, заведывать которой, не без ее влияния, был с год тому назад приглашен молодой учитель, упорно отстаивает его, как «искреннего

идеалиста», и, главное, как «убежденного народника». Мы с братом, конечно, без ума от этого тайного революционера. Его преподавание русского языка и истории, живое и интересное, совсем не похоже на прекрасно продуманные, но несколько педантичные уроки немецкого и французского языков нашей гувернантки, фрейлейн Штраус, в распоряжение которой мы поступаем к 11-ти часам утра, после того, как в перерыве сбегаем поздороваться с мамой, пьющей в это время утренний чай на задней тенистой террасе и совещающейся с Афимьей, что готовить на вечер и к завтрашнему обеду. «Как скучно, – иной раз жалуется мама, – каждый день выдумывать, что готовить, а Афимья, у которой много усердия, но никакой фантазии, никогда не предложит ничего нового: все битки да беф Строганов, блинчики да шпанский ветер» (Шпанским ветром называлось у нас безэ со сбитыми сливками).

«Красный» Иван Васильевич и буржуазно-сноби-стическая англо-германка Штраус, в своей молодости изучавшая педагогику в Швейцарии, так упорно трудятся над нашим обучением, потому что мама очень боится, как бы мы не провалились на приемном экзамене в первый класс реального училища (отец твердо высказался против классического образования). Что нам с братом, хотя мы довольно способные и вовсе не ленивые дети, учиться жарким веселым летом нет никакой охоты – ясно. Мы и не очень стараемся; мама иной раз приходит в отчаяние, но втайне нам сочувствует и, пугая провалом, последнего дошкольного лета прекрасного нашего детства, слава Богу, не портит. А прекрасным оно поистине было, наше благоуханное, наше благословенное, щедрое деревенское детство.

Не сорвись русская жизнь со своих корней, не вскипи она на весь мир смрадными пучинами своего вдохновенного окаянства, в памяти остались бы одни райские видения. Но Русь сорвалась, вскипела, «взвихрилась». В ее злой беде много и нашей вины перед ней. Кто это совестью понял, тому уже не найти больше в прошлом ничем не омраченных воспоминаний.

В блужданиях по далям прошлого человеку ведомы совершенно такие же подъемы на вершины, как и в его странствиях по земным просторам. С такой вершины моей памяти мир нашего деревенского детства видится мне неохватной ширью и далью небес, полей, рек, лесов, снегов, дождей… Всего этого несравненно больше, чем комнат, людей, учебы и чтения. Много только еще музыки, главным образом, пения. Поет мама и ее, часто гостящая у нас, подруга. Прошлое почти всегда живет борьбою с настоящим. Не оттого ли, что в большевистской России был очень скоро запрещен церковный звон, небесные своды моего

детства вспоминаются мне в непрерывном благовесте нашей Кондровской колокольни.

Зимой, когда заваленная снегом деревня бывала так благостно тиха, мощные, гулкие волны колокольного звона с такою силою врывались в приоткрытую форточку, что, казалось, звонят не на колокольне, а в доме, прямо тебе в ухо. Летом, при открытых окнах, звон как-то меньше замечался, отлетал, расплывался по миру.

В Троицын и Спасов день, на Воздвиженье – нарядная, пахнущая дегтем, деревянным маслом, кумачом и махоркой толпа заливала не только церковный задний, но и барский двор. И до и после службы я верчусь у коновязи. Из-под моих ног то и дело вспархивают задорно-веселые, драчливые воробьи.

Влюбленный во всех лошадей, я раздаю им кусочки сахару и чувствую, как непередаваемо мягки и нежны их теплые, морщинистые губы, как бесконечно кротки и печальны их милые глаза над ветхою ряди-ною навешанных торб.

Шестое августа – яблочный Спас – в деревне большой праздник. На весь мир пахнет скороспелой грушевкой. В соседнем саду штабс-капитанской вдовы Жучихи, сдаваемом в аренду, в этот день идет особо упорная борьба между вооруженным шалашом и шустрой, босоногой партизанщиной. У садовой калитки не умолкает разноголосый стон: «Дяденька, дай яблочко».

В церкви идет служба. Райски-сладостный, земной аромат яблока сливается с пряным духом ладана. Не только душой, но и всем своим телесным составом ощущаешь, как земля возносится на небо, а небо нисходит на землю. Кажется, никто еще не выразил того, христиански-плотяного, домашне-хозяйственного ощущения; Божьей земли, без которого немыслима никакая деревенская жизнь, ни помещичья, ни крестьянская, с такою краткостью и полнотою, как подлинный сын трудового, православного мира и выдуманный эпохою и самим собою коммунист Есенин, в своей имеславски-литургической строке: «Пухнет Божье имя в животе овцы». Есенин, – т. е. себя самое непонявшая крестьянская Россия – очень большая и сложная тема и о ней речь еще впереди. Пока же вернемся под своды моего родного калужского неба. Право, оно не было столь скучно однообразным, как то неизбежно утверждали просвещенные ценители западно-европейских курортов.

Знойными летними днями над красножелтою гладью необъятных ржаных полей, а равно и зимними морозными утрами, когда наши ковровые сани быстро неслись среди голубых на солнце снегов, оно бывало таким же ликующе-синим, как на

счастливой итальян

ской Ривьере. Слова предсмертной записки застрелившегося в Марселе эмигранта: «а в Туле небо было ярче» не такое уже преувеличение, в особенности если принять во внимание преображающую силу тоскующей памяти.

Совсем иным бывало оно по осени. Все чаще вспоминая его исполненные светлой, Пушкинской печали голубые своды, под которыми в моей душе родилось и выросло все святое, чем я сейчас живу и с чем сойду в могилу, я вполне понимаю, как в юной, но и древней душе Бунинского Арсеньева могла вырасти любовь к готике и к звуку органа.

Эти высокие и все же скромные, сентябрьские дни (колодезная ли бадья на деревне ударится о стенку сруба, яблоко ли в конце сада сорвется с ветки – все слышно) постепенно сменялись совсем иными, поздне осенними, хмурыми днями. Кто из нас, выросших в деревне, не знает томящей скуки этих быстро меркнущих дней? Клочковатое, свинцовое небо низко нависает над почерневшею соломою изб и сараев. Перед надворными службами рябят огромные непро-сыхающие лужи, через которые с трудом перепрыгивают мужичьи сапоги. Бабы, обмотанные всяким старьем, с коченеющими от холода лиловыми руками, до-рубливают под навесом капусту. За оконными рамами, еще ординарными, и в печных трубах отчаянно воет ветер. То затихающий, то снова принимающийся лить дождь уныло барабанит по стеклам классной комнаты и по нервам фрейлейн Штраус. Она не знает, куда деваться от русской скуки, а мы не знаем, куда деваться от ее европейских нервов.

Так в быстром лёте дней, от первой весенней капели до первой зимней пороши, от первой выставляемой рамы, с «протарарыкиванием» по шоссе телег, до первой вставляемой, с протапливанием слегка дымящих печей, протекает наша детская жизнь. Какая бы ни стояла на дворе погода, у нас на душе всег да солнечно. Ссоры с братьями и сестрами, слезы, болезни, назидания фрейлейн Штраус и мамины огорчения нашими шалостями – всего этого, о чем я знаю, мне с вершины моей памяти не видно.

Если я сейчас сяду в то кресло моей комнаты, в котором я никогда не пишу и не читаю, а лишь «пролетаю в поля умереть», и привычным движением души наложу на диск моей памяти не стирающуюся от времени пластинку с золотой надписью «детство», то перед моими глазами поплывут одна за другой райские картины той жизни, за которую ныне так страшно расплачивается Россия. Часто думаю: за что и ради чего спасла меня от этой расплаты судьба…

По зеленой обочине екатерининского большака, под низко свисающими ветвями уже загрустивших желтизною берез, мягко катится глубокая коляска на резиновом ходу. Я сижу на откидной скамейке. Против меня мама, в наглухо застегнутом сером шелковом пальто, а рядом с нею молодая женщина в желтом платье и черной накидке без шляпы – жена недавно поступившего на фабрику инженера Филатова. Она оживленно разговаривает с мамой; ее грустные карие глаза блестят неестественным блеском, на ее несколько широкоскулом лице горят пятна румянца, а влажные губы то и дело горячо открываются над ровными, белыми зубами. Я чувствую, что вокруг новой маминой подруги кружится какая-то грустная тайна, которую я невольно связываю с непонятным мне словом «туберкулез», как-то брошенным взрослыми во время разговора о Филатовых. Особенно нравится мне, что Филатову зовут необыкновенным именем – Любовь Мильевна. Она, действительно, очень мила и я ее как-то по-особенному люблю, совсем иначе, чем маму.

Позади коляски, играя нервными ушами и гневно разбрызгивая пену с мундштука, взволнованно идет вороной жеребец Падишах; над его головою ритмически приподымается и опускается мощная, плотная, но изящная фигура всадника в светлой фетровой шляпе и светло-желтых перчатках. И лошадь и всадник как-то не по-русски нарядны и картинны. Это красуется старший инженер фабрики, балтиец с польской фамилией – Леппевич.

С большака коляска сворачивает на пыльный проселок, мягко вьющийся между скошенным лугом и ветхим забором полуразрушенной усадьбы. Над поломанными зубьями забора кое-где свисают золотые подсолнухи и огненно-пышные георгины. Я вижу, как всадник галопом подскакивает к забору, срывает несколько цветков и, догнав нас, ловко бросает их на синий фартук коляски. Перепрыгнув придорожную канавку, он через секунду гарцует по лугу. Не переставая разговаривать с Любовью Мильевной, мама через свое правое плечо смотрит на поляну и ее прекрасные, серые глаза рассеянно улыбаются дали. Во мне подымается какое-то странное, мне непонятное чувство: дети очень ревнивы.

На довольно большом расстоянии от коляски – чтобы не глотать пыли – прилежно поспевает ровною рысцою, запряженная в тяжелую охотничью линейку, папина тройка неказистых, но очень выносливых сибирячков. На линейке, кроме отца, сидят мамина двоюродная сестра Машенька, влюбчивая, восторженная девушка, только что окончившая консерваторию и обожающая по вечерам, в особенности при луне, то «бравурить» в зале

рапсодиями Листа, то вздыхать ноктюрнами Шопена. Филатов – сырой, крупный человек в круглых очках на мясистом носу (его внешность у меня впоследствии нерасторжимо слилась с внешностью Пьера Безухова), Иван Васильевич со своею врагинею, фрейлейн Штраус, брат, по прозвищу Липочка, и гончий кобель Догоняй.

Почему как-то внезапно оживилась помещичья жизнь на берегах Угры и Шани, почему чуть ли не каждую неделю, чаще всего по субботам и воскресеньям, в живописные места уезда стали съезжаться линейки и коляски под «дарвалданье» (в такой, к слову сказать, очень убедительный глагол слились у меня в детстве слова известной песни: «И колокольчик, дар Валдая, запел уныло под дугой») колокольчиков и бубенцов, я сказать не могу. Думаю, что главную роль в этом подъеме жизни сыграла мама, сумевшая объединить вокруг себя своей артистичностью и музыкальностью всех наиболее интеллигентных служащих фабрики и перезнакомившая их с прозябавшими по своим углам помещичьими семьями. Московские гости, которых всегда много съезжалось к нам на лето и осень, играли в этом большую роль, казались многим провинциалам чем-то особенно интересным и поэтичным.

Естественно, что среди этой молодой компании быстро расцвела та атмосфера подсознательной перекрестной влюбленности, которая, волнуя тоскующие души, не обременяет супружеской совести. А где же вольнее и слаще аукается, чего-то небывалого ждущим от жизни сердцам, как не в благоуханно-теплом, медленно темнеющем лесу, на опушке которого, в густом надречном кустарнике, по веснам щелкают соловьи, эти невзрачные герои лунных сказок жизни, летом зазывают в даль бездомные кукушки, а осенью своими жуткими воплями пугают сычи…

Наезжали в Шаняновский лес самые разные люди: старозаветные борзятники Мажаровы, с девятнадцатилетней дочкой Женей, часами ожидавшей у окна своей «светелки», не замрет ли за рекой у парома колокольчик, не свернет ли кто на дорогу в Мажарово, развеять сон и скуку отчего дома, где повар в белом колпаке готовит рубленные котлеты иной раз с тараканами; печальный вдовец Крашенинников, холеный, чистенький, неизменно одетый в синий костюм, морской офицер в отставке, со своею дочерью Анечкой,

петербургской курсисткой, увлекавшейся, как я впоследствии узнал, Марксом и Бодлером и заплатившей за пророческий склад своей души тяжелым душевным недугом, приведшим ее, очаровательную двадцатилетнюю девушку, боготворимую отцом

наследницу благоустроенного имения, к самовольному уходу из жизни. Помню, как заплаканная мама передавала кому-то последние слова ее письма к отцу: «Для себя жить не стоит, а жить для других не умею».

Непременной участницей всех пикников и деревенских развлечений, вплоть до больших псовых охот, была Мария Николаевна Чертова, жгучая, плосколицая брюнетка с испанским гребнем в высокой, туго закрученной прическе. Дама эта обладала огромным низким альтом, разносившимся с линейки, с поистине иерихонской зычностью. С ней был неразлучен, с году на год все более нищавший помещик, с комической наружностью курносого дон-Кихота: большие усы, эспаньолка и грустный взор мутных, вопрошающих глаз. Этот гидальго Медынского уезда был страстным любителем картежной игры. Когда у нас раскрывались зеленые столы, он первым садился за карты и быстро тасуя их неизменно напевал прокуренным баском: «Собирайтесь, игроки, вынимайте кошельки». Кончил он плохо. Проиграв все, что было за душой, он обменял последнюю, давно уже рыскавшую по крестьянским дворам, борзую на каравай хлеба и с этим караваем под мышкой легкой походкой вышел за ворота своей заложенной и перезаложенной усадьбы. Как можно было в России девяностых годов дойти до такого конца – непонятно. Не то преступная безответственность, не то святая беспечность.

Теплый августовский вечер. Иван Васильевич старательно затаптывает костер, к которому весь вечер таскал хворост и можжевельник. Фрейлейн Штраус тщательно скатывает плэд «шотелэн экоссе», явно недовольная тем, что мы опять поздно ляжем спать.

Макушки сосен все гуще наливаются вечерним сумраком. В фонарях маминой коляски уже зажжены толстые стеариновые свечи. В сущности они ни к чему, но мамин кучер Яков, выписанный из Москвы, очень любит достижения цивилизации. Вокруг фонарей глубокий мрак. Из его глубины, как будто бы откуда-то издали, под тихие переборы гитары доносятся задумчиво-печальные женские голоса. Поют мама и Любовь Мильевна. Эта песнь об отливе: «В отлива час не верь измене моря» вызывает в моем сердце бурный прилив каких-то сладостно-щемящих чувств.

Сборы окончены. Под колесами трещат сучья, экипажи медленно выезжают на проселок и сворачивают на шоссе, по которому в этот поздний, для деревни уже ночной час (по холоду лошадям легче) тянутся нагруженные зашитою в рогожу бумагою, ломовые полки. Ломовики поспешно сдергивают картузы и, хватая битюгов под уздцы, безо всякой на то надобности, ради

одного только почтения, круто сворачивают на обочину. Вот последняя, перед ярко освещенными фабричными корпусами (работают в две смены) деревня. Уже давно спит она крепким праведным сном. Лишь где-то вдали, за околицей, наяривает полупьяная фабричная гармоника. Встречаемые и провожаемые собачьим брехом (впереди верхом Леппевич, за ним коляска, линейка и шарабан, в котором Марья Николаевна со своим поклонником едут к нам ночевать), мы с грохотом, звоном и песнями несемся сквозь тихую, темную ночь.

Четкий топот копыт по деревянному настилу плотины. Лихой взлет в гору к освещенному крыльцу. У крыльца нас уже ждет молодая расторопная горничная Лиза и вечно хмурый, в серой тужурке лакей Николай, к христианскому имени которого почему-то всеми нами прибавлялось цирковое «рыжий», хотя Николай, по цвету своих, не слишком обильных во лос вокруг ранней лысины, был скорее блондином, чем рыжим.

По приезде домой мы с братом сразу же идем спать. Лежа в постели, мы еще долго прислушиваемся к доносящемуся из зала веселому шуму. К нему же прислушивается сквозь запретный сон и дремлющий на стуле в буфетной Николай-рыжий, то и дело по звонку бегающий на кухню и в подвал подогреть самовар, принести бутылку вина.

Ни отец, ни мать не были, да и по своему происхождению и воспитанию не могли быть крепостниками. Больше того, они были определенно гуманными людьми, искренне желавшими как можно лучше устроить фабричных рабочих и домашнюю прислугу. Мать даже любила подчеркивать, что она родилась в год освобождения крестьян: в связи со своим положением на фабрике, она видела в этом обстоятельстве какое-то особое, возложенное на нее обязательство. Поэтому она не только покровительствовала идеалисту и народнику Власову, не только подолгу беседовала о народном воспитании с молодым священником, сменившим упитанного отца Никанора, имевшего от природы гораздо больше склонности к медицине, чем к богословию (в холерный год он успешно лечил мужиков баклановкой, т. е. водкой с перцем), но и сама всегда ходатайствовала за рабочих перед фабричной администрацией, т. е., главным образом, перед отцом. Хорошо помню неописуемое волнение, которое поднялось у нас в доме, когда заведующий «упаковочной» заставил «девок» мыть пол в Страстную субботу после свистка. Маминому возмущению не было конца. В бурной словесной схватке с отцом она не без труда добилась отмены распоряжения. Того же Николая она взяла в дом, чтобы помочь «рыжему» справиться с нанесенным ему в соседнем поместьи

«оскорблением действием». Не думаю, чтобы доброе мамино намерение было по заслугам оце

нено Николаем. Маминого положения, что человека ни при каких условиях нельзя бить по лицу, он не разделял (сам дрался) и потому большой разницы между горячей помещицей, ударившей его за «снулую» физиономию, и мамой, пытавшейся разбудить в нем «человека» и дававшей ему понять, что с его недопустимо-сонной физиономией ни до чего в жизни не дойти, вероятно не чувствовал, тем более, что на самом деле он вовсе не был тем снулым судаком, за которого его все принимали. Впоследствии выясни-лесь, что, сидя на табуретке в буфетной, Николай вовсе не дремал, а мечтал: строил грандиозные для деревенского лакея планы. Всеми осмеянный «рыжий» вышел в большие люди. Одетый в великолепный сюртук и при золотых часах, он, в 1915-м году, угощал меня и еще двух молодых поручиков, возвращавшихся из лазарета на фронт, замечательным обедом. Это было в Клину. Кроме Клина, Николай держал вокзальный буфет первого и второго классов не то в Павловске, не то в Гатчине.

Мамина недооценка Николая показательна. Уверен, что она ошибалась по всей линии своего отношения к народу и дело тут было, конечно, не в ней лично, а во всем складе социальных взаимоотношений в дореволюционной России. Злосчастность этих отношений была не в том, что господа не любили народа, а в том, что они его не знали. Чувство какой-то неловкости от маминых отношений с простолюдинами во мне осталось еще до сих пор. Мне шел, вероятно, уже двенадцатый год, когда в так называемой «зеленой гостиной», происходило запомнившееся мне таинственное заседание, нечто вроде суда чести над маминою горничною Лизою, миловидною, изящною девушкою, незаконною, как я впоследствии узнал, дочерью большого петербургского барина. (Вопрос о незаконных детях, о гневной и нервной барской крови в жилах русских крестьян, лишь мимоходом затронутый Бу

ниным в его «Суходоле», представляется мне, к слову сказать, как социологически, так и психологически, очень интересною темою большевистского бунта). С тревожно замирающим, бессознательно уже тянувшимся к тайне девичьего греха сердцем, ходил я, помнится, по полутемному коридору, прислушиваясь к голосам за дверью. Мама говорила много и очень взволнованно, Лиза все только всхлипывала, изредка слышались взвизги резкого голоса неизвестной мне женщины полупочтенного вида в кружевной накидке, очевидно, матери провинциального дон-Жуана, похитителя Лизиного сердца, а может быть и чести.

Когда дверь распахнулась, первою вышла мама, в утреннем

турецком капоте – расстроенная и почти вдохновенная. Ее полная с тонким запястьем рука дружески лежала на вздрагивающих от сдерживаемых рыданий Лизиных плечах. Лизины родители, кучер Дормидонт с женою как-то безразлично шли сзади. Прощаясь, они покорно благодарили маму, кланялись, целовали руку, но в их простых и все же непроницаемых лицах чувствовалось молчаливое осуждение всего того, чему они были свидетелями, вероятно такое же, с каким крестьяне Ясной Поляны подчас смотрели на «блажь» Толстовского паханья. Иначе, впрочем, и быть не могло, так как отмененное 35 лет тому назад крепостное право фактически продолжало господствовать в том, помещичьи-фабричном укладе жизни, который, вероятно, и я до конца своих дней продолжал бы считать патриархальным раем, если бы не война и революция, не годы окопной, а затем и трудовой деревенской жизни вплотную с простым русским народом.

Нет сомнения: ни за царем, ни за дореформенным помещиком русский народ не был закреплен такою проклятою, кровавою крепью, как за Лениным и Сталиным. Тем не менее – ив этот величайший упрек всем нам, не отстоявшим России от большевиков -

«Октябрь» войдет в историю существеннейшим этапом на пути окончательного раскрепощения русского народа. Я знаю до чего трудно согласиться с этою мыслью, высказывая ее, я чувствую, как сердце еще на конце пера сопротивляется ее начертанию. Тем не менее я уверен, не согласившись с моею парадоксальною мыслью, невозможно хотя бы в общих чертах представить себе будущего облика России. Одна черта этой России кажется мне несомненной: какой бы в ней ни выкристаллизовался политический строй, какой бы в ней ни сложился социальный и хозяйственный уклад, того старого, дореволюционного народа, который людьми привилегированных классов и, в особенности, помещиками в гораздо большей степени ощущался каким-то природно-народным пейзажем, чем естественным расширением человеческой семьи, (о своих крестьянах наши помещики-эмигранты чаще всего вспоминают с совершенно такою же нежностью, как о березках у балкона и стуке молотилки за прудом) больше не будет. Из человеконенавистнической, большевистской революции народ выйдет окончательно очеловечившейся стихией. Разница между людьми высших классов и многомиллионным массивом народа исчезнет.

Благодаря этому, русская жизнь во многих отношениях станет лучше и справедливее, но какою-то своею таинственною красотою она оскудеет. С исчезновением народа, как стихии,

неизбежно изменится и то русское чувство природы, то утонченное осязание ее одухотворенной плоти, ее космической души, которым так значительно русское искусство. У современных европейцев его уже нет, и нет, конечно, потому, что в наиболее цивилизованных странах Европы народ уже давно как бы расхищен по отдельным индивидуальностям. Французский и немецкий народы это прежде всего – люди, – русский, дореволюционный, главным образом, крестьянский народ – это

еще земля. Мне думается, что особая одухотворенность, хочется сказать, человечность русской природы, есть лишь обратная сторона природное™ русского народа, его глубокой связанности с землей. Очевидность этой мысли бросается в глаза уже чисто внешне: в Европе, в особенности во всех передовых странах, лицо земли в гораздо большей степени определено цивилизованными усилиями человеческих ума и воли, чем первозданными стихиями природы. Русская же дореволюционная деревня была еще всецело природной: жилье – бревно да солома, заборы – слеги да хворост, одежда – лен да овчина, дороги, за исключением редких шоссе, не проложены, а наезжены. А за этим, цивилизацией еще не разбуженным миром, подобный коллективному «дяде Ерош-ке» – тот русский народ, на котором держалась наша единственная по вольности своего дыхания, во многом, конечно, грешная, но все же и прекрасная жизнь.

Жизнь эта убита, ей никогда не воскреснуть. В России, быть может, возможно восстановление пореволюционной монархии, но в ней невозможно восстановление того дореволюционного быта, тоска по которому, что греха таить, с каждым годом все сильнее звучит в душе. Слава Богу, вместе с ней крепнет и тоска по тому русскому народу, который, не ведая что творит и не жалея себя, покончил с этой жизнью и выбросил нас на чужбину. Даже странно как-то: в дни, когда несправедливые глаза отказываются смотреть на приютивший нас западно-европейский мир, передо мною встают не родные лица оставленных близких и друзей, а милые облики родных калужских мест, одни названия которых: Шаня, Шаняны, Шорстово, Кондрово, Ираидово, Угра, – звучат в душе непередаваемой в словах, ворожащей музыкой. Под эту музыку в памяти всплывают целые толпы простого народа, окружающего наш дом, но не сливающегося с людьми, живущими в нем.

Народ – это вечно висящие на задней садовой калитке вихрастые, ноздрястые, быстроглазые ребятишки, неустанно волокущие в барский дом продать за копейку все, что попало: щуку, карася, ежа, ужа, сыча или какую-нибудь, по их мнению, диковинную лягушку. (Все знали, что садовнику было приказано

покупать для зверинца всякую живность).

Народ – это молодые, веселые бабы с певучими голосами, приносящие на кухонное крыльцо то решета душистой земляники, которой почему-то теперь нет во всем мире, то кошелки с белыми отборными грибами.

Народ – это нищенки-побирушки, древние согбенные старухи с огромными мешками через оба плеча, с потухшими слезливыми глазами, с мелко-иссеченной коричневой кожей на жердястых, в пыли и глине ногах.

Народ – это парни и девки в пестрых рубахах и цветистых платках, с громкою заливчатою песнью возвращающиеся с работ на деревню, это серые мерно шагающие за плугом пахари, это полумифические в овчинных тулупах и волчьих шапках «деды Морозы», зябко поспевающие за своими тяжело нагруженными розвальнями.

Народ – это гуськом спускающиеся за мальчишкой поводырем с Масловской горы слепые, которые, закатив к небу свои страшные бельма, ждут у кухонного окна милостыню, оглашая двор гнусавым пением о «Смердящем Лазаре», это говоруньи богомолки, которых поят чаем в буфетной, и «беглые» монахи Тихоновой пустыни, в два счета спроваживаемые со двора няней Сашей, почему-то считавшей эту обитель, в отличие от Оптиной, пристанищем всяких тунеядцев и жуликов.

Из этой природно-народной стихии, расширяя собою мир наших знакомых и прислуги, выделяются несколько отдельных фигур. Они не то, что Иван Ва

лавку, не рессорную коляску, а плетеную тележку на дрожинах…

Как странно и как таинственно-непостижимо, что где-то в далекой, иной раз, кажется, давно уже не существующей России и по сей час, быть может, живут те самые люди моего детского мира, о котором я пишу в Дрездене, смотря на спеющие яблоки за окном и минутами не вполне понимая, какой мне видится сад: наш ли подмосковный, который я в 1919-м году сторожил осенними ночами, вспоминая под улюлюкание взбаламученной деревни райские дали конд-ровских садов, или культурный фруктовый сад, принадлежащий солидному немцу, свято верящему в то, что великий фюрер скоро и в России наведет образцовый немецкий порядок… Но об этом лучше не думать. А потому вернемся к няне Саше.

Самым большим удовольствием нашей няни были ежегодные поездки на ярмарку в Полотняный. Мама этих ярмарок не любила, но нас с Александрой Ивановной отпускала охотно. Перед ярмаркой мы непременно заезжали к нянину

племяннику, еще молодому, чернобородому, но старозаветному купцу в сапогах бутылками и длиннополом черном сюртуке. К чаю с разными угощениями (товар свой) подавались и крепкие наливки. Опрокинув рюмочку, другую, няня брала нас за руку и мы все трое в величайшем волнении спешили на ярмарку.

До сих пор, очень любя народные гулянья, я много шатался по современным, электрофицированным по последнему слову науки парижским, мюнхенским и дрезденским ярмаркам, но того настроения, которое нас с няней охватывало на выселках Полотняного завода, я никогда больше ни в себе, ни в гуляющем народе не находил. В чем тут тайна, кроме тайны детства, сказать не легко, да и не хочется как-то вдаваться в психологию. Скорее всего наши ярмарки веселили душу тою непосредственностью страстей и

чувств, которыми искони была сильна русская земля.

Боже, с какою исступленною яростью, божась и ругаясь, торговали мужики лошадей: несчастные ме-ренки и кобылки, с гиком подхлестываемые не только продавцом и покупателем, но и всеми непрошенными советчиками и праздными зрителями, как ошалелые носились взад и вперед перед сгрудившимся народом, а кругом, как черти, цыгане. Мы о них уже много слышали страшного и тревожного: когда они табором стояли в Шорстове, няня не выходила с маленькой сестрой за калитку сада (детей крадут) и каждый вечер вместе с Николаем проверяла серебро в буфетной. По дороге на ярмарку, сидя на козлах рядом с Дормидонтом, я узнал от него и то, что «черномазые» лошадь насквозь видят, но зато и первые жулики: года на зубах выжигают, брюхо через соломинку надувают, а для прыти под хвостом скипидаром мажут.

На другом конце бабы перед ларьками с ситцем, кумачом, позументами, платками, кружевами, баретками. Купцы задуряют, ловко разжигают нуждою придушенные женские страсти. Александра Ивановна всею душою сочувствует бабам и, вспоминая свою молодость, тут же рассказывает нам, что не купить бывало сил нет, а купить – возвращаться страшно, того гляди муж с пьяна вожжами отхлещет. Я во все глаза смотрю на нее и стараюсь представить себе дикую расправу: как же так – ведь няня такая почтенная и всеми уважаемая женщина.

Меньше народа среди рядами разложенного на соломе гончарного товара, среди возов с яблоками, арбузами, огурцами. Но и тут дым коромыслом: галдят, как воронье по весне. Всяк, кому нужно и не нужно, нагнется к горшку, к крынке обстукать согнутым пальцем – нет ли какого изъяна.

С щегольских кулацких телег, через резные грядки вкусно

сыпятся в большие мещанские мешки гор

кой наложенные меры восковой антоновки. Спело похрустывают у самого уха между мозолистыми ладонями покупателей зеленые арбузы. Мне страшно хочется созорничать: так сдавить арбуз, чтобы треснул, да сил не хватает.

Шумными толпами ходит народ по ярмарке. Больше всего веселится, конечно, молодежь: парни, девки, подростки, ребятишки. Для них прежде всего и крутятся карусели под хриплые, щербатые шарманки. Они же шумными компаниями протискиваются к балаганам посмотреть на человека, пожирающего пламя, на бородатую женщину, на лимонно-желтых морщинистых лилипутов или на борьбу «всемирных чемпионов» – одним словом на все бессмертные «номера» народных гуляний.

Бойко торгует трактир с забавной вывеской «Сбор друзей в березках». Со ступеней его крыльца то и дело неуверенно спускаются под руку подвыпившие парни, у которых все нараспашку: пиджаки, ворота, глаза, глотки и души. Они весело «пужают» девок, которым не страшно, и старательно орут-выводят то грустные, то лихие песельные коленца. На лицах – море по колено. Только ли от выпитого вина? Или и от того доверчивого распаха души, без которого невозможно разливное веселье?

Наевшись вкусных вяземских пряников и совсем не вкусных стручков, попробовав сбитня и квасу, накатавшись на карусели, насмотревшись на все «заморские» чудеса и ужасы, мы собираемся восвояси. Дормидонт строго смотрит с козел и, пока няня Саша заботливо укладывает свои многочисленные узлы в задок пролетки, каким-то не совсем своим, смущенным голосом увещевает лошадей не баловать, хотя они не проявляют к тому никакой склонности: верный признак, что Дормидонт слегка навеселе. Вначале мы едем степенно, не обращая никакого внимания на спешащую мимо нас мелкоту. Но вот сзади под ходит тройка известного задиры, знаменитого медынского барышника. Обгоняя нашу коляску, он весело подзадоривает нас: «ну-ка, хреновские». Дор-мидонт быстро перехватывает вожжи и по широкому большаку, ко всеобщему удовольствию разъезжающейся ярмарки, начинается дикий гон… «Русь, куда мчишься ты?» Неужели только «догнать и перегнать Америку», как то еще до большевиков утверждала либерально-западническая наука: пройдет-де несколько десятков лет и «Россия, догнав Запад, заживет опрятною, богатою, просвещенною жизнью, опомнит › ся и отрезвеет». Дай Бог, но не мало ли нам опрятности и богатства. Не вправе ли мы надеяться, что, освободившись от большевизма, Россия отрезвеет не только деляческою трезвостью буржуазного Запада, но и тою священною

трезвенностью, без которой невозможно просветление темных человеческих страстей. Знаю, надо очень остерегаться беспочвенно-оптимистических утопий, но надо остерегаться и малодуш ного уныния. Без веры в очистительную силу страданий, что переживает сейчас Россия, немыслима и вера в ее спасение.

Первые злые раскаты собиравшейся где-то на далеком горизонте революционной грозы прогремели над нашим тихим провинциальным миром сразу же после коронации Николая П-го. Фабрика отпраздновала это событие с примерною щедростью и в примерном порядке. Мама и Любовь Мильевна сами раздавали заготовленные на длинных столах в нашем саду подарки: по два фунта колбасы, по бутылке водки и по французской булке; женщинам выдавались пряники, орехи и головные платки. О том, выдавать ли водку, поначалу долго совещались. Исправник боялся, как бы не перепились и не начали бы дебоширить.

Победили оптимисты и все обошлось очень мирно. Долго после ярких огней невиданного фейерверка слышалось повсюду малостройное пение, но поутру все во?время встали на работу. Маме очень понравилось это интеллигентски-народное братание и она, помнится, высказывала мысль, что надо было бы повторять (без водки) такие торжества и по более скромным поводам. Через неделю произошло, однако, неожиданное событие, омрачившее праздничные дни. Только что поступивший на фабрику молодой, интеллигентный рабочий, во время разговора с писчебумажным мастером Сироткиным, внезапно набросился на него с кулаками. Разговор у них начался с Ходынки и, очевидно, перешел на политические темы. Рабочего на следующий же день рассчитали за неблагонадежность, но дело все же получило широкую огласку. В 1905-м году Сироткин пал первою жертвою фабричного бунта.

Сын крестьянина, с малолетства увлекавшийся медициной и начавший свою карьеру с должности санитара в фабричной больнице, Сироткин к тридцати годам дослужился до ответственного поста старшего писчебумажного мастера. В целях самообразования, он, кроме книг самого различного содержания, с невероятным упорством каждую свободную минуту читал большую энциклопедию Брокгауза и Эфрона. Ему хотелось, как он любил говорить, охватить хотя бы "a vol cPoiseau" весь мир и науку о нем. Помню его бурные восторги после возвращения с ошеломившей его Парижской выставки. Странно, все ужасы, что всем нам довелось пережить за последние десятилетия, не стерли в моей памяти злосчастного выстрела в спину Сироткина. В его лице интеллигентски-пролетарская революция впервые на моей, по крайней мере, памяти, посягнула на крепкую, даровитую

Ломоносовскую Русь.

Не успели у нас в доме забыть политического

скандала с Сироткиным, как разразилось следующее, гораздо более тяжелое событие. Служивший у нас долго в лакеях болезненный человек с темными, печальными глазами, которого мама рекомендовала в соседнее имение на легкое место – возить в кресле старую барыню – как будто бы ни с того, ни с сего взял да и перерезал бритвою горло своей барыни. Как и почему все это произошло – осталось невыясненным. Еще недавно, вспоминая этот страшный случай, моя мать говорила мне, что ей до некоторой степени понятно, как замученный, болезненный человек может зарезать сварливую старуху, но что ей никогда не понять, как она могла так страшно ошибиться в Сергее, как могла ручаться за него, как за самое себя. «А, впрочем, – прибавила она, смотря на фотографию нашего кондровского дома, – никто не разглядел лакейской бритвы в руках народа, за который боролась и умирала наша интеллигенция. Как это могло случиться?» Да, как? В попытке ответа на этот вопрос заключается, быть может, главный смысл нашей жизни в рассеянии.

Повесть о моем детстве, о детстве, которого больше никому и никогда не пережить в России, – окончена. Не тосковать о нем, как тому учит мудрая строка старинного поэта – я не в силах, но благодарить судьбу за то, что оно мне было даровано, я никогда не перестану. Я говорю с тоскою – нет, но с благодарностью – было.

Сентябрь-ноябрь 1937 г.

Глава II ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. МОСКВА

До отъезда в Москву на приемные экзамены оставалось всего несколько дней. Иван Васильевич, фрейлейн Штраус и сама мама неустанно проверяли наши знания. Удивлялись моей беспечности и хвалили брата, относившегося ко всему гораздо серьезнее и сознательнее.

Поездки в Москву не помню. Вероятно потому, что в мечтах уже задолго до отъезда покинул Конд-рово и жил страстным ожиданием столицы. Как пытливо я ни расспрашивал о Москве, она оказалась для меня полною неожиданностью. Впервые увиденная и, главное, услышанная мною Москва, встает в памяти ярким, ярмарочным лубком.

Площадь перед Курским вокзалом встречает нас оглушительным шумом. Дребезжание полков и пролеток еще на железном ходу сливается с цоканьем подков по булыжнику и диким галдежом извозчиков: «полтинник, купчиха», «не жалейте двугривенного, барыня», «ей-Богу, резвая», «куда лезешь, чорт»… Долгополые синие халаты, высоко подвязанные цветными кушаками, то и дело вскакивают на козлах, дергают вожжами, машут кнутовищами, крутят нахвостниками…

Мы нанимаем огромное допотопное ландо, запряженное парою жирафообразных вороных кляч и, не слыша собственного слова, в страшном беспокойстве, как бы чемоданы не выскользнули из-под локтя воз

ницы, медленно трусим по узким переулкам и широким площадям к нашей гостинице.

Мама и фрейлейн Штраус распаковывают чемоданы. Я с балкона четвертого этажа взволнованно смотрю на спускающуюся под гору Рождественку. Широкие лошадиные спины рыбами проплывают по каменному дну бездны. Ноги сплющенных карликов непривычно шмыгают из-под шляп и картузов. От фонаря к фонарю бегает согнутая фигурка с лестницею на плечах, населяя быстро темнеющую от желтых огней бездну призрачно скользящими тенями…

На меня, еще не видавшего мира вне той природно-канонической перспективы, к которой нас приучает плоская деревня, необычный образ как-то «ку-бистически» погружающегося в ночной хаос города произвел огромное и притом жуткое впечатление.

На следующий день мы рано утром на двух извозчиках – я с мамой, фрейлейн Штраус с братом – отправляемся на экзамен.

С Красной площади, поразившей меня своей огромностью,

своим вольным дыханием и причудливо-чешуйчатой пестротой Василия Блаженного, мы сворачиваем на шумную Ильинку. Скучно тянутся Маросейка, Покровка. Вот Земляной Вал, мост над запасными путями Курской железной дороги, а за ним совсем уже иная Москва, чем та, в которую мы въезжали вчера: тихая, провинциальная Москва моих первых школьных лет…

Дома в этой тишайшей части Москвы стояли в то время все больше маленькие, одноэтажные, с ме-зонинчиками, какие-то пестрые коробочки под зелеными крышами. Между домами заборы с воротами (иные ворота совсем Кольцовские: «Ворота тесовы растворилися»). В эти ворота снежными зимними утрами осторожно, чтобы не расплескать воды, въезжали, стоя на обледенелых запятках, почти сказочные на современный взгляд водовозы, в кожаных варежках

и в окладистых бородах. За заборами весною нежно зеленели, зимой серебристо-лиловели сады Межевого института. Целых семь лет ходил я по два раза в день по неровным тротуарам лефортовских переулков на Вознесенскую гору (как хорошо, как привольно стояла построенная в 1793 г. М. Ф. Казаковым церковь Вознесения на своем зеленом, садовом островке, среди каменного разлива трех стекавшихся к ней улиц), но все же не могу сказать, что за люди жили в этой захолустнейшей части Москвы.

На Пречистенке, Поварской, на обоих Молчановых проживали, главным образом, дворянские семьи. Примыкавший к ним Арбат с его переулками и был и слыл интеллигентски-профессорским районом; за Москва-рекой степенно торговало и тяжело спало (от переедания) старозаветное купечество; вокруг Марьиной рощи заливалась мещанская гармоника; на Пресне уже зарождался красный рабочий. И только при-лефортовские улицы и переулки не имели никакого определенного лица. Жившая здесь некогда немецкая колония уже давно переехала в свои роскошные особняки на Воронцовом поле. Несколько заштатных немцев не определяли характера Вознесенской и Гороховой. Оживала для нас, реалистов, сонная лефортовская Москва лишь в двух местах: в переулке, сбегавшем к запасным путям Курской железной дороги, где из-под красного моста на нас, барчуков, злобно кидались «городские», на помощь которым иной раз появлялись долговязые, с огромными черными кулаками парни из железнодорожных мастерских, да на Вознесенской горе, там, где среди деревьев старого парка за высокою чугунною оградою белел Елизаветинский институт, а за ним, ближе к Лефортовским кадетским корпусам, еще какое-то казенное здание, выкрашенное в классический желтый цвет русского ампира.

С этой институтски-кадетской горы, с горы белых

пелеринок и черных мундирчиков, мне в душу и ныне нет-нет да повеет ранне-весенний ветерок грустной романтической влюбленности. Помню, как на майских выпускных экзаменах мы в перерывы выбегали из ворот училища повертеться перед институтскою оградою, подышать светлою зеленью весенних тополей и темно-зеленым цветом форменных платьев.

Вольные казаки, мы задорно фланировали по тротуару, поджидая пока девичья карусель выйдет из глубины двора и с лукавыми взорами из-под благонравно опущенных ресниц пройдет совсем близко мимо нас. Кадетам наши штатские вольности были строго запрещены: гордясь своею военною выправкою, они четкою походкою, не останавливаясь и не поворачивая головы, а лишь «глаза на-ле-во», быстро проходили мимо институтского двора.

С булыжника мостовой извозчик сворачивает на немощенный двор. Обогнув старейшую московскую кирку – скорее какую-то гигантскую серо-каменную улитку, чем церковь, – и проехав мимо уютнейшего пасторского особняка с большим стеклянным балконом над красно-желтою площадкой среди молодого яблоневого сада, мы останавливаемся у подъезда трехэтажного корпуса. Сердце падает – сейчас начнется экзамен. В темноватой передней нас радушно приветствует верный друг всех последующих лет, толстенный швейцар Иван, руссейшее обличье которого как-то не идет к петровски-лефортовскому, немецки-слободскому, скорее митавскому, чем московскому, двору реального училища святого Михаила; напоминая кондровских кучеров, оно несколько успокаивает мое замирающее сердце. Покой мой длится однако не долго. Распространяя благодушный запах кофе и сигары, в «раздевалку» быстро входит седоусый и седобровый склеротически-пунцовый человек в длиннополом сюртуке и, не дав опомниться, быстро ведет нас к самому директору.

Мы входим в очень странную комнату. Среди античных ваз, лиственных орнаментов и геометрических тел задумчиво молчат на полках под самым потолком Зевс, Афина-Паллада, Гомер и Апполон. У подножья гипсового Олимпа – потрепанные чучела тетеревов, ястребов, белок, сусликов и всякой иной твари. На столах физические приборы и электрические машины: поршни и колбы, синие и матовые стекла. На стенах и даже на дверях – карты. А в середине этого устрашающего новичков «фаустовского» мира – великолепнейшая фигура действительного статского советника, фон-Ковальцига, лиценциата Дерптско-го университета, давно сменившего пасторский «та-лар» своей молодости на форменный синий сюртук, а по торжественным

дням и фрак министерства народного просвещения.

Никакими особыми талантами пастор Ковальциг, на ученическом жаргоне «дед», не отличался, но назвать его бездарным человеком было бы все же несправедливо. Одаренный не только на редкость репрезентативною внешностью (военная выправка, благородный постав головы, орнаментальный расчес седых волос вокруг «высокого чела», но и типично немецким даром труда ("auch Fleiss ist Genie", Goethe1), он создал как никак первоклассное учебное заведение. Русский язык преподавали лучшие педагоги Москвы: председатель «Общества любителей русской словесности» Грузинский, Сливицкий, Вер-тоградский и только что оставленный при университете по кафедре западно-европейской литературы Лютер. Привлечение молодых, талантливых сил было вообще одною из забот «деда».

!) Прилежание – тоже гениальность.

Совсем особую роль сыграл в моей жизни приглашенный «дедом» в качестве преподавателя естественных наук скуластый, темноглазый, несколько ча

хоточного вида человек, типичный представитель идеалистически настроенного ученого и безвластного в классе учителя. На каждом уроке Грубер почти что заклинал нас возлюбить его прекрасную, увлекательную науку и серьезно заняться ею. Изо всех двадцати пяти человек нашего класса я, кажется, один тронулся его мольбой и, вопреки всему строю своих интересов и способностей, на время как будто бы полюбил ботанику и зоологию. Грубер заметил это и был особенно внимателен ко мне. Несмотря на это, между нами на одном из уроков неожиданно вспыхнуло тяжелое недоразумение. На шестнадцатом году своей жизни я впервые пережил трагический опыт столкновения двух правд.

По классу разнесся слух, что Грубер, желая перед экзаменом проверить наши знания, будет «гонять» по всему пройденному курсу. Подготовившись честь-честью и уверенный, что я на любой вопрос сумею ответить на пятерку, я с совершенно чистою совестью явился на урок со вторым томом «Анны Карениной» (не терять же мне время на выслушивание ответов своих одноклассников в то время, как Анна Каренина шлет телеграмму, а затем и записку Вронскому и не знает, как ей быть и что делать). И вот в то время, как перед моими глазами под звон к вечерне мелькали вывески – «Филиппов», «Куаффер Тютькин», мимо которых бурный, бредовой поток ревности, гордости и отчаяния неудержимо стремил несчастную Анну в темный водоворот лязгающей железом и грохочущей колесами смерти, внезапно раздался обращенный ко мне вопрос Грубера:

«Правильно ли Куликов описывает устройство коровьего желудка?» Вырванный из своего мира, я взволнованно ответил Груберу, что могу сейчас же нарисовать и описать устройство коровьего желудка, но сказать, правильно ли отвечал Куликов – не могу, так как я читал Толстого. Очевидно уже не на шутку раздраженный не

радивостью учеников, Грубер вспылил и с несвойственною ему резкостью заявил •мне, что читать романы во время уроков естествоведения недопустимо и что он от меня такого поведения никак не ожидал.

Все дальнейшее помнится мне, как во сне. После мгновенного потемнения в глазах, меня в точном смысле этого слова взорвало. В первый раз в жизни неожиданно налетел на меня темный вихрь того припадочного гнева, который на войне чуть не подвел меня под расстрел.

Что я с поднятым кулаком кричал в лицо Груберу – я не помню; знаю только, что на его требование покинуть класс, смягченное предложением выпить воды и успокоиться, я заявил, что класса не покину, а предлагаю ему самому выйти вон.

Милый Грубер, интеллигент чистейшей воды, опешил и растерялся окончательно. Забыв престиж и дисциплину, он объявил урок законченным (до звонка оставалось, правда, всего несколько минут) и, беспомощно размахивая руками, послушно зашагал к двери…

Я вышел следом за ним. Мне было бесконечно жаль и его и себя. Слезы душили горло. Чувствовалось, что все кончено, что все погибло, что некуда и не к кому пойти. Как рассказать дома, как объяснить, почему я поднял кулаки на Грубера, о котором так много рассказывал и которого так хвалил. Кто поймет и кто простит?

Первым все понял и все простил сам Грубер. После долгого, взволнованного и очень проникновенного разговора со мною, он сказал, что на заседании педагогического совета возьмет главную вину на себя и ни за что не допустит исключения меня из школы. Свое слово Грубер сдержал, меня наказали очень мягко. Совет постановил, чтобы я в продолжение двух месяцев приходил сидеть в школу по воскресеньям с десяти до трех. Так как мне было разрешено приносить

любые книги (после «Анны Карениной» я сразу принялся за «Войну и мир»), а мама пыталась смягчить мои «сидения» особенно вкусными завтраками, то я мог бы чувствовать себя совсем хорошо, если бы не муки совести, которые не смолкали, а скорее усиливались в окружавшей меня атмосфере любви. Я не знаю, чем кончилось бы мое все нарастающее волнение, если бы,

отсидев два или три воскресенья, я не заболел бы какою-то особенною формою тифа, часто разыгрывающегося, как уверял маму доктор, на почве сильного нервного потрясения. Заболел я на первой неделе поста. Впервые встал с постели на третий день Пасхи. Болезнь протекала в очень тяжелой форме. И все же она осталась в памяти одним из самых значительных и даже радостных переживаний моей юности. В связи с нею в душе воскресла, быть может, самая сложная тема моих детских лет, таинственно связанная с тяжелою болезнью моего младшего брата Бориса.

Спустя несколько дней после героически перенесенной операции, почти без наркоза (оперировали у нас на дому знаменитые московские хирурги Постников и Сумароков) брату внезапно стало очень худо. Наш светлый мир сразу же погрузился во мрак и тишину. Мама почти совсем перестала заходить к нам в детскую. Молчаливая рябая сестра милосердия с колкими глазами и красными руками часто спешно проходила по коридору, распространяя вокруг себя тревожный запах карболки. Из-за двери доносились мучительные стоны. Пользуясь ослабленным надзором над нами, я по нескольку раз в день выбегал, хотя это и было запрещено, в сад, мчался в самый дальний запущенный угол его и со странно-мучительною страстью прислушивался к доносившемуся с больничного двора жалобному воркованию голубей. Слушая воркование, я почему-то думал, что это стонут больные. Сад приобретал страшный, манящий смысл и я

все чаще и чаще убегал в него. Тут и зародилась моя игра.

Не без труда выпросил я у фельдшера Алексея Ивановича, который приходил перевязывать брата, старую трубку для выслушивания больных, добыл у столяра Селеверстова небольшой молоточек, у Чибиса – старый садовый нож, уложил все это вместе с тряпками, паклей и бичевками в ящик из-под лото и принялся лечить больные деревья. Особенно любил я убегать «на практику» в сумерки в ненастные дни, когда после дождя на ветру со стоном маялись, качались и облетали деревья.

Наметив своих пациентов, я тщательно выслушивал их и затем приступал к операции. Очертив больное место ножом, я с болью в сердце сдирал с деревьев кору, а затем заботливо накладывал перевязку: пакля, намазанная колесною мазью, тряпка и, наконец, бичевка. Сердце в эти минуты у меня билось отчаянно, затылок горел, руки тряслись; я страшно спешил, боясь, что меня что-то настигнет.

Охватившую меня страсть я тщательно скрывал не только от взрослых, но даже и от брата. Может быть, в ней было нечто от

тайны творчества, любви и смерти, которую душа человека всегда целомудренно охраняет от чужих глаз. Лежа в тифу, я снова переживал свою детскую игру и, вероятно, впервые думал о своей смерти.

Чем дольше я лежал, смотря целыми днями на белый потолок и светлые обои комнаты, тем ярче означалась в душе звуковая реальность исчезнувшего из глаз мира.

Под вечер, когда на слабеющее сознание волна за волной начинали набегать «ошпары» подымающейся температуры, самое обыкновенное чаепитие в соседней столовой развертывалось в сложную звуковую картину. Сначала с невероятною, наполняющею всю

комнату певучею силою били старинные часы: пять, четверть шестого, половина шестого… Затем в столовую тихо входила Маша и тут же начинался тихий фарфоровый перезвон чашек с блюдечками; в этот разговор высокими серебряными голосами вступали и чайные ложки. Накрыв стол, Маша уже быстрыми тяжелыми шагами вносила в столовую наш большой самовар, который, как мне казалось, иной раз по комариному жалобно плакался, а иной раз устало пыхтел, как подходящий к станции поезд. Лилась струя воды и чайник четко стукался о конфорку: сейчас Маша доложит, что самовар подан. С приходом в столовую домашних, а иногда и гостей, все звуки сразу же исчезали в многоголосом шуме. Мне представлялось, что в столовой, как в бане, клубятся душные пары. Чаще других приходила мамина золовка со своею падчерицею, дочерью скрипача Большого театра, который первым браком был женат на итальянке, носившей громкое в музыкальном мире имя Патти. Между мною и его дочерью Людмилой не задолго до трагического случая в школе, незаметно для нас самих началось робкое перестукивание сердец. О, как хотелось мне услышать милый Людми-лин голос, но милый голос молчал. Зато неустанно трещала картавая трещотка ее мачехи. Адская огненная пещь все горячее дышала в лицо расплавляющим череп жаром. Во всем теле ключом кипела кровь, стуча молотками в висках и сердце. Постепенно сознание слабело. Паровозными огнями набегали на меня огромные лучистые итальянские глаза и все куда-то исчезало… Начинался бред…

К утру жар спадал. Обессиленное за ночь тело, приятно освеженное одеколоном, пластом лежало в свеже перестланной постели; из-за опущенных штор в комнату мягко лился рассеянный свет. Приходила мама, садилась к окну за писание писем, или за ка

кое-нибудь шитье, стараясь, согласно докторскому

распоряжению, почти не разговаривать со мною. Два раза в неделю приезжал он сам – толстый, веселый, румяный и обнадеживал, что к Пасхе обязательно подымет «темпераментного *молодого человека». О моем школьнОхМ приключении он знал и так же сочувствовал мне, как почти все родные и знакомые, постоянно справлявшиеся о моем здоровье. Чаще всех справлялся милый Грубер. Уверен, что ни в одной другой стране, не говоря уже о Германии, в которой я живу и которую наблюдаю вот уже 16 лет, с дерзким нарушителем школьной дисциплины не обошлись бы так мягко, как со мною. Я знаю, русский либерализм проиграл революцию, тем не менее – честь и слава русскому учителю-интеллигенту.

Наступает Страстная. Весь дом готовится к празднику: моются окна, натираются полы, на дворе выколачиваются ковры. Мама часто приезжает из Охотного перегруженная корзинами и кульками. Но вот все кончено, остается только заранее накрыть пасхальный стол, чтобы хоть немного отдохнуть перед заутреней. В одиннадцать мама заходит ко мне, велит обязательно спать, обещая разбудить и похристосоваться по возвращении из церкви. Идет она, впрочем, не в церковь, а во двор Зачатиевского монастыря посмотреть на иллюминацию, послушать ликующее «Христос Воскресе» и радостный всемосковский звон.

Своего пробуждения в ту далекую, всеми здешними и нездешними светами светлую ночь, мне не забыть до конца своей жизни. В тысяча девятьсот семнадцатом году я, тридцатитрехлетний поручик, писал с фронта у «Золотой липы» матери в Москву: «А где тот, быть может, самый счастливый час, когда выздоравливающий от тифа я проснулся в твоей, наполненной светлым пасхальным звоном комнате и увидел тебя, выходившую меня, нарядную, счастливую и

трогательно взволнованную у моей постели. Господи, как ликовала душа, как таяла она в пасхальном звоне, как возносилась вместе с ним»…

Нет, не случайно перекинулся я памятью с Вознесенской горы в Карпаты. Замученная душа сейчас всюду ищет опоры. Я же уверен: не разрешись моя трудная душевно-телесная болезнь в радостное, к самому Светлому празднику, выздоровление, я, быть может, не был бы ныне в силах с верою ждать чуда исцеления и воскресения России…

На столе в номере гостиницы кипит самовар. Мы спешно доедаем калачи с зернистою икрою. В награду за выдержанные экзамены мама ведет нас в балет. На сцене зеленые кусты, среди них какая-то большая белая статуя и бесконечное количество

мелькающих и крутящихся розовых ног. Впечатления от всего этого решительно никакого; а как я был взволнован выступлением проезжего комика в Кондрове! Очевидно, всему свое время.

Два года спустя я впервые попал в оперу. Восторгу моему не было границ. С тех пор прошло вот уже более сорока лет, а перед глазами все еще стоит белолапчатый бор, в дремучие недра которого густо валит крупный театральный снег; черным крестом стоит по колено в снегу широко раскинувший руки Сусанин-Трезвинский и поет свою предсмертную арию. Мне жаль его предельною жалостью и все же я в бесконечном восторге от его громадного голоса, которым он легко наполняет неохватный красно-золотой театр. Вот выбегает пышногрудный Ваня-Синицына в расстегнутом тулупе и красной шелковой рубашке. Стуча тяжелым кованым кольцом в монастырские ворота, она на весь мир разносит тревожную

весть: «Бедный конь в поле пал, я пешком прибежал… Отворите…»

Театрам Москвы, в первую очередь, конечно, Малому, я мог бы посвятить не один десяток страниц своих воспоминаний. Их влияние на меня, в особенности в старших классах, было огромно. Восемь спектаклей за зиму давали душе и фантазии больше, чем восемь месяцев школьного учения. Сцена воспитала, как в нас с братом, так и в наших сверстниках, благородный навык медленного чтения. Во всех романах я все диалоги не просто прочитывал, а с чувством проговаривал про себя. В пятом классе мы с братом вошли в два литературные кружка – один школьный и один частный, в которых с распределенными ролями прочитывались почти все пьесы, что шли в Малом и Художественном театрах. Учеником шестого класса я впервые участвовал в настоящем спектакле. Шли «Тяжелые дни» Островского.

Предо мной тройное зеркало. Знаменитый театральный парикмахер Чугунов с бритым лицом заправского актера священнодейственно напяливает на меня купеческий парик и наклеивает рыжую с проседью бороду лопатой. Я играю Тит Титыча Бру-- скова. Через десять минут, обложенный толстинками и одетый в долгополый сюртук я, не успев еще по-настоящему освоить своего нового вида, с замирающим сердцем стою за кулисами и ожидаю своего выхода… Вот, вот она моя реплика. Выпускающий толкает меня в плечо. Я ногою толкаю легкую театральную дверь и не ногами выхожу, а всею душою вылетаю в яркий свет сцены, в блаженный простор какой-то совершенно новой жизни. Какой восторг, какой полет и какое

неописуемо-прекрасное чувство всамделишности, подлинности и вескости всех твоих жестов, слов и чувств…

В этом чувстве весь смысл, но, конечно, и весь

соблазн театра. Та прекрасная крестьянская молодежь, с которою мне, по просьбе уездного исполкома, осенью 1919 года пришлось поставить несколько спектаклей, всем своим отношением к театру и, главное, всем своим самочувствием на сцене, по которой она еще не умела двигаться, наглядно подтвердила мне правильность моих театральных теорий. Не зрелищ хочет народ, но игры. Наблюдая происходивший в моих деревенских актерах процесс художественного предвосхищения предстоящего им революционного переселения в высшие слои жизни, я начал понемногу понимать и то, почему народ не любит народных пьес, и то, в каком настроении играли крепостные актеры, заложившие фундамент тому художественному реализму, что создал славу «Дома Щепкина». Мне кажется, что исключительная театральность русского народа есть не только природное, но социально-возрастное явление. Во всяком случае углубленное постижение природы этой театральности совершенно необходимо для серьезного социологического анализа на добрых 50% разыгранной большевистской революции.

Перед тем, как продолжать описание своей школьной жизни, мне необходимо ближе познакомить читателей с происхождением моих родителей, по воле которых мы с братом попали не в классическую гимназию, а в реальное училище св. Михаила.

Мой отец, умерший в самом начале Великой войны, был выходцем из Восточной Пруссии, где Степуны (исконное начертание этой старо-литовской фамилии Степунесы, т. е. Степановы) с незапамятных времен владели большими земельными угодьями между Тильзитом и Мемелем. Несмотря на свое происхождение, мой отец отнюдь не был «пруссаком» в общепринятом в России смысле этого слова. По це

лому ряду своих свойств – по своей мягкости, скромности, душевной беспечности и неделовитости, по своему поэтическому мироощущению, по своей вспыльчивости и отходчивости он был скорее славянином, чем германцем. Ничего удивительного в этом нет. Вся исконная, т. е. юго-западная Германия на том основании и не считает пруссаков за настоящих немцев, что они чуть ли не наполовину славяне. Этим высоким процентом «выносливой и долготерпеливой» славянской крови небезызвестный немецкий философ-публицист Moeller von den Bruck объясняет, к слову сказать, политическую гегемонию Пруссии над остальной Германией.

Почему Степуны (три брата) покинули свои родовые имения и перекочевали в Россию, мне не совсем ясно. Отец как-то не говорил об этом. Скорее всего их подняла с насиженных мест тоска по более первобытной жизни, по неразбуженной цивилизацией природе, которую отец страстно любил какой-то особою, языческою любовью и волновавший тогда Европу миф о неисчерпаемых богатствах России.

Хотя юность отца совпала с величайшим триумфом Германии (в 1871-м году ему было 17 лет) в нем никогда не чувствовалось завороженности образом «Железного канцлера». Минутами в нем как будто бы пробуждалась тоска по своих предков родине, но к немецкому государству он, странным образом, не тяготел. За всю свою жизнь он только два раза ездил в Германию лечиться.

Помню, как мы с ним как-то возвращались в двуколке с вечернего объезда полей. У самого въезда в имение мы нагнали любимиц отца – статных чернопегих коров. Привередливо пощипывая траву по запыленной, придорожной канаве, они медленно возвращались домой в блаженном ожидании вечерней дойки.

Переведя в шаг своего быстрого сибирячка Наката, отец глубоко вобрал в грудь сладко пахнущий предросными, вечерними полями, дорожной пылью с деготьком и коровьим выменем воздух, опустил голову и так непривычно для меня по-немецки вздохнул: "Junge, Junge, wie das plotzlich nach Ostpreussen riecht"2). Его слова отозвались у меня в душе какою-то новою к нему нежностью и жалостью, но о чем они – мне осталось непонятным.

Через 12 лет, будучи кандидатом философии Гейдельбергского университета, я попал в Пруссию. В небольшом шарабанчике, но только без дуги, возвращался я со своею троюродною сестрою с веселой прогулки. Стоял такой же, как некогда у нас в Конд-рове, тихий ранне-осенний вечер. На выгоне, недалеко от проселка, по которому пылил наш незатейливый конек, паслось стадо чернопегих коров. С Немана набегал тот же пахнущий травою и хлебом, волей и ширью речной воздух, что и с родной Угры. Солнце медленно садилось в печальных просторах, золотя соломенные крыши крестьянских дворов. «Боже мой, – сказал я своей спутнице, – да ведь у вас почти что Россия» и тут же рассказал ей о нашей поездке с отцом и о его внезапном, горячем вздохе по своей Пруссии. «Да, – задумчиво посмотрела в даль моя заграничная кузина и помолчав прибавила: – у нас, Степунов, – бродячая кровь; мне тоже очень хотелось бы когда-нибудь попасть в Москву». «Может быть, тебя потому тянет в Москву, – отвечал я ей, – что ты выросла в здешних просторах.

Родись ты католичкой, под готическим собором во Фрей-бурге, Москва была бы тебе наверное чужой».

2) Ах, мальчик, как вдруг запахло Восточной Пруссией.

С матерью отец познакомился в Москве. Шведо-финский род Аргеландеров переселился из-под Або в Пруссию в начале семнадцатого века. По пути в нее

кое-кто, очевидно, задержался в России; наша семейная хроника сообщает, по крайней мере, что швед Генрих Иварсон, по прозвищу Аргеляндер, служил при Петре 1-м директором порохового завода в Москве. Целый ряд моих предков, начиная с родившегося в 1552-м году под Выборгом и не носившего еще имени Аргеландера Эскель Кауханена, были пасторами, слившими впоследствии свою северную кровь с горячей кровью бежавших из Франции гугенотов. В моей родословной встречаются имена ВеШег ‹1е Ьаипсу, Соигуо!з1ег и других.

Всем этим я, вероятно, никогда бы не заинтересовался, если бы расизм третьего Райха не заставил меня, как профессора высшего учебного заведения в Германии, разобраться в своем происхождении. Мое арийское происхождение мне, однако, не помогло. В 1937-м году я был уволен в отставку за «русский национализм, практикующее христианство и жидопо-слушность».

Хотя отец моей матери к был страстным ненавистником «попов», как «протестантски-сюртучных», так и «православно-долгогривых», и начисто отрицал христианство, он все же был самым настоящим кальвинистом не в религиозном, а в раскрытом Максом Вебером социологическом смысле этого слова. Непоколебимою основою его жизни была фанатическая вера в роль труда. Он не для того работал, чтобы жить, но жил для того, чтобы работать. Наживая много, он не считал себя вправе много проживать. Не взяв за всю свою поначалу трудную жизнь ни у кого ни копейки взаймы, он всякую просьбу о займе рассматривал, как попытку его обокрасть. Любить – означало для него прежде всего не проявлять нежности: свою семью он держал в черном теле, но своих бедных дальних родственников поддерживал, никогда никому об этом не говоря. Будучи по своему миросозерцанию аскетом-моралистом, дед очень ин

тересовался криминалистикой, выписывал судебные журналы и часто ходил в суды. Как все неверующие люди, он был крайне суеверен; в тех редких случаях, когда он уезжал куда-нибудь, он писал целые рескрипты, что нужно делать в случае пожара или кражи. Он очень боялся смерти и, быть может, потому как-то болезненно тяготел к молодежи, еще не тронутой ее дыханием. С нею он перерождался: смешил, шутил, ухаживал, старомодно, но прекрасно танцевал, словом всегда бывал душою общества.

Кончил этот, поражавший людей своею занятностью и своим балагурством, чудак совсем не в стиле своей жизни – семилетним безумием. В мучившей его мании преследования, среди других, более внешних мотивов – убьют, отравят – звучал и мотив покаяния. Слова этого он, конечно, никогда бы не произнес, его очищающего, религиозного смысла никогда не признал бы, и все же его преследовали сомнения: правильно ли он прожил свою жизнь, не был ли слишком крут с детьми. Худой, желтый, с испуганными тоскующими глазами, обросший седою бородою и все еще пытающийся над чем-то трудиться за высокою желтою конторкою, он производил страшное впечатление, напоминая нам с братом Короля Лира.

Стараясь понять, почему так жестоко сорвалась жизнь моего деда, я с годами все больше склоняюсь к мысли, что последнюю причину надо искать в суровом пафосе окончательно раскрещенного пуританизма.

Занесенный судьбою в нетронутую западноевропейским трудолюбием и потому сторицею отзывающуюся на всякое трудовое усилие Россию, дед, отнюдь не исповедуя веры своих праотцов-кальвинистов, что удачливый земной труд есть залог вечного спасения, всю свою жизнь так же неустанно и напряженно работал, как и его предки, надеявшиеся своим

трудом стяжать царство небесное. Трудясь, он безблагодатно верид в то, что человек своею волею и своим трудом может устроить мир и себя в благоустроенном им мире. Любимое изречение национал-социалистической Германии, красовавшееся одно время почти во всех общественных учреждениях "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg"3) всю жизнь невидимо висело над рабочим столом моего деда. И вдруг оказалось, что своя воля не выход, а безвыходность. В безвыходном положении оказался, благодаря его педагогическим приемам, старший сын, которого он за легкомыслие и долги лишил наследства и без гроша выслал в Америку, где тот и погиб. В безвыходном положении оказалась старшая дочь, вышедшая замуж за моего отца прежде всего ради того, чтобы поскорее освободиться от гнета отчего дома. В безвыходном положении оказалось в руках нетрудоспособного преемника с таким трудом и любовью выпестованное коммерческое дело. В безвыходном положении на старости лет оказался и он сам, попавший в тяжелую зависимость от своей второй жены, которую взял исключительно ради трех сирот, твердо уверенный, что, заботливая бонна, она будет им и хорошею матерью. Второй любви он в себе никогда не допустил бы. Овдовев на пятом году счастливейшего брака, он решил, что пожизненно останется верен памяти своей веселой,

бесхитростной подруги, типичной москвички, женщины с простым, но живым умом и с прекрасным низким голосом.

Я так подробно описал своего деда, потому что он сыграл очень значительную роль в моей жизни. Не держи он своих детей от первого брака в ежовых рукавицах, в моей матери вряд ли бы выросло то в детстве бессознательное, а впоследствии и вполне осознанное отталкивание от всего немецкого, от ко торого она освободилась только к старости. Девицей на выданьи она часто говорила своим подругам, что лучше броситься в омут, чем выйти замуж за немца. Это отталкивание могло бы, конечно, и не превратиться в полное внутреннее приобщение к русской стихии, если бы мать на шестом году своей жизни не подпала под влияние того таинственного и запретного для нее мира, которым жил подвальный этаж. Здесь, среди прислуги и артельщиков, которые укрывали свою барышню-сиротку от «сатаны» мачехи и «чудака» барина, она впервые почувствовала и обрела народную Россию. Сколько раз и с какою неж-

ною благодарностью рассказывала мне мама, как от природы шустрая, веселая – вся в мать – но в тяжелом сиротстве преждевременно созревшая девочка, она тихонько спускалась бывало к семи часам вечера на черную кухню, где «людская» кухарка собирала артельщикам ужин.

По воскресеньям в артельной бывало особенно весело. Сверху из барской кухни приходила пристрастная к крепким напиткам белая кухарка Алена.

В будни Алена крепилась – не пила, но зато в воскресенье, отпустив «поварской» обед, напивалась с полным чувством, своего права на жизнь. В праздничном платье, с платочком в руке, спускалась она, заслышав гармонь любимого дедушкина артельщика

Якова рязанского, к презираемым ею в трезвом виде «серым мужикам» (у немолодой Алены было, по маминым рассказам, очень тонкое, благородное лицо) и тут же, подбоченясь и склонив голову на бок, начинала волчком кружиться по комнате, залихватски выкрикивая все одни и те же строки:

У Николы звонаря
Во все кол-кола звонят
Все Алену хоронят.
Эх, Алена, эх Алена, эх Аленушка моя.

Натанцевавшись до изнеможения, она замертво валилась на лавку, но, отдышавшись, принималась снова «догонять свою

молодость». Это повторялось много раз до полного истощения сил.

Единственное время в году, когда Алена не позволяла себе ни рюмки водки – был Великий пост. Постом Алена, которою в доме очень дорожили как исключительной поварихой и которой потому разрешалось чуть ли не ежедневное посещение церкви, совершенно преображалась. Лицо становилось бледным, строгим и светлым, походка медленной, движения тихими; уста свои Алена постом старалась «не распечатывать», зная за собою дурную привычку постоянно ворчать на черную кухарку Надежду, которая была у нее в подчинении.

Все с тою же Аленою попала мать на десятом году своей жизни впервые в православную церковь Введения во храм Пресвятые Богородицы, на углу Лубянки и Кузнецкого моста. Посещение ранней обедни в субботу на Страстной, которая в те времена служилась на рассвете, произвело на мою мать неизгладимое впечатление.

Войдя на цыпочках в детскую, Алена с вечера сказала, что поутру разбудит, чтобы идти в церковь. Но будить ей своей барышни не пришлось. Взволнованная, с бьющимся сердцем уже давно сидит Машенька на постели и прислушивается, не встает ли Алена… Наконец-то в двери шопот: «вставай, собирайся». С башмаками под мышкой спускаются обе по темной внутренней лестнице в переднюю. Сердце заходится от страха – как бы не оступиться, не зашуметь, не разбудить мачехи. Но вот все муки преодолены, Алена осторожно снимает огромный болт парадной двери и в лицо веет ночной холодный воздух. Темными, безмолвными тенями спешит народ в церковь. Вместе с народом, крепко держа Машеньку за руку, всходит и Алена на паперть. В церкви тоже темно,

но мрак совсем иной: живой, трепещущий от лампад и свечей. Все молчат, но все же по церкви ходят шорохи. Посреди плащаница, перед нею духовенство в черных с серебром облачениях, скорбно поет хор, густо струится ладан. Машенька не совсем понимает, что происходит, но, творя за Аленой крестное знамение и покорно опускаясь на колени, она чувствует, что всю ее переполняют неведомые ей до сих пор любовь и жалость ко всем окружающим ее чужим, но близким людям. Ей хочется плакать, она обнимает свою милую Алену и обе выходят из церкви.

На дворе уже светает. Грустная, грустная, что все уже кончилось, бежит Машенька с Аленой домой в отчаянии, что завтра будет все тот же томительный, одинокий день. Раздев и уложив свою любимицу, Алена трижды крестит ее и велит

спокойно спать. Машенька быстро засыпает крепким, счастливым сном. В этом сне, за пятнадцать лет до моего рождения, зарождается в душе моей матери величайшее счастье всей моей жизни – Россия.

Когда, выросший если и не в православной церкви, то все же в ее ограде и быту, я пятнадцатилетним реалистом зашел в канцелярию реформатской «кирки», чтобы записаться на конфирмационные уроки, я почувствовал себя в совершенно чужом мире. Благодаря пастору Брюшвейлеру, искреннему и горячему проповеднику, этот новый мир не оттолкнул меня, а наоборот, привлек к себе. Суровый швейцарец, самозабвенно влюбленный в снежные горы своей родины, философ, политик и моралист, Брюшвейлер к догматической и обрядовой сторонам всякого христианства относился на редкость отрицательно. Всех православных, терпящих на папертях своих церквей, дрожащих на морозе «голодранцев» и «оборванцев», он считал просто язычниками, варварски любящими свой церковный "КИт-В1т", но не понимающими нравственной сущности христианства. Единственным

русским христианином Брюшвейлер считал Толстого, сохранившего, по его мнению, свою христианскую совесть только благодаря упорной борьбе с церковью. Несмотря на свою антицерковность, Брюшвейлер как раз в церкви производил очень большое впечатление, в особенности, когда, стоя у простого черного алтаря, облаченный в черный талар, высокий, бледный, очень худой, с громадными серыми, предельно близорукими, невидяще-прозорливыми глазами, он с мистическою сосредоточенностью медленно произносил молитву того Господа Бога, в которого верил, лишь как в величайшего человека всех времен и народов.

Если Брюшвейлер своею острою критикой мифической стороны Евангелия и догматов и не убил моей детской веры, то он все же обострил мое критическое отношение к ней. Вернувшись на очень сложных путях и не без участия той критической философии, основы которой во мне заложил Брюшвейлер, к своей полусознательной вере, я почувствовал необходимость перехода в православие. Я знаю, к нему меня привела не только его большая мистическая и догматическая глубина, но и вся прожитая мною в России и с Россией жизнь. Такое русское детство, как наше Кондровское, служба сразу же по окончании среднеучебного заведения в русской армии, несколько лет лекционных разъездов от Смоленска до Коканда и от Петербурга до Одессы и Кавказа, породивших в душе живую зачарованность образом России, четыре года братской близости с

русским солдатом, с двенадцатилетнего возраста поэтическая влюбленность в Лизу Калитину и Наташу Ростову, женитьба и первым и вторым браком на коренных русских женщинах и, наконец, в революцию, пять лет трудовой, крестьянской жизни на русской земле – все это неизбежно должно было превратить в подлинно русского человека не только такого близ

кокровного России полупруссака, как я, но и совершенно инокровного ей грузина, или еврея.

Думаю, что не без подсознательного желания предупреждения такого превращения, отец против воли руссофильски настроенной матери и настоял на том, чтобы нас отдали в Михайловское училище, отличавшееся от казенных реальных тем, что в нем всеобщая история преподавалась на немецком языке. Очевидно отец рассчитывал на то, что в Михайловском мы выучим язык его родины и сдружимся с детьми настоящих немцев. Все эти расчеты оказались ошибочными, так как «национальный вопрос» решался в «немецкой» школе в том же духе бытового и культурного самоопределения, в каком его решала вся передовая интеллигентская Россия.

Вспоминая свои отроческие годы, я не могу не остановиться у подъезда дорогого мне дома на Нижней Пресне, принадлежавшего живописнейшему московскому купцу, торговавшему в «Городе» зеркалами и церковною утварью. Расчесанный на прямой пробор, с черною до синевы бородою, с тяжелыми, сычьими глазами и колкими сычьими же бровями, кир-пичнолицый, плотно сбитый Иван Трофимович сумрачно выплывавший иногда к чайному столу в длинном затрепанном сюртуке, а также и его супруга, ко всему равнодушная, с каким-то смытым с лица лицом женщина, в лиловой кружевной кофточке, казались мне в свое время не живыми людьми, а какими-то персонажами из комедий Островского.

Каким образом мы с братом попали в дом Баклановых, я не помню, но, попав, мы сразу же оказались захваченными его кипучею жизнью. Вдохновительницей всей собиравшейся там молодежи была сестра хозяйки дома, обожаемая нами «тетя Зина».

Этой тете Зине мы все подчинялись радостно и безоговорочно, чувствуя в ней революционера в стане отцов. Тетя Зина, которой в зиму нашего знакомства шел всего только 30-й год, по всей вероятности, на всю жизнь сохранила бы типичный вид радикальной, стриженной курсистки, если бы, страстно влюбившись в знаменитого певца Тартакова, не открыла бы в один прекрасный день своего действительно большого сходства с

его «Демоном» и не постаралась бы довести это сходство до изумительного совершенства. Казалось бы пустяк, но этот пустяк оказал на Зинаиду Николаевну очень большое влияние: демон не может быть социалистом-революционером и всю жизнь заниматься аграрной программой. Заведя тартаковские кудри, слегка подсурмив взвивающуюся бровь и нашив себе, вместо всякой «модной ерунды», на лето белых, на зиму черных хитонов, Зинаида Николаевна не только не изменила себе, но, быть! может, впервые нашла себя, неожиданно обрела сверхинтеллигентское богатство своей артистически-философской природы. Давая нам читать кое-какие листовки, говоря извозчикам и прислуге как-то подчеркнуто «вы», она, главным образом, вела с нами широко поставленную культурно-просветительную работу, опираясь на меня и на свою старшую племянницу, совершенно очаровательную дурнушку, жидковолосую, большелобую Настеньку, с голубым вопросительным знаком в широко-раскрытых глазах и маленькою, розовою пуговкою вместо носа над наивно приоткрытыми губами.

Надо ли говорить, что через несколько месяцев совместных дискуссионных вечеров и литературных чтений, в моем сердце началось весьма серьезное раздвоение между итальянскими очами Людмилы и сине-серыми глазами Настеньки.

На том школьном вечере, который я описывал выше, это раздвоение было сразу же разгадано На

стей и на меня обрушились громы… Но какие… Семнадцатилетняя девочка, которую тетя Зина за какое-то сходство с теми нежными, в ласково-бархатных пушках прутиками, что к концу Великого поста появлялись за тяжелыми киотами пресненского особняка, звала Вербочкой, с такой внезапною силою распахнула передо мной огнедышащие недра своего отцовского нрава, что, заглянув в них, я окончательно потерял голову.

До Настеньки Баклановой никому из моих читателей не может быть никакого дела. Ее запутавшуюся в будущем жизнь можно было бы изобразить в романе, в повести, драме, но не в воспоминаниях. Если я все же вызываю ее милый образ, то не затем, чтобы показать девочку, от которой вспыхнуло мое сердце, а ту мятежную душу, от которой сгорела Россия. Те неуемные страсти, гневные безудержи, что в 1898 году под бравурные аккорды знаменитого короля таперов Лабади, внезапно обрушила на меня Вербочка, прошумели впоследствии сквозь души и жизни всех Баклановых, среди которых, к величайшему удивлению дожившей до старости матери, оказались и талантливые поэты, и восторженные безумцы, и крайние революционеры, и ярые

белогвардейцы. Такая яркость психологического спектра купеческой «серости» весьма характерна для предреволюционной России. С нею связаны, как изумительный расцвет русской культуры, о котором говорят как имена меценатов Третьяковых, Шанявских, Морозовых, Щукиных, Рябушинских, Мамонтовых и т. д., так и страшные срывы русской либеральной революции в кровь и ужас большевизма: ведь удалось же Горькому в 1905-м году собрать среди именитой русской буржуазии громадные деньги на революцию, т. е. на ее собственное изничтожение. Вспоминая прошлое, иной раз трудно удержаться от мысли, что все наше революционное движение было каким-то

сплошным бредом, необъяснимым ни социально-политической отсталостью русской жизни, ни особою чуткостью русской души к несчастьям ближнего, а скорее всего поветрием, некоторой эпидемической болезнью сознания, которая заражала и подкашивала всех, кто попадался ей на пути.

Нервно, мучительно, в тяжелой экзаменационной страде, изредка прерываемой немногими часами отдыха, которые мы проводили то в булочной Совостья-нова, где мы наскоро подкреплялись жареными пирожками, то у институтской ограды, сквозь железные прутья которой грустно перелетали предразлучные взоры, проносились последние, манящие в деревню майские дни.

Но вот все муки кончены и наша тесная дружеская компания решает отпраздновать окончание школы поездкой на Воробьевы горы. В следующее же после торжественного акта воскресенье летят вниз по Тверской, через празднично-пустынную Красную площадь, по москательно-скобяному Балчуку, по тишайшей провинциальной Ордынке и дальше мимо Нескучного сада к знаменитому ресторану Крынкина три лихацких пролетки. В них, навстречу своим неизвестным, но радостно ожидаемым судьбам, весело несутся шесть горячих, молодых сердец. Звонко цокают по булыжнику подковы, мягко подпрыгивают колеса на резиновом ходу, за обещанный «на-чай» от души усердствуют извозчики. В расчете на длинную обратную прогулку, мы едем спозаранку. Из церквей под светлый колокольный звон степенно расходится народ. Милый, старомосковский воздух напоен горьковатым запахом буйно цветущей за заборами черемухи.

Обедали мы совсем как взрослые: закуска, котлеты "de volaille", Гурьевская каша и к ней две бу

тылки шампанского, чтобы чокнуться. После обеда заказали чай и долго сидели за столом, беседуя о своих планах. Трое из нас идут самым обычным путем – поступают в Московское

Императорское Техническое училище, среди них и мой брат. Один из нас идет на сцену, наш поэт мечтает о сборнике стихов и кругосветном путешествии. Наиболее темны и противоречивы мои планы: тянет и на сцену, и в Училище живописи и ваяния (я уже справлялся об условиях приема у директора, профессора Гиацинтова), но больше всего хочется попасть на историко-филологический факультет. Этому плану мешает, однако, то, что с аттестатом реального училища в университет не принимают. Древние языки можно было бы, конечно, осилить, но на это надо время, мне же не терпится как можно скорее надеть форменную фуражку и гулять студентом.

После чая мы спускаемся к Москва-реке, переправляемся на другой берег и медленно, пустырями, пахотами и огородами пробираемся к Новодевичьему монастырю, спасательному пристанищу многих трудных минут моей последующей жизни.

О товарищах, с которыми в мае 1900-го года я в тихой задумчивости (длинный шумный день к вечеру всегда наполняет душу затишьем) входил в душистую прохладу монастырского кладбища, я скоро уже девять лет как ничего не знаю. Последние сведения были страшны, не своею исключительною жуткостью, а тою роковою советскою бессмыслицею, которая, быть может, страшнее всяких ужасов. Из актера не вышло актера: начав в 19-м году торговать опиумом, он сам вскоре стал наркоманом и в припадке непоборимой тоски лишил себя жизни. Мечтавший о кругосветных путешествиях поэт, не выпустив ни одного сборника своих стихотворений, заболел после нескольких месяцев тюремного заключения неизлечимым сердечным недугом. Знаю, что в

1926?м году он еще проживал в неуютной, грязной каморке на четвертом этаже, из которой никогда не выходил, не будучи в силах одолеть лестницы. С таким аппетитом уплетавший Гурьевскую кашу на Воробьевых горах, Николай Никулин уже давно лежит под землею, загнанный туда революционным сыпняком. Его до слепоты близорукий брат, талантливейший математик, занимает, если с ним за последние годы не случилось ничего страшного, неизвестно почему, довольно большой пост в Красной армии. О моем брате ничего не знаю, не знаю даже жив ли он…

В душе страх и оцепенение. Россия темнеет перед глазами бескрайним кладбищем… Стоят ли еще в Новодевичьей ограде кресты и памятники на дорогих могилах? Иной раз кажется, что их уже не найти. Войду ли я когда-нибудь в знакомые монастырские ворота, или так до конца жизни только и буду в тоске перечитывать изумительные строки тоже уже умершего

Белого.

Из мира, суетной тюрьмы, – В ограду молча входим мы… Крестов протянутая тень В густую, душную сирень, Где ходит в зелени сырой Монашек рясофорный рой, Где облак розовый сквозит, Где нежный воздух бирюзит: Здесь сердце вещее, – измлей В печаль белеющих лилей; В лилово-розовый левкой Усопших, Боже, упокой…

Февраль-май 1938 г.

Глава III ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ• КОЛОМНА. КЛЕМЕНТЬЕВО

Мои мучительные колебания между университетом, Училищем живописи и ваяния и сценой привели меня неожиданно к решению прежде всего отбыть воинскую повинность. Я рассчитывал за год военной службы окончательно выяснить себе куда меня больше всего тянет, в чем мое настоящее призвание. Время для поступления в кавалерию или артиллерию (служба в пехоте представлялась мне совершенно невозможной) было давно упущено. Тем не менее я решил, во что бы то ни стало, добиться своего, что мне, к величайшему удивлению моих родителей, каким-то чудом и удалось. Командующий московским военным округом, к которому я выискал протекцию, разрешил сверхштатно зачислить меня вольноопределяющимся в пятый мортирный дивизион, стоявший в то время в Коломне. «Не теряя минуты напрасно», полетел я в Коломну для зачисления в дивизион. Дивизионный адъютант, поручик Димитриев, – усы в душистом бриллиантине, серебряный портсигар в золотых и эмалевых монограммах, душа в авантюрных мечтах – принял меня как родного. Накормил вкуснейшим обедом в офицерском собрании и, после оживленной беседы о московских театрах и ресторанах, отправил для улаживания формальностей к старшему писарю Александрову, козлобородому сверхсрочному фельдфебелю, грозе, как впоследствии

выяснилось, не только «вольноперов», но и молодых подпоручиков. Недовольный моим поздним появлением в дивизионе, он сделал всё, что мог, чтобы на основании всевозможных уставов и параграфов затруднить мое зачисление в часть. Но, в конце концов, мы с ним поладили. Обошлось это недорого, всего только в десять рублей. Через час я выжженными пустырями летел уже на лихаче из Коломны в Голутвино, чтобы попасть на скорый московский поезд. Вечером, за чаем, я радостно рассказывал о своей окончательной удаче.

Приехав в Коломну, я застал там шесть вольноопределяющихся: четырех москвичей и двух Коломейцев. С точки зрения коломенских девиц, ежегодно с волнением ожидавших новых вольноопределяющихся, го-лутвенского буфетчика, рассчитывающего на их кутежи, и резвых лихачей, катавших веселые компании из Коломны в Голутвино и обратно, наш подбор оказался на редкость удачным.

Особенно полюбился Коломне помощник присяжного

поверенного, Михаил Дмитриевич Благой. Своими барскими телесами он, правда, был несколько рыхл и грузен, но зато подлинно красив тонкою, породистою красотою. Изящно владея онегинским жестом ласковой небрежности в обращении с женщинами и довольно большим доходом, Михаил Дмитриевич без труда кружил головы робким провинциальным невестам и самоуверенным коломенским львицам.

Вместе с ним попал в первую батарею кандидат прав, Сергей Дмитриевич Гончаров, высокий, стройный юноша с улыбающимися светлыми глазами, нервным, скептическим ртом и прекрасными пепельными кудрями, которые он, с досады, что по уставу нельзя было их оставить, обрил наголо машинкою. Человек очень горячий и крайне левый, всею душой ненавидевший «военщину», Сергей Димитриевич за несколь

ко недель до нашего выпуска из учебной команды накричал на совсем еще юного подпоручика, преподававшего нам материальную часть. Грозила весьма неприятная история, которую, однако, удалось замять. Гончаровскую вспыльчивость дивизионный врач объяснил эпилепсией, благодаря чему горячего правоза-ступника и социалиста, к его величайшей радости, окончательно освободили от воинской повинности.

Пробыв короткое время в батареях, мы были переведены в учебную команду, из которой вышли после шестимесячного обучения совершенными неучами. Произведенные после лагерного сбора в прапорщики запаса, мы покидали наш мортирный дивизион глубоко штатскими и в военном отношении совершенно безграмотными людьми. Винить в этом наших преподавателей было бы несправедливо. Уж очень нелепа была вся давно заведенная система совместного с новобранцами военного образования вольноопределяющихся. Привыкшие к научным занятиям «вольноперы», в несколько дней с легкостью одолевали ту несложную премудрость, которую фейервер-кера должны были изо дня в день вдалбливать безграмотным парням, с трудом усваивавшим устройство мортирного замка и природу воинской дисциплины. При такой постановке дела было в конце концов только разумно, что мы чинно сидели за партами лишь во время офицерских занятий (часа по два в день), все же остальное время валялись на койке в каморке фейерверкера Кулеша, беседуя обо всем, что угодно, кроме военной науки. Преподаватели учебной команды молодые поручики Иванчин-Писарев и Че-репашкин, с которыми мы встречались, как добрые знакомые на катке, в театре, главным же образом в доме одного коломенского купца, за дочерьми которого ухаживали как они, «господа офицеры», так и мы, «нижние чины», это прекрасно

знали. Но что им было делать: требовать, чтобы мы по шести часов

слушали фейерверковское пережевывание постигнутого нами курса, было бы прямым издевательством, разрешать же нам открыто не ходить на занятия было бы недопустимым нарушением воинской дисциплины. Оставалось только одно – смотреть сквозь пальцы на невинный обман, который спасал человеческий смысл нашей коломенской жизни, доставлял экономические выгоды Кулешу и некоторое нравственное удовлетворение нашим поручикам, которые, разрешая нам «дискуссионную койку», не только кокетничали перед нами своим либерализмом, но, быть может, искренно гордились им. Не знаю, как в других частях, но в пятом тяжелом мортирном дивизионе «либеральные веяния» веяли уже и в 1900-м году. Неспроста известный дивизионный остряк, штабс-капитан Головин, прощаясь с нами после полигонных занятий с подмигиванием спрашивал нас: «А вы, господа вольные бомбометы (мы все уже были произведены в бомбардиры), где сегодня обедаете? В кабаке или на своей конспиративной квартире?» Ни в какой конспирации он нас, конечно, не подозревал, но показать нам свою осведомленность в тайнах политической жизни ему, очевидно, доставляло некоторое удовольствие. Конечно, не все наши офицеры были либералами. Командир четвертой батареи, в которой служил Попов, был самым ярким представителем того лагеря, в котором каждый интеллигент считался крамольником и врагом отечества. Люди этого типа были, однако, еще менее способны к пробуждению в нас духа воинской доблести и дисциплины. Реальность этих, вероятно, неотменных основ народной и государственной жизни, я понял лишь на войне. Ее мне вскрыли молодые офицерские кадры, нравственный и профессиональный облик которых был определен военною и национальною катастрофою Японской войны. Думаю, что если бы накануне Великой войны было проведено радикальное омоложение ко

мандного состава и из него были бы удалены все те господа полковники и превосходительства, которые, по-помещичьи любя сытые лошадиные крупы в ден-› никах, ненавидели всякие технические усовершенствования вроде прибора Турова-Михайловского, то не случилось бы многого, о чем и поныне нельзя думать без горького отчаяния в сердце.

Год воинской повинности пронесся очень быстро. Ни войны, ни повинности мы, несмотря на то, что до исполнения Соловьевского пророчества:

И желтым детям на забаву Даны клочки твоих знамен…

оставалось всего только пять лет, так и не почувствовали. За исключением нескольких печальных инцидентов, из которых самым печальным было удаление нас, как нижних чинов, с бала в офицерском собрании (Боже, с каким стыдом и гневом спускались мы под влекущие звуки вальса с уставленной тропическими растениями и устланной красной дорожкой лестницы, по которой подымались в пух и прах разодетые и надушенные знакомые барышни и дамы), наша коломенская жизнь протекала не только весело и беззаботно, но, как мне сейчас кажется, даже поэтично.

С точки зрения рыжего учителя прогимназии Ка-пелькина, всю жизнь промечтавшего о переводе в Москву (еще страстнее мечтали о том же его некрасивые в веснушках дочери), в коломенской жизни не было ничего, хотя бы мало-мальски привлекательного. Но я, постоянно споривший с Капелькиным, и поныне вспоминаю Коломну почти с умилением. Как все уездные города, она была исполнена того непередаваемого настроения, что во всех нас, выросших в дореволюционной России, быть может, теснее всего связано с образом глухой станции после отхода почтового поезда: унылый буфетный прилавок, с никому не приглянувшимися бутербродами под сеткою,

граненый графин с рыжею водою, мухи на засиженных окнах, нагретый солнцем черный, клеенчатый диван, чахлая, пыльная пальма, а рядом со всем этим убожеством и скукою, иначе Россия не была бы Россией, задумчиво-страстный еще теремной девичий взор и вековая, то грустная, то залихватская песня с реки, с полей, не все ли равно откуда: – все русские песни с самого дна души…

В Коломне было все, чему полагается быть во всяком уездном городе: кусты запыленной акации перед вокзалом, станционные куры в них, маленький садик для субботних и воскресных гуляний, который за свою малость и круглость назывался в городе «блюдечком», обтыканный по снежному валу елками и мелко иссеченный «норвежскими» сизый каток, громогласный оркестр военной музыки, игравший летом на «блюдечке», а зимой на катке и грязноватый, но первоклассный по кухне трактир с шепелявым оркестрионом и вихрастыми лихачами у подъезда; был в Коломне, конечно, и «Кружок любителей музыки и драматического искусства», с непременным участником всех литературно-музыкальных вечеров, затянутым в шикарный, темно-синий мундир двадцатилетним гимназистом Доброхотовым – баритоном с демоническими кудрями и с шаляпинской фразировкой.

Хотя «Три сестры» еще не были поставлены в Художественном театре, их тоскующая мечта: «В Москву, в Москву…» уже

волновала провинциальные города России. Отблеск этой мечты освещал и нас, столичных вольноопределяющихся, каким-то таинственным ореолом. В ответ на лошадиный топот в окнах купеческих домов и казенных заведений неизменно появлялись женские лица, с глазами, явно устремленными не на привычного поручика впереди, а на нас, вольноопределяющихся. В женской душе Ко

ломны Московский университет явно торжествовал над армией, святая Татьяна – над Георгием Победоносцем. По некоторым сведениям, доходящим до нас с

› родины, положение теперь изменилось. Слышно, что социалистическая Россия страстно полюбила свою армию не как красную, а как русскую. Дай Бог. До чего хотелось бы под шапкою-невидимкою проехать с батареей по улицам Коломны и посмотреть на те лица, что появятся (не исчезнут ли?) в окнах, заслышав конский топот и солдатский шаг…

Само собой разумеется, что мы в несколько недель

1 перезнакомились со всеми наиболее интересными представительницами женского населения Коломны. Как только выпал снег, наш гид по части развлечений, Михаил Димитриевич Благой сорганизовал веселую, на двух тройках, поездку в Голутвинский театр. После театра мы вместе с актерами шумно ужинали в вокзальном буфете. Не убоявшиеся такого открытого кутежа

! девицы, две бойкие купеческие дочки, француженка, гувернантка их младшего брата и служившая в какой-то управе не очень молодая, но весьма развязная вдова (Михаил Димитриевич называл всех этих дам «Афродитами земными») были без ума от вечера. Еще бы: за ними, кроме нас, ухаживал сам Мурский, только что с подъемом «отрыдавший» Незнамова.

На ряду с «Афродитами земными» проживали в Коломне и «Афродиты небесные», сестры Цветковы, дочери иконописного по внешности протоиерея. Обе были на редкость хороши собою, в особенности младшая поражала совершенно особою, духовно-мадонни-ческою красотою. Жилось «поповнам», как их называла моя квартирная хозяйка, просвещенная судейская вдова, в их родном городе не легко. Отец, которого

! обе искренне чтили и который своих «девочек» горя-

чо любил, мечтал выдать их за священников; требовал сугубого уважения к своему сану и строгого поведения в обществе. Они же в матушки не собирались, пред

почитая, на худой конец, хотя бы учительство в глухой деревне. Так и носили они по тихому городу свою волнующую красоту, себе не на радость, а сходившим по ним с ума мужчинам

на Танталовы муки.

Не помню уже при каких обстоятельствах, но как-то Михаил Димитриевич побился об заклад с безусым еще поручиком Зарядиным, который был безнадежно влюблен в младшую Цветкову, что через две недели представит ему ее любовное письмо, или, по крайней мере, нежную записку. Как водится, вокруг этого пари тут же завертелось нечто вроде тотализатора: одни «ставили» на Благого, другие были уверены, что выиграет поручик. Михаил Димитриевич принялся за дело крайне энергично: в субботу не поехал в отпуск, в воскресенье пошел в церковь, простоял всю обедню рядом с поповнами и без труда познакомился с ними. С четырех до шести мерз в тонких лаковых сапогах на катке (на коньках он не катался), с катка проводил простых, веселых и очень разговорчивых сестер домой. Началось все как будто бы блестяще. Но дальше начала так и не пошло. Предоставленная нами двухнедельная отсрочка не помогла. Через месяц московский лев признал себя побежденным, выставил три бутылки шампанского и вернулся к своим Афродитам земным.

Зима подходила к концу. Учебная команда была распущена и мы были возвращены в свои батареи. Моей, второй, командовал полковник Котляревский, на службе вспыльчивый крикун, но по существу добрый, безвольный человек, которым в свою очередь командовали его взбалмошная жена и сверхсрочный фельдфебель Кунц, человек злой, придирчивый, но на редкость дельный и честный.

С «матерью командиршей» у меня быстро наладились прекрасные отношения. Случилось как-то так, что я стал исполнять ее поручения в Москве. По возвращении из отпуска я всегда сам приносил ей закупленные вещи и не раз оставался выпить стакан чаю,

а то и поужинать. Командирский повар прекрасно готовил пельмени, вареники и всякие иные малознакомые мне «этнографические» блюда, которые мне весьма нравились. В такой уютной, домашней обстановке и состоялось, не без посредничества командирши, нечто вроде договора между мною и полковником, которого вне службы все звали попросту Сергеем Андреевичем. Я обещал, что мы, вольноопределяющиеся его батареи, безукоризненно сдадим экзамен на прапорщика (за что командиру батареи по закону полагалось денежное вознаграждение), он же согласился при случае сказать фельдфебелю Кунцу, любившему измываться над вольноопределяющимися, чтобы тот не слишком налегал на нас. Наша батарейная служба устраивалась таким образом еще привольнее, чем учеба в команде. От пешего строя по утрам мы

были совсем освобождены. Приемкой при орудиях занимались раза два в неделю в каком-то холодном желтом манеже. Занятия эти были скучны и бессмысленны, зато весело было возвращаться с громкою солдатскою песнью. Был у нас в батарее искусный запевала, который, вроде Тургеневского рядчика, пел все с особым вывертом и переборами, были у нас и прекрасные свистуны.

Как только сошел снег и подсохли загородные холмы, начались частые конные учения. В дивизионе еще была крепка традиция конного артиллериста Воронцова-Дашкова, не любившего математической премудрости и требовавшего от батарейных командиров прежде всего лихих конных учений: безупречной посадки ездовых и ловкой работы «номеров». Такая кавалерийская постановка дела была мне как нельзя больше по душе. И сейчас с радостью вспоминаю первые весенние выезды на позицию: старшего офицера штабс-капитана Головина, великолепного барина в мундире с иерихонскою трубою, вместо глотки – любил саженей за тридцать здороваться с батареей – сверхсрочного фейерверкера Худыгу, словно вклеен

ного в седло, широкий фронт шести высоких, тупоносых мортир и моего горячего гнедого мерина Ветреного, знавшего конное учение много лучше меня и державшего дистанцию с точностью опытнейшего балетмейстера.

Взводы вытягиваются гуськом и строятся фронтом; интервалы между орудиями смыкаются и размыкаются; передки на ходу отцепляются от орудий и почти на лету снова нацепляются на орудийные крюки: все фигуры этой кадрили хороши, но нет лучше заворота всем фронтом, в особенности, если твое орудие стоит на заносящем фланге. Какая радость скакать перед уносами, слыша позади грохот своего орудия; ветер свищет в ушах, яркое, но еще холодное утреннее солнце слепит глаза, в груди, выкрикивающей вслед за Головиным команды, целый океан воздуха и голоса. Во всем теле восторг: от ловкого сидения в седле, от точного держания дистанций и интервалов, от пьянящего душу ощущения все совершеннее удающегося лада древней военной игры, так же не заменимой никакими спортивными суррогатами, как насущный хлеб не заменим никакими питательными пилюлями. Ничего не поделаешь: очевидно душу человечества сильнее всего влекут темные срывы и светлые вершины жизни. Бессмысленность войны человечество очень скоро поймет, но воевать, т. е. время от времени вскипать на весь мир своими первозданными, утробными страстями, вряд ли когда-нибудь перестанет…

Как только дивизионная канцелярия объявила в приказе о

дне выступления в лагерь, командиры батарей отпустили нас, вольноопределяющихся, в двухдневный отпуск в Москву. Примчавшись за час до выступления на курьерском поезде прямо в Можайск, мы сели на уже оседланных лошадей и двинулись походом в село Клементьево.

Не полюбив на войне войны, я неожиданно для себя самого крепко привязался к армии, проникся ее

воинским духом. Конечно, не все офицеры и нижние чины были по духу солдатами, но те из них, что ими подлинно были, были, быть может, лучшими людьми из всех, с которыми меня свела жизнь. Как хорошо, спокойно и даже радостно было мне двигаться с батареей по серым лентам Галицийских шоссе, обсаженным фруктовыми деревьями, по холмам меж вековых оливково-зеленых буковых стволов и чувствовать их кровную связь с Россией, их незлобивую готовность к кровавой борьбе и смерти, их мудрое знание того, что мир лежит во зле, в беде, которых ни руками не развести, ни словами не рассеять, но и их твердую веру в доброго Бога и Его праведный суд. Как хорошо, привычно, по-фронтовому уютно пах этот воинский мир лошадиным потом, продегтяренным ремнем, порохом от банников, махоркой, солдатской пищей и волглым от дождей шинельным сукном. Сейчас все солдатское – и воинский дух, и батарейный запах так близки моей душе, что я со стыдом вспоминаю, с каким неудовольствием шел жарким летним днем в походном порядке из Можайска в лагерь. Но как могло быть иначе? Солдат своей батареи мы не знали. К офицерам относились свысока, ценя за гуманность лишь тех, что потакали нашим штатским инстинктам. Ехать шагом тридцать верст, если не больше, в густой пыли рядом со своим орудием на жестком деревянном седле, в молчании и полной бездейственности, казалось верхом бессмыслицы. Чего бы проще – доверить батарею фельдфебелям, а нам, господам офицерам, в экипажах, шедших с обозом, быстро докатить до лагеря. Такого мнения держались не только мы, вольноопределяющиеся, но и большинство кадровых офицеров, начиная с командиров батарей, не приводивших своих желаний в исполнение только потому, что на это косо посмотрело бы высшее начальство, которое само, однако, неустанно циркулировало между Клементьевым и Можайском в колясках на резиновом ходу.

Скучнейшая дорога, широкая, пыльная, шедшая меж выжженых пустырей, чахлых перелесков и учебных полигонов, была непривычно оживлена: навстречу нам в облаках едкой желтой пыли шли те батареи легкой полевой артиллерии, на смену которым двигались наши тяжелые мортиры. То и дело

встречались веселые конные ординарцы, иные с туго набитыми почтою черными сумками через плечо. Вдруг налетала звонкая команда: «смиррр…но… глаза на ле…во, господа офицеры»… и мимо катилась запряженная гладкими рысаками нарядная генеральская коляска. Мелькали ярко-красные отвороты и белая замша перчатки у блестящего на солнце козырька. Встречались парные можайские извозчики, такие же, как на всех дорогах средней полосы России: худые, ломанные лошади, сплющенные рессоры, кривые кузова и «лихая» на кнуте езда, ради прибавки на водку.

Помню, как я к концу сбора ранним, свежим утром ехал на такой наемной паре в Можайск к поезду. Въехав в перелесок, возница неожиданно перевел лошадей в шаг и стал вертеть козью ножку. В это время на опушке, у дорожной канавы, внезапно появилась чисто одетая молодая баба с кошелкою в руках. Переглянувшись с ямщиком, она быстро подошла к пролетке и, лукаво заглянув мне в глаза, ласково проговорила: «Тебе, видно, не к спеху, ваше благородие, может подсобишь землянички набрать, с самого утра хожу – замучилась»… Смутившись, я сунул бабе полтинник в руку и толкнул старика в спину: «пошел, опоздаем к поезду».

Впоследствии я узнал из рассказов своих товарищей, что в перелеске по пути в Клементьево издавна процветала убогая аркадская проституция.

Часам к пяти вечера мы подошли к Клементьеву, большому селу, широко раскинувшемуся вокруг старинной усадьбы; здесь помещалось лагерное управление. В желтом доме, в полосатых маркизах террасы,

в вековых липах, в красноватых садовых дорожках, в пестрых, цветочных клумбах, приветливо глянувших на нас в раскрытые ворота, не было не только ничего специфически военного, но даже и ничего казенно-служебного. Весь этот патриархальный мир дышал таким безмятежным покоем, такою по-вечернему тихой, тургеневски-женственной негою, что военные занятия и стрельба казались в нем не только неуместными, но прямо немыслимыми.

Миновав лагерное управление, мы спустились к небольшой речонке. Перекинутый через нее мост был настолько стар и гнил, что мы предпочли брод. В 1911 г., когда я в третий раз отбывал лагерный сбор, старый мост был заменен новым, но настолько жидким, что мы по-старому продолжали переезжать речонку вброд. Брод имел, конечно, свои преимущества: возвращаясь с конного учения, в нем можно было напоить лошадей, вымыть и смочить колеса, а также поупражнять ездовых: спустить на

коренном уносе тяжелые орудия к речке и дружно выхватить его на другом берегу было все же труднее, чем просто переехать мост. Все это верно. Тем не менее, остается вопрос: почему под самым носом лагерного управления был выстроен мост, не пригодный для проведения по нему тяжелых орудий. Не потому ли, что жизнь, которою жило в своих флигельках высшее лагерное начальство, была по своему стилю в гораздо большей степени помещичьей, чем военною. Не даром говорят французы: "le style, c'est Thomme"1).

*) Стиль – это человек.

За речкою начинался лагерь: длинная, узкая полоса тщательно расчищенного леса с аккуратно расставленными в нем чистенькими офицерскими барачками и брезентовыми солдатскими палатками; по опушке леса шел широкий проспект – передняя линейка лагеря. На поляне, впереди него, располагался «парк»,

где на точно рассчитанных интервалах стояли орудия, а позади них – строго в затылок друг другу – серо-зеленые передки и зарядные ящики, тела орудий и дышла параллельно друг другу и земле. Как бы в особых графах этого вставленного в природу чертежа стояли денежные ящики, охраняемые неподвижными часовыми, в перетянутых белых гимнастерках. Этот, несмотря на Коломенскую подготовку, совершенно новый, четкий мир произвел на меня поначалу большое впечатление. Через несколько дней оно, однако, если не совсем рассеялось, то все же почти сошло на нет: выяснилось, что графически-математический стиль орудийного парка в очень малой мере и степени определял собою лагерную жизнь, которая во всех отношениях, не исключая и строевых занятий, гораздо больше подчинялась быту задней, чем чертежу передней линейки.

В наши страшные дни, грозящие всю жизнь превратить в переднюю линейку военно-концентрационного лагеря, я вспоминаю заднюю линейку нашего артиллерийского лагеря не только с благодарностью, но даже с умилением. Вдоль этой, по-житейски грязноватой и пыльной линейки уже с утра дымились батарейные кухни и сохли по кустам солдатские рубахи и портки. Здесь, нарушая иной раз лагерный устав, шла обычная, человеческая жизнь. Сюда сходились разбросанные по разным полкам и батареям земляки. Попыхивая по придорожной канавке козьими ножками, они здесь до вечерней зари толковали о своем, важном и настоящем. Здесь часто раздавались гармоника и ладная многоголосая песнь. Сюда же по ночам выходил с гитарою сильно выпивавший штабс-капитан Головин и, встав по уставу лицом в поле, безнадежно рыдал в пустоту свой любимый романс:

«И на шею тебе я одену ожерелье из жемчуга слез». В воскресенье по милой задней линейке степенно шагал слоноподобный вороной битюг, запряженный в ярко-красный возок зна

менитого московского булочника Д. И. Филиппова, а в особо жаркие дни проворно трусил перед синим сундучком худенький чалый меринок клементьевско-го мороженщика…

Согласен, ничего достойного умиления в этих, встающих в памяти картинах нет, и все же хочется воскликнуть: да здравствует задняя линейка жизни, единственное, что сейчас еще стоит защищать не только штыками и пушками, но даже и бомбами.

Я отбывал лагерные сборы трижды: в 1901-м, 1904-м и в 1911-м годах, до японской компании, во время нее и накануне Великой войны. Первый сбор остался у меня в памяти беспечным пикником; второй – тяжелым кошмаром; третий – началом возрождения русской армии. Не буду настаивать на безусловной объективности этих общих характеристик. Быть может, мой первый лагерный сбор оставил по себе такое светлое воспоминание потому, что мне шел тогда восемнадцатый год, потому что мне покровительствовал мой милый командир батареи, главное же потому, что к нам никто из начальства не относился, как к нижним чинам, но никто и не возлагал на нас никаких офицерских обязанностей.

Жили мы в лагере не в палатках, как солдаты, а в деревянных офицерских барачках. Нам полагались (конечно, не в уставном, а лишь в бытовом порядке) и денщики, и верховые лошади для прогулок. Прекрасно помню веселую поездку в Бородино и невнимательный, не взволновавший ни ума, ни сердца осмотр бранного поля. Иной раз мне кажется, что многие из красных командиров, воюющих сейчас против Гитлера, чувствуют себя в гораздо большей степени законными наследниками и ответственными держателями русской славы, чем чувствовали себя ими

мы, вольноопределяющиеся пятого мортирного дивизиона в 1901-м году. Как почти вся интеллигенция начала века, мы ощущали русскую историю «профети-чески», как грядущую революцию, мало интересовались вопросами внешней политики и были преступно равнодушны к славе своей родины. В конце концов, мы ведь и Кутузова считали бессмертным только потому, что его гениально написал Толстой.

Наша лагерная жизнь начиналась в дни, когда не было особых занятий, скорее по-дачному, чем по-военному, часов в 7, а то и в 8 утра. Разбуженные денщиками, мы еще в полусне

закуривали. Накурившись и обменявшись утренними мыслями о вчерашнем дне, мы шли на крыльцо умываться, где нас уже ждали денщики с полотенцами у табуреток с тазами. Сильная струя холодной воды приятно лилась на шею, голову и грудь. Вокруг крыльца на легком ветру шепотно шелестели молодые березки. В такт покачивающимся веткам на вытоптанной перед крыльцом площадке и на деревянной лесенке переливалась сетчатая зыбь сине-желтых пятен. Голубело высокое небо; в нем нежно истаивали быстрые, перистые барашки и звенел жаворонок. Пахло жасмином и самоварным угольком. В лесу за задней линейкой свирелью заливалась иволга… Мы не спеша распивали чай со сливками и свежими калачами. По пути на занятия к нам подходили вольноопределяющиеся и офицеры других батарей выпить за компанию еще стаканчик чаю под последнюю папиросу… На земле мир и в человецех благоволение.

Занятия в парке были и непродолжительны, и несложны. Стоя за хоботами своих орудий, мы механически повторяли команды занимавшегося с нами офицера и время от времени по его же приказу проверяли точность наводки и правильность трубки. Проверка большого смысла не имела. Опытные наводчики, да и все «номера», знали свое дело много лучше нас.

Основным содержанием занятий было, что греха

таить, как для нас, так и для солдат, ожидание обеда, приятное ощущение стекающего к нему времени. Обедали мы в офицерском собрании, в просторном, прохладном помещении. Здесь, у буфетного прилавка, «сбор всех частей» начинался чуть ли не за час до обеда. От нечего делать каждый спешил заблаговременно пропустить по одной, другой, а то и третьей рюмке и закусить селедкою, или соленым рыжиком. После обеда расходились не сразу. Кто пил чай «с лимончиком», кто кофе «с коньячком». Разговоры оживленно вертелись или вокруг любовных приключений, причем рассказывались крепкие анекдоты, или вокруг предстоящих производств и награждений. Когда все уже было съедено, выпито и рассказано, когда ничего не шло больше в глотку и ничего не просилось с языка, все шумно вставали и не спеша, потягиваясь, позевывая, позвякивая шпорами и похлестывая стэками по голенищам сапог, расходились по своим баракам. – Над военным лагерем повисала обломовская сонь.

К четырем часам крылечки опять оживали. Снова появлялись самовары; в жару – херес с сельтерской и лед. От пяти до семи шли опять занятия; иногда, как и утром – в парке, а иногда теоретические – в собрании. Во время этих занятий все с нетерпением ожидали ужина. После ужина на дорожках лагеря

появлялись оседланные лошади. Изящно играя плечами и бедрами, господа офицеры отправлялись в Клементьево послушать музыку, потанцевать, поухаживать и поиграть в карты. Мы, нижние чины, в Клементьевское собрание не были вхожи, там царил генералитет.

Парковые занятия заменялись иногда конными учениями, мало чем отличавшимися от коломенских. Весь смысл лагерного сбора сводился, таким образом, только к учебным стрельбам, в особенности к тем ответственным, на которых присутствовало высшее военное начальство.

С радостью вспоминаю суету, волнение и распекание перед этими стрельбами; их красоту, их блеск, наблюдательную вышку, огромный флаг на ней, генеральские мундиры, светлые дамские платья и зонтики, подзорные трубы, бинокли, музыку и себя самого в качестве ординарца генерала Иваненко.

Имели ли эти стрельбы большое учебное значение – мне судить трудно. Все же склонен думать, что лишь очень малое: все полигонные дистанции были спокон веков измерены, все цели, появлявшиеся всегда в тех же ложбинках и перелесках – пристрелены, все неожиданности исключены. Сами батарейные командиры смотрели на большие учебные стрельбы прежде всего как на военные парады. На парадах не работают и не экспериментируют, а лишь выставляют на показ давно усвоенное мастерство. Я сам трижды стрелял на Клементьевском полигоне – все три раза вполне удачно; тем не менее в Галиции сразу же выяснилось, что я ничего не смыслю в стрельбе. Но что говорить обо мне, прапорщике-философе, когда наш командир, старый кадровый полковник, пристреливаясь во время первого боя на Ростокском перевале, выпустил по своей собственной пехоте несколько десятков шрапнелей. Это ли не доказательство, что в наших блестящих учебных стрельбах было больше показного парада, чем реальной работы.

Забегая вперед, должен сказать, что после отбытия лагерного сбора, я сразу же уехал в Гейдельберг изучать философию. Там и застала меня Японская война. Далекая и непопулярная, приветствуемая разве только в революционно-пораженческих кружках, к которым я не принадлежал, она переживалась мною как-то весьма отвлеченно. Мысль о призыве не приходила в голову. И вдруг, среди семестра, бумага из консульства в Карлсруэ с приказом немедленного возвращения в Россию. Ответить на вопрос, вызывался ли я для отбытия очередного лагерного сбора, или

для зачисления в действующую армию я, странным образом, не могу. Если предположить первое, то непонятно, почему бумага

оказалась для меня полною неожиданностью; если второе – то еще непонятнее, почему она не произвела на меня ни малейшего впечатления. Скорее всего, что из текста полученной бумаги и из моего разговора в консульстве нельзя было сделать ни того, ни другого вывода. Шанс попасть на фронт, во всяком случае, имелся, но он меня не радовал и не печалил, вероятно, потому, что со словом война я не связывал никаких определенных представлений. Блаженное было время. Как страшно во зле состарился мир!

По прибытии в Москву я сразу же отправился к своему воинскому начальнику в уездный город Бронницы, в котором в то время было не больше трех тысяч жителей. Среди офицерства Бронницы, где всегда стоял парк коломенского мортирного дивизиона, пользовались весьма дурною славою. Командиры парка там постоянно спивались, а один даже лишил себя жизни от безысходной бронницкой скуки.

Воинский начальник, знакомый мне еще с 1901-го года, высокий старик с длинною сиво-желтою от табака бородою, с громадными мешками под глазами, был на редкость живым воплощением мертвящей провинциальной тоски. Ему было решительно на все и на всех наплевать, так как он не видел ни малейшего смысла ни в своей собственной жизни, ни в жизни кого-либо из других смертных. Единственною и то тусклою радостью его пребывания на земле было причинение неприятностей людям, с которыми ему приходилось сталкиваться по службе. В грязной канцелярии этого озлобленного служаки я узнал, что коломенский мортирный дивизион уже погрузился, а дивизионный парк ждет приказа о погрузке, я же перечислен в другую часть, пока что стоящую в клемень-евском лагере, куда мне и надлежит немедленно явить

ся. Осведомившись, кто командует парком, и услышав, к своей большой радости, что его недавно принял старший офицер второй батареи, только что произведенный в подполковники, Головин, я в самом радужном настроении отправился к нему.

Головин сидел за большим столом в просторной парковой канцелярии, завешанной и устланной новыми военными картами в темно-коричневых пятнах. Узнав, что я только что из заграницы, он поспешно закрыл окно на улицу и, закурив папиросу, начал с жаром расспрашивать меня, что говорят в Европе о войне и какого ожидают конца. Несмотря на свой мундир, Головин весьма откровенно громил правительство, возмущался всюду господствующим разгильдяйством и не без юмора доказывал, что трудно выиграть войну, когда мобилизация проводится чучелами, вроде нашего воинского начальника, а карты присылаются в

части такими загаженными и подмоченными, что их приходится высушивать, как детские пеленки.

Н-ая артиллерийская бригада, в которую я был назначен, стояла лагерем не в полном составе. Две или три батареи находились уже в пути на фронт. Батареи состояли всего только из четырех старотип-ных орудий, замена которых более усовершенствованными ожидалась со дня на день. Конский состав был тоже не полон и из рук вон слаб. Все это, вместе с неуверенностью в завтрашнем дне, создавало настроение, при котором всем как-то не работалось. Батарейные, один как другой, считали, что в последнюю минуту все равно ничему не выучишься, что заниматься при старых орудиях накануне получения новых – бессмыслица; гонять же лошадей на стрельбу и конное учение, рискуя, что они перед самым выступлением спадут с тела, – прямое безумие. Кое-какие занятия, конечно, шли своим чередом, но на них не производилось ни малейшей работы. Страшно по

думать, какой позор обрушился бы на Россию, если бы мы вступили в Великую войну, не пережив поражения 1905-го года.

Я никогда не изучал вопроса о том, что после злосчастной японской кампании было правительством предпринято для повышения боеспособности русской армии, но по личному опыту могу сказать, что дух лагерного сбора в 1911-м году выгодно отличался от того, чему мне пришлось быть свидетелем в 1904-м. В 1911-м году в Клементьеве велась живая, напряженная и весьма интересная работа. Упражнения при орудиях в парке и конные учения были почти совершенно сведены на нет. Все было сосредоточено на учебной стрельбе. В качестве большой новости была введена разведка. До сих пор с неприятным смущением в душе вспоминаю впервые полученное мною от внезапно прибывшего на полигон начальника лагерного сбора, генерала Булатова, задание исследовать указанную мне на карте местность: нанести позиции для батарей и для парков, выяснить количество жителей, лошадей, рогатого скота, фуража и колодцев в прифронтовых деревнях.

В чтении карт я был не очень тверд. Быстро и небрежно набросанное мне его превосходительством расположение наших и вражеских частей я от волнения и растерянности сразу не запомнил и потому, сев на лошадь, с места же двинулся со своими двумя ординарцами в неверном направлении. Доклад я представил весьма недостаточный, за что генерал, хорошо усвоивший себе огорашивающие приемы известного правдолюба и правдореза Драгомирова, подверг по окончанию занятий не только меня, но и моего командира вполне справедливому, но уж

очень грубому, разносу. Генерал Булатов, как и инспектор артиллерии, высокий, выхоленный, изысканно-учтивый, а иногда и изысканно-ядовитый профессор военной академии генерал Тихонравов, были прекрас

ными теоретиками. Их разборы стрельб доставляли даже мне, никогда не увлекавшемуся теорией, некоторое удовольствие. Тихонравовские анализы были много приятнее тем, что профессор никогда не повышал голоса, в то время, как похожий на усатого бульдога желтолицый бурят Булатов, при случае, и со старых полковников, что называется, «спускал штаны».

В 1911-м году полигонным обсуждением стрельб дело не кончалось. Полигонные разборы разбирались еще и по-батарейно, под руководством старшего офицера, а то и самого командира, полковника Щеглова, о котором я сохранил наилучшее воспоминание. Еще перед началом занятий он заявил нам, что просит господ прапорщиков как можно ближе познакомиться с людьми своих взводов; узнать, каких они губерний, чем занимаются дома, женаты или холосты, грамотны или нет. Я с радостью выполнил его требование и сразу же оценил его разумность. В 1911-м году я, главным образом, потому с гораздо большей охотой ездил на стрельбы, чем в предыдущие сборы, что твердо в лицо и по имени знал своих нижних чинов и чувствовал себя среди них, как в своей семье. Как легко было бы уже раньше ввести в армии все эти разумные меры. Очевидно верно: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Слава Богу, что после Японской войны высшие власти перекрестились и взялись за ум. О том, как новая постановка дела отразилась на духе армии в Великую войну, речь еще впереди…

Среди воспоминаний о печальной памяти 1904-м годе, особенно яркими и позорными пятнами горят два дня, вернее вечера.

Большой танцевальный вечер, почти бал, начавшийся после окончания скачек с традиционного ужи

на в офицерском собрании, развертывался с необычайной веселостью. Бригадный оркестр гремел громче, чем нужно, изо всех сил стараясь раздуть плясовые вихри в ногах и душах танцующих. С каждым танцем настроение в зале подымалось все выше и выше: к полуночи кавалеры уже не подходили к дамам, а с каким-то особым раскатом, как будто на коньках, подлетали к ним. Полковые дамы (жену ветеринара, мнившую себя великой артисткой, я встретил в последний раз в 1920-м году оборванную и голодную на Страстном бульваре, она сообщила, что муж расстрелян и просила по знакомству устроить ее в какой-нибудь

районный театр) подымали руку на плечи своих кавалеров с совершенно неописуемой небрежностью и истомой. Матерые донжуаны, по Чехову «сеттера», все чаще умыкали своих дам в черную после бальных огней глубину парка. Среди них особою «мертвою» хваткой славился подполковник Толмачев, о котором рассказывали, что, будучи в молодости страшным пьяницей, он протрезвляться всегда приходил на конюшню. По его приказу солдаты крепко приторачивали его к неоседланной лошади и, нахлестав, пускали ее в поле. Через четверть часа «всадник» приносился карьером к конюшням. От хмеля не оставалось и следа.

Чуждый всеобщему веселью, мрачною тенью по залу и саду маялся лишь один человек, полковник Воронихин. В его молодую жену был с успехом влюблен хорошенький поручик. Я был единственным поверенным несчастного полковника, честная, простая и горячая душа которого никак не справлялась с нахлынувшим на него несчастьем.

Боясь, как бы не вышло непоправимого скандала, я упросил полковника пройтись со мною прогуляться. Гуляли мы с ним до самого рассвета.

Когда мы вернулись в собрание, там дым стоял коромыслом. В настежь раскрытых дверях фыркала

выигравшая скачки кровная гнедая кобыла, которую несколько человек старались напоить шампанским. Недавно переведенный в нашу часть из глухой провинции меланхоличный штабс-капитан неистово размахивал дирижерскою палочкой, требуя, чтобы музыканты играли «его душу» и грозился всех поставить под ранец, если он снова услышит вальс. Знаменитый в будущем актер Малого театра, красный от вина и напряжения, расстегнув мундир, кричал на весь зал свой коронный номер – стихи Огарева: «Чего хочу? – всего. О, так желаний много!»… Прекрасный в трезвом виде, очень серьезный строевой офицер водил на веревке «святые мощи» – длинного малоголового подпоручика и кропил из никелированного ведра по всем углам и по задрызганным столам святою водою вдовы Клико…

Я ни минуты не думаю, что во время войны офицерам, солдатам да и всем другим нельзя ни вкусно есть, ни весело жить, ни танцевать и ухаживать – все это дело житейское. В 1914-м году, наша на голову разбитая Макензеном под Горлицами 12-я Сибирская стрелковая бригада вела во время своего вынужденного месячного отдыха в Куртенгофе под Ригою очень веселую и праздную жизнь. Гостиница «Рим» доставляла нам прекрасные вина, закуски и дичь. Так же, как и в Клементьеве, по вечерам гремел оркестр и кружились в собрании пары. Тем не

менее все это было совершенно не похоже на Клементьево 1904 года. В каком-то сниженном и совсем не патетическом смысле наше куртенгофское веселье было все же не-кииим «пиром во время чумы». О, конечно, без малейшего упоения бездною, но со скорбным прислушиванием к ее приближающемуся гулу. В Клементьеве к этому гулу никто не прислушивался. Страшные сведения с фронта не вызывали, конечно, в офицерстве! того злорадства, с которым они встречались в радикальных кругах гейдельбергского студенчества,

но они не вызывали в нем и живой патриотической тревоги. Судьбами России в Клементьеве мало кто болел. И уже во всяком случае никто из нас, господ офицеров, не испытывал ни малейшего стыда перед мужиками-солдатами за ту нерадивость и неумелость, с которою мы защищали народную честь и державные интересы России на Дальнем Востоке.

Японская война стояла в центре внимания нашей лагерной жизни всего только один раз, в вечер чествования штабс-капитана Ковалева, отправлявшегося добровольцем на фронт.

С утра душила сухая жара. Занятия были отставлены. Солдаты спасались под запыленными кустами. Лошади с трудом дышали под навесами. Мой сосед по бараку, тот самый штабс-капитан, который требовал от оркестра исполнения своей души, сидел без рубашки в одних кальсонах на своей койке и дуя бутылками мятный квас, без всякого выражения тупо барабанил: «жил-был поп, у попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил и в землю закопал, и надпись написал: жил-был поп, у попа была собака» и т. д. без конца.

Я с газетой в руках, полной нерадостных известий, сидел в березках под крыльцом, на котором несколько приятелей по маленькой резались в преферанс. В предчувствии хорошего ужина, обильного шампанского и в качестве веселого номера застольной речи командира бригады, мы все, как манны небесной, ждали освежающей грозы. Она разразилась лишь к вечеру, но зато со страшною силою. Потоп-ный ливень закончился злым градом, сразу же превратившим летний день в позднюю осень. К восьми часам вечера мы шли в собрание по совершенно размытым дорожкам. Моросил унылый дождик. Мой штабс-капитан был счастлив: из своей провинции он вывез убеждение, что забористо и «с пользой для

организма» можно пить только холодными, дождливыми вечерами.

В собрании было очень оживленно и шумно. Кроме своих офицеров, было много приглашенных из других частей. Уверен, кого бы со стороны ни спросить, кто здесь доброволец, никто не

указал бы на штабс-капитана Щукина. Его большое, но дряблое тело, его мясистое, кислое, заросшее до скул бородой лицо никак не вязалось с представлением о войне и подвиге.

На председательском месте за обеденным столом сидел командир бригады, известный совершенно непонятным пристрастием к произнесению прочувствованных застольных речей: он не обладал ни тонкостью чувств, ни даром речи. Хорошо помню его квадратную лысину, его грузные плечи и пухлые, красные пальцы на скатерти. Помню все, кроме лица. Рядом с его превосходительством сидел известнейший не только среди московского офицерства, но и среди московских артистов штабс-капитан Гессель, не только остроумнейший собеседник и блестящий рассказчик анекдотов, но и первоклассный актер, не раз, с риском сесть под шары, выступавший вместе с профессионалами казенной сцены на Нижегородской ярмарке. В связи с его местом за столом и его причастностью к литературе, на него само собою падала задача подсказывать его превосходительству нужные слова, когда оно по своей привычке начнет запинаться. Как и ожидалось, генерал, как только наступил соответствующий момент, величественно приподнялся со своего места и, подняв бокал, начал одну из тех застольных речей, от которых всем сразу же становится как-то не по себе. Тут был и щит победителя, на который оратор подымал шестипудового капитана, и Георгий Победоносец, пронзающий копьем желтого, косоглазого дракона, и лицемерная похвала доблестному офицеру, нашему славному капитану

Щукину – одним словом все, без чего не обходится ни одна торжественная начальническая речь.

Отговорив, генерал в приятном чувстве удачно исполненного долга достойно опустился на стул. Нарушенное его речью веселье снова заходило по залу.

Когда шампанское было снова разлито по бокалам, со своего места поднялся для ответа его превосходительству герой торжества. Он был сильно на взводе и, кроме того, в том отчаянном настроении, при котором человеку нечего терять. «Ваше превосходительство, – начал он высоким, бабьим голосом, – позвольте от души поблагодарить вас за оказанную честь и начальническое доверие, но позвольте и по совести доложить: отнести ваших слов к себе не смею». Это было настолько неожиданно, что все разом повернулись к оратору. Честный и прямой штабс-капитан действительно не вынес незаслуженной похвалы и с пьяными, но чистосердечными слезами на глазах покаялся перед всеми нами, что вызвался добровольцем на фронт не ради родины и Георгия, а исключительно из-за повышенного

оклада, так как у него больная жена, дети и куча родственников на шее.

Скажут: достоевщина. Но разве ее так мало в России, что приходится ей удивляться? Разве мы не читали еще недавно в «Известиях» покаянного письма товарища Тишкина, председателю райисполкома, кончавшегося словами: «Прошу нам помочь и нас наказать немедленно, сами выйти из положения не можем, пьем и грабим».

Что отвечал генерал на покаянную искренность своего героя, я не помню. Как только ужин кончился, я ушел в свой барак спать. На следующий день за обедом товарищи рассказывали, что несколько офицеров отправились в деревню Вандово будить прачечное заведение, но что девушки не вышли. После этого господа офицеры ударили в пожарный колокол, но, испугавшись своей смелости, как школьни ки бегом пустились к лагерю.

Русская армия, ее Верховный главнокомандующий, ее доблестные офицеры – достаточно вспомнить Крыленковскую расправу с генералом Духониным и эвакуацию Крыма – такою страшною ценою заплатили за грехи прошлого, что для каждого русского человека, в особенности для русского офицера, было бы величайшим счастьем не возвращаться памятью к тому темному прошлому, поругание которого все еще продолжает быть любимым занятием всех злостных хулителей русской чести. Но что же делать? Как из песни не выкинуть слова, так и из революционной трагедии России не выкинуть вины разбитой японцами старорежимной армии.

Необходимость внутренне осилить всё, что с нами произошло, неумолимо требует от нас осознания и этой вины. Единственное, что каждый из нас, бытописателей бывшей России, должен строго требовать от себя, это то, чтобы в его воспоминаниях была правда, а в обличениях не злоба, а скорбь. Хочется верить, что эту правду и эту скорбь услышат в моих воспоминаниях и те белые офицеры, которым уже давно ясна черта, отделяющая священную белизну первопоходной идеи от той нудной белоэмигрантской идеологии, которая в своей фарисейски-мелочной ненависти к советской власти нераскаянно славит не только подвиги, но и грехи прошлого, мешая тем самым возрождению России.

Глава IV ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЕВРОПОЙ Гейдельбергский университет. Прусские поместья.

За время отбывания воинской повинности я пришел к заключению, что и сцена и живопись для меня не самое главное, необходимо идти в университет, чтобы понять… Что?.. На вопрос матери у меня был только один ответ: «Все: мир и его законы, жизнь и ее смысл».

«Проклятыми вопросами» я начал мучиться уже в школе. В Коломне муки мои еще усилились. Узел их был в том, что я, как оно и полагается, с 17-ти лет был страстно влюблен; теоретически же не менее страстно увлечен аскетической проповедью Толстого. Из столкновения влюбленности и толстовства в душе и уме подымалась страшная путаница. С задыхающимся сердцем несся я, бывало, в воскресный отпуск в Малаховку. Вихрем влетев в переднюю и наскоро поздоровавшись с родителями, я быстро вбегал в светелку нашей дачи, которая освещалась все теми же итальянскими глазами; сердечно пожав руку Людмилы, я тут же – в который раз – начинал все тот же нескончаемый разговор о любви в духе послесловия к «Крейцеровой сонате». Маята эта длилась и субботу и все воскресенье до позднего вечера: последний поезд в Коломну уходил в час ночи.

Со щемящею тоскою по чему-то, снова не осуществившемуся, лежал я с открытыми глазами на верхней лавке тускло освещенного стеариновою све

чею грязноватого вагона третьего класса и с отчаянием думал над незадачей своей жизни… Да, верно, – говорил я себе: – любовь свята, а страсть грешна; этому учит не монах, не отшельник, а Толстой, которого Мережковский называет «тайновидцем плоти», но как же тогда жить. Правда, другой певец плоти, Ницше, защищает даже и сладострастие, но до чего же зато и груба его любовь, до чего непонятно его наставление не забывать плетки, когда идешь к женщине. Вместе с именами Толстого и Достоевского, Ницше и Мережковского, под стук и перетряс вагона, в сознании вертелось еще одно, уже давно всеми забытое имя. Мы с Людмилой только что прочли роман Шарапова «Кружным путем». Если не ошибаюсь, в этом романе, произведшем на нас очень большое впечатление, грешный соблазн эротической мечтательности противопоставляется

таинству брака, благодатная сила которого и возвращает заблудшую женщину сложными кружными путями к ее законному мужу. Не одно воскресенье проговорили мы с Людмилой о том, как же брак может быть таинством, когда плотская страсть есть грех… А ведь и Шарапов и Толстой – христиане. Правда, один – узкий церковник, другой – верующий враг церкви; как же в сущности относится христианство к церкви? Так наши личные чувства неожиданно приводили нас к постановке последних нравственных и даже богословских вопросов. Думая над ответами, мы лишь глубже запутывались в наших вопросах. В отчаянии я решительно заявлял: «Нет, надо учиться – без философии жизни не осилишь». Но – как?., где? Аттестат реального училища не давал права поступления на философский факультет, а на дополнительную сдачу экзаменов по древним языкам при округе я, несмотря на доводы собственного же разума, никак не мог решиться. Во мне все рвалось в высь, в даль, в жизнь, а тут сиди и корпи над словарями и грамматиками…

Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Впервые побывавшая заграницей мать вернулась в восторге от Европы и решила, что философию пра-

* вильнее всего изучать в Германии.

Посоветовавшись с доцентом московского университета Борисом Петровичем Вышеславцевым, я остановил свой выбор на Гейдельберге и, не долго думая, решил запросить ректора, не могу ли я в порядке исключения быть немедленно же принятым на философский факультет с аттестатом реального училища. Очевидно, моя твердая уверенность в своем

? праве на изучение философии произвела на чье-то

I чуткое ухо должное впечатление. Секретариат ответил согласием исполнить мою просьбу с условием, что я перед докторским экзаменом представлю дополнительное свидетельство о сдаче экзамена по латыни. Я был счастлив. В том, что я за четыре года университета с легкостью выучу латынь и, если понадобит-

¦ ся, то и греческий, у меня не было никаких сомнений.

Хоть я и рад отъезду, сердце все же разрывается при мысли о разлуке с Людмилой. Нам надо непременно еще раз обо всем «по-настоящему поговорить». Но как это сделать? Она живет уже не у нас, а в своей семье. Мачеха всегда дома; главное же – ее стережет душевно больной и зло ревнующий ее ко мне брат. Несмотря на все трудности, дело все же

‹ устраивается. Мы прощаемся, т. е. выясняем, в связи с выяснением наших отношений, все мировые вопросы в запущенном саду на Кудринской-Садовой. Через покосившийся,

полуразваленный сметенною с дорожек прелою листвою забор нам из беседки видны высокие, уже обнаженные деревья большого сада «Вдовьего дома». Над пресненски-грузинскими низинами

! в печально-свинцовой мгле тускло догорают красные полосы заката. «Ну, до свиданья, до весны!» Я целую Людмиле руку, она смущенно наклоняется над моим лбом. Это наш первый поцелуй…

В этом почтительном, хотя и горячем поцелуе на утренней заре моей жизни было что-то общее с тем поцелуем, которым в «Менуэте» Мопассана в осеннем парке на закате своих дней нежно обмениваются старичок в парике и его жеманная подруга с мушкой на щеке. Не думаю, чтобы мы с Людмилой представляли собою исключение. В наше время юношеская любовь была еще тиха и целомудренна.

Варшава. Быстро выйдя из вагона и сдав ручной багаж на хранение, я весело вскочил в первую приглянувшуюся мне пролетку. Моя просьба показать мне главные достопримечательности города (не остановиться в Варшаве я не мог: Людмила носила польскую фамилию, ее отец часто играл Шопена и я только что прочел «Без догмата» Сенкевича), а затем отвезти в хорошее кафе с музыкой – мне еще в Москве рассказывали, что Варшава богата совершенно иными кафе, чем Филиппов, или даже Сиу – весьма обрадовала сидевшего на козлах парня, сразу смекнувшего, что с легкомысленного безусого пана можно будет сорвать хорошую цену.

От первого знакомства с Варшавой в памяти осталось немного: скорее некая музыкальная тема, чем зрительный образ, связанный с ее достопримечательностями. Передать музыку словами почти невозможно. Поразило меня то, что вместе с тревожным ощущением прельстительно-любовной темы польской столицы в душе поднялась с неиспытанною до тех пор силою и боль первой разлуки с Людмилой.

Что осталось в глазах? Почти ничего: всего только туманы и бесконечные уличные фонари; даже смягченные уже на европейский лад красными и желтыми абажурами ресторанные лампы вспоминаются горящими не в ресторанном зале, которого перед гла

зами нет, а в сизо-мглистых сумерках печально вечереющего Лазенковского парка. Эту печаль – единую в небе, в блоковских стихах и в моей смятенной душе рвут в клочья никогда раньше не слышанные венгерские скрипки.

«Маршалковская» моего первого вечера в Европе (Варшава

показалась мне Европой) до сих пор вспоминается самою светлою, оживленною и влекущею из всех улиц мира, что довелось впоследствии видеть, не исключая и ослепительных Елисейских Полей во время последней всемирной выставки 1937 года.

Поздно заснув в душном вагоне, я проснулся от кондукторского фонаря: «Через полчаса граница». Быстро нацепив воротник и кое-как завязав галстук, я поспешил в коридор, где уже царило то радостно-приподнятое и все же беспокойное настроение, которое в дни моей молодости во всех людях вызывало магическое слово «граница». Вот и Торн. Долгожданная «заграница», вернее Европа, неожиданно просто и прозаично входит в образе сосредоточенно-деловитых и самоуверенно-отчетливых немецких чиновников. После быстрого и непридирчивого осмотра багажа, я независимо гуляю по чужой земле, по ярко освещенным, тщательно выметенным платформам Торна, среди размеченных соответственными надписями станционных зданий. Пути от Торна до Берлина, если не считать с трудом пересиливающей густой утренний туман – белой по черному фону – надписи: 8с11пе1(1етиЫ, не помню. Осталось только общее впечатление не русской разделанности земли, геометрической расчлененности пейзажа и заботливой устроенное™ жилья, станций, деревень, городов. Навсегда запечатлелся в мозгу лишь въезд в массивный, шумный, по всем направлениям перечерченный освещенными улицами, чернильно-лиловый под дождем Берлин, к центральному вокзалу которого поезд долго несся многоэтажными облезлыми задворками, мимо

многолюдно-унылых платформ с красно-желтыми циферблатами.

Получив от полицейского номерок, носильщик, не говоря худого слова, повел меня (никакого московского ряда и крика) к предназначенному мне судьбою вознице, – извозчиком его не назовешь. На высоких козлах допотопно-громоздкой кареты, запряженной куцой клячей под черной кожаной попоной, восседал, посасывая сигару, багровый сивоусый старик в помятом цилиндре и потертой ливрее с обшитым желтою тесьмою, вместо галуна, воротником.

Еле удостоив меня поклоном, старик медленно растормозил неизвестно для какой надобности заторможенную карету и, стегнув длинным английским кнутом свою перетруженную лошаденку, топотно затрусил по мокрому асфальту к рекомендованному мне отелю на Доротеенштрассе.

Музеи и памятники, которые я осматривал целый день, как-то не произвели на меня большого впечатления. Было, вероятно,

около девяти вечера, когда, умывшись и принарядившись, я вполне самостоятельным джентельменом с непривычным ощущением довольно больших денег в кармане, вышел из отеля с намерением пройтись по знаменитой Фридрихштрас-се и посидеть в отмеченном у Бедэкера звездочкой кафе «Бауер». Казалось бы, чего лучше. Иди, смотри, слушай, наслаждайся, мечтай – вся жизнь у тебя впереди. Вышло, однако, все совершенно иначе, чем ожидалось. На залитой витринными огнями многолюдной Фридрихштрассе, в тисках видимо усталой, куда-то спешащей и все же останавливающейся чуть ли не у каждого окна толпы, мне сразу стало как-то не по себе. От уныло-назойливых проституток, от презрительно-величественных портье у занавешанных входов в рестораны и варьете исходил какой-то нудный, бесстыжий ток. Что-то бесконечно жалкое чувствовалось в старых газетчиках, настойчиво выкрикивав

ших сенсационные заголовки ночных изданий и в опрятных старушках с никому не нужными, но все же почему-то покупаемыми букетиками мелких роз. Со щемящею тоскою в душе добрался я до своего кафе, посидел в нем с час и, с неизвестным мне до тех пор чувством покинутости и одиночества, вернулся в гостиницу.

После страшного ночного Берлина приветливый, утренний Гейдельберг показался мне прелестною, сказочною идиллией.

Веселый носильщик сразу же правильно оценивший мои финансы, быстро понес мои чемоданы в находившийся в двух шагах от вокзала «Баварский двор». Портье так же быстро и так же ни о чем не расспрашивая, назначил мне номер в третьем этаже, в который тут же меня и повел расторопный коридорный в желтой жилетке и зеленом фартуке.

Распахнув окно небольшой, но вполне благоустроенной комнаты, я, как на ладони, увидел перед собою весь Гейдельберг. Направо от меня возвышались подернутые легким туманом Оденвальдские горы. Среди них живописно гнездился знаменитый Гей-дельбергский замок со своею древнею круглою башнею. Налево быстро нес свои глинистые воды широкий от долгих дождей Неккар, перехваченный старинным, горбатым мостом. По параллельной Неккару главной улице неторопливо катился маленький открытый трамвайчик. Через новый мост у вокзала пыхтел совершенно игрушечный паровозик с двумя такими же игрушечными вагончиками. Среди красных черепичных крыш тесного города возносилась в перламутровое небо готическая башня собора.

Конечно, я знал старую Москву, знал и историческое Подмосковье: Троицкую лавру, Марфино, село Коломенское;

много раз бывали мы с братом в Останкине, дворец и парк которого остались в памяти занесенными глубокими снегами, бывали и в Кускове и в

Косине со святым озером, на дне которого, по преданию, звонят колокола, и тем не менее я только у открытого окна гейдельбергской гостиницы впервые ощутил мир не как текущую сквозь меня жизнь, а как стоящую передо мною историю.

Вероятно, правильно, что все дальнее и чужое объективируется гораздо легче, чем свое близкое.

Напившись кофе за маленьким столом, покрытым пестрою скатертью, у которого прислуживал не «человек», а скорее хорошенькая гимназистка, правда не в коричневом, а в черном платье, я полетел в университет. По пути то и дело попадались группы студентов-корпорантов в разноцветных «головных уборах» с обязательными шрамами на лицах. Немецкая потребность в форме сказывалась в одинаковых у членов одной и той же корпорации костюмах и палках. Через эти палки то и дело прыгали собаки – модные в то время бульдоги.

Гейдельбергский университет, основанный в 1386-м году, вслед за Пражским и Венским, поразил меня темноватой теснотой своего входа, узостью главной лестницы, маленькими аудиториями, неудобными скамейками и до гробовой доски верными своей "alma mater" (т. е. университету) старыми служителями, – одним словом всем своим монастырским, идиллически-аскетическим духом.

Покончив в канцелярии, я побежал искать комнату: хотелось устроиться поближе к университету и, главное, подешевле, чтобы сразу же начать собирать библиотеку. В комнатах недостатка не было: в 1902-м году «старый Гейдельберг» был сплошным студенческим отелем.

В гору к замку вела полузагородная улица, вдоль тротуара которой сбегал шумливый ручей. На этой улице, с поэтическим названием Звенящего пруда, я и поселился во втором этаже простенького, почти крестьянского домика, носившего совсем уже сказоч

ное название «Спящая красавица». Снятая мною за 13 марок, т. е. за 6 руб. 50 к. комната (эта цена включала утренний кофе, освещение и уборку) была, правда, очень мала, в одно окно, но в ней было все необходимое, за исключением книжной полки, которую я попросил немедленно же заказать и повесить над диваном, что очень поразило фрау Грамлих, маленькую, скрюченную, почти безволосую старушку. Свое горькое имя (грам – значит скорбь) моя первая гейдель-бергская хозяйка носила не случайно: долгими зимними вечерами, угощая меня разогретым

кофе и серым хлебом с брусничным вареньем, она подробно рассказывала о своей трудовой, вдовьей жизни – одна вырастила двух сыновей и трех дочерей – причем ее выцветшие глаза с непередаваемою трогательностью смотрели на меня поверх обмотанных у висков шерстинками железных очков, а вокруг беззубого рта на впалых щеках играла прелестная детская улыбка.

Устроившись в «Спящей красавице», я на следующий же день в новом, купленном уже в Гейдельберге костюме и мягкой шляпе, отправился к декану философского факультета посоветоваться, что и кого мне слушать, чтобы в три года успеть сдать докторский экзамен. Знаменитый Генрих Тоде, женатый на падчерице Вагнера и внучке Листа, встретил меня в своем роскошном кабинете более чем любезно. Защитник «национальности и почвенности», в искусстве больше всего ценил свою международную известность и был потому особенно любезен с иностранцами.

По своей внешности, манерам и, главное, по стилю своего очарования Тоде показался мне, привыкшему представлять себе профессора скромно одетым, бородатым интеллигентом, человеком совсем не профессорской среды. В Москве этого элегантного, всегда изысканно одетого человека с бритым, мягко освещенным грустными глазами лицом, каждый принял бы скорее за актера, чем за ученого. Особенно живописно

выглядел Тоде в берете и таларе на торжественных университетских актах.

Кроме специальных курсов по истории искусств, он ежегодно читал в переполненном актовом зале цикл общедоступных лекций, на которые, как на концерты Никита, собирался не только весь город, но приезжали даже слушатели из соседних городов.

Прекрасные бледные руки лектора часто молитвенно складывались, ладонь к ладони. Длинные пальцы касались губ. Как все романтики, Тоде много и хорошо говорил о несказуемом и несказанном, о тайне молчания. По окончании лекции аудитория благодарила любимого лектора бурным топотом сотен ног.

Поговорив со мною о России и узнав, что на каникулы я собираюсь уезжать в Москву и потому не буду иметь времени для путешествий по Италии и другим европейским странам, Тоде, к величайшему моему огорчению, посоветовал оставить всякую мысль о серьезном изучении истории искусств.

Делать было нечего. Утешившись мыслью, что я главным образом приехал в Гейдельберг ради философии, я в ближайший приемный день отправился к профессору Виндельбанду (Куно

Фишер, из-за которого я остановил свой выбор на Гейдельберге, был болен и не читал). Виндельбанд жил совершенно иначе, чем Тоде. Вместо лакея – скромная горничная. В квартире никаких далей: ни далей всемирного искусства, ни далей мировой славы. В весьма буржуазной столовой, служившей и приемной, ждало уже несколько студентов в сюртуках. Горничная, как у врача, вызывала в кабинет профессора одного студента за другим.

Не без трепета вошел я в доверху заставленный книгами и украшенный повешенными под самым потолком – рамка к рамке – гравированными портретами великих философов, кабинет. С кресла у письменного стола навстречу мне слегка приподнялся грузный

человек с очень большим животом и маленькою головкою на широких плечах; вместо шеи – красная складка над очень низким воротником. Таким я себе философа уж никак не представлял. Мое недоразумение длилось, однако, недолго. Сев в указанное мне бархатное кресло и взглянув в глаза ученого, я сразу же почувствовал, что этот «пивовар», как я сразу же окрестил его, – пивовар совершенно особенный. Передо мною сидел живой Сократ, каким Виндельбанд его описал в своих, только что прочтенных мною «Прелюдиях»: та же «втянутость головы в пухлые плечи», та же «внушительность висячего живота», та же характерная для грузных людей легкость движений. Сходство с Сократом почувствовалось мне и в невероятно живых, умных, остро-проницательных, но отнюдь не созерцательных глазах и в настороженном выражении лица, точно ждущего ответа на «иронически» поставленный вопрос.

Я слушал Виндельбанда в продолжение пяти лет и за это время так вжился в его философский пафос, так изучил его манеру чтения, привычку шарить правой рукой по животу в поисках висевшего на длинной тесемке пенснэ, вскидывать пенснэ на нос, разглаживать двумя пальцами левой руки лежавшую перед ним записную книжку и, бледнея с дрожью в голосе, произносить излюбленную им фразу: "Dies ist nun einmal das Schicksal aller Wahrheiten, dass sie als Paradoxa zur Welt kommen, um sie als Trivialitaten alsbald zu verlassen"1), что должен был по нескольку раз в семестр представлять товарищам нашего учителя. Виндельбанд знал о моем искусстве: однажды он застал меня на кафедре и от души зааплодировал, когда я кончил (не лишен был юмора). Хотя Виндельбанд безусловно по-своему любил меня, между нами все же не сложилось по-настоящему близких отноше-

!) Такова уж судьба всех истин: они приходят в мир как парадоксы и покидают его как тривиальности.

ний. Думается потому, что Виндельбанд был типичным немецким профессором своей эпохи, т. е. преподавателем научной дисциплины, и только. Я же приехал в Европу разгадывать загадки мира и жизни. За время моего пребывания в университете эта разница наших духоустремлений дважды дала о себе знать.

В семинаре Виндельбанда шла оживленная дискуссия о свободе воли. Виндельбанд разъяснял свою, в основе кантовскую точку зрения, согласно которой признание за человеком свободной воли с научной точки зрения невозможно, а с нравственной – необходимо. Вполне понимая эту методологическую мысль, я все же настойчиво допрашивал Виндельбанда, какая же точка зрения, научная, или этическая, соответствует высшей истине. С непринятою в университете горячностью, я доказывал маститому философу, что его методологическое разрешение проблемы было бы допустимо лишь в том случае, если бы у каждого преступника было две головы: одна для снесения с плеч, как то требуется с нравственной точки зрения, согласно которой человек отвечает за свои поступки, а другая для оставления ее на плечах ввиду господства над душою человека закона причинности, не признающего различия между добром и злом. Это мое, показавшееся товарищам весьма парадоксальным, соображение Виндельбанд спокойно и снисходительно парировал выяснением третьего методологического ряда. Вопрос о наказании разрешался им и не в научнопричинном, и не в этически-нормативном плане, а в плане целесообразности. Наказание преступника он оправдывал необходимостью охранения общества и государства от «асоциальных элементов». В связи с такой постановкой вопроса Виндельбанд допускал максимальное ослабление наказания в благополучные времена и требовал резкого его усиления в эпохи войн и революций. Этот «цинизм» до глубины души возмутил меня, но опровергнуть методологию своего учителя мне было

еще не под силу. Когда спор с таким искусным диалектиком и опытным педагогом, каким был Виндель-банд, окончательно загнал меня в тупик, я, набравшись храбрости, в упор спросил его: как, по его мнению, думает сам Господь Бог; будучи высшим единством мира, Он ведь никак не может иметь трех разных ответов на один и тот же вопрос. Мой задор, как помнится, заинтересовал и обрадовал Виндельбанда, но его ответ искренне огорчил меня. Ласково улыбнувшись мне своею умно-проницательною улыбкою, он ответил, что на мой вопрос у него, конечно, есть свой ответ, но это уже его «частная метафизика» (Privatmetaphysik), его личная вера, не могущая быть предметом

семинарских занятий. Я почувствовал, что меня со всех сторон окружает проволочное заграждение колючих методологий и что прорыв в сферу нужных мне ответов невозможен.

Перед самым докторским экзаменом в моей жизни случилось несчастье, которое казалось должно было бы по человечеству сблизить Виндельбанда и меня. От моих друзей, у которых в то время гостила моя жена, на его имя пришла телеграмма с извещением о ее трагической гибели. Друзья просили подготовить меня к этому страшному удару.

Попав, вероятно, в первый раз в жизни в такое неестественно трудное положение, Виндельбанд немедленно же написал мне очень прочувствованное, душевное письмо и лично снес его моей хозяйке; предупредив ее о содержании письма, он попросил, чтобы она по возможности осторожно передала его мне. Большего сделать он не мог и я до сих пор храню благодарную память об этом человеческом порыве его души сквозь его величественную «персону». Понятно, что, вернувшись после похорон в Гейдельберг. я вошел в кабинет своего учителя в предчувствии дружеской встречи с тем новым Виндельбандом, который приоткрылся мне в его письме. Мои ожидания не сбы

лись: из-за письменного стола привычно приподнялся давно знакомый мне действительный тайный советник, профессор Виндельбанд, сквозь маститую персону которого уже не светилась открывшаяся мне в его письме душа.

Конечно, Виндельбанд сказал несколько полагающихся соболезнующих слов и крепче обыкновенного пожал мне руку, но все это не выходило из рамок привычных, почти светских навыков жизни. Ни одного более или менее интимного вопроса о том, как все случилось, Виндельбанд себе не позволил, словно не считая себя в праве прикоснуться к чужому горю.

То, что тридцать лет тому назад ранило меня в поведении Виндельбанда, впоследствии перестало меня удивлять. Шаблонные русские рассуждения о том, что все мы гораздо искреннее, душевнее и глубже европейцев, и в частности немцев, естественны и понятны у эмигрантов, но явно не верны. Верно лишь то, что русская интеллигентская культура сознательно строилась на принципе внесения идеи и души во все сферы общественной и профессиональной жизни, в то время как более старая и опытная европейская цивилизация давно уже привыкла довольствоваться в своем житейском обиходе простою деловитостью. Остроумнейшая социология Зиммеля представляет собою интересное оправдание этой европейской практики. По мнению Зиммеля, вся уравновешенность и уверенность человеческого общежития покоится на том, что мы не слишком

заглядываем друг другу в душу. Знай мы всегда точно, что происходит в душе нашего шофера, пользующего нас доктора и проповедующего священнослужителя, мы иной раз, быть может, и не решились бы сесть в автомобиль, пригласить доктора или пойти в церковь. Не ясно ли, что в этом нежелании знать душу обслуживающих нас профессионалов уже таится требование, чтобы она не слишком вмешивалась в общественно-государственную жизнь.

Может быть, это требование и не так бессмысленно, как оно кажется на первый взгляд. Уже в университете Вересаев с особою душевною чуткостью относился к гуманному призванию медика, в результате чего из него вышел не очень хороший врач, а довольно посредственный писатель. Немецкая профессиональная культура целиком покоится на труде, знании и жажде постоянного совершенствования. Души, в русском смысле, в ней немного, но успех ее очевиден. Весьма различные стили русской и европейской культур сказались, конечно, и в различии обеих революций. Но не будем заглядывать вперед. Пока я только еще сижу на первом приеме у Виндельбанда. Играя золотым пенснэ и то и дело расправляя свою бороду маленькою белою рукою, он очень внимательно расспрашивает меня о том, что я уже читал по философии, составляет мне расписание лекций и рекомендует пособия и книги.

Я ухожу от него в восторге, в радостном предвкушении предстоящей большой и интересной работы. Спешу, не теряя времени, в университетский книжный магазин Винтера, забираю у очкастого господина Фауста книги Виндельбанда, «Всеобщую теорию государственного права» Еллинека, целый ряд дешевых изданий классиков и почти бегом тащу свои сокровища домой, перегоняя блещущие лаком широкие ландо, в которых по «Звенящему пруду» медленно подымаются к "Schloss Hotel" краснолицые англичане-туристы.

Поставив принесенные книги на новую полку, я снова лечу в город обедать. На Главной улице чуть ли не в каждом третьем доме рестораны. Можно завернуть и к «Рыцарю» и к «Золотому петуху» и к «Шуту Перкео» и к «Золотому ангелу»… Выбираю «Золотого ангела», не по пристрастию к пище небесной, а по экономическим соображениям. «Золотой ангел» предлагает обед из трех блюд всего только за шестьдесят пфеннигов. Избалованный домашним сто

лом и Голутвинским буфетом, я ем безо всякого удовольствия; от безвкусного супа пахнет химией, твердоватое мясо плавает в какой-то мучной гуще, сухой бисквит с одной малининой в центре и чашка жидкого кофе совершенно

безрадостны. Все же я мужественно беру абонемент на десять обедов. Кроме книг, соблазняют еще симфонические городские концерты и экзотические галстуки в окне у Кохенбургера.

После обеда отправляюсь в горы, но не в замок, а на РЫ1о8ор1!еп,\?е?. Знаменитою тропою, спускающейся с гор за старинным, давно секуляризированным монастырем, в котором некогда жил родственник Гёте, историк Шлецер, я иду не без волнения: как никак по ней, вероятно, часто ходили, обдумывая свои лекции, Гегель, ходил, конечно, и Гёте, память о пребывании которого в Гейдельберге хранят начертанные на обрамленной плющом каменной доске строки Марианны фон-Виллемер – поздней, но пламенной любви поэта.

Вечером я долго сижу над историей философии Виндельбанда. За окном шумит ручей, перед глазами проносятся картины всего виденного за последние дни. Со стола смотрят большие глаза московской гимназистки в форменном платье. В сердце звучат напевы Шопена, летящие из-под быстрых пальцев ее отца. Душа рвется в Москву… Как трудно читать, не заглушая биением собственного сердца плавного повествования Виндельбанда о развитии философской мысли…

Утро вечера мудренее: сажусь за письмо в Москву. В полночь несу его на вокзал. Улицы пустынны, лишь изредка попадаются с хохотом и свистом расходящиеся по домам из кафе и ресторанов корпоранты. Захожу в буфет третьего класса купить марку. Несмотря на поздний час, в нем еще не угасла жизнь. В клубах сигарного дыма задорно препираются в карты солидные гейдельбергские бюргеры. И тут шум и веселье, удары кулаком по зеленому сукну и добро

душное колыхание почтенных животиков. Милый и добродушный, но совсем непонятный народ. И над чем это они столько смеются?

Возвращаюсь домой, решаю с завтрашнего дня начать заниматься по-настоящему и немедленно ложусь спать. Страшно подумать, как быстро бежит время – уже пять дней, как я в Гейдельберге…

Свое решение по-настоящему работать я осуществил, но на свой собственный лад. Немецкие приятели говорили мне, что если я буду слишком разбрасываться, то не только не сдам раньше десяти лет докторского экзамена, но и вообще проиграю всю свою жизнь. Я этому не верил, утверждая уже тогда, что жить надо так же, как играть в шахматы: обязательно всеми фигурами сразу. Кроме экзаменационных предметов, т. е. философии, государственного права и немецкой литературы, я в продолжение всех семестров слушал историю, политическую экономию,

историю древних религий, богословие и даже психиатрию, одним словом почти все, кроме естественных наук. На тех нескольких лекциях по физике, химии и медицине, что мне довелось прослушать, я всегда ощущал раз-воплощение природы и убиение ее души. Непередаваемо страшное впечатление произвел на меня анатомический театр, в который я как-то зашел, чтобы о чем-то срочном переговорить с братом, который вслед за мной тоже приехал учиться в Гейдельберг. Разрезанные на части покойники («со святыми упокой»), тяжелый трупный дух, смешанный с запахом формалина и еще чего-то, и тут же рядом уютные дымки папирос и бутерброды в пергаменте на секционных столах, все это до того потрясло меня, что я окончательно укрепился в своей мысли, что лучше совсем не лечить живых, чем так позорить усопших. Брат искренне возмущался моими философскими отвлеченностями, но я упорно твердил свое: от смерти вылечить все равно никого нельзя, отсрочивать же смерть, не зная какая

по

больному предстоит судьба, совершенно бессмысленно.

Из всех профессоров, которых я слушал, но в семинаре у которых не занимался, самым значительным был классический филолог Дитерихс.

В ярко освещенную и всегда переполненную аудиторию запыхавшись вбегал громадный, красноликий и краснорукий человек с муругою вихрастой головою. Вытирая платком пот со лба, он начинал лекцию отрывистыми неряшливыми фразами, как бы подыскивая хватающими воздух толстыми пальцами какие-то точные, недающиеся ему слова. Минут через пять-десять он, однако, овладевал собою и его хрипловатый, задушевный голос приобретал какую-то особую убедительность. Альбрехт Дитерихс обладал редкою среди немецких ученых способностью воочию видеть то, о чем он говорил. Дионисийские трагедии Эсхила, элев-зинские мистерии, культы Деметры и Коры, литургическая тема этих культов «нахождение живым того, которого считали мертвым» и связь этого языческого мира с христианством, на которое Дитерихс смотрел чужим, античным оком – все это оживало в его подчас вдохновенных лекциях с редкою силою. Под влиянием Дитерихса я засел за изучение Ницше (Рождение трагедии из духа музыки) и за книгу его значительнейшего ученика, Эрвина Роде, «Психея». Лекции Дитерихса подготовили мою позднейшую встречу с Вячеславом Ивановым, Зелинским и со всем русским символизмом.

Наряду с Тоде в те времена самым популярным в городе профессором был историк Эрих Маркс. Хотя он и начал свою научную карьеру с архивных работ во Франции и Англии, на нем,

как мне всегда казалось, лежала печать какого-то досадного шовинистического провинциализма. Слушал я у него самые различные курсы, но в памяти остался один только Бисмарк, да и тот не живой, а какой-то бронзовый с сытым голу

бем на плешине. Я знаю, что написанная Марксом биография железного канцлера, выдержавшая 23 издания, считается классическим научным трудом. Я этого труда не читал, но уверен, что он ниже своей славы: вряд ли Эрих Маркс, малорослый живчик с красивыми, кукольными глазами, мог внутренне осилить вулканическую природу бисмарковского гения.

Охотнее Маркса я слушал Георга Еллинека, меланхолического, рыжего австрийца с кривым пенснэ на нервных ноздрях и снулым взором поверх него. В равной мере историк и юрист, Еллинек был одним из первых социологов среди немецких государствове-дов. Его живые и в научном отношении весьма поучительные лекции отличались стереоскопическою рельефностью научного анализа и не лишенным творческого пафоса полемическим задором.

Первые семестры я не только слушал лекции, но и с жадностью набирался всевозможных новых впечатлений. С типичным «рейнландцем» Платцбекером, который как-то появился у меня с просьбой давать ему уроки русского языка, мы одно время каждое погожее воскресенье уходили в горы, или в разбросанные по долине Неккара деревни. Страстный патриот и народник-почвенник Платцбекер с восторгом вводил меня в душу и быт своего народа, историю которого он прилежно изучал у Маркса. На наших прогулках мы тщательно осматривали старые крестьянские дворы, заходили в церкви и подолгу просиживали в кабачках, оставаясь иной раз ночевать в приветливых деревенских гостиницах. Первое время я никак не мог освоить того факта, что бритые люди с подчас очень интересными лицами не то актеров, не то ксендзов, в цилиндрах и длиннополых сюртуках – всего только приодевшиеся ради воскресенья мужики-пахари. Лишь выпив с ними не одну кружку пива и присмотревшись к их мозолистым, коричневым рукам и обветренным из

борожденным морщинами лицам, я кое-как связал их со своим русским представлением о мужике.

2) Социалистическое движение молодежи.

Будучи ненавистником социалистов и евреев, Платцбекер, от которого я впервые услышал знаменитое моммсеновское определение сущности еврейства, как фермента декомпозиции, настойчиво внушал мне, чтобы я не поддавался сентиментальной болтовне профессора Киндерманна и на его «социально-политических экскурсиях» старался бы на все смотреть своими

собственными глазами. Я старался и, невольно сравнивая жизнь немецких рабочих на больших химических заводах в Людвигсхафене с жизнью наших кондров-ских упаковщиков и ломовых, для которых французская булка была такою диковиною, что фабричная администрация считала ее подходящим коронационным угощением, соглашался с Платцбекером, что социалисты действительно сильно преувеличивают. Тем не менее, я по врожденной жадности ко всему, происходящему вокруг меня, ходил на все социал-демократические лекции и митинги. Помню не очень понравившуюся мне Клару Цеткин, в каком-то сером мешке вместо платья, хрипло ораторствовавшую на тему о разрушении пролетарской семьи под влиянием капиталистической эксплоатации. Гораздо более благоприятное впечатление произвел на меня маннгейм-ский присяжный поверенный, впоследствии видный член социал-демократической фракции рейхстага Людвиг Франк. Этот блестящий оратор с большелобым лицом, обрамленным пышными кудрями, изяществом черной визитки и государственным пафосом своего ревизионистического социализма напоминавший Лас-саля, был любимым вождем социалистической молодежи – Sozialistische Jugendbewegung2). Вскоре после объявления войны 1914-го года он записался добровольцем на фронт и пал в первом же сражении

под Люнневиллем. Через год после него пал в Галиции высокоталантливый молодой философ Эмилий Ласк, как и Франк – еврей, социалист и доброволец.

Единственным совсем крупным человеком и оратором, Божьей милостью, среди всех приезжавших в Гейдельберг лекторов, был Фридрих Науманн, основатель и вождь христианско-социальной партии. Социально-педагогическая задача Науманна с полною ясностью определялась заглавиями его первых работ: 1) «Как нам бороться против неверующей социал-демократии», 2) «Социальная программа евангелической церкви».

3) «Демократия и монархия».

В связи с появлением третьего издания книги Науманна «Демократия и монархия», его имя было в 1903-4-м годах у всех на устах. В среде «свободного студенчества» и в окружении знаменитого социолога Макса Вебера горячо обсуждалась проблема христи-анско-национальной и вместе с тем и социально-демократической монархии. Русскому, почти сплошь русско-еврейскому социалистическому студенчеству, теория пастора Науманна представлялась, конечно, сплошною очевиднейшею нелепицей. Я, как умел, защищал Науманна, но защищать его мне было очень трудно, так как никто из моих

тогдашних оппонентов не читал его большой работы. Если бы гейдельбергские социалисты хотя бы мельком просмотрели главу о евреях в его "Demokratie und Kaisertum"3), они, быть может, и простили бы Науманну его тогдашний политический союз с антисемитом Штеккером; в этой весьма интересной главе Науманн высказывает парадоксальную мысль, что ферментом национальной декомпозиции окажется не еврейство, а скорее антисемитизм, который в будущем объединится не с правыми элементами Германии, а с лево-демократическими и социалистическими. Все это никак не интересовало

наших партийцев: слепые и глухие ко всем особенностям и сложностям свершавшейся вокруг них жизни, они варились исключительно в своем соку, жили скопом, читали по шпаргалке и узнавали о Германии только то, что печаталось в «Форвертс».

Центром русского партийного студенчества была знаменитая гейдельбергская читальня, помещавшаяся под крышей темноватого, трех или четырех-этажного дома на Мерцгассе. Признаюсь откровенно, что от первого посещения этого русского культурного очага у меня осталось малоприятное ощущение. О существовании читальни-библиотеки я ничего не знал. Случайно проходя по Мерцгассе, я увидел небольшую вывеску на русском языке; очень обрадовавшись, я тут же решил посмотреть, что за читальня и что за народ в ней читает. Первый же взгляд в «читальный зал» сразу разрушил мои радостные ожидания. В небольшой комнате, небрежно увешанной портретами русских писателей и «борцов за свободу», сидели, осторожно шурша тонкою бумагою конспиративных изданий, какие-то сплошь хмурые люди. Никакого привета себе, как русскому, я в быстрых, исподлобья брошенных на меня взорах, не почувствовал. Прочтя на двери, ведущей в соседнюю комнату, надпись: «Правление, часы приема такие-то», я постучался и тут же услышал "Ьегет". В двух задних комнатах, заваленных книгами в истрепанных дешевых переплетах и, главным образом, журналами, курило несколько, по всей своей культурно-бытовой сущности совершенно инородных мне молодых людей. Я просмотрел каталог, записался в члены и вышел из читалки более одиноким, чем вошел в нее.

С течением времени мы с братом и вся наша компания беспартийных москвичей сблизились с такою чуждой по началу средой западно-русского социалистического еврейства, но совсем своими мы в этой среде так до конца и не стали.

Русские социалистические партии вели заграницей регулярную революционную работу, выражавшуюся в партийных собраниях, публичных лекциях и устройстве открытых

благотворительных вечеров. Вначале мы на лекции с прениями не ходили, не по сознательному бойкоту, а просто потому, что мало интересовались революцией. Но вот читалкинский улей как-то уж очень разволновался. До нашей компании дошли слухи, что готовится нечто весьма важное, что в качестве докладчика ожидается некая значительная и в каком-то отношении даже таинственная личность. Передавали, что ожидаемой личности будто бы даже запрещен въезд в Германию, но что ее все-таки как-то привезут. Председатель читалки, нищий, чахоточный идеалистический марксист, сговаривался с известным ему носильщиком социал-демократом о конспиративной встрече приезжающего докладчика. (Этот носильщик, к слову сказать, очень обрадовался, увидав меня в 1924-м году на перроне гейдельбергского вокзала. Перекинув через плечо мои чемоданы, он с места же пустился в воспоминания и философию. Вера в то, что в раскрепощении России он, в качестве присяжного рассыльного революционной гейдельбергской читалки, сыграл далеко не последнюю роль, была в нем так же сильна, как ненависть к коварной Англии, втравившей Россию в войну с Германией и убеждение, что после свержения Романовых и Гогенцоллернов, завещанная Бисмарком Германии дружба с ее великим восточным соседом уже никогда не будет нарушена. Получая хороший «на чай» и крепко пожимая мою руку, он все твердил, очевидно, доставлявшую ему громадное удовольствие фразу: «да, кто бы мог подумать, чтобы социалист Ленин стал осуществителем бисмарковских заветов о сближении Германии с Россией»). Так вот, ввиду всех этих приготовлений и как бы бенефисного характера предстоящего вечера, как выражался Саша Поляков, студент-медик, племянник

известного московского мецената-издателя и обладатель прекрасного баритона (ученик Оленина), мы и решили сменить гнев на милость и почтить вечер своим присутствием. Одевшись понаряднее и воткнув, в пику красным социал-демократическим гвоздикам, по чайной розе в петлицы, мы заняли места под самым носом у докладчика, заказав, вместо полагавшейся дешевой кружки пива, какие-то более благородные напитки. Во всем этом не было и намека на какую-нибудь политическую борьбу или просто демонстрацию. Мы всего только сопротивлялись, как умели, тому бесспорному презрению, которое питали к нам, беспартийным академикам и буржуям, идейные представители революционного социализма. Дело, по правде сказать, осложнялось еще тем, что наша компания не гнушалась общением с некоторыми явными черносотенцами, среди которых был забавный парень, приехавший в Гейдельберг

уже после 1905-го года и ходивший по городу с солдатским георгиевским крестом и в бобровой николаевской шинели внакидку.

Таинственным докладчиком вечера, имя которого от нас тщательно скрывали, оказался Лев Дейч. Ни содержания, ни даже темы доклада не помню, помню лишь, что в прениях выступал приехавший вместе с Дейчем Столпнер, совершенно лысый, подслеповатый человек в потертом сюртуке, сразу же поразивший меня своим умом и тою глубокою серьезностью, с которою он развивал свою революционную идеологию. Вскоре после Дейча, очевидно в порядке партийного соревнования, были в том же ресторане «выпущены» эсерами А. Гоц и И. Бунаков. Оба приятеля, с которыми я познакомился уже в свой первый семестр в семинаре профессора Элзенганса, показались мне очень переменившимися. Было очевидно, что за истекшие три года они в чем-то весьма преуспели, что-то совершили и заслужили. Перемена эта ощутилась мною с такою силой, что я как-то даже постеснялся запро

сто подойти к ораторам и поздороваться с ними, как с товарищами студентами. Надо сказать, что революционное подполье умело создавать авторитеты и внушать к ним уважение даже и среди инакомыслящих.

Абрам Гоц, приговоренный в качестве члена эсеровского Центрального комитета в 1918-м году большевиками к смертной казни, но помилованный, а потом, после долгих лет заключения, все же убитый, – и сейчас как живой стоит перед глазами: вместо галстука – громадный черный бант, длинные до плеч черные волосы; в этом черном обрамлении бледное, обаятельное, очень умное лицо, с почти не сходящей с него улыбкой и устремленными вдаль глазами. От красноречивого доклада в памяти осталось немногим больше, чем от лекций Дейча: всего только, как-то особенно звучавшее у Гоца многократно повторяемое им слово «марево». Произнося «марево», Гоц видел солнце. В эсерах всегда было много мечтательности.

Вместе с Гоцем, не то в качестве корреферента, не то в качестве застрельщика против марксистов, выступал Бунаков; если не ошибаюсь, уже и тогда по аграрному вопросу. Он говорил менее лирично, чем Гоц, но зато более горячо, умело пользуясь сухими статистическими данными, как хворостом для своего революционного костра. Эсеры восторженно хлопали, эсдеки насупленно пожимали плечами. Я, конечно, выступал в прениях, как против Дейча, так и против эсеров. Доказывая марксистам неверность их социологического метода и нападая на эсеров за отсутствие у них всякого метода, я выдвигал в качестве

положительного начала религиозно-идеалистическую теорию, начавшую у меня вырабатываться под двойным влиянием немецкой романтики и Владимира Соловьева.^ В 1905-м году, в самый разгар первой революции, я выступил с докладом на тему: «об идейной немощи русской революции». В этом докладе я проводил параллель между французской и русской революциями,

доказывая, что французская была первою попыткою практического осуществления последнего слова философии, русская же собирается строить новую жизнь на основе давно уже опровергнутых немецким идеализмом и русской религиозной мыслью материалистических задов философии. Возлагать какие бы то ни было надежды на сочетание политической революционности с духовною реакционностью, я решительно отказывался. Доклад имел успех, но, конечно, лишь успех скандала. Прения длились целых два вечера. Социалисты всех партий с полным единодушием разносили мои тезисы. Большую помощь на втором вечере оказал мне своим выступлением и своим авторитетом прославившийся в Гейдельберге своею выдающеюся докторскою работой Богдан Александрович Кистяков-ский.

Такие сложные отношения с партийцами были из всей нашей компании только у меня одного. Остальные, все больше естественники, главным образом медики, не только не занимались общественностью, но даже и не интересовались ею. Мы все без малейшего раздумья над правильностью нашего поведения и при гробовом молчании «классового сознания» помогали читалке добывать нужные ей для революции деньги: из года в год наша компания ставила благотворительные спектакли с балом в пользу эсеров, эсдеков и Бунда. И не только в Гейдельберге, но также в Дармштад-те и Карлсруэ.

Почему мы – и не социалисты, и не революционеры, – принимали хотя и косвенное, но все же деятельное участие в партийной жизни, объяснять не приходится. То, что сейчас представляется очень сложным вопросом, не содержало для студенческой психологии начала века решительно никакой проблемы. Мы, не задумываясь играли в пользу партий совершенно по той же причине, по которой действительный статский советник и антисемит Ковальциг не считал за евреев На

тана и Леммериха, по которой штабс-капитан Головин сочувственно намекал на нашу не существующую конспиративную квартиру, по которой тетя Зина чуть ли не за образами прятала подпольную литературу, одна почтенная знакомая нашивала белые коленкоровые лозунги на кумачевые знамена, а проживающая сейчас в Германии страстная

поклонница Гитлера4) читала революционные стихи Скитальца на национально-еврейском празднике. Таков уж был дух времени: самая таинственная, самая неуловимая и все же реальная сила истории.

Революционность эпохи имела, конечно, и свою обратную сторону: некоторую никчемность рядовых представителей консервативного лагеря. Помнится, что в продолжение одного или двух семестров, лишь изредка заходя в университет, в Гейдельберге шумно веселилась теплая компания дворянски-сановной молодежи. С читалкой эта компания, конечно, не общалась, но и с нами, интеллигентами-академиками, сближалась с осторожностью и с большим выбором. Постоянно видался с блестящими молодыми людьми лишь мой приятель, недавно умерший заграницей Трифон Георгиевич Трапезников, талантливый историк искусств, нервный, тонкий, всегда изысканно одетый человек, с подлинно аристократической, несмотря на купеческое происхождение, внешностью. За эту внешность известный читалкинский остряк Борис Эммануил при каждой встрече неизменно называл его Трифон-Трапезников. Трифон Георгиевич считал Эммануила наглецом, но втайне радовался его остроте.

4) Эту главу автор писал в 1938-39 г.г.

Политикой эта компания, конечно, не занималась. Интеллигентского интереса к нелегальной России и подпольной литературе не проявляла, словно не против нее оттачивались в читалке революционные «топоры». Веселилась же она не только шумно, но и с вывертом,

с теми причудами, которые никогда не могли бы придти в голову студентам-корпорантам. Идея вынести мертвецки пьяного, почти раздетого товарища в два часа ночи на улицу и двинуться похоронной процессией к вокзалу с ведром холодной воды для воскрешения обмершего, была столь чудовищным превышением таких традиционных в Германии студенческих шуток, как кошачьи концерты под окнами спящих бюргеров, тушение фонарей, влезание на памятники, что совершенно сбила с толку уютных гейдельберг-ских шуцманов, решивших поначалу, что тут не веселье, а чуть ли не убийство. Кончилось, впрочем, все благополучно, хотя проделка и обошлась довольно дорого; дороже всех Трапезникову, который ни с того ни с сего взял на вокзале билет и уехал без шляпы и без денег в Париж, проверять все время мерещившиеся ему во время процессии «мистические треугольники» на нескольких любимых картинах Лувра.

Говоря о Трапезникове, не могу не вспомнить нашего общего приятеля, Михаила Ивановича Катар-джи, постоянно

проживавшего в двух прекрасно обставленных комнатах лучшей гостиницы. Сын крупного помещика и предводителя дворянства Бессарабской губернии, Михаил Иванович был типичным русским западником-космополитом. Блестяще образованный, свободно говорящий на четырех или пяти языках, Михаил Иванович постоянно вращался среди переполнявших Гейдельберг иностранцев. Несмотря на сильную сутулость, которую Катарджи умело скрывал, он иной раз выезжал верхом с герцогом веймарским и принцессой Софией.

Научная карьера Михаилу Ивановичу не улыбалась, он скорее подумывал о дипломатической, но готовился к ней не спеша. Как настоящий русский барин, он был полон жизни, но лишен того, что ныне стали называть «динамизмом». Его большой и блестящий ум тяготел к Гегелю (Михаил Иванович был учеником

гегельянца Куно Фишера), его скептическая душа тянулась к Монтэню, а сердце благоговело перед Паскалем. Наши беседы, прогулки и позднее сидение в маленьком винном погребке были неизменно полны подлинного воодушевления. Я с удовольствием и благодарностью вспоминаю их. Особенно интересно проводили мы время в гостях у Михаила Ивановича, когда к нему приезжал земляк и приятель Базилевич, как и Михаил Иванович, ученик Фишера. Очень начитанный и талантливый, но все же никчемный человек (излишняя роскошь русской культуры), Базилевич до смерти любил разговаривать, вернее балагурить. Балагурил он не без шутовства, но все же и не без высшего смысла. Витийствовал он и жестикулировал всегда на несколько тем сразу, сам себя слушая, сам себе подмигивая и сам на себя радуясь.

Пригласив Трапезникова и меня к себе, Михаил Иванович благодушно показывал нам своего забавного приятеля, как болгарин показывает свою обезьянку: «а покажи, как девица за водой ходит, как пьяный мужик валяется»… Базилевич все охотно показывал, говорил и острил без умолку. Тут были и дерущиеся кошки, которых он еще лежа в постели дразнил сырой печенкой для того, чтобы начать свой день со «здорового» смеха, были и мужики, будто бы спросившие его с телеги – «а что, барин, далеко ли до царствия небесного?» и даже плащаница, к которой ему, Бази-левичу, с детства было неудобно прикладываться: «к лику, – заливался он своим барским грассирующе-шепелявым говором, – не достоин, к ногам – смирения не хватает, а к пупку, как-то неловко». Свои юмористические рассказы Базилевич беспрестанно пересыпал то богословскими парадоксами, то философскими афоризмами. Словно из рукава сыпал он цитатами и изречениями Блаженного Августина и Фомы Аквин-ского, Гегеля и Шлейермахера, Гёте и Чехова…

Михаил Иванович Катарджи, конечно, не был ре

волюционером. В нем были сильны государственное сознание и сословное самоутверждение. Тем не менее и он не только брал билеты на читалкинские вечера, но и хорошо платил за них. Заартачился он только один раз, но не по политической, а по эстетической причине. Читалкинский комитет постановил, чтобы распространители билетов обходили «знатных соотечественников» в наивозможно шикарном виде. Во исполнение этого постановления я и явился к Михаилу Ивановичу в визитке, котелке и светлых перчатках, а моя дама в костюме *ЧаШеиг" по тогдашней моде, с огромной бутоньеркой на груди. Катарджи не на шутку сконфузился и рассердился: «Я всегда с удовольствием, но при чем этот маскарад… простите, не могу». Пришлось еще раз вечером запросто придти к нему и продать билет, как обычно, втридорога.

Не удавшийся по отношению к Михаилу Ивановичу «костюмный нажим» дал в Баден-Бадене очень хорошие результаты. Тщательно изучив по курортным спискам русское население Баден-Бадена, мы объезжали гостиницу за гостиницей. Самое важное было твердым тоном и хорошим «на-чаем» помешать телефонному докладу швейцара о нашем желании видеть наших соотечественников. Неизвестных молодых людей, ждущих в вестибюле гостиницы ответа, примут ли их, или нет, мало кто примет. Не принять же внезапно появившихся в раскрытых дверях номера вслед за докладывающим коридорным прилично одетых людей гораздо труднее. Приняв же – еще труднее отказать в каких-нибудь двадцати марках за билеты на благотворительный вечер. Должен сказать, что «знатные соотечественники» почти никогда не отказывали и, не зная что творят, поддерживали нашу «великую и бескровную».

Первым номером появлялся на эстраде великолепный Саша Поляков во фраке и лаковых штибле

тах. Его действительно прекрасный голос, ухарство и задушевность покоряли всех: и украинцев, и армян, и грузин, и даже евреев. Меньшинственной ненависти к русской музыке в те времена никто еще не испытывал. После Саши выступали обыкновенно я или мой брат, изумительно читавший Чехова. Чтение сменяла музыка, обычно русское трио из Дармштадта, состоявшее из аристократического поляка, лупоглазого, белозубого румына и грустного местечкового еврея.

По окончании программы все устремлялись в буфет, за которым несколько лет подряд торговала Наталия Осиповна Коган-Бернштейн, вдова расстрелянного социалиста-революционера, и ее неразлучная подруга, как впоследствии

выяснилось, провокаторша Жученко, которую в читалке все любили за тихий нрав и преданность делу. И действительно, спокойный голос и разумные советы этой, скромно одетой и гладко причесанной худощавой женщины с маленькими, желтокарими и слегка как будто косившими глазами, часто улаживали семейно-партийные споры по устройству вечеров.

Несмотря на то, что читалкинские балы устраивались наследниками нигилистических отрицателей эстетики, дамы-организаторши старались обставить их со всею доступною колонии роскошью. По углам зала и у колонн живописно разбрасывались киоски, т. е. декорированные растениями и цветною папирос-ною бумагою столы. Особенною искусницей в безвкусном деле превращения столов для продажи шампанского, цветов и лотерейных билетов в пестрые бумажные беседки, слыла Сонечка Левине, весьма буржуазная по всем своим жизненным привычкам сестра расстрелянного в 1919-м году, в качестве члена мюнхенской советской республики, Евгения Юльеви-ча Левине, которого я близко знал.

Покинув Гейдельберг в 1910-м году, я совершенно потерял Левине из виду; где он был во время войны 1914-го года и что она из него сделала – я не знаю. В студенческие годы – это был невероятно мягкий, даже сентиментальный человек, воспевший в стихах барабанящие по крышам пролетарских мансард осенние дожди и чистых благородных проституток. Его бескровный и отвлеченный социализм носил скорее этически-педагогический, чем революционный характер. Одно время он стоял близко к немецкому обществу "Eˆоб" и объезжал по его поручению немецкие города с лекциями о Максиме Горьком. Ни фанатизма, ни догматизма в нем не было. Думаю, что в мое время он вообще не был определенным и стойким марксистом.

Немецкий энциклопедический словарь называет Евгения Юльевича русским социалистом, это вряд ли верно. Раннее детство, правда, он провел в России, но учился в Германии. Стихи и драмы писал на немецком языке, который он считал своим родным языком. По подданству он был итальянцем, по миросозерцанию – гуманитарным атеистом, по внешности типичным евреем. Во всем облике не было ни малейшего намека на идейно-волевую жизнь и на трагически-героическую смерть. Самое страшное в этой смерти то, что она, как мне по крайней мере кажется, была не судьбою, а случайностью.

Какая страшная мысль, что не только Левине, но и мы, беспартийные организаторы благотворительных Гейдельбергских вечеров, во всем, что случилось с Россией, виноваты. Мы, конечно, хорошо знали, что выручаемые деньги поступают «в

распоряжение революционных партий», но над смыслом этих слов не задумывались. Не задумывались над ним, в конце концов, и сами партийцы; суетливо, но не без важности живя своею «идейной» жизнью, – собраниями, прениями, рассылкой литературы – они образа

той революции, которую готовили, перед собою не видели. Если бы их глазам хотя бы на минуту предстала возможность того, что сталось с Россией, на наших благотворительных вечерах вряд ли могло господствовать то задушевно-обывательское веселье, которое по своему психологическому тембру мало чем отличалось от обычных провинциальных вечеринок.

Так же, как в Калуге или Коломне, под жиденький оркестрик в пять человек, кружились мечтательно вальсирующие пары. Под оглушительные французские возгласы так же путанно выделывала свои фигуры лихая кадриль и несся по залу бешеный галоп. Для мазурки и венгерки у немецких музыкантов не хватало темперамента. Тогда поддать пару за рояль садился, похожий на Антона Рубинштейна, Джемс Шерешевский. Топот, шарк и скок сразу же усиливались. Печальноокий армянин Телетов, талантливый молодой ученый со слегка седеющими висками, изящно чертил миниатюрнейшей ножкой блестящий паркет зала. Пышным, тюлевым колоколом плыла рядом с ним его дама, желто-розовая, как марципанное яблоко, Сонечка Левине. Острым циркулем выкидывал в стороны свои длиннейшие ноги, задушенный крахмалом председатель читалки Товбин, вислощекий, вислоносый юноша с совершенно заросшим густым волосом лбом. Широкою «московскою масленицей» скользил по залу, счастливый своим артистическим успехом уже сильно подвыпивший Поляков, большой специалист по части мазурки и венгерки. Аристократический Три-фон-Трапезников не танцевал, т. е. не прыгал и не крутился. Под размеренно мелодичные звуки па-де-катр или миньон, он с неподражаемым старомодно-декадентским изяществом ритмически прогуливался по залу с самою изящною дамою вечера. В остальное же время сидел за шампанским с Катарджи и балтийским бароном, развлекая себя и

своих собеседников меткими замечаниями по поводу «веселящейся революции».

К часу танцы прекращались и начинался, как на всех русских вечерах, пляс. Сначала плясали «русскую» (у нас в деревне, если дом еще не снесен, вероятно, и сейчас на чердаке валяется полученная мною в качестве первого приза за «русскую», репродукция Штуковской картины «Грех»), а потом еврейскую «дределе». Этот танец замечательно исполнял добрый москвич, Тимофей Ефимович Сегалов, автор интересной докторской

работы об эпилепсии у героев Достоевского и большой любитель Глеба Успенского, рассказы которого он талантливо читал на наших вечерах. Танцевал Сегалов в длинном черном сюртуке и в заломанном на затылок цилиндре. Под локти за спиной пропускалась палка, большие пальцы запускались в проймы жилета, остальные, в растопырь, подрыгивали в такт музыке. Все тело подергивалось и раскачивалось в каком-то комическом, но не лишенном своеобразной грации, ритме. Сегалов получил в награду «Бетховена» Балестриери. Почему Штук и Балестриери были любимцами революционной молодежи и в большом количестве украшали студенческие мансарды, сказать не могу. Странным образом это было тоже в духе времени.

Когда было пора расходиться по домам, начиналось пение. Сначала Поляков со своим хором в пять-шесть человек затягивал на эстраде «Не осенний мелкий дождичек» или «Во поле березынька стояла». Но очень скоро в дальнем углу зала не в порядке политической обструкции, а просто по велению души и вина раздавалась какая-нибудь революционная песня. Явно, что революция, за которой было «компактное большинство», всегда побеждала. Поляковские солисты добровольно переходили в революционных хористов и подхватывали революционные припевы отнюдь не менее страстно, чем народные. Лучшим за

певалой революционных песен был изредка наезжавший в Гейдельберг Бунаков, в те годы поразительно красивый, вдохновенный юноша, исполненный живою верою в непобедимость добра. Пишу и вижу перед собою его бледное, запрокинутое лицо, прекрасные волнистые волосы почти до плеч, ласковые, счастливые глаза, слышу его не очень ровный, но большой и благородный по тембру голос.

Обыкновенно же запевал известный впоследствии историк русского студенческого движения Сва-тиков, полный, низкорослый, осанистый юноша. Пел он с определенным цыганским пошибом:

По пы-ы-льной дороге те-с-лэга не-есется А в-ней два-а жандар-ма си-идят…

Хор лихо подхватывал:

Сбейте ж оковы, дайте мне волю Я научу вас свободу любить…

А до-о-ма оставил он ма-ать одинокую Что будет о нем го-о-рэвать…

с новым нажимом чувствительности выводил дальше Сватиков… В заключение, явно озорничая, крыл всех своим могучим голосом Саша Поляков:

Сбейте ж оковы, дайте мне волю…

После пыльных жандармов пелась марсельеза, интернационал, иной раз довольно нелепая старая студенческая песня:

Выпьем мы за того, Кто «Что делать» писал, За героев его, За его идеал.

и т. д., вплоть до польского национально-революционного гимна:

Еще Польска не сгинела…

болгарской «Окровавленной Марицы» и еврейской колыбельной :

Уф дем припечек брент а файерл.

Эту песнь, как и другую переселенческую:

Ин Америка воинт дер Тата

пели обыкновенно на рассвете, как бы про себя, несколько местечковых студентов и студенток. Особенно грустно было видеть среди них уже не совсем молодого, горько нуждавшегося доктора химии, которому знакомый мне корпорант, в будущем посол демократической Германии, как-то при всех посоветовал пристегивать всегда спускавшиеся брюки к концам галстука, если ему действительно не на что купить помочи.

Рассказывая об этом, я отдаю дань современности; не отдавать этой дани нельзя; важно только не уступать ей своих позиций, что никого не обязывает, однако, сохранять их совершенно в том же виде, в каком они были некогда заняты. Нельзя не видеть, что не существовавший для левой русской интеллигенции еврейский вопрос, оказался не только существующим, но и весьма сложным по своей сущности.

Эта сущность приоткрылась мне впервые в 1907-м году. Попав к своим друзьям, сестрам Миракли в Вильну, я сразу же заметил, что они, отнюдь не будучи антисемитками (одна из них, своеобразная толстовка, целыми днями работала задаром в еврейской сапожной мастерской) относятся к еврейству совершенно иначе, чем мы, москвичи. Под их влиянием я и сам начал ощущать своеобразное лицо еврейства, как особого, во многом от русских весьма отличного народа. Здесь я впервые увидел жирных толстосумов с тяжелыми веками и скептически скривленными губами, сладко млеющих, румяно-крупитчатых, словно сахарною пудрою посыпанных волооких барышень и

липнущих к ним провинциальных франтов, в утрированно модных костюмах, ярких галстуках, лиловых носках и лимонно желтых перчатках, но увидел также и изможденных землисто-серых юношей, с глазами фанатиков и безумцев, раздавленных нищетою и горем старух, словно сошедших с полотен Рембрандта, и прекрасных, величественных стариков в пейсах и

кафтанах…

В результате моего довольно долгого пребывания в черте оседлости во мне не только возникло чувство исключительной трагичности еврейской истории, но и зародился вопрос не является ли

Еврейский запах нищеты и пота, Селедки, моли, жареного лука,

Священных книг, пеленок, синагоги… (Довид Кнут)

бытовым осадком раздирающей душу еврейства борьбы между призванностью ко вселенскому делу и узким национализмом.

Никакие разговоры на эту тему с читалкинскими деятелями не были, конечно, возможны: за малейшую попытку выяснить «еврейский вопрос» они сразу же зачислили бы меня в лагерь реакционеров и антисемитов. То, что я вывез из моей поездки в Вильну – живую жалость к еврейству и стыд за царскую инородческую политику, – показалось бы им только естественным. Вывезенное же мною второе убеждение, что, занимаясь рабочим и аграрным вопросами, русское революционное еврейство занималось, в конце концов, лишь борьбою за свое равноправие, на что оно имело, конечно, полное право, – им показалось бы несправедливым, так как, в связи со всей своей политической идеологией, они себя от русского народа не отличали.

Сам я в то время ни рабочим, ни аграрным вопросами не занимался и теоретически ничего в них не понимал. Но думая, как мне это всегда было свойствен

но, прежде всего глазами, я никак не мог увидеть живого смысла в том, что внук виленского раввина и сын ковенского маклера, никогда не видавшие русской земли и русского мужика, ежеминутно ссылаясь на Карла Маркса, горячо спорят, друг с другом о том, в каких формах рязанскому, сибирскому и полтавскому крестьянству надо владеть своею землею.

Рассказывая о своих университетских годах, я сознательно не касался вопроса о своем внутреннем философском развитии.

Предполагая рассказать о нем в дальнейшем, сейчас я хочу упомянуть только об одном событии, которым закончилась моя заграничная учеба и которое определило собою мои первые философские шаги в России.

Сдав докторский экзамен, мы, то есть: Сергей Осипович Гессен, Николай Николаевич Бубнрв и я решили вместе с двумя немецкими товарищами, будущими профессорами Мелисом и Кронером, основать выходящий на нескольких языках

международный журнал по философии культуры.

Организационное заседание должно было состояться на квартире профессора Риккерта во Фрейбур-ге. По счастливой случайности, во Фрейбурге как раз находились Дмитрий Сергеевич Мережковский и Зинаида Николаевна Гиппиус с их неразлучным спутиком Философовым

Не долго думая, мы с Сережей решили пригласить наших знаменитых соотечественников на заседание к Риккерту, где должен был быть и издатель проектируемого журнала. Расчет наш оказался вполне правильным. Присутствие русских известных писателей сильно повысило наш престиж, а потому и шанс на заключение выгодного контракта.

Предстоящий разговор с Мережковским, с которым он только что познакомился, как с писателем, очень занимал Риккерта. В утро того дня, на который было назначено заседание редакции с издателем Зи-беком, при участии русских писателей, Риккерт на своей ежедневной прогулке по Гюнтерстальской аллее, неожиданно встретил, как он сразу же понял, Мережковских с Философовым.

Зинаида Николаевна Гиппиус-Мережковская произвела на домоседа-мыслителя огромное впечатление своеобразной новизной своего образа. Очень «изящно и даже агрессивно» одетая и окутанная облаком душных духов, пахнувших даже на душистом летнем воздухе, она показалась ему существом только что вышедшим из утонченного французского романа, и он никак не мог представить себе, что сможет с Frau Me-reschkowsky говорить о философии и мистике. Немножко побаивался он и того, как встретит Зинаиду Николаевну его жена, женщина большой культуры, очень умная, очень тонкая, но совсем другого склада: достаточно сказать, что Париж оказался для нее, талантливой скульпторши, одним из самых больших разочарований всей ее жизни; он навсегда поразил и оттолкнул ее своею грязью. Характерно, что грязь и беспорядок Рима ее душа и ее глаза принимали без всякого протеста.

Несмотря на всяческие сомнения и опасения, все кончилось как нельзя лучше. Дмитрий Сергеевич произвел на Риккерта впечатление очень яркой и сильной индивидуальности, хотя он и не мог понять, почему знаменитый писатель больше говорил о Суворове, чем о «Логосе», как было решено назвать наш журнал. От Зинаиды Николаевны в душе Риккерта осталась "nur eine Melodie", но все же он почувствовал утонченность и экзотику петербургской культуры. В издателе Зибеке присутствие знаменитых русских писателей усилило уважение к русской редакции; он пове

рил, что нам удастся найти в Москве столь щедрого мецената, от которого будет перепадать и ему, и согласился начать серьезные переговоры, которые Рик-керту и удалось довести до благополучного конца. Вскоре после заседания мы подписали с Зибеком довольно выгодный контракт.

У меня от первой встречи с Мережковскими и Философовым осталось лишь внешнее впечатление: прекрасные, печальные глаза и красные губы Дмитрия Сергеевича, какая-то, несмотря на штатский костюм, перетянутая, военно-адъютантская талия Философова и изящный костюм-тайер Зинаиды Николаевны с цветами на отвороте.

Несмотря на то, что Мережковский был основателем и председателем петербургского религиозно-философского общества, в котором я, по приглашению Вячеслава Иванова, дважды выступал с докладами, я вторично встретился с Мережковскими уже в эмиграции, в 1923-м году на банкете «Современных записок» в Париже. То, что мы с ним в России ближе не познакомились, конечно, не случайность: очень близкий мне по своим темам и с ранних лет интересовавший и волновавший меня писатель, Мережковский чем-то постоянно и отталкивал меня, чем, мне самому не вполне ясно: скорее всего назойливостью его идеологического конструктивизма, которым одинаково полны как романы, так и публицистика, а также и неподлинностью его творческого горения. Все собираюсь заново перечесть все произведения этого исключительно трудолюбивого и блестяще одаренного человека и вскрыть для себя его живую человеческую душу. Дарование Зинаиды Николаевны ближе и понятнее мне. В нем тоже нет духовной питательности и душевной теплоты, но зато много тончайшего яду и непередаваемого очарования.

Наша гейдельбергская, студенческая жизнь протекала, если не считать квартирных хозяек и еже-семестровых приглашений к нашим профессорам, в полном отрыве от местной жизни. Ближе познакомился я с германским бытом и обиходом лишь к концу четвертого семестра, попав, по желанию отца, осенью 1904-го года в Пруссию. Отцу хотелось, чтобы я увидел его родину и познакомился бы с его родственниками.

Прежде всего я направился в Мемель, где двоюродный брат моего отца занимал должность бургомистра. Большая бесформенная вилла бургомистра стояла в молодом, только что посаженном саду далеко за городом. Воздух показался мне особенно чистым и крепким. Почувствовалась близость моря. Встретила меня тетушка с родственным радушием и сразу же повела обедать. В столовой была уже в сборе вся семья. Старшей

дочери, скромной миловидной девушке с пепельными косами, обвивавшими тщательно причесанную голову, с золотым крестиком на черной бархатке, было на вид лет шестнадцать; самая младшая сидела за столом в высоком стульчике. Сам дядюшка оказался внушительным, добродушным мужчиной, что называется в самом соку: умные очки, аккуратно подстриженная бородка. Видно, что он душою и телом приятно ощущает свое бургомистерское достоинство, свое значение первого гражданина города. Угощали сердечно, расспрашивали обо всем с живым интересом. Дядюшку интересовала главным образом Японская война, тетушку – наша семейная жизнь: сколько у меня братьев, сестер, бывала ли мама заграницей, почему я учусь в Германии… Конфирмантка Паула изредка вскидывала на меня любопытные взоры, что мне казалось вполне естественным со стороны шестнадцатилетней провинциальной девочки, только что познакомившейся со студентом знаменитого Гейдельбергского универси

тета, к тому же уроженцем таинственной России, в которой медведи среди белого дня задирают проезжих на дорогах… Тетушке поведение Паулы было явно не по душе; по ее мнению, дочь должна была думать только о конфирмационных уроках. Тем не менее обед протекал вполне благополучно… Но к несчастью, я начал оживленно рассказывать о берлинской постановке «Дна». Как только я упомянул имя Горького, я почувствовал, что сделал какое-то фо-па, но отступать было ниже моего достоинства. На двадцать первом году своей жизни я был очень тверд в своем презрении к мещанству. Делая вид, что ничего не замечаю, я продолжал свой рассказ, вдаваясь, что было очевидно уже совсем неприлично, в детальное сравнение исполнения роли Настьки Книппер в Москве и Эйзольд в Берлине. Весело начавшийся обед кончился для меня печальною неожиданностью. После сладкого все встали из-за стола. Бургомистр сразу увел меня в кабинет, где был сервирован кофе с коньяком; на низком маленьком столике стояли коробки с сигарами всевозможных размеров и окраски. Очень удивившись моему отказу от коньяка и сигар (очевидно, в представлении почтенного бургомистра студент, развязно рассуждающий о социалистах и проститутках, должен был быть привержен к табаку и крепким напиткам), дядюшка внезапно вскинул на меня полный укоризны взор и, задумчиво посасывая толстую сигару, с видимым нравственным усилием, словно исполняя тяжелый долг, начал длинную тираду о том, до чего с моей стороны было неуместно говорить в присутствии конфирмантки о социалистах, о Горьком и восхваляемых им проститутках. «Неужели ты не

понимаешь, – наставлял меня дядюшка, – что Паула, этот невинный ангел, которая готовится в этом году впервые предстать перед алтарем для причастия, не должна ничего знать об этих беспутных женщинах?»

Такого серьезного наступления я не ожидал, но оно было мне на руку. К отбитию лобовой атаки я был более подготовлен, чем к защите себя от того враждебно-недоуменного молчания, которое наступило после моего разговора о Горьком и «Дне» за столом. С поразившей моего дядюшку убежденностью выпалил я все, что мог сказать в защиту независимости искусства от мещанской морали и политического направленства. За Настьку я заступился со всею страстностью молодости: нет, она не обыкновенная проститутка, она поэт и мечтатель, в России это все понимают. Если бы «Дно» было грязным произведением, моя мать не стала бы нам читать его вслух. А она читала, да еще как! Недаром она в молодости играла с самим Станиславским в любительском спектакле. На чтении присутствовала и моя сестра, такая же шестнадцатилетняя девушка, как Паула.

Перед столь энергичной самозащитой почтенный бургомистр почти что растерялся. Несмотря на докторский титул и звание присяжного поверенного, он как-то не сразу нашел, что мне возразить; думать же ему в мирный послеобеденный час, всем обиходом предназначенный для отдыха, явно не хотелось. Принципиальная сторона вопроса его вообще мало интересовала. Решив, что я чужого поля ягода и что со мною, воспитанным очевидно не вполне нормальной матерью, ничего не поделаешь, дядюшка внезапно переменил тактику. Похвалив за красноречие и посоветовав сменить «бесхлебное искусство» (brotlose Kunst) философа на карьеру присяжного поверенного, для которой я, как он только что имел случай убедиться, был одарен, как немногие, он взял с меня честное слово, что Пауле я своих сумасшедших теорий развивать не буду, и, весело подмигнув, заявил, что вечером мы с ним «уютненько кутнем», чтобы выбить из моей головы выспренние русские идеи.

Ужин, к которому дядюшка слегка принарядил

5) Для господина обербюргермейстера два пильзенского пива! Для господина обербюргермейстера бутылку нирштейнского вина и двойную порцию салата из омаров!

ся, прошел гладко и легко: очевидно, тетушке уже было известно, что мое поведение за обедом объясняется не столько моей личной порочностью, сколько чрезмерно либеральными взглядами моей русской матери. Поужинав, мы отправились в город. Согласно разработанному дядюшкой плану, нам предстояло посещение четырех ресторанов. Начать обход

предполагалось с простой пивнушки, закончить же дорогим винным погребком, выдержанным в старо-германском стиле. Шли мы, как, выйдя из дому, сразу же сообщил мне дядюшка, не просто кутнуть, а кутнуть с высшею, так сказать, целью. Как гоголевский Сквозник-Дмухановский, градоправитель Мемеля считал своею обязанностью время от времени лично удостоверяться – правильно ли свершается течение жизни во вверенном ему городке и не притесняют ли где заезжих гостей. Такое значение бургомистерских прогулок содержатели ресторанов не только хорошо понимали, но, очевидно, и приветствовали. Они подбегали к нам с совершенно невероятным подобострастием и, приняв заказ с почтительно склоненною головою, передавали его кельнерам с головою победоносно поднятою. По ресторанам радостно разносилось: "Fur Herrn Oberburgermeister zwei Pils! Fur Herrn Oberburgermeister eine Flasche Niersteiner und zweimal Hummermayonnaise"!5) Этот хорошо мне запомнившийся салат из омаров и бутылка рейнвейна в серебряном ведре со льдом были нам поданы в довольно уже поздний час. В резной деревянной нише было темновато. На столе горела низкая лампа под желтым абажуром. Многоопытная в любовных делах кельнерша, не очень молодая, но еще очень красивая, принесла, к моему удивлению, не два стакана, а три и, разлив вино, фамильярно подсела

к нам, как имеющая на то право старая знакомая бургомистра. Уже давно находившийся под влиянием винных паров дядюшка смотрел на нее с еле скрываемым вожделением, но и с желанием дать мне почувствовать, что он никогда не перейдет границы… Может быть, сей примерный муж, походивший в тот вечер на кота в благороднейшей визитке, и действительно не преступал той черты, что в его подсознательно-лицемерном сознании твердо отделяла дозволенную неверность от недозволенной, может быть, вспоминая со мною свои незабвенные студенческие годы, он лишь по старой привычке весьма развязно попадал игривою рукою в пышные прелести своей веселой дамы, – не знаю. Знаю лишь то, что от всего этого мне было как-то не по себе и что мое смущение явно раздражало почтенного бургомистра.

Когда я на следующее утро сошел в столовую, я застал за кофейным столом у окна одну только тетушку. Она, казалось, была в самом лучшем расположении духа. Желая окончательно загладить вчерашнюю обеденную неприятность и подчеркнуть, что она совсем не узкая моралистка, тетушка сразу же заговорила о нашем вчерашнем кутеже. Что-то в ее поведении мне не понравилось, и я с жестокою, желторотою прямолинейностью, без

всяких обиняков заявил, что я их немецких взглядов на жизнь не понимаю; не понимаю, почему с Паулой нельзя говорить о прекрасном сценическом воплощении вовсе не неприличного образа Настьки, а с кельнершей, тяжело зарабатывающей свой хлеб, можно обращаться совершенно неприлично. При произнесении последних слов урожденную баронессу чуть не хватил удар. Ее лицо мгновенно налилось кровью и нижняя челюсть отвисла, как у Щелкунчика; она гневно ударила кулаком по ручке кресла… и расплакалась.

Дней через пять бургомистр ласково, но твердо посоветовал мне отправиться погостить в имение

своих родственников, в котором как раз гостила вместе со своею берлинскою подругою моя замужняя троюродная сестра.

Коренастый пароходик, на котором почти совсем не было пассажиров, медленно подходил к пристани. В заливных лугах низкого берега споро работало несколько конных косилок. Когда, спустив пар, начали причаливать к небольшому серому мостику с двумя скамейками на нем, во внезапно наступившей тишине послышался совсем калужский стук молотилки. На пристани стояла стройная молодая женщина в белом платье с красным шарфом и весело махала мне широкополой соломенной шляпой. Сбежав по сходням, я с неожиданным приливом родственных чувств радостно расцеловался с очаровательною кузиною и, отдав по ее приказанию чемодан какому-то простоватому парню, вопросительно оглянулся: отправляясь в Шйегˆиˆ), я почему-то ждал, что за мною вышлют по меньшей мере четверню, которая после резвой езды по каким-то еще никогда не виданным местам примчит меня к подъезду барского дома, а может быть и замка.

6) Родовое имение.

К моему удивлению, никакого экипажа не оказалось. На мой задорный вопрос: «а где же лошади?», кузина, рассыпавшись звонким смехом, во мгновение ока накинула мне на шею свой длинный шарф, ловко продернула его концы под мышки и, протрубив в кулак военный сигнал «рысью», ударила меня зонтиком по плечу. Невольно подчиняясь ее прихотливо-веселому настроению, я после недолгой, но уже сладостной борьбы выхватил у нее зонтик и мы под руку понеслись к видневшимся невдалеке крышам и деревьям имения. Минут через пятнадцать мы уже были у калитки усадьбы. Над высокой травой, кое-где плешинами выкошенной для скотины, закатными

огнями горели окна старого дома; в густом саду пестрели куртины астр, георгин и настурций. От калитки к дому шла совсем русская, запущенная дорожка. Поодаль виднелись развесистые яблони в подпорках. Никаких следов рыцарства: все

уютное, милое, простое.

Быстро умывшись и переодевшись в отведенном мне мезонине, обставленном тяжелою, домодельною мебелью красного дерева, украшенном чучелом тетерева и букетами засушенной травы, я в необычайно приподнятом настроении сбежал в зал; одернулся перед одним зеркалом, оправил волосы перед другим и с бьющимся сердцем вышел на террасу, где меня уже ждали к ужину кузина и ее подруга: очень красивая женщина с темными, горячими глазами, с бескровными губами и со слишком холеными от безделья и скуки руками – несчастная и нервная.

В царившем на террасе настроении мне сразу же почувствовалась какая-то чуждая обывательски-помещичьему уюту нота. Беспокойные огни свечей посреди стола, накрытого с недеревенской тщательностью, душно-сладостный запах осенних роз и крепких духов, целая батарея затейливых ликерных бутылок, коробки с модными в то время папиросами Кириази-фрер, сыры, фрукты, тут же томик стихов графини фон-Путткамер, своеобразной предшественницы нашего Вертинского, писавшей под рискованным псевдонимом «Марии Магдалины», все это ничем не напоминало мемельских родственников. В первый же вечер Эльсбет мне рассказала, что между нею и ее родными – война, что она живет в имении в роде как в ссылке, отбывает наказание за измену своему мужу, противному ей человеку, за которого ее, семнадцатилетнюю, насильно выдала замуж мать. Денег муж ей на руки не дает, родители же дают гроши, но требуют, чтобы она честно отрабатывала их. Ей поручено самостоятельное ведение мо

лочного хозяйства. Она должна вставать с петухами, чтобы присутствовать при дойке и записывать в толстенную книгу, сколько литров дает Цецилия, сколько Корнелия, сколько Валькирия (более скромных имен у немецких коров почти не бывает). Молочное хозяйство она ведет и даже с успехом, но и за свою свободу борется с ожесточением. У ее подруги деньги пока еще водятся; ликеры, фрукты, закуски – все это она выписывает из города. Живет она в деревне, пытаясь, пока что домашними средствами, привести в порядок свое здоровье, так как ее берлинский «друг» не выносит детей.

Этот странный и интимный разговор невольно привел меня в сильное замешательство. Обе женщины это заметили и дружно подняли меня на смех: "Nein, sieh doch, wie unser Baby rot wird"7), – воскликнула кузина и, захлопав в ладоши, ловко запустила в меня диванной подушкой. Не успел я вымолвить слово в свое оправдание, как она с кошачьей легкостью прыгнула мне на

колени, зажала рот горячею, пахучею ладонью: "Baby soll schweigen"8) и таким шалым, хмельным, все совлекающим взором заглянула мне в глаза, что голова моя пошла кругом и во всем теле ошалело застучали пульсы: пол террасы всколыхнулся, как палуба в бурю, и начал уходить из-под ног. Теряя сознание, я вдруг почувствовал как бы ожог в сердце: в моем левом кармане лежало письмо из Москвы. Перед глазами сразу встал старый сад на Кудринской-Садовой. Боже, как преданны были печальные итальянские глаза, как ласковы прикосновения тихих рук, как нежны и прохладны робкие девичьи губы…

7) Посмотри только, как наш младенец покраснел.

8) Младенец должен молчать.

Так нежданно-негаданно поднялась в моей душе первая отчаянная борьба с самим собою за самого

себя; самая, быть может, трудная в жизни борьба твердой воли против расслабляющих желаний, непреклонной верности против соблазнов и мечты.

Эльсбет так страстно увлеклась своею игрою в любовь, что в доме и хозяйстве все сразу же пошло вверх дном. Число литров, даваемых по утрам Корнелией и Валькирией, правда, аккуратно записывалось, но лишь потому, что мы в это время как раз расходились по своим комнатам, чтобы хоть немного соснуть до утреннего кофе, который подавался теперь не в 8, а в 10 утра. До обеда Эльсбет пыталась заниматься хозяйством, но без большого успеха. После обеда все окончательно сходило с рельс. Несмотря на страдную пору, лучшая пара рабочих лошадей частенько запрягалась в легкую тележку и мы иногда втроем, иногда вдвоем уезжали в поля, в лес, любоваться заречными закатами и жечь костры на берегу реки. У Эльсбет был небольшой, приятный голос, но песни ее меня не трогали. Превращая Неман в Угру, я начал обучать ее русским романсам и песням. Она старательно учила русские слова, но выговор ее был ужасен. Решили, что она будет петь песни без слов. Бывало, пение обрывалось на особо трепетной ноте… Так проходили наши вечера и ночи… в лесу, в саду, под яблонями, на скамейке у пристани под грустные всплески всегда чем-то устрашающей душу ночной реки.

Как миг пролетела вторая половина августа; вот уже и сентябрь начал склоняться к концу. Все темнее становились осенние ночи, все ярче пылали в их темноте большие, лучистые звезды. Все холоднее становились утра. Желто-красные клены, зеленые лапы ельника уже с трудом пробивались сквозь мглисто-молочный утренний туман. Эльсбет надо было собираться в Берлин. Она горячо уговаривала меня не возвращаться в Гейдельберг, а имматрикулироваться

на зимний семестр в Берлине. Соблазн был велик. Все же, хоть и с грехом пополам, я себя отстоял, чарам не только пленительной, но и многоопытной в любовных делах женщины до конца не поддался. Волю мою крепила не только верность моей Москве, но и преданность идее подлинной любви, не только Людмила, но также «Крейцерова соната» Толстого и «Смысл любви» Соловьева…

Спускаясь в пять часов утра с украденным ключом от двери в кармане и с башмаками под мышкой из душной берлинской квартиры кузины, я испытывая бурную радость избавления от грозившего мне пагубного счастья…

После Клементьева и моей прусской эпопеи, Гей-дельберг показался мне благостным раем. Моя тихая мансарда с большим трехстворчатым окном и привычным видом на безмолвие Неккаровской долины и Оденвальдских гор, встретила меня ласковым, солнечным приветом. На письменном столе, под букетом роз – привет моей милой хозяйки – стояла фотография московской гимназистки, а на стуле лежал тяжелый пакет, только что присланное из Москвы, полное собрание сочинений Владимира Соловьева.

На следующий же день, во время чтения «Оправдания добра», в комнату постучался почтальон и протянул толстое заказное письмо, запечатанное Люд-милиным лиловым сургучом. Потрясенная моим покаянным письмом, она писала, что надеется достать денег и к весне приехать в Гейдельберг, не для того, чтобы отстаивать себя, а для того, чтобы залечить мои раны. И дух и смысл ее письма целиком заключался в соловьевской строфе:

Милый друг, не спрошу я тебя, Где ты был и откуда идешь, Только к сердцу прижму я любя, Ты покой в моем сердце найдешь.

Да, это был совсем другой мир, чем тот, из которого я только что вырвался: девичий, жертвенный, русский. С умилением и раскаянием читал и перечитывал я полученное письмо; за чтением вспомнилось, как принес Людмиле накануне отъезда в Пруссию большую фотографию Соловьева (ей очень хотелось постоянно иметь перед глазами лицо философа, над которым я буду ежедневно работать) и как она, твердо держа ее в своих, быть может, слишком маленьких руках, в глубокой задумчивости, со свойственной ей расстановкою слов, повторила, уже не раз слышанное мною признание, что в сущности она любит в человеке только глаза и руки. На ее языке это значило: как жаль, что существует страсть, когда вся полнота дана уже в любви. Ставя портрет на стол и горячо благодаря меня, она прибавила:

«Лучших глаз и рук, чем у Соловьева, я ни у кого не видала».

К лету Людмила, как и обещала, приехала в Гей-дельберг. За этот жертвенный и во многих отношениях героический приезд я до конца жизни останусь благодарен той несчастной, одинокой женщине, которая бьется в Москве над воспитанием сына, которого без настоящей любви родила в революцию, чтобы иметь основание не прекращать своей так никому и не пригодившейся жизни.

Рассказывать о нашем лете, о пятом лете нашей любви, я не буду. Достаточно сказать, что своею добротою, своим высоким благородством и своею верою в какое-то мое высшее призвание, Людмила действительно спасла меня тем летом от ската в то «отвлеченное сладострастие» (Соловьев), которое разожгла во мне Эльсбет. Спасла меня Людмила, однако, не для себя, а для новой любви, которая зародилась в душе вскоре после ее отъезда в Москву.

Вместе с угасанием моей первой любви во мне началось – в душе все друг с другом связано – и

некоторое охлаждение к Владимиру Соловьеву, по крайней мере к его аскетической этике. Докторская работа была начерно уже написана, о перемене темы не могло быть и речи. После многих колебаний я решил ограничиться переносом центра тяжести своей работы из сферы этики в сферу философии истории. Виндельбанд не протестовал. Изложению соловьев-ской философии я решил предпослать довольно обширное вступление, посвященное западникам, Чаадаеву и славянофилам.

Утраченный мною интерес к рационалистической системе Соловьева, глубоко чуждой его пророческому духу и его лирике, оказался утраченным навсегда: моя докторская работа так и осталась фрагментом задуманного большого исследования о Соловьеве.

Развенчание Соловьева произошло во мне не без влияния Розанова. Ту роль, которую в моей жизни сыграл прусский роман, в моем духовном развитии сыграла встреча с этим чувственно-привередливым и все же по точности своих духовных прозрений гениальным мыслителем.

Уже первая, прочитанная мною розановская статья с меткой и злой критикой соловьевского стиля произвела на меня среди обильной литературы о Соловьеве исключительно сильное впечатление.

Так двумя тяжелыми переломами, двумя болезненными разрывами закончилась моя взволнованная юность.

Ноябрь 1938 г. – апрель 1939 г.

Глава V ЖЕНИТЬБА. СМЕРТЬ ЖЕНЫ. ШВЕЙЦАРИЯ. ФРАНЦИЯ. ИТАЛИЯ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Стояли прекрасные сентябрьские дни. Не только Гейдельбергский университет, но и весь город – гостиницы и рестораны, меблированные комнаты и частные квартиры, носильщики, рассыльные и извозчики – готовились к приему съезжавшихся на третий философский конгресс гостей: немцев и иностранцев. Больше всех волновалась владелица «Театр кафе», милейшая фрау Райски. Бесконечно гордая тем, что организационный комитет конгресса поручил ей закусочный буфет, она страшно боялась, что не угодит иностранцам. Каждый раз, когда кто-нибудь из нашей компании заходил к ней выпить чашку чаю или поужинать, она скромно присаживалась к столику и начинала все снова и снова расспрашивать, что пьют и едят к завтраку французы, англичане и итальянцы. Особенным авторитетом у нее пользовались Михаил Иванович Катарджи и Трифон Георгиевич Трапезников, хорошо знавшие и Париж, и Лондон, и Рим: "Ganz feine Herren"1).

1) Настоящие господа.

Большинство достопочтеннейших гейдельберг-ских обитателей интересовалось главным образом обещанным бургомистром грандиозным фейерверком и освещением замка. Ходили слухи, что по случаю конгресса, кроме замка, разноцветными бенгальскими

огнями будут освещены все мосты на Неккаре и целый ряд других «исторических зданий».

Пароходное общество по этому случаю спешно украшало свой флот: красило лодки, заготовляло флажки и лампионы, законтрактовывало музыкантов. Все это мне с волнением сообщала гражданская жена хромого барабанщика, сын которой готовился вместе со мною к докторскому экзамену. Студентки, ассистентки и дочери профессоров с нетерпением ожидали бала в только что заново отделанном зале «Музейного общества». Так, подобно неподвижной платоновской идее, все приводящей в движение, волновал философский конгресс умы, сердца и мечты прекраснодушного гейдельбергского населения, гордого своим университетом, в котором некогда читал сам Гегель.

Как далека, как бесконечно далека эта романтическая идиллия моей юности от жуткой романтики современной

национал-социалистической Германии, силящейся насильственно вырвать из чрева «объективного духа» еще не вызревшую в нем «антитезу» Версаля и как через Ницше, любимца многих национал-социалистических вождей, все же тесно связана с нею. О типично романтическом характере воинствующей философии Ницше спорить не приходится. Из его писаний можно было бы с легкостью извлечь целый том цитат, по подбору слов и образов, по ритму фраз, по господствующей в них парадоксальности мысли, очень близких к изречениям Шлегеля, Тика и их философских соратников. Ницшевские «ночи и молчания», «чужбины и родины», «арфы и молоты», ницшевская тоска и ницшевская дифирамбичность – все это и по своему вкусу и по своей безвкусице настолько романтично, что читается ныне не без труда. И все же не подлежит сомнению, что Ницше своею защитою всесозидающей роли войны и военных добродетелей оказал не только на психологию Берлина,

но и фашистского Рима почти такое же сильное влияние, как Маркс на идеологию большевизма. Двое из наиболее интересных учителей Муссолини, члены Великого фашистского совета, социологи Парето и Сорель, прошли, по их собственному признанию, через очень сильное влияние Ницше.

Менее крепки, но все же очевидны связи национал-социализма и с классиками романтизма. Современно-немецкая теория «крови и почвы» так же связана с народнически-этнографическими писаниями Гердера, Гаманна и «отца гимнастов Яна», как идея тоталитарной государственности с религиозно-социальными учениями перешедшего в католичество Мюллера и полумистического социалиста Фихте. Странно сказать, но даже в писаниях такого набожного мистика и подлинного поэта, как Новалис, нередко встречаются места, звучащие прямыми предсказаниями совершающихся ныне процессов. Перечитывая его в 1936-м году, я долго думал над его своеобразным учением о короле-вожде, являющемся не патриархально-мудрым отцом своего народа, а его героическим сыном, и искренне смеялся над его оказавшеюся пророческою мыслью о превращении всех граждан в чиновников и о введении для них, а также и для «заслуженных домашних хозяек» особой формы. Вот тебе и романтически-мистическая вражда немцев ко всякой грани и форме в искусстве и мысли!

Не странно ли, что съехавшиеся в 1908-м году на конгресс философы, несмотря на революционные громы 1905-го года и на то, что до начала Великой войны оставалось всего только шесть лет, не испытывали ни малейшей тревоги за состояние мира.

Правда, в своем вступительном слове президент конгресса,

Виндельбанд, горячо говорил об опасности борьбы «всех против всех», которую несут с собою популяризация знания и демократизация общества; но, анализируя эти опасности и оптимисти

чески предсказывая возврат человечества к разумно-гуманитарным идеалам 18-го века, он в гораздо большей степени волновался борьбою Сократа с софистами, о которой блестяще писал в своих «Прелюдиях», чем своей современностью. Социологическая незаинтересованность и политическая нечуткость почти всей нео-идеалистической философии Германии были поистине потрясающими. Успокаиваясь на том, что Ницше – поэт и филолог, а Маркс – экономист и политик, маститые профессора философии или вообще не занимались этими мыслителями, или занимались ими в целях приспособления их идей к положениям научной философии, что по тем временам значило – к Канту. Зиммель остроумно доказывал, что античное учение Ницше о вечном возвращении может быть понято, как своеобразная трактовка категорического императива: «живи так, чтобы, в случае повторения жизни, ты не имел бы основания желать изменения пройденного тобою пути». Явно не чувствуя заложенных в марксизме разрушительных энергий, Фор-лендер близоруко подводил идеалистически-этический фундамент под материалистическое учение «Коммунистического манифеста».

Русская вольная философия, державшаяся в общем и целом мнения Н. А. Бердяева, что интерес к вопросам познания всегда развивается там, где утрачивается доступ к «бытию», и потому, быть может, более чуткая к вопросам социальной и политической жизни, была, к сожалению, представлена на конгрессе не только случайными, мало интересными, но и весьма молчаливыми мыслителями. В прениях принимали участие лишь два странных самодума: блестящий эрудит Ительсон из, Берлина и дилетант Георгий Еллинек из Здолбунова, да три русских студента – минорнейший Минор, запальчивый Семипалое (бывают люди до смешного похожие на свои фамилии) и длинноволосый, высокий, худой, черный, как

смоль, Борис Яковенко, защищавший уже в 1908-м году свою систему «плюрализма» в том же стиле начетнического внедрения во все житейски-иллюзионистические прикрытия истины, которая и поныне составляет неизменную сущность его весьма ученых писаний.

В центре конгресса стояла горячая борьба англо-американского прагматизма с идеалистической традицией немецкой философии. Наследники Рима, но не Афин, враждебные

созерцательной традиции в христианстве, пуритане-прагматисты приехали в цитадель идеалистической философии с целью навязать Европе возникшее в Америке убеждение, что исповедание общеобязательной, вневременной истины есть верх логической непоследовательности и практической бессмыслицы. С явно антинаучным задором доказывали профессор Шиллер и его единомышленники, что не человек должен служить идее, а идея человеку, что задача философии не в том, чтобы строить воздушные замки, а в том, чтобы устраивать земные жилища, что истина тождественна пользе.

Я, как впрочем и все русские студенты-философы, был всею душою на стороне немцев, которым американский прагматизм представлялся страшным варварством и грубым невежеством. Яковенко, несколько раз выступавший против прагматистов, своею полемическою энергией и святительскою внешностью неизменно вызывал большой интерес к своим критическим замечаниям. В основном и Яковенко и все другие противники прагматизма были бесспорно правы: выросший на перекрестке дарвинизма и марксизма прагматизм был, благодаря своему утилитарному отношению к высшим духовным ценностям, совершенно не в состоянии не только разрешить, но хотя бы только правильно поставить основной философский вопрос о природе истины. Тем не менее в его живом подходе к вопросам устроения жизни для

отвлеченной немецкой философии было много нового, а для русской, которую мы, русские, к стыду своему знали хуже немецкой, много своего, близкого. Перекликаясь и с Ницше и с Бергсоном, американский прагматизм стремился, в чем и была его главная заслуга, к замене схоластически-школьной философии живою и действенною, всеохватывающею философией целостного духа. Эта, в своей религиозной глубине русская, тема захватила меня много позднее – лишь на войне. Не скажу, чтобы немецкие пушки разбили во мне твердыни критической философии; они просто повернули душу к другим, более существенным вопросам. Легкость моего внутреннего отхода от Канта, освоение которого я, однако, и поныне продолжаю считать необходимым условием серьезного изучения философии, объясняется, конечно, чужерод-ностью его философии всему моему душевному и умственному строю. Боже, с какими муками усваивал я в свои первые семестры «Критику чистого разума». Ночи напролет бродя по горам Гейдельберга, смотрел я, бывало, на летящую сквозь облака луну, на переливающийся огнями сизо-туманный город подо мною, с его мостами и башнями, на возникающую в моем представлении за Гейдельбергом, Берлином

и Варшавой, Москву (вот Георгиевский переулок, за обеденным столом сидят все наши) и никак не мог поверить, что весь этот с детства знакомый, устойчивый мир всего только содержание моего сознания, которому на самом деле или вообще ничего не соответствует, или нечто, о чем я не в силах составить себе ни малейшего представления.

Не знаю, как бы я осилил все эти трудности, если бы не внезапно возникшее во мне увлечение немецкой романтикой и мистикой. Новалис и Шлегель, Шеллинг и Баадер, Мейстер Эккехардт, Плотин и Рильке не только помогли мне освободиться от гносеологической муки, но и подготовили мою встречу

с русской философией. Во время работы над своею докторскою диссертацией о Соловьеве, за изучением Одоевского, Чаадаева, Хомякова и Киреевского я испытывал большую радость первой встречи наивно реалистического детского восприятия мира с положениями научной философии. Моя большая программная статья «Жизнь и творчество», опубликованная в 1913-м году в «Логосе», представляет собою первый набросок философской системы, пытающейся на почве кантовского критицизма научно защитить и оправдать явно навеянный романтиками и славянофилами религиозный идеал.

Я вернулся в Гейдельберг с похорон жены, погибшей за несколько недель до открытия конгресса. Говорить о своем, личном, не будучи защищенным объективирующей формою искусства, очень трудно; ведь читатель воспоминаний смотрит не в душу вымышленного героя, а в душу самого автора. Но все же не говорить о своем нельзя, так как я ясно отдаю себе отчет в том, что все понятия, в которых я мыслю мир и историю – вина, свобода, судьба – родились в глубинах моей личной жизни.

Немногое в своей жизни я помню так живо, как первую встречу с моею первой женою. Было начало летнего семестра 1904-го года. Догнавший меня на улице Бунзена Саша Поляков, не только талантливый певец, но и веселый дон-Жуан, таинственно объявил: «Знаешь, в Зоологическом институте уже две недели как появилась новая курсистка, настоящая москвичка. Говорят изящная, под «знатную соотечественницу», но недотрога. Много знает, работает прекрасно, была на Высших курсах. К сожалению, партийная и, как все зоологи, – социал-демократка. Станчинский намекает, что у нее был какой-то сложный роман с известным музыкантом. На этого музыканта вся моя надежда. Женщина, страдавшая под рояль, не может не расчув

ствоваться, когда я запою. Сегодня она обедает в «Континентале».

Мы только что разместились за «табль д'отом», как в дверях

появилась «знатная соотечественница» в сопровождении двух зоологов. Впереди шел, похожий на бородатого гнома, коренастый Станчинский, позади – стройный полурумын Миракли, очень красивый юноша с большим костистым лбом и печальными, оленьими глазами. Оба товарища совсем не запросто, а с какою-то подчеркнутою почтительностью, подвели новую знакомую, очень милую девушку с обще-русским, словно из-под кокошника, но индивидуально умным и нервным лицом, к хозяйке пансиона, фрау Капитан, которая нарядною, высокогрудою массою пышно восседала на конце стола, и так же почтительно, как бы «шапронируя» высокопоставленную особу, подвели ее к ее месту. Опустившись на стул между своими кавалерами, Анна Александровна сразу же сосредоточила внимание своих обоих спутников на себе и тем разъединила их между собою.

Сидевшему рядом со мною Полякову весь этот «выход» (ученик Оленина любил выражаться театральным жаргоном) весьма не понравился. «Мое дело дрянь, – шепнул он мне, – я совсем забыл, что Миракли прекрасно играет на скрипке, а кроме того, у него имя поэтичнее: Аркадий Васильевич звучит гораздо лучше, чем Александр Васильевич; Аркадий – все равно что Аркадия: и лужок, и свирель. Имя героя очень важно для женщин, все равно, как ее духи для нас». Поляков считал себя большим знатоком в вопросах страсти и любил тонко и глубокомысленно порассуждать на «величайшую тему жизни». Интуиция не обманула Александра Васильевича: Анна Александровна сразу же не взлюбила его. По-русски чистая, по-интеллигентски идейная и до неприязни ко всему мужскому роду стыдливая, она с почти бестактною резкостью отклонила поляковское ухаживание, сразу

же почувствовав его опытно-профессиональную развязность.

Занятый своими переживаниями (приезд Анны Александровны в Гейдельберг совпал с моим возвращением из Пруссии) я долгое время почти не замечал нового члена русской колонии. К тому же Анна Александровна была естественницей и марксисткой, презиравшею философские отвлеченности, я же был горячим идеалистом и весьма равнодушным к естественным наукам антимарксистом. Ее новый зоологический институт находился у вокзала, мой старый университет – у собора. Она писала докторскую работу об инстинкте самосохранения у раков, я – об историософии Владимира Соловьева, основанной на идее самопожертвования. Все это отнюдь не способствовало нашему сближению. Мы по-товарищески встречались за «табль д'отом» и на читалкинских собраниях, изредка говорили о Москве и иногда обменивались политическими колкостями. Этих поверхностных

встреч было, впрочем, вполне достаточно, чтобы видеть, с какою быстротою вырастала и крепла любовь между Анною Александровною и Аркадием Миракли. Через год они женихом и невестой поехали на русскую зоологическую станцию в Вилль-Франш заканчивать свои докторские работы.

С «жизнерадостно-благоуханной», «сине-солнечной» Ривьеры влюбленные слали своему другу Стан-чинскому, от души примирившемуся с победой приятеля в неравной любовной тяжбе, безгранично счастливые открытки и письма… Вдруг пришла непостижимая телеграмма: «Аркадий заболел тифом, приготовь комнату в больнице»…

Прошло две недели. На маленьком гейдельберг-ском вокзале собралось десятка два-три людей. Профессора, ассистенты, студенты и служащие зоологического института пришли проводить гроб с останками своего ученика и товарища в сюртуках и цилиндрах;

русские – в обычных летних костюмах. Анны Александровны не было. За несколько дней до смерти Аркадия она сама заболела тяжким нервным недугом. Врачи строго предписали пока что не говорить ей о смерти жениха.

По платформе растерянно метался, по-бабьи вспухший от слез волосатый восточного вида человек в широкополом сюртуке и форменной путейской фуражке. По тому, с какою восторженною благодарностью он пожимал руки профессорам и товарищам своего умершего сына, как перекладывал венки, выправляя надписи на лентах, было ясно, что он сейчас так же весь в смерти любимого первенца, как уже завтра будет вне ее: выплачется, умоется, переоденется и привычно отправится распоряжаться в бюро.

Поднявшись по устланным черным сукном доскам в обитый черным же сукном вагон, я в темноватой его глубине сразу же увидел приехавшую несколько дней тому назад из Вильны сестру покойного, Нину. В черном платье-подряснике, со слегка склоненною на бок, гладко причесанною головою, бледная, печальноокая, с иконописно удлиненным носом и освещенным пани-хидною свечою тонким ртом, вся отозванная в глубокое, созерцательное затишье, она показалась мне не живою женщиною, а ликом из византийской мозаики первых веков. Несмотря на это, она своим обликом напоминала своего весьма жизнерадостного, изящно-светского брата.

Священник не успел еще разоблачиться, а псаломщик собрать панихидные свечи, как по настоянию старика Миракли, хотевшего почему-то во что бы то ни стало присутствовать при пломбировании вагона, началась эта тяжелая, после возвышенной

богослужебной скорби, процедура превращения останков усопшего в скоро портящийся груз: станция назначения – Вильна. Но вот всё кончилось. Мы проводили отиравшего глаза и щеки громадным платком старика Ми

ракли к его берлинскому поезду, свято обещали немедленно же заказать для зоологического института два больших портрета сына: один – в директорский кабинет, другой – в лабораторию, и, помахав несколько раз платками, поспешили со Станчинским и Ниною к Анне Александровне, совещаясь о том, как и когда сообщить ей обо всем происшедшем.

Только что пробудившись от длительного обморока-сна, Анна Александровна сидела на краю постели и, жалуясь на непереносимые боли, умоляла сиделку поскорее сходить за давно уже ушедшим к морю Аркадием (очевидно ей казалось, что она находится в Вилль-Франш) и попросить его поскорее вернуться, чтобы вынуть из ее головы «эти страшные, длинные гвозди».

Всего только наскоро осведомленная Станчинским о загадочной, нервной болезни Анны Александровны, Нина ни на минуту не растерялась. С совершенно недоступною ни мне, ни Станчинскому простотою, подошла она к постели больной, выслала сестру в соседнюю комнату за Аркадием, сказала, что гвоздики маленькие, как булавки, так что она и сама может легко вынуть их, тут же показала незаметно выдернутую из своей кофточки булавку и, уговорив Анну Александровну попытаться еще раз заснуть, так тихо и спокойно, с такою внутреннею сосредоточенностью села у изголовья, положив руку на голову больной, что та через несколько минут заснула, но уже не больным, а целительным сном.

С этого вечера началось медленное возвращение Анны Александровны в жизнь. Сразу же вовлеченный Ниною в тайну врачевания и воскрешения души Анны Александровны, я, сам того не замечая, быстро выучился помогать ей в ее трудном деле.

Какими силами действовала Нина, я и поныне не умею сказать. Молиться она не умела, гипноз презирала, как всякое насилие, никаких наставительно-пе

дагогических речей о необходимости жить и работать никогда не произносила и, тем не менее, она на моих глазах творила явное чудо. Изо дня в день встречаясь у постели Анны Александровны, мы с каждым днем все глубже и таинственнее сближались друг с другом…

Несмотря на то, что моя личная жизнь, пройдя через многие скорби, сложилась на редкость счастливо, меня временами все же волнует вопрос, что бы было, если бы, прощаясь со мною перед возвращением в Вильну за дверью Аниной комнаты, Нина

смертным холодом своих рук и нездешнею печалью своих глаз не внушила бы мне, что нам с нею не спасти Ани, если я не заменю ей Аркадия…

Осенью 1906-го года, по пути из Гейдельберга в Москву, где должна была состояться наша свадьба, мы с Аней провели несколько дней у Нины в Вильне.

Аня каждый день одна ходила на могилу Аркадия. Ожидая ее, мы с Ниною подолгу бродили по запущенному саду, в котором стоял ее ветхий домик. Говорили мы исключительно об Ане и Аркадии, но молчали, быть может, и о своем; о том, что «Зачалось и быть могло, но стать не возмогло».

Несмотря на горькую Анину тоску по Аркадию и на наши с Ниной немые беседы, никто из нас не испытывал ни малейшего смущения совести. Накануне свадьбы между нами тремя странным образом все было ясно и чисто.

Войдя в Анину семью, я встретился с совершенно чуждым мне миром. Несуразно высившийся среди маленьких домишек декадентский Оловянниковский дом выходил на грязноватую Самотечную площадь, как раз против второразрядного ресторана «Волна». В первом этаже помещалась старозаветная Оловянниковская торговля экипажами и москательным товаром.

Во втором – квартира хозяев. В третьем – какая-то неуместная на Самотеке Художественная фотография.

Внутреннее убранство квартиры было на добрых четверть века старше «стиля» недавно отстроенного дома с огромными, затейливо изогнутыми оконными рамами. Направо от передней находились две громадные комнаты, в которые редко кто заглядывал: темный кабинет хозяина, обставленный громоздкою, дубовою мебелью и холодноватая, неуютная гостиная: наискось поставленный концертный рояль, высокие, простеночные зеркала и трафаретный плюшевый «гарнитур». Когда я в сумеречный час впервые вошел в эту, явно излишнюю в ежедневном обиходе комнату, у меня по спине невольно пробежала дрожь и промелькнула мысль, что нужною эта комната может стать только в случае смерти кого-нибудь из членов семьи.

Жилая часть квартиры – узкая, длинная столовая и спальни на девять человек, выходила на двор. Мебель тут была неказистая, скопидомная, но за долгую жизнь прочно обжитая и потому все же более уютная. Оловянниковский дом явно носил следы легкого в России тех времен обогащения и часто связанной с ним безвкусицы.

Хотя я по фотографиям и Аниным рассказам и имел некоторое представление о ее родителях, они при первой встрече

все же весьма поразили меня. Культурный и бытовой разрыв между ними и дочерью был так велик, что они как были, так и остались для меня совершенно чужими людьми. В особенности типичен был отец. В длинном, узком сюртуке, с черною тесемкою вместо галстука, он показался мне классическим европеизированным купцом эпохи Островского. С чужими тихий и молчаливый, он в семье был настоящим деспотом. Направляясь из передней в столовую, он уже в коридоре хлопал в ладоши. При пятом хлопке тарелка супа с мясом, без которого он не признавал обеда, должна была стоять на своем месте. Во время

обеда он нетерпеливо обегал глазами стол, требуя, чтобы младшие дети без слов угадывали его желания: не дай Бог было подать соль вместо перца или горчицы. Летом, когда семья жила на даче, богатей Оловянников с удовольствием обедал в грязноватой «Волне», хотя до первоклассного «Эрмитажа» было рукой подать. Часов в пять он почти ежедневно выезжал на дачу в Медведково в легком шарабанчике, запряженном тяжелым орловцем.

Мать Ани, бывшая не многим моложе своего мужа, представляла собою несколько другой тип: в ней уже чувствовалась интеллигентская прививка. Была ли интеллигентность Екатерины Петровны ее личною чертою, или только отсветом ее просвещенного брата, довольно известного в Москве преподавателя и социал-демократа, я сказать не берусь, думаю, что скорее последнее…

По моим наблюдениям, в конце 19-го века и еще более в начале 20-го в каждой русской семье, не исключая и царской, обязательно имелся какой-нибудь более или менее радикальный родственник, свой собственный домашний революционер. В консервативно-дворянских семьях эти революционеры бывали обыкновенно либералами, в интеллигентски-либеральных – социалистами, в рабочих – после 1905-го года иной раз и большевиками. Нельзя сказать, чтобы все эти тайные революционеры были бы людьми идеи и жертвы. Очень большой процент составляли снесенные радикальными ветрами влево талантливые неудачники, амбициозные бездельники, самообольщенные говоруны и мечтательные женолюбы. (Левая фраза тогда очень действовала на русских женщин). Роль такого родственника в семье Оловяннико-вых играл вышеупомянутый брат Екатерины Петровны.

Сергей Петрович не был бездельником, но и он был блестящим говоруном и, несмотря на многодет

ную семью, большим Дон-Жуаном. Под его влиянием, его собственные многочисленные дети, как и дети его сестры,

поступая в университет, или на Высшие женские курсы, само собою вступали и в партию.

Уже по письмам, которые Аня получала от своих братьев и друзей, мне было ясно, что ее сближение с «идеалистом» было им, революционерам, не только малопонятно, но даже неприятно. В их письмах невинный для меня термин «идеалист» звучал так же непримиримо, как полуругательство «жид» в устах дворян-антисемитов.

Наиболее враждебно встретил меня младший брат Ани Иван, участник того «мокрого» дела (так, пользуясь уголовным жаргоном, называл террористические акты старший брат Ани, опора дела и набожный черносотенец Михаил), во главе которого стояли погибшие впоследствии братья Добролюбовы.

Худой, жилистый юноша, невысокого роста, зараженный террористической идеей, словно револьвер пулею, Иван в первое время нашего знакомства сознательно не разрешал себе общения со мною. Входя в комнату своею странною походкой (шмыгающие ступни и согнутые колени), он сразу же отходил в дальний угол, откуда, не принимая участия в разговорах, бросал на меня лихорадочные взоры своих глубокосидящих в скуластом лице глаз. Иногда он приводил с собою гимназического товарища, конечно, тоже партийца, сильно окающего крестьянина с Сенежского озера. Крестьянин этот был на редкость красивый юноша-богатырь; в выражении правильного лица, озаренного задумчиво скорбными глазами и всегда бледного от темных, длинных волос, было нечто иночески-богатырское. С приятеля Ивана Оло-вянникова Виктор Васнецов мог бы написать прекрасный образ Георгия Победоносца.

Кроме черносотенного Михаила, которого Аня ненавидела, и младшего Ивана, с которым ей бывало

часто как-то не по себе, у нее был еще третий, любимый брат Павел, студент юридического факультета, большая умница и талантливый партийный оратор. По приезде в Москву мы застали Павла в Бутырской тюрьме. Однажды, во время передачи, Аня познакомила меня с его невестой, Наташей Никитиной, и ее братом Андреем. Никитин, как и братья Оловянни-ковы, был социалистом, но каким-то особенным. В Андрее все (изящная, какая-то поникшая фигура, девичья белизна кожи, легкое золото летучих волос, блуждающая в светлых, северно-синих глазах пленительная улыбка) дышало нежностью, хрупкостью и застенчивостью. Глядя на Андрея Никитина, я не сомневался в том, что, не болей вся Россия революционною горячкою, он никогда не оказался бы в партии. Для революционной борьбы он не располагал ничем, кроме, быть может, искреннего сочувствия к

«униженным и оскорбленным», играющего в революциях, как выяснилось, самую последнюю роль.

Приготовления к свадьбе нас с Аней мало занимали. Мы венчались по просьбе ее родителей и ради устранения формальных неудобств совместной жизни не в городе. Пожизненной верности мы друг другу не обещали; не по легкомыслию или испорченности, а по крайней честности. Я был радикальнее Ани и любил повторять, что вопрос о природе нашей любви – брак, или не брак – разрешится для нас только на смертном одре. Ясно, что при таком отношении к перемене в нашей жизни, очень важные для Аниных родителей вопросы приданого, обзаведения и средств к существованию, нас вообще не интересовали.

Наше предсвадебное время мы проводили в театрах, музеях и в бесконечных миросозерцательных и политических разговорах. «Товарищи» – как Ани-ны родные, так и ее знакомые – стаями перелетавшие из квартиры в квартиру, прилагали все усилия,

чтобы разбить и развенчать меня. Чувствуя мою силу в философии и диалектике, они переводили наши споры в сферу программных и тактических вопросов революционной политики. Я, конечно, не сдавался и, не входя в «неинтересные» детали, упорно «бил» по их несостоятельным философским предпосылкам. Бой был не равен: я сражался один – один в поле не воин – они же чувствовали себя призванными глашатаями идущей к победе революционной России. «Сплоченной дружиной» гребли они «против течения», я же, стоя на перекидном мосту своей философии, всего только созерцал борьбу революции и реакции, в моем понимании, борьбу двух неправд. Твердо уверенный в своей правде и в своих силах, я не только не страдал от своего одиночества, но даже гордился им. Зато сильно страдала за меня Аня. Сердцем поддерживая меня, она волей и сознанием была все же на стороне моих противников.

На следующий день после венчания в старинной подмосковной церкви и грустного празднования этого события в родительском доме (моя ранняя женитьба совершенно сразила мою мать, болезненно привязанную к своему первенцу), мы с Аней отправились обратно в Гейдельберг, где идиллически устроились в миниатюрной – в две с половиною комнаты – квартире. Наш «Гартенхауз», в нижнем этаже которого был сарай, где хранились лопаты, грабли, метлы и всяческая домашняя утварь, представлял собою нечто вроде стеклянного скворечника во фруктовом саду. Жили мы, конечно, по-студенчески: обедали в ресторане, ужинали же у себя дома. К ужину – чай с бутербродами – обыкновенно приходили наши приятели.

Работали мы много и со страстью, но каждый про себя. Женитьба не пробудила во мне естественно-научных интересов; Анины же философские искания она скорее притупила. Защищать свой «диалектический материализм» против моего кантианства

ей было не под силу. Перехода же на мои идеалистические позиции она страшилась, как углубления своей измены Аркадию, с которым она и после свадьбы продолжала быть глубоко связанной.

Когда кончился зимний семестр и наступила весна, Аня решила ехать в Вилль-Франш, дописывать начатую там докторскую работу. Несмотря на мою боязнь, что на Ривьере она попадет во власть своих тяжелых воспоминаний и снова заболеет, я сразу же согласился. Не согласиться мешала мысль, как бы Аня не заподозрила меня в ревности, которую считала недопустимым унижением любви. Как типичная русская интеллигентка, она и в личной жизни отстаивала ту гуманитарно-либеральную свободу, что и в своей политической борьбе.

От дороги в Вилль-Франш в памяти осталось только несколько отдельных картин. Нелепые золотые колонны и мраморные стены сизого от табачного дыма и до отказа набитого шумными людьми модного мюнхенского кафе сразу же сменяются окном тишайшего отеля над синеющими сквозь утренний туман водами Фирвальдштедского озера. Мы медленно идем по знаменитой Аксенштрассе. Еще не вполне успокоившаяся после бурной ночи сине-зеленая поверхность озера все величественнее и шире развертывается под нами; снежные горы все отчетливее и торжественнее вычерчиваются во влажном, весеннем небе. Аня все тревожнее и нервнее сжимает мою руку. Я чувствую, что она думает об Аркадии, с которым два года тому назад впервые шла этою же дорогою. В ее испуганных глазах, в пробегающей по милому лицу волнующей меня судороге немая мольба понять и простить ее. Каким-то перенятым от Нины волевым жестом я сразу как бы заговариваю ее уже снова кровоточащую рану, так что мы, хоть и с запозданием, благополучно, т. е. без припадка, возвращаемся

в гостиницу. Портье уже выносит наши чемоданы на вокзал.

В окне почти пустого вагона поезда-, несущегося к Симплонскому туннелю, легко, словно кулисы на колесиках, уходят вдаль тяжелые, горные массивы. Аня, боясь, как бы горы не обрушились на ее голову, лежит в купе с задернутым желтою шторкою окном. Я молча сижу у ее ног в надежде, что утомленная утренней прогулкой, она, в конце концов, забудется сном.

Вот и Милан. Простояв с четверть часа с закинутыми вверх головами перед готическим лесом беломраморного собора и

пробежавшись (мы уже в Генуе) по Кампо-Санто, с его не понравившимися нам театрально-риторическими памятниками, мы незабвенно прекрасным, солнечным утром трогаемся из Ментоны в Вилль-Франш, к себе, как охотно подчеркивает Аня.

Аня в прекрасном, светлом настроении. Уже не прячется в купе, а стоит почти все время у открытого окна, в котором, маня и играя, то первозданно яркими, то приглушенно-нежными красками, летит какая-то фантастическая, древняя, как Одиссея, и одновременно современная, как всемирная выставка, страна. Прерываемые туннельными темнотами, летят заросшие белыми и лиловыми глициниями мраморные виллы, охраняющие их входы стройные, темно-зеленые кипарисы, эстрадно-театральные на мой северный взгляд пальмы, иглистые, в ржавых пятнах агавы, серебристо-лунные оливы, терракотовые полосы земли на еще античных каменных террасах и то удаляющаяся, то приближающаяся синева южного моря с медленно скользящими з ней красными и белыми парусами…

Не найдя в гостиницах и пансионах подходящих комнат, мы поселились в здании зоологической станции, служившем в средние века тюрьмою, в громад

ной, почти пустой комнате, без жалюзи и занавесок, с каменным полом и тяжелым ржавым кольцом в нем. Напившись утром чаю у доходящего до самого пола окна, в которое струился солоноватый морской воздух, мы сразу же расходились по своим рабочим углам: Аня в лабораторию, я – в сад, читать. Полуденный сигнал горной батареи альпийских стрелков, мелодичный и печальный, совсем иной, чем наш Клементьевский, напоминал нам об обеде. Обедали мы в маленьком отеле «Универ», небольшой русской компанией, среди которой меловою бледностью лица и фанатическим блеском черных глаз обращал на себя внимание, одетый в черную куртку полувоенного покроя поляк Мицкевич – убежденный социалист и пламенный патриот.

Мицкевич познакомил нас со своею соотечественницей и единомышленницей, женою известного в то время парижского хирурга. Мадам М. была большою поклонницею Владимира Соловьева, с которым некогда занималась французским языком. Знаменитый философ владел им хорошо, но для парижского уха не в совершенстве. То, что я писал диссертацию об этом искреннем защитнике католичества и польского народа, невольно сближало меня с польской патриоткой.

Во всем строго принципиальный, Мицкевич в Монте-Карло не ездил, мы же втроем частенько посещали знаменитое казино. Аня и мадам М. теряли за зеленым столом всякое самообладание: обеих во время вращения рулетки охватывала самая настоящая

игорная лихорадка. Меня, ко всеобщему удивлению, рулетка совершенно не волновала. Я скромно играл, ставя на «руж» и «нуар», откладывая с аккуратностью местных жителей в неприкосновенный фонд половину каждого выигрыша. Мне везло: на наши небольшие с Анею деньги я выиграл себе на летний костюм и на обратную дорогу в Гейдельберг. На деньги же мадам М.

выиграл ей по своей системе довольно приличную сумму, несколько тысяч франков.

Несравненно больше рулетки захватило меня само Монте-Карло, этот взращенный грехопадением райский сад, с его в то время еще головокружительной жизнью. Больше всего любили мы с Аней рассматривать съезжающуюся на крупную ночную игру публику. Парные экипажи один за другим бесшумно подкатывали к ослепительно освещенному подъезду казино; из них, волнуя сердце нежною отравою тончайших духов, с балетною легкостью выпархивали какие-то совершенно фантастические для моего юношеского глаза красавицы. Слегка касаясь услужливо поданных рук своих изящных кавалеров во фраках, они, сияя драгоценными камнями, манящими улыбками и загадочными взорами, одна пленительней другой, быстро проскальзывали мимо нас в наркотически влекущие их, аляповато раззолоченные, зеркальные залы…

За отсутствием у меня фрака, вход в казино на вечернюю игру был нам заказан. Это нас мало печалило. Зато очень прискорбно было узнать, что по той же причине нам не попасть ни на один из спектаклей с участием Шаляпина. Помню, с каким новым в себе чувством протеста и раздражения смотрел я на разряженную публику, непрерывным потоком спешившую в театр. Выпив в «Кафе де Пари» по чашке кофе, мы сели в убогий трамвай, напоминавший своею медлительностью московскую конку, и в горьком чувстве своего социального отщепенства поплелись в свою средневековую тюрьму.

Вернувшись в Гейдельберг, мы прослушали летний семестр, а к осени поехали в Москву, так как для окончания докторской работы мне была необходима Румянцевская библиотека.

Сняв две большие комнаты, повесив над диваном в кабинете большой портрет Соловьева, кото

рый, чудом вывезенный из Советской России, и сейчас висит в моей комнате, и купив большой самовар, мы, в радостном сознании начинающейся для нас новой взрослой жизни, сообщили друзьям и знакомым, что по средам мы дома и будем рады видеть их у себя. Наши «журфиксы» пришлись всем по сердцу. В первую же среду набралось много народу и сразу же

закипел нескончаемый разговор на всевозможные темы. Иногда я устраивал литературные вечера. Как-то читал «Снежные маски» Блока, которым очень увлекался. Аня, так же как и ее друзья, не разделяла моего увлечения символистами. «Товарищи» хором протестовали против «модернистических вывертов». Всяческая «мистическая невнятица», доказывали они мне, есть всегда порождение социально-политической мути. Символическое искусство подымает свою голову лишь потому, что сорвалась социальная революция. Когда революции начинают сдавать, реакционная гниль начинает фосфоресцировать.

Я отбивался не только со страстью, но, каюсь, и с запальчивостью, цитировал христианских социалистов, спрашивал, в чем же реакционность Франциска Ассизского, доказывал, что христианский социализм Соловьева не реакционен, но прогрессивен, что марксистский подход к Блоку и Рильке нелеп, но ничего не помогало. В головах моих оппонентов все мои теоретические аргументы сразу же превращались в психологические симптомы буржуазно-феодальной структуры моего сознания. Спор шумел, но топтался на месте. Видя, что мне ни мистикой, ни критицизмом не отстоять своих позиций, я переходил в наступление: принимался доказывать своим оппонентам, что они потому с такою простотою решают все вопросы, что привыкли к очень упрощенному пониманию марксизма, представляющему собою на самом деле весьма сложный вариант глубокомысленнейшего учения Гегеля. Моим тогдашним коньком было сопоставление

первого тома «Капитала» с третьим. Тут у меня были интересные мысли, подсказанные мне во время семинарских дискуссий профессором Ласком. Но и этот козырь мои оппоненты, не вдаваясь в глубину проблематики, крыли простым указанием на то, что пролетариат воспитывается на «Коммунистическом манифесте» и на упрощенном изложении первого тома «Капитала»; сравнение же первого тома с третьим и установление между ними сложной, диалектической связи может интересовать лишь таких аполитичных академиков, как я. Моя диалектика – та же мистика, только головная; праздная игра ума, быть может, нужная для науки, но вредная для жизни.

Когда теоретический спор окончательно запутывался, подавали самовар и начиналось чаепитие. За столом разговоры естественно принимали более примирительный характер. Так как среди Аниных друзей был знаменитый в будущем скульптор и его брат, впоследствии актер, то разговоры часто переходили на темы искусства и театра. За самоваром Аню, в которой не было ничего от Гончаровской Марфиньки и ее евангельского прообраза,

иногда заменяла Людмила. Ей было трудно приходить к нам, но мы ее упорно звали и она, превозмогая свою боль, все же приходила по совершенно той же причине, по которой и я охотно согласился на Анино предложение провести каникулы на Ривьере. Интеллигентское понимание любви не допускало ревности. Своими прекрасными итальянскими глазами она иной раз подолгу смотрела на портрет Соловьева, «Смысл любви» которого мы с ней когда-то с восторгом читали. Жалела ли она в эти минуты о том, что, приехав спасать меня от «отвлеченной чувственности», она не нашла в себе сил отказаться от «отвлеченной духовности», я и поныне не знаю. Гордая, благородная и замкнутая, она и после моей женитьбы много и охотно говорила со мною о нашем полудетском прошлом, но настоя

щего не касалась, боясь, вероятно, хотя бы мимоходом упрекнуть меня за мою измену.

Иногда, вместе со своим женихом, Павлом Оло-вянниковым, приходила его невеста, Наташа Никитина. Тихая и безмолвная, она поначалу оставалась в тени. Но как-то, поймав на себе во время спора с Павлом ее внимательный и как бы удивленный моею ненужною горячностью взор, я внезапно почувствовал все своеобразное очарование ее образа. Было в ней нечто цветуще-возрожденское и одновременно нечто модернистически-изысканное. Смотря на нее, можно было легко представить себе, какою она была девочкою. И стилистически и психологически в ней было много глубины и дали. Небольшая, круглая головка была отягчена крупными локонами, под крылатыми бровями молчали кроткие, пристальные глаза. Не тонкому наблюдателю ее очень своеобразные движения рук могли бы показаться теми искусственно-хореографическими жестами, которыми в те годы в Москве и сознательно и бессознательно грешили почитательницы божественной босоножки Айседоры Дункан, на самом же деле они были прирожденны и просты. Наташа Никитина училась на историко-философском отделении Высших женских курсов. Очень любя музыку, которой обучалась с детства, она после Гофмановских концертов начала было ею совсем серьезно заниматься, но вскоре бросила по идейно-аскетическим соображениям; решив, что сейчас не время жить для себя, она, выбрав себе самую неказистую партийную кличку, жертвенно пошла все по тому же, ей лично чуждому пути, по которому шла почти вся интеллигенция. Помню, как ближе познакомившись со своею будущею "belle soeur", я обратился к ней с вопросом, почему она, вопреки своей внешности, наперекор своим дарованиям и своей любви к родителям, принадлежавшим к тому классу,

который революция хочет уничтожить, поступила в пар

тию, но не мог добиться от нее никакого иного ответа, кроме совсем короткого: «судьба».

Кажется, в новой истории не было эпохи, в которой дух времени с такою безапеляционною силою побеждал бы все субъективные наклонности людей, как то имело место в русской интеллигентской среде в конце 19?го и в начале 20-го веков. Очевидно идеалисты 30-х годов не даром до дыр зачитывали «Логику» Гегеля.

Московские дни летели быстрее гейдельбергских. Незаметно подошел март. Последняя «среда» была особенно оживленной и интересной. Прощаясь друг с другом до осени, никто из нас не чаял, что Аня через три месяца будет отозвана из жизни, а Наташа Никитина разойдется с Павлом Оловянниковым и через три года станет моею женою.

После долгих размышлений мы с Аней решили, что самым правильным будет, если я поеду в Гейдель-берг один, чтобы как можно быстрее сдать экзамен, она же на это время поедет погостить к сестрам Миракли на дачу под Ковно. Так мы и сделали. Аня почти ежедневно писала мне в Гейдельберг. Ее письма были на редкость светлы и спокойны. И вдруг телеграмма – скончалась…

Приехав в Ковно, я узнал, что Аня утонула, пытаясь спасти купавшегося в Немане и попавшего в стремнину младшего брата Аркадия. Тела обоих погибших были перевезены в Вильну и похоронены рядом с Аркадием. Как непостижимо страшно, что десятилетний Вася должен был погибнуть, чтобы вернуть брату его невесту.

Внезапно обрушившаяся на меня смерть жены перевернула всю мою, как мне тогда по молодости лет казалось, лишь от меня зависящую жизнь. В тра

гичности внезапной Аниной смерти я не мог не услышать осуждения свыше того доброго дела, каким мне представлялась моя женитьба. Лишь после долгих испытаний своей совести, я понял, что вина моя перед Аней в том, что я влюбился в нее и женился на ней как бы под Нининым гипнозом. Каким образом во мне, скорее излишне самостоятельном, чем слабовольном человеке, возник мой тогдашний восторг послушания, мне и сейчас остается непонятным; то, что он был своеобразным преломлением моей страстной, но мне тогда не внятной влюбленности в Нину, я понял лишь в долгих мучительных исканиях смысла Аниной смерти. Отвлеченные соображения, что ведь и Аня полюбила меня как своего врача и исповедника в

каком-то сложном слиянии с умершим Аркадием, не облегчали сердца. Днем еще можно было жить, но по ночам, под шум дождя по крыше Нининого домика (после похорон я неделю прожил в Вильне) в душе поднималась ничем не погашаемая безысходная тоска. Страшнее всего было то, что чувство своей вины перед умершей нерасторжимо сплеталось с за-чарованностью скорбным образом Нины, с отсветом панихидной свечи на губах и в немых, никому не молящихся, и все же нездешних глазах. Хотелось только одного – остаться в Вильне, но этого сделать было нельзя: внутренний голос непререкаемо твердил, что освободившийся Аниною смертью путь к Нине открылся как навсегда запретный путь. Чувствуя, что со мною происходит что-то неблагополучное и страшное, я не был в силах понять, что же собственно во мне творится. В душе развертывалась жуткая мистерия, в которой Бог и чорт, борясь за мою несчастную душу, таинственно меняли свои трагедийные маски.

Отправляясь из Москвы в Гейдельберг со вполне законченною работою, я рассчитывал сдать экзамен в 6-8 недель. Анина смерть изменила все перспективы

и все ритмы моей жизни. Я сдал его лишь летом 1910-го года.

С благодарностью вспоминаю друзей, помогших мне дойти до этого внешнего рубикона жизни, прежде всего доктора Мелиса, ради которого я и переехал из полюбившегося Гейдельберга в чужой поначалу Фрейбург.

Мелис, с которым мы сблизились уже с первого семестра, с тревогой наблюдал мой роман в стиле Достоевского с Аней и был в отчаянии от моей женитьбы на двадцать третьем году жизни. Зная за мной способность с головой уходить в нахлынувшее на меня чувство, он, очевидно, боялся, что, овдовев, я вообще откажусь от мысли об окончании университета и решил во что бы то ни стало этому воспрепятствовать. Вначале он был очень осторожен; разговоров об экзамене не поднимал: просто заходил проведать в сумеречный час, развлечь разговором, или увести с собою в уютный винный ресторанчик, где к нам присоединялся Михаил Иванович Катарджи, тоже переехавший во Фрейбург. Целительнее этих встреч были длинные прогулки по лесам Шварцвальда, издали как будто бы дремучим, на самом же деле расчищенным, как парк, с пронумерованными просеками.

Правильно угадывая мое настроение, Мелис стал все чаще приносить мне распространенные в то время томики Дидериховских изданий мистиков. Больше всего мы читали с ним Плотина, Мейстера Эк-кехардта и Райнера Мариа Рильке, поэзией которого он сильно увлекался. В связи с этим чтением и разговорами о прочитанном я написал две напечатанные

впоследствии по-немецки и по-русски статьи: одну о трагедии творчества у Фридриха Шлегеля, другую о трагедии мистического сознания Р. М. Рильке. В характеристику Каролины Шлегель я смело вставил несколько строк из письма Нины Миракли, в котором она писала о себе самой. Это типично романтическое

отождествление жизни и творчества никем из моих друзей не было замечено, хотя между Каролиной и Ниной не было решительно ничего общего.

Решив, что я достаточно окреп душою и нервами, чтобы засесть за серьезную работу, Мелис предложил начать со мною подготовку к экзамену. Зная свою неспособность ко всякого рода зубрежке, я с благодарностью принял его предложение. В продолжение по крайней мере трех месяцев Мелис изо дня в день ровно в семь утра входил в мою комнату с неизменною сигарою в нервной, бесплотно-костистой, как рентгеновский снимок, руке. Сняв котелок и тяжелое драповое пальто, он тушил электричество, находя, что у окна достаточно светло, и, не теряя времени, вынимал свои толстые, клеенчатые тетради, в которых находилась вся необходимая для экзамена премудрость. Я покорно отдавался его педагогической воле и, подавляя в себе философскую любознательность, старался как можно проще и нагляднее разложить в своей голове не слишком богатые результаты тысячелетних раздумий человечества над основами мира и жизни. Занятия шли хорошо. Мы подвигались быстро. Мелис был счастлив. Но вот на нашем пути появилось неожиданное и, как ему казалось, весьма опасное препятствие: из Парижа пришло письмо с известием, что во Фрейбург едет, рассчитывая с месяц погостить у меня, младший брат Ани Иван. Мелис долго уговаривал меня написать ему, что у меня перед экзаменом нет ни времени, ни лишних сил для свидания. Сколько я ни доказывал милому Георгу всей невозможности последовать его совету, он настаивал на своем, считая сдачу докторского экзамена моим прямым долгом, а потакание Ивановым планам вредною сентиментальностью.

Вид Ивана, с которым он познакомился, зайдя ко мне как-то под вечер вместе с холеным и прооде-колоненным Катарджи, окончательно убедил его в

том, что этому молодому человеку было бы лучше оставаться в Париже. Замученный революцией, высылкой, бегством, расстрелами друзей, безденежьем и ранней, нищей женитьбой, Иван, действительно, являл собою странный и не внушавший европейскому глазу никакого доверия вид. Одет он был в какой-то синий костюм, напоминавший форму альпийского стрелка, на ногах были гамаши на пуговицах. Бледное, почти безусое лицо

неряшливо обрамляла, очевидно, конспиративная бородка. Глаза лихорадочно горели, по скулам часто пробегала нервная судорога. Будучи сам сыном богатого купца-промышленника, Иван с истинно пролетарской ненавистью смотрел на темною ниткой простроченные светлые перчатки в холеной руке Михаила Ивановича и, не зная немецкого языка, злобно косился на Мелиса. Мелис же, приветствовавший в качестве поклонника Руссо, с искренним, но, конечно, отвлеченным восторгом манифест 17-го октября, ушел, как мне показалось, не без опасения, как бы со мною не приключилось чего недоброго.

Вспоминая мелисовскую заботу обо мне, не могу попутно не вспомнить рассказа Горького, снимавшего летом 1923-го года целый бель-этаж в богатой вилле известного во Фрейбурге доктора. Доктор этот был большим поклонником таланта Алексея Максимовича, но все же побаивался своего знаменитого квартиранта-большевика, а потому на ночь оставлял у порога своей спальни огромную злую овчарку. Если этот рассказ даже и прикрашен Горьким, он по существу точен и правдив.

Ни в чем не сходясь друг с другом, мы все же прожили с Иваном несколько приятных для нас обоих недель. Относясь отрицательно к конспиративно-террористической деятельности Аниного брата, я в известном смысле все же не мог не преклоняться перед целостностью его воли и той жертвенностью, с

которою он строил, вернее уродовал свою жизнь. У Ивана было несколько трогательных привычек, оставшихся, вероятно, от тюремной жизни. Он ловко брился одним только клинком безопасной бритвы. Никогда не смывал оставшегося на бритвенной кисти мыла – берег пену на следующий день, а сапоги и платье чистил сам, считая недопустимым утруждать этой работой горничную.

В предыдущей главе я уже упоминал о «Логосе». В основу этого журнала, русское и немецкое издания которого начали выходить в Москве и Тюбингене в 1910-м году, легли идеи и чаяния, давно волновавшие наше гейдельбергское фисософское содружество (Кронер, Мелис, Бубнов, Гессен и я). Первым словом этого содружества был небольшой сборник под заглавием "Vom Messias. Kultur-philosophische Essays"2), вышедший в известном лейпцигском издательстве.

2) «О Мессии», Культурно-философские очерки.

О борьбе «Логоса» за представлявшийся ему образ русской философии и об оказанном ему сопротивлении со стороны славянофильски-православной мысли речь еще впереди. Сейчас

только несколько слов о наших тогдашних волнениях. Обсуждались наши идеи и замыслы долго и горячо. Сборник «О Мессии» писался с вдохновением, почти с восторгом, в убеждении, что из скромного начала выйдет настоящее дело. Больше всех волновался пожалуй Сережа Гессен, сын известного «кадета», эмигрировавший впоследствии заграницу и составивший себе в Европе, в особенности в славянских странах, крупное имя своими философски-педагогическими трудами. Приходя на наши собрания, он не то в шутку, не то всерьез, привет

ствовал нас вариантом знаменитой революционной фразы: «философия объявлена в опасности, мы заседаем непрерывно». И действительно, заседали мы, подготовляя сборник и журнал, чуть ли не целыми днями. Виндельбанд, к которому мы после подписания контракта с издателем Зибеком обратились с просьбою о сотрудничестве, отнесся к нам отечески сочувственно, но своего философского благословения в сущности не дал. Уже раньше, когда я принес ему наш сборник «О Мессии» и вкратце рассказал о наших дальнейших замыслах, он вскинул на меня свои сверляще-умные глаза и улыбнувшись своею очаровательною улыбкою, саркастически произнес: "Sie haben ihr Heftchen "Vom Messias" genannt, jetzt wollen sie die Zeitschrift "Logos" betiteln, passen sie auf, sie landen doch bei den Schwarzen"3).

3) «Вы дали вашей тетрадочке название «О Мессии», теперь же вы хотите озаглавить ваш журнал «Логосом». Будьте осторожны, вы еще причалите у монахов».

Виндельбанд конечно шутил, но в его шутке было все же некоторое опасение, что мы, его ученики, изменим идеям критического кантианства и, незаметно для себя самих, причалим к католическому берегу романтики. Если не считать простою случайностью, что из пяти участников нашего сборника, только один не изменил заветам критицизма, то Виндельбанду нельзя будет отказать в большой проницательности. Кро-нера привели к живому христианству длительные занятия Гегелем и страшный опыт Вердена. Мелис, бросивший в своей молодости ради философии офицерскую карьеру, отрекся в 1923-м году и от академической философии. Написав ряд книг, посвященных романтике и мистике, он, с ранних лет тяготевший к южному морю и эстетике католицизма, покинул Германию и поселился? на итальянской Ривьере. В каких он сейчас настроениях – не знаю. Говорят,

что он написал две книги о Муссолини и склоняется к заигрывающему с католицизмом крылу фашизма.

Что касается трех русских участников нашего сборника, то на

приблизительно старых позициях остался только Николай Николаевич Бубнов, не вернувшийся по окончании университета в Россию и благополучно профессорствующий ныне в Гейдельберг-ском университете; я же, и в несколько меньшей степени Гессен, во многом весьма существенно приблизились к своим бывшим московским противникам. Дружное сотрудничество основателей «Логоса» с идейными руководителями славянофильского «Пути» на страницах парижского «Нового града» является лучшим доказательством состоявшегося сближения, предопределенного всем строем тех мессианских чаяний, которыми были нам внушены статьи нашего сборника. Ни о христианстве, ни тем более о православии в нем не было и речи, но в нем определенно звучало то в основе романтически-славянофильское отрицание александрийски-эклектической культуры 19-го века, которое неизбежно ведет к занятию религиозных, а в последовательном развитии и христианских позиций в историософии.

Над всеми статьями весьма юного сборника веял дух Новалиса, Фридриха Шлегеля и еще не читавшего Отцов церкви Киреевского. Во всех статьях шла речь о философе-пророке, о новой животворящей идее, об избранном народе-водителе. Ожидая явления «Нового слова», мы однако твердо отмежевывались от философии Ницше, столь привлекательной для многих мыслителей начала 20-го века. Вслед за автором передовой статьи Кронером мы все отказывались видеть в Ницше подлинного «божьего посланника» на том основании, что он проповедовал не «евангелие любви», а «евангелие силы», и твердо заявляли, что мы жаждем не «скрижалей новых ценностей», а «нового первосвященника ценностей древ

них и вечных». Если ко всему этому прибавить еще соображения передовой статьи, что России в сборнике отведено особое место на том основании, что в ней пророческая тоска о новой правде звучит сильнее, чем на Западе, то нельзя задним числом не подивиться той, подчас враждебной страстности, с которою в Москве, накануне Великой войны, воевали друг с другом приехавшие из Германии «логосовцы», засевшие в издательстве «Мусагет» на Пречистенском бульваре, и потомки старых славянофилов, объединявшие свои силы в издательстве «Путь» на Знаменке.

Личных отношений эта война почти не затрагивала. Спорили и ссорились в старой Москве горячо и много, но расходились друг с другом редко: по-настоящему злые, но зато в отдельных душах и по-новому святые времена наступили только после войны и революции.

За несколько дней до экзамена я зашел, как то было принято, к Виндельбанду с визитом. Он встретил меня с исключительною любезностью и, выразив надежду, что мой устный экзамен не испортит очень хорошего впечатления от моей докторской работы, спросил, на какую тему я хотел бы с ним побеседовать. Мой ответ, что я больше всего занимался Платоном, Декартом и, главным образом, Кантом, ему очевидно понравился. Мы расстались очень тепло. В крепком рукопожатии учителя я почувствовал обещание, если нужно, помочь мне не посрамить себя.

Наша часовая беседа, инициативу которой Вин-дельбанд все время умело предоставлял мне, была одною из самых интересных научно-философских бесед моей гейдельбергской жизни. Закончив ее проблемою естественного права у Канта, Виндельбанд изящно передал меня своему коллеге Еллинеку, который, подхватив тему, перевел речь на Гоббса, Пуфендорфа, а Затем перешел к стоикам. Если бы не историк литературы, барон фон-Вальдберг, я сдал бы экзамен на

"Summa cum laude". Но барон совершенно сбил меня с толку непонятно мелочными вопросами о каких-то вариантах гетевского текста в различных изданиях. Раздосадованный и усталый, я не вполне вежливо заявил, что никогда не интересовался вопросами, интересующими моего экзаменатора. Во время моего прощального визита Вальдберг искренне извинялся, говоря, что от души желал не испортить мне блестящего экзамена и потому ставил самые легкие чисто внешние вопросы: ему казалось, что иностранцу, в последнюю минуту решившемуся переменить свой дополнительный предмет (в качестве такового я сначала действительно выбрал политическую экономию, которая мне однако перед самым экзаменом до того опротивела, что я махнул на нее рукой) будет легче отвечать на «детские» вопросы, чем на более существенные. Сердечно поблагодарив моего неловкого доброжелателя, испортившего мне мой экзамен и подивившись про себя психологической нечуткости этого известного исследователя французского психологического романа, я с легким сердцем, но и с грустным чувством конца моей студенческой жизни, вернулся во Фрейбург, где меня с нетерпением ждали Катарджи и Мелис.

Как я ни боролся против искушения нового свидания с Ниной, я после нескольких недель бездельного пребывания во Фрейбурге все же поехал в Вильну. С тоскующими друг по другу душами, но с прикованными к Неману глазами, просиживали мы с Ниною ночи напролет в ее увешанной портретами покойников

(матери, братьев и Ани) комнате, а днями устало и молча бродили по пыльным улицам и окраинам Виль-ны. Да и о чем было говорить. Нам все было давно ясно и все же в нас все оставалось темно. Прощаясь друг с другом на вокзале (я ехал к своим на Рижское

взморье, а потом в Италию), мы одинаково чувствовали, что навсегда прощаемся с нашею горькою любовью, которой ничего не оставалось, кроме добровольного пострига.

На взморье погода стояла прекрасная. Неделями тишайшее море, на берегу которого мирно сушились дырявые сети, блаженно молчало под ласковым солнцем. В заливных лугах по берегу Аа еще пахло сеном, а на ветряных взгорьях уже начинали вращаться скрипучие крылья мельниц. Время клонилось к осени, но в моем сердце начала расцветать весна.

Случайная встреча с совсем еще юной, голубоглазой, златокудрой, только что начинавшей певицей, богобоязненно взращенной в деревенской тиши и вдруг вышедшей на вольный простор артистической жизни, ожгла меня, как огнем.

Открытый летний сад в Мариенгофе; блаженная теснота за нашим столиком; красные лампионы в темных ветвях; симфонический оркестр Шнееганса исполняет Чайковского (Щелкунчика); через неделю – копна душистого сена; качающаяся на ночной волне лодка; концертная поездка в Виндаву, где артистку под нескончаемые аплодисменты забрасывают цветами, – а через месяц уже и разлука: темная ночь под поднятым верхом несущейся по пляжу коляски, бледнозеле-ный, ядовитый рассвет над тяжелым свинцовым морем, чашка отрезвляющего черного кофе на Рижском вокзале (о, как печальны глаза и холодны пальцы бедной Зои) и снова тоска и острые угрызения совести – вот все, что осталось в памяти от первого порыва сердца обратно в жизнь…

Снова, как два с лишком года тому назад, медленно проплывают за вагонными окнами покрытые снегом массивы швейцарских гор. Величие их меня уже не трогает, я весь погружен в себя. Оборванный приморский роман трепещет в душе предчувствием новых, более полных и глубоких переживаний. Вслушиваясь

в горячий спор мечты и совести, я уже чувствую, что совести не осилить мечты, что она еще долго будет мучить меня, но руководить моею жизнью скоро перестанет; это свое отступничество я ощущаю не только грехом, но уже и правдой жизни.

У замечательного итальянского писателя, философа и публициста Джиованни Папини, начавшего свою карьеру с

проповеди атеистического футуризма и кончившего призывом к католичеству, есть с большим подъемом написанный марш храбрости: «Единственное спасение – храбрость, единственный путь искупления – храбрость, единственный оплот гордости – храбрость, единственная твердыня славы – храбрость, единственное огненное испытание – храбрость! Да будет в каждом из нас с каждым днем все больше и больше храбрости».

Я никогда не был футуристом, в свое время даже выступал в «Эстетике» против самого Маринетти, за что навлек на себя великий гнев славного русского футуриста, Владимира Маяковского, наговорившего мне после лекции невероятное количество талантливых грубостей, но на недостаток храбрости, по крайней мере в своей молодости, мне жаловаться не приходится. Моя затея поехать в Италию и попытаться подготовить почву для издания итальянского «Логоса» была верхом чисто футуристической храбрости, чтобы не сказать дерзости.

Своих денег на поездку у меня не было, я решил, что мне их предложит Катарджи – так оно и случилось. Приглашение графа Кальдерони, с которым мы познакомились на философском конгрессе, было, конечно, только любезною фразой, – я решил принять ее всерьез. Не зная ни слова по-итальянски, я решил, что обойдусь скромным знанием французского языка и выразительной итальянской жестикуляцией. Храбрость оказалась действительно силою: мне удалось настолько живо заинтересовать некоторых итальянских

философов идеями международного журнала по философии культуры, что вскоре после выхода в свет немецкого и русского изданий «Логоса», вышло и итальянское под редакцией кантианца Вариско.

Храбрость почти всегда побеждает в содружестве со счастливой случайностью. Успех моей научно-издательской миссии был бы абсолютно невозможен, если бы, приехав во Флоренцию, я поселился не в русском пансионе, а в каком-нибудь заштатном итальянском альберго. Содержательница русского пансиона на Via Cavour, куда меня направил флорентийский издатель и книготорговец Ольский, с сыном которого я познакомился еще во Фрейбурге, Лидия Александровна Висковатова, оказалась на редкость милой и высококультурной русской женщиной. Покинув еще девочкою Россию, она горячо привязалась к своей второй родине. Человек мало практичный и совершенно не ценящий материальных благ, Лидия Александровна смотрела на свой пансион не как на коммерческое предприятие, а скорее как на институт по изучению культуры и

природы Тосканы. Попасть к ней было не легко. Все комнаты были всегда заранее расписаны. Наибольшею популярностью маленький русский пансион пользовался в немецкой профессорской и писательской среде. За сравнительно короткое пребывание на via Cavour я познакомился там с известным Базельским философом Иоэлем, с ценителем и переводчиком французов, утонченнейшим эссеистом, злым сатириком, актером-любителем и профессиональным дон-жуаном, Францем Блей, с довольно бездарным берлинским скульптором и с трогательною старушкою-писательницею, типа честных тружеников пера.

Мое появление в пансионе, повидимому, обрадовало Лидию Александровну. Несмотря на свою любовь к Италии, она, словно мелодию, которую внутренне слышишь, но спеть уже не можешь, носила в себе живую тоску по России. Так как все комнаты были заняты,

Лидия Александровна уступила мне свой будуар и с радостью принялась помогать мне в дорогом ее сердцу деле сближения России и Италии.

Решили начать с тщательного изучения Флоренции: нельзя же было идти к профессорам и писателям тосканской столицы с теми скудными, отвлеченными сведениями, которые я вынес из университета и случайного чтения. Проводить со мною много времени в галереях Лидия Александровна, конечно, не могла, но она ежедневно за утренним кофе направляла мой осмотр Флоренции, а по возвращении подробно распра-шивала меня о моих впечатлениях. Этим критическим расспросам и попутным замечаниям я в некоторых от• ношениях обязан больше, чем книгам Бургхардта, Вельфлина и других знаменитостей, по которым я готовился к своей итальянской поездке и которые перечитывал по вечерам.

Еще тоньше флорентийского искусства воспринимала Лидия Александровна природу Тосканы. Ее бесхитростные, в техническом отношении почти беспомощные акварели охотно покупались людьми, влюбленными в окрестности Флоренции. Они ценили тишину, отрешенность и мудрость этих небольших листков, внушенных Лидии Александровне кистью Беато Анжелико и молитвами Франциска Ассизского. До чего коленопреклоненна и восторженна была любовь Лидии Александровны к этим двум святым я до конца понял лишь в Ассизи, где мы пробыли с нею целых две недели. Захваченные древним монастырем, византийским сумраком подземных сводов, расписанных Чимабуйе и жизнерадостными фресками Джотто в светлой, надземной церкви, мы лишь в последнюю минуту удосужились пойти посмотреть на тот храм Минервы, из-за

которого Гёте почти просмотрел обитель святого Франциска.

Рассматривая акварели Лидии Александровны, я горячо доказывал ей, что в ее работах больше России,

чем Италии, больше трепета Нестеровских березок, чем четкой торжественности кипарисов. Волнуясь моею неспособностью отрешиться от типичного для всех туристов поверхностного восприятия Италии, она с большим терпением учила меня слушать божественно-нежную музыку тосканской природы. Я старался, но малоуспешно. Окрестности Флоренции: колоннады кипарисов, стесненные каменными оградами дороги, амфитеатры виноградников – все это казалось мне скорее прекрасно исполненными театральными декорациями, чем тою живою природою, к которой я с детства привык прислушиваться с закрытыми от полноты чувств глазами. «Нет, – твердил я своему милому гиду, – с этою замкнутою в себе, немою и строгою композицией мне никогда не слить своей души. Под пиниями и кипарисами я легко могу себе представить свою надгробную плиту, но я не представляю себе, чтобы я, подобно Вертеру, разрыдался под ними, или, еще того невозможнее, бросился бы, как Алеша Карамазов, целовать итальянскую землю. Для меня в ней нету тоски по бесконечности».

Зимою 1922-го года, в мрачном, нищем, пореволюционном Берлине мне попалась под руку замечательная по уму, желчности и остроте автобиография Па-пини "L'uomo finito". Углубившись в нее, я живо вспомнил 1909-й год, пансион на via Cavour и самого автора, бывшего в наших спорах с Лидией Александровной почти всегда на ее стороне. Дойдя в седьмой главе до описания флорентийской деревни, я почувствовал, что он каждым своим словом описывает не только тосканскую, но и подмосковную деревню: «все, что во мне есть поэтического, меланхолического, я получил от своей деревни… где я научился дышать и мыслить, деревни голой, бедной, серой… чуждой пышности, роскоши красок, запахов… но интимной, близкой сердцу, требующей тонкой чувствительности и возбуждающей иллюзию бесконечности»… Я закрыл книж

ку и задумался. Мне страшно захотелось во Флоренцию, чтобы папиниевским, итальянским глазом посмотреть еще раз на Италию.

Изучив Флоренцию и отполировав в ежедневной пансионской беседе свой французский язык, я начал понемногу ходить по гостям. Так как я прожил в Италии всего только пять месяцев, притом без языка, то не смею судить об итальянцах и итальянском обществе. Могу только сказать, что с теми итальянцами, с которыми мне приходилось встречаться, мне было

легко и просто. Говоря по-немецки, объясняясь по-французски, вставляя кое-где итальянские слова, я подвизался среди ученых и писателей без особых затруднений. Какова была фашистская Италия, не знаю, но прежняя в бытовом и психологическом смыслах была, пожалуй, ближе России, чем, например, Германия, оказавшая на наше духовное развитие гораздо большее влияние.

Сближало Россию и Италию, по крайней мере русскую и итальянскую интеллигенцию, во-первых, естественная простота общения, а во-вторых, обилие свободного времени. Не помню, у кого мы несколько раз бывали с Лидией Александровной, но вспоминаю какие-то небольшие, лишь самою необходимою мебелью обставленные комнаты, обилие красного вина, клубы табачного дыма и шумные «московские» беседы, с тою только разницею, что итальянки не принимали в них никакого участия. Странным образом, но от моего почти полугодового пребывания в Италии у меня в памяти не осталось ни одного женского лица за исключением старой, строгой, но пленительно простой и изысканно любезной графини Кальдерони, у которой я как-то обедал в большом, гулком, холодноватом палаццо: чопорно расставленная по мраморным стенам старинная мебель, прекрасная сервировка и более чем скромная еда – на всем благородном обиходе грустный отблеск былого богатства и былого значения в рбществе.

Освоивши искусство Флоренции и повертевшись в итальянском обществе, я решил не без трепета в сердце приступить к осуществлению главного задания своей поездки и начать визиты знаменитым итальянским философам с целью привлечения их к «Логосу». Боясь, что не сумею с достаточной полнотой, краткостью и точностью охарактеризовать на французском языке сущность нашего замысла, я написал по-русски нечто, вроде вступительной речи, попросил Лидию Александровну перевести ее на французский язык и выучил перевод наизусть. Идя с первым визитом, я тщательно обдумывал, как бы мне, сохраняя необходимую вежливость и предупредительность, не выпустить из своих рук инициативы беседы: успеть все сказать, прежде чем собеседник начнет спрашивать.

Мои заботы и волнения оказались, благодаря доминирующему значению немецкой философии в 19-м веке, совершенно излишними. Все итальянские философы понимали немецкий язык. Вариско и Бенедетто Кроче, с которыми мне прежде всего нужно было вести переговоры, свободно объяснялись на нем. То, что мне удалось во Флоренции переговорить с неаполитанским профессором Кроче, было

большой удачею.

Где я был принят этим мировым ученым и философом, занявшим в 1920-м году пост министра народного просвещения, я сказать не могу. (Перед глазами стоят великолепный портал и торжественный швейцар в шитом мундире, в треуголке и с булавой). Не без волнения подымался я по широчайшей мраморной лестнице в кабинет знаменитого мыслителя, о «мыслях» которого я имел весьма смутное представление, основанное на быстром просмотре первого тома его «Эстетики», только что вышедшего в немецком переводе. Разговора с Кроче не помню. Полагаю, что, сразу же отклонив мою просьбу принять на себя редакцию итальянского «Логоса» и хлопоты по отысканию издателя, Кроче одновременно любезно согласился сотруд

ничать, как в русском, так и в немецком выпусках журнала. Как знаменитый, многоопытный и весьма занятой человек он быстро прекратил нашу беседу, к которой я так долго и тщательно готовился.

Совсем иной характер носило мое посещение профессора Вариско. С ним мы сразу же разговорились на все темы, что особенно интересовали наш организационный комитет. Расставаясь, мы условились о следующей встрече. В результате дальнейших переговоров Вариско дал свое принципиальное согласие на редактирование итальянского издания «Логоса». Во Флоренции моя миссия была исполнена. Надо было собираться в Рим, так как к Рождеству я непременно хотел быть в Москве.

Рим произвел на меня очень большое впечатление, но никаких своих слов, достаточно точных и живых для передачи этого впечатления, в моем распоряжении нет; не только потому, что я пробыл в «Вечном городе» всего только шесть недель, но и по принципиальной невозможности описать «вечность». В живом, импрессионистическом слове возможно удержать впечатление от Парижа, с его необъятными площадями, убегающими в сине-сиреневые дали перспективами, задумчивыми медитациями фонтанов, огненно-красочными вихрями и криками ночных бульваров, священною тишиною старинного сенского квартала, – от Берлина с его бесконечными конными памятниками (с дворцовой площади видны 23 бронзовых лошади), умной инструктивностью его тщательно собранных музеев, деляческим размахом его прилежно суетливых улиц, тяжелою невеселою чувственностью, но не от Рима. С Римом встречаешься как-то иначе: не как с новым событием в своей жизни, а как с вечным бытием истории. Сказать о Риме, хотя бы только о его внешнем облике, об его античных, христианских, возрожденских камнях нечто точное, верное можно, как мне кажется, только в форме

искусством углубленного раздумья над судьбами человечества. Такая интуиция руководила, очевидно, и Брюсовым в его стихах об Италии, но тема оказалась ему не по силам:

Страна, измученная страстностью судьбы,
Любовница всех роковых столетий,
Тебя народы чтили, как рабы,
И императоры, как дети.
Ты с трона Цезарей судила властно мир,
И больший мир из Ватикана.
Былая власть твоя – низверженный кумир,
Но человечество твоим прошедшим пьяно.

Как хотелось бы на склоне лет, когда все свое отойдет от жизни, еще раз посетить вечный город, к которому, быть может, и впрямь ведут все земные дороги.

После Рима – снова Флоренция, совсем новая тем, что уже совсем своя. Оживленный вечер в кафе с Лидией Александровной, Гордоном Крэгом, создателем нашумевших декораций для «Гамлета» в Художественном театре, с русским художником, имени которого не помню, и постоянно влюбленным нищим, чахоточным эмигрантом, который за несколько дней до моего отъезда в Россию повесился в Кашинах. Вот и последняя ночь в милом пансионе. Наутро сердечное и даже взволнованное прощание со всеми его обитателями. В вагоне скорбное раздумье над целящей властью времени: да, ничего не забыв, так же нельзя жить, как нельзя жить, всё предавая забвенью. Вся мудрость жизни, как личной, так и исторической, в том, чтобы не разрушать прошлого будущим, а строить свой завтрашний день на вчерашнем.

Милан, Мюнхен, Берлин, Варшава; под самый Новый год, 31-го декабря, к вечеру – Москва. В легком пальто и широкополой шляпе выхожу на темноватую платформу. Очень холодно. Еще не видя своих, слышу мамин голос: «Да ты с ума сошел, ты простудишься». Брат сразу же накидывает мне на плечи отцовскую енотку. Расцеловавшись со всеми, я надеваю шубу в

рукава и подымаю воротник. Вот она, почти два года тому назад покинутая мною Москва: длинные улицы, путанные переулки, крутящийся вокруг фонарей снег, встряхивание саней по ухабистым мостовым, поскрипывание белоснежных тротуаров под шагами прохожих… Вылезаем из саней, я открываю калитку, вхожу во двор. Маша уже на крыльце, встречает как родного, еле сдерживается, чтобы не заплакать: она не видала меня со смерти Анны Александровны, которую очень любила.

В столовой уже все приготовлено для встречи Нового года. До двенадцати остается меньше часу. Мама, братья, сестры, так же, как и летом в Ассерне, как-то особенно внимательны ко мне. Часы начинают бить. По привычке подымаются бокалы. Нового счастья мне никто не решается желать, сам же я чувствую, что для меня начинается новая жизнь.

Июль – декабрь 1939 г.

Глава VI РОССИЯ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЗАГРАНИЦЫ

Проснувшись первого января 1910-го года в той самой комнате, в которой я восемь лет тому назад укладывал чемоданы, собираясь заграницу, я не сразу встал с постели. Возврат в родительский дом после всего пережитого с новою силою поднял в душе заглохшую было боль таинственной Аниной смерти.

Когда я раздвинул занавески, глазам предстал залитый солнцем, заваленный снегом двор. По свеже разметенной, узкой дорожке молодцевато подходили к крыльцу первые новогодние «визитеры» – двое рослых городовых с медалями на груди.

Мама с волнением ждала меня в столовой. Брат уже уехал с визитами, младшая братия была на катке. Наше чаепитие затянулось до обеда. В первый раз мы говорили с матерью по душам обо всем, что со мною случилось, и о том, как жить дальше. Не с легким сердцем уступила она меня Анне Александровне и сейчас своею бесконечною ласкою и обещанием всячески помочь мне как бы каялась не только передо мною, но и перед Анею.

Так как своею главною задачею я считал как можно более быструю сдачу магистерского экзамена и осуществление русского «Логоса», то мы решили, что я сразу же засяду за книги, а для дополнительного к родительским ста рублям в месяц заработка объявлю у себя на дому курс лекций по философии. Приняв та

кое решение, я на следующий же день отправился искать две комнаты. Мне повезло. Снял в «барской» квартире, у самого Москворецкого моста с видом на Москва-реку и разноцветные домики на другом берегу: всякие скобяные, москательные и селедочные торговли. Мне нравилось, что окна выходили не на Кремль – обременительно с утра до ночи иметь перед глазами памятники истории.

Овдовевший с год тому назад владелец квартиры, милый, радушный и бесконечно сентиментальный юрисконсульт большой коммерческой фирмы, был очевидно рад, что вокруг него под весьма достойным предлогом снова завертится жизнь. Он первый же записался на мои лекции и обещал сказать о них кое-кому из своих знакомых.

Затея моя удалась на славу и в духовном и в материальном отношениях. После лекций (читал я «Введение в философию» по

два часа в неделю) почти все слушатели оставались пить чай. Случалось, что попозднее подъезжали то те, то другие знакомые знакомых; беседа затягивалась всегда за полночь. Мой хозяин принимал всех, как своих гостей, и под сурдинку ухаживал за дамами. Тем у нас всегда бывало много, темперамента – хоть отбавляй, времени никто не жалел, так как работою мало кто был переобременен.

По московской привычке идти к намеченной цели не официальными, казенными путями, а личными и домашними, я решил поговорить о своем намерении устроиться при Московском университете, пока что в частном порядке, с кем-нибудь из профессоров. Хотя я и был поверхностно знаком с самим Львом Михайловичем Лопатиным, я решил сначала поговорить с Г. Г. Шпетом. Мне казалось, что этот талантливый и совсем еще молодой приват-доцент, глубже Лопатина связанный с современной западной философией, отнесется ко мне внимательнее знаменитого «старика».

Хотя в заставленный книжными полками и несколь

ко назойливо украшенный всевозможными изображениями воронов и медведей кабинет Шпета я вошел в довольно уже поздний утренний час, мне пришлось прождать минут 10-15, пока из двери, ведущей в спальню, легкою, изящной походкой вошел как будто бы очень обыкновенный, на самом же деле весьма необычный человек, с небольшою круглою головкой и очень мелкими чертами гладко бритого лица, совсем еще молодого, но все же уже помятого, в складках и красноватых пятнах.

Уже после получасового разговора со Шпетом о философии, искусстве, Москве (кого только не знал Шпет) мне стало окончательно ясно, что он мне не помощник и не советчик, так как ему нет ни малейшего дела до того – будет ли при Московском университете процветать лопатинское лейбницианство, или мар-бургское нео-кантианство. Будучи большим эрудитом и тонким любителем философской проблематики, Шпет, во многом очень близкий Гуссерлю, боровшемуся против глубокомыслия в философии, органически не переносил в науке никаких исповеднических убеждений. Достаточно было – я это впоследствии не раз наблюдал в разговоре с ним – малейшей попытки углубления научно-философской мысли до какого-нибудь исповеднического убеждения, как в нем сразу же обнаруживался абсолютно беспочвенный нигилизм, который он защищал с изумительным по блеску и таланту диалектическим мастерством.

В публичных дискуссиях Шпет выступал сравнительно редко: берег свою популярность и свое академическое достоинство.

Среди его, всегда интересных выступлений, мне особенно запомнилось последнее. Жили мы уже под большевиками. В нетопленной аудитории Высших женских курсов шло публичное заседание Религиозно-философской академии. Все сидели в пальто, шубах, валенках; как во внешней обстановке, так и в тревожном настроении собравшихся чувствова

лось наступление вражьей власти и повелительная необходимость не говорить перед ее лицом никаких случайных, поверхностных и праздных слов. Доклад читал Бердяев. Темы я не помню, но, помня Бердяева тех дней, уверен, что в его докладе должны были быть те духовно предметные, существенные слова о самом главном в жизни, которые мы все от него тогда ждали.

Шпету доклад не понравился. Не представлявшая для него ничего нового христианская тенденция докладчика, вдруг непомерно взволновала и даже возмутила его. Задергался маленький носик, засверкали умнейшие в мире глазки и понеслась придирчивая, остроумнейшая речь, богатая знаниями, ассоциациями, парадоксами, но в целом неубедительная и ненужная.

Отдельных возражений Шпета я не помню, помню только, что он запальчиво нападал на христианство и с непонятною страстностью защищал в большевистской Москве… Элладу. В этом выверте была, конечно, своя, шпетовская логика. Думаю, что преувеличенно ощущая внутреннюю близость христианского и коммунистического утопизмов, Шпет только потому и говорил о светлой, трезвой, здешней Греции, что его раздражал традиционный в Религиозно-философской академии взгляд на Москву, как на третий Рим. Какой – к чорту – третий Рим, когда в Кремле засели большевики. Не расстрелять ли вместе с большевиками и христиан, чтобы наконец-то вытрезвилась матушка-Русь.

Не найдя поддержки в Шпете и поняв, что ему, по тактическим соображениям, было бы даже неудобно оказывать покровительство пришлому элементу, я решил, опять-таки в частном порядке, повидаться с Лопатиным. Сделать это было не трудно. В доме графа Шереметьева, по Шереметьевскому переулку, проживала, никакими особенными талантами как будто бы не отмеченная и все же находившаяся в центре духовной жизни Москвы, семья доктора А. Г. Петровского, с женой которого с детства дружила моя мать. У Петров

ских бывали Владимир Соловьев, Лев Михайлович Лопатин, дети Льва Толстого и много других представителей науки и литературы. Лопатин приезжал обыкновенно поздно, после театра выпить красного вина с мятными пряниками и попугать

своими страшными рассказами в духе Эдгара По.

Решив переговорить со Львом Михайловичем, я попросил Дарью Николаевну Петровскую устроить мне свидание с ним у себя на квартире. Она охотно согласилась и пригласила меня на очередной вечер лопатин-ских рассказов.

Приехал Лев Михайлович по обыкновению поздно. Войдя в комнату шаркающей походкой и поздоровавшись с хозяевами и гостями, уже давно поджидавшими за самоваром знаменитого философа, он уютно опустился на оставленное ему место против графина с красным вином и, вынув платок, стал протирать очки. Я внимательно всматривался в него: высокий, выразительный лоб, умные, строгие, печальные серые глаза; сразу видно – недюжинный большой человек, но одновременно, по прадеду, а быть может даже и по деду – несомненнейший леший: длинные, прямые, зачесанные за уши волосы, кудластая, седая, в желтых табачных подпалинах борода и большой беззубый рот, превращающийся не только в моменты громкого смеха, но даже и при улыбке в жутковатую пасть. Ручки маленькие, напоминающие поплавки. Между пальцами правой, все время как-то зябко прячущейся в рукав потрепанного сюртука, вечная папироса, с которой желтый ноготь то и дело стряхивает пепел. Но самое странное в Льве Михайловиче то, что он никогда не выпрямляется во весь человеческий рост; стоит и ходит так, как будто бы только что поднялся с четверенек.

От Дарий Николаевны я узнал, что этот одинокий человек – лесовик, живет странною, детскою жизнью. За ним все еще ухаживает старый лакей, который еже

дневно стелет ему постель в «детской» и при выездах в холодную погоду неизменно наказывает заткнуть «ушки» ваткою.

Думаю, что в тот вечер Лев Михайлович своих страшных историй не рассказывал; если бы рассказывал, как бы я мог их забыть. В способности Льва Михайловича с детскою непосредственностью ощущать присутствие всякой нечисти в жизни, я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в его большом актерском таланте. Его брат, уже пожилым человеком, стал актером Московского Художественного театра и лопатинского имени не посрамил. Многие же, близко знавшие братьев, говорили мне, что сценическое дарование Льва Михайловича было значительнее дарования его брата.

Очарованный Львом Михайловичем, его своеобразным обликом, его старомодною любезностью и юношескою разговорчивостью, я тут же в двух словах намекнул ему на свои планы и попросил разрешения в ближайшее время навестить его.

Принял он меня, если не ошибаюсь, в редакции «Вопросов

философии и психологии». От разговора с ним у меня в памяти остался только тот тон, что делает музыку. Милейший в доме Дарий Николаевны, Лопатин оказался в редакции совершенно другим человеком. Несмотря на то, что его представление о неокан-тианских течениях в немецкой философии было весьма приблизительным, его отрицание этих течений было весьма определенным. Я ушел от него с чувством, что Историко-философский факультет, «Психологическое общество» и редакция «Вопросов философии и психологии» были в глазах Лопатина некою вотчиною, в которой им искони заведены определенные порядки, не нуждающиеся ни в каких заморских новшествах.

Намерение пробить себе путь к философской кафедре Лопатин во мне, конечно, не погасил, но мой идеалистический пыл он сильно ослабил. После ряда

дальнейших встреч с ним и его коллегами по факультету, Г. И. Челпановым, юристом В. М. Хвостовым и другими «стариками», я невольно стал задумываться над мыслью, что в России, быть может, правильнее заниматься философией вне университетских стен.

В связи с таким сдвигом в моем настроении, начал постепенно меняться и ритм моей жизни. Я перестал сидеть дома за книгами, стал больше бывать у знакомых, главным образом, в кругу друзей Анны Александровны, с братом которой, Павлом, меня уже давно соединяла глубокая дружба, выросшая из нашей переписки в первые месяцы после ее смерти. Соединял нас и живой интерес к вопросам философии, которая в связи с неудачей революции 1905-го года приобретала даже и в левых кругах все большее и большее значение.

Должен сказать, что, вернувшись в Россию в 1910-м году, я застал в революционной среде, так враждебно встретившей меня в 1906-м году, довольно большие изменения. Ненависти к правительству было не меньше, чем раньше; презрения к отцам, либералам, было, по крайней мере на словах, пожалуй даже больше; о пред-думской «банкетной» кампании 1906-го года вспоминали с такою же озлобленностью, как и о «кровавом воскресении», когда двинувшаяся под предводительством Гапона с иконами и хоругвями к Зимнему дворцу рабочая делегация была встречена ружейными залпами, но во всем этом оппозиционном кипении уже не было прежней воли к наступлению и уверенности в его успехе. Подсознательно многие начали сдавать позиции. Радикальные кандидаты прав с не совсем чистою совестью записывались в помощники к знаменитым присяжным поверенным буржуазно-либерального лагеря. Радикальные сыновья серых купцов шли торговать в

отцовские лабазы. Кое-кто из студентов-общественников, словно в монастырь, уходил в науку. Один из друзей Павла Оловянникова, принимавший деятель

ное участие в восстании 1905?го года, сел где-то около Або в маленькую рыбачью лодку и выплыл, почти не умея управлять парусом, в шхеры, с целью раз навсегда (в стиле ибсеновского «Бранда», не сходившего со сцены Художественного театра) решить для себя вопрос: что делать и как жить. Через месяц он вернулся с неожиданным для всех решением стать скульптором. Свое решение московский «Бранд» осуществил на славу.

Конечно, чистые теоретики марксизма не садились в лодки и не отчаливали к новым берегам. Внимательно следя за нарастающей реакцией, они не без самодовольства утешали себя мыслью, что бегство в культурничество представляет собою вполне естественные результаты революционного отлива. Выдержанные идеологи революции, они уверенно ждали новой волны прилива и к общему нашему несчастью действительно дождались ее – многие себе на голову. Вопрос о том, могли ли бы они и не дождаться ее, празден и пуст. И все же в сердце не убить веры, что не случись войны, Россия могла бы избежать революции; пробужденная в 1905-м году революционная энергия начала в эпоху Третьей думы быстро сливаться с созидательным процессом жизни. Мне припоминается на первый взгляд как будто бы и не типичный, на самом же деле симптоматически весьма существенный случай.

На подмосковной даче, в которую мы ради здоровья сестры переехали на постоянное житье, у нас служили в качестве дворника и кухарки Сергей Масленников с женою Татьяной. Чета была не вполне обычная. Сергей – красавец с гневными, шалыми глазами – пьяница и бабник, жена – мечтательная истеричка. Вспомнив во время жарения жаркого, что телятина – телок – «глаза ласковые, язык шершавенький», она сразу же вынимала противень из духовки и уходила из кухни, «придтить в себя». Восстание 1905-го года произвело на супругов совершенно ошеломляющее впечат

ление, они словно с ума сошли, опьянели. Да и было с чего. Жили в серости, жили в бедности, никогда ни о каких партиях ничего не знали, ни о каких своих заступниках не помышляли. И вдруг – вся страна за них: стали фабрики, стали дороги и пошли пылать господские усадьбы. Этого на старом положении, в бездействии вынести было невозможно. Надо было наспех менять жизнь, выносить ее куда-нибудь на вершину. Как быть? Помог урядник. Под прикрытием полиции, а может быть и при ее прямом участии, Сергей с какими-то подручными ворвался к нам

на дачу (мать была как раз в Москве, отец в это время служил на Кавказе) и разгромив в порядке народного гнева кое-какую мебель, заботливо вынес уже в порядке строгого коммерческого расчета все ценное и портативное с дачи: серебро, деньги, меховые вещи и персидские ковры. Мать подала, конечно, в суд, но делу хода дано не было – не такие были времена. Через несколько месяцев мы получили объявление, что Сергей Масленников вместе с урядником открыли большое прачечное заведение – «специальность крахмал и тонкое дамское белье».

Приехав в 1911-м году в ту же дачную местность, я как-то во время прогулки увидел масленниковскую вывеску. Захотелось зайти посмотреть как процветают старые знакомые. Встретили меня Сергей со своей Татьяной без малейшего смущения, без малейшего чувства замешательства. Рассказали словоохотливо, что дело, слава Богу, идет хорошо. Даже откладывать кое-что начали. В себе я никаких неприязненных чувств к грабителям не ощутил. Темное дело прошлого оказалось каким-то образом осмысленным и потому высветленным. Помню, я еще подумал: как хорошо, что их не судили и не посадили в тюрьму, пропал бы впустую неудержимый порыв выбиться в люди. А так, с грехом пополам, все же живут и процветают.

Мой случай, конечно, ничего не доказывает. Рас

сказывая о превращении революционеров разных масштабов и толков в маститых присяжных поверенных, оборотистых лабазников, ученых, скульпторов и пра-чечников, я хочу указать только на ту энергию, с которой русская жизнь в «темные годы» реакции боролась против интеллигентской революции. Как в межфронтовой полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась насущная картошка, так и в России накануне Великой войны наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве, как-никак добытой 1905-м годом свободы, вырастала какая-то новая, с году на год все крепнувшая жизнь.

Москва росла и отстраивалась с чрезвычайной быстротой. Булыжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал. Когда керосиновые фонари уступили место газовым, я так же не могу сказать, как и того, с какого года газовое освещение стало заменяться электрическим. Помню только, что молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра.

Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть. Уходили в прошлое милые конки с пристегом где одной лошаденки, а где, как например на Трубной площади или под Швивою горкою, и двух уносов. Становились преданием парные разлатые линейки, что в мои школьные годы ходили в Петровский парк и Останкино, может быть, и на другие окраины – не знаю.

Всюду, как грибы после дождя, вырастали дома. Недалеко от Красных ворот забелела одиннадцатиэтажная громада дома Орлика. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтам

та. В тылу старенького Училища живописи, зодчества и ваяния взгромоздились высокие корпуса с квартирами-студиями. На плоской крыше многоэтажного дома Нирензее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафе. Особенно быстро преображалась «улица святого Николая», интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься – что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей.

Нет, напрасно природные москвичи с пеною у рта ругают большевиков за то, что они стерли с Москвы ее стародавний облик. Облик этот начал меняться задолго до большевиков. Спору нет: большевизм проявил в своем коммунистически-государственном грюндерстве много бестактности и безвкусицы, но ведь и в вольном меценатски-купеческом строительстве не было недостатка ни в том, ни в другом. Достаточно вспомнить Врубелевскую мозаику на Метрополе, громадные золотом окаймленные лиловые ирисы всем нам памятного особняка недалеко от Никитских ворот, неоготический замок Морозовой, глубоко во дворе на Спиридоновке, и знаменитый по своей нелепости особняк на Воздвиженке в мавритански-готическом стиле, с его усыпанными раковинами и окантованными каменными морскими канатами башнями. Думается, что все эти стилистические изощрения подходили к старой Москве не больше, чем здание Моссельпрома. Единственное, что можно сказать в защиту вольного московского строительства, это то, что в Москве всякая нелепая причуда всегда была больше к лицу, чем покорное послушание закону планового строительства. Иногда мне, впрочем, думается, что при внимательном рассмотрении советской столицы, образ которой, несмотря на сотни фотографий, мне все еще как-то не видится, и в ней где-нибудь да скажется исконный русский дар все – хорошо ли, плохо ли – переделывать на собственный лад.

Провинция преображалась, пожалуй, еще быстрее Москвы. У нас в Московской губернии шло быстрое перераспределение

земли между помещиками и крестьянством. (Известно, что накануне революции в распоряжении крестьянства находилось уже больше 80% пахотной земли). Подмосковные помещики, поскольку это не были Маклаковы, Морозовы, Рейнбо-ты, беднели и разорялись с невероятною быстротою; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяческим промыслом: многие извозничали в Москве, многие жгли уголь, большинство же зимою подрабатывало на фабриках. Большой новый дом под железною крышею, две, а то и три хорошие лошади, две-три коровы – становились не редкостью. Заводились гуси, свиньи, кое-где даже и яблонные сады. Дельно работала кооперация, снабжая маломочных крестьян всем необходимым: от гвоздя до сельскохозяйственной машины.

Под влиянием духа времени и помещики все реже разрешали себе отказывать крестьянам в пользовании своими молотилками и веялками. Ширилась земская деятельность. Планомерно работал земский случной пункт под надзором двух дельных ветеринаров, к которым я часто ездил в гости. Начинала постепенно заменяться хорошею лошадью мелкая, малосильная лошаденка – главный старатель крестьянского хозяйства. Улучшались больницы и школы, налаживались кое-где губернские и уездные учительские курсы. Медленно, но упорно росла грамотность.

Было бы, конечно, большою ошибкою утверждать, что хозяйственный и культурный подъем в одинаковой степени охватывал всю Россию. Равномерным он мог бы быть лишь в результате планомерной, правительственной работы. Но правительство, во всяком случае в культурно-просветительной области, не работало, а в лучшем случае не мешало работать обществен

ным силам: земству, городским самоуправлениям и отдельным талантливым личностям. Там, где такие личности находились, работа кипела и жизнь цвела; там же, где их не находилось, жизнь хирела и прозябала. Но таких «медвежьих углов» становилось в России, как мне помнится, из году в год все меньше и меньше. Из своих четырехлетних лекторских разъездов по провинции я вынес определенное впечатление, что начиная с 1905-го года многое начало видимо меняться в ней.

Исчезли пригородные кварталы, в которые нужно было ходить со своим фонарем; даже в небольших провинциальных городах начало появляться электрическое освещение. Появились автомобили, которым в иных захолустных городах приходилось выдерживать атаки возвращающегося с поля стада. Помню

рассказ о позорном водворении такого пионера культуры на двух волах в ближайший пожарный сарай какого-то уездного украинского города.

Юг развивался быстрее центра. В Херсонской губернии вместо привычных ярмарок начались ежегодно устраиваться сельскохозяйственные выставки, которые с большим интересом посещались крестьянами. Мне рассказывали, что на одной из таких выставок можно было выиграть в лоттерею верблюда, подаренного выставочному комитету передовым помещиком в качестве особенно сенсационной рекламы нового дела. В Николаеве, где я читал дважды перед очень живой аудиторией, значительная часть вывоза хлеба уже велась кооперативами. Украинские деревни, опасаясь пожаров, начинали покрываться черепицею, великорусские – железом. Не только в уездных городах, но и в больших селах начали появляться женские и мужские прогимназии.

Наряду с ростом хозяйственного благополучия росла и культурная самодеятельность. Расширялась сеть провинциальных театров, учащались разъезды по большим провинциальным городам столичных акте

ров, писателей и лекторов. В городах с большою примесью еврейского населения стали появляться частные музыкальные школы. Перед самой войной по югу России разъезжал со своим оркестром учитель математики из Александрии Ахшарумов, исполнявший, впрочем кажется, довольно плохо симфонии Моцарта, Гайдна и Бетховена.

Я знаю, мои сведения и наблюдения над хозяйственным и культурным ростом довоенной России случайны, отрывочны и малосущественны. Все это я видел лишь мельком, из окна вагона. Будь я земцем, кооператором или, наконец, просто человеком с тем живым интересом к общественно-политической жизни, который во мне впоследствии пробудили война и революция, я безусловно мог бы сообщить гораздо больше интересного и важного, но все же я думаю, что мои скудные и поверхностные впечатления по-своему показательны: как ни как они учат тому, что даже человеку с закрытыми на общественную жизнь глазами, нельзя было не видеть быстрого, в некоторых отношениях даже бурного роста общественных сил России накануне злосчастной войны 1914-го года.

Силовая станция всероссийской культурной работы находилась, конечно, в Москве, вдали от министерств и правительственных канцелярий. Как только я обосновался у себя на Балчуге, я сразу же, без всяких особых со своей стороны стараний, был вовлечен в налаживающуюся как раз в те годы

широкую просветительную работу. Не могу сказать, каким образом и через кого я был приглашен в качестве лектора на «Вечерние пречистенские рабочие курсы». Лишь смутно помнится мне грязноватый кирпичный корпус, к которому меня еженедельно подвозил извозчик и те темноватые коридоры, которыми я проходил в небольшую поначалу аудиторию, состоявшую на добрую половину из настоящих рабочих. Могу сказать, что к своему первому курсу «Введение в философию» я готовился

с очень большим воодушевлением, движимый горячим желанием доказать рабочим, что над всеми людьми царствует единая в веках истина, которая и тогда единит нас борьбою за себя, когда ослепленные ее отрицанием мы озлобленно боремся друг против друга.

Свою идеалистическую проповедь я начинал с беллетристического описания борьбы Сократа с софистами, которую я сознательно стилизовал в нужном мне политически-педагогическом направлении. Софистов я рисовал типичнейшими представителями господствующего класса, напомаженными, наряженными, праздными юношами. Сократа же – ремесленником-пролетарием, еще по-народному верующим в единую божественную правду. Маркс, которого я не называл, но на которого прозрачно намекал, выходил у меня типичнейшим представителем софистического рационализма, растлителем подлинной истины и народной души.

От исторического введения я, во многом следуя примеру своего учителя Виндельбанда, переходил к систематически-популярной разработке вопроса об истине-справедливости, превращая ради наглядности искомую Сократом единую истину в некий, расположенный высоко на горе город. Я тщательно доказывал, что считать нагорный город за монастырь, на том основании, что, подходя к нему с востока, видишь только церкви, так же бессмысленно, как считать его садом, потому что подходя к нему с юга видишь одни сады, или, наконец, за фабрику, вид на которую открывается путнику с запада.

Так же, как с городом, поучал я, обстоит дело и с самой истиной. Конечно, пролетарий видит ее иначе, чем буржуй, буржуй – иначе, чем служитель духа – ученый, художник, мыслитель. Но разве разница взглядов на единую истину и многообразие подходов к ней опровергают ее существование, как некоего положительного всеединства, восклицал я в духе Владимира Соловьева. Нет, надо только охватить истину, то есть

исконное и вечное бытие мира, со всех сторон и в этом охвате срастить все личные, классовые и национальные правды

перспективно ущербленных мнений во всеохватывающую и целостную истину – справедливость.

Как по своему соглашательскому направлению, так и по своему идеалистическому пафосу, мой курс был, конечно, отнюдь не в духе организаторов и идейных возглавителей «Пречистенских курсов». Успех он, однако, имел, и даже большой: аудитория увеличивалась от лекции к лекции, причем увеличивалась, не изменяя своего первоначального характера и состава. Очевидно интересы интеллигентных рабочих были все же шире, чем то представлялось нашей лево-партийной интеллигенции.

К сожалению, после летних каникул моя лекторская деятельность на «курсах» была прекращена. Думаю, что причину надо искать в чьем-нибудь личном недоброжелательстве. Если бы я окончательно пришелся не ко двору у организаторов курсов и полиции, мне вряд ли удалось бы уже в следующем году завоевать себе прочную позицию в «Бюро провинциальных лекторов».

Устроил меня в бюро популярный в те годы критик и лектор Юлий Исаевич Айхенвальд, плодотворную деятельность которого в «канунной» России было бы несправедливо обойти молчанием. Сын раввина, большой знаток Шопенгауэра, критик-индивидуалист, отрицавший традиционный в России социологический подход к искусству и не убоявшийся в печати ополчиться против кумира революционной интеллигенции Белинского, к тому же еще и страстный отрицатель театра в эпоху расцвета славы Коммиссаржевской, Шаляпина и Станиславского, Айхенвальд не имел, казалось бы, никаких шансов на прочный успех у широкой публики. Тем не менее он его бесспорно имел. Ценила Айхенвальда не только Москва, любила его и провин

ция. Всюду, куда бы я ни приезжал, я слышал только положительные, иногда даже восторженные отзывы об его лекциях.

Спрашивая себя, за что широкая публика любила Айхенвальда и ради каких преимуществ прощала ему его антиинтеллигентские выпады, я нахожу только один ответ: за чуждый всякому политиканству и агитации научно-популярный стиль его лекций; за то «культуртрегерство», которое так ненавидел Андрей Белый: «культура трухлявая голова».

Широкие круги трудовой провинциальной интеллигенции, не исключая и «хорошо грамотных» рабочих, вовсе не были в такой мере и степени захвачены исповеднически-политическим пафосом, как то казалось партийным «властителям дум». Помню, как я был удивлен тем, что страстные споры, кипевшие одно

время в Москве вокруг покаянного сборника «Вехи», совсем не интересовали провинцию. Провинциальные представители свободных профессий, земские деятели, народные учителя и учительницы не чувствовали себя виновными ни в «народническом мракобесии» (Бердяев), ни в «сектантском изуверстве» (Франк), ни в «общественной истерике» (Булгаков), ни в «убожестве правосознания» (Кистяковский), ни в «бездонном легкомыслии» (Струве). Но и Мережковского, гневно обрушившегося на «веховцев» рядом по существу кое в чем правых, но по тону и стилю уж очень плакатно звонких статей, они своим призванным защитником не признали бы. Вся эта горячая полемика шла лишь по столичным верхам.

Читающая и думающая провинция была, как мне кажется, не только не более отсталой, чем передовая столичная интеллигенция, но в известном смысле и здоровее ее. Она явно тянулась к хорошей, солидной книге и питательной научно-популярной лекции. По собственному опыту могу сказать, что небольшие, хорошо построенные курсы на такие темы, как «Введение в фило

софию», «История греческой философии», «Россия и Европа, как проблема русской философии истории», «Основные проблемы эстетики Возрождения», имели в Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах не только не меньший, но скорее больший успех, чем отдельные миросозерцательные, остро публицистические лекции. Эту здоровую и горячую жажду знания и утолял Айхенвальд своими не слишком глубокими, но всегда хорошо продуманными и хорошо сформулированными, исполненными подлинной любви к литературе, лекциями.

«Бюро провинциальных! лекторов» организовалось при «Обществе распространения технических знаний», основанном в 70-х годах прошлого столетия. Это Общество ставило своею целью утоление «духовного голода рвущейся к свету провинции», как любил выражаться доктор Грацианов, незабвенный председатель Нижегородского народного университета, процветавшего под странным названием «Секции воспитания, образования и гигиены».

Организованный при этом Обществе учебный отдел, разбитый на двенадцать комиссий, ставил себе с каждым годом все новые и новые задачи. Он издавал дешевые книги и брошюры по всем областям знания, а также и всевозможные пособия для читателя: заботливо составленные «программы домашнего чтения» для начинающих серьезно заниматься самообразованием и «библиографические сборники» для преуспевающих. Дело велось широко, горячо, с подлинным идеалистическим подъемом

и в том прогрессивном духе, которые были всегда характерны для начинаний «отзывчивой русской общественности». На доме по Большой Кисловке, в котором находилось Общество, принадлежавшем, если я не ошибаюсь, госпоже Озанчев-ской, должна быть со временем прикреплена мраморная доска с выражением глубокой благодарности всем, кто бескорыстно в нем трудился на пользу России.

В 1908-м году к двенадцати комиссиям Общества по инициативе графини В. Н. Бобринской прибавилась тринадцатая по организации образовательных экскурсий. Так началось паломничество неимущей русской интеллигенции и прежде всего учительства заграницу. Уверен, что если бы кому-нибудь из ничего не видевших, кроме Советской России, советских учителей попался бы в руки отчетный сборник тринадцатой комиссии, у него глаза полезли бы на лоб от удивления пред той свободой, которая допускалась в царской России. Из учительских отчетов видно, что провинциальные путешественники не только коллективно осматривали музеи и памятники Западной Европы, но и вполне самостоятельно знакомились с постановкою школьного вопроса в передовых странах Европы.

Просматривая случайно попавшийся мне под руку сборник, я был удивлен количеством объявлений о педагогических журналах. К таким заслуженным изданиям, как «Русская школа» и «Вестник воспитания», после 1905-го года сразу же присоединился специальный «Журнал для народного учителя», ставивший своею целью «обновление школы на началах, диктуемых современной научной педагогикой и новыми задачами русской жизни». Одновременно была открыта подписка на пятнадцатитомное издание «Педагогической академии».

Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа и ненародностью образования», в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни. К величайшему, лишь в десятилетиях поправимому несчастью России, этот оздоровительный процесс был сорван большевистскою революцией, что в своем заносчивом стремлении создать подлинно-народную, рабоче-крестьянскую культуру, напялила на хмельную голову умницы Есенина ту

марксистскую шляпу, которой ему уже в 1924-м году было некому поклониться в родной деревне:

Но некому мне шляпой поклониться, Ни в чьих глазах не нахожу привет.

Широкая просветительно-педагогическая деятельность

Москвы была, как оно всегда бывает, лишь одним из проявлений господствовавшего в столицах горячего, творческого подъема. Вспоминая те времена, удивляешься, с какою легкостью писатели и ученые находили и публику, и деньги, и рынки для своих разнообразных начинаний. Одно за другим возникали в Москве все новые и новые издательства и журналы. Одним из первых органов новой, аполитичной мысли, возникли «Весы», издаваемые и редактируемые выбившимися из колеи отпрысками серокупеческих, московских родов – Поляковым и Брюсовым. Богатейший меценат Поляков был по внешности типичным, неряшливо одетым интеллигентом, с лицом, живо напоминавшим Достоевского. Брюсов же иногда выглядел форменныхм лабазником. Люди его внешности часто встречались за кассами охотнорядских лавок. В барашковой шапке и с фартуком поверх шубы, они с молниеносною быстротою подсчитывали на счетах огромные суммы за забранные московскими хозяйками товары.

В пику «Весам», находившимся под односторонним влиянием французских символистов, зародился на Пречистенском бульваре, против памятника Гоголя, определенно германофильский «Мусагет»; тут царствовали тени Гете, Вагнера и немецких мистиков. Главный редактор «Мусагета» Эмилий Карлович Медтнер, брат знаменитого композитора, подписывал руководимый им отдел «Вагнериана» псевдонимом Вольфинг.

В противовес обоим европейским, но отнюдь не западническим, в старом смысле этого слова, издательствам, сразу же выдвинулся на старые, но заново ук

репленные славянофильски-православные позиции морозовский «Путь» с Булгаковым, Бердяевым и Трубецким в качестве редакторов и главных сотрудников. Позднее, уже, кажется, перед самой войной, появились в витринах книжных магазинов необычно большие желтые обложки «Софии», богато иллюстрированного роскошного журнала, ставившего своею задачею ознакомление русской публики с Россией 14-го и 15-го веков, «более рыцарственной, светлой, легкой, более овеянной ветром западного моря и более сохранившей таинственную преемственность античного и первохри-стианского юга». Наряду с этими, во всех отношениях высококачественными, идейными издательствами и журналами, начали появляться и более коньюнктурные органы – купечески-модернистическое «Золотое руно», формалистически выхолощенный петербургский «Апполон» и, наконец, «На перевале», орган первой встречи старого натуралистического искусства с новым, модернистским.

Все эти издательства и журналы, не исключая даже и последних, не были, подобно издательствам Запада,

коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они осуществлялись творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого, меценатствующего капитала. Поэтому во всех них царствовала живая атмосфера зачинающегося культурного возрождения. Редакции «Весов» и «Мусагета», «Пути» и «Софии» представляли собою странную смесь литературных салонов и университетских семинарий. Вокруг выдающихся мыслителей и выдвинувшихся писателей здесь собирался писательский молодняк, наиболее культурные студенты и просто интересующаяся московская публика для заслушивания докладов, горячих прений по ним и ознакомления с новыми беллетристическими произведениями и стихами.

В годы этой дружной работы облик русской куль

туры начинал видимо меняться. Провинциальная психология старотипного русского интеллигента, воспитанного на Чернышевском и Михайловском, начала постепенно перерождаться. Не только в столицах, но и в провинции начали появляться группы людей нового, углубленного и расширенного сознания. Параллельно с обновлением литературы шло обновление и русской живописи. Грязноватые по колориту, иллюстративно-тенденциозные картины «Передвижников» уже без боя уступали место воздушно-красочным, эстетически самодовлеющим полотнам «Мира искусства» и «Голубой розы». Крепли музыкальные дарования Скрябина, Рахманинова, Медтнера, Ребикова, Гречанинова, Лядова и других. На еще невиданные высоты поднимался театр. Имена Станиславского, Дягилева и Шаляпина гремели на всю Европу. Могли бы греметь, если бы их сумели соответственно показать, и имена Ермоловой и Коммиссаржевской.

С гордостью показывая в Европе свои достижения, Россия с радостью и свойственным ей радушием принимала у себя иностранных гостей. Еще недавно мой дрезденский коллега, сын знаменитого Артура Ники-ша, рассказывал мне, до чего его отец любил дирижировать в Москве. Он находил, что более чуткой, восторженной, но и требовательной публики нет во всем мире. Очевидно, мнение Никиша разделялось многими артистами Запада. Кто только не приезжал к нам? Не буду перечислять имен пианистов и скрипачей – имя им легион. Из актеров я видел в Москве: Дузе, Сарру Бернар, Сальвини, Тину де Лоренцо, Грас-со, Моисеи, Поссарта, Дюмон и др. Перед войной в Москву стали наезжать не только артисты, но также и писатели, художники и философы. Маринетти, Вер-харн, Вернер Зомбарт, Герман Коген и др. читали научные доклады и художественные произведения.

Свидетельствуя о духовном здоровье России, в этом подъеме отчетливо намечались две линии инте

ресов и симпатий: национальная и общеевропейская. С одной стороны, по-новому входили в жизнь тщательно изучаемые специалистами произведения Пушкина, Боратынского, Гоголя, Тютчева, Достоевского, Соловьева, музыка Мусоргского (на сцене Шаляпин, на эстраде Оленина Д'Альгейм), апокрифы в переработке Ремизова для «Старинного театра» и впервые по-настоящему оцененная русская иконопись. С другой стороны, переводились, комментировались и издавались германские мистики (Яков Беме, Эккехард, Рейсбурх, Сведенборг), Эннеады Плотина, гимны Орфея, фрагменты Гераклита, драмы Эсхила и Софокла, провансальские лирики 12-го века и французские символисты 19-го. Всего не перечислить.

В театрах и прежде всего на сцене Художественного театра в замечательных постановках шли Гамсун, Ибсен, Стриндберг, Метерлинк, Гауптман, Гольдони и другие; классики: Шекспир, Шиллер и Мольер никогда не сходили с русской сцены.

Что говорить, не все обстояло благополучно в этом подъеме русской культуры. В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка, в котором под иконами Рублева и панно Врубеля бесконечно обсуждались идеи «Пути» и «Мусагета», но и попахивало тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время, как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их. Не только революционерам, но и умеренным либеральным деятелям приходилось туго: всякого народного учителя поинтеллигентнее, всякого священника, не водившего дружбы с урядником, норовили перевести в город без железной дороги. Ясно, что трупный запах заживо разлагавшейся власти, отнюдь не столь злой и жестокой, как в те времена ка

залось, но уж очень беспомощной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет.

ВАГОНЫ РОССИИ

Вспоминая свои разъезды по России, вспоминаю прежде всего русские вагоны, совсем иные, чем в Западной Европе, как по

выстукиванию колесного ритма, так и по господствовавшему в них настроению. Кем-то из современных религиозных философов была высказана мысль, что русская душа не ценит крепкого домостроительства, так как всякий дом в этой жизни ощущает как станцию на пути в нездешний мир. Этой, правда, лишь отчасти верной мысли вовсе не противоречит тот факт, что во всяком русском поезде «дальнего следования» сразу же заводилась по-домашнему уютная жизнь: если всякий дом есть всего только станция, то почему бы и вагону не быть настоящим домом? Душою железнодорожной домашности был, как известно, чай. Боже, сколько выпивалось его между Москвой и Екатеринбургом, Москвой и Кисловодском – подумать страшно. Семейные ездили со своими чайниками, интеллигентам же одиночкам приносил чай истопник, у которого самовар у вагонной топки кипел круглые сутки. В свое время этот самовар никого не удивлял. А как – да простится мне эта эмигрантская сентиментальность – умилился я в 1928-м году, по пути в Двинск, увидав в латвийском по подданству, но русском по настроению поезде российский самовар. Право, он показался мне не самоваром, а добрым духом родного очага. Родным показался мне и истопник, принесший нам с женою по стакану крепкого, горячего чаю, какого в Европе нигде не дают. Никелевый подносик в черной, как ухват, руке и ломтик ли

мона на блюдечке – все это издавна заведенное и не отмененное новою властью – чуть не до слез растрогало нас с женою.

Вагонное чаепитие с обильными закусками и бесконечными разговорами длилось часами. Закуски и беседы бывали весьма разные. В первом классе не те, что во втором, в курьерском поезде иные, чем в пассажирском; менялись они также в зависимости от того, куда направлялся поезд: в Варшаву и дальше заграницу, на кавказские воды или в Поволжье.

Самые изящные, самые «интересные» люди встречались, конечно, в поездах, несшихся к границе. Здесь, в международных вагонах первого класса с клубным радушием быстро знакомились друг с другом; «звезды» свободных профессий, главным образом знаменитые либеральные адвокаты, переодетые в штатское и не умеющие носить его высшие военные чины, дородные актеры императорских театров, англизированные представители меценатствующего купечества и милые московские барыни, бредившие тургеневским Баден-Баденом, Парижем и Ниццею. В какой час дня ни тронулся бы поезд, через час-другой после его отхода во всех купе уже слышна оживленная беседа. На столиках у окон аппетитно разостланы салфетки, на них все сборное и все

общее: золотистые цыплята, тончайшие куски белоснежной телятины, белые глиняные банки паюсной икры, слоеные пирожки в плетенках, темные, крутоплечие бутылки мадеры, чай, кон-фекты, фрукты – всего не перечислить…

Разговоры все те же: о преимуществе просвещенной Европы и о нашей темноте и отсталости. Талантливо витийствуют русские люди. Словно на суде развивают знаменитые защитники свои передовые взгляды. Как на сцене, отстаивают непочатую целину русского нутра необъятные телесами актеры. Летучими искрами отражается игра точек зрения в задорновесе-лых женских глазах.

Как хорошо ехать в Европу: отдохнуть, полечиться, похудеть, повеселиться и погрешить.

В пассажирских поездах, шедших в провинцию, бывало совершенно иное настроение: люди казались здесь обыденнее и озабоченнее. По дороге в Пензу, Казань, Нижний, Саратов знаменитые адвокаты наскоро просматривали дела и подготовляли речи, фабриканты проглядывали доклады своих директоров, а актеры доучивали роли. Столичные же барыни, если не считать путешественниц по Волге, в провинцию вообще не ездили. Вагоны первого класса катились тут часто почти пустыми. Во втором же, в последние годы мирной жизни, ездило уже много и серой публики: сапоги, картузы, поддевки, рубашки фантази, суровые наволочки на подушках, зачастую корзинки и парусиновые мешки вместо чемоданов.

Помню, ехал я читать в Астрахань. Вагон попался старый, грязноватый и тускло освещенный свечами. В купе нас было четверо: плотный, осанистый батюшка, странный блондин, с бритым актерским, обиженным лицом и грузный, сивый человек в поддевке, насквозь пропахший рыбой, очевидно рыботорговец. С вечера никакого общего разговора не вышло. Поужинав селедкой и огурцом с черным хлебом – дело было постом – и выпив на сон грядущий стаканчик водки, рыботорговец сразу же полез на верхнее место спать. Мне не оставалось ничего, как последовать его примеру, так как и батюшка уже начал позевывать. Все мои спутники быстро заснули, мне же долго не спалось – кусали блохи и мутило от тяжелого рыбного духа.

Проснувшись позднее других, я застал компанию за чаем и водкой. Уловив несколько слов, я сразу же понял, что дело идет обо мне – кто, мол, такой? Блондин считал меня, очевидно, артистом, едущим в провинцию на гастроли, купец же – революционером-агитатором: «в портфеле все книги, бумаги». Я

нарочно всхрапнул и тут же услышал соображения батюшки, что у революционеров «брюченки трепанные, а этот одет барином». «Эта шантрапа для отводу глаз новую моду выдумала,

– отстаивал свое мнение купец, – ох, доиграются приятели», – прибавил он с ненавистью и, слышно было, громко чокнулся с блондином.

Я весело спрыгнул вниз, наскоро сбегал умыться, достал свои припасы, выложил их на столик и попросил налить мне стаканчик чаю. Несмотря на высказанное по моему адресу подозрение, купец радушно налил мне стакан крепкого чаю и с нежностью вынул из моей корзинки пирожок с рисом и лососиной:

А мы вот, – начал без промедления актери-стый блондин, – интересовались тут, по какому поводу изволите разъезжать по провинции; я думаю скорее всего музыкант, потому что длинные волосы актеру под парики неудобно, а вот они – подмигнул он в сторону купца – предполагают, что не иначе как по просветительной части.

Так и есть – отвечал я как ни в чем не бывало •- еду читать лекции.

Значит моя правда – самодовольно ухмыльнулся рыботорговец, – явно обрадованный тем, что сразу узнал птицу по полету.

А на какую тему читаете? – провокационно полюбопытствовал батюшка – скорее всего по земельному вопросу, или насчет кооперации?

Напрасно подозреваете, батюшка – отвечал я иронически, – я еду читать две лекции: одну о славянофилах, а другую о божественном Платоне, которого во всех духовных академиях изучают.

Ну, благо, благо, коли подлинно так, – произнес священник, очевидно не поверивший правдивости моих слов и честности моих лекторских намерений, – спору нет, ученье – свет, а неученье – тьма.

А по-моему, батюшка, – решительно заявил купец, – никакого света в ученьи нет, а одно, простите меня, поджигательство. Я вот и без просвещенья в люди вышел, даже в большие – на промыслах сотнями тысяч ворочаю, а сына моего в университете до того просветили, что, как приехал на побывку, так одно только и твердит: «Ваши корабли сожжены, папаша». Ей?Богу, прямо поджигателем по дому ходит.

Поджигателем, – с невероятною живостью и даже с каким-то восторгом отозвался вдруг всё время выпивавший блондин – это интересно, это очень даже весело.

Да что ты, белены объелся – рявкнул на него торговец, – али сам ихнего жидовского, социалистического толку, чего ж тебе весело, что сын отца подпалить собирается?

Простите, – заторопился блондин, – я ведь не всерьез, так, к

слову пришлось, потому что больше всего в жизни люблю пожары, особенно ночью…

Под вечер купец и батюшка вышли на какой-то большой станции. Оставшись наедине со мною, актер Солнцев, как на прощанье отрекомендовался мне любитель пожаров, разоткровенничался и с воодушевлением и страстью рассказал свою историю:

Сын сельского дьякона, он после поездки в Москву, где побывал в опере, бежал из духовной семинарии с мечтою учиться пению и попасть на сцену. «Голос у меня был – хвастался он с типичною провинциально-актерскою ухваткою – единственный, силищи непомерной, труба судная, и от природы поставленный, как у соловья. Одно меня сгубило – робость, боязнь публики. Я, поверите ли, у самого Шаляпина был, спрашивал, как бы это мне от своей проклятой робости избавиться. Он, спасибо ему, ободрил: голос, говорит, у тебя мой, шаляпинский, а чтобы не бояться публики, не смотри никому в глаза, бери глазом поверх голов. Как глаз выше публики поставишь, так ее себе под

ноги и бросишь. У меня у самого это первое правило – всегда с поднятой головой пою. Пробовал я по его, по?шаляпинскому рецепту действовать, долго пробовал, да нет, не помогло. Пока тяну ноту вверх – выходит, а как вытянул – обязательно глазом в публику – хорошо ли, мол, спел – вижу у всех морды сонные, скучные. Верите ли, досада душит, голос сдает и чувствую, что вру, хоть со сцены беги. Так вот и прекратились ангажементы. Выпьемте, чокнемся. Хоть вы и по просвещению ездите, а я чувствую, что душа у вас наша, актерская.

Ну, а теперь вы чем занимаетесь? – спросил я своего собеседника, не улавливая связи между его неудавшейся сценической карьерой и любовью к пожарам.

Теперь-то? – откинулся он назад и грустно посмотрел на меня, – как вам сказать, занимаюсь пожарами.

То есть как пожарами? – переспросил я – служите страховым агентом?

Это тоже, только это не главное. Я, если уже говорить всю правду, как на духу, по трем линиям работаю: страхую, главным образом крестьян от огня, организую по деревням пожарные команды и, страсть моя – изредка, поджигаю.

Как поджигаете?

А вы обождите, не торопитесь, – заговорил он вдруг с какою-то новою серьезностью, как человек, глубоко продумавший свою мысль и твердо уверенный в своей правде – от моего поджигательства никому вреда нету. Поджигаю я только в крайнем случае, когда уж очень долго нигде не горело, так что

душе невтерпеж становится. Поджигаю всегда двор, который сам же застраховал и которому, знаю, гореть выгодно. Но и против своего Общества у меня совесть опять-таки чиста: не будь моих команд, все сплошь бы горело. Сами видите – вреда никому нету, а мне

не только удовольствие, а вся жизнь в этом. Набат – лечу впереди всех с факелом, командую, кричу; иной раз такую ноту возьму, что и Шаляпину не взять. Дерево, сено, солома – все как в аду полыхает; скотина как на бойне ревет; бабы, ребятишки пуще скотины отчаиваются, огненные языки небо лижут. Команда моя работает – любо-дорого смотреть. Знают ребята, что я после каждого выезда ведро водки выставляю. Да, – закончил Солнцев свою хмельную исповедь, – артист не может жить без восторга, я же говорю по совести, большего восторга не знаю, как тушить пожары. Слышал, в старину были огнепоклонники – так вот я скорее всего ихнего толка.

Вспоминая поездки по России, не могу не рассказать о веселом возвращении из заграницы в 1912-м году. Разорившись на подарки, мы с женой ехали и по России в третьем классе. Вагон попался новый, почти пустой – кроме нас, в нашем отделении никого не было. На какой-то станции к окну подошла молодая баба с решетом грибов. Она так упрашивала купить грибы и отдавала их за такие гроши, что мы, в конце концов, пересыпали белые грибы, один другого мельче в, блаженной памяти, «Русские ведомости». Таких прекрасных грибов и таких честных газет уже давно нету во всем мире.

Масло было с собою, сковорода и спиртовка, на которой жена во Фрейбурге готовила ужин – тоже. Конечно, зажигать в поезде спиртовку не дело, но в сущности ничего случиться не могло. Подумали, посомневались и решили немедленно позавтракать. И вот как раз перед тем, как снимать с огня вкусно пахнущую сковородку, осторожно открылась дверь и показалась плешивая, седая голова: на висках – старинные зачесы, на морщинистых щеках – бачки. – Грибы жарите? – потянула большим ноздрястым носом странная голова – богатая идея. Если разрешите присоединиться, могу предложить вино и закуски. Да

вы насчет кондуктора не извольте беспокоиться, обратился незнакомец к жене, выгонявшей полотенцем грибной чад в окно, я его знаю – за рюмочку, другую он вам не то, что грибы, а целого поросенка разрешит изжарить.

Заинтересованные незнакомцем (я лично и против закуски ничего не имел), мы охотно приняли его предложение. Не прошло и двух минут, как он снова появился в купе с большою корзиною в руках и тут же начал деловито и ловко вынимать из нее

удивительные вещи: ценные граненые чарки, тяжелые золоченые ножи и вилки с орлами, тарелки с короною и всякую изысканную снедь: жареных цыплят, паштеты, прекрасное бордо, дюшесы и сыры…

В чем дело? Что за человек? Вещи явно не его, но ощущает он их своими. И слишком тонкой и дорогой для всего его облика (полуформенные брюки с кантом и люстриновый пиджак) едой угощает с тороватым радушием барина-хлебосола.

Ларчик открылся неожиданно просто. Наш незнакомец оказался дворцовым лакеем. Человек от природы умный, наблюдательный, перевидавший по своей должности множество людей и потерявший к ним всякое уважение, он был весьма тверд в отстаивании своего глубоко-скептического миросозерцания.

– Не красть, – доказывал он мне с отеческою назидательностью, – при дворе, по крайней мере, никак невозможно, потому бессмысленно и даже неправильно. Если я задумаю не брать, меня свои же за несочувствие и предательство выживут. Семья моя окажется в бедности, миру же от моего самоуправства прибыли никакой не будет. Чего же, разрешите вас спросить, в том хорошего, что брать будет не честный человек для жены и детей, а какой-нибудь подлец-пьяница ради бессмысленного кутежа в угоду любовнице-потаскухе. А таких стрекулистов, да будет

вам известно, за последнее время среди нашего брата много развелось.

На мои неуверенные за отсутствием всякой осведомленности в дворцовом обиходе, беспомощно-принципиальные возражения, придворный старичок словоохотливо отвечал все новыми и новыми рассказами о хищениях в дворцовом ведомстве. Он помнил еще последние годы царствования Александра Н-го.

– Великой души был государь, но и его обманывали почем зря. Пожаловали их величество – может быть, слышали, госпоже Уваровой имение в Крыму – а получила она пустырь да кустики. Тоже самое с драгоценными подарками: уж на что строг был Александр Ш-й, а и он не справлялся со своими чиновниками. Вместо жалованного на бумаге перстня с изумрудом, обсыпанного бриллиантами, получали обласканные им лица иной раз колечко с малюсеньким камешком в розочках. И тут, благородный молодой человек, вовсе не простое хищение, как вы может быть, полагаете, а вроде как свой закон, которого не переступишь. Во дворце все заведено спокон веку, даже конфеты на приемах со времен матушки Екатерины, все те же подаются и никакие революции тут ничего переставить не могут. Да-с. И цари под законом живут, даром что самодержцы.

Б памяти еще много встреч, еще много странных, неожиданных бесед. Ехал я как-то в Царицын. Не успев дома как следует подготовиться, я за несколько часов до Царицына достал конспекты, книги и так углубился в свои мысли, что не заметил, как ко мне в купе подсел молодой человек. Как только я, кончив работу, вынул портсигар, молодой человек быстро чиркнул спичкой и поднеся ее к моей папиросе, нервно пересел поближе ко мне с явным желанием поговорить. Одет он был в ладно сшитое добротное купеческое платье, обут в мягкие офицерские сапоги.

– Вы, если не ошибаюсь, в наши Палестины – начал он без промедления свою атаку, указывая пальцем на мои книги, и на папку с моим именем – ждем с большим нетерпением. Афиши уже давно расклеены. Мне лично сейчас особенно важно послушать философа. В последнее время душа, знаете ли, в большом смущении. Карасев – представился он внезапно, вскинув на меня свои небольшие, тускло-темные и слегка раскосые глаза. – Может быть, слышали? В последнее время наше имя по всем газетам треплют, не исключая и столичных. Да, вот что родной братец наделал, продолжал он, не дожидаясь моего ответа. Любил он ее, как я понимаю, до безумия, самый омут ее души любил, а убил, почем зря и при том в полной памяти. Что с ним приключилось – ума не приложу. Неужели такое с каждым стрястись может? Вот хотя бы завтра и со мною?

Дома у нас мрак, родители убиты, боятся на улицу выйти. Может быть, вы зашли бы к нам отобедать, утешить стариков, обелить их своим посещением в глазах нашего темного народа.

Последняя неожиданная просьба была произнесена с искреннею глубокою мукою, но одновременно с каким-то наигранным вывертом и даже форсом. Хоть и не хотелось мне идти обедать к Карасевым, я все же решил пойти; если бы я не пошел, мой странный знакомец жестоко разочаровался бы не только во мне, но и в философии, о которой имел весьма смутное представление, но которую страстно любил, как высшую точку просвещения.

На обеде, по-купечески тяжелом и обильном крепкими напитками, кроме несчастных и весьма смущенных стариков, явно не понимавших по какому собственно случаю сынок затеял пир, присутствовало еще несколько безмолвных существ, скорее всего близких родственников семьи.

По началу разговор совсем не клеился, но постепенно им завладел «брат убийцы», находившийся не только в подъеме, но даже в восторге. Не хватало только того, чтобы, подняв бокал, он произнес бы по случаю убийства братом своей любовницы

сумбурную речь на Андреевскую тему: «стыдно быть хорошим».

Со мною он чем дальше, тем больше держался единомышленником-заговорщикомˆ

– Мы с вами, – шептал он мне на ухо, – всю глубину понимаем, а о них, что говорить, народ темный, им человеческой жизни не надо, довольно и тараканьей, в кухне за печкой.

Не знаю, как сложилась судьба этого странного ценителя настоящей жизни, скорее всего революция и его, как таракана, растоптала своим сапогом. Но, может быть, она и вознесла его. Впоследствии, когда будет тщательно изучен личный состав большевистской партии, несомненно выяснится, что большое количество людей не пролетарского происхождения вошло в нее от той же тоски по углубленной жизни, хотя бы и на преступных путях, которая с малолетства мучила молодых Карасевых, как самого убийцу, так и его брата.

Есть в русских душах какая-то особая черта, своеобразная жажда больших событий – все равно, добрых ли, злых ли, лишь бы выводящих за пределы будничной скуки. Западные европейцы среднего калибра легко и безболезненно отказываются от омутов и поднебесий жизни ради внешнего преуспевания в ней. В русских же душах, даже в серењких, почти всегда живет искушение послать все к чорту, уйти на дно, а там, быть может, и выплеснуться неизвестно как на светлый берег. Эта смутная тоска по запредельности редко удовлетворяется на путях добра, но очень легко на путях зла. Такая тоска сыграла, как мне кажется, громадную роль в нашей страшной революции. Быть может, ради нее русскому народу и простится

многое из того, что он натворил над самим собою и надо всем миром.

Роман Анны с Вронским начинается в поезде и кончается им. Под стук поездных колес рассказывает Позднышев в «Крейцеровой сонате» совершенно чужим ему людям об убийстве жены и мы чувствуем, что нигде, кроме как в поезде, он не смог бы исповедоваться с такою искренностью. Замерзшею рукою стучит Катюша Маслова в ярко освещенное окно вагона первого класса и, не сводя глаз с Нехлюдова, чуть не падая бежит по платформе. «Дым, дым, дым» – развертываются в поезде скорбные раздумья Литвинова-Тургенева. Провожая жену своего приятеля и прощаясь с нею в вагоне, скромный герой одного из самых нежных рассказов Чехова, вдруг понимает, что он всю жизнь любил только ее и что с ее отъездом для него все кончается. В «Лике» Бунина тема блаженно-несчастной любви и творческих скитаний духа еще глубже и еще таинственнее сливается с темой

той железнодорожной тоски, о которой пел Александр Ьлок:

Так мчалась юность бесполезная В пустых мечтах изнемогая, Тоска дорожная, железная Свистела, сердце разрывая…

Да, было что-то в русских поездах, что, изымая души из обыденной жизни, бросало их «в пустынные просторы, в тоску и даль неизжитой мечты».

В таком отлетно-романтическом настроении, которого уже давно не знает Запад со своими короткими межстанционными перегонами, с непрерывностью человеческого жилья и труда за окнами, мешающими природе думать свою вековечную думу, и с несмол

каемыми коммерческими разговорами вездесущих коммивояжеров, несся я однажды лютою стужею вглубь России.

Я совсем было собрался уже спать, как, посмотрев на часы, вспомнил, что скоро будет та станция, верстах в десяти от которой два года тому назад снимал у обедневшего помещика небольшой флигель мой приятель, талантливый начинающий поэт. Вернувшись осенью в Москву из своей «добровольной ссылки», где собирался серьезно работать, он сразу же пришел ко мне и мы с ним всю ночь проговорили о его летнем романе, вернее о том, стоит ли ему в старомодных ямбах описывать встречу современного поэта («Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов») с прелестною провинциальною девушкой, уже обещавшей, по настоянию родителей, руку и сердце другому. К утру мы твердо решили, что писать второго Онегина не стоит и, выпивши крепкого кофе, пошли вверх по туманным, прохладным, еще не разметенным бульварам к розовеющему Страстному монастырю поклониться бессмертному Пушкину.

Как только поезд остановился, я вышел в коридор, почувствовал резкий удар холода по ногам и тут же увидел входящую, всю запорошенную снегом молодую женщину в темно-синей с серым барашком шубке-поддевке. Отпустив кучера, внесшего за ней два светлых кожаных чемодана, она сняла шапку, расстегнулась и медленно опустилась против меня на диван: купе сразу же наполнилось милым, домашним, женским теплом. «Она – Леля Остафьева», решил я с полною уверенностью и тут же с радостным волнением сообщил ей, что я уже давно с нею знаком.

Через час Елена Александровна, то и дело поднося платок к заплаканному лицу, не таясь, рассказывала мне о своей несчастной любви к поэту и о своем еще более несчастном, ненужном замужестве. Умолкая, она недоуменно вздергивала вверх свои тонкие

брови и, словно прося помощи, с тоскою останавливала на

мне по-детски доверчивый взор своих горячих, кротких глаз.

Волнуясь близостью открывающей мне свою душу женщины (душа и тело так тесно связаны друг с другом, что, говоря о любви, ни одна женщина не может не приоткрыть и своей женской тайны), я невольно делал все, чтобы вызвать в своей собеседнице ответное волнение. Сливая себя с «нашим» поэтом, ее неверным рыцарем и моим старым другом, я, как умел, утешал ее, рисуя драму сложных мужских душ, подвластных вдохновению и творчеству. Женщинам, даже и искренне любимым, такие люди, ораторствовал я, могут дарить лишь мгновения, но мгновения, исполненные вечности. Будьте же счастливы тем, что в лёте летних дней и над вами пролетела вечная любовь. Умершая для жизни, она воскреснет в творчестве. Миг, вечность и полет таинственно связаны друг с другом. Разве бы вы, ничего не знающая обо мне, доверили бы мне свою тайну, раскрыли бы передо мною свое сердце, если бы не чувствовали, что за окном куда-то несутся бесконечные дали, если бы не знали, что к десяти часам утра мы уже навсегда расстанемся друг с другом.

Елена Александровна благодарно жмет мои руки. В ее глазах все еще слезы, но уже не те, беспросветные, что стояли в них два часа тому назад. Я взволнованно чувствую растроганность, открытость и встреч-ность всего ее пленительного существа. Я горячо целую ее руки. Она не сопротивляется, быть может, ей грезится лето и ее милый, неверный, внезапно куда-то сгинувший друг…

Светает. Мы молча стоим у полузамерзшего окна. В мутном небе одиноко стынет медленно двигающийся сквозь легкие облака мертволикий месяц. По горизонту печально тянется мглистая прочернь нескончаемых лесов.

Да, поезда, России… Где-то сейчас милая Елена Александровна? Погибла ли на своей земле или, быть может, ждет на чужбине скорого возврата на родину? Вспоминает ли, слыша в сердце русский стук поезда, несшиеся перед нами почти тридцать лет тому назад сумрачные снежные дали? Вряд ли. Если же и вспоминает, то, конечно, не с тою тоскою, как я. Лицо России глубже сливается с женским лицом, чем с мужским. Наша же эмигрантская тоска вся о России…

ПРОВИНЦИЯ

В Нижний я приезжал обыкновенно очень рано, если не

ошибаюсь, около шести утра. Зимними месяцами в этот час на предвокзальной площади бывало еще совсем темно. Лошадиные морды, дуги, извозчичьи шапки лишь смутно чернели в туманной мгле. Даже широкая лента Оки, по которой ветренной стужей неслись легкие новгородские саночки с передками, в виде лебединой шеи, еле белела перед глазами. Над низовьем Канавина призрачно дрожало зеленовато-желтое марево далеких фабричных огней. На высоком берегу, по которому санки медленно подымались к кремлю, кое-где за занавешенными окнами светились огни. Здесь, в душно натопленных комнатах, просыпалось, вставало, крестилось и садилось за чай торговое население Нижнего. Кремль с его древними стенами, башнями, соборами, присутственными местами еще спал праведным сном. Только вороны тяжело перелетали с места на место по его чистым, белоснежным площадям. Спали еще и главные улицы торгового центра, по которым я резво подкатывал к Ермолаевским номерам, где останавливались все знатоки Нижнего Новгорода, несмотря на то, что недалеко от этих неказистых номеров красовалось большое, желтое здание гостиницы «Россия». Предпо

читались Ермолаевские номера, в которых было всего только 14-16 комнат, из-за тишины и замечательной кухни.

Впервые приехав в Нижний, я остановился, как сейчас помню, в номере первом, в небольшой комнате с громадной печкой-лежанкой. Велев разбудить себя ровно в 10 часов, я быстро разделся и лег досыпать короткую вагонную ночь. Ровно в десять в дверь постучались. Я весело вскочил и отдернул шторы. За окном сиял синий, солнечный день. Под окном у подъезда, в ожидании тороватых седоков, попыхивали папиросами веселые, мордастые лихачи, дядя и племянник Шныревы, с которыми я впоследствии крепко сдружился. По другой стороне улицы проходили какие-то удивительные фигуры: купец ли, интеллигент ли, барыня ли с попугаем на барашковой шапочке, малый ли из погребка – все здесь не то на самом деле было, не то мне казалось каким-то особенным, по-провинциальному милым и занятным.

Когда пожилой, опрятный «человек», приветливо внесший громадный самовар, французскую булку, масло и свежий номер «Нижегородского листка» с объявлением о моих лекциях, поговорив сколько полагается, почтительно удалился утиною походкой многих половых, я налил себе стакан крепкого чаю, достал свои расчерченные цветными карандашами конспекты и в радостном чувстве полноты и подъема жизни сел их просматривать.

К двум часам меня ждал к себе председатель нижегородской Секции гигиены, воспитания и образования доктор Грацианов. Поднявшись по чисто вымытой и устланной пестрою дорожкою, но все же слегка попахивающей отсутствием канализации, небольшой, отлогой лестнице, я оказался в памятной мне интеллигентски-поповской квартире доктора: фикусы, ломберные столы между окнами, по крашенному полу половички, обитый коричневой клеенкой

«гигиенический» диван, обеденный стол в углу, вокруг него простые венские стулья, но зато на нем – разгул хлебосолья. В противоположность Германии, которая нарядно живет, но скромно питается, в России и в убогой обстановке ели талантливо. Волга с ее рыбными богатствами особенно способствовала развитию этого таланта.

Длиннорукo вымахавший себя мне навстречу Гра-цианов оказался типичным земцем, либералом, неугомонным деятелем «с идеей и направлением». Представив меня своей жене, преподавательнице женской гимназии, круглолицой, мягкотелой Мелании Павловне, и ее коллеге, выдающемуся математику Мурашову, мясистому, кудрявому паучку с очками-лупами на почти совсем слепых глазах, Грацианов шумно и весело подвел нас к столу. Потрясывая чуть седеющею, козлиною бородкою над неустанно катающимся кадыком, Грацианов с плутоватым видом рассказывал мне, что раздул секцию чуть ли не в народный университет на основании «малюсенькой запятой».

– Как врач, – посмеивался он, – я получил разрешение на устройство лекций по вопросам гигиены воспитания и образования, только и всего. Но согласитесь, что гигиеной, хотя бы и гигиеной воспитания, нашей русской жажды образования не утолить. Вот я и рискнул потихонечку вставить после гигиены малюсенькую запятую. Так оно и получилось: секция по вопросам гигиены – раз, по вопросам воспитания – два, по вопросам образования – три. По таким трем рубрикам все, что угодно, провести можно и кого угодно выписать. Препятствий со стороны местных властей, слава Богу, пока не встречаю, смотрят сквозь пальцы. Рад, очень рад вас послушать, в «бюро» очень хвалят, говорят «из молодых да ранний»…

Похвала, что греха таить, была мне в те времена весьма приятна. Хотелось не ударить лицом в грязь.

Подготовлен я был тщательно, но меня беспокоила невозможность, хотя бы приблизительно, представить себе, какая вечером соберется публика. Я никак не мог решить, надо ли читать так, как я читал в Москве, в открытом заседании Религиозно-философского общества, или скорее на уровне

Пречистенских рабочих курсов.

За послеобеденным чаем я попросил Грациано-ва рассказать мне, что за народ ходит на лекции. Его рассказ не облегчил моего положения, скорее наоборот – усилил мое волнение. Оказалось, что на всякого нового лектора поначалу из любопытства собираются все, со временем же у каждого создается своя аудитория, у одних – большая, у других – малая.

Вернувшись в номер, я еще раз просмотрел свой конспект, отложил его в сторону и, повернувшись лицом к стульям, окружавшим овальный стол, начал громко и внятно свою лекцию. Я решил читать как можно более просто, но по существу ничего не упрощать.

В Нижнем я пришелся ко двору. У меня быстро создалась большая и верная аудитория. Ее отличительною чертою была как социологическая, так и психологическая пестрота. Сразу же утратив некоторых слушателей разных лагерей из-за трудности моих лекций, я не утратил ни одного лагеря. На все мои лекции до конца ходили как народники, так и марксисты, как представители свободных профессий, так и сормовские рабочие, как весьма пожилые люди, так и учащаяся молодежь.

Часто читая в Нижнем, я мало-помалу перезнакомился со всеми более или менее интересными людьми среди своих слушателей. Как всюду, так и в Нижнем, русская интеллигенция жила тесными идеологическими кланами. Отношение между кланами носило своеобразно-мистический характер нераздельности, но и

неслиянности. Основною формою этого общения был нескончаемый идейный спор. Большой веры в возможность переубедить друг друга ни у кого не замечалось, тем не менее никому не приходила в голову мысль о прекращении бесцельных словопрений. Вспоминая («Мои университеты») о П. Н. Скворцове, гордившемся тем, что он не читал никаких книг, кроме «Капитала» Маркса, Горький не в шутку, а вполне серьезно называет Скворцова одним из лучших знатоков марксизма, не понимая того, что ученый, не читавший ничего, кроме Маркса, не может быть хорошим знатоком марксизма, а в лучшем случае лишь узким марксистским начетчиком. Не зная ничего о Скворцове, я не могу сказать, мог ли этот глава марксистского кружка, в котором в 89-90?х годах вращался Алексей Максимович, еще жить в Нижнем во время моих наездов туда. Дух его был во всяком случае жив. Помню, что меня не раз возили на какие-то чаи, где уже исчезнувшие из моей памяти люди, гордые тем, что они никогда не читали романтиков, мистиков, церковников и других «обскурантов» с сектантской страстностью

и начетнической эрудицией хором доказывали мне вредность моих эклектически-беспринципных лекций. Представительницей марксизма в легальной нижегородской прессе была женщина-врач Бродская, иронически называвшая меня в своих рецензиях «сладкоголосою сиреною» и всячески старавшаяся скомпрометировать мое «левизною приправленное, реакционно – славянофильское миросозерцание» в глазах передового нижегородского общества.

Совсем иначе отнеслись ко мне в народнических кругах, где еще жили воспоминаниями об эпохе Короленко и недолюбливали Горького. С особою благодарностью и даже нежностью вспоминаю Настасью Петровну Ульянову, у которой был дважды в гостях: бедно обставленная комната, чайный стол со скромною закуской, за столом хозяйка, уже седеющая

женщина с очень умным и очень русским лицом толстовского склада и еще несколько тихих, симпатичных гостей. От всей дружной «идейной» семьи веяло теплотой и грустью: один из сыновей Ульяновой только что ушел в ссылку. Не думаю, чтобы Настасья Петровна разделяла все те религиозно-философские взгляды, которые я тогда проповедывал. Не думаю также, чтобы ее очень интересовал мой курс об основных проблемах эстетики Возрождения, концепцию которого я вывез из своей поездки в Италию. И все же Настасья Петровна меня не только как-то оценила, но даже и полюбила. До сих пор у меня хранятся подаренные ею «Исторические письма» Лаврова, с трогательною подписью: «Да хранит Господь Бог вашу светлую голову от тины житейской». Как у всякого писателя, на моих книжных полках стоит много книг с автографами, но ни одна из них меня почему-то так не радует, как потрепанная серенькая книжечка с этими умилительно старомодными словами, начертанными четким, мелким почерком.

Кроме широкого слоя лево-партийной интеллигенции, в Нижнем существовала и небольшая группа так называемых «неоправославных». Из них наиболее интересным был А. С. Волжский-Глинка, к которому я как-то зашел знойным летним днем, чтобы поговорить о его статье «Около чуда», только что появившейся в посвященном Толстому сборнике «Пути», который я рецензировал в «Логосе». Жил Волжский, как мне помнится, в деревянном сереньком домике, стоявшем в негустом саду. Не застав его дома, я решил подождать, пока он вернется с купания. Вернулся он в таком виде, что хоть опять в воду: красный, обливающийся потом, с расстегнутым воротом парусиновой толстовки. Подали квас, Волжский пил стакан за стаканом, все время утирая свое потное, бородатое, обрамленное поповскими

волосами лицо большим купальным полотенцем.

Настоящего философского разговора не вышло, помешала жара. Всё, что осталось в душе от посещения Волжского, как-то слилось с тем благодатным ощущением жизни, о котором главным образом и шла речь в его статье о Толстом:

«Глубоко, глубоко, – писал Волжский, – врос этот огромный гений корнями своими в родную почву, в самое сердце земли. Он весь почвенный, землистый, душистый, корневой, красочный, зеленый и развесистый. Влажный чернозем на ласково пригревающем солнышке. В вышине лазурные дали, в глубине, в пахучей божьей земле божьи семена и для божьих же человеков».

Таким же жарким летним днем был я на даче у молодого учителя Мишенькина. Мишенькина я заметил на первой лекции и сразу же прилепился к нему.

Люди публичных выступлений, артисты, ораторы, лектора, хорошо знают, до чего важно иметь среди слушателей надежные опорные пункты. Как бы выступающий ни был уверен в себе, в минуты утомления им неизбежно овладевает ощущение, что аудитория начинает скучать и уходить от него. В такие минуты ему и необходимо почувствовать живую связь с аудиторией, хотя бы в лице двух, трех внимательных слушателей. Таким офицером связи я и прикомандировал к себе на первой же лекции Мишенькина. Очень красивый брюнет с внешностью Спасителя со страдальческой складкой на лбу, бессменно одетый в черный двубортный пиджак, он, положа ногу на ногу, скромно и неподвижно сидел с краю, неподалеку от кафедры и, не смотря на меня, не сводил взора с предмета моей лекции.

Приехал я к Мишенькиным к раннему обеду. Приняли они меня так просто и радушно, как мало знакомых людей принимают, кажется, только в славянских странах. Накормили чудесною, янтарною ухой и крупною душистою клубникой. После обеда мы

пили чай с вкуснейшим сладким пирогом. Спасибо Мишенькиным за привет и старание. За чаем душевно разговаривали о том, о сем. Потом гуляли над Волгою, дышали необъятными земными и небесными далями, под вечер сидели на крылечке, любовались закатом, жгли костры от комаров и уже по-настоящему, вплотную беседовали о христианстве и просвещенстве, о России и революции, о Москве и провинции, об учительском призвании и о трудностях провинциального учительствования.

Уехал я очень поздно, с последним пароходом, в радостном ощущении, что познакомился с настоящими людьми, интеллигентами новой формации, которые и Бога не отрицают, и культуру любят, и социальной справедливости жаждут. Смущало

только некоторое уныние Мишенькина, какая-то грустная сумеречность его образа. Думаю, что он был очень одинок и что ему было непосильно пробивать себе дорогу среди ведущих сил России – клерикального черносотенства и атеистически-революционной интеллигентщины.

Одним из видных православных реакционеров был в Нижнем доктор Н., который меня долго мучил своими письмами. Репутация у моего корреспондента была не важная: ханжа, черносотенец, карьерист. Ми-шенькины с ним не были знакомы и удивлялись тому, что я вожусь с ним.

Ханжой и черносотенцем доктор Н., человек, судя по письмам, тяжелый, одинокий и очень самолюбивый, из породы русских самоистязателей, думается, не был, но казаться таковым он мог. Трагедия доктора заключалась в том, что, не нуждаясь в молодости в Боге, чтобы любить людей и помогать им, он, придя к своим пятидесяти годам к Богу и церкви, потерял всякий интерес к людям: «Объясните, – писал он мне, – почему я, некогда народник-идеалист, горевший жаждою помощи ближнему, теперь свиде

тельство о смерти ловчусь не выдать, пока не зажму трещицы в кулаке, а в церковь хожу и даже практики не могу начать не перекрестившись». Что я отвечал доктору – не помню, помню только мучение, которое я испытывал, отвечая ему. Для настоящего ответа у меня в 27 лет еще не было ни жизненного опыта, ни духовной зрелости. В живом разговоре я, быть может, и нашел бы какое-нибудь нужное доктору слово, но разговора угрюмый, бледный, рыжий доктор очевидно боялся. После лекции он каждый раз быстро здоровался со мною и уходил, не позвав к себе.

Описывая своих нижегородских слушателей, я невольно спрашиваю себя, для кого пишу, кому могут быть интересны быстрые зарисовки почти мимолетных встреч, кроме меня самого? Но потом утешаю себя мыслью, что господствующий не только в математике, но и в жизни закон бесконечно большого значения бесконечно малых величин, быть может, поможет моим читателям выяснить себе духовный облик дореволюционной провинции и то, чего она ждала и даже требовала от лектора.

Мое отношение к философии заставило профессора Виндельбанда, как я рассказывал выше, указать на то, что его личные убеждения не являются предметом университетских занятий. Россия, в особенности провинциальная, такого разграничения личной и общественной философии не признавала. От философа, как, впрочем, и от всякого общественного деятеля, она требовала личных убеждений, почему

и завязывала с ним личные отношения. Глубоко личные вопросы ставил мне не только очерствевший в Боге доктор, ставили их и приходившие в Ермолаевские номера поговорить со мною о воспитании детей матери и жены, запутавшиеся в брачной жизни, и молодые люди, ищущие смысла жизни.

Смешно подумать, но даже на каком-то гимнази

ческом балу, куда меня затащили мои слушатели, какая-то весьма энергичная ученица старшего класса, «убежденная индивидуалистка», взволнованно доказывала мне, что я, защищающий начала личности и свободы, обязан пойти к ее отцу и убедить его, что он не смеет препятствовать ей строить свою жизнь по собственному разумению. Требование было предъявлено с такой страстностью и нравственною серьезностью, что мне пришлось познакомиться с родителями моей клиентки и сделать все возможное, чтобы добиться от отца разрешения отпустить дочь в Москву на Высшие курсы.

Как ни много давали мне лекции, устраиваемые Грациановской запятой, большее нравственное удовлетворение я получал от своего преподавания на губернских и уездных учительских курсах. Слушателями были почти исключительно учителя и учительницы, большинство которых съезжалось в Нижний из разных медвежьих углов. Настроение (у молодых, в большей степени, чем у старых, и у женщин в большей степени, чем у мужчин) было праздничное: в «храм науки» трудовая интеллигенция верила с такою же страстностью, с какой отрицала церковь. Татьянин день, день основания Московского университета, был ее престольным праздником. Читал я на учительских курсах в радостном ощущении того, что воля и вера моих слов действительно доходят до внимательной и восприимчивой аудитории, чувствующей мою любовь к ней. По окончании лекций «благодарные слушатели» поднесли мне адрес, составленный в очень теплых выражениях, и серебряный бокал с изображением оленьей головы и выгравированною под нею трогательною надписью.

Идейные нижегородцы, вроде Настасьи Петровны и Мишенькиных, не раз давали мне деликатно понять, что я напрасно отдаю часть своего времени недостойным меня, по их мнению, людям: всяким разбогатев

шим на купеческих хлебах юрисконсультам, околачивающимся около нервных барынек врачам, снобистическим купчикам с артистическою жилкою, актерам, служившим у Медведева, одним словом тому буржуазному гнезду, главными представителями которого считались дружившие друг с другом дома присяжного поверенного Пунина и эффектнейшего по

внешности женского врача Струнского, сводившего с ума всех своих пациенток. В этих благожелательных намеках бесспорно была некоторая доля правды. Не обедай я у Пуниных, не ужинай я у Струнских, не езди я вместе с Вовкой Блюменталь-Тамариным, талантливейшим актером и талантливейшим кутилой, за город, я, конечно, сделал бы для дела просвещения гораздо больше того, что сделал. Но, во-первых, я был молод и жаден до всех впечатлений жизни, а во-вторых, я отнюдь не был «идейным русским интеллигентом». Органически чуждый как всякому фанатизму, так и всякому фарисейству, я с большим удовольствием проводил вечера после лекций то у одних, то у других знакомых; рассказывал о заграница, спорил о постановках Художественного театра, слушал цыганские романсы, читал стихи и наслаждался тем оживлением, которое вносил в общество. Как-то на войне, во время веселой пирушки один из товарищей по бригаде, в мирной жизни ученый-экономист, до слез смеясь над каким-то моим рассказом и утирая глаза, сказал мне: «Ах, Федор, Федор, какой бы из тебя вышел ученый, если бы ты родился заикой!»

Помню свой последний отъезд из Нижнего. Приехав задолго до отхода поезда на вокзал, я стоял у открытого окна своего вагона и разговаривал с провожавшими меня слушателями, среди которых был и доктор Грацианов с женой и Мурашовым. Вдруг в дверях буфета первого и второго классов появилась веселая компания Пуниных. Впереди, откинув назад

свою красивую голову, не без торжественности выступал доктор Струнский, с большим покрытым салфеткой подносом в руках; на подносе пенились бокалы с шампанским. Около доктора суетились два лакея с запасными бутылками подмышкой. Шествие направлялось к моему вагону. Я вопросительно и смущенно взглянул на Грацианова: такой «Паратовский», волжский, апофеоз моей просветительной деятельности был бы все же почти неприличен. Грацианов спросил кого-то, в чем дело, и, приподнявшись на цыпочках к моему окну, успокоительно произнес: «В этом же вагоне едет Плевицкая; пела она вчера, говорят, замечательно: стулья ломали. Вот наши жеребцы и пришли провожать».

Раздались бурные аплодисменты. Голова Плевиц-кой появилась, к моему удивлению, в окне соседнего купе. Струнский, уже издали заметивший меня, поднес первый бокал Плевицкой, второй мне и, представив меня Надежде Васильевне, попросил у нее разрешение перейти «философу» в ее купе. «В одной раме удобнее чествовать наших знаменитостей». Вставив меня с Плевицкой «в одну раму», Струнский, слава Богу, забыл обо мне.

К веселой компании за те четверть часа, которые оставались до отхода поезда, вероятно, пристало довольно много никому неизвестных, случайно находившихся на вокзале людей. Во всяком случае, количество поднятых после третьего звонка бокалов показалось мне что-то уж очень большим.

Свисток. Поезд трогается, раздаются возгласы: «Спасибо, спасибо, никогда не забудем, приезжайте скорее опять».

Когда платформа исчезла из глаз, я, откланявшись, собрался было вернуться в свое купе, но Плевицкая, познакомив меня со своим мужем, маленьким невзрачным человеком, и со своим восточного вида аккомпаниатором Зарембой, предложила поси

деть вместе. Я охотно согласился на предложение знаменитой песельницы, о сказочной карьере которой (деревенская нищета, монастырь, выступление на Нижегородской ярмарке, случайная встреча с Собиновым – ив результате всероссийская известность чуть ли не в три месяца) я уже много слышал от своего приятеля, артиста Малого театра Ленина.

Посидев с нами с полчаса, муж Надежды Васильевны выдал ей, что меня очень поразило, три рубля на ужин и завалился на верхнюю полку спать. Поначалу я больше говорил с Зарембой. Плевицкая, думая о чем-то своем, как будто рассеянно прислушивалась к нашим голосам. Но вдруг она с живостью, свойственной всему ее существу, спросила меня, какую я науку читаю. Я ответил, что философию.

Философию, – повторила она и помолчав прибавила. – Что такое философия я, по правде сказать, не очень знаю, но только философа я себе не таким представляла, как вы. Думала, почему-то, что все они старые, бородатые, очкастые и пальцем перед носом грозят. – И она забавно приставила палец к своему носу. – Так что же это такое ваша философия, расскажите, авось, пойму.

Я начал рассказывать просто, но серьезно. Она слушала очень внимательно, повороты и переходы моей мысли ясно отражались в ее умных глазах под слегка наморщенным лбом.

Очень вы хорошо рассказываете, чаще такое бы слушать, оно и петь можно было бы лучше; ведь я в темноте выросла… и хорошо вы со мной говорите. Сейчас мужчины за мной, как слепни, увиваются, всем я нужна, а никому до меня дела нету. А вы до души внимательны и легко с вами. Может, зашли бы как-нибудь ко мне, очень буду рада еще поговорить с вами.

Таких близких отношений с аудиторией, как в Нижнем, у меня в других городах не создалось, да по

редкости моих выступлений в них и не могло создаться. По два раза я выезжал только в Астрахань и Царицын, читая каждый раз по 2-3 лекции. В остальных же городах я читал по одному

разу.

Народ на, лекции всегда собирался охотно, слушали во всех городах внимательно, читалось легко. Наиболее живо во мне впечатление от Астрахани. Поначалу ужасное, к концу приятное.

Приехал я в Астрахань под вечер. Снял номер в мрачноватой гостинице. Поужинав, я только что сел за просмотр своего конспекта, как ко мне постучался жирный, грязный швейцар и, нагло подмигнув, спросил, не привести ли мне «гимназисточку», есть «охочие». Получив отказ и не получив на чай за усердие, он вышел явно разочарованный и недовольный.

Встав на следующее утро довольно рано, я решил пойти осмотреть город и первым делом направился к гавани: грязь, толчея, крик, запах рыбы, керосина и всякой тухлятины; оборванные русские крючники, плосколицые, скуластые монголы (калмыки, киргизы, татары), шустрые черные евреи, потные нечесанные вихры, заломленные картузы, тюбетейки на бритых головах, китайские косы, ушастые шапки и котелки в муке, живописные восточные халаты, рубахи, пиджаки – во всем дикий, пестрый перевал из Европы в Азию, размашистая торговля и ужасающая нищета.

«Что мне делать и как тут читать?» – думал я, стоя перед громадною афишей, оповещавшей астра-ханцев о моей лекции.

За день мои сомнения, однако, рассеялись. По дороге к присяжному поверенному Сацу, брату известного композитора Московского Художественного театра, к которому был приглашен обедать, я убедился, что не все кварталы Астрахани этнографически столь пестры и живописны, как гавань. Так как Сац жил

недалеко от музея, в котором я должен был читать (центральное место было в нем отведено экспонатам по рыбоводчеству и рыболовству и городской библиотеке), я решил зайти и туда и сюда и хорошо сделал, так как меня там уже поджидали. Здесь Астрахань повернулась ко мне своею другою стороною. Музейный зал оказался весьма приличным помещением, библиотека – хорошо составленным идейным учреждением. Выходя из библиотеки, я уже знал, что в городе есть живая, интеллигентная публика и что лекции охотно посещаются не только служащими, но и передовыми рабочими Нобелевских котельных заводов.

Милая, радушная, многими нитями тесно связанная с Москвой семья Сацов подтвердила мне полученные в музее сведения. После славного обеда, начавшегося с пресной, крупной седой икры, которую здесь ели не чайными ложками, а десертными, я ушел в гостиницу и обласканным и обнадеженным.

Собравшаяся вечером в большом количестве публика вполне оправдала вызванные во мне надежды. В ней не было той социально-политической напряженности, того интеллигентского нерва, которые, в связи с борьбою короленковцев и горьковцев, определяли собою психологию нижегородской аудитории, но все же в ней чувствовалась живая тяга полуазиатской провинции к далекой Москве с ее концертами, театрами и лекциями.

Кто, собственно, устраивал астраханские лекции, я не знаю; помню только, что я все время был окружен семьею Сац, двумя рыбопромышленниками, из которых один был весьма православным, старозаветным русаком, а другой весьма светским, щегольски одетым красавцем-армянином и еще «пресным моряком», т. е. начальником водной дистанции, веселым человеком, типично русско-офицерской выправки, но балтийско-немецкого происхождения. Думаю, что эти

весьма разнотипные люди и были членами астраханского лекционного комитета. Если это предположение верно, то роли ясно распределялись следующим образом. Сац был идейным руководителем всего дела, рыбопромышленники – довольно прижимистыми финансистами, а начальник водной дистанции – прекрасным администратором, способности которого я оценил на веселом вечере, устроенном им после лекции.

Как всё в довоенной России, так и провинциально-лекционные организации были всюду разными, мало похожими друг на друга. Всё зависело от случайного подбора общественных работников, от характера местной полицейской власти, от наличия подходящего помещения и от целого ряда других, неуловимых причин.

В Царицыне могла бы развернуться настоящая работа, но что-то этому мешало. Уже почти достроенный Народный дом осиротело замер в лесах. Кто-то, помнится, мне его показывал, что-то мне о нем рассказывал, но так безучастно, что у меня в памяти ничего не осталось.

В Казани я читал в университетской аудитории; в, первом ряду сидели профессора: отец и сын Васильевы и молодой историк, фамилию которого я забыл. Было много студентов и курсисток – уровень аудитории был выше, чем в Нижнем, не говоря уже о других городах. Читая, я жалел, что не учел того, что Казань университетский город, в котором можно было бы читать глубже и строже, чем в других городах Поволжья. После лекции в Казани во мне снова усилилась мечта об университетской карьере. Философ Васильев, представитель «логистики» в философии, вскоре после моей лекции посетил меня в Москве и начал сотрудничать в «Логосе».

Прощаясь с Волгой, не могу, грешный человек, не вспомнить моих частых обедов на пристани: белые

пароходы, белые чайки, перламутровые стерляди с зеленой петрушкой во рту, желтые ломтики лимона, золотистый "Наиˆ-Баˆетев" в стакане, солнечные полуденные блики по всей шири реки – ах, как хорошо было! И не потому только, что у меня вся жизнь была впереди, а потому, что в жизни было меньше зла и безумия, чем теперь.

Очень отрадное впечатление осталось у меня от Пензы. На вокзале меня и мою мать, которая иногда ездила со мной, встретил весьма франтоватый гимназист восьмого класса. В легком крене фуражки, в белых замшевых перчатках в левой руке, в офицерском растопыре пальцев у козырька «головного убора» было нечто подчеркнуто военное. «Откуда это?» – подумал я, здороваясь со щеголем. Проводив нас в гостиницу, Николай Димитриевич Волков, впоследствии дельный театральный критик, автор интересной монографии о Мейерхольде и сценария «Анны Карениной», показ которой Московским Художественным театром на Всемирной Парижской выставке в 1937 году произвел на меня, несмотря на некоторые недостатки спектакля, громадное впечатление, – учтивейше пригласил нас отобедать у его родителей. Идя к Волковым, я думал, что попаду в какой-нибудь реакционно-чиновничий дом. Предположение это оказалось, однако, ошибочным. Недалекий путь от гостиницы к Волковым привел нас в типично интеллигентский дом зажиточного присяжного поверенного, где, кроме хозяев, нас уже ждали административно высланный экономист Громанн, занявший впоследствии крупный пост в Советской России, и философ Богданов, близкий немецким эмпириокри-тицистам, социал-демократ. Наружность Волкова-сына оказалась таким образом не наследственною, а скорее полемическою: протестом четкого юноши 20-го века против внешней и внутренней ватности людей 19-го века.

Уже первая лекция прошла с большим успехом. Отец Волков говорил, что на вторую придет больше народу и прием будет еще теплее. Он не ошибся. Аудитория психологически была ближе к нижегородской, чем к астраханской. Думаю, что если бы не война, у меня с пензяками сложились бы такие же сердечные отношения, как с нижегородцами.

В Пензу я приехал с моей матерью; страстно привязанная ко мне, она делала все, что могла, чтобы не только издали следить за моей жизнью, но, несмотря на то, что я был уже вторично женат, как можно интенсивнее участвовать в ней. Мысль, что я в качестве ученого и лектора все глубже врастаю в совершенно

незнакомый ей мир и знакомлюсь с большим количеством людей, остающихся ей неизвестными, была для нее непереносима. По ее мнению, она, родившая и вскормившая меня, главное же, взявшая против желания отца на свою личную ответственность отправку меня заграницу для изучения философии, имела неотъемлемое право стяжать вместе со мной «мои лавры».

Думая о Пензе, я с удовольствием вспоминаю свои беседы с горячим, остроумным и пленительным Громанном и мое утреннее посещение Богданова: его благородную, красивую голову и его мягкую и толерантную манеру спорить. Вспоминаю я, наконец, и чистенькую, кругленькую старушку в деревянном домике дикого цвета, у которой мы с матерью покупали знаменитые пензенские платки. Боже, каким миром веяло от ее маленькой комнатки со множеством темных, старых икон в углу и большим шкафом, доверху набитым белоснежными, пушистыми платками, – от ее живых глаз в добрых морщинках и быстрых пухлых рук, которыми она любовно развертывала перед нами свои изделия, цену которым она очень хорошо знала и цепко отстаивала.

Поездка в Николаев-Херсонский была моею первою поездкой на юг России. До поездки этот юг был для меня лишь отвлеченным географическим понятием. Живого представления об Украине, как об особом лице России, я не имел. Гоголь был для меня таким же русским писателем, как и. Тургенев. Ничего существенного в том, что один родился в Сорочинцах, а другой в Орле, я не видел. Ясно, что у каждого писателя своя родина – над чем же тут задумываться.

Особую украинскую атмосферу я впервые почувствовал в Харькове, куда заезжал, чтобы переговорить с Лезиным, предлагавшим мне сотрудничество в его журнале «Вопросы психологии и философии».

Когда же я, после многочасовой езды в затхлом, прокуренном вагоне, с грязными, сбитыми парусиновыми чехлами, вышел в Полтаве на тишайшую вечернюю прохладу и глубоко затянулся густым и благоуханным, как липовый мед, воздухом, я вдруг почувствовал, что въехал в мир гоголевской «Дикань-ки», в тот

Край, где нивы золотые Испещрены лазурью васильков, Среди степей – курган времен Батыя, Вдали стада пасущихся волов, Обозов скрип, ковры цветущей гречи И вы, чубы, остатки славной Сечи.

В третьем томе своей «Истории моего современника» Короленко рассказывает об одной «определяющей минуте жизни», пережитой им в северной России: «Когда он, студент, ушел, меня вдруг охватило какое-то особое ощущение глубокой нежности… ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей

этой северной, бедной природе с ее белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живою весеннею капелью, с замаенною душой ее необъятных просторов… Судьба моя сложилась так, что это захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута на моей

родине, Волыни, или на Украине, может быть, я почувствовал бы себя более украинцем».

Какое было бы счастье, если бы украинцы чаще переживали «определяющие минуты жизни» на севере России, а великороссы – на Украине. Без такого переселения душ, населяющим Россию народам никогда не устроиться на своей великой и обильной земле: ненависти всюду тесно.

Возможно такое «переселение душ» и без путешествий. Достаточно путешествий по далям русской литературы, не оставившей не воспетым ни одного медвежьего угла России.

В Воронеже я познакомился с замечательным стариком, который, годами сидя в своем стареньком, кожаном кресле, исколесил за книгой все «дали и веси» шестой части света. Проживал он в здании кадетского корпуса, но был не учителем, а чиновником военного ведомства. О том, что для этого одинокого человека значила книга, современный человек вряд ли может себе даже и представить. Для воронежского книголюба было ясно, что глубина и полнота жизни целиком заключается в литературе. Реальная же жизнь представляет собою только сырой материал и бледный отсвет творчества. Жить – значило для него читать и разговаривать о прочтенном. Боже, до чего же он был счастлив, когда мы сидели с ним в его казенной комнате и разговаривали о современных писателях и поэтах, из которых он особенно чтил Сологуба. В выпущенном впоследствии Сологубом томе «Письма современников» помещено и письмо этого словолюба.

Ясно, что такие читатели, а их было не мало в довоенной России, в некоторой степени порождались убогостью нашей общественной и политической жизни, как ею же порождался и изумительный театр. Но совсем еще неясно, какая жизнь более убога: та ли, что, будучи бедной большими политиче

сними событиями, богата творчеством, или та, что громоздя политические события, убивает искусство. Тезис Шпенглера, что главенство политики является типичным признаком вырождения культуры, как будто бы подтверждается происходящими на наших глазах событиями.

Думаю, что я был единственным московским лектором, который читал в Туркестане. Объясняется это тем, что мой отец одно время жил в Коканде: вводил там столовое хлопковое масло, которое вырабатывалось на принадлежавшей его родственнику

фабрике на Кавказе.

Гордый моими лекторскими успехами и очень скучавший по своим, он решил устроить мне ряд лекций в Туркестане. Оплату дороги он брал на себя, так что культурно-просветительным ячейкам Кокан-да и Ташкента осталось только заплатить мне небольшой гонорар. Читал я «О драмах Леонида Андреева» и «О смысле жизни». Публики было немного; охрипший в дороге, я читал с трудом, отец был несколько разочарован. В Ташкенте лекция не состоялась.

Как все колониальные города, Коканд распадался на старый, сартский, и на новый, европейский, город. В европейском даже и менее состоятельные дельцы жили на широкую ногу; в азиатском и богатеи, на европейский взгляд, без больших удобств.

Отец жил в небольшой, очень светлой, застланной коврами квартире в лучшей части европейского города. При нем в качестве повара и лакея состоял татарин Махмед, соединявший в себе все лучшие качества старорежимного денщика: он ухаживал за своим барином с трогательною преданностью, пронюхивая и добывая в городе все лучшее, что только можно было добыть. В саду, под развесистым деревом, он соорудил деревянную площадку с шатром, где очень страдавший от жары отец спал в особо жаркие ночи. Впоследствии, когда отец открыл но

вое дело в Москве, он привез с собою и своего верного Махмеда, который, однако, с матерью не ужился и, к величайшему прискорбию отца, решил вернуться на родину.

Старый Коканд представлял собою сплошной базар, прорезанный прикрытою от солнца брезентами и устланною перед некоторыми лавками прекрасными восточными коврами, темноватой улицей. Жизнь и торговля этого базара совершались у всех на глазах, так как, в отличие от Станиславского, боровшегося за «четвертую стену» в театре, сартские купцы и ремесленники прекрасно обходились без нее даже и в жизни. Лавочки и мастерские лепились одна рядом с другой, как открытые сцены, на которых в пестрых халатах и тюбетейках, не обращая ни малейшего внимания на уличную жизнь, занимались своими делами живописные сарты. Поначалу мне было очень странно проезжать старым городом. Казалось, что едешь не по улице, а по какому-то большому квартирному коридору.

Однажды я зашел побриться к сартскому парикмахеру. Натерев мне щеки каким-то едким порошком и побрив их с быстротою молнии, он, в завершение операции, внезапно схватил мою правую руку и с такою силою завел ее за спину, что я невольно подумал, как бы он мне ее не вывихнул; проделав то же самое с левой рукой, он дружески потрепал меня по плечам, что

очевидно означало, что все кончилось, как нельзя лучше, и что я должен быть им весьма доволен. Что означал этот неожиданный массаж, я до сих пор не знаю.

Хуже парикмахерской операции был обед у старого сарта, с которым отец вел какие-то дела. На этом обильном и чинном обеде мне пришлось впервые руками есть невероятно жирный, приторно-слащавый плов с большими кусками вонючего, курдючного сала. Впрочем, не могу жаловаться, так как за перенесенные

за обедом муки я был вознагражден подаренным мне шелковым халатом и тюбетейкою, которые впоследствии имели большей успех на маскараде в доме Маргариты Кирилловны Морозовой.

Уже по дороге в Коканд, стоя у открытого окна спального вагона и с удивлением смотря на молящихся восходящему солнцу сартов в белых халатах, с воздетыми к небу руками, на нагруженные пестрою кладью арбы, на очаровательных серых осликов у белой станционной стены, на вытянувшихся в караванную цепь верблюдов, мерно колыхавших вдали свои трудовые горбы, я чувствовал, до чего необъятна Россия, до чего разнообразна и живописна она и до чего мы ее в сущности мало знаем. За время почти что месячного пребывания в Туркестане моя зачарованность отнюдь не колониально-чужеродной, а какой-то своей, почвенной экзотикой России еще усилилась во мне.

Хотя я на Кавказе и не читал лекций, но, рассказывая о своих разъездах по России, никак не могу умолчать о нем, так как он произвел на меня очень сильное впечатление, гораздо большее, чем Швейцария. В Швейцарии, трудолюбиво возделанной умными человеческими руками, прорезанной по всем направлениям железными и шоссейными дорогами, пронизанной туннелями и тесно застроенной городами, деревнями, отдельными крестьянскими дворами, главным же образом, назойливыми гигантскими отелями, в которых «роскошные виды на вечные снега» расценивают как "comfort moderne" и повышают цены на комнаты, давно уже не чувствуется того Божьего Слова, о котором говорится в книге Бытия. Кавказ же в дикости своей природы, в первобытности своего населения еще таит живые следы Его созидающей мощи. Эта первозданность чувствуется и в его аулах – не то гнездах, не то норах – ив исполненных гордости и дикости орлиных взорах горцев, мед

ленно пробирающихся на своих сухих, горячих скакунах по каменистым тропам родных ущелий.

Поселились мы с женой в местечке Цеми (между Боржомом и Бакурьянами) в маленьком домике, который сдавал на лето

станционный сторож, похожий на Риголетто, сам с женой и детьми перебиравшийся в сарай. Всё лето стояла царственно прекрасная погода: бархатные синие ночи, густо рассыпанные по небу крупные, лучистые звезды, немолчный шум водопадов в покрытых дремучим лесом горах – все это было до того величественно, что было жалко идти спать. Утром же солнце заливало мир такою веселою, бодрящею радостью, что мы уже в шесть, семь часов покидали нашу, лишь слегка затемненную кисейными занавесками комнату.

Восход солнца на Цхра-Цхаро остался в памяти самым значительным изо всех когда-либо виденных мною явлений природы. Стоя в то незабвенное утро на лысой вершине горы и наблюдая, как ощупью пробивающееся из предмирной ночи солнце окрашивало серо-мглистые ползущие и клубящиеся туманы и облака в радужные цвета, а затем торжественно, возлагая свои пламена на снежные вершины горной цепи, пробуждало от сна мир, наполняя его все новыми и новыми формами, я испытывал непередаваемое словами чувство присутствия при сотворении мира.

Увидя у себя под ногами живописно расположенный у синестального озера аул, мы решили спуститься к нему; нам казалось, что до него будет не более пяти-шести верст. Идти пришлось, однако, около восьми часов. По пути нас чуть не разорвали громадные овчарки: спасибо пастуху, который послал подпаска проводить нас до аула. В ауле мальчонок свел нас к каким-то добрым людям. Разговаривать мы с ними не могли, но все же нам удалось объяснить им, что мы голодны и должны к вечеру вернуться в Цеми, или хотя бы в Бакурьяны. Нас радушно напоили

молоком, накормили хлебом и брынзой. После завтрака совсем еще не старая женщина, очевидно мать юной красавицы, прислуживавшей за столом, подвела нас к большим сундукам, в которых были аккуратно сложены женские наряды. Улыбаясь, кивая на дочь и вынимая одно платье за другим, все расшитые шелками и бусами, она очевидно хотела нас поразить богатым приданым дочери. Мы хвалили, как умели, улыбались, кланялись, словом всячески выражали свое удивление и восторг. Дочь смотрела на нас смущенным ласковым взглядом и, не участвуя в показе, медленно расчесывала свои прекрасные черные волосы.

Что это была за деревня, какого племени были обе женщины и почему они показывали нам свои богатства, я не знаю. Помню только, что деревня находилась на такой высоте, что в ней, как нам рассказал возница, который нас поздно вечером привез в Бакурьяны, не все знали, что представляет собою дерево.

Сказочность кавказской жизни проявлялась во всем: по утрам наша хозяйка с доисторическим глиняным кувшином круто спускалась к шумевшей неподалеку от нас горной речке, чтобы на весь день запастись водой, мы же шли за покупками.

Деревенский пекарь без рубахи, в одних шароварах, быстро скинув чувяки, ловко опускался головою вниз в своеобразную печку-цистерну, чтобы отодрать с ее раскаленных круглых стенок плоские чуреки, на вкус почти что московские калачи. Нагруженные теплым, душистым хлебом, густыми сливками, янтарным маслом, почти приторно ароматными дынями, нежнейшими, словно покрытыми лиловым лаком баклажанами и крупными яйцами, мы возвращались домой и садились пить чай на террасе.

Много гуляя, мы иной раз забирались в какие-то доисторические дебри, где поросший мохом вековой бурелом громоздился иной раз выше неохватных де

ревьев, придавая лесной глуши таинственный мифический характер. На закате мы часто любовались нашей соседкой, красавицей-грузинкой, которая, стоя, подобно античной богине в запряженной двумя волами ладье, медленно скользила по кругом разложенным золотым снопам пшеницы. По вечерам, когда живший по соседству скрипач, похожий на Шопена, играл на скрипке, к его балкону задумчиво подходил усталый от ярма громадный черный буйвол и, подняв кверху голову, внимательно слушал музыку своего поработителя – человека.

Так медленно и благостно катились наши кавказские дни. И вдруг все переменилось. Сидя как-то утром у себя на террасе, мы увидели двух направляющихся к нам молодых людей типично артистической наружности. Подойдя ближе, они с грацией сняли свои загнутые спереди a la Napoleon панамы, вынули изо рта американские трубки и, назвав свои фамилии, по очереди склонили свои головы над «ручкой» Наталии Николаевны, с тою особою, небрежно-требовательною почтительностью, что свойственна, кажется, только русским актерам.

Молодые люди оказались учениками петербургской театральной студии Озаровской. Приехав на Кавказ «без лишних денег в кармане», они решили подобрать «небольшую, но чистенькую труппу» и провести ряд спектаклей на кооперативных началах. Всю организационную работу они брали на себя, обещая в случае материальной неудачи, представлявшейся им абсолютно невозможной, покрытие дефицита без моего участия.

Встретив меня несколько дней тому назад на прогулке, они сразу же решили, что я или актер или «первоклассный любитель»: «человек с таким лицом не может быть чужд сцене». Ставили они

вещь, по их словам, «вполне серьезную», переводную драму Свэн Ланге «Самсон и Далила». Мне предлагалась

главная роль писателя Крумбаха, сильная и сложная, требующая тонкого психологического анализа и «нерва».

Сцена меня с юности волновала, свободного времени у меня было много, выучить роль в несколько дней мне тогда ничего не стоило; просмотрев интересную пьесу, я, не долго думая, согласился на предложение. Наташа ехала, конечно, с нами в качестве гримерши и суфлера.

Назначенная через несколько дней репетиция прошла удачно. Ученики Озаровской были вполне на высоте. Не бездарной оказалась и моя партнерша, бросившая сцену ради быстро бросившего ее мужа, молодая, преждевременно увядшая женщина с ласковыми, ланьими глазами в прочерненных туберкулезом орбитах. В гриме она молодела и становилась красавицей.

Ввиду того, что первый спектакль в Цагверах и второй в Бакурьянах прошли с аншлагом, мы решили показаться в «столичном» Боржоме, где был маленький, но довольно приличный театрик. Имя известной «сказительницы» Озаровской делало свое дело.

Спектакль и в Боржоме прошел весьма удачно. Зал был почти полон изысканной курортной публики. Нас вызывали много и дружно. Премьерше были преподнесены цветы.

Окрыленные успехом, мы решили сыграть еще и в Сураме. Приехав туда на рассвете, мы сразу же отправились в городской сад посмотреть театр и решить, можно ли будет в нем отдохнуть с дороги, или надо направляться в гостиницу.

Театр оказался запертым. Но на площадке перед ресторанной террасой сидела за столом, заставленным бутылками и стаканами, компания военных; среди них особенно запомнился мне моложавый, седоусый генерал, затянутый в щегольскую черкеску. Пе

ред кутившей, очевидно уже с вечера, компанией, стояло несколько пластунов танцоров: лихие папахи, широкие груди в патронах, перетянутые серебряными поясами осиные талии. Дробью рассыпалась зурна; монотонно и все же лихо неслись ритмы лезгинки. Танцоры, сильно накренившись вперед, с отброшенными назад, параллельно земле руками, с такою быстротою перебирали по земле ногами, что, казалось, они плавно несутся над ней. Круг, другой, потом прыжок легкий, мягкий, хищнически пружинный, и снова плавное скольжение: победа над тяжестью тела и притяжением земли.

Не помню, чтобы я когда-нибудь так наслаждался танцем, как в Сураме.

Конечно, мы тут же познакомились с офицерами и, по приглашению генерала, подсели к их столику. Его превосходительство был, очевидно, очень доволен: еще бы, молодые, интересные женщины, актеры, люди искусства, кто бы лучше нас мог понять его артистический восторг.

Когда пляска была окончена, генерал подозвал пластунов к столу, угостил вином и, вручив каждому по серебряному рублю, отпустил с миром.

Прощаясь с нами до вечера и с особою нежностью склоняясь седыми усами к руке нашей премьерши, генерал весело говорил:

– Посмотрим, чем-то вы нас обрадуете, уверен, что будет прекрасно и что сурамцы не посрамят Кавказа: покажут себя тонкими ценителями искусства.

Цветов на спектакле было много, господа офицеры постарались, но публики, принимавшей нас очень тепло, было меньше, чем на предыдущих спектаклях. Нас это не очень огорчало, так как все расходы были с избытком покрыты.

Выше, в связи с рассказом о Туркестане, я уже говорил о том новом ощущении России, которое он породил во мне; наше трехмесячное пребывание на

Кавказе окончательно закрепило это ощущение. Лишь набравшись воздуха наших экзотических окраин, я реально восчувствовал имперскую великодержавность России, которая до тех пор была для меня пустым звуком в громком титуле государя императора. Как это важно воочию увидеть: все не виданное своими глазами неизбежно остается и недопознанным для нашего ума. Не даром «теория» в исконном греческом смысле этого слова значит – созерцание.

Сейчас, когда явно колеблется, а многие думают, что уже и рушится великая Британская Империя, становится невольно страшно и за Россию. Сумеет ли она после падения большевистской власти столь мудро сочетать твердость государственной воли с вдумчивым отношением к духовным и бытовым особенностям ведомых ею народов, чтобы оказаться достойной владеть просторами, в которых не заходит солнце? Представить себе только: на севере – несутся запряженные оленями или лайками легкие саночки, на востоке – медлительно, но споро несут тяжелые клади переваливающиеся верблюды; на юге, в ярме работают черные буйволы. И все это не в колониях и доминионах, а лишь в разных частях единого материкового океана.

Какое счастье дышать такими далями. – «Мы русские – какой восторг» (Суворов) – но и какой соблазн!

Глава VII РОССИЯ НАКАНУНЕ 1914 ГОДА

По-настоящему описать «канунную» Москву, значит написать историю русской культуры. Зная, что всякая память субъективна, я все же верю в относительную объективность своих воспоминаний.

У Бориса Зайцева довоенная Москва – иконостас за синью ладана, у Андрея Белого – зверинец, «преподнесенный» в методе марксистского социологизма. Беловской, во всех отношениях несправедливой переоценки всех ценностей, нам, эмигрантам, опасаться не приходится, опаснее впасть в лирическую умиленность.

Ближе познакомился я с философскою и литературной) Москвою на заседаниях Религиозно-фило-
(юфскогсГ^ в до-
ме Марг^глпъ! Кирилловны Морозовой. Председательствовал обыкновенно по-гимназически остриженный бобриком, пунцоволицый, одутловатый, Григорий Алексеевич Рачинский, милый, талантливый барин-говорун, широко, но подилетантски начитанный «знаток» богословских и философских вопросов. Боязнь друзей, что «Рачинский будет бесконечно говорить», создала Григорию Алексеевичу славу незаменимого председателя: по заведенному обычаю, председателю полагалось лишь заключительное слово. Свое принципиально примирительное резюме Григорий Алексеевич всегда произносил с одинаковым подъемом, но не всегда с одинаковым талантом. Нередко он бы

вал по-настоящему блестящ, но иногда весьма неясен. Зависело это от состояния его нервной системы, которую он временами уезжал подкреплять в деревню. По обе стороны Рачинского, за длинным, покрытым зеленым сукном столом рассаживались члены президиума. До чего памятны их облики!

Вот крупный, громоздкий, простонародно-барственный князь Евгений Николаевич Трубецкой, уютный, медленный, с детскими глазами и мукой честной мысли на не слишком выразительном квадратном лице. Рядом с князем, незаметный на первый взгляд, Сергей Николаевич Булгаков, похожий, пока не засветилась в глазах мысль и не прорезалась скорбная складка на лбу, на земского врача или сельского учителя; несмотря на такую скромную внешность, выступления Булгакова отличаются самостоятельностью и глубиной ума. Думаю, что вклад этого

мыслителя, принявшего впоследствии священнический сан, в сокровищницу русской культуры окажется, в конце концов, более значительным, чем многое написанное его современниками. Но говорить о Цулгакове-богослове, об отце Сергии Булгакове – мимоходом нельзя. К тому же эта~тема выходит за пределы моего повествования. Значение Булгакова предвоенной эпохи заключалось, главным образом, в его эволюции от марксизма к идеализму и в попытке христианского пересмотра основ политической экономии. В 1910-м году вышли его «Философия хозяйства» ц^его перевод известного политико-экономического труда Зейпеля. Одновременно он писал и по вопросам" искусства. В его вышедшем в 1914-м году сборнике «Тихие думы» очень интересны две связанные друг с другом статьи: одна о «Бесах» Достоевского, другая о Пикассо. Связь между статьями – в мысли, что Пикассо изображает плоть природы так, как ее, вероятно, видел Ставрогин.

Особенно видною фигурою за зеленым столом яв

лялся философский спутник Булгакова^ Бердяев. СЩд начали с марксизма, оба эволюционировали к ле^ди-зму и вот оба горячо^ защищают славянофильскую идею христианской культуры, – строят, каждый по-своему, на Хомякове, Достоевском и Соловьеве русскую христианскую философию. По внешности, темпераменту и стилю Бердяев – полная противоположность Булгакову. Он не только красив, но и на редкость декоративен. Минутами, когда его благородная голова перестает подергиваться (Бердяев страдает нервным тиком), и успокоенное лицо отходит в тишину и даль духовного созерцания, он невольно напоминает колористически страстные и всё же духовно утонченные портреты Тициана. В горячих глазах Николая Александровича с золотою иронической искрой, в его темных, волнистых почти что до плеч волосах, во всей природе его нарядности есть нечто романское. По внешности он скорее европейский аристократ, чем русский барин. Его предков легче представить себе рыцарями, гордо выезжающими из ворот средневекового замка, чем боярами, согбенно переступающими порог низких палат. У Бердяева прекрасные руки, он любит перчатки – быть может в память того бранного значения, которое брошенная перчатка имела в феодальные времена.

Темперамент у Бердяева боевой. Все статьи его и даже книги – атаки. Он и с Богом разговаривает так, как будто атакует Его в небесной крепости.

Подобно Чаадаеву, писавшему, что он почел бы себя безумным, если бы у него в голове оказалось больше одной мысли, – Бердяев определенный однодум. Единая мысль, которою

он мучился уже в довоенной Москве и которою будет мучиться и на смертном одре, это мысль о свободе1). Многократно меняя свои теоретические точки зрения и свои оценки, Бердяев ни-

*) Книга писалась еще до войны. Бердяев умер в 1948 году.

когда не изменял ни своей теме, ни своему пафосу: как марксист, он защищал экономическое и социальное раскрепощение масс, как идеалист – свободу духовного творчества от экономических баз и идеологических тенденций, как христианин он с каждым годом все страстнее защищает свободное сотрудничество человека с Богом и с недопустимою подчас запальчивостью, борется против авторитарных посягательств духовенства на свободу профетически-философского духа в христианстве. На исходе средневековья Н. А. Бердяев, несмотря на свое христианство, мог бы кончить свою жизнь и на костре.

В президиум Религиозно-философского обшест-ваˆходмˆ-РШШ.ˆумерˆ Владимир Францевич?Эрн. Непримиримый враг немецкого идеализма и в частности неокантианства, Эрн сразу же после выхода в свет первого номера «Логоса» гневно обрушился на нас объемистою книгою1"?юд названием «Борьба за Логос». В этой книге, как и в своих постоянных устных и печатных полемически-критических выступлениях против нас, логосовцев, Эрн упорно проводил мысль, что апологеты научной философии, оторванные от антично-христианской традиции, мы не имеем права тревожить освященный евангелием термин, еще не потерявший своего смысла для православного человека.

Думаю, что в своей полемике Эрн был во многих отношениях прав, хотя и несколько легковесен. В его живом, горячем и искреннем уме была какая-то досадная приблизительность.

В кресле, вблизи зеленого стола, а иногда и в первом ряду среди публики, обыкновенно сидела хозяйка дома и издательница «Пути», княгиня Елагина 20-го века., Маргарита Кирилловна Морозова. Не могу сказать, чтобы я оченьГ"близко""знал"! Маргариту Кирилловну, и все же память о ней с годами все крепнет в душе. Может быть, потому, что, вспоминая свое

последнее перед высылкой из России посещение этой замечательной женщины, не пожелавшей эмигрировать, я невольно чувствую, что в советской Москве пока еще жива и моя Москва.

Несколько лет тому назад я, не подозревая, что младшая дочь Маргариты Кирилловны живет с мужем в Берлине, заметил ее в числе своих слушателей на докладе о театрах Москвы. На следующий же день я зашел к ней. На стене просторной комнаты – портрет работы Тропинина. На концертном рояле – Пастер-

наковский набросок дирижирующего Никиша, за спиной дирижера колонны и антресоли Благородного собрания, нынешнего Дома советов. Рядом с ним фотография Скрябина (хорошо знакомое по эстраде тонкое, нервное лицо) и еще несколько своих московских вещей, – сиротствующих в Берлине мигов прошлого.

Пьем чай, разговариваем обо всем сразу: Мария Михайловна, лицом и манерами очень напоминающая мать, говорит больше вздохами, восклицаниями, отрывочными вопросительными фразами, радостными кивками головы: «ну, конечно… мы с вами знаем…» Вспоминаем нашу Москву. В Марии Михайловне, слава Богу, нет и тени злостной эмигрантщины. Она и в советской Москве чувствует хоть и грешную, но все же вечную Россию. После чая она садится за рояль и долго играет Скрябина, Медтнера, Калинникова. В моей душе поднимается мучительная тоска. Странно, тоска – голод, а все же она насыщает душу.

В Москве шли споры о серьезности духовных исканий Маргариты Кирилловны, о ее уме и о том, понимает ли она сложные прения за своим зеленым столом. Допускаю, что она не все понимала (без специальной философской подготовки и умнейшему человеку нельзя было понять доклада Яковенко «Об имманентном трансцендентизме, трансцендентном им

манентизме и дуализме вообще»), но уверен, что она понимала всех.

Издательница славянофильски ? православного «Пути», она с сочувственным вниманием относилась и к нам, логосовцам. Помню, как мне удалось вызвать в ней симпатию к нашим замыслам указанием на то, что мы отнюдь не отрицаем ни Бога, ни Христа, ни православия, ни русской традиции в философии, а требуем только того, чтобы философы перестали философствовать одним «нутром», чтобы они поняли, что нутряной "style russe", отмененный Станиславским на сцене, должен исчезнуть и в философии, так как философствовать без знания современной техники мышления – нельзя.

Связав, так думается мне, мои мысли с не раз слышанными ею аналогичными мнениями Белого, которого она очень ценила, и других новаторов символистов, она вполне примирилась и с нами. Между «путейцами» и «логосовцами» вскоре установились прекрасные отношения. Не знаю в точности, но думаю, что Маргарита Кирилловна, многое объединяя в себе, не раз мирила друг с другом и личных и идейных врагов.

Одно время большую роль в Соловьевском обществе, открытые заседания которого происходили не у Маргариты Кирилловны, а в больших городских аудиториях, играл

вдохновенный оратор, ныне всеми забытый Валентин Свентицкий.

1ˆи_.Свентицкого носили не только проповеднический, но и пророчески-обличительный характер. В них было и исповедническое биение себя в перси и волевой, почти гипнотический нажим на слушателей. Женщины, причем не только фетишистки дискуссионной эстрады, которых в Москве было не мало, но и вполне серьезные девушки, сходили по Свентицкому с ума. Они его и погубили. Со слов Рачинского знаю, что до президиума Соловьевского общества дошли

слухи, будто бы на дому у Свентицкого происходят какие-то, чуть ли не хлыстовские исповеди-радения. Было назначено расследование и было постановлено исключить Свентицкого из членов общества.

Был ли он на самом деле предшественником Распутина, или нет, занимался ли он соборным духоблу-дием, или вокруг него лишь сплелась темная легенда, которая сделала невозможным его членство в обществе, я в точности не знаю. После исключения Свентицкого из Религиозно-философского общества я потерял его из виду. Прочтенная мною впоследствии его повесть «Антихрист» произвела на меня впечатление не только очень интересной, но и очень искренней вещи. Драма «Пастор Реллинг», написанная позднее, показалась мне вещью гораздо более слабой и искусственной, но все же отмеченной своеобразным талантом.

Одним из самых блестящих дискуссионных ораторов среди московских философов был Борис Петрович Вышеславцев, приват-доцент Московского университета, живший в Париже и работавший в секретариате женевской Экуменической лиги.

Юрист и философ по образованию, артист-эпикуреец по утонченному чувству жизни и один из тех широких европейцев, что рождались и вырастали только в России, Борис Петрович развивал свою философскую мысль с тем радостным ощущением ее самодовлеющей жизни, с тем смакованием логических деталей, которые свойственны скорее латинскому, чем русскому уму. Говоря, он держал свою мысль, словно некий диалектический цветок, в высоко поднятой руке и, сбрасывая лепесток за лепестком, тезис за антитезисом, то и дело в восторге восклицал: «поймите… оцените…»

Широкая московская публика недостаточно ценила Вышеславцева. Горячая и жадная до истины, отзывчивая на проповедь и обличение, она была мало

чутка к диалектическому искусству Платона, на котором был воспитан Вышеславцев. Среди большой публики у нас были весьма серьезные знатоки и ценители самых разнообразных

явлений культуры от Апокалипсиса до балета, но серьезных знатоков философии было немного даже среди профессиональных философов; вероятно, это объясняется сравнительно невысоким уровнем русской научной философии. Ни Пушкина, ни Толстого, ни Тютчева, ни Мусоргского среди русских философов нет.

Не помню ни одного заседания в Москве, на котором не выступал бы Андрей Белый. Все выступления этого злосчастного почти гения, о котором речь еще впереди, раскрывали перед слушателями древне-библейский ландшафт: «земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою», и тем неизбежно хаотизировали всякую дискуссию.

Морозовский особняк в Мертвом переулке, строгий и простой, перестроенный талантливым Желтов-ским, считавшим последним великим архитектором Палладио, был по своему внутреннему убранству редким образцом хорошего вкуса. Мягкие тона мебельной обивки, карельская береза гостиной, продолговатая столовая, по-музейному завешанная старинными иконами, несколько полотен Врубеля и ряд других картин известных русских и иностранных мастеров, прекрасная бронза "етр1ге", изобилие цветов – все это сообщало вечерам, на которые собиралось иной раз до ста человек, совершенно особую атмосферу красоты, духовности, тишины и того благополучия, которое невольно заставляло забывать революционную угрозу 1905-го года.

Вспоминая и не без волнения описывая предвоенную Москву, Религиозно-философское общество, мо-розовские вечера, лекции и прения в редакциях и из

дательствах, я невольно спрашиваю себя: не преувеличиваю ли я значение нашей канунной культуры.

Германия до 1933?го года была полна всевозможных религиозных, философских, художественных и политических кружков. В каждом, более или менее значительном городе были общества имени Канта, Шопенгауэра, Фихте, Гёте, Шиллера, Клейста, Моцарта, Вагнера и т. д., и т. д. За годы эмиграции я прочел в этих обществах более трехсот докладов. Некоторые из этих обществ, как например: «Пан Европа» графа Куденгоф-Калерги, или «Культурбунд» принца Рогана, имели свои отделения почти во всех европейских странах. Читал я много и в венских и берлинских литературных салонах, где собирались образованнейшие и умнейшие люди. Конечно, можно усомниться, не являет ли описанная мною московская жизнь на фоне европейской культуры скорее образ духовной скудости, чем богатства? Мой ответ, да простят мне его мои европейские,

главным образом, мои немецкие друзья, вполне определенен: отнюдь нет. Конечно, русская культурная жизнь была менее разветвленной, чем европейская, но мне кажется, что она в некотором смысле была духовно более напряженной.

Идя по стопам очень своеобразного и глубокого датского богослова Киркегаарда, немецкая философия 20?века создала весьма существенное и распространенное ныне понятие «экзистенциальной» философии, наиболее значительными представителями которой являются Гейдеггер и Ясперс.

Сущность положительной экзистенциальной философии заключается, говоря по необходимости весьма упрощенно, в обновлении старого убеждения, что полнота истины открывается человеку не как отвлеченно мыслящему субъекту, а как целостно, т. е. религиозно живущему существу. Ясперс так и формулирует: «То, что мы в мифических терминах называ

ем душою и Богом, именуется на философском языке экзистенциальностью и трансцендентностью».

Сравнительно позднее окрепшая на западе в борьбе с идеалистическою метафизикой, экзистенциальная философия была в России искони единственною формою серьезного философствования. Если отвлечься от некоторых, в общем мало оригинальных явлений университетского философствования, то можно будет сказать, что для русского мыслителя, как и для русского человека вообще, философствовать всегда значило по правде и справедливости устраивать жизнь, нудиться Царствием Небесным, что и придавало всем философским прениям тот серьезный, существенный и духовно напряженный характер, которого мне часто не хватало в умственной жизни Западной Европы.

Была и еще одна, не менее важная причина серьезности и напряженности русской духовной жизни. Она заключалась в том общем уважении, которым наука, искусство и даже театр пользовались в русском образованном обществе, в особенности в кругах молодежи. Упорство, с которым дочери московской и петербургской знати (смотри «Записки революционера» Крапоткина), а впоследствии и «кухаркины дети» пробивали себе путь к высшему образованию, носило характер подлинного героизма. В своих воспоминаниях («Из моей жизни за 40 лет») Тейт-лин сообщает, что, согласно Талмуду, неуч, «ам-гоо-рец», не может попасть в Царствие Небесное. Наша молодежь рвалась к свету знания с такою силою, как будто ей было известно это учение.

Правда, попав в университет, в долгожданное царствие небесное, левые русские студенты зачастую уже на втором курсе

переселялись в тюрьмы. Измены избранному пути в этом переселении, однако, не было, так как они понимали науку не профессионально, не как методику и технику обособленных сфер знания, а экзистенциально, сущностно, как высшую духовную

жизнь, как разрешение «роковых вопросов», – как практику истины.

О теневых сторонах интеллигентской и студенческой революционности я уже говорил и буду говорить еще много. Не надо, однако, забывать и о светлых: об одержимости всей русской интеллигенции платоновской верою, что политику должны делать философы. Низвержение монархии, которым заключилась Великая война, было не чем иным, как победою революционного университета над реакционными министерствами. Тем, что плоды этой победы, несмотря на участие в Февральской революции всех слоев общества, в конце концов достались вождям лево-интеллигентской кружковщины, объясняется как грандиозный размах русской революции, так и все несчастье русского народа. Окажись в победителях армия и земство, мы имели бы совершенно другую картину; быть может, менее значительную, но зато и бесконечно более отрадную.

Превратившись в последние годы своей жизни, если и не в большевика-коммуниста, то все же в ин-теллигента-коммуноида, А. Белый весьма односторонне изобразил начало века, как эпоху разложения феодально-буржуазного общества. Конечно, не все было благополучно в нашей старой жизни, но все же нет сомнения, что наряду с разложением в ней шли и очень существенные, созидательные процессы. Впоследствии, когда предвоенная эпоха будет тщательно изучена, с ясностью вскроется, что среди цветущих в январе ландышей морозовского особняка, а так же и в редакциях «Мусагета», «Весов», «Пути» и «Софии» совершалась большая культурная работа. Основными темами этой духовной эволюции были:

возвращение русской интеллигенции в церковь,

протест возвращающихся против реакционно-синодального клерикализма, 3) восстание нового символического искусства против тенденциозности и при

митивного натурализма в литературе и живописи, 4) борьба студенчества и университетской доцентуры против кумовства и обывательщины опускающейся профессуры. (Тема, особенно тщательно разработанная Белым в первом томе его воспоминаний).

Многомотивный рисунок этой духовной революции осложнялся тем, что два первых течения, будучи в религиозно-философской плоскости возрождением славянофильства, по-

западнически призывали христиан к активному участию в политической жизни, доходя в лице Мережковского до требования христианизации революции; писатели же, поэты и художники новой западно-европейской формации, именовавшиеся в просторечии «декадентами», со страстью защищали автономию искусства и требовали деполити-зации духовной культуры. Эта разнонаправленность религиозно-философского и научно-художественного сознаний отнюдь не нарушала, однако, единства нового культурного фронта, начавшего слагаться после 1905-го года. Их единство держалось борьбой за свободу личности и свободу творчества, за новую, если и не подлинно христианскую, то все же, так сказать, духоверческую культуру. В религиозно-философском обществе видные философы боролись против сво-бодоненавистничества победоносцевской традиции, в молодых же редакциях представители символизма свергали властную диктатуру натуралистически-публицистического творчества, от которого и в 20-м веке попахивало писаревским «разрушением эстетики».

Трудность борьбы с косными московскими традициями я лично впервые почувствовал в разговоре с Лопатиным о магистерском экзамене. Тем же духом, вернее бытовым укладом, повеяло на меня и на первом же заседании Психологического общества в знаменитой круглой аудитории Московского университета. Доклады читались здесь все больше людьми испытанной академической традиции. В прениях обыч

но первым выступал сам Лев Михайлович Лопатин. Тряся желтою от табака бородой, он давал всегда умный, всегда интересный, но далеко не всегда внимательный к чужому мнению разбор доклада. Несчастьем были иные выступления популярного Челпано-ва, дельного профессора, но мало талантливого мыслителя. Относительно хорошо владея своими старыми мыслями, он решительно не понимал чужих и новых.

Враждебен всяким заграничным новшествам был и профессор права Вениамин Михайлович Хвостов, о котором поэт и юморист Эллис (Лев Львович Ко-былинский) вполне серьезно рассказывал, будто бы он исчислял прочитанную им научную литературу по аршинам. Возвращаясь с дачи, он торжественно объявлял: «А я, знаете ли, за дождливое лето три с половиною аршина прочел, славно поработал».

Когда в прениях выступала философская молодежь, старики смотрели на нее весьма снисходительно, когда же взрывался Белый, они переглядывались с явным сожалением: «Каким гениальным ученым был его отец, а вот что из сына вышло». Белый, как обо всем, так и о духе Московского университета

писал, конечно, весьма гиперболически, тем не менее в его описании много верного. В политическом отношении Московский университет был много левее, чем в чисто научном. До некоторой степени и он платил дань общеинтеллигентскому стилю русской культуры, в которой политическая прогрессивность часто сочеталась с культурной отсталостью. Всем сказанным в значительной мере объясняется и тот факт, почему наш строго-научный философский журнал «Логос» был радушно встречен лишь группою московских символистов, объединенных Эмилием Карловичем Медтне-ром вокруг организованного им издательства «Муса-гет».

Затевая издательство, Эмилий Карлович думал не столько о себе, сколько о своем «гениальном» друге,

Андрее Белом, революционному дарованию которого было трудно развертываться в рамках старотипных издательств. Одновременно Медтнера увлекала, конечно, и мысль о сближении русской и немецкой культур. Поклонник символического искусства Гёте и Вагнера и сам теоретик символизма, Медтнер в глубине своей души вероятно верил, что ему удастся направить гениального, но сумбурного Белого по этому пути. Некоторое основание для такой надежды у него было: под влиянием своего старшего друга, Белый уже в 1918-м году писал, что «символизм германской расы приносит в мир новое зрение и новый слух». Цитируя эти строки в 1930-м году, Медтнер подчеркивает, что близкое ему «русское символическое движение не надо смешивать с французским символизмом, так как, выросшее из русской поэтической традиции (Тютчев), оно осознает себя в поэтической символике Гёте».

Лишь учитывая все эти обстоятельства, можно понять, какой страшный удар нанес Белый Медтнеру своим внешне как будто бы логическим, но внутренне несправедливым и запальчивым ответом на его, Медтнера, размышления о Гёте. (Андрей Белый: «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности». Ответ Эмилию Медтнеру на его первый том размышлений о Гёте).

Разбирать сложный спор между Медтнером и Белым здесь так же неуместно, как не место вскрывать его частично личные причины. По существу вопроса еще много будут писать антропософы; о его психологических предпосылках – будущие биографы Белого и Медтнера. Думаю, что эти биографы, если они будут беспристрастны, выяснят, что в трагическом расхождении друзей, о котором Медтнер накануне своей смерти в Дрездене не мог говорить без непереносимой муки, был главным образом виноват Белый. Но вопрос вины не подлежит рассмотрению. В

связи с основной темой моих воспоминаний ссора Медтнера

и Белого интересует меня исключительно с точки зрения разноструктурности их сознаний и их бессознательностей. Медтнер и думал и жил в категории исторической преемственности, был, если не в политическом, то в культурном смысле, человеком «алтаря и трона». Белый же витал над историей. Его пророческое сознание жило космическими взрывами и вихрями. Медтнер, как теоретик искусства и культуры, всю жизнь страстно защищал музыкальный традиционализм своего брата, не приемля Скрябина последней эпохи. Творчество Белого – сплошной экстаз прометеевского посягательства на догматы и каноны культурно-исторического сознания. Ясно, что при столь противоположных ощущениях и убеждениях Медтнер мог быть лишь временным руководителем начинающего Белого, но не его творческим собратом и попутчиком. Вера в возможность общего пути и совместной работы была потому лишь заблуждением их субъективных сознаний. В плане объективного духа они были рождены для борьбы и даже для вражды. Вдумываясь в конфликт Медтнера с Белым и стараясь выяснить себе, почему Медтнер, на смерть раненный изменой друга, не осилил ответа на нападение и замолчал, невольно приходишь к мысли о глубоком символическом значении горькой Медтнеровской растерянности: ведь и консервативная Европа до сих пор не нашла ответа на большевистскую революцию.

Редакция «Мусагета», обставленная просто, но со вкусом, помещалась во втором этаже небольшого, кирпичного флигелька, как раз против памятника Гоголя. В особо памятную мне зиму 1911-12-го года Эмилий Карлович жил на даче и приезжал в Москву раза два в неделю. Быстро сбросив в передней свою нарядную шубу с громадным скунсовым воротником и обшлагами, он, овеянный бодрым деревенским воз

духом и исполненный своих уединенных дум о Гёте, Вагнере и Ницше, стремительно влетал в небольшой оливкового цвета кабинет и, потирая красные от мороза руки, деловито опускался в свое редакторское кресло под большим портретом Гёте.

В ту же минуту в соседней комнате из-за своего новенького письменного стола вставал заведующий издательством Александр Мелентьевич Кожебаткин и с портфелем, туго набитым рукописями, корректурами и образцами бумаг, сутуло и хмуро направлялся к редактору. Начиналось горячее, но не очень профессиональное обсуждение дел, во время которого Кожебаткин, талантливый делец «себе на уме», успешно притворявшийся тонким ценителем современной поэзии и старинной мебели, ловко втирал очки великолепному Медтнеру.

Я не знаю, какую сумму истратил «Мусагет» за три или четыре года своего существования, но уверен, что по сравнению с тем, что он сделал, – огромную. И это не мудрено, так как дело велось, в конце концов, не Медтнером и даже не Кожебаткиным, а совсем уже неопытным в издательских делах кружком молодых поэтов, писателей и философов, который из вечера в вечер чаевничал в «Салоне» редакции за большим круглым столом, под портретами Пушкина и Тютчева.

На этих вечерах и разрабатывалась программа издательства, исключительная по своему культурному уровню, но и исключительная по своей бюджетной нежизнеспособности.

Студент Нилендер, восторженный юноша, со священным трепетом трудился над переводом гимнов Орфея и фрагментов Гераклита Эфесского. Маститый Вячеслав Иванов готовил большую книгу об «Эллинской религии страдающего бога» и попутно перелагал на русский язык «Гимны ночи» Новалиса. Застенчивый, как девушка, очаровательно заикаю

щийся Алексей Сергеевич Петровский, служивший в библиотеке Румянцевского музея, самоотверженно переводил «Аврору» Якова Бёме; медленный долговязый Сизов, студент-филолог с красивыми пристальными глазами, – «Одеяние духовного брака» Рейсбрука; Маргарита Васильевна Волошина-Сабашникова – Мейстера Эккехардта; Николай Петрович Киселев, ученый книголюб, «любитель фабул, знаток, быть может, инкунабул», кропотливо трудился над переводом и комментариями провансальских лириков XII и XIII веков.

Наряду с этой ученой переводческой работой в «Мусагете» сразу же началась теоретическая разработка эстетических и историософских вопросов. Как бы в качестве манифеста нового искусства вышел «Символизм» Андрея Белого – книга вулканическая, в некоторых отношениях гениальная, богатая идеями и прозрениями, но, за исключением статей о ритме, невнятная и в деталях неточная. Вскоре после «Символизма» появились «Арабески» и «Луг зеленый» того же Белого, сборники импрессионистических статей и литературных портретов.

Вопросы музыкальной эстетики разрабатывал, как я уже отмечал, Медтнер. Седой «юноша» Рачин-ский, чаще других забегавший в «Мусагет» поболтать и попить чайку, редактировал перевод известной книги скульптора Гильдебранда «Проблема формы в изобразительном искусстве». Бодлерианец Эллис, чистопородный "bohemien" и благороднейший скандалист, носивший по бедности под своим изящным сюртуком одну только манишку, раскрывал "credo" своего символизма в книге, посвященной характеристике его главных вождей – Бальмонта,

Брюсова и Белого, и в сборнике стихов "Stigmata". И статьи и стихи Эллиса были, конечно, талантливы, но не первоздан-ны. Настоящий талант этого странного человека, с красивым мефистофельским лицом, в котором тон

кие, иронические губы «духа зла» были весьма негармонично заменены полными красными губами вампира, заключался в ином. Лев Львович был совершенно гениальным актером-имитатором. Его живые портреты не были скучно натуралистическими подражаниями. Остроумнейшие шаржи в большинстве случаев не только разоблачали, но и казнили имитируемых людей. Эллис мусагетского периода был прозорливейшим тайновидцем и исступленнейшим ненавистником духа благообразно-буржуазной пошлости. Крепче всего доставалось от Эллиса наиболее известным представителям академического и либерально-политического Олимпа. Верхом остроумия были те речи, которые Эллис вкладывал в уста своих жертв, заставляя их зло издеваться над самими собою. Печатался в «Мусагете» и Сергей Михайлович Соловьев, племянник знаменитого философа, принявший впоследствии сан священника.

Кроме почти ежедневных сборищ основного ядра сотрудников, в «Мусагете» устраивались и открытые вечера, на которые собиралось человек до пятидесяти, а может быть и больше. «Сквозною темою» всех этих вечеров был «кризис культуры».

В таких торжественных случаях редакционный слуга Дмитрий, человек душевный, но суровый, напоминавший сверхсрочного фельдфебеля, встречал гостей с особой важностью и, разнося стаканы с крепким чаем и бисквитами, надевал даже белые нитяные перчатки.

Не только описать, но даже перечислить всех людей, с которыми приходилось встречаться на вечерах в «Мусагете», невозможно. Кроме уже упомянутых вождей и ближайших сотрудников молодого издательства, на вечерах его постоянно бывали: Михаил Осипович Гершензон, маленький, коренастый, скромно одетый человек клокочущего темперамента, но ровного, светлого, на Пушкине окрепшего духа; смолоду

«мудрый как змий» Ходасевич, человек без песни в душе и все же поэт Божьей милостью, которому за его святую преданность русской литературе простятся многие прегрешения; Борис Садовской (не дай Бог было назвать его Садовским – ценил свое дворянство), талантливый автор стихов о самоваре и сборника тщательно сделанных литературных статей «Ка-мена», очень изящный, лет на 80 запоздавший рождением человек, – с бритым

лицом, безволосым черепом и старомодно-торжественным сюртуком, живо напоминавший Чаадаева; два страстных русских итало-фила Муратов и Грифцов; армянская поэтесса Мариэтта Шагинян, дебютировавшая сборником стихов под заглавием "Опеп1аИа".

Вспоминая писателей, посещавших мусагетские собрания, не могу не остановиться подробнее на Марине Цветаевой, выпустившей в 1912-м году, при содействии Кожебаткина, вторую книжечку своих стихов под названием «Волшебный фонарь».

Познакомился я с Цветаевой ближе, т. е. впервые по-настоящему разговорился с нею, в подмосковном имении Ильинском, где она проводила лето. Как сейчас вижу идущую рядом со мной пыльным проселком почти еще девочку с землисто-бледным лицом под желтоватою чолкою и тусклыми, слюдяными глазами, в которых временами вспыхивают зеленые огни. Одета Марина кокетливо, но неряшливо: на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы, или так просто – красота, которую приятно иметь перед глазами. Говорим о романтической поэзии, о Гёте, мадам де-Сталь, Гёльдерлине, Новалисе и Беттине фон-Арним. Я слушаю и не знаю, чему больше дивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исклю

чительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости.

Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное; некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гёте, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево. Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и мало приятным законам.

Осенью 1921-го года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она вероятно и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни, о трудностях как-нибудь прокормить своих

двух дочерей. Мне было страшно слушать ее, но ей было не странно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. «О, с Пушкиным ничто не страшно». Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры.

Даже и зимой, несмотря на голод и холод, она ночи напролет читала и писала стихи. О тех условиях, в которых Цветаева писала, я знал от ее belle soeur. В мансарде 5 градусов Реомюра (маленькая печурка, так называемая «буржуйка», топится не дровами, а всяким мусором, иной раз и старыми руко

писями). Марина, накинув рваную леопардовую шубенку, сидит с ногами на диване; в черной от сажи руке какая-нибудь заветная книжка, страницы которой еле освещены дрожащим светом ночника:

O, Begeisterung, so finden Wir in dir ein selig Grab. Tief in deine Wogen schwinden Still frohlockend wir hinab.2)

Ныне во всем мире и в особенности в Советском Союзе выше всего превозносят «героев труда». К счастью для России, в ней никогда, даже и в самый страшный период большевизма, не переставали трудиться герои творчества. Среди них одно из первых мест принадлежит Марине Цветаевой, вывезшей из Советской России свой сборник «Ремесло». Путь, пройденный Цветаевой, как поэтом, еще никем не измерен и никем по достоинству не оценен. В будущем по ее творческому пути будут изучать не только эволюцию русской поэтики и поэзию русской революции, но так же и социологию парижской эмиграции. Боже, до чего горьки, горды, до чего глубоки, как по своему метрическому, так и по своему метафизическому дыханию последние стихи Цветаевой, напечатанные в «Современных записках»:

Остолбеневши, как бревно,
Оставшееся от аллеи,
Мне все равны, мне все равно
И, может быть, всего равнее
Роднее бывшее всего.
О, вдохновение
В тебе мы находим блаженство могилы;
В волнах твоих утопаем глубоко,
Тихо ликуя.
Все признаки с меня, все меты,
Все даты – как рукой сняло.
Душа, родившаяся – где-то.

Так край меня не уберег
Мой, что и самый зоркий сыщик
Вдоль всей души, всей – поперек,
Родимого пятна не сыщет.
Всяк храм мне пуст,
Всяк дом мне чужд,
И все – равно, и все – едино.
Но если по дороге куст
Встает, особенно рябина…

Да, рябина… Возвращаясь сегодня утром к себе домой рябиновой аллеей (к счастью, есть и в Дрездене такая близкая душе, горькая своей осенней красотою аллея), я с нежностью вспомнил дореволюционную Россию: до чего же она была богата по особому заказу скроенными и сшитыми людьми. Что ни человек – то модель. Ни намека на стандартизованного человека западноевропейской цивилизации. И это в стране монархического деспотизма, подавлявшего свободу личности и сотнями бросавшего молодежь в тюрьмы и ссылки.

Какая в этом отношении громадная разница между царизмом и большевизмом, этой первою в новейшей истории фабрикой единообразных человеков. Очевидно государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и о новом человечестве. При всем своем деспотизме, царская Россия духовно никого не воспитывала и в духовно-культурной сфере никому ничего не приказывала. Эта роль была ей и не под силу. Отдельные анекдоты не в счет. В качестве такого, ныне уже милого анекдота, вспоминается мне лекция Андрея Белого об Египте. Как только Белый, говоря о пирамидах и фараонах, назвал Рамзеса Второго, присутствовавший представитель власти встал и внушительно попросил имени фараона не называть. Фараон все-таки царь, это он, вероятно, помнил из курса Закона

Божия, а Рамзес Второй, быть может, только псевдоним Николая Второго: кто его знает – лектора говорят темно и увертливо.

Самой яркой фигурою в редакции «Мусагета» был, бесспорно, Андрей Белый. Особенно озлобленные недоброжелатели Бориса Николаевича часто называли его паяцем: «все?де в нем нарочито, руки попросту не подает, на кафедре дергается, как Петрушка». Простоты в Белом, правда, не было, но не было в нем и нарочитости: он был скорее юродивым, чем позером.

В описываемые годы московской жизни Белый с одинаковой страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Помню его не только на заседаниях Религиозно-философского или Психологического обществ, не только у Морозовой и в «Мусагете», но также на уютных вечерних беседах у Гершензона, в редакции «Скорпиона», на концертах Олениной д'Аль-гейм, в гостиной Астрова, где, сильно забирая влево, он страстно спорил с «Кадетами» и земцами, на антропософских вечерах у Харитоновой и, наконец в каком то домишке в глубоких подмосковных снегах на полулегальных собраниях толстовцев, штундистов, реформаторов православия и православных революционеров, где он все с тою же исступленностью вытанцевывал, выкрикивал и выпевал свои идеи и видения.

Перечислять темы, на которые говорил в те годы Белый, и невозможно и ненужно. Достаточно сказать, что его сознание подслушивало и подмечало все, что творилось в те канунные годы, как в России, так и в Европе: недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Чего бы, однако, ни касался Белый, он по существу всегда волновался одним и тем же: всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни, грядущей революцией европейского сознания, «циркулирующим» по России революционным субъектом, горящими всюду лесами, расползающимися оврагами; в его сознании все мелочи и случайности жизни естест

венно и закономерно превращались в симптомы, символы и сигналы.

Талантливее всего бывал Белый в прениях. Он, конечно, не был оратором в духе Родичева или Макла-кова. Как в Думе, так и в суде он был бы невозможен: никто ничего бы не понял. Но говорил он все же изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхал зарницами неожиданнейших мыслей. Своею ширококрылою ассоциацией он в вихревом полете речи молниеносно связывал во все новые парадоксы, казалось бы никак не связуемые друг с другом мысли. Чем вдохновеннее он говорил, тем чаще логика его речи форсировалась фонетикой слов: ум превращался в заумь, философская терминология – в символическую сигнализацию. Минутами прямой смысл почти совсем исчезал из его речи, но, несясь сквозь невнятицы, Белый ни на минуту не терял своего поразительного словотворческого дара.

Надо отдать справедливость Белому, в самые мертвые доклады его «слово» вносило жизнь, самые сухие понятия прорастали в его устах, подобно жезлу Ааро-нову. Одного только никогда не чувствовалось в выступлениях поэта – постоянства и

библейской «тверди». Более изменчивого и неустойчивого сознания мне в жизни не встречалось. Чего только Белый за свою, слишком рано угасшую жизнь, не утверждал как истину, чему только он не изменял. В молодости он утверждал марксизм и даже ездил в Ясную Поляну защищать диалектический материализм против Толстого. От Маркса он перебросился к Канту, но его кантианство очень скоро окончилось запальчивою полемикой против неокантианцев. Вырвавшись из тисков неокантианской методологии, Белый на короткое время с головою ушел в мистику, но, испугавшись мистической распутицы, стал тут же твердить, что лишь христианское «отвердение» мистики может спасти душу от космической хляби и душевной расхлябанности: в это вре

мя он писал статьи против музыки, размагничивающей волю и убивающей героический порыв. Христианству Белый изменил однако еще быстрее, чем мистике: его религией оказалось штейнерианство, т. е. своеобразная смесь наукообразного рационализма с вольноотпущенной бесцерковной мистикой. В последнем произведении Белого, в его автобиографии, штейнерианства однако уже не чувствуется: всеми своими утверждениями Белый твердит, что его исконною и пожизненною твердью была марксистская революционность.

В идеологическом плане это утверждение – отчасти самообман, отчасти вынужденное приспособленчество; но в чисто психологическом плане последнему автопортрету Белого нельзя отказать в некоторой убедительности. Если центральным смыслом всякой революции является взрыв всех тех смыслов, которыми жила предшествовавшая ей эпоха, то Белого, жившего постоянными взрывами своих только что провозглашенных убеждений, нельзя не признать типичным духовным революционером.

Таким я его впервые ощутил в вечер чтения им в «Мусагете» первых глав «Петербурга». Читал Белый свой роман, в котором зловещим кошмаром надвигаются на Россию все существенные темы и образы будущего («период изжитого гуманизма заключен»… «наступает период здорового варварства»… «пробуждается сказание о всадниках Чингис-Хана»… «распоясывается семито-монгол»… «масса превращается в исполнительный аппарат спортсменов революции»… «великое волнение будет»… «прыжок над историей будет»…) совершенно замечательно. Магия его чтения была так сильна и принудительна, что все мы буквально вдыхали в себя те гнилостно-лихорадочные туманы Петербурга, под прикрытием которых в романе «циркулирует революционный субъект»,

разжигая мечты, разнося темные слухи, взводя курки и начиняя бомбы…

Сблизился я со всем мусагетским кругом прежде

всего, как редактор задуманного нами еще во Фрей-бурге философского журнала «Логос», который после многих трудов и при весьма недоброжелательном к нам отношении со стороны маститых московских философов, удалось в конце концов устроить в «революционном» «Мусагете».

Выученики немецких университетов, мы вернулись в Россию с горячей мечтою послужить делу русской философии. Понимая философию как верховную науку, в последнем счете существенно единую во всех ее эпохальных и национальных разновидностях, мы естественно должны были с самого начала попасть в оппозицию к тому доминировавшему в Москве течению мысли, которое, недолюбливая сложные отвлеченно-методологические исследования, рассматривало философию, как некое сверхнаучное, главным образом религиозное исповедничество. Правильно ощущая убыль религиозной мысли на западе, но и явно преувеличивая религиозность русской народной души, представители этого течения не могли не рассматривать наших замыслов, как попытки отравить религиозную целостность русской мысли критическим ядом западнического рационализма.

Живо помню, как вскоре после выхода в свет первого номера «Логоса», который я принял из рук Ко-жебаткина с таким же незабвенным трепетом, с каким в 16 лет услыхал первое признание в любви, а в 28 – первый раскат австрийской артиллерии, я спорил на эту тему с Н. А. Бердяевым в уютной квартире сестер Герцык, пригласивших нас к себе после какого-то доклада.

Сестры Герцык принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть. Зная меня с фрейбургских времен, они, очевидно, хотели сблизить меня со своим старым другом. Мне было 26 лет – Николаю Александровичу 36. Он был уже известным писателем, мною была опублико

вана только еще одна статья в «Русской мысли»: «Немецкий романтизм и русское славянофильство». Силы были неравные, но спорили мы одинаково горячо: с преклонением перед истиной, но без снисхождения друг к другу, не дебатировали, а воевали. Мастер радикальных формулировок, Бердяев в тот вечер впервые вскрыл мне исходную сущность всех расхождений между «Логосом» и «Путем».

– Для вас, – нападал он на меня, – религия и церковь проблемы культуры, для нас же культура во всех ее проявлениях

внутрицерковная проблема. Вы хотите на философских путях придти к Богу, я же утверждаю, что к Богу придти нельзя, из Него можно только исходить: и лишь исходя из Бога можно придти к правильной, т. е. христианской философии.

Прекрасно помня Бердяевскую атаку, я не помню своей защиты. Помню только, что защищаться было трудно. Бердяев увлекал меня силой своей интуитивно-профетической мысли, но и возмущал той несправедливостью и тою неточностью, с которыми он говорил о моих тогдашних кумирах и учителях, о Канте, Гегеле, Риккерте и Гуссерле.

Охваченный пафосом свободы (он только что выпустил свою «Философию свободы»), он с непонятным для меня самоуправством превращал кантианство в «полицейскую философию», риккертианство – в проявление «индусского отношения к бытию», (тема впоследствии развитая Андреем Белым в «Петербурге»), Гегеля, которого мы считали мистиком – в «чистого рационалиста».

С годами я глубже сжился со стилем бердяевского философствования, но в свое время он не только захватывал меня вдохновенностью своей проповеди, но и оскорблял своею сознательной антинаучностью.

Философствуя «от младых ногтей», мы были твердо намерены постричь волосы и ногти московским неославянофилам. Не скажу, чтобы мы были во всем не

правы, но уж очень самоуверенно принялись мы за реформирование стиля русской философии.

Войдя в «Мусагет», мы почувствовали себя дома и с радостью принялись за работу. С «Мусагетом» нас объединяло стремление духовно срастить русскую культуру с западной и подвести под интуицию и откровение русского творчества солидный, профессионально-технический фундамент.

Основной вопрос «Пути» был – «како веруеши», основной вопрос «Мусагета» – «владеешь ли своим мастерством?» В противоположность Бердяеву, презиравшему технику современного философствования и не желавшему ставить «ремесло в подножие искусства», Белый, несмотря на свой интуитивизм, со страстью занимался техническими вопросами метрики, ритмики, поэтики и эстетики. Это естественно сближало его с нами – гносеологами, методологами и критицистами. К тому же Белый и сам ко времени нашего сближения с «Мусагетом» увлекался неокантианством, окапывался в нем, как в недоступной философскому дилетаниз-му траншее, кичился им, как признаком своего серьезного отношения к науке, чувствуя в этой серьезности связь с отцом, настоящим ученым, философом-

математиком.

Поначалу наша работа в «Мусагете» пошла было очень дружно. Когда «студийная» молодежь «Мусагета» разбилась на группы для изучения вопросов культуры, я взял на себя руководство секцией по вопросам эстетики. Принимали мы с Яковенко (С. О. Гессен жил в Петербурге) деятельное участие и в создании небольшого мусагетского журнала «Труды и дни». Журнал был задуман, как интимный художественно-философский дневник издательства, но придать ему живой, артистический характер не удалось. Книжечки выходили довольно случайными, а подчас и бледноватыми.

Мир и любовь между «Мусагетом» и редакцией «Логоса» длились, однако, недолго. В третьем томе

своих воспоминаний Белый сам рассказал о том, как, охладев к Канту и неокантианству, он при поддержке Блока настоял на том, чтобы Медтнер не возобновлял с нами контракта. К счастью, нам удалось сразу же устроить журнал в известном петербургском издательстве М. О. Вольфа. То, что нас приютила столь солидная издательская фирма, заинтересованная в первую очередь в доходах и вполне чуждая всяких меценатских амбиций, было для нас большим удовлетворением, доказательством того, что за два года работы мы сумели встать на ноги и завоевать себе определенное положение не только в культурной России, но и на книжном рынке.

Как ни печален был для нас разрыв с «Мусагетом», я все же защищал Белого и Медтнера от нападок моих соредакторов. Наши громоздкие кирпичи, наполовину заполненные хотя и тщательно переведенными, но все же ужасными по языку статьями, перегруженные обширным библиографическим отделом и, как бахромою, обвешанные подстрочными примечаниями, не только по содержанию, но и стилистически действительно мало гармонировали с устремлениями «Мусагета».

Тему сближения русской и западноевропейской мысли, а так же и тему профессионально-научного углубления русской философии можно было разрабатывать и в иной, более близкой «Мусагету» форме, примерно так, как Вячеслав Иванов разрабатывал в своих статьях о символизме поэтику Гёте; но мы, по составу нашей редакции и в особенности по кругу наших знаменитых заграничных сотрудников, делать этого не могли. Но если бы и могли, это вряд ли предупредило бы наш разрыв. Не играй Белый в «Мусагете» первой скрипки, мы, может быть, и.прижились бы в медтнеров-ском издательстве, но с Белым ужиться было нельзя. Несмотря на свою полуатавистическую

(профессорский сын) любовь к культуре, методологии и ремес

ленному профессионализму, Белый ненавидел всякое культуртрегерство и часто издевался над ним. «Культура – трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось; будет взрыв: все сметется». Эта тема своеобразного культурного иконоборчества была нам, ло-госовцам, не только чужда, но и враждебна, как, впрочем, и многим мусагетчикам. Созвучна она была, если верен мой слух, больше всего Бердяеву.

В глазах широкой читательской публики, отчасти даже и критики, такой же «православный неославянофил», как и остальные путейцы, Бердяев представлял собою явление совершенно особого порядка. Конечно, о Бердяеве нельзя сказать, как о Белом, что он всю жизнь носился по бескрайным далям своего одинокого я. Во всем, что писал и проповедывал Николай Александрович, всегда чувствовалась укорененность в своеобразном мистически-реальном опыте и устремленность к его христианскому осознанию. Общим у Бердяева и Белого было, пожалуй, лишь их пророческое ощущение начавшейся смены эпох. «Что-то в мире происходит… кто-то хочет появиться… кто-то бродит». Затаенная тревога этих Блоковских слов мне всегда слышалась в писаниях и выступлениях как Белого, так и Бердяева.

Оба «хотящему появиться» не противились, так как оба не были людьми органически укрепленными в прошлом. Сказанное мною в статье-некрологе о Белом: «Он был существом, обменявшим корни на крылья» – в известном смысле можно отнести и к Бердяеву. Славянофилам, почвенникам и традиционалистам Бердяев по своему психологическому типу был так же чужд, как Белый по стилю своего творчества Толстому или Лескову. Лишь раз в «Серебряном голубе» Белый попытался было изобразить старую помещичью Россию, но дал не живую, хотя бы и стилизованную бытовую картину, а лишь причудливую орнаментальную фреску с умелым использованием декоративных мотивов

усадьбы, церкви и села. Предметно дана в «Серебряном голубе» только революция.

Как в искусстве Белого, так и в философии Бердяева нет ни плоти, ни истории. И все же Бердяев часто вернее наших почвенников и фактопоклонников предсказывал повороты истории. Объясняется это тем, что, начиная с 1789-го года, в Европе неустанно крепла лишь одна традиция – традиция революции, почему почвенники 19-го столетия и оказались к началу 20-го в воздухе, а революционеры с почвою под ногами.

Одним из первых «добрых европейцев» покинул Бердяев задолго до войны 1914-го года духовную родину нашего

поколения, либерально-гуманитарную культуру 19-го века; одним из первых почувствовал он, что та жизнь, которою жили наши отцы и деды, которою жили и мы, приходит к концу, что наступает новая эпоха: безбожная, духоненавистническая, но в то же время творческая и жертвенная, во всем радикальная, ни в чем не признающая постепенности, умеренности и серединности, та эпоха, о которой Маяковский впоследствии скажет в своем акафисте чорту:

Провалились все середины, Нету больше никаких середин.

Морализирующее отношение к истории, конечно, неправильно, так как не только все великое, но даже и святое неизменно вырастало из таинственного сотрудничества добра и зла: исторически ведь и Христос неотделим от Иуды. Но все же меня всегда мучила та страстность, с которою Бердяев «профетически» торопил гибель испытанного прошлого и выкликал из тьмы неизвестно еще чем чреватое будущее. Философия Бердяева была всегда максималистична. В противоположность во многом близкому ему по духу Соловьеву, он недооценивал относительных ценностей: право было для него в некотором смысле «могилою правды»,

законность – фарисейством, гносеология – болезнью бытия.

Для Бердяева характерно, что рано отрекшись от теории экономического материализма, он навсегда удержал в своем философском хозяйстве понятие буржуазности. Борьба против духовной буржуазности одна из центральных тем Бердяевского творчества. Эта борьба роднит его с Ницше, к которому он искони влекся, как к пророку назревающего кризиса буржуазной культуры и которому временами слишком легко прощал его ненависть к христианству.

Вспоминая довоенную Москву, в свете современных событий, я не в силах подавить в себе ощущения, что философия Бердяева и искусство Белого были своеобразным «небесным прологом» столь же великой, как и страшной русской революции.

То же самое можно было бы пожалуй сказать и о Блоке, если бы и он был провозвестником и вождем, а не только открытою, кровоточащею раною своей эпохи.

В зиму 1910-1911 года я был приглашен, скорее всего для прочтения публичной лекции.- Ни темы своей лекции, ни прений по ней, ни облика собравшейся публики я, странным образом, не помню. Читал я, скорее всего, о «Трагедии творчества». По окончании моего заключительного слова ко мне медленно подошел, одетый в черный сюртук статный юноша с продолговатым, усталым, бледным лицом. С тех пор прошло

много страшных лет, а я все еще жалею о том, что в заговорившем со мною о моем докладе юноше не узнал Блока.

Думаю, что если бы я приехал в Петербург не как редактор «Логоса», к которому у Блока не могло быть

особых симпатий, и не по приглашению Вячеслава Иванова, с которым у Блока были свои сложные счеты («если хочешь сохранить Вячеслава Иванова, будь окончательно подальше от него»), то мы сразу же чем-нибудь своим да перекликнулись бы друг с другом. Как много Блок, с которым мне вторично непонятным образом так и не довелось встретиться, значил для меня, я понял только после его смерти.

Вскоре после возвращения из Петербурга я как-то под вечер шел с Белым по Плющихе. Вокруг только что зажженных фонарей мглисто кружился «блоков-ский» снег. В мою душу, захваченную в те годы стихией Блоковской поэзии, загадочно смотрели «крылатые глаза высокой женщины в черном, влюбленной в огни и мглу снежного города».

Белый, в котором привезенная в Москву постановка «Балаганчика» с новой силой всколыхнула боль его тяжелой размолвки с «поэтом-братом», «иероглифически» жестикулируя, торопливо шел рядом со мною и гневно меча в «пургу» свои зеленые исподлобные взоры, взволнованно говорил об измене Блока «теургической» теме символизма: о кощунственном превращении «прекрасной дамы» в «картонную невесту», священной крови – в «клюквенный сок», мистерии действа – в «балаганное паясничество». Недостаточно посвященный в замыслы раннего символизма и во все сложности личных взаимоотношений между поэтами, я слушал Белого не без смущения.

Возражать было невозможно. Весь тон речи был настолько страстен, в нем слышалась такая уязвленность души, что становилось невольно страшно, как бы каким-нибудь неосторожным словом не коснуться тех личных отношений между поэтами, что явно стояли за критическими нападками Белого.

Не находя нужных слов для своего возражения, я все же чувствовал, что правда была на стороне Блока. В ту смутную межреволюционную пору, готовую в лю

бой загадочно-неудовлетворенной женщине и во всякой жаждущей «мистериозного служения» актрисе «прозревать» образ «вечной женственности» – такой честный с самим собою поэт, каким всегда был Блок, не мог не снизить видения «Прекрасной дамы» до явления ресторанной «Незнакомки». Несчастье Блока было лишь в том, что при всей своей честности он до конца оставался духовно-беззащитным романтиком-мечтателем. Даже и

лучшему, что он написал, его стихам о России, не хватает трезвости религиозного созерцания. Образ родины видится ему в том же тумане, как и образ «Незнакомки». При изумительной пластичности художественного письма, Россия религиозно все же остается как бы не в фокусе: ее застилает дым и даже чад любовнически-мечтательного пламени.

Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые, Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею И крест свой бережно несу… Какому хочешь чародею Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, Не пропадешь, не сгинешь ты, И лишь забота затуманит Твои прекрасные черты…

Не это ли романтическое увлечение разбойною красою заставило Блока увидеть в большевизме русского чародея? Не оно ли помешало ему, единственному по музыкальности уха поэту, отличить рев разбушевавшейся революции от космической музыки; не оно ли внушило ему более чем соблазнительный образ красноармейцев-апостолов, невидимо предводительствуемых Христом? Своеобразный свет на все эти романтические ошибки зрения и слуха проливает дневник Блока. 5-го апреля 1912-го года он записывает

кощунственные слова: «Гибель «Титаника» вчера обрадовала меня несказанно – есть еще океан». Но я ни в чем не хочу обвинять Блока, своими предсмертными страданиями так страшно искупившего духосмести-тельные грехи своей жизни и своего творчества.

Не сразу дошедшее до нас известие о кончине Блока произвело на меня даже и среди всех ужасов тогдашней жизни потрясающее впечатление. Помню, как я прибежал с этим известием в ригу, в которой шла молотьба овса. (В годы большевистской революции мы с женой работали в «семейной трудовой коммуне» в бывшем имении ее родителей). Брат жены, подававший снопы в барабан, сразу же остановил молотилку. Наташа и ее сестры, с запыленными мякинною пылью лицами и с граблями в руках, подбежали к нам. Я прочел только что полученное письмо. Наступила растерянная тишина. Наш бывший работник и его жена, вечно недовольные своими бывшими господами, видя что машина стоит, а мы опять «промеж себя разговариваем», проворчали себе что-то под нос и ушли в свою избу пить чай.

Мы отстегнули лошадей и последовали примеру наших «товарищей». За чаем было невыносимо грустно. Чувствовалось, что кольцо захваченных, а частично и разгромленных большевиками имений все тревожнее и теснее смыкается вокруг

нашей богохранимой Ивановки, последнего форта помещичьей крепости в нашем уезде.

Ночью, на сторожбе в старом яблонном саду было, несмотря на заряженное ружье и верного пса, как-то особенно жутко. Душу волновала мысль: не означает ли безвременный уход упорно молчавшего перед смертью поэта его покаянного отречения от красноармейского Христа? Не знаменует ли это отречение окончательного отлета светлых интеллигентских чаяний и утопий от развертывающихся событий, не пророчит ли оно предельного ожесточения революции?

Подобные мысли, конечно, и раньше приходили в голову, но смерть Блока как-то по-новому закрепляла их своею печатью.

Раздумья о прошлом живут по своим собственным законам. Мертвый хронологический порядок им чужд, даже враждебен. Воспоминания о Блоке увели меня далеко от Петербурга и от дома с башней на Таврической улице, где жил Вячеслав Иванов, с которым я до тех пор был лишь весьма поверхностно знаком.

Звоню. Большая низковатая передняя, уходящий куда-то вглубь коридор. Вхожу в кабинет маститого ученого, блестящего эссеиста, изощреннейшего искусника в поэзии. Книги, книги, книги: фолианты в старинных пергаментах, маленькие томики ранних изданий немецких, французских и итальянских классиков, ученые труды на всех европейских языках, полки растрепанных русских книг и книжечек без переплетов. Над полками и между ними гравюры, все больше Рим, в котором Вячеслав Иванов прожил свои лучшие годы.

Но вот в двери, около которой висит портрет покойной жены поэта, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал – кисти М. В. Сабашниковой, появляется сам Иванов: розовое, лоснящееся, безбровое лицо, летучие золотые волосы, пронзительно-внимательные, светлые глаза и изумительно красивые руки, белизна которых подчеркнута черным кольцом. Во всем германски-профессорском облике поэта, в особенности же в почти манерном наклоне головы и мелодическом жесте – нечто старинно-романтическое, но и современно-декадентское, причем, несмотря на 45-летний возраст Иванова, определенно юношеское. Смотрю и удивляюсь – и откуда это у людей «нового религиозного сознания», как в прессе иной раз называют вольных религиозных философов и поэтов-символистов, такие облики? В академической среде, как и среди писателей-реалистов, группирующихся вокруг горьковского «Знания», ничего подобного нет: все люди, как люди. Если же поса

дить за один стол Бердяева, Вячеслава Иванова, Белого, Эллиса, Волошина, Ремизова и Кузьмина, то получается нечто

среднее между Олимпом и кунсткамерой.

Вячеслав Иванов ласково приветствует меня высоким певучим голосом, легко и просто говорит что-то весьма лестное и смущающее меня, и, глубоко заглядывая в глаза клюющим, острым зрачком, усаживает в кресло у своего письменного стола. Без труда завязывается одна из тех пленительно-витиеватых бесед о древней Элладе, о Ницше и Дионисе, о новом христианстве, о теургическом искусстве, преображающем мир «выкликанием» и высветлением таящегося в нем Божьего замысла, о символе и аллегории, о манере и стиле, на которые старший мэтр символизма такой несравненный мастер. Вспоминая на путях своих пиршественных раздумий то Платона и Эсхила, то Данте и Шекспира, то Гёте и Новалиса, Вячеслав Иванов вполне естественно, как бы по закону учтивой любезности, приветствует своих «вечных спутников» особыми архаизирующими интонациями, то эллинизирующими, то германизирующими жестами языка, тяготеющего в своей русской сущности к древне-славянской тяжеловесности.

Приехав в Петербург дня на два, я прогостил в доме Вячеслава Иванова целую неделю. До чего широко, радушно, праздно и одновременно полно жили мы в старой России! За это время я познакомился в знаменитой башне с целым рядом значительных людей – с Юрием Верховским, с поэтом-помещиком Бородоев-ским, с безобидным глашатаем мистического анархизма Георгием Чулковым, идеологии которого Вячеслав Иванов покровительствовал по мало понятной мне причине, с единственным по совершенству своего поэтического дара и по неестественности своей наружности – Кузьминым: небольшая изящная фигура тореадора или балетмейстера; узкая голова со старомодными зачесами на висках в стиле александровской эпо

хи; лиловато-розовые, тяжелые, словно фарфоровые веки и в них громадные, печально-светящиеся глаза: «Два солнца, два жерла, нет, два алмаза».

На одном из вечеров был в гостях начинавший входить в большую моду Алексей Николаевич Толстой с его тогдашней женой Софьей Исаковной. Первою в столовую, где уже сидело много гостей, вошла графиня – красивая черноволосая женщина, причесанная в стиле Клео?де?Мерод, в строгом, черном платье, перехваченном по бедрам расписанным красными розами шарфом. За графиней появился граф – плотный, кру-топлечий, породистый, выхоленный и расчесанный, как премированный экземпляр животноводческой выставки. В спадающей на уши парикообразной прическе, в модном в те годы цветном жилете и в каких-то особенного фасона больших воротничках – сознательное

сочетание старинного портрета и модного дендизма.

Веселые карие глаза «с наглинкой» жадно шныряют по всему миру: им, как молодым псам, – все интересно. Но вот они делают стойку: Толстой внимательно прислушивается к вспорхнувшей перед ним в разговоре мысли. Из нижней, розово-вислой части его крупного красивого лица мгновенно исчезает полудетская губошлепость. Уже не слышно его громкого «бет-рищевского» – ха-ха-ха. На лбу Алексея Николаевича появляются складки – он думает: медленно, упорно, туго. Нет, он не глуп, как меня уверяли в Москве, хотя и не мастер на отвлеченные размышления. Думает он, правда, не умом, но думает крепко всей своей утробой, страстями и инстинктами. В нем, как в каждом художнике, сильна память, но не платоновская «о вечном», а биологическая – о прошлом. Когда Толстой разогревается в разговоре, в нем чувствуется и первобытный человек и древняя Россия.

Переехав вскоре после нашего знакомства у Вячеслава Иванова в Москву, Толстые широко и просторно поселились в только что отстроенном, эффектном доме

князя Щербатова на Новинском бульваре. В их светлой, обставленной старинной мебелью красного дерева квартире, в особенности в кабинете Алексея Николаевича, где на низком круглом столике, рядом с пахнущими винной ягодой и мадерой крепкими английскими та-баками, лежало бесконечное количество трубок, особенности которых Толстой знал так же хорошо, как художники знают особенности своих карандашей и кистей, скоро закипела шумная, литературно-богемская жизнь. В одну из последних довоенных зим в Москве много говорили о костюмированном вечере у Толстых, на котором соединение дворянско-заволжского темперамента хозяина с его хмельными воспоминаниями о Монмартрских маскарадах создало такую атмосферу, что даже привыкшие ко всему москвичи ахнули.

В России я видел Толстого в последний раз в тревожный день Московского Государственного совещания. Во время перерыва заседания он почти насильно умыкнул меня к себе завтракать. Ему, очевидно, хотелось поговорить о происходившем и еще предстоящем. Разговор начался уже в пролетке. В этом разговоре Алексей Николаевич поразил меня своим глубоким проникновением в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся, как к родной ему стихии озорства и буйства. Не вспоминая деталей, я хорошо помню то значение, которое этот разговор имел для меня. Толстой первый по-настоящему открыл мне глаза на ту пугачевскую, разинскую стихию революции, в недооценке

которой заключалась коренная слабость нашей либерал-демократии.

Я не склонен идеализировать мотивы возвращения Толстого в 1923-м году в Советскую Россию. Очень возможно, что большую роль в решении вернуться сыграл идеологический нигилизм этого от природы весьма талантливого, но падкого на славу и деньги писателя. Все же одним аморализмом толстовской «смены вех»

не объяснить. Если бы дело обстояло так просто, мы с женою, только что высланные из России, вряд ли могли бы себя чувствовать с Толстыми (к этому времени Алексей Николаевич был женат вторым браком на Наташе Крандиевской) так просто и легко, как мы себя с ними чувствовали накануне их возвращения из Берлина в СССР.

Помню два перегруженных чемоданами автомобиля, в которых Толстой с женой и детьми отъезжал с Мартин-Лютерштрассе на вокзал. Несмотря на разницу наших убеждений и судеб, мы провожали Толстых скорее с пониманием, чем с осуждением.

Мне лично в «предательском», как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда, весьма конечно загрязненная, но все же не отмененная теми делячески-политическими договорами, которые, вероятно, были заключены между Толстым и полпредством. Как-никак Алексей Николаевич ехал не на спокойную жизнь, его возврат был большим риском, даже если бы он и решил безоговорочно исполнять все предначертания власти. Мне, по крайней мере, кажется, что сговор Толстого с большевиками был в значительной степени продиктован ему живой тоской по России, правильным чувством, что в отрыве от ее стихии, природы и языка он, как писатель, выдохнется и пропадет. Человек, совершенно лишенный духовной жажды, но наделенный ненасытною жадностью души и тела, глазастый чувственник, лишенный всяких теоретических взглядов, Толстой не только по расчету возвращался в Россию, но и бежал в нее, как зверь в свою берлогу. Может быть, я идеализирую Толстого, но мне и поныне верится, что его возвращение было не только браком по расчету с большевиками, но и браком по любви с Россией.

В последний раз я видел автора «Петра 1-го» (несмотря на правильные возражения академика Плато

нова, все же замечательная вещь, которую Толстой никогда не написал бы в Берлине) в Париже в 1937-м году на представлении «Анны Карениной». Самоуверенной осанистости в нем было много меньше, чем раньше; волосы заметно поредели;

но главное изменение было в глазах, в которых мелькал неожиданный для меня в Толстом страх перед жизнью. На нем был костюм табачного цвета, живо напоминавший гороховое пальто царских охранников. Несмотря на эту ассоциацию, мы встретились по-приятельски.

То, что я пожал руку Толстому, вызвало не только сильный, но даже бурный протест у одного из наиболее идейных и твердых парижских эсеров. «Если оправдывать Толстого, – говорил он мне через несколько дней в редакции «Современных записок», – выступающего в России с требованием смертной казни, а в Англии с требованием свободы печати, то кого же в мире можно еще обвинять?»

Как я ни пытался объяснить моему строгому судье, что отказ от предъявления человеку каких-либо нравственных обвинений решительно не имеет ничего общего с его оправданием (скорее уже наоборот), он этого понять не мог и не без труда протянул мне на прощание свою честную демократическую руку.

Вскоре после моей лекции в Петербурге у меня создалась с этим городом прочная литературная связь, благодаря наладившемуся сотрудничеству в новом толстом журнале, начавшем выходить в 1910-м или 1911-м году. С работою в «Северных записках» у меня связаны самые светлые воспоминания. Их редактора – Яков Львович Сакер, курчавый, сутулый публицист-философ и Софья Исаковна Чацкина, нервная изящная женщина, – были типичными русскими интеллигентами-общественниками, но одновременно и людьми «нового куль

турного сознания». Целью своего журнала они ставили сращение умеренного эволюционного социализма с подлинною духовною культурою. Над письменным столом Сакера висел портрет Канта. Душе Софии Исаковны символическое искусство было ближе народниче-ски-направленческой беллетристики «Русского богатства».

Для осуществления своего издательского плана оба редактора искали новых молодых сотрудников, одинаково далеких как от снобистического эстетизма «Апполона», так и от культурного варварсттва идейной интеллигентщины. К моменту появления Якова Львовича в нашей московской квартире, в небольшом под вековым тополем домике, принадлежавшем М. М. Новикову, последнему ректору Московского императорского университета, мною было напечатано еще очень немного: тем не менее Яков Львович звал меня в постоянные сотрудники, прося давать из номера в номер небольшие статьи на общекультурные и литературные темы. Считая себя в то время научным философом,

я согласился на предложение Сакера лишь после долгих колебаний и, должен признаться, с не совсем чистою совестью: мне казалось, что регулярная журнально-пу-блицистическая работа помешает быстрой сдаче магистерского экзамена, да и вообще уведет меня в сторону. Ныне я о своем решении не жалею. В той жизни, в которую нас всех ввергла война и революция, мне в типичного университетского профессора все равно бы не выработаться. Даже и по получении в 1926-м году кафедры по социологии в Германии, я отдавал не мало сил русской публицистике. Такова уже судьба нашего поколения: когда тебя непрерывно бьют, можно или молиться, или отбиваться, хотя бы и журнальными статьями, но трудно спокойно исследовать или бесстрастно размышлять.

Желая объединить своих сотрудников, редакция «Северных записок» устраивала время от времени боль

шие редакционные вечера. Молодое дело велось настолько широко, что приглашались и москвичи: Цветаева, я и другие. Всем нам оплачивалась дорога и пребывание в столице.

Как сейчас стоит перед глазами обставленная с артистической небрежностью небольшая одухотворенная квартира редакции. Недалеко от камина – широкая, покрытая персидским ковром тахта, на которой, щурясь от папиросного дыма и становясь от этого похожей на японку, сидит с виду тишайшая, но внутренне горячая Софья Исаковна Чацкина. В 1919-м году я с трудом разыскал ее в Москве в подвале дома писателей на Поварской. Когда я неожиданно вошел к ней, она варила себе какую-то кашицу в выщербленной ночной посуде. Что можно было, мы с женой для нее сделали, но многого сделать было нельзя. Она была душевно уже окончательно надломлена и вскоре умерла.

На собрании сотрудников и друзей «Северных записок» я познакомился с большим количеством петербуржцев. Больше всех ценимая Софьей Исаковной и ее кругом Анна Ахматова мне при первой и единственной встрече не понравилась. Того большого, глубокого человека, которого в ней сразу разгадал Вячеслав Иванов, я поначалу в поэтессе не почувствовал. Быть может, оттого, что она как-то уж слишком эффектно сидела перед камином на белой медвежьей шкуре, окруженная какими-то, на петербургский лад изящными, перепудренными и продушенными визитками.

Среди этих выхоленных юношей чужаком мелькал Сергей Есенин, похожий на игрушечного паренька из кустарного музея: пеньковые волосы, васильковые глаза, любопытствующий носик. В манере откидывать назад голову – «задор разлуки и свободы».

Он только еще начинал входить в моду. «Северные записки» весьма покровительствовали ему.

Познакомился я и с Алексеем Михайловичем Ремизовым и свое первое посещение его помню во всех

подробностях. Случилось так, что, подымаясь к нему на лифте, я застрял между этажами и, не зная, что делать, начал громко кричать: «Застрял, Алексей Михайлович, спасите».

Тому, кто никогда не видел Ремизова, описать его внешность, да еще в момент его перепуганного появления у коварного лифта, почти невозможно. Я уже отмечал богатую лепку человеческих обликов на переходе 19?го века к 20-му. Ремизов и среди этого богатства поражал какой-то особой примечательностью. Небольшое сутуловатое туловище на длинных слабых ногах, лицо как будто простое, а не оторвешься. Глаза – гляделки в морщинках, но если заглянуть в них поглубже, испугаешься, до того в них много муки и страсти. Странная внешность: если приклеить к ремизовскому лицу жидкую бородку – выйдет приказный дьяк; если накинуть на плечи шинелишку – получится чинуша николаевской эпохи; если изорвать его поношенный пиджачишко в рубище – Ремизов превратится в юродивого под монастырской стеной…

Кабинетик, в который ввел меня Алексей Михайлович, был единственной в своем роде писательской кельей. Впоследствии, уже в эмиграции, я сиживал в такой же ремизовской келье сначала в Берлине, а потом и в Париже.

Вместо обычных книжных полок, по стенам стояли прилаженные один над другим и обклеенные золотою, серебряною и голубою бумагою случайные ящики, до отказу набитые старинными изданиями и истрепанными книжонками. Под потолком из угла в угол тянулись бичевки, целая сеть, на подобие паутины. На бичевках – совершенно невероятные вещи: сучки, веточки, лоскутики, палочки, косточки, рыбьи скелетики, не то игрушки, не то фетиши, разные ремизовские ко-ловертыши, кикиморы, пауки, скрыпники…

Кроме «Пруда» и «Крестовых сестер», я из реми-зовских произведений тогда еще ничего не читал, со

сказочною мифологией писателя знаком не был и потому смотрел на все его подпотолочные диковины с разинутым ртом. Алексей Михайлович стоял рядом со мною все еще в том огромном женином платке, в котором он выскочил на лестницу и со странными на мой тогдашний взгляд ужимками, подмигами и подхихикиваниями тихонечко рассказывал о своей сновидче-ски-творческой жизни. Я слушал, внимательно всматривался в мучительно наморщенный лоб Ремизова, но сердцем и фантазией

его мира не воспринимал. Окончив свои пояснения, Алексей Михайлович засуетился, застеснялся: «Уж и не знаю, чем вас поподчевать. Поставил бы самоварчик, да жены, Серафимы Павловны, нет, а без нее мне не осилить. Могу сон разгадать, пасьянс разложить и, если расстегнете душку, русскими духами надушить».

Раскладывания пасьянса не помню, но разгадывание сна, который мне пришлось наскоро выдумать, и процедуру натирания груди какими-то крепкими, пахнувшими спиртовым лаком духами, которые Алексей Михайлович, если не ошибаюсь, называл ядовито-змеиным именем «сколопендры», на всю жизнь остались в памяти. До сих пор не знаю, с чего это Ремизову пришло в голову угощать меня своим душистым массажем. Все хотел спросить его, да как-то не спросилось, а теперь боюсь, что и поздно. Война, конечно, когда-нибудь кончится, может быть через год, может быть через пять лет, когда – этого сейчас никто не знает. Но восстановится ли для нас, эмигрантов, с ее окончанием свобода передвижения по Европе – еще не известно. Может быть, возьмут да и запрут нас, нищих и никому не нужных, по разным странам, как по железным клеткам. Так запрут, что уже никогда больше не увидишь Парижа, не посидишь перед отправкой в последний путь в кругу своих людей, помнящих то же, что помнишь и ты, и на то же, что и ты уповающих. Стареем мы, редеют наши ряды. Минутами даже самым

сильным и благополучным среди нас становится страшно жить. Каково же должно быть бедному Ремизову? Так и вижу его затравленною, голодною мышью, сидящим в своей комнате вместе со своими «коловерты-шами» и «ауками». А, может быть, его там и нету, где мы с женою были у него во время Всемирной выставки в 1937-м году? Как знать, что сейчас делается в Париже, который через несколько дней, вероятно, займут нацисты?

Сегодня весь день перечитывал «Взвихренную Русь». До чего же замечательно сделана эта книга, до чего сложно инструментован в ней плач по России, до чего разительно сплетены ее многообразные темы, до чего смело противопоставлены в ней явь и сон, трагические и комические стороны жизни; и, главное, каким она написана своеобразно-изысканным языком! Каждая фраза – искуснейше выкованный орнамент, не расплавляемый даже и адским огнем ее самых страшных страниц.

Подобно князю Мышкину, Ремизов большой каллиграф, тонкий знаток и любитель старинного, витиеватого росчерка. Живо представляю себе, как он, изловчившись, сидит у своего простого (не письменного) стола и со вкусом выводит:

«Смиренный игумен Пафнутий руку приложил». Проблема внутреннего почерка представляется мне одною из основных проблем ремизовского искусства. Он не «нутряной» талант в духе Куприна или Алексея Толстого – он словесных дел мастер, искусник, стилизатор-орнаменталист, малодоступный широкой читательской публике. В его изысканном стилизаторстве древние мотивы, апокрифы, жития, легенды и сказания причудливо переплетаются с ухищреннейшими литературными приемами современного умного упадочничества.

Хотя, быть может, и обидится на меня Алексей Михайлович, а все же скажу, что его искусство лишь отчасти на древнем корню цветет, иной же раз лишь к

гвоему древнему корню тянется. Много в этом искусстве чудесного, но немало также и чудного, чудачествующего, как бы на сцене перед самим собою со смаком разыгрываемого (Алексей Михайлович большой актер и прекраснейший чтец). За многими страницами Ремизова во мне не раз подымалось желание, чтобы он всю свою великую боль о человеке, свой испуг перед жизнью, свою пламенную горькую страсть взял да и ринул бы прямо мне в душу безо всякого стилизаторства.

Но не хочу критиковать, каждому свое; и Ремизову, тонкому знатоку и сознательному обогатителю «великого, могучего, правдивого и свободного русского языка», за все его древние словеса и затейливые словечки не только спасибо, но слава и честь. Настоящих, природных писателей, огненных душ, горячих словолюбов становится с каждым годом все меньше и меньше…

«Северные записки» были, как все толстые русские журналы, журналом не только литературным, но и общественно-политическим. На редакционных раутах бывали поэтому и политики. Близким другом редакции был Григорий Адольфович Ландау. Природа наделила Григория Адольфовича блестящими дарованиями, но жизнь жестоко насмеялась над его даровитостью: то немногое, что он написал, мало до кого дошло и мало на кого произвело должное впечатление. Помню, с каким захватывающим волнением читал я в галицийском окопе только-что появившуюся в «Северных записках» статью Ландау «Сумерки Европы». В этой замечательной статье было уже в 1914-м году высказано многое, что впоследствии создало мировую славу Освальду Шпенглеру. Появившаяся в берлинском издательстве «Слово» в 1923-м году под тем же заглавием

большая книга Григория Адольфовича, полная интереснейших анализов и предсказаний, также прошла незамеченной в эмиграции. Мои хлопоты о ее переводе на

немецкий язык ни к чему не привели – и это в годы, когда на немецкий язык переводилось всё, что попадалось под руку.

Причину этой литературной неудачи Григория Адольфовича надо прежде всего искать в том, что он был чужаком решительно во всех лагерях.

Русская лево-прогрессивная общественность не принимала его потому, что, по ее мнению, русскому еврею надлежало быть если и не социалистом, то по крайней мере левым демократом. Ландау же был человеком консервативного духа. Чужой в лево-интеллигентских кругах он, как германофил, не был своим человеком и среди либерал-консерваторов, убежденных сторонников союзнической ориентации. Но и от германофилов Григорий Адольфович быстро отошел, так как в годы войны германофильство процветало у нас в лагере крайних реакционеров-антисемитов, или в лагере большевиков-пораженцев. Ни с марковцами, ни с ленинцами у Ландау не могло быть ничего общего.

Известно, что, посетивши Россию, Андрэ Жид пришел в ужас от большевистского конформизма. Что говорить, советский конформизм вещь страшная. Но пример Ландау учит тому, что требование конформизма было не чуждо и нашей свободолюбивой интеллигенции. Чужаков, не исполняющих ее социальных заказов, и она безжалостно заклевывала.

В последний раз я видел Григория Адольфовича в Берлине уже после издания Нюренбергских законов о положении евреев в Германии. От блестящего, несколько даже надменного по виду молодого человека, с которым я познакомился в Петербурге, почти ничего не осталось. Полинял Григорий Адольфович, вытерся вместе с бобровым воротником своей шубы. Светлый взор отяжелел мутным оловом. Поредели и поседели виски.

Видно было, что и костюм и галстук были выбраны обнищавшей рукой. Прежними были лишь гордый откид головы, тихий голос и горькая ирония у рта. Встреча была мимолетной. О больном вопросе не говорили, но боль, пронзительная, нечеловеческая боль чувствовалась и без слов…

Рядом с Григорием Адольфовичем выплывает в памяти другая, поначалу исключительно удачливая, но впоследствии, быть может, еще более трагическая фигура.

Собравшиеся в салоне Софьи Исаковны гости с нетерпением ждали появления Керенского, незадолго до того вернувшегося с Ленских рудников, куда он ездил на расследование вспыхнувших там беспорядков. Молодой депутат в то время входил в большую славу, становясь любимцем русской левой общественности. Софья Исаковна была как будто немножко влюблена, если не в самого

Керенского, то в его миссию и его славу.

Долгожданный звонок раздался довольно поздно. В комнату стремительно вбежал остриженный бобриком, бритый человек с не по возрасту помятым лицом желтоватого оттенка. Сразу же бросилась в глаза невероятная близорукость депутата. Странным образом эта близорукость придавала лицу Керенского совершенно особую живость. Подходя к человеку и не сразу узнавая его, он на минуту, чтобы разглядеть незнакомца, весь погружался в хмурую щурь. Через секунду узнав, он радостно протягивал руку и, разгладив морщины на лбу, просветлялся на редкость приветливою улыбкою. Во время дальнейшей беседы на лице Керенского продолжала играть все та же рембрандовская свето-тень улыбки и хмури. Наряду с близорукостью Керенского меня поразил его голос: могучий, волнующий, металлический, голос настоящего трибуна. В комнатной беседе сила этого голоса производила скорее

неприятное впечатление, как форто оперного сопрано в небольшой гостиной.

Всплывающий в памяти в окружении писателей и поэтов образ депутата Керенского невольно наталкивает на вопрос о социологической структуре описываемой мною эпохи. Осветить совершавшийся тогда во всех областях перелом на основе личных воспоминаний невозможно. Могу сказать лишь одно. Уже задолго до войны все политически сознательные люди жили как на вулкане: возобновившаяся в 1902-м году кровавая тяжба власти и общества (В 1902-м году – убийство Сипягина, в 1904-м – убийство Плеве, в 1905-м – убийство великого князя Сергея Александровича и расстрел Гапоновской рабочей депутации по пути к Зимнему Дворцу) лишала жизнь всякого чувства устойчивости, всякой веры в возможность каких бы то ни было прочных расчетов и планов.

С убийством Столыпина даже и в консервативных кругах исчезла надежда, что власть как-нибудь справится со своею «историческою задачею». Во всем чувствовался канунный час. Всем было ясно, что Россия может быть спасена только радикальными и стремительными мерами. Но на такие меры власть была окончательно неспособна. Тень себя самой, изнутри безвольная, а потому и во вне бессильная, она, словно тяжело больной, лихорадочно металась от либеральной подачки к реакционной урезке и обратно.

После объявления пробной мобилизации в 1912-м году стало страшно. Показавшийся на горизонте призрак войны сразу же приблизил революцию. «Эти ужасы, – записывал Блок в своем

дневнике, – вьются кругом меня всю неделю, отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ах, ты вот какой? Зачем ты наряжен? Думаешь, делаешь, строишь – зачем?»

На это «зачем» у широких кругов русского общества не было ответа ни в уме, ни в сердце. Зародившийся после крушения 1905-го года дух уныния, о котором я уже писал выше, с каждым днем все шире и шире расползался по России душным, ядовитым туманом. Не только в обывательских кругах, но и в придушенной тяжелою реакцией партийной среде слагалось непреоборимое ощущение: «Ничего не поделаешь, идем к гибели».

В моей, не склонной к унынию душе, эти растлевающие жизнь настроения, которые так сильны в лирике эпохи, возникли впервые, когда мне, выросшему в деревне, весною 1912-го года после долгого перерыва пришлось снова соприкоснуться с нею.

Так же, как некогда в Кондрове, катились по уже бурому подмосковному шоссе ковровые деревенские санки. Кое-где по сторонам влажно чернели голые деревья. От деревьев, на уже рыхлый ноздреватый снег узорчато падали синие тени. С искрящихся на солнце сосулек весело капала капель. На маслянистых навозных кучах копались куры и, хлопая крыльями, перекликались петухи.

Продающиеся усадьбы, которые я ездил осматривать, вместе с родителями жены, собиравшимися купить небольшое именьице, показывали обыкновенно пожилые, на вид степенные мужики, которых крестьяне, стекавшиеся посмотреть на приезжих, кое-где по старине еще именовали бурмистрами.

Стоило, однако, после осмотра имений (в большинстве случаев помещики в них уже не жили) по душам разговориться с патриархальными на вид управляющими и крестьянами, чтобы сразу же почувствовать, что былой деревни уже нет. В 1912-м году за всеми продажами имений стоял 1905-й год: помещичье безденежье, крестьянское нежелание работать на дармоедов, предчувствие новых революционных вспышек. Да и как было их не предчувствовать после знаменито

го «Крестьянского съезда» 1905-го года, на котором деревенские депутаты так прямо и заявили: «Не было ни одного случая насилия: били только помещиков и их управляющих, да и только в том случае, если они сопротивлялись».

Было ли создавшееся накануне войны положение по существу столь безвыходным, каким оно оказалось, в конце концов, потому, что уж очень простым представлялся выход из него той свободолюбивой интеллигенции, которая одна только и могла спасти Россию? Обладай она более глубоким чувством трагической сущности истории, более глубоким пониманием

греховной природы всякой власти, не думай она в своем просвещенском оптимизме, что достаточно введения ответственного перед народом министерства, чтобы все сразу пришло в порядок, она, быть может, и нашла бы в себе мудрость дальнейшего претерпения безвольной и безыдейной, но далеко не такой кровавой, как то казалось нашей общественности, власти, которая, как я писал еще в 1915-м году, одна только и могла довести войну до приемлемого конца и на тормозах спустить Россию в новую жизнь. Но в том-то и горе, что этой возможности в прогрессивном лагере никто не чувствовал. Десятилетиями обострявшаяся борьба между правительством и обществом приняла во время войны столь острые формы, что ни у кого не было сомнений в том, что только общество, свергнув монархию, сможет спасти Россию.

Как иначе понять, как объяснить знаменитую фразу Милюкова, сказанную им после опубликования манифеста 17-го октября 1907-го года: «Ничего не переменилось, война (с правительством) продолжается». И таких фраз было в свое время произнесено не мало. «Зачем говорить о возможности столкновения общества и власти, – витийствовал любимец публики Ро-дичев, – голосу веления народного ничто не может противостоять. Нас пугают столкновением. Чтобы его

не было – одно средство – знать, что его не может быть: сталкивающиеся с народом будут столкнуты силою народа в бездну».

Какой легкомысленный, банкетно-риторичный звон! А ведь и он выслушивался передовой интеллигенцией чуть ли не со слезами на глазах. Что говорить: героичности, жертвенности, вдохновения, дара борьбы в русской интеллигенции, как либеральной, так в особенности и социалистической, было хоть отбавляй; зато трезвости, деловитости, политического глазомера – мало. Я знаю – все это было уже не раз сказано, но есть истины, которые необходимо неустанно повторять себе и другим.

С эмигрантской памятью трудно бороться, но не будем слишком строги к ней: без прикрашивания прошлого многим из нас не вынести бы своего настоящего. Но не будем также и поддаваться обманчивым воспоминаниям: в малой доле яд целебен – в большой смертоносен. Скажем потому просто и твердо: хорошо мы жили в старой России, но и грешно. Если правительство и разлагавшиеся вокруг него реакционные слои грешили, главным образом, «любоначалием», то есть похотью власти, либеральная интеллигенция – «празднословием», то описанные мною в этой главе круги повинны, говоря словами все

той же великопостной молитвы Ефрема Сирина, в двуедином грехе «праздности и уныния».

Дать людям, рожденным после 1914-го года правильное представление об этом грешном духе, об его тончайшем аромате и его растлевающем яде, не легко. Дух праздности, о котором говорю, не был, конечно, духом безделья. Наша праздность заключалась не в том, что мы бездельничали, а в том, что убежденно занимались в известном смысле все же праздным делом:

насаждением хоть и очень высокой, но и очень мало связанной с «толщью» русской жизни культуры.

Многие это чувствовали, томились этим. В том числе все тот же Александр Блок. «Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся. Чем больше привык к красивостям, тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь действительной связи между временным и не временным, до тех пор не станешь писателем не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным». Точнее сказать трудно: «праздность» культурной элиты канунной России заключалась, конечно, лишь в том, что, занимаясь очень серьезным для себя и для культуры делом, она, с социологической точки зрения, занималась все же «баловством».

Вверх по Дмитровке тянутся высокие (собственные) и низкие (извозчичьи) санки. В шею теплым дыхом пышут ноздри наседающей сзади «резвой». Вот во дворе за оградой показывается двухэтажный вост-ряковский особняк, в котором помещается Литературно-художественный кружок и собирается Общество свободной эстетики.

В тепло натопленной просторной передней приятно пахнет надушенными женскими шубками. У больших зеркал привычно поправляя прически и глубоко заглядывая самим себе в глаза, охорашиваются московские дамы, любительницы литературных мод и модных знаменитостей. Они возбуждены. Предстоит бой символистов с футуристами. Он будет пожалуй еще горячее, чем бурная встреча символистов со «знаньевцами», общественниками-натуралистами: от людей, ходящих днем по улицам в цилиндрах и длинных цветных кофтах, можно всего ожидать. Особенно интересует вождь

футуристов «Смышленый малый Маяковский, который кофтой цвет танго наделал бум из ничего».

Толпа, среди которой мелькают знакомые лица, медленно подымается по устланной ковром лестнице мимо – Боже, до чего же памятного портрета Ермоловой кисти Серова. Она стоит в

привычной исполненной сдержанного движения позе. На ней закрытое черное бархатное платье с трэном. Гордая голова вдохновенно откинута назад. Вот-вот она сдвинется с места, вплотную подойдет к рампе, исповеднически подымет кверху правую руку и тихо начнет своим низким, глуховатым, но проникновенным голосом один из тех возвышенных монологов в защиту справедливости и свободы, которыми она неизменно потрясала наши сердца.

Не менее характерен портрет Шаляпина. Певец изображен малоголовым долговязым парнем с капризно-печальным лицом и хмельно нависшими на лоб вихрами. Мягкая рубашка, жилет и галстук как будто из-под смокинга, но с плеч спадает двуполый сюртук, сидящий на манер поддевки. Серов умел разгадывать людей.

Несколькими ступеньками выше нас с женою осанисто колышет свои барские дородности граф Алексей Николаевич Толстой. Рядом с ним пружинисто шагает талантливый художник Жорж Якулов, похожий на фавна армянин, в долгохвостой визитке и лаковых штиблетах. Приятелям весело. Ха-ха-ха-ха… могуче разносится всхрапывающий смех Толстого. Но вот происходит какое-то непонятное замешательство: почти одновременно раздаются испуганный женский возглас, чей-то звонкий смех и возмущенные голоса. Оказывается Алешка Толстой, как его называли в приятельской компании, почувствовал себя легавою собакою и, крикнув самому себе «пиль», схватил подымающуюся перед ним даму за ее розовые гусиные лапки…

Зал постепенно наполняется живой говорливой публикой. Вокруг известных московских «прелестниц», как говорили в начале прошлого века, вьются знаменитости; писатели, художники, музыканты, актеры, психиатры, адвокаты – почти все в сюртуках. Королями ходят по залу газетные критики. В отличие от советских и гитлеровских писак, обязанных расхваливать все, что наполняет кассы государственных и городских предприятий, они чувствуют себя неподкупными олимпийцами.

Кое-где видны мундиры аполитичных студентов-культурников «белоподкладочников». Во всех рядах много одевающихся под Айседору Дункан изломанных «пластических девиц». Опытному глазу сразу заметны сговаривающиеся представители оппозиционных литературно-миросозерцательных группировок. Вот вождь иммажинистов – наглоликий, лопоухий и щегольски вылощенный Вадим Шершеневич, специалист по зычному прорезыванию своим громадным, резко-металлическим голосом несущегося к эстраде шума и свиста своих оппонентов.

Рядом с ним Маяковский.

Превыше крестов и труб, Крещеный в огне и дыме, Архангел – тяжелоступ, Глава футуристов… Владимир. Он возчик и он же конь, Он прихоть и он же право. Вздохнул, наплевал в ладонь: – Держись, ломовая слава…

В то время как в кулуарах организуется оппозиция, на эстраде, обмениваясь улыбками и рукопожатиями, уютно рассаживаются за длинный стол общепризнанные представители уже выкристаллизовавшихся литературных школ и направлений. Когда этого требует тема доклада, к членам правления Кружка в качестве заранее приглашенных оппонентов подсаживаются то философы, то музыкальные или театральные критики.

Докладов и лекций без прений Москва, как я уже отмечал, не любила. Мысль, в отрыве от горячей борьбы противоположных мнений ее не зажигала. Отсюда и любовь не только к публичному обсуждению всевозможных, в особенности нравственно-религиозных и общественных вопросов, но и к бывшим накануне войны в большой моде постановкам литературно-судебных процессов. Эстрадные суды над «Екатериной Ивановной» Леонида Андреева с назначением прокуроров, защитников и присяжных заседателей из среды литераторов, неизменно собирали, как в столицах, так и в провинции, мало взыскательную, но очень большую публику.

Собрания Литературно-художественного кружка были как по своим темам, так и по своему уровню весьма различны. Когда на эстраде появлялись представители революционных течений в искусстве, прения превращались в настоящие скандалы, доходившие иной раз чуть ли не до драки. В своих воспоминаниях Белый сам рассказывает о том памятном вечере, на котором его и его приверженцев кто-то обозвал «лучезарными щенками», а он своих оппонентов «обозною сволочью символизма».

По окончанию прений, в то время, как широкая публика, оживленно беседуя, расходилась по домам, члены Кружка с тем особым московским душевно-утробным подъемом, который так хорошо описан Буниным в «Иде», рассаживались вокруг столиков светлого клубного ресторана. После ужина кое-кто уходил в устланные зеленым сукном, залитые зеленоватым светом и заставленные сплошными стеклянными шкапами библиотечные комнаты, а кое-кто к зеленым столам игорного зала – попытать свое счастье.

К двенадцати ночи, а то и позднее, подъезжали только что отыгравшие актеры со следами спешно смытого грима на выразительных обвислых лицах. Весело засовывая

подкрахмаленные салфетки за кра

хмальные воротники, они со страстью набрасывались на водку и закуску. Такой постоянной готовности есть, пить, громогласно каламбурить и ухаживать, какою обладали наши лицедеи, в других слоях общества и в других странах я не встречал. Несмотря на то, что многие из них (главным образом «старики» Малого театра) страдали всевозможными ожирениями и не могли начать сезона не побывав на курортах, они обладали совершенно несокрушимым физиологическим оптимизмом. Помню ночные блины у М. Ф. Ленина, начинавшиеся в полночь, после спектакля и кончавшиеся в три часа утра. Как можно было после таких блинов спать и как ни в чем не бывало в 10 утра быть уже на репетиции, одному Богу известно. Но ничего, удавалось, причем не раз и не два, а целую неделю подряд.

В том же доме, в котором помещался Литературно-художественный кружок, заседало и Общество свободной эстетики. Если Кружок был витриною новой литературы, то Общество свободной эстетики было скорее ее лабораторией. На сравнительно малолюдные собрания этого Общества собиралась только своя, частично весьма снобистическая публика. Здесь корифеи «символизма» читали свои новые стихи и более утонченно, чем в Кружке, развивали свои новаторские теории. Здесь же интимно принимались иностранные писатели и художники, «комбатанты» нового, революционного искусства. Помню выступления Матисса и Маринетти. Не знаю, какое впечатление вынесли они от своего посещения Москвы, но боюсь, что они вернулись домой с головами, вскруженными не только заморскими винами и русскими водками, но и чрезмерно сложными русскими теориями апокалиптической историософии и теургического искусства. Русская мысль была в сущности всегда менее доступна людям романской, чем германской культуры.

В начале текущего века борьба этих культур не играла той роли, что в 30-х годах прошлого столетия,

когда за душу России в западническом лагере боролись вольтерианцы и фурьеристы, а в славянофильском приверженцы немецкой романтики. Но все же русские символисты, как я уже отмечал, отчетливо делились на гетеанцев и бодлерианцев, а знатоки и любители новой музыки – на поклонников консервативного Николая Медтнера и приверженцев барона Петра Ивановича д'Альгейма, мужа незабвенной Марии Алексеевны Олениной д'Альгейм.

Кто не помнит ее концертов сначала в Малом зале Благородного собрания, а потом в собственном помещении созданного ею и мужем "Maison de Lied". Она пела не только на

всех европейских языках, не исключая еврейского жаргона, но и из глубины всех народных душ. Если бы дух ее концертов когда-либо в будущем мог стать духом новой «Лиги наций», Европа была бы спасена.

Мария Алексеевна никогда не была первоклассной певицей (у нее был небольшой и не безусловно приятный голос), не была она и первоклассной эстрадной актрисой в духе Шаляпина, но она была настоящею «жрицей» искусства в полном смысле этого большого слова. Несмотря на то, что Мария Алексеевна была весьма самостоятельной личностью, она на эстраде производила впечатление медиума. Для людей, близко знавших чету д'Альгейм, это не удивительно. Для них не тайна, какую громадную роль играл в творчестве своей жены Петр Иванович. Даже песни Мусоргского были созданы этим гениальным французом, всю жизнь искавшим новый образ синтетического искусства. Не смею утверждать, но думаю, что Скрябин эпохи «Экстаза» и «Прометея» был бы невозможен без влияний и внушений д'Альгейма.

Вспоминая д'Альгеймов, нельзя не вспомнить в свое время широко известного всей передовой России профессора Тарасевича, бессменного председателя съездов Пироговского общества.

Тарасевичи и д'Альгеймы были закадычными друзьями. Их соединяли светлые юношеские воспоминания о Париже, страстная любовь к искусству, главным образом, к музыке и какое-то особое, высокое «пиршественное», в платоновском смысле этого слова, ощущение жизни.

После концертов Марии Алексеевны в на редкость радушный, артистически беспечный дом Тарасевичей, к заставленному цветами, фруктами и винами столу часто собиралось довольно большое общество. Случалось, что после оживленных разговоров и страстных споров между Петром Ивановичем, Белым, Медтнером, Рачинским и тишайшим Петровским, Мария Алексеевна подходила к роялю, чтобы показать как они с мужем задумывают исполнение какой-нибудь новой, находящейся еще в работе вещи.

Лишь много лет спустя узнал я, что в душе профессора Тарасевича не все обстояло так благополучно, как оно казалось наполнявшим его дом друзьям и знакомым. Все чаще и чаще заговаривал он о том, что надо прекратить рассеянную жизнь, собраться с силами и засесть, наконец, за науку, чтобы успеть перед смертью завершить работу, так блестяще начатую под руководством Мечникова в Пастеровском институте в Париже.

Мечте Льва Александровича не суждено было осуществиться.

Артист в душе, еще молодым ученым не доведший до конца с трудом налаженный научный опыт ради замечательной постановки «Тристана» в Миланской опере, и горячий общественник по темпераменту и воспитанию, он при всем желании не мог переменить стиля и перестроить обихода своей жизни.

Опираясь на ряд писателей, социологов и философов – Герцена, Михайловского, Толстого, Бердяева и других, можно было бы написать поучительное исследование борьбы дилетантизма и профессионализма в русской культуре 19-го века.

Трагедии духовной скудости и профессиональной узости Россия почти не знала. Обратная же трагедия – трагедия слишком щедро отпущенных даров и связанного с этой щедростью дилетантизма, была уделом многих крупных дарований.

Вспоминая царившие в предвоенное время среди культурной элиты России настроения и идеи, нельзя не уделить особого внимания тому хаосу и распаду, что господствовали у нас в сфере любви и семьи.

Высказанная Белым в третьем томе его воспоминаний мысль, что образ столяра Кудеярова («Серебряный голубь»), главы «голубиной секты» и сожителя «духини» Матрены, представляет собою как бы пра-образ Распутина, кажется мне очень верною. Нет сомнения, что «распутиновщина» появилась в России задолго до Распутина. Вероятно, сам Белый только потому и расслышал в подмосковном селе Целебееве мистически-эротически-революционный аккорд кудея-ровской распутиновщины, что тот же аккорд уже годами растлевал душу интеллигентски-писательской среды.

Несмотря на то, что после грозных событий 1905-го года уже ясно обозначился неминуемый срыв в пропасть, передовая Россия безудержно крутилась в каком-то напрягающем нервы, но расслабляющем волю похмельи. Как раз в пореволюционные годы в Москве один за другим вырастали новые и расширялись старые рестораны и кафе. В пику французски-фрачному «Эрмитажу» и старозаветно-купеческому Тестову, в самом центре Москвы на Арбатской площади отстроилась полюбившаяся москвичам «Прага». В ней, овеянной печальными воспоминаниями о революционно-банкетной кампании в эпоху первой Государственной Думы, чаще, чем в других ресторанах, собиралась бо-гемно-купеческая и артистическая Москва. Чем страшнее становилась жизнь, тем больше «голубков» и троек высылало к полуночи на Арбатскую площадь экипаж

ное заведение Туркина, тем длиннее становился хвост высокосаночных лихачей у подъезда «Праги».

Ночь за ночью неслись по бледно-сиреневой под электрическими шарами Тверской в снег и мглу заиндевелых аллей Петровского парка лихие ковровые санки со щитками, похожими на перевернутые паруса.

Экзотическим цветком распускался в хмельных мозгах утопающий в снегах загородный ресторан: негр в красной ливрее, пальмы, нудь, стон и страсть сладостно-тлетворного «танго», вперемежку с более родной, в Грузинах на Сенной площади зародившейся, старомосковской цыганщиной:

Перебой и квинта вновь Ноет-завывает, Приливает к сердцу кровь, Голова пылает.

Чибиряк, чибиряк, чибиряшенька,

С голубыми ты глазами, моя душенька.

Не будем обманываться: по своим ритмическим перехватам буйные, хмельные, но в сущности трагически-чистые слова, вошедшей как раз перед войной в большую моду «цыганской венгерки» слушались кутившей в Стрельне и у Яра московской публикой совсем не в тех чувствах, в которых их некогда пел Фету злосчастный Апполон Григорьев и в каких их еще в конце 19-го века слушала на Нижегородской ярмарке полная рогожинских страстей серо-купеческая и провинциально-дворянская Россия.

В Москве начала века, в среде меценатствующего купечества, краснобаев присяжных поверенных, избалованных ласкою публики актеров, знатоков загадочных женских душ и жаждущих быть разгаданными женщин, в среде литераторов, поэтов и художников нашей «полумиллионной и полубогемной, ныне живущей, завтра сходящей Москвы», вместо стихии, уже давно царила психология, вместо страстей – пережи

вание, вместо разгула – уныние. Головы скорее фантазировали, чем пылали, а к сердцу приливала не кровь, а сгущенный шартрезом и бенедиктином «клюквенный сок» блоковски-мейерхольдовских мистиков.

Под несущиеся с эстрады исступленно-скорбные рыдания:

Басан, басан, басана,
Басаната – басаната,
Ты другому отдана,
Без возврата, без возврата.
Что за дело – ты моя,
Разве любит он, как я?

растленные сладостною мертвечиною брюсовской эротики, расчесанные, напомаженные юноши томно цедили в русалочьи души своих кутающихся в надушенные меха красавиц совсем не

григорьевские строки своего «мэтра»:

Идем свершать обряд не в страстной, детской дрожи,
А с ужасом в глазах извивы губ свивать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незванная, как тать…

Как ни остры были яды брюсовской эротики, они все же действовали далеко не так сильно, как более тонкая отрава «блоковщиной».

Над сложным явлением «блоковщины» петербургской, московской, провинциальной, богемной, студенческой и даже гимназической, будущему историку русской культуры и русских нравов придется еще много потрудиться. Ее мистически-эротическим манифестом была «Незнакомка»:

И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль…

Эти медленно-певучие строки с такою магическою силою захватывали наши души, что даже и наиболее чуткие среди нас не замечали в них кощунственного слияния тоски по «Прекрасной даме», которую, благословленный на путь своего художественного служения Соловьевым, Блок воспевал в своих ранних стихах, с наркотически-кабацкой эротикой, что перед самой войной доводила до исступления многотысячную публику Вертинского, с монотонно-сомнамбулическим сладострастием распевавшего по эстрадам свою знаменитую песенку: «Ваши пальцы пахнут ладаном»…

До чего велика, но одновременно мутна и соблазнительна была популярность Блока, видно и из того, что в то время как сотни восторженных гимназисток и сельских учительниц переписывали в свои альбомы внушенные Блоку просительной

ектенией строки:

Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море, О всех, забывших радость Твою…

– проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с прикрепленными к шляпам черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве «Незнакомок».

Будь этот эротически-мистический блуд только грехом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он в известном смысле был и ее исповедничеством. Замечание Достоевского, что русская идея заключает

ся в осуществлении всех идей, верно не только по отношению к общественной, но также и к личной жизни. Ходасевич правильно отмечает в своем «Некрополе», что люди, в особенности женщины декадентской среды, так же, как в свое время и народовольцы, не признавали расхождения слова и дела. Требуя, чтобы романы развивались в жизни так же последовательно, как в книгах, они во всем смело шли до конца, превращая тем самым эстетический канон искусства в нравственный закон. Стыдно вспомнить, сколько мы в свое время говорили, что любовь, как соната, должна строиться на борьбе двух тем, что все измены дон-Жуана свидетельствуют о его верности образу «вечной женственности», что трагедию любви нельзя смешивать с неудачною любовью, ибо как в искусстве высшими формами являются не назидательная басня и натуралистический роман, а лирическое стихотворение и трагедия, так и в любви, исполненной вечности, миг, все равно счастливый или несчастный, значительнее долгих лет обыденного брака.

Забота о постижении вечности в любви тяготила, впрочем, немногих. Для большинства соловьевски-бло-ковская тема «вечной женственности» была лишь ли-тературною фразою, не связанной ни с каким личным опытом. Зато с невероятною быстротою размножались эстетствующие чувственники, проповедники мгновений и дерзаний. Этот культ, певцом и жрецом которого был Валерий Брюсов, стоил его адептам многих мук и многих жертв.

Помнящие описываемую мною Москву, помнят, конечно, взволнованные разговоры, вызванные прочтением Брюсовым за ужином в Литературном кружке вскоре после самоубийства близкой ему поэтессы Львовой посвященного новой встрече стихотворения:

Мертвый в гробе мирно спи,

Жизнью пользуйся живущий…
Лучшего пояснения его кредо:
Все в жизни, быть может, лишь средство
Для ярко-певучих стихов…
нельзя себе представить.

Как ни анормальна была атмосфера в культурно-передовых и наиболее талантливых кругах Москвы, она в тех же кругах Петербурга была еще взвинченнее и нервнее. Здесь религиозные и художественные вопросы как-то сложнее, но и непосредственнее переплетались с политическими утопиями и социальными мечтами, что создавало на заседаниях Религиозно-философского общества чуждую действительности и трезвости ауру.

Не случайно, что свой мертворожденный мистический анархизм милейший Георгий Чулков защищал не в Москве, а в Петербурге. Не случайно также, что проповедническая деятельность одного из самых примечательных, но и самых беспредметных мыслителей «рубежа двух столетий», певца двух бездн и пламенного защитника социальной революции во имя «третьего завета» Д. С. Мережковского, никогда так не волновала Москвы, как Петербург. Беловские описания каких-то чуть ли не хлыстовских радений в петербургских салонах полны, конечно, карикатурных преувеличений и все же им нельзя отказать в некоторой зоркости. Нет сомнения, что наиболее значительным людям канунной России определенно не хватало практической деловитости и религиозной трезвости. На реальные запросы жизни передовая интеллигенция Есех окрасок и направлений отвечала не твердыми решениями, а отвлеченными идеологиями и призрачными чаяниями. Социалисты чаяли «всемирную социальную революцию», люди «нового религиозного сознания» – оцер-ковление жизни, символисты – наступление теургического периода в искусстве, влюбленные – встречу с

образом «вечной женственности» на розовоперстой вечерней заре.

Всюду царствовало одно и то же: беспочвенность, беспредметность, полет и бездна.

Над бездонным провалом в вечность, Задыхаясь, летит рысак…

Чудом перемахнув через бездну большевистской революции, мы очутились в Западной Европе. Большинство описанных мною философов, писателей, журналистов, политиков и всяких иных известных и незаметных деятелей русской культуры оказалось в

Париже.

Чуть ли не ежегодно наезжая из Германии, где я в 1926?м году получил профессуру, в Париж и постоянно встречаясь там со старыми московскими знакомыми, мы с женою невольно воспринимали русскую жизнь Парижа, как эпилог московской довоенной жизни. Что говорить, парижская эмиграция не горела тем чистым ярким пламенем, к которому ее обязывало страдание родины. Были и чад, и тоска, и злоба, и уныние. Но все же нельзя отрицать, что в нищей, неприкаянной эмиграции совершался процесс покаяния и духовного отрезвления.

В то время, как чисто политическая, «ничего не забывшая и ничему не научившаяся» эмиграция изнемогала в партийной междоусобице, вокруг представителей так называемого «нового религиозного сознания» уже начиналась творческая работа по осмысливанию развернувшейся трагедии. В этой работе по-новому перегруппировывались люди и силы, вырастали новые религиозные, культурные и общественно-политические фронты.

Волновавшая в свое время Религиозно-философское общество тема сращения христианства и социальной политики начинала понемногу объединять от

дельные группы православных мыслителей, в которых революция не убила веры в христианское дело, со вчерашними революционерами, пережившими большевистскую трагедию как свой личный грех. Писатели группы морозовского «Пути», продолжавшие начатое в Москве на Знаменке дело под тем же названием в Париже, начали, к смущению правоверных демократов-просвещенцев, все чаще появляться на страницах эсеровских «Современных записок».

В результате этой христианской прививки к стволу традиционного в России толстого общественно-политического журнала, религиозно-философские статьи начали приобретать такой вес и стали отнимать так много места, что И. И. Бунаков-Фондаминский, видный член Центрального комитета партии социалистов-революционеров, старый друг Мережковских и приверженец их революционно-христианских идей, решил в 1926-м году основать «Новый град», журнал, посвященный вопросам социального христианства, ближайшими сотрудниками которого оказались талантливейший ученый и блестящий писатель, доцент Петербургского университета, Федотов и я. Чуть ли ни в каждом номере «Нового града» писали Н. А. Бердяев, приобретший в эмиграции всеевропейскую известность, отец Сергий Булгаков, выросший в изгнании в крупнейшего православного богослова, перешедшие на религиозные позиции идеалисты Б. П. Вышеславцев и С. И. Гессен, а также и некоторые евразийцы. Нет

сомнения, что историки эмиграции в будущем установят не малое влияние «Пути», «Современных записок» и «Нового града» на лучшие элементы эмигрантской молодежи.

Смотря по своему политическому направлению, эти историки или вменят представителям «пореволюционного религиозного сознания» в большую заслугу, что они удержали эту молодежь от слепой ненависти к большевикам, от националистического озверения, белогвардейского чванства и несовместимого с христиан

ством, утробного антисемитизма, или поставят все это им в вину.

Как от «Современных записок» отпочковался «Новый град», так накануне мировой войны от «Нового града» отпочковалось «Православное дело». Журнал этот сознательно отодвигал на второй план разработку догматических и религиозно-философских вопросов, выдвигая на первое место проблемы практического христианства, проблемы живой, духовной и практической помощи ближнему. Надо отметить, что «Православное дело» началось не с журнала, а с реальной помощи нуждающимся элементам эмиграции. Когда-нибудь будет подробно рассказано и об этом «Православном деле», во главе которого стояла монахиня Мария, урожденная Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева, по второму Скобцова. Духовный путь, пройденный этой замечательной женщиной, можно по праву рассматривать, как прообраз того пути, который один только и ведет к спасению.

В свое время душа матери Марии пылала всеми страстями и болела всеми грехами описанной мною эпохи. Со свойственной ей глубиною она прошла как через мистическую муть петербургской блоковщины, так и через социалистический утопизм.

Прокомиссарствовав во время революции некоторое время в каком-то южном городе, по мандату левых эс-эров, и написав большое количество по форме не совершенных, но своеобразно значительных стихов, она пришла к заключению, что так дальше жить нельзя. Поняв это, она, обремененная тяжелыми заботами о семье, состоявшей из трех детей и матери, и принужденная добывать хлеб в качестве "Femme de menage", все же успела окончить богословский факультет в Париже. Окончив его, она приняла постриг, но и монахиней осталась работать в миру. Почти единоличным усилием добыла она довольно большие средства, открыла странноприимный дом для нищей эмиграции и

устроила дешевые квартиры для нуждающихся писателей. Одновременно она продолжала сотрудничать в журналах по

религиозным вопросам, напечатала, к смущению многих духовных лиц, воспоминания о своих встречах с Блоком и выпустила сборник стихов, посвященных памяти ее погибшей в Советской России старшей дочери. Бывая в Париже, мы часто ходили в помещавшуюся в гараже домовую церковь общежития матери Марии, где было как-то легче молиться, чем в старорежимном храме на Rue Daru с традиционно громогласными дьяконами.

Я подробней остановился на жизни матери Марии, потому что в ее деятельности с редкой последовательностью начала раскрываться та правда, что уже накануне войны стучалась в двери двадцатого века.

Большим утешением для всех нас, работавших в эмиграции над синтезом средневекового боговерия, либерально-гуманитарного свободолюбия и социальной справедливости, было то, что мы не чувствовали себя отщепенцами. Доходившие до нас скудные сведения с родины согласно свидетельствовали о том, что и там, быть может, там-то прежде всего, растет живая вера в Бога, тоска по личному творчеству и жажда новой справедливости.

К такой же цели стремились рядом с нами и новые люди Европы. В кругах французского неотомизма, вокруг значительной и благородной фигуры Жака Мари-тэна, на страницах журнала "Esprit" и в сердцах группирующейся вокруг этого журнала молодежи шла та же, начатая в России Соловьевым, работа по сращению живого христианства с социальной эволюцией, что и в наших рядах.

К той же цели, хотя иными путями и в другой религиозно-психологической тональности, пролагали себе путь вместе с нами и неотомистами и религиозные социалисты Германии, Англии, Америки. И все это ох

ватывалось и скреплялось работами христианских экуменических конференций.

Я пишу об эмиграции в прошлом времени. Пишу в тревожном предчувствии, что в недавно занятом немцами Париже она уже начала перерождаться в сплошь безидейное беженство, исповедующее по необходимости только один девиз: «спасайся, кто может». Очень боюсь, что и по окончании войны совсем захиреет или, что еще хуже, исполнится новым духом наша эмигрантская жизнь. Не думаю, чтобы Бердяеву удалось возобновить «Путь», а нам с Бунаковым «Новый град». «Православное дело» в тиши, конечно, будет продолжаться, но тратить деньги на издание собственного журнала оно вряд ли уже сможет: каждое су придется беречь на хлеб и картошку.

Нет сомнения, что на авеню де Версай, в заставленной книжными полками и заваленной рукописями и журналами квартире, уже не будут собираться кружки богословов, философов, поэтов и писателей для горячих бесед о старых грехах России и о ее будущем образе.

Прекратят свой выход и многие эмигрантские журналы, целый ряд крупных научных трудов, подготовленных к печати как раз накануне войны, останется не напечатанным. Не увидят света, по всей вероятности, и многие художественные произведения. Осиротеет и, если не обольшевичится, то окончательно денационализируется эмигрантская молодежь.

Не печалиться душой, что вспыхнувшей войной окажется загубленным с таким трудом возделанное нами опытное поле пореволюционной русской культуры, конечно, нельзя. Но и падать духом нет основания. Совершающееся для нас не неожиданно. Русская религиозно-философская мысль 19-го века полна предчувствий и предсказаний тех событий, что ныне громоздятся вокруг нас. Начиная с Достоевского и Соловьева и кончая Бердяевым, Мережковским и Вячеславом Ива

новым, она только и думала о том, что станется с миром в тот страшный час, когда он, во имя мирских идеалов, станет хоронить уже давно объявленного мертвым христианского Бога.

Час исполненья страшных русских предчувствий настал. Потому так и бушует мрачнеющий океан истории, что он не принимает в свою глубину насильнически погружаемого в него Гроба Господня.

Спасение только в вере, что после мрачных предсказаний исполнятся и светлые чаяния России, что…

Железным поколеньям
Взойдет на смену кроткий сев.
Уступит и титана гнев
Младенческим Богоявленьям.

Март-июль 1940 г.

Глава VIII ВОЙНА 1914-ГО ГОДА

Последнее лето перед войной мы с женой проводили в Ивановке, небольшом именьице ее родителей, о покупке которого весною 1910?го года я рассказывал в предыдущей главе. Наша Ивановка находилась в двух верстах от большой деревни Знаменки.

Таких живых, оборотистых деревень, как Знаменка, под Москвой насчитаешь не много: кузница при въезде в деревню, кузница на выезде, почта, школа, кооператив, две большие лавки, что твой Мюр и Ме-релиз, два трактира и прекрасная земская больница, в которой в большевистские годы самоотверженно работал обрусевший грек, доктор Кастараки.

Население Знаменки отличалось живостью, талантливостью, предприимчивостью, но, по правде сказать, и жуликоватостью. В церковь ходил мало кто, да и то лишь по большим праздникам.

Верховодили в Знаменке три человека: оборотистый лавочник Фокин, отец которого разбогател на закупках провизии в Москве для местных помещиков, барышник Колесников, отмахивавший в свои 75 лет верст по 30-ти в день верхом без седла на сложенном мешке, со своими тремя сыновьями, один другого статнее и краше, и Лукин – небольшого роста мужичонко интеллигентского вида, спаивавший деревню водкою в чайниках и раздевавший ее высокопроцентными ссудами.

Описывая Знаменку, не могу не сказать нескольких слов о моем большом приятеле, сапожнике Иване Алексеевиче Лисицыне.

Новая, светлая и просторная изба Ивана Алексеевича стояла на отлете, самым своим положением как бы отмежевываясь от деревенской темноты и грязи. Хотя Лисицын и был первоклассным сапожником, вонючее сапожное ремесло как-то не шло к нему, всем своим обликом, высоким ростом и барственною осанкою напоминавшему Тургенева. Особенно красив бывал Иван Алексеевич зимою, когда в новом нагольном тулупе поверх синей поддевки и в песочно-голубова-гой беличьей шапке с наушниками, он стоя выезжал со двора на своем сытом, гнедом мерине, запряженном в новые розвальни с решетчатою спинкою.

В годы революции Лисицын частенько заглядывал к нам в усадьбу. Приезжал отвести душу: посидеть в чистом месте, побеседовать с образованными людьми. Хотя дела его и при большевиках шли недурно – его опрятная, дородная, как лунь седая, но еще очень крепкая жена не раз угощала меня настоящим чаем с сахаром и сдобными ржаными лепешками – он, как никто,

страдал от творившегося кругом безобразия.

Ему, заботливому хозяину и порядливому человеку, никогда не переставшему любоваться сытостью своего скота, чистотою соломенной подстилки в стойлах, продегтяренностью сбруи в богатом медном наборе, плотною кладкою заготовленных на зиму под навесом дров, нежностью канареечной трели в окне и своим дорогим, заграничным ружьем, было до слез больно смотреть, как «товарищи», без пользы и смысла для себя и для дела, губили барское и крестьянское добро.

Не прозевать сворота с шоссе в Ивановку, в сумеречный час, даже и знакомому с местностью человеку было нелегко. К нам в усадьбу вела не дорога,

а так, многоколейная российская разъезженность, летом пыльная, а по весне и осени топкая. С шоссе же притаившейся у речки в овраге деревни не было видно.

Подводившая к усадьбе старая березовая аллея начиналась сразу же за деревней. Если ее не срубили, то она, конечно, и сейчас начинается там же, за мещанскими избами, но писать об Ивановке в настоящем времени я решительно не могу: пробовал – не выходит.

По обоим сторонам этой чуть подымавшейся в гору аллеи лежали четко обрамленные густым ельником поляны. Правая из них вплотную прилегала к обнесенному забором старому яблонному саду. Как молод, как прекрасен бывал он по веснам в цвету.

Уйдя из-под низко свисавших березовых ветвей, дорога плавно огибала полукруг желтой акации и тут же радостно вбегала в приветливо раскрытые ворота усадьбы. Старый, по крайней мере столетний, но совсем еще крепкий, умно и удобно построенный деревянный дом с двумя террасами и антресолями; перед ним, на полукруглой лужайке два гигантских темно-зеленых конуса – две редкостной породы ели; перед большой террасой, в дальнем углу обширной песочной площадки – старый клен, под ним круглый стол и скамейки. Позади яблонный сад на сто корней, а дальше парк, за которым открывался привольный вид на незатейливые, но очаровательные русские дали…

Все скромно, не Бог весть как красиво, но душевно и домовито. Чувствовалось, что люди строились и обзаводились на долгую и прочную жизнь, себе и детям на радость. Окружена была Ивановка такими же, как и она сама, небольшими именьицами, без барских роскошей и затей. Лишь в последних многовековых Вознесенских дубах, развалившихся, как и вся старая Россия, на наших глазах, чувствовались остатки широкой планировки английского парка.

В наше время Вознесенское было уже не барским имением, а доходным предприятием лесоторговца Туманова, рыжего с поросячьим лицом «кулака», не признававшего над собою ничьей власти, кроме власти старика-отца, человека во всех отношениях весьма замечательного и всеми уважаемого. Детей у Туманова, еще молодого мужика, была куча – мал-мала меньше и все в отца: рыжеватые, в веснушках, с белыми ресницами и бровями. Три старших сына-подростка, намечались такими же предприимчивыми хозяевами, как отец. Тумановы пахали на трех битюгах, доили четырех коров-ведерниц, занимались извозом и жгли уголь, купив у помещика по дешевке 50 десятин мелкого леса.

Большую роль в деревне играл брат Туманова, юродивый Пашка, который зиму и лето слонялся по деревням и именьям, подбирая с земли и подбрасывая в воздух щепки и прутья. Обыкновенно этот безвредный, немой идиот бывал тих и спокоен, но временами на него находило странное возбуждение: тогда он громко мычал и, густо краснея, гневно потрясал кулаками. Вера в Бога у ивановских мужиков была не очень крепка, но в Пашку, «Божьего человека», твердо верили не только бабы и детишки, но и мужики. Держалась эта вера на том, что и в большие морозы Пашка всегда ходил босой, в одной рубахе и безо всякого вреда для себя глотал селедочные головы и кости.

Богатому Туманову малая озабоченность жизнью и здоровьем больного брата в вину никем не ставилась. Считалось нормальным, что Божий человек одевается и питается соответственно своему положению в деревне и своему назначению в жизни. Умер Пашка уже в большевистское время, когда каждый рот, даже и в богатом хозяйстве, был на счету. Умер довольно странно и даже загадочно: ушел из дому и больше не вернулся. Искали ли его Тумановы по-настоящему – не знаю. Помню только то, что сразу же после ис чезновения Пашки священником с амвона было возвещено, что его останки найдет самая чистая душа. Пропал Пашка осенью, а по весне его «косточки» – в ту голодную зиму окрест деревень рыскало много голодных собак – нашел брат моей жены Андрей. Как знать не сыграло ли это обстоятельство некоторой роли в том, что своих «господ» ивановские крестьяне не тронули. Я лично, вплоть до высылки, находился с деревней в особо хороших отношениях, одно время даже был председателем ивановского сельского совета и в качестве такового воевал при дружной поддержке деревни с большевистским волостным исполнительным комитетом.

Летом 1914-го года в старом ивановском доме и небольшом

при нем флигеле проживало много счастливого и веселого народу: совсем еще молодые, на мой теперешний взгляд, «старики» Никитины – Николай Сергеевич и Серафима Васильевна, мы с Наташей, ее старший брат Андрей, обучавшийся вместе со мною философии во Фрейбурге, со своею женою Еленой, обладательницей низкого церковного контральто, сестра жены Марина, пианистка и поклонница Дункан, со своим мужем, впоследствии знаменитым скульптором, младшая сестра Лиза, брат Митя, незамужняя сестра Серафимы Васильевны полная, представительная, нарядная Лидия Васильевна, большая театралка, горячая поклонница Ермоловой и, наконец, племянница Никитиных Ольга, выросшая в семье как родная дочь.

Всем Никитиным, как давно уже покоющимся в ограде старого кладбища на Ильневской горе старикам, так и приближающейся вместе с нами к старости и смерти «молодежи», я чувствую себя бесконечно обязанным и по гроб жизни благодарным.

Страшные годы военного коммунизма мы пережили все вместе в нашей Ивановке, которая дала нам возможность не умереть с голоду и холоду, а мне лич

но написать роман «Николай Переслегин» и книгу о театре.

Вспоминая последнее предвоенное лето в России, я удивляюсь тому, как мало внимания мы уделяли войне, как мало тревожились быстротою и неотвратимостью ее приближения.

Не помню, чтобы я хоть раз, когда это было еще возможно, попытался купить иностранную газету, или узнать через знакомых, что думают в кругах немецкого консульства. У нас в Ивановке, в доме и парке, как в старинном романсе, царили «и мир, и любовь и блаженство».

Серафима Васильевна, счастливая тем, что, наконец-то, они с Николаем Сергеевичем заживут так, как уже давно мечталось, всем семейным гнездом в своем просторном доме, на собственной земле, целыми днями хлопотала по имению и по домашнему хозяйству.

Николай Сергеевич, приезжавший в деревню всего только на субботу и воскресенье, чувствовал себя в деревне «словно подмененным». В полотняном пиджаке, он все время упорядочивал и украшал свою усадьбу: чинил заборы, стриг акации, обрезал розы. Иногда работал в своей мастерской в каретном сарае – столярничал и шорничал. Наиболее счастливым чувствовал себя Николай Сергеевич субботними вечерами. Всласть напившись чаю на террасе, он сходил с газетой в сад и садился за круглый стол под кленом. Прочтя газету, он закуривал

папиросу и, наслаждаясь вечернею тишиною, отдавался своим мечтам о том, как разведет пчел, спустит и вычистит пруд и проведет шоссе до Лидина. «Как хорошо, Федор» – восклицал он каждый раз, когда я подсаживался к нему. Да, было хорошо, быть может не заслуженно, быть может даже непростительно, но все же очень хорошо. С золотых Ильневских холмов задумчиво наплывал грустный и умиротворяющий всенощной благовест. Навстречу ему из открытых окон гостиной неслись резвые

разбеги и тревожные аккорды шубертовских "1т-рготрˆ", которые разучивала Марина. В недалеком болотце с нежною истомою полоскали свои глотки лягушки. Кукушка в парке сулила нам долгие годы счастливой жизни…

Перед ужином мы с Николаем Сергеевичем и Наташей часто бродили по имению, выбирая место для нашего будущего дома. Строиться думали весной следующего года – осенью мы собирались на всю зиму заграницу. Наша московская квартира была уже с весны ликвидирована, мебель составлена в склад. Это ли не доказательство, что в войну нам как-то не верилось.

За вечерним чаем мы менее всего говорили о войне, в сущность связанных с нею вопросов во всяком случае не углублялись. Вспоминая те времена, я удивляюсь прежде всего самому себе. Как никак я в продолжении семи лет изучал в Гейдельберге историю, главным образом, новейшую. В каком-то отвлеченном академическом порядке мне были вполне ясны основные политические вопросы 20-го века: вековая борьба Англии с Францией, победа Англии и связанное с нею выдвижение на место первой континентальной державы созданной Бисмарком Германии с ее стремлением к морскому владычеству и грозящее столкновение английских, немецких и русских интересов на Балканах. Почему же, спрашиваю я себя, все эти вопросы никогда не возникли на ивановской террасе?

Объяснение этого, в сущности невероятного факта надо, мне кажется, искать в традиционной незаинтересованности русской радикальной интеллигенции в вопросах внешней политики.

История Франции сводилась в социалистических кругах к истории Великой революции и коммуны 1871-го года; история Англии интересовала только как история манчестерства и чартизма. Отношение к Германии определялось ненавистью к Железному канцлеру за его борьбу с социалистами и преклонением

пред Марксом и Бебелем. Конкретными вопросами русской промышленности и внешней торговли тоже мало кто интересовался. У эсеров они сводились к требованию земли и воли, у социал-демократов – к восьмичасовому рабочему дню и к

теории прибавочной стоимости. Не помню, чтобы мы когда-нибудь говорили о русских минеральных богатствах, о бакинской нефти, о туркестанском хлопке, о летучих песках на юге России, о валютной реформе Витте.

Славянского вопроса для лево-радикальной интеллигенции так же не существовало, как вопроса Константинополя и Дарданелл. Ясно, что с таким подходом к политике наша компания не была в состоянии облечь назревающую войну в осязаемую плоть живого исторического смысла. В нашем непосредственном ощущении война надвигалась на нас скорее как природное, чем как историческое явление. Поэтому мы и гадали о ней, как дачники о грозе, которым всегда кажется, что она пройдет мимо, потому что им хочется гулять.

Как все большое и страшное в жизни, война вплотную подошла к нам неожиданно и незаметно.

Стояли прекрасные июльские дни, пахло доцветающими липами, розами и свежим сеном. Над столом кружились пчелы. Отпив чай, мы ждали почту. Вместо писем Василий принес приказ вести всех лошадей в Знаменку для ветеринарного осмотра. Мы как-то не сразу догадались, что это начало мобилизации.

В назначенный для осмотра день лежащая в котловине у шоссе Знаменка уже с раннего утра представляла собою какой-то кипящий человеческими страстями, печалями и злорадством котел.

За длинным столом под окном трактира Лукина сидела приемочная комиссия: молоденький офицерик, уездный ветеринар и волостной писарь. Около комиссии непрошенными советчиками вертелись каменские лошадники – Фокин и братья Колесниковы. Шумно

распоряжавшийся с высоты трактирного крыльца урядник сиял тем «административным восторгом», что так легко овладевает душами прозябающих в деревенской глуши представителей власти.

Несмотря на то, что Знаменка была уже до отказу набита съехавшимся со всей волости народом, с окрестных холмов все еще катились телеги с привязанными сзади лошадьми. Около обоих трактиров было особенно тесно: связанные чресседельниками оглобли целым лесом подымались к небу, повсюду зря валялось сено. Над неумолчным говором, спорами, криком то и дело взвивалась крепкая русская брань. Веры в знание и справедливость приемочной комиссии ни у кого не было. Местные лошадники и барышники со свойственным всем деревенским практикам презрением к теоретикам, открыто издевались над «его благородием» и ветеринаром. Беднота, не

веря ни комиссии, ни местным знатокам, была твердо уверена, что богатеи своих лошадей не отдадут: закуют, натрут глаза табаком и откупятся. Громче всех волновался Димитрий Муравьев, как бы ему получить настоящую цену за свою старую, но сытую, сильную лошадь. «Комиссия у тебя твою по нормировочной дешевке отберет, – горячился он, – а Колесников тебе худую по вольной цене приведет, да сразу еще и не скажет по какой. Ты ее своим овсом откормишь, а осенью он за нее как за сытую возьмет».

Лошадей принимали по деревням. Ожидая очереди Ивановки, я с бьющимся сердцем водил в стороне своего высококровного Красавчика, всего только весною купленного в Воронеже у двоюродного брата, улана. Так как я еще не знал, что каменской комиссии было предписано брать только упряжных лошадей для артиллерии и обоза, то я был уверен, что пойду домой пешком, или поеду домой на дрожках, если у нас не отберут всех лошадей. К моему величайшему изумлению, ветеринар не подошел к Красавчику, ког

да я подвел его к столу, а быстро бросив писарю «не годится», сразу же приступил к осмотру нашего коренника Тумана, которого вслед за мною вел наш кучер Кузьма. Оседлав дрожащими от счастья руками рослого внука знаменитого дербиста, я большим кругом, проселками, перелесками и лугами поскакал домой. Несмотря на то, что я в отвлеченном порядке уже не сомневался, что скоро и меня призовут на войну, я в то памятное июльское утро был безоблачно счастлив.

Такие легкокрылые пролеты счастья и впоследствии не раз повторялись в моей жизни. Не знаю, как бы я осилил ее, если бы не отпущенный мне судьбою дар не омрачать настоящего преждевременною тревогою за будущее.

Конскою мобилизацией в Знаменке в моей памяти обрывается цепь связанных друг с другом картин последних проведенных в Ивановке недель. Образ дальнейших событий, вплоть до моего представления в штабе 12-й сибирской артиллерийской бригады, растворяется в музыке напряженной душевной борьбы между темою глубокой печали о необходимости разлуки со своею только что начавшейся новой жизнью и контртемою холодящего сердце ожидания чего-то большого и невероятного. Погружаясь в стихию музыки, мы часто закрываем глаза. Вслушиваясь с закрытыми глазами в звучащую глубину своей души, я словно во сне собирался на войну. Образы снов, даже и незабвенных, не передаваемы в картинах связной яви. От них в дневном сознании остаются лишь отдельные яркие клочья.

Чья-то не локализуемая в пространстве красная рука

протягивает мне, к моему величайшему удивлению, бумагу с назначением в Иркутск. Через час я уже вхожу в какое-то небольшое, белое здание где-то в Знаменско-Воздвиженском районе и получаю обмундировочные деньги. В переполненных магазинах тол

чея и приподнятое настроение. Рядом со мною все время светлая, печальная и тихая Наташа с самого начала решившая ехать со мною в Иркутск. По ночам она шьет мне шелковое белье. Днем – беспрерывные телефонные звонки и визиты знакомых. Обмундировавшись, я еду в Малаховку прощаться с матерью. Этого прощанья боюсь.

Рязанский вокзал забит воинскими поездами; всюду шинели и гимнастерки защитного цвета, темные пиджаки новобранцев, заломанные на затылок картузы и веселые деревянные сундучки – синие, красные, зеленые. Дамы раздают солдатам папиросы и нацепляют цветы на штыки. На платформах пушки в чехлах и увязанные обозы. Из раздвинутых дверей товарных вагонов доносятся песни…

В вагоне длинного дачного поезда шум и патриотические речи; искренние, как нутряная игра провинциальных актеров, туманные от чрезмерной влажности обывательских душ и совершенно беспредметные в своей политической безграмотности.

Уже подходя к Касимовскому поселку, я вижу идущую своею легкою походкою мне навстречу мать. На ней темный английский костюм. Ее, давно уже поседевшая стриженная голова только что завита искусною парикмахерскою рукою. Она твердо, как винтовку, держит на правом плече большой лиловый зонтик. Мы, как всегда, троекратно целуемся. Она глубоко заглядывает мне в глаза, словно хочет сказать: «Я с собою справилась, ты можешь быть спокоен, никаких сцен не будет». Я подаю ей руку. Она легко, но как-то особенно плотно и крепко кладет свою на обшлаг моего френча. Из-под рукава ее 'ЧаШеиг" выглядывает туго накрахмаленная манжета. Боже, до чего мне знаком и дорог этот образ.

Сестры и младший брат Владимир дома. Все они смотрят на меня с гордостью, нежностью и некоторым

любопытством, и сознательно уступают меня матери, считаясь с ее безграничной любовью к своему первенцу. Брата Липочки с нами нету. Он, как и я, в сборах, выступает с Несвижским полком. Отец заграницей. Мы очень боимся за его здоровье и его возврат. Не задержали бы его немцы.

Вечером мы сумерничаем с мамою в ее комнате. Рядом в столовой очень музыкальный Владимир импровизирует на рояли

что-то нежное и грустное. Слышен смех младшей сестры. «И как это они могут смеяться и играть, не понимаю» – удивляется мама.

На следующее утро она выходит бледною и очень взволнованною. Чувствуется, что волею выработанный запас сдержанности и самообладания на исходе. Не дай Бог иссякнет до того, как я сяду в вагон.

По дороге на станцию я пытаюсь смягчить ее боль мыслью, что наше прощание не окончательно, так как в случае переброски нашей бригады на Запад, мы по всей вероятности поедем через Москву.

«Нет, нет, родной, – прерывает она меня решительным тоном, – второго прощания мне не вынести, я еще не знаю, как справлюсь с первым».

В первых числах октября наш эшелон в продолжении двенадцати часов стоял на запасных путях Рязанского вокзала, но мама так и не приехала еще раз повидаться со мной.

За день до отъезда в Иркутск мы с Наташей едем прощаться в Ивановку. В памяти ничего нет, кроме обратного отъезда в Москву. За многолюдным чайным столом успокоительные разговоры. Слава Богу, что я отправляюсь на восток и Наташа едет со мною. После чаю Серафима Васильевна, с особо голубыми в порозовевшем от волнения лице глазами, выносит из спальни напутственные подарки. Благословив меня образком Казанской Божьей Матери, она вручает мне будильник, без которого на военной службе не обой

тись, а Наташе дарит теплую, вязаную кофту для Сибири.

Как ни утешительно, что мы едем в Иркутск, а все же руки «Симы» дрожат и она еле сдерживает слезы.

Николай Сергеевич бледный, молча ходит с папиросой из столовой в гостиную и обратно. Выходит на террасу. С несвойственною ему задумчивою рассеянностью подолгу всматривается в макушки пирамидальных елей, в желтеющую листву клена и снова возвращается в столовую. Взоры его совсем еще молодых, лучистых глаз с нежною заботою останавливаются то на «Симуне», то на «Таличке», то на мне. Но он ни с кем не говорит, лишь то и дело смотрит на часы, не опоздал бы Кузьма: ведь хорошие лошади забраны, придется ехать на стариках.

Но вот пролетка уже у подъезда. Зовут прислугу и все на минутку присаживаются перед дорогой. Затем быстрые, как бы торопящие неотвратимые события, рукопожатия, объятия, поцелуи. Собаки и молодежь вприпрыжку провожают нас до деревни. В деревне последние напутствия крестьян и быстрые бабьи слезы.

Перед глазами, невольно успокаивая душу, тихими

скромными далями ровно бежит белое шоссе. Наташа молча сидит рядом со мною, благодарная за то, что мы еще вместе – на долго ли, но бледная как полотно и в глубине души бесконечно несчастная.

Мы медленно подъезжаем к Троицкому, большому, вольно разбросанному по пригоркам и влажным ложбинам селу. Над синеющим внизу озером плавно носятся чайки. К старым, черным деревьям открытого всем ветрам кладбища шумно слетаются грачи. Перед нами светло розовеет высящаяся на зеленом взгорье стройная церковь.

Я знаю, перед смертью от всей суеты жизни останутся только несколько «вечных» минут. Среди них и

тот, печально-прозрачный утренний час, которым мы в тихой глубокой беседе в последний раз перед сломом старого мира мирно ехали в Москву… в Иркутск… на войну… в эмиграцию…

Кто не дышал воздухом Сибири, тот никогда глубоко не дышал Россией. За шесть недель нашего пребывания в Иркутске я так крепко привязался к невзрачной прибайкальской столице русской Азии, что и не разделяя идеологии евразийцев, чувствую себя чем-то связанным с ними: само слово Евразия будит во мне какие-то надежды и страсти. В Иркутске я понял до чего эфемерна уральская граница между Европой и Азией. Ведь только бескрайние сибирские дали могут сдержать те обещания, что нам дает восточная Европа, точнее европейская Россия.

Все это я задолго до евразийства понял и почувствовал. Уже в четырнадцатом году я писал своей матери из Сибири: «В усталой от многих впечатлений длинного дня голове смутно проносились странные думы и образы. Под стук колес вспоминались бесконечные дали, которыми мы ехали из Москвы в Иркутск целую неделю; вместе с грохотом поезда все еще слышался прибой «священного Байкала». Думалось, что живи Кант не в Кенигсберге, а в Сибири, он наверное понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично и поэтому написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства. Может быть, эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал».

С какою силою Сибирь захватывает и покоряет людей, я убедился, между прочим, на примере нашей иркутской квартирной хозяйки. Вдова политически

ссыльного поляка и сама полька, она клятвенно обещала умирающему мужу при первой же возможности вернуться на родину, чтобы там воспитать детей. Получив с большими

трудностями разрешение на возврат, она ехала «домой» полная радости и надежды. Но, прожив несколько месяцев в Варшаве, так затосковала по царственным сибирским просторам и их беспредельной свободе, что, испросив у ксендза разрешение нарушить данную мужу клятву, уже через год вернулась в Иркутск.

К заметке об Иркутске в большом издании немецкого энциклопедического словаря Брокгауза 1928-го года, приложена небольшая картинка. На ней видна типичная провинциальная улица русского севера, среди которой как озеро стоит непросыхающая лужа. Мимо нее катится крестьянская телега, вдали виднеется церковь. Среди бревенчатых двухэтажных домов, соединенных высокими воротами, виднеется и тот одноэтажный домик, в котором мы с женою и товарищем по бригаде Андреем Викторовичем Репенак жили в Иркутске перед выступлением на фронт. Не стыжусь признаться, что я уже не раз снимал с книжной полки 9-й том словаря и, вооружившись лупой, подолгу рассматривал столь знакомую глазу и милую сердцу улицу, по которой я дважды в день ездил верхом на занятия в пятую батарею 12-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

На военной службе, отдающей одних людей в слепое подчинение другим и тем нарушающей все не только божеские, но и человеческие законы общежития, все зависит от того, кому ты будешь отдан в подчинение и над кем тебе будет вручена власть. То, что я по каким-то неизвестным мне мобилизационно-поли-тическим соображениям попал в иркутскую бригаду, представляется мне одной из больших удач моей жизни. И товарищей, за двумя, тремя исключениями, и

солдат я до сих пор вспоминаю с любовью и благодарностью.

Бригада была второочередная. К моменту нашего приезда в Иркутск она только еще формировалась. Ежедневно поступали новобранцы и пригонялись лошади. Строевых занятий еще не было. Лишь в канцеляриях с раннего утра и до позднего вечера кипела напряженная работа.

Командовал бригадой полковник Фальковский, суетливый в своих движениях, неотчетливый в своих приказаниях, безвольный, бесхарактерный, преждевременно состарившийся человек с красным помятым лицом и со старомодными седыми бакенбардами. Ничего дурного в полковнике не было: он был мягок в обращении с офицерами, крепко любил свою жену, своего коня Явора, на котором разъезжал еще по Маньчжурским сопкам в японскую войну и имел невинную страсть сверять и заводить часы, которых у него в комнате стояло и висело до полдюжины. Все его несчастье заключалось лишь в том, что, не будучи ни

воином, ни администратором, он был совершенно не приспособлен к исполнению тех сложных обязанностей, что были на него внезапно возложены историей. Офицеры бригады относились к нему хорошо, но без малейшего уважения и называли его, смотря по настроению, то «шляпой», то «ж---й». Полной противоположностью Фальковскому был наш дивизионный. Энергичный полковник с армянской внешностью и громкою польской фамилией. Адъютантом при нем состоял прапорщик Боровой, брат и единомышленник московского приват-доцента – анархиста.

Пятою батареей, в которую я был назначен вместе с присяжным поверенным Павлом Алексеевичем Митрофановым, как и я, москвичом, временно командовал штабс-капитан Халяпин, веселый, энергичный, северного типа блондин, с большими, светлыми бараньими глазами на выкате. Прекрасный теоретик, хо

роший педагог и рачительный батарейный хозяин, он воевал с достоинством, но без того вдохновения, которым на войне сразу же окрыляются подлинно героические натуры. Ко мне Димитрий Иванович сразу же как-то привязался. В Галиции, где я был «для пользы службы» перечислен в третью батарею, я в тихие дни часто заезжал в гости к милому Дмитрию Ивановичу. Он неизменно встречал меня с бурною радостью, чаевничая и закусывая, мы всегда разговаривали о мире. В кожаном бумажнике Дмитрий Иванович постоянно носил при себе фотографии жены и детей, по которым он очень тосковал. Женат он был на милой, хорошенькой дочери протоиерея из Белой церкви.

В первые же дни моего пребывания в бригаде со мной произошел забавный инцидент, заслуживающий того, чтобы о нем рассказать поподробнее, уж очень он был характерен для старой России.

Распределяя строевые занятия, командир батареи поручил мне обучение новобранцев верховой езде. По составленному им плану учебная езда должна была происходить с 8-10 часов утра. С 7-8-ми новобранцы должны были заниматься пешим строем под командой сверхсрочного фельдфебеля. Относился я к своим занятиям не только добросовестно, но даже ревностно и тем не менее навлек на себя гнев высшего начальства.

Приехав минут за пять до окончания пешего строя, я увидел у ворот казармы командующего Сибирским военным округом генерала Нищенкова, которого я встретил бодрым, отчетливым рапортом; отбарабанивать его мне было, как всегда, немного стыдно. Не удостаивая меня привета, генерал Нищенков, о

котором я слышал очень много хорошего, с важною хмурью в лице, быстро и величественно зашагал вглубь двора, где шли занятия пешим строем.

– Почему вы опаздываете на занятия, прапорщик? – гневно бросил он мне через плечо.

Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, что я прибыл на батарею раньше, чем мне было приказано: по распоряжению командира я обязан являться лишь к 8-ми часам.

Ответа не последовало.

Сколько у вас людей в пешем строю? – снова обратился ко мне генерал, ласково и весело поздоровавшись с солдатами.

Не могу знать, ваше высокопревосходительство, – откозырял я ему со всею доступною мне профессиональностью жеста, – у меня в строю людей нет, так как пешим строем, согласно расписанию, занимается фельдфебель.

Сосчитайте, – совсем уже гневно приказал мне генерал, очевидно выведенный из терпения моей штатской логикой.

Я подошел к левому флангу и демонстративно тыкая каждого солдата в грудь, начал считать. Счет мой был далеко еще не кончен, как раздался нетерпеливый вопрос его высокопревосходительства:

Сколько же, наконец?

Не могу знать, ваше высокопревосходительство, – отвечал я спокойно, но внутренне уже упрямо и зло, – я еще не досчитал.

Почему? – неосторожно бросил генерал.

Потому, что ваше высокопревосходительство прервали меня своим вопросом.

Глаза генерала потемнели, брови поднялись, в бороду скользнула недоуменная улыбка. Ничего не сказав мне, он наклонился к своему адъютанту. Тот вынул из кармана карандаш и щелкнув шпорами что-то записал в свой блокнот.

Отпустив меня с приказанием, чтобы через четверть часа были оседланы лошади, и не пожелав смотреть пеший строй – демонстративный жест доверия и благоволения к старому фельдфебелю – генерал все тем же быстрым, величественным шагом направился к

батарейной канцелярии, из которой навстречу ему уже спешил Халяпин.

Моими ездовыми, пришедший смотреть езду в весьма дурном настроении генерал (в перепуганном лице сопровождавшего его Дмитрия Ивановича не было ни кровинки) остался очевидно доволен, даже поблагодарил их, но мне не бросил ни одного благожелательно-примирительного взгляда. Чувствовалось, что в душе его высокопревосходительства над нашими головами

собрались грозные тучи.

Приказав выстроить людей в пешем строю, генерал отправился на осмотр четвертой батареи, которой командовал один из лучших офицеров бригады, мужественно-независимый и всегда заразительно веселый капитан Рыбников.

Ожидали мы возвращения его высокопревосходительства довольно долго. Ходивший перед фронтом командир батареи явно нервничал.

Смирно! Господа офицеры! – внезапно грянула звонкая команда командира.

Обходя первую шеренгу, осматривая людей и милостиво беседуя кое с кем, генерал подошел, наконец, и ко мне, стоявшему перед своим взводом. Что-то в моем внешнем виде ему, очевидно, не понравилось. Отступя на несколько шагов, он с недоумением смерил меня начальническим взглядом и сделал мне какое-то несправедливое замечание не то насчет шинели, не то насчет фуражки. Но дело было, очевидно, не во внешней некорректности моей одежды, а в том, что во всем моем внешнем виде как-то отражалось заполнявшее мою душу возмущение привередливой несправедливостью генерала. Я и сам чувствовал, что на моем лице блуждала, свойственная мне в иных случаях жизни, надменно-ироническая улыбка.

Чему вы улыбаетесь, прапорщик? – уже не скрывая своего раздражения, повысил на меня голос генерал Нищенков.

Не могу знать, ваше высокопревосходительство, бессознательное трудно поддается анализу.

Генерала взорвало.

Надеюсь, вы понимаете неуместность вашего ответа? – не без труда сдержал себя генерал. – Вы кто такой? Чем вы занимаетесь?

Философией, ваше высокопревосходительство.

Этот правильный и точный, но сознаюсь, несколько провокационный ответ окончательно вывел генерала из терпения.

На трое суток под строгий арест, – отчеканил он, обращаясь к Халяпину, и возмущенно повернул мне свою широкую спину.

Арест меня не опечалил. Я воспринял его не как заслуженное наказание, а как награду за свою гражданскую доблесть. Командир батареи, которому в приказе по округу был из-за меня сделан строгий выговор, был всецело на моей стороне и дал мне понять, что я могу в «своих казематах» принимать гостей. Благодаря такой любезности, трое суток строгого ареста превратились в приятнейший отдых от занятий. Днем я читал и писал письма, а к семи накрывал стол для Митрофанова, Репенака и себя. Наташа присылала с денщиком всевозможные яства. Поужинав, мы проводили остаток вечера в оживленной

беседе.

По нашим понятиям, мы готовились к выступлению весьма добросовестно, но по сравнению с тем, как надо было готовиться для борьбы с немцами, конечно, недостаточно серьезно. На всем лежал досадный отпечаток импровизаторского дилетантизма и личного почина. В каждой батарее занятия велись иначе. Где налегали на стрельбу, где на езду, где и на шагистику. Одни батарейные командиры закупали для нижних чинов валенки и полушубки, а другие только подсмеивались над ними. Закупали те, кто думал, что мы останемся в Сибири в качестве заслона против японцев. Не

закупали их противники, считавшие, что мы пойдем на запад.

Вспоминая Иркутск, я уже не вижу перед собою отдельных солдатских лиц. Хорошо помню только сверхсрочного фельдфебеля, старого, жилистого служаку со шнырливыми рысьими глазами и нервными скулами, по которым при всяком «слушаюсь» и «так точно» пробегала быстрая дрожь, взводного фейер-веркера Черненко, ласкового, веселого хохла, который, раскрывая рот для команды, как-то по-песенному закидывал свою красивую голову, и моего вестового, уже сорокалетнего рыжего бородача Злобина. Боже, до чего же Злобин скучал по своему дому, семье и хозяйству. В своей тоске он часто заговаривал со мною, силясь понять, с чего это вдруг стряслась война и за какие грехи он из своей честной жизни попал прямо на каторгу. Злобин был не единственным запасным, в голове которого постоянно вертелись такие «еретические» мысли. Однажды, будучи дежурным по бригаде, я разговорился у коновязи с группою «стариков» – за уборкой лошадей солдаты-крестьяне невольно становились откровеннее. Вопросы сыпались один за другим: «и с чего это немец нам войну объявил, ваше благородие?», «а далеко ли до немца ехать», «крещеный ли немец народ, или как турки, нехристи», «может быть, они с того на рожон лезут, что жить им тесно, с хорошей жизни на штык не полезешь, так нельзя ли от них откупиться?» Последняя мысль особенно понравилась Злобину: «а и то, ваше благородие, – подхватил он предложение о выкупе, – если бы немцу, примерно, треть того отдать, во что война обойдется, то быть может он бы и угомонился и государю-императору не надо было бы зря народ калечить?»

Что было отвечать на эти, с одной стороны совершенно детские, а с другой стороны серьезно и глубоко поставленные вопросы? Сознаюсь, что, беседуя со «стариками», я испытывал глубокий стыд за те трафарет

ные ответы, которые я по долгу службы давал своим сибирякам.

В первом откровенном разговоре со своими батарейцами, я, к своему величайшему удивлению, заметил, что большинству из них война, правильная война, представлялась чем-то вроде крестового похода. Очевидно такое представление поддерживалось в них с одной стороны церковною молитвою о благоверном императоре и «христолюбивом воинстве», а с другой – солдатскими песнями, связанными с воспоминаниями о турецких походах. Мое сообщение, что немцы христиане, а больше трети из них католики, то есть христиане, каждое воскресение обязательно ходящие в церковь, крестящиеся в ней и становящиеся на колени, совершенно сбило моих собеседников с толку, так как явно не вязалось с их представлением о враге, – турке и японце.

С солдатским представлением о враге-нехристе связывалось еще и представление о нем, как об обидчике, то есть нападчике. Узнав от меня, что до немецкой границы эшелону ехать две, а то и все три недели, они впали уже в полное недоумение.

– Три недели на поезде немцу навстречу ехать, да зачем же это, ваше благородие, зачем нам его искать? Пусть к нам пожалует, тогда узнает где раки зимуют, дома-то мы его во-как разделаем.

В теоретических доводах против этой узко-туземной точки зрения у меня, конечно, не было недостатка, но все они бессильно разбивались о полное отсутствие у моих собеседников всякого представления о России, как об империи и о геополитических законах ее исторического бытия.

Нельзя сказать, чтобы сибирские крестьяне не были бы патриотами. Свою Россию они любили и, главное, крепко верили в ее мощь, но их своеобразный крестьянский патриотизм носил скорее хозяйственный, чем государственный характер. Сколько раз слышал я в

Карпатах общесолдатское мнение: «Да зачем нам, ваше благородие, эту Галицию завоевывать, когда ее пахать неудобно». Несмотря на такую гражданскую неподготовленность к войне, бригада воевала на славу.

Трудно сказать, какое мироощущение сложится в будущем в душе советского бойца, но не думаю, что оно будет очень отличным от того, под знаком которого воевали наши сибирские части. Солдатская вера как была, так и будет все той же: царь приказал, Бог попустил, податься некуда, а впрочем, на миру и смерть красна. В этой формуле царя можно заменить вождем, на худой конец даже и президентом республики, а Бога – безликим провидением, или судьбой. Миросозерцательное содержание старой формулы от этого, конечно, изменится, но ее

эмоциональным корнем останется все то же чувство: чувство зависимости человеческой жизни от высших сил, чувство невозможности сопротивляться и добровольная готовность соборного подчинения им до самой смерти. Там, где это чувство в народе исчезает, в конце концов исчезает и солдатская доблесть. Мне кажется, что окончательная утрата французским народом, отчасти в связи с гарантиями Версальского договора, трагического ощущения жизни и ее неизничтожимых опасностей, является главною причиною непостижимого разгрома французской армии в 1940-м году.

Готовясь к разрушению мира войною, мы в Иркутске с неменьшею серьезностью готовились и к мирной жизни на фронте: покупали удобные походные кровати, изумительные енотовые чулки, шили себе чесучовое белье и нашивали кожаные леи на наскоро купленные в Москве рейтузы. Перед погрузкою Наташа ночи напролет дошивала мое военное приданое. Ее изобретательности не было конца. Так как походные койки были уж очень малы, то мы купили складную кровать с прекрасным матрацем. Надо было только смастерить для нее крепкий чехол, в который она вме

сте с одеялом и подушками могла бы быть в одну минуту упакована. Проблему такого, обшитого по швам кожею брезентового чехла, Наташа, к великому удовольствию моего денщика Семена Путилова, разрешила блестяще. На фронте я спал удобнее всех товарищей и моя койка была всегда первою на двуколке.

Дня нашего выступления из Иркутска на фронт назвать не могу. Думаю, что мы двинулись из Лесихи на станцию Иннокентьевскую, куда был подан поездной состав, в последних числах сентября. Темную, злую ночь нашего первого похода сменило холодное, дождливое утро. Помню, как охваченный горячкою погрузки, я издали увидел подходившую ко мне в косых штрихах дождя Наташу и, увидав, впервые понял, что война началась всерьез. В ее печально-сером, сиром силуэте, отчужденно и неуверенно продвигавшемся по шпалам запасных путей среди повсюду снующих солдат, погруженных орудий, выглядывающих из вагонов лошадиных морд, мешков с овсом и гор прессованного сена, был до того очевиден вошедший в жизнь ужас, что во мне сразу пристыженно осекся тот бодрый, деловой подъем, с которым я распоряжался погрузкой своего взвода. Вынужденная внешняя деятельность неизбежно убивает в человеке ту созерцательную активность духа, которой только и открывается сущность мира и жизни.

Провожать близких на войну много труднее, чем самому идти

на нее. Идущий стремится в новую жизнь – провожающий боится, что провожает на смерть. Так провожала меня Наташа. Тем не менее, она всех нас радовала и утешала, распространяя в офицерском вагоне уют, свет и тепло. За две недели эшелонного житья товарищи по дивизиону все крепко привязались к ней, трогательно ухаживали за ней, как братья за единственной сестрой, много говорили с нею о своем домашнем и с небывалою в военном обиходе вежливостью обходились при ней с денщиками. Во время дол

гой стоянки в Красноярске она не только закупала всякие яства для нашего офицерского стола, но вместе с Халяпиным и полушубки для батареи.

Первым, совсем еще мирным впечатлением войны, были встречные поезда с военнопленными австрийцами. На какой-то большой, еще доуральской станции, где мы собрались было повкуснее пообедать, буфет первого и второго классов был до того забит голубыми австрийскими офицерами, что для нас не нашлось ни места, ни тарелки щей.

Повертевшись в буфете, мы вернулись на платформу. Пленные и тут с жадностью скупали всякий провиант у баб и подростков, толпами стоявших вдоль платформы. Особенно быстро раскупались жареные куры и огромные бисквитные торты, которые, как нам объяснила одна молодая веселая баба, специально пеклись для пленных, недолюбливавших черный хлеб. Могу себе представить, как австрийцы дивились русскому гостеприимству и сибирской дешевизне, платя за недоступную русскому солдату курицу 30-40 копеек.

До чего же характерно для русского отношения к врагу, что никому из нас и в голову не пришло попросить австрийцев очистить нам место и потребовать от буфетчика, чтобы в первую очередь кормили своих. Я знаю, пленным австрийцам и немцам не всегда жилось хорошо в наших военных лагерях. Допускаю какие угодно жестокости, но на одном настаиваю: русский человек жесток только тогда, когда выходит из себя. Находясь же в здравом разуме, он в общем совестлив и мягок. В России жестокость – страсть и распущенность, но не принцип и не порядок. Иначе у немцев: быть может, немецкие офицеры по человечеству и жестоки не более нас, все же они по разумной принципиальности никогда не потерпели бы, чтобы им у себя, в Германии, не хватило бы места и еды, потому что все места заняты врагами. Я не говорю, что

мы лучше немцев, я только устанавливаю, что мы весьма отличны от них.

Чем глубже въезжали мы в Россию, тем видимее охватывала

нас война: бесконечные воинские поезда на фронт и обратно, пленные, раненые, новобранцы, песни, гармоника, забитые эшелонами станции, горы заготовленного фуража, все больше и больше народу на платформах, все больше внимания и сочувствия к армии. Настроение народа, не в пример 1905-му году, серьезное: без лишних слов, без лишних жестов – твердое, трезвое, ответственное.

В Екатеринбурге наш эшелон стоял несколько ночных часов. Встреча с братом, второочередная часть которого должна была вскоре двинуться на фронт, была короткой и печальной. Хотя красавец брат в своей, очень шедшей к нему офицерской форме, являл очень бодрый, бравый вид, свидание с ним вызвало в душе тот ужас перед войной, которого я раньше не чувствовал. Не думаю, чтобы это объяснялось тем, что, обвенчавшись в Екатеринбурге, он только что расстался с молодою женой и, не сойдясь с товарищами, чувствовал себя одиноким в полку. Дело было скорее в том, что он был первым близким человеком, провожая которого на войну, я так же провожал его на смерть, как Наташа меня.

К Москве-второй, или Сортировочной наш эшелон подполз около 11 -ти часов вечера. В тесном, ободранном автомобилишке мы с Наташей тряско неслись по еле освещенному скудными фонарями и разбитому зо-лоторотческими бочками шоссе на Тверскую к ее родителям, где нас уже с восьми вечера ждали к ужину. Этот сдвинувшийся к полуночи ужин остался в памяти странною, призрачною трапезой. В сдержанных, но взволнованных застольных разговорах царило полное смешение всех душевных, пространственных и временных перспектив. Радость свидания сливалась с болью разлуки: мирная жизнь в Иркутске представлялась

родителям Наташи все же фронтом и потому они на меня смотрели как на человека, побывавшего на войне. Серафима Васильевна и Николай Сергеевич трогательно просили меня не подвергать себя излишней опасности, памятуя, что «береженого и Бог бережет».

К часу ночи я поехал к своим в Штатный переулок. Несмотря на тяжелую болезнь отца, с большими трудностями вернувшегося через Швецию из Мариенбада уже после объявления войны, я матери дома не застал. Боясь не выдержать вторичного прощания со мною, она решила уехать в Касимозку.

В темноватой квартире меня с волнением ждали сестры и младший брат. Поздоровавшись со мною без принятых у нас в семье громких возгласов, они на цыпочках провели меня в столовую, рядом с которой находилась комната отца. По их

встревоженным, опечаленным лицам, по всему настроению в доме, я сразу же понял, что положение больного безнадежно. С бьющимся сердцем приоткрыл я дверь в спальню и, подойдя к кровати сел у изголовья. Очнувшись, отец с трудом перевел на меня свой испуганный взор и медленно протянул мне свою дрожащую, страшно исхудавшую руку. Не находя, что сказать умирающему и как утешить его, я только крепко сжал и молча поцеловал ее. Желая помочь мне, отец приподнялся и начал было рассказывать о своем неудачном лечении заграницей, но, скоро устав, бессильно опустился в подушки и закрыл глаза.

У изголовья в старинном бронзовом подсвечнике, купленном еще в Кондрове на распродаже вещей лишившего себя жизни князя Мещерского, горела свеча с шелковым щитком. Смотря на с детства знакомый подсвечник, я видел перед собою большой балкон нашего деревенского дома на Шане, колышащиеся на вечернем ветру за белыми щитками красноватые огни, еще совсем молодого отца за картами и себя, маленького, рядом с ним. Как это было недавно и вот, дума

лось мне, для него уже все кончилось… Как скоро, как страшно скоро!

В середине октября я получил известие, что отец скончался через пять дней после нашего свидания от рака желудка, без жалобы на боли и без страха перед смертью.

Чем глубже уходит в прошлое начало войны, тем удивительнее и благодарнее вспоминается мне, как простившись с отцом, я в одиноко дребезжавшей по сонным улицам Москвы пролетке ехал обратно к Никитиным. Душа не по своей воле подводила итоги прошлому и не своею силою готовилась к будущему. Время, казалось, не текло сквозь нее, а неподвижно стояло в ней, примиренной, возвышенной и печальной. Я знаю, что, если бы за двадцать минут этой предрассветной поездки ось моей души не была бы рукою самого Провидения таинственно переставлена из горизонтального положения в вертикальное, я никогда не вышел бы из испытаний войны и революции тем духовно окрепшим человеком, которым я себя ныне чувствую. Быть может, Бог чаще склоняется к нам, чем это нами ощущается. Божьей заботы о себе и я в ту ночь не почувствовал, будучи сердцем и мыслью еще слишком далеким от допущения такой возможности, но «песнь небес» в себе все же расслышал. В ту ночь в моей душе впервые возникла та мелодия, о которой я в мае 1915-го года писал жене, сейчас же после страшного боя на Сане. «Я стоял, передавал команду, а в душе звучала та, совершенно не запоминающаяся мелодия, которая как-то раз, в минуту острой опасности зародилась в моей душе и теперь каждый раз, когда

близка возможность смерти, запевает себя во мне и дает силы все нести и всему покоряться».

По пути на фронт эшелон довольно долго стоял в Брест-Литовске. Была суббота. В зале третьего класса, набитого главным образом солдатами, шла всенощная. Слушая Великую ектенью (как замечательно

провозглашал ее у Никиты Мученика на Старой Басманной протодьякон Холмогоров), я с новою силою ощущал несовместимость вечной красоты ее прошений о спасении «плавающих, путешествующих, недугую-щих и страждущих, о благорастворении воздухов, изобилии плодов земных и временех мирных», с национально-эгоистическою молитвой о «покорении под но-зи благочестивейшему, самодержавнейшему Великому Государю нашему всякого врага и супостата». Как жалко, что Бутурлинская комиссия при Николае I нашла необходимым «вырезать несколько неуместных стихов» из акафиста Покрову Богородицы, сочиненного святым Димитрием Ростовским: «Радуйся, Незримое Укрощение владык жестоких и зверонравных, совета неправедных князей разори, зачинающих рать – погуби».

Как утешительно было бы, если бы в наши страшные дни, в дни наступления немецких армий на ни в чем перед немцами неповинных православных греков и сербов и весьма возможного столкновения с Россией, в нашей дрезденской церкви, возглавляемой православным немцем, берлинским и потстдамским епископом Серафимом, вместо молитвы «о покорении под нози христолюбивейшему вождю германского народа его врагов и супостатов», раздавался бы Богородичный акафист Святого Димитрия Ростовского.

Впереди стояла группа легко раненых. Среди них особо выделялся долговязый деревенский парень в расстегнутой гимнастерке и шинели внакидку, с перевязанною окровавленною марлёю нервно подергивающеюся головою. Временами он быстро, по многу раз сряду крестился широким, размашистым крестом, а затем как-то отсутствующе затихал, смотря в пространство усталыми, потухшими глазами. По всему было видно, что он много пережил в кровавых боях под Ивангородом, куда, вероятно, отправлялась и наша

бригада, и не понимал, что с ним собственно приключилось.

Всенощная длилась долго. Все резче и заунывнее, все непонятнее на фоне службы взвывали паровозные свистки; зло шипел и желтоватою молочною мутью застилал окна спускаемый паровозами пар. Словно в ответ ему умиротворяюще клубился вверх сиреневый кадильный ладан. Желтые свечи сиротливо, но все же утешительно горели в прокопченом вокзальном углу. Кое-

кто из солдат тихонько подтягивал хору, то одну, то другую ноту.

Батюшка служил с искреннею верою и, не смущаясь войной, убежденно возглашал «яко благ и человеколюбец Бог еси».

В том философски-мистическом настроении, в котором я находился со дня смерти моей первой жены, я точного смысла этого возгласа еще не осиливал. Бог представлялся мне скорее гениальным автором глубокомысленной мировой трагедии, чем благим Творцом; Христос скорее протагонистом хора страждущей твари, чем единородным Сыном Божиим и моим Спасителем.

Не пережив периода воинствующего атеизма и отрицания Евангелия, я под влиянием мистиков, Шеллинга и античной трагедии, долго пытался осмыслить христианство в духе религиозно-символического ознаменования глубинных судеб мира. Ныне я знаю, что христианская философия мыслима только на путях безоговорочного отречения от философствующего христианства. Нужна и возможна философия твердо и искренне верующих христиан, но невозможно и ненужно ни философское обоснование, ни философское истолкование христианства.

Часто мечтается со временем по-новому вернуться к своим старым философским вопросам. Боюсь, однако, что написать свою философию уже не успею: слиш

ком мало осталось времени, жизнь со страшною быстротою катится к своему концу…

В догадках и разговорах о том, куда нас везут, мы доехали до Лукова, где вдруг был получен приказ о высадке. Кое-как устроив Наташу в маленькой комнатушке вонючей местечковой гостиницы, я быстро вернулся на вокзал, где батареи второго дивизиона одна за другой уже выкатывались на шоссе.

Первая ночь в Лукове была, быть может, самою жуткою ночью из всех пережитых на войне. Мы расположились бивуаком между лазаретом, кладбищем и платформою, у которой беспрестанно выгружались санитарные поезда, прибывавшие из-под Ивангорода. Ночью, когда я с трудом пробираясь между медленно двигавшимися носилками с ранеными по левой и спешащими обратно пустыми носилками по правой стороне, ехал к Наташе в гостиницу, мне впервые было по-настоящему страшно. Вероятно потому, что душа еще жила мирной жизнью, мир же уже кипел войной.

Прощание с Наташей за несколько часов до нашего выступления, скорбное, но и прекрасное, оторвавшее меня от мирной жизни и тем самым окончательно отпустившее на войну, сразу же потушило в душе всякий страх перед нею. Подъезжая в шесть часов утра вместе с Семешей, трусившим позади меня с огромным горшком сметаны, которую Наташа успела купить на

рынке в подарок батарее, к нашему бивуаку, я, чувствовал себя совсем другим человеком, чем ночью.

Уже после отъезда Наташи оказалось, что мы не идем в бой, а спешно грузимся во Львов, включенный ныне с соизволения Гитлера в Союз Советских Социалистических республик. Сердце этой победе не радуется. В конце концов, Советский Союз все же Россия и его преступные завоевания лишь омрачают ее образ. А кроме того: разгар националистических страстей в современной Европе до того отвратителен, что невольно хочется уберечь от него «свою» Россию. Вера

в ее добрую силу, несмотря на все творящиеся в ней ужасы, так крепка, что она все еще видится скорее заступницей, чем поработительницей других народов.

Я уже много раз говорил об изумительных свойствах памяти, которая, помимо нашего сознания и нашей воли, неустанно передумывает нашу жизнь. Этою таинственною работою памяти я и объясняю в себе то, что живущий ныне во мне образ войны далеко не во всем совпадает с теми ее зарисовками, что были мною в свое время даны в письмах с фронта.

Перечитывая эти письма, изданные по настоянию М. О. Гершензона, я удивляюсь сколько в них горечи и гнева: «Нет, пусть мне не говорят о священном смысле ведомой нами войны, Ей-Богу, убью и рук омыть не пожелаю».

Ныне эти громкие слова не звучат в душе. Мне даже как-то стыдно перечитывать их. Не то, чтобы я задним числом додумался до «священного смысла» европейской войны 1914-го года, или пришел бы к оправданию тех правительственных преступлений перед русским народом, которые меня тогда мучили и возмущали – отнюдь нет. Теоретически я не переменил своих взглядов, но душою я за истекшие годы настолько отвернулся от них, что меня с каждою новою весною все сильнее и сильнее тянет в галицийские окопы. В этой тоске я открываю своего «Прапорщика» и читаю: «Наш дом стоит на высоком зеленом откосе. Под откосом расстилаются зеленеющие луга, прорезанные серо-синею лентою прозрачной горной «Онда-вы» в берегах из мелкого щебня. По берегам – пушистый на глаз и на ощупь, как головенки только что вылупившихся индюшат, молодой кустарник. За рекою, влево – серый костел Сарачан, а вправо – небольшие, вспаханные холмы, за которыми возвышают

ся туманно-синие горы далеких Татр. Утром и вечером в заливных лугах свиристят жабы, а в приречном кустарнике свищут и рокочут соловьи. Днем по лугу ходят наши пузатые, длинногривые сибирячки, а у реки лежат на животах солдаты и

заунывно тянут: «Одной бы я корочкой питалась». На том берегу, вдоль Са? рачанского шоссе, беспрерывно тянутся питающие позиции обозы.

Я целыми днями хожу по двору и у реки. Господи, сколько нежной прелести, сколько мира и любви в природе».

Эти строки – лейтмотив всех моих теперешних воспоминаний о войне. Я знаю: письмо, из которого выписаны эти строки, кончается печальными раздумьями: «Как хорошо было здесь прошлою весною, когда всюду совершалась мирная благостная жизнь, когда за плугом шел «оратай» и ксендз каждый вечер выходил посидеть на крыльцо своего дома.

Почему же теперь всюду мерзость запустенья, почему вокруг церкви и нашего дома всюду окопы, заваленные всяким мусором, кровавой ватою и бинтами. О, Господи, Господи, почему Ты терпишь такое заблуждение сынов Твоих?»

На эти вопросы у меня, конечно, и поныне нет ответа, но странным образом они меня больше не очень тревожат. Я не умею этого объяснить, но, всматриваясь в себя, я отчетливо вижу, что пережитая революция, если и не оправдала войны, то все же как-то очистила ее в моей памяти.

Важно, что такое же очищение образа войны 1914-го года было не только пережито, но даже и осо- ˆ знано многими «белыми» офицерами, которые прошли через ужасы гражданской бойни.

Как только мы с женою, высланные в 1922-м году из России, поселились в Берлине, стали приходить письма из самых разных мест: из Чехословакии, Югославии, Болгарии и Турции. Писали товарищи-фронто

вики, которых уже и не чаял в живых. Как ни различны были их письма, главною темою всех было отвращение к революции и теплые, почти нежные воспоминания о войне. Вот замечательная страница из письма моего однобатарейца Владимира Балашевского:

«Если бы ты знал, какою красотой и правдой представляется мне после всех ужасов пролетарской революции и гражданской «бойни» та, «наша», если разрешишь так выразиться, война. Все последующее уродливое и жестокое не только не заслонило моих старых воспоминаний, но, очистив их своею грязью и чернотою, как уголь чистит белых лошадей, как-то даже придвинуло их ко мне…

Сейчас так близки моей душе Карпаты и милая Ондава, где мы стояли с тобою весною 15-го года. Объясни мне, почему я сейчас, в 1923-м году, могу тебе точно и подробно перечислить все деревни, в которых мы ночевали на югозападном фронте и

почему я не назову тебе ни одной от Харькова до Новороссийска?»

В силу этого трудно постижимого преображения образа той войны, которую мы в галицийских окопах под конец отрицали, которою тяготились и даже му-чались, я в дни победоносного вхождения большевистских войск в Галицию в 1939-м году, испытывал странные и сложные муки, скорее всего муки ревности к пленительному образу нашей галицийской кампании. Представляя себе хозяйничанье большевиков в тех самых местах, по которым проходила наша бригада, я переживал нечто подобное тому, что переживал бы человек, увидевший свою невесту в объятиях человекоподобной обезьяны.

Конечно, я сознавал, даже больше – своею любовью к России и всею своею тоскою и по советской деревне, в которой мы с женою прожили первые пять лет большевистской революции, понимал, что красноармеец все тот же несчастный, изуродованный, но в

глубине сердца мягкий и добрый русский человек, ощущать которого гориллой у меня нет ни малейшого основания. Не забывал я и того, что в рядах красной армии служат дети оставшихся в Советской России родных, друзей и знакомых, которые тоже ведь не звери (как часто я подолгу смотрю на их милые фотографии в наших эмигрантских альбомах) и все же я воочию видел, именно видел, что развертывающаяся нацистско-большевистская война представляет собою в плане «объективного духа» нечто совсем иное, чем война 1914-го года.

В чем же дело? Как это объяснить?

Думаю в том, что зло либерального 19-го века было, в конце концов, лишь неудачею добра. Сменивший же его 20-й век начался с невероятной по своим размерам удачи зла. Удача эта ничем необъяснима, кроме как качественным перерождением самого понятия зла. Зло 19-го века было злом, еще знавшим о своей противоположности добру. Зло же 20-го века этой противоположности не знает.

Типичные люди 20-го века мнят себя, по Ницше «по ту сторону добра и зла». Это совсем особые люди, бесскорбные и не способные к раскаянию. Думается, что их «великие дела», даже если бы они и породили какие-нибудь положительные результаты, никогда не преобразятся в памяти «благодарного» потомства в светлые подвиги. А впрочем, как знать? Еще неизвестно, какими людьми будут наши потомки.

Конечно, и война 1914-го года была величайшим преступлением перед Богом и людьми, но она была преступлением вполне человеческим. Лишь с нарождением

сверхчеловека появилась в мире та ужасная бесчеловечность, которая заставляет нас тосковать по тому уходящему миру, в котором человеку было еще чем дышать, даже и на войне.

В первой главе своих воспоминаний я говорил о том, что простой народ ощущался в моем родительском доме скорее частью деревенского пейзажа, чем расширением человеческой семьи. За годы близкого общения с солдатами, я понял не только деградирующий, но странным образом и возвышающий смысл этого «барского» отношения к «мужику».

Переходя из офицерской землянки в солдатские, я всегда чувствовал, что не только спускаюсь в мир необразованности, но одновременно и поднимаюсь на какую-то высоту. Очень далекий по своему воспитанию как от право-славянофильского, так и от лево-интеллигентского народничества, я на войне все же пришел к убеждению, что «варварство» русского мужика много ближе к подлинным высотам культуры, чем средне-интеллигентская образованность.

Ничего удивительного в этом, впрочем, нет, если понимать под культурою ту одухотворяемую живым боговерием, мифическим природочувствием и традиционно-крепким бытовым укладом форму жизни, которую мы, с легкой руки Шпенглера, привыкли противопоставлять западноевропейской цивилизации, давно уже подменившей веру – метафизической проблематикой, живую нравственность – мертвым морализмом и здоровую народную жизнь – функционированием политизированных масс.

Сейчас, когда Россия переживает в каком-то высшем плане, быть может, и нужное, но всё же трудно переносимое унижение, мне хочется напомнить преуспевающим пока что немцам, что уже более ста пятидесяти лет тому назад один из интуитивно наиболее тонких и богатых мыслителей Германии, Иоганн Готлиб Гердер, предсказывал восточным славянам, главным образом России, великое будущее. В четвертой главе шестнадцатой книги своих знаменитых «Идей» он мужественно высказывает мысль, что прилежные славянские племена еще превратят свои земли в цве

тущие сады и сменят Запад, от которого уже отступается Провидение, на посту возглавителей человечества.

Ныне эти писания Гердера хранятся во всех библиотеках в особых шкафах, в так называемых «ядо-хранилищах» ('ˆШсЬгапке") и выдаются на руки лишь особо квалифицированным ученым национал-социалистического толка. Зато на стенах, заборах и столбах всех германских городов и даже деревень на любознательных немцев назойливо смотрят тенденциозно выбранные и тенденциозно сфотографированные русские лица с соответствующими надписями: «вот они русские звери», «вот они,

большевистские мародеры, поджигатели и убийцы». Кинематографический показ России еще того хуже. Сам еще не видел – уж очень противно и оскорбительно, но друзья, регулярно посещающие кино, утверждают, что по национал-социалистическим киноснимкам русского народа не узнать: до того мрачны, тупы, озлоблены и преступны лица. Удивляться этому не приходится: всякий портрет всегда и автопортрет. А тупости, злобы и преступности в национал-социализме не меньше, чем у большевиков.

Оставаться при таких условиях вполне справедливым к Германии русскому человеку трудно, но все же надо стараться: как ни характерен национал-социализм для Германии, немцы в целом так же не национал-социалисты, как и русские в своей массе не большевики. Мне национал-социализм представляется таким же грехопадением Германии, как большевизм – грехопадением России. Во всяком человеке, во всяком народе живет свой собственный грех, и все же как отдельные люди, так и целые народы живы только наперекор своему греху. Наперекор своему национал-социалистическому греху не только живет, но в муках совести, возможно, даже и растет немецкий народ. Будь это иначе, русским людям было бы невозможно жить среди немцев. Но мы среди них не только живем, но со многими из них даже и дружим, чувствуя, что в

глубине немецкой души еще живо гердеровское отношение к России.

За десять лет моего профессорствования в Дрездене через мои аудитории прошло около двух тысяч слушателей. Война не оборвала моих связей с учениками: многие из них, приезжая с фронта на побывку, заходят ко мне, многие пишут. Общее впечатление от всех этих разговоров и писем то, что Россия глубоко волнует немецкую душу и даже влечет ее к себе. Влечет своими просторами, своими закатами (недавно я просматривал пастельные рисунки одного врача-художника, сумевшего с изумительною музыкальностью запечатлеть вечерние русские зори), главным же образом загадочною противоречивостью русских людей. Еще недавно я беседовал с приехавшим с фронта в отпуск доктором философии и талантливым музыкантом. С глубоким волнением и с большою тонкостью самоанализа рассказывал он мне, что лишь в России удалось ему утолить с ранней юности мучившую его жажду бытия. Ни искусство, ни университетские занятия историей и философией, ни даже переход в католичество не смогли насытить его души. А вот Россия чем-то таинственно напитала его. «В России, – говорил он мне, – есть какая-то настоящность, какая-то большая, чем в

Европе, плотность духовного бытия».

Никогда и ни от кого я не слыхал таких слов в связи с Францией. Мой доктор философии, конечно, исключение, но далеко не редкое. Вот выдержка из письма двадцатичетырехлетного врача протестанта, полгода тому назад павшего под Москвой: «Я нахожусь в ста километрах от фронта, через два дня я буду в передовых окопах. Русская деревня поразила меня. В России все меня поражает. Зашел в одну из двух церквей и был захвачен богослужением. До чего жива и непосредственна молитва, сердце мое горело.

Во мне всегда была тоска по России. Я благодарю

судьбу, что попал в нее. И странно: почти каждое слово и каждое лицо мне здесь знакомо. Я не могу передать этого чувства в словах. С пылающим сердцем продвигаюсь вглубь вашей родины.

Более страшной войны история еще не знала. И все же я спокоен и благодарен, я чувствую, что мое сердце в руке Божией».

Я не забываю, что это голоса с фронта, как бы с «того берега», голоса людей, стоящих перед смертью, уничтожающей все национальные и политические преграды. В тылу таких голосов не услышишь. Но все же и тут среди отцов, матерей и жен фронтовиков, война с Россией возбуждает не только понятную ненависть к большевикам и отталкивание от убожества и грязи русской жизни, но и искреннее стремление разгадать душу России и тот знак, под которым в будущем сложатся отношения с нею. На столах многих немцев снова появились уже давно прочитанные тома Толстого, Достоевского, Лескова, Соловьева, Бердяева и Ключевского.

Военная кампания 1914-1918-го годов распадается в моей памяти на три весьма разнохарактерных как по событиям, так и по лично моим переживаниям, периода. Первый период начинается с почти идиллического выступления в поход из Львова и кончается через шесть месяцев трагическим разгромом соседней с нами Корниловской дивизии, после чего наша, сильно пострадавшая 12-я Сибирская бригада отводится в Куртенгофский лагерь под Ригу «на предмет починки орудий и пополнения людьми и лошадьми».

Второй период (с июля 1915-го года по октябрь 1916-го) делится лично для меня на четыре месяца унылых, незадачливых боев под Ригою, стоивших нам больших потерь и на 11 месяцев лазаретного лечения в Риге, Пскове, Москве и Эссентуках.

Последний период вспоминается мне, как я уже писал, не столько завершением войны, сколько приближением революции.

Его начало: обсуждение посылки революционной телеграммы председателю Государственной Думы Родзянко в вечер встречи Нового года. Его конец – водружение красных знамен по всему фронту.

Первый период был самым тяжелым, но остался в памяти самым светлым.

Целые дни, а то и ночи напролет болтались мы, бывало, в седле без теплой пищи и привычной папиросы. Горы, леса, бездорожье, люди и лошади выбиваются из последних сил; все время слышится гул отдаленных боев. Беспомощные команды и бессмысленная ругань начальства, лютая стужа, снежные иглы в лицо, коченеющие руки не в силах держать поводья. В лесах, в полях, по дорогам – всюду покойники, именуемые страшным словом «трупы»: свои и вражьи, цельные и изуродованные, свежие и многодневные. Вот торчащие из земли ноги недостаточно глубоко зарытого покойника. Вот – открытые в пустое небо мертвые глаза, вот – судорожно скрюченные пальцы. Все это поначалу было совершенно непереносимо. Еще страшнее первых боев и походов показались мне полевые лазареты. Никогда не забуду своего посещения Кросно, в котором умирал командир четвертой батареи Рыбаков. У подъезда вереница фургонов, набитых ранеными. По коридору не пройти. Всюду носилки, на которых в ожидании свободной койки и доктора стонут мокрые от дождя, окровавленные, зловонные люди. Всюду грязь, отчаяние, беспомощность и страшный беспорядок, с трудом преодолеваемый героическими усилиями нескольких самоотверженных врачей и сестер.

Неизбежные ужасы всякой войны усиливались в первые месяцы еще и нашею полною неподготовленностью к ней. Все прямые и косвенные виновники этой

преступной неподготовленности уже понесли за свою нерадивость и легкомыслие страшную кару. Говорить обо всем этом потому очень трудно. Все же, в порядке правдивого описания событий, я не могу умолчать о том, что штабс-капитан Горленко, пристреливаясь к австрийцам, выпустил около ста снарядов по своей собственной пехоте, а командир корпуса, генерал Ерофеев, окопал нас под Альт-Ауцем спиной к неприятелю. Совершенно безнадежно обстояло поначалу дело в интендантстве. Пехота с голоду жадно подъедала выбрасываемые нами, артиллеристами, коровьи кишки (артиллерия была независима от интендантства) и сотнями, если не тысячами, отмораживала себе ноги на постах и дозорах. Снарядов как раз в первое время было совсем мало. Я лично получил выговор за то, что за сутки своего дежурства выпустил шесть шрапнелей по

укреплявшимся против нас австрийцам.

Все это не могло, конечно, не отражаться на духе армии. Тем не менее этот дух во время галицийского похода 1914-15-го годов был так крепок и светел, как он вспоследствии уже никогда не был. Почему?

Объяснение этого духа победоносностью нашего наступления недостаточно. Для солдат вопрос продвижения вперед никогда не играл большой роли. Говоря о войне, наши сибиряки всегда говорили о бое, об его удали и его озлоблении, или о бабе (справится ли она с хозяйством, не забалует ли), или о Боге, т. е. о грехе войны. Вопрос же о том, добудем ли мы Галицию, которую, неудобно пахать, их мало интересовал. Потому их настроение оставалось все тем же, как при наступлении, так и при отступлении.

В офицерстве дело обстояло, конечно, иначе. Думается, что и наше приподнятое настроение объяснялось не столько легкими победами над австрийцами, сколько еще не убитым военными буднями вдохновением первого боевого крещения.

Местом моего боевого крещения были Ростоки

Горные, временем – второй и третий день Рождества 1914-го года.

Я стоял со своим взводом на хорошо пристреленной австрийцами открытой позиции всего только в пятидесяти шагах позади наших передовых пехотных окопов. По откосу горы, обращенному к неприятелю, извивалась линия наших окопов. На окопных трубах лежали мешки из-под которых еле заметно выбивались тоненькие струйки дыма. За ложбиной, на скате противоположной горы, таинственно молчали австрийцы, по которым я должен был открыть картечный огонь в случае если бы они поднялись в атаку.

Вместе со мною из-за щитка наскоро замаскированного орудия рассматривали неприятеля мой орудийный фейерверкер и наводчик. Позади орудий под горкой «номера» торопливо рыли окопы для нас. Внизу под отвесной скалой виднелись наши «передки» и лошади. Охватывая душой и глазом всех этих вверенных мне людей, я испытывал новую, выросшую за ночь связь с ними, новую любовь к ним, своим батарейцам, и ответственность за них. Слыша в своей совести их немой вопрос мне: не выдам ли я их, не растеряюсь ли, я твердо, без слов, но всем своим существом отвечал им: «не выдам, справимся».

Ровно в одиннадцать часов у нас за спиною взвыли один за другим четыре выстрела с нашей главной позиции.

Австрийцы немедленно открыли ответный огонь.

– Началось, ребята, – весело сказал я фейервер-керу и

наводчику и тут же вполголоса скомандовал, – к орудиям.

Сообщилась ли моя веселость солдатам, или, поднявшись в их душах, она перелилась в мою, я сказать не могу. Знаю только, что первый бой остался у меня в памяти одною из самых звонких, веселых и возвышенных минут моей жизни.

Скача через час после начала боя по обстреливаемому неприятелем шоссе к себе на батарею и сейчас же обратно к своему взводу, я кипел тем же неописуемым восторгом, в котором сто лет тому назад несся в свою первую атаку юный Петя Ростов. Для меня нет сомнения в том, что древний восторг боя, в котором кровь ревет, как река, в половодье, душа слышит нездешнюю песнь, а сердце блаженно замирает в кольце предсмертного холода, наполняет нас ни ненавистью к врагу, ни жаждою победы и даже не любовью к родине, а чем-то возносящим нас над жизнью и смертью.

Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца нашего таит Неизъяснимы наслажденья, Бессмертья, может быть, залог.

От войны осталась в душе молитва, чтобы в страшный час последнего боя со смертью Бог даровал бы мне силу и самую непобедимую смерть ощутить залогом бессмертия.

Живое ощущение этого сверх политического и даже сверхисторического смысла войны своеобразно выражено в солдатском сказе, сложенном в годы первой Великой войны:

Эх, кого винить, кого грехом корить, Эх, как бы знать нам то, кабы ведати? Да не немцы-то не поганые, Не австриец, болгарин – продана душа, Да не кто человек не винен в войне, Сама война с того света пришла, Сама война и покончится.

Такое же самое отношение к войне и неприятелю встречалось и у немцев. Еще недавно стоял я с австрийским артиллеристом у рояля, на котором была разостлана карта Галиции, тщательно размеченная его рукою. Рассматривая ее, мы с волнением разыскивали места наших стоянок и боев. О том, где, кто, кого бил

– мы почти не вспоминали и не из чувства взаимной деликатности, а просто по маловажности этого вопроса перед лицом тех больших переживаний, которыми мы чувствовали себя объединенными.

Эта тема фронтовой дружбы была в 20-х годах весьма популярна во всех странах Европы. Она не только интересовала психологов, философов и социологов, но также и политиков-практиков. Повсюду в Европе устраивались международные съезды фронтовиков и делались попытки вручения министерских портфелей участникам Великой войны.

Защищал эту мысль энергичнее всех принц Роган, основатель

и вождь всеевропейского союза культуры ("Ки^игЬипс!"). В своих докладах он убежденно доказывал, что в случае одновременного прихода к власти, хотя бы только в главных странах Европы «окопных» людей, дело культурно-политического примирения между вчерашними врагами сразу же двинется вперед.

Жизнь страшно насмеялась над этим мечтателем. По воле «неизвестного солдата» Гитлера, главный кандидат принца Рогана в премьер-министры Франции, Пьер Кот (министр воздухоплавания в министерстве Даладье), уже давно сидит в тюрьме и ждет своей участи.

Оглядываясь на пройденный жизненный путь, я всегда благодарно удивляюсь тому, до чего я даже в мелочах был правильно и благосклонно ведом своею судьбою: страдал всегда только по заслугам, но часто незаслуженно награждался удачею и счастьем.

По всему своему отношению к войне, которое батарея не без юмора охарактеризовала награждением меня прозвищем «геройского барина», я никак не заслуживал «боевого» ранения. «Геройство» мое всегда

выражалось лишь в пассивной храбрости, в умении веселостью ободрить солдат в опасную минуту и помочь скоротать им тревожные часы ожидания боя. Я знаю, со мною и товарищам офицерам и солдатам было уютно. Не раболепствуя ни перед боевой опасностью, ни перед окопной скукой, я всюду был желанным гостем. Но офицером я был весьма посредственным. Математика стрельбы меня мало интересовала, стрелял я потому весьма приблизительно; в искусстве чтения карты я тоже не был большим мастером. Будучи одно время начальником разведки, я руководился больше глазомером, сметкой и доверием к охотничьим инстинктам моих сибиряков. В качестве заведующего батарейным хозяйством, я удачнее других добывал пропитание для своих батарейцев, но был окончательно неспособен к ведению батарейного журнала. Конечно, если бы я взял себя в руки, то легко смог бы одолеть эту нехитрую премудрость, но я себя в руки не брал. Строго и очень серьезно я относился только к духовно-нравственным и педагогическим задачам офицера; в сфере же своих профессионально-технических обязанностей, я дилетантствовал и сибаритствовал так, как это было возможно, вероятно, только в царской армии. Тем не менее я был на хорошем счету у начальства, был не позднее других награжден «Аннами» и «Станиславами» низших степеней, дослужился до чина поручика и был даже представлен к золотому оружию, которого не получил, как мне объяснил командир

батареи, только потому, что «наверху» было решено не выдавать (за немногими исключениями) знаков отличия за бои во время галицийского отступ-пления.

В связи с таким моим штатским отношением к военной службе, судьбою и было решено ранить меня не немецкою пулею в бою, а нашими же собственными санями во время поездки с позиции в штаб.

С детства одержимый страстною любовью к ло

шадям, я, несмотря на предупреждение фельдфебеля, велел при поддержке поручика Балашевского заложить только что приведенных молодых жеребцов. При первом же выстреле жеребцы подхватили и понесли нас по лесу. Меня очень несчастно выбросило из саней. Сразу лишившись сознания от безумной боли в ноге, я очнулся на своей койке в окопе. Через несколько дней я уже был в полевом лазарете в Риге. Оттуда попал в Псков в лазарет великой княгини Марии Павловны младшей. Как там лечили и оперировали – сказать не могу, но кормили нас изумительно и развлекали на славу. Особо благодарен я администрации за то, что она разрешила Наташе, чудом пробравшейся в Псков, целыми днями оставаться в моей палате. Иной раз она уходила в первом часу ночи.

Псков был до отказу забит армией и тыловыми организациями. Получить приличную комнату хотя бы за тройную цену было невозможно. Ютилась Наташа поэтому в каких-то непредставляемо грязных номерах «Палермо», в малюсеньком номере, в котором ничего не было, кроме продавленной кровати, стула, печки во всю стену и огромной старинной иконы величиною в дверь. Умываться приходилось в общем коридоре, где в железном треножнике находился маленький тазик и рядом ржавый кувшинчик с водою, один на всех постояльцев. Ночью Наташе приходилось иной раз минут двадцать, а то и больше, стоять на двадцати-двадцатипятиградусном морозе у запертой двери «Палермо», ожидая появления заспанного босого коридорного, в портках и шинели в накидку. Впуская позднюю гостью, половой, несмотря на богатые начаи, каждый раз грозился, что завтра совсем не отопрет двери. Все это не производило на Наташу ни малейшего впечатления. Счастливая тем, что она со мною, она с легкостью переносила свои небезопасные ночные путешествия. Утешала ее и благолепная красота утопающего в сине-зеленых под полною луною сугробах

древнего города, с его гениально сложенными приземистыми церквами, стоящими чуть ли не на каждом перекрестке.

Из Пскова я в сопровождении Наташи и моего незабвенного

денщика Семена Путилова, которого за тихий вид и какой-то недоумевающе-ласковый голос все звали Семешей, направился, не дождавшись санитарного поезда, в одиночном порядке через Петербург в Москву.

Поездка была ужасной: полная анархия всех расписаний, столпотворение на всех вокзалах и платформах, до отказу набитые вагоны и трагическая недоступность уборных. Впервые вставши на костыли и не умея владеть ими (впоследствии в Москве костыли стали моими усовершенствованными ногами) я со своею разбитою, положенною во временную гипсовую повязку ногою, чувствовал себя совершенно беспомощным в толпе, так что Наташе и Семеше приходилось в особо критические минуты подымать меня на руки.

После пережитых в дороге страхов, Евангелический полевой лазарет, в который меня привела моя счастливая звезда, показался мне раем. Впрочем он и был им по сравнению с теми казенными госпиталями, в которых мне впоследствии пришлось навещать раненых товарищей. Помещался Евангелический лазарет в просторном, барском особняке, стоявшем в довольно большом саду за чугунною решеткою. Заведующим лазаретом был известный в Москве профессор Гагеманн, оперировавший только в самых сложных случаях по своей специальности. Главную работу по лазарету нес талантливый молодой ортопед, доктор Финк – высокий, мешковатый и все же очень изящный человек с горячими глазами и ласковой улыбкой. Он не только вдумчиво, умно и осторожно лечил меня, но, живя во дворе во флигеле, часто приходил ко мне после ужина побеседовать или сыграть партию в шахма

ты. Играл он замечательно. Проведенные мною девять месяцев в лазарете я вспоминаю с глубокою благодарностью. И старший помощник Финка, доктор Ка-линовский, и бородатый студент рентгенолог, и сестры военного времени, среди которых особенно сердечно работали две княжны Ливен – все относились ко мне с совершенно исключительным вниманием.

Довольно долго вместе со мною лежали в палате два одинаково колоритных, но во всем противоположных офицера: холерический пехотный прапорщик Ма-карыч из «красных» народных учителей, песельник, говорун и озорник, и меланхолический балтийский барон, служивший в одном из самых славных кавалерийских полков.

Проснувшись Макарыч сразу же хватался за гитару и на всю палату весело затягивал: «Она милая моя-а-а… Волга матушка река-а-а…». Под его песни контуженный в спину барон молча занимался холею своих рук и ногтей. После кофе барон

развертывал карту и без малейшего раздвоения души мечтал, склонясь над нею, о лихих делах своего полка, в котором служили все его предки, и о конечном поражении России.

После кофе между бароном и Макарычем часто вспыхивали горячие политические споры, в которых нападающею стороною бывал всегда Макарыч, считавший, «как социалист», что после войны необходимо будет отобрать земли, как у пермских Строгановых (Макарыч был родом из Пермской губернии), так и у всех балтийских баронов.

Не вступая в большие пререкания с прапорщиком, барон презрительно бросал ему: «Социализм – это вздор, Макарыч» и начинал с упоением рассказывать нам о прибалтийских владениях их древнего рода: о замках, парках, картинах, скульптуре, о старинной мебели, севрском и мейссенском фарфоре, о конных заводах и племенном скоте.

Желая подразнить барона, Макарыч, совершенно впрочем беззлобно, брал со стула свою гитару и, жуликовато оглядываясь кругом, начинал тихонечко наигрывать марсельезу.

Где сейчас Макарыч – не знаю. Горячий, веселый, задорный социалист-революционер, скорее всего мещанского или купеческого происхождения, он, вероятнее всего, уже давно сложил свою голову в борьбе с большевиками. Барон, покинувший Курляндию, благополучно здравствует в небольшой квартире в Берлинском предместье и подчас сомневается в том, жил ли он когда-нибудь тою жизнью, о которой он нам с Макарычем рассказывал. Несколько лет тому назад я как-то был у него. Вспоминали нашу палату, сестер, врачей и наши разговоры и споры о социализме.

Не всегда в России спорили в те годы о революции столь миролюбиво, как в нашей палате на Яузском бульваре, но везде почти так же отвлеченно и беспредметно. Кто может сомневаться, что если бы наши революционные вожди и защитники реакции могли бы хоть на мгновение вообразить себе будущее таким, каким оно оказалось, они еще в последнюю минуту, даже и не находя общего языка, протянули бы друг другу руки. Но в том-то, думается, и коренится трагедия истории, главная причина ее величественного самоистязания и ее метафизического безобразия, что образ будущего, иногда чаемый пророками и художниками, дольше всего остается сокрытым от его фактических творцов. Оптика революционной воли почти всегда мечтательна и одновременно рационалистична, то есть утопична. Строя планы своих действий, набрасывая и вычерчивая в сознании карты будущего, революционеры-утописты невольно принимают картографические фантазии за живую картину

будущего; при этом они забывают о сущности всякой карты, которая, условно соответствуя действительности, не несет в себе ни малейшего сходства с нею.

Вглядываясь в революции 20-го века, нельзя не видеть, что свойственный им дух утопического активизма связан с молодостью их вождей. Требование русских бунтарей – Бакунина, Нечаева и Ткачева – «долой стариков» бесспорно сыграло в новейшей истории весьма значительную роль. Для большевистского бунта, как и для фашистских переворотов в Италии и Германии характерна, впрочем, не только та роль, которую в них играла молодежь, но и сознание этой молодежи своей революционной роли в истории. Причин, объясняющих этот факт, много и большинство из них налицо. Мне хочется выделить из них лишь одну, быть может, самую глубокую. Я думаю, что молодость особо утопична потому, что она живет с закрытыми на смерть глазами. В так называемые «лучшие» годы нашей жизни смерть представляется нам бледною, безликою тенью на дальнем горизонте жизни, к тому же еще и тенью поджидающей наших отцов и дедов, но не нас самих. Этим чувством здешней бессмертности и объясняется прежде всего революционный титанизм молодости, ее жажда власти и славы, ее твердая вера в возможность словом и делом, огнем и мечом изменить мир к лучшему – одним словом всё то, что характерно для вождей, диктаторов, героев-революционеров, чувствующих себя не смертными человеками, а бессмертными полубогами.

Как безвыходна была бы история человечества, если бы она почти 2000 лет тому назад не осветилась бы светом христианства. Отменив богооткровенною истиною все «только» человеческие мудрствования и навеки победив тишайшею тайною Вифлеемской ночи все титанические замыслы безбожного самоуправства, христианство призвало всех нас, юных и старых, здоровых и больных, богатых талантами и нищих духом к столь великому преображению мира, перед которым распадаются в прах самые смелые мечты о революционном переустройстве человеческой жизни. Не

потерять даже и в наши дни веры, что всех борющихся между собою «героев» в конце концов победит Бог не так трудно, как оно на первый взгляд кажется. Чтобы не соблазниться всемогуществом зла, надо лишь понять, что истина побеждает и там, где отрицающая ее ложь, пытаясь на свой лад строить нашу жизнь, изо дня в день только разрушает ее.

Все эти мысли были у меня в 1914-м году в зачаточном состоянии, все же я с фронта писал жене, что в качестве философа, то есть человека лишь раненного вечностью, но не

спасенного в ней, я с каждым днем все больше тяготею к нашему батарейному «старцу» Шестакову, который просто и твердо верит в своего православного Бога. Старцем Шестаков, впрочем не был, не был он даже и Платоном Каратаевым, а всего только глубоко набожным сорокалетним «стариком», который Великим постом питался исключительно хлебом и водою, не теряя от этого ни бодрости, ни сил, ни светлого настроения.

Не скажу, чтобы у нас на фронте было много Ше-стаковых, но что-то шестаковское было почти во всех солдатах. Может быть, это объясняется тем, что, проходя трудною полосою своей жизни, они все невольно уходили в глубину древней веры своих отцов и дедов. Этою верою искони держится и своеобразно-пассивный народный патриотизм: Бог не выдаст – свинья не съест. Вера же в то, что Бог Россию не выдаст, была в крестьянской, а потому и в солдатской России всегда тверда. Думаю, что она и сейчас не поколеблена. Этою верою объясняется и та на первый взгляд непостижимая небрежность, с которою наши сибиряки относились к своим обязанностям. Так например, все они неохотно окапывались на позиции. Сколько раз спрашивал я: «отчего, ребята, не роете настоящих окопов?» И всегда получал один и тот же ответ: «Нам, ваше благородие, не к чему. Австрияк оттого и бежит, что хорошие окопы любит, из хороших окопов кому охо

та в атаку подыматься, а мы из наших завсегда готовы». Характерным образом в тылу окапывались много охотнее, чем на позиции. Наши скрытые в лесу тыловые стоянки вырастали иной раз в целые деревни. Тут плотничали и столярничали с увлечением, в веселом хозяйственном раже, забывая о войне, быть может, и в правильном ощущении, что от дождя и холоду человеку своими силами уберечься можно, а от смерти нет, и пытаться не стоит.

Иной раз случались вещи и похуже, чем недостаточно глубоко вырытые окопы. Зашел я как-то раз – время было, правда, тихое, – на передовой наблюдательный пункт к телефонистам. Вижу сидят и в карты играют, а вместо огарка тлеет обмотанный изоляционным воском телефонный провод, которого у нас никогда не хватало. Стал усовещивать, но чувствую, что мои слова до них не доходят: не верят, чтобы от нескольких аршин проволоки мог бы зависеть исход войны.

«Ну, а если у вас в нескольких местах перебьет сеть, с чем чинить пойдете?» «Да зачем же, ваше благородие, ему перебивать: он в это время никогда не стреляет». Может быть, надо было бы не разговаривать, а разнести и наказать, но я был на это окончательно не способен. Вероятно, потому, что и сам не считал

очень важным – выпущу ли я по окапывающимся австрийцам пять шрапнелей, или десять, скомандую ли прицел 79, или 81. Толстовски народное чувство, что война идет своим собственным «верхним ходом» и не очень зависит от отдельных решений и распоряжений, было во мне самом подчас очень сильно.

Считая все же правильным прекратить запрещенную карточную игру и преступную растрату телефонного провода, я подсел к телефонистам. Через час пришла смена: старик Шестаков и с ним неизвестный мне молодой солдат с бледным, немощным лицом. Я вынул портсигар – все, кроме Шестакова, закурили. Вскоре

поднялся нескончаемый окопный разговор о смысле и грехе войны, в котором пришедший с Шестаковым канонир, очевидно продолжая прерванный спор, принялся горячо доказывать нашему, не чуждому толстовству «старцу», что «не убий» надо понимать «вовсе иначе».

– Убить, – говорил он, часто моргая воспаленными веками и как бы с трудом выталкивая из себя, видимо уже давно мучившую его мысль, – означает, как я понимаю, душу испортить, озлобить ее, поднять против Господа Бога. Оружием же, всё равно, огнестрельным или холодным, убить бессмертного человека, особенно на войне, где всякий ежечасно к смерти готовится, никак невозможно; оружием, – волновался он, – можно только до срока отправить человека на тот свет, где ему в вознаграждение за понесенное страдание можно будет очень даже хорошо устроиться.

Как ни наивны были наши окопные беседы, я им очень многим обязан. Думаю, что досадная бессодержательность большинства современных философских книг связана с тем, что все мы неумеренно питаемся библиотечными консервами и беспечно игнорируем растущие на жизненном корню и потому особенно важные истины.

Начавшая слагаться у меня на фронте метафизика смерти, как внутренней формы нашей жизни, подверглась за время пребывания в лазарете очень жестокому испытанию.

Хотя мне лично смертная опасность ни минуты не угрожала, я не раз переживал в лазарете тот темный, голый и унизительный страх, которого, стоя под пулеметным огнем и стреляя на прицеле 20, то есть на расстоянии всего только четырехсот саженей по наступающей немецкой пехоте, я никогда не испытывал. Очевидно, страх до конца овладевает только бездейственною душою, лишенной возможности сопротивляться надвигающейся опасности.

Уже в Рижском дивизионном лазарете на меня нападала иной

раз безысходная тоска. Дни шли один как другой. С утра томительное ожидание доктора, днем – неустанный стон, а то и крики, тупые, животные, в недалекой операционной. После обеденной кормежки долгий сон с храпом и свистом товарищей по палате. В сумерках после чая – уныло похотливая граммофонная нудь в соседней палате выздоравливающих. Затем ранее тушение света: бессонница, путаница мыслей, боль сквозь полусон, а под утро, в час, когда даже и тяжелые забываются сном, деликатное, вполголоса отпевание умерших в гулкой передней.

В Пскове и в Москве было уже легче: чем глубже в тыл, тем меньший процент обреченных на смерть. Но все же ужас хирургических палат, безоговорочной обреченности на длительное, унылое, будничное страдание с перспективой остаться на всю жизнь калекой и тут тяжелым кошмаром стоял над душой.

Несмотря на все это, я в лазарете почти не слышал сознательных проклятий войне и часу ранения. Скорее наоборот. Прислушиваясь к разговорам раненых солдат, которые по вечерам собирались в самой большой палате, я не раз удивлялся тому, с какою живостью и даже любовью рассказывали они друг другу о том, как шли в атаку, резали проволоку, забрасывали немца гранатами, отнюдь не связывая этих геройских переживаний с гноящимися в их телах дренажами, с перевязанными головами, с ампутированными руками и ногами.

По утрам, пока убирали нашу палату и перекладывали моего соседа по койке, я часто заходил к совсем молоденькому поручику, который уже с год умирал невероятно тяжелою смертью. Раненый в позвоночник, весь в пролежнях, он неподвижно лежал на водяном матраце, не будучи в силах без чужой помощи ни привстать, ни повернуться. Без кровинки в лице, нервный, раздражительный, он целыми днями, не выпуская

изо рта папиросы, молча играл в преферанс. Когда же раскрывал рот, то без ненависти и проклятья говорил только о фронте. Уверен, – если бы он выздоровел, то с радостью вернулся бы в свой полк.

Чем дольше я лежал в лазарете, окруженный исключительною любовью жены и матери и исключительным вниманием родных и знакомых, тем сильнее тянуло меня на фронт. «Верите ли, – писал я из лазарета в свою батарею, – сколь бесконечно ценными кажутся мне отсюда месяцы, проведенные на фронте. Как первая любовь, вспоминаются первые осенние бои. Любовь и войну роднят ошеломляющая необычайность как той, так и другой и непосредственное отношение обеих к последней

тайне жизни, к смерти. Как бы страшна ни казалась нам смерть, диалоги, что от ее имени ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться «к песням небес».

Полная глухота госпитально-эвакуационного тыла к этим «песням» сыграла в моем добровольном решении вернуться на фронт, быть может, главную роль.

Если в моей душе живет к чему-нибудь непобедимое отвращение, то разве лишь к «Первому московскому эвакуационному пункту». Находился он почти за городом, в Хамовниках, куда извозчики брали по тогдашним ценам не меньше пяти рублей в конец, то есть около десяти процентов моего офицерского жалованья. Помещался эвакуационный пункт на третьем этаже, куда вела крутая лестница без перил. Ждать очереди приходилось часами в грязном, узком коридоре, сидя на подоконниках, так как стульев не хватало.

Кроме бессмысленно частых посещений врачебной комиссии, где старые, шамкающие и очевидно недобросовестные врачи встречали тебя как «ловчилу», си

мулянта и вымогателя казенных субсидий, приходилось два раза в месяц ездить в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещалась, как нарочно, не в том же громадном доме, где была комиссия, и даже не на том же дворе, а в стоящем на другом конце площади офицерском собрании, притом опять-таки во втором этаже. Таким образом нужно было дважды подняться на костылях во второй и третий этажи, дважды спуститься и дважды пересечь широкую снежную площадь. Причем в результате посещения хозяйственной части мы получали не жалованье, а всего только право на его получение, то есть аттестат, с которым надо было ехать в казенную палату, дабы, после нового стояния в двух хвостах, получить причитающиеся тебе, как подпоручику, 56 рублей.

Все это неряшливое, нерадивое и глубоко неуважительное к званию воина отношение до глубины души возмущало меня и тем будило живую тоску по фронту, по братскому духу и быту родной батареи.

Тоска эта была так сильна, что я не находил себе места даже и в близких мне по духу литературно-философских кругах, где велись нескончаемые беседы о глубинном смысле войны, о протестантской сущности немецкого милитаризма, о роковой для судеб Европы эволюции Германии от Канта к Круппу, о непонимании Толстым таинственного единства креста и меча, об умалении желтой опасности в связи с выступлением Японии на стороне держав Согласия, о предопределенности России к

республиканскому строю в связи с неприемлемостью догмата папской непогрешимости для православия, о бездарности правительства, Распутине, о шансах Гучкова в военной комиссии, о подготовлении государыней и Штюрмером сепаратного мира и о многом другом. Развивались эти темы иной раз с исключительным талантом, блеском, глубиной и подлинной эрудицией. И тем не менее я чувствовал себя среди не

видавших фронта писателей, философов, в особенности же среди бойко философствующих интеллигентов-политиков, глубоко одиноким и неприкаянным. Их вольноотпущенные мысли, смелые построения, страстные речи и громкие голоса ощущались мною сплошной инфляцией, мозговою игрою, конструктивною фантазией, кипением небытия.

Уже одно то, что все слышанное и виденное за день по возвращении в лазарет невольно сопоставлялось в душе с рассказами ночной сестры (я всегда заходил в дежурную комнату выкурить последнюю папиросу) о прибытии новых раненых, неудачно прошедшей операции, или бессмысленной отправки на фронт недолеченных солдат, делало меня особенно недоверчивым ко всякому мироустроительному умствованию над творящимся в мире безумием.

В конце июня 1916-го года (я только что сменил костыли на палку) врачебная комиссия эвакуационного пункта постановила отправить меня в Ессентуки: ступня раненой ноги все еще оставалась неподвижной и вся надежда была на грязевые ванны.

Свидание с Кавказом, на котором мы с Наташей провели первые месяцы нашей жизни, было для нас величайшею радостью. Ни на минуту не покидавшее нас чувство, что нашему блаженству врачебною комиссией в Пятигорске может быть ежедневно положен конец, лишь усугубляло смысл и счастье каждой переживаемой минуты и делало нас особо восприимчивыми к тихим радостям будничной жизни, которая здесь, где мы в деловом порядке не соприкасались с ее неприятными сторонами, казалась нам не тылом, а тем блаженным мирным миром, глубину и очарование которого мы раньше никогда не испытывали с такою силою.

Во время наших прогулок по парку и поездок в горы мы робко, как бы не сглазить, беседовали с Наташей о будущем, почти без слов договариваясь о

том, что посую войны начнем новую, углубленную жизнь, в которой будем по-новому внимательны не только друг к другу, но и ко всем людям.

О таком же преображении жизни мечтали тогда и солдаты. В записках сестры милосердия Софии Фе-дорченко встречаются

замечательные солдатские слова: «запиши ты твердо слово: наша жизнь такая теперь, что век ее помнить надо. Коли ты эту жизнь нашу теперешнюю проспишь, так значит нас и трубе при Страшном суде не разбудить будет. Не только что помнить, а и век по новой по науке жить надо до смерти».

После шестинедельного лечения в Ессентуках комиссия почла меня выздоровевшим; мы вернулись в Москву, а через неделю я отправился на фронт.

То, что я возвращался не под Ригу, где у нас были только неудачи, а в Галицию, было для меня особенно радостно. Хотя товарищи батарейцы мне намекали и писали, что дух фронта уже не тот, я этому как-то не верил. Разочарование мое по приезде в действующую армию было потому весьма велико.

По пути из Подгаиц в Завалув, где стоял штаб нашей дивизии, я неожиданно встретил фейерверкера своей батареи, которому обрадовался, как родному, и которого сразу же засыпал тысячью вопросов. Ответы Бабушкина, как и весь тон его, были печальны: последние бои дорого обошлись бригаде: убит Шидловский и вторично ранен Вериго. «Солдат, – рассказывал Бабушкин, – ужас сколько полегло, в особенности в пехоте». Не легче сведений о потерях легли на душу известия о всевозможных переменах в бригаде. Оказалось, что оба дивизионера новые, что Владимир Балашевский, которого мне особенно не терпелось увидеть, в Петербурге на курсах Генерального штаба, откуда вряд ли вернется в батарею, что командир, как слышно, тоже уходить собирается.

Это последнее известие особенно больно ударило по сердцу. Взяло сомнение, не напрасно ли я возвращаюсь, есть ли к чему возвращаться? Не распадается ли дух и быт нашей бригады и даже нашей батареи? В таких грустных раздумьях провел я беспокойную ночь в головном отделении нашего парка, а на следующий день на гривастом парковом коньке двинулся к себе на батарею.

По пути к ней я поравнялся со знакомым разведчиком того полка, что участвовал в злополучном деле под Ауцем, где попала в плен наша шестая батарея.

Из разговора с этим разведчиком я узнал, что тот штабной офицер, который был повинен в Альтауцкой катастрофе, вовсе не лишил себя жизни, как о том ходили, скорее всего нарочно пущенные начальством слухи, а был убит солдатами во время предпринятой им попытки отбить у немцев шестую батарею.

Убийство солдатами офицера было, конечно, всегда возможно, но ничем не вызванное признание в этом было год тому назад совершенно немыслимым. Припомнив в связи с этим

страшным признанием только что ставшее мне известным секретное сообщение штаба корпуса о срочном снятии с позиций одной из частей в предупреждение ее самовольного ухода, и лазаретные слухи о том, что вражда между артиллерией и пехотой дошла в иных частях до того, что артиллерийские наблюдатели в одиночку в пехотные окопы не посылаются – я воочию увидел перед собою страшную картину уже далеко зашедшего разложения армии.

Через час по прибытии в Шумляны, где стояла наша батарея, встретившая меня, начиная с командира и кончая Семешей, с чисто фронтовой сердечностью, я уже сидел за чаем и рассказывал окружавшим меня тесным кольцом товарищам о Москве, Петербурге, «веяниях в сферах», главным же образом о всевозможных точках зрения на возможный конец войны.

Мнение, что война скорее всего кончится к осени 1918-го года, вызвала бурный протест со стороны командира, Ивана Владимировича. Его, неожиданно длинная для молчаливого солдата, обвинительно-обличительная речь подтвердила и обобщила все печальные догадки о положении фронта.

– Воевать еще два года, – вбивал Иван Владимирович гвоздь за гвоздем в гроб русской армии, – абсурд, так как мы уже давно не воюем. Штабы не воюют: они приказывают вниз и доносят вверх, втирают очки и стяжают чины. Я воюю, но меньше с немцами, чем с начальством, потому что начальник дивизии пехотный самодур, а командир бригады махровая шляпа. Разве не глупо требование, чтобы наблюдательный пункт представлял в штаб по десяти схем в день, когда этими схемами ни один чорт не интересуется, кроме штабных денщиков, которые их крутят на цыгарки. Пехоты у нас нет. Пополнение с каждым разом все хуже и хуже. Шестинедельной выпечки прапоры никуда не годятся. Как офицеры, они безграмотны, как юнцы, у которых молоко на губах не обсохло, они не авторитетны для солдат. Они могут героически гибнуть, но они не могут разумно воевать.

Продовольствие, фураж! Да ведь нам в сущности ни того ни другого не доставляют, за всем надо охотиться, как за дичью и, ей?Богу, я, батарейный командир, чувствую себя больше помещиком в неурожайный год, чем строевым офицером.

Нечему удивляться, что при таких условиях даже у нас, кадровых офицеров, начинают иной раз опускаться руки и подыматься мысли: а не плюнуть ли на все и не податься ли куда-нибудь подальше в тыл.

Я, конечно, очень рад, дорогой мой, что вы приехали, но если бы вы меня спросили, я посоветовал бы вам с вашею ногою, по добру по здорову, оставаться в Москве.

После своей речи Иван Владимирович с неожидан
ною веселостью захлопал в ладоши и велел подавать обед.

Появились пирожки, сардинки, разведенный Александром Борисовичем спирт с душистою травкою… Старая, первопоходная спайка третьей батареи быстро взяла верх над разрухою фронта. Стало уютно, попрежнему тепло, но и по-новому грустно.

Может быть, подумалось мне, исконный пессимист, Иван Владимирович, все же преувеличивает, устал, изнервничался? Надо будет проверить своими глазами, походить по окопам, поговорить с ротными, почувствовать, что происходит в солдатских сердцах.

На проверку вышло, что преувеличивал Иван Владимирович только в отношении снабжения армии. По сравнению с началом кампании оно заметно улучшилось. Снарядов было больше, чем когда бы то ни было раньше, и голода, или хотя бы длительного недостатка в питании, ни люди, ни лошади не испытывали, хотя иной раз и приходилось прибегать к экстренным мерам.

Изменение же духа армии было, как содержанием, так и тоном речи Ивана Владимировича охарактеризовано вполне правильно. Даже и те из офицеров, которые в противоположность Ивану Владимировичу не были склонны отрицать объективного улучшения в материальном положении фронта, уверяли, что снижение духа армии, связанное главным образом со второсортностью недоученного и недовоспитанного человеческого материала, присылаемого на фронт, идет много быстрее, чем улучшение производительности наших военных заводов. Страшное слово «поздно» Дамокловым мечом висело над армией. Вместе со скучными, ноябрьскими туманами по сырым глинистым окопам неудержимо расползалось уныние. В офицерских душах незаметно протаривались извилистые тропы благовидного приспособленчества, а то и дезертирства. Исполнение долга было еще на высоте, но офи

церской доблести и солдатской лихости было уже гораздо меньше. Получить «Георгия» попрежнему оставалось заманчивым и желанным, но «переплачивать» за него, подвергая себя излишней опасности, уже никому не хотелось. Дух добровольческого самопожертвования явно отлетал от армии, даже геройство становилось расчетливым.

Менялось все потому, что война уже никем не ощущалась судьбою, от которой уйти нельзя и прятаться постыдно. Вера в то, что «война с того света пришла», уже не владела ни офицерскими, ни солдатскими душами: по окопам открыто ходили разговоры о том, что войну наслали на Россию немецкие советчики государя императора, которые были при дворе в большой силе, так как за

ними стояла сама императрица, которая хотя и спуталась с русским мужиком, а все же свою немецкую линию тянет. Эти злые шопо-ты политиканствующего тыла со дня на день все глубже разлагали ту подсознательную метафизику войны, которою живет как ее покорное приятие, так и ее героизм.

В дополнение картины надо еще сказать, что на фронте упорно, даже с каким-то злорадством говорили о том, что немец обязательно пустит газы. В этом ожидании газа чувствовалось желание обесчестить войну и тем оправдать свое изменившееся к ней отношение.

Пробыв на батарее около шести недель, я перевелся в парк. Решение «податься в тыл» далось мне не легко. Побудил меня к этому целый ряд причин, из которых главною была моя нога. Совсем было поправившись в Ессентуках, она, после первых же дежурств на передовых наблюдательных пунктах (за сутки дежурства полагалось хотя бы раз обойти наш большой боевой участок), снова начала ныть и пухнуть. Друзья мои, Евгений Балашевский и Александр Борисович, видя, что мне не под силу часами месить вязкую, гли

нистую почву, решили не пускать меня на суточные дежурства и распределили их между собою.

Как ни близки были наши отношения, мне было все же неприятно подвергать приятелей излишней опасности. Кроме того, меня смущала мысль, что в случае ухода командира, все чаще заговаривавшего о своем переводе, мое привилегированное положение может стать невыносимым.

Моим колебаниям неожиданно положило конец предписание начальника штаба дивизии откомандировать кого-нибудь из младших офицеров в парк. Командир бригады предложил перевести меня. Иван Владимирович советовал не противиться судьбе и со спокойною совестью принять назначение.

Доводы его были убедительны: молодым прапорщикам, недавно прибывшим на фронт, отдыхать еще рано, а кадровым офицерам перевод в парк невыгоден, так как он тормозит производство.

Заглянув себе в душу и увидев, что в ней не все обстоит благополучно в отношении самолюбия, я решил, что обязан освободить от себя батарею и подал соответственный рапорт.

Дня через два, 22-го декабря 1916-го года, я погрузил свою двуколку, забрал своего закадычного Се-мешу и с тяжелым сердцем, сев в последний раз на мою Чадру, отправился к своему новому месту службы, надеясь сохранить с батареей, расположенной только в трех верстах от головного и в 15-ти от тылового парков, самые дружеские отношения.

Не знаю, был ли прифронтовый тыл на самом деле столь отвратителен, каким он предстал моим глазам после перехода в парк, или его отвратительный образ был порождением того уныния, которое завладело мною после ухода с батареи.

Знаю только одно, что раньше, когда я приезжал с позиции в тыл: в полевое казначейство, на почту, на питательный пункт, в штаб – я всегда восприни

мал тыл как некое подобие той настоящей жизни, от которой меня оторвала война. Было приятно сходить в баню, не торопясь пообедать у знакомого земсоюзно-го доктора, принять стакан чаю из рук милой сестры, невольно волнующей тебя отдаленным сходством с матерью, сестрою, женою, не спеша пройти в казначейство, опрятный, провинциальный домик, у коновязи которого, как где-нибудь в Серпухове или Дмитрове, жуют сено запряженные в брички рассупоненные лошаденки, а затем, закурив папиросу и еще чувствуя в душе медленный ритм мирной жизни, шажком двинуться на батарею.

Когда переведясь в парк я стал чаще навещать тыловые учреждения, их отраженная поэзия стала быстро таять в душе.

Ближайшим к парку тыловым центром были Под-гайцы, дотла разбитый, загаженный городишко, переполненный праздношатающимся солдатским сбродом вперемежку с грязными, насыщенными восточною характерностью фигурами галицийских евреев.

Посреди города находился «Московский магазин», в котором хищно и расторопно торговал жирный, губастый армянин с плутоватыми глазами, поминутно утопавшими в беспредельной улыбке. Кроме своей копейки, его ничто не волновало, меньше всего – безногий бандурист с кровоподтеком вместо вытекшего глаза, что-то жалобно напевавший на краю вонючей лужи у самого входа в лавочку. Лежащая рядом с костылями шапка оставалась почти что пустой. Певца никто не слушал и ему никто ничего не подавал, хотя по главной улице, впадающей в базарную площадь, все время фланировали земгусары, чиновники, тыловое офицерство и так называемые «кузины милосердия», в которых я уже не видел ни малейшего сходства с милыми женщинами своего мира. Смотря на «кузин» и волочащихся за ними прапоров, я с неприязнью чувствовал, что для всех них любовь – загаженная клет

ка, из которой уже давно вылетела певчая птица. Недаром та болезнь, обещаниями излечить которую пестрят обыкновенно последние столбцы газет, называлась на фронте «сестритом» и недаром прапорщик Вилинский распевал под гитару новую частушку:

Как служил я в дворниках, Звали меня Володя, А теперь я прапорщик, Ваше благородье. Как жила я в горничных, Звали меня Лукерья, А теперь я барышня, «Сестра милосердья».

Чтобы рассеять парковую скуку, много слоняясь верхом по тылу, я часто заезжал в штаб корпуса, к которому был прикомандирован окончивший краткосрочные курсы Генерального штаба Владимир Балашев-ский. Всегда боровшийся против бессмысленной ненависти фронта к генштабистам, я, ближе ознакомившись со штабным духом, понял, что не ненавидеть штаба рядовому фронтовику почти невозможно.

Заглянув в середине февраля в штаб, я узнал, что только что приехали с фронта отравленные газами Евгений Балашевский и недавно прибывший на батарею прапорщик Блинов, которые прошли на квартиру Владимира. Я побежал к ним.

Бледные, усталые, с глазами, налитыми кровью, и с углем от противогазов на веках и вокруг рта, они тихо, стараясь дышать только верхушками легких, рассказывали мне о ночном бое, к раскатистому вою которого я с тревогою прислушивался ночью. Обстрел артиллерийских позиций длился целых пять часов, в продолжение которых на одну третью батарею легло более тысячи снарядов. Немцы гвоздили по нашим позициям с отвратительною методичностью, выпуская не меньше десяти снарядов в минуту.

Страшнее потерь было, по словам Евгения, вызванное газами психологическое потрясение. После газовой атаки в батарее все почувствовали, что война перешла последнюю черту, что отныне ей все позволено и ничего не свято. Неким символом этого предельного обесчеловечения, войны Евгению показалась трагическая неузнаваемость всех окружавших его в бою людей: белые, резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, длинные зеленые хобота, неизвестно откуда взявшихся фантастических водолазов на дне беспрестанно освещаемой красными сверканиями разрывов ночной бездны, – все это дышало, по их словам, таким ужасом, которого никогда не забыть. С этим ужасом в душе притащились они в Завалув.

Через полчаса Владимир вбежал к нам с ворохом бумаг подмышкой, красивый, веселый, бодрый, по-штабному чистенький и нарядный. Несмотря на то, что он был уже подробно осведомлен о тяжелых потерях, понесенных горячо им любимой третьей батареей, он был счастлив тем, что, несмотря на бешеный натиск неприятеля, нам удалось удержать окопы.

Наскоро расспросив Евгения, как все было и как он себя чувствует, он, в радостном сознании важности своих новых штабных задач, достал из портфеля свеже-перехваченные

немецкие телефонограммы, намекавшие на подготовляющиеся в России важные события, и начал их громко читать своим звонким повелительным голосом, не замечая, что Евгений ничего не слушает, потому что у него в легких еще стоит запах газа, а в ушах плеск и свист разрывов.

После ужина Владимир не без гордости повел нас в свое оперативное отделение. Несмотря на поздний час, там работало еще несколько офицеров. Каждый за своим большим, хорошо освещенным столом с четко разложенными на нем бумагами и телефонными аппаратами. На столах и стенах большие карты с нанесенными на них синим и красным карандашами ли

ниями наших и неприятельских окопов. Во всем бросающаяся в глаза вытравленность страшной, будничной реальности войны. Всюду схема, цифра, сводка, отвлеченная динамика наступления и отступления, доблестное дело, за которым не чувствуется уныния осенних дождей в размытых окопах, никогда не просыхающих ног, вшей, тоски по мирной жизни, холодящего душу предсмертного страха и непереносимого для человеческой души проклятия беспрекословного повиновения. Нет, ненависть боевых офицеров к генштабистам основана не на том, что они живут чище, вкуснее и безопаснее, а на том, что, чувствуя себя творцами истории и вершителями человеческих судеб, они своим отвлеченно-стратегическим мышлением самонадеянно осмысливают то, что фронт в свои великие минуты ощущает благодатью («И Бога брани благодатью наш каждый шаг запечатлен»), а в свои малодушные часы – безумием.

В 1917-ом году уже никто на фронте не чувствовал в войне веяния Божьей благодати. Зато безумием ее ощущали все, открыто связывая к тому же это безумие с глупостью и бессилием власти.

О вине правительства и придворных кругов у нас в бригаде впервые громко заговорили во время встречи Нового 1917-го года.

В окоп третьей батареи был приглашен весь первый дивизион, в котором из офицеров, вышедших с нами из Иркутска, осталось всего только четыре человека.

Около десяти с половиною сели за стол. Хотя и вин и яств было достаточно, настоящего новогоднего настроения ни у кого не было. Все же по обыкновению начались тосты. Последним поднял свой бокал Александр Борисович: «За свободную Россию, господа». И вот случилось нечто, год тому назад совершенно невозможное: революционные слова вольноопределяющегося были покрыты громкими аплодис

ментами всех собравшихся офицеров. Услышав эти

аплодисменты, мрачный, нервный и замученный неудачами на фронте и разложением в тылу, Евгений Бала-шевский, внезапно просветлев лицом, обратился к старшему из присутствовавших офицеров, полковнику Гореву и предложил послать телеграмму на имя председателя Государственной Думы Родзянко.

– Что же, можно, пошлемте, отчего не послать, – отозвалось несколько не слишком, впрочем, уверенных голосов.

Когда встали из-за стола, Евгений, Александр Борисович и я удалились в «дортуар» для составления текста телеграммы. После недолгого совещания, нами был предложен приблизительно следующий текст: «мы, офицеры первого дивизиона 12-й сибирской артиллерийской бригады, собравшиеся для встречи Нового года, в тяжелую минуту, переживаемую нашею родиною шлем Вам, председателю Государственной Думы, как представителю всей России, свой привет. Готовые здесь, на фронте, исполнить наш долг до конца, мы ждем от Государственной Думы, что она в решительный час действенно встанет во главе всех живых сил и осуществит, наконец, в России тот строй и те начала, без которых все наши усилия здесь тщетны».

Телеграмма послана не была. Первым же отказался подписать ее подполковник Горев: «С содержанием телеграммы, – сказал он, -- я вполне согласен, но против ее посылки решительно протестую, так как это противно духу воинской дисциплины и может иметь весьма неприятные последствия».

При этих словах, сидевший на противоположном конце стола Евгений, побледнев как полотно, в упор спросил Горева: «А завтра вы пойдете на наблюде-тельный пункт, или, ввиду того, что это может иметь для вас печальные результаты, еще подумаете, идти ли?».

Поднялся горячий, шумный, многоголосый спор, в котором я поддерживал Евгения, горевшего двуединым гневом бывшего радикального студента 1905-го года и горячего патриота 1914-го года, а Владимир Иванович и Александр Борисович делали всё, чтобы примирить противников: первый, как хозяин вечера, второй, как прирожденный дипломат.

Конечно, мы с, Евгением были неправы. Говоря о весьма неприятных результатах отсылки телеграммы, Горев ни минуты не думал о себе, тем не менее неправый по существу Балашевский был в своем праведном гневе решительно прекрасен. Вовсе не диалектик и человек не слишком расторопного ума, он возражал Гореву и его единомышленникам с тою точностью слов и ударений, которая дается только вполне бескорыстному волнению.

– Мы не дипломаты, – горячо и мужественно бросал он через стол свои простые и убедительные словам – не политики, не общественные деятели, мы не преследуем нашей телеграммой никакой политической цели. Разве не просто: Родзянко шлет нам привет и говорит: «Стойте до конца, спасайте Россию». Почему нам не ответить ему: «Мы стоим, стойте и вы и спасайте с нами Россию». Зачем произносить чужое холодное слово политика – армия-де не занимается политикой – когда есть родное прекрасное слово «Россия», судьбою которой армии не волноваться нельзя.

В поздний час, когда большинство из присутствующих было, как говорится, на взводе, в спор неожиданно вмешался недавно прибывший на фронт агроном, любивший называть себя «знатоком народа». Своим громогласным заявлением, что все наши разглагольствования имели бы смысл только в том случае, если бы мы были готовы завтра же повернуть наши пушки на Петроград, он сразу же спутал все карты. – Но в том, что вы сможете их повер

нуть, – громыхал он, обращаясь то к Гореву, то к Балашевскому, – вы поручиться не можете, потому что вы имеете дело с русским мужиком, на которого положиться нельзя. Спросите-ка наших развращенных, товарищами социалистами солдат, готовых до хрипоты орать «за землю и волю», пойдут ли они за сто рублей в месяц в стражники? Они вам скажут, что не пойдут, а я вам говорю: пойдут сукины дети, все как один человек пойдут. Велик наш народ, но и сволочь.

Четвертого марта я сидел в своей свежевыбелен-ной халупе и, прислушиваясь одним ухом к потрескиванию сырых дров в громадной бледно-розовой печи и к гармонии фельдфебеля Голощапова, наигрывавшего «Баламут», писал письмо домой.

Под тонким пластом благодарного ощущения многодневного затишья на фронте и паркового уюта, в душе, как всегда, мучительно ныло сознание затягивающейся войны, бессмысленной, безнадежной и скучной.

Вдруг раздался стук в дверь и на пороге появился денщик командира парка. Взглянув на него, я сразу понял, что случилось нечто невероятное: «Так что, ваше благородие, командир приехали из лазарету и просят ваше благородие к себе. Слышно, в Петрограде революция», – произнес он бойко и как бы сам удивляясь своей смелости. Продолжать письма я, конечно, не мог. Оборвав его кратким сообщением о только что услышанном и быстро приписав бездумно вырвавшуюся из души фразу: «О, если бы это была правда», – я сунул письмо в конверт и в страшном волнении побежал к командиру.

Том 2

Глава I ФЕВРАЛЬ

Со страхом и трепетом приступаю к описанию «Февраля». Как уловить, как передать его раздвоенную душу? В каких словах запечатлеть радостную взволнованность целодневных заседаний в ~ Таврическом дворце, после которых мы часто расходились по домам призрачно-белыми ночами, и медленное расползание по всей России ржаво-кровавых туманов «Октября», в которых погибло десятилетиями подготовлявшееся освобождение России. ˆ Противопоставлять «Февраль» «Октябрю», как два периода революции, как всенародную революцию – партийно-заговорческому срыву ее, как это все еще делают апологеты русского жирондизма, конечно, нельзя. «Октябрь» родился не после «Февраля», а вместе с ним, может быть, даже и раньше его; Ленину потому только и удалось победить Керенского, что в русской революции порыв к свободе с самого начала таил в себе и волю к разрушению. Чья вина перед Россией тяжелее – наша ли, людей «Февраля», или большевистская – вопрос сложный. Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячшГ служители добра.

Боюсь поэтому, что будущему историку будет легче простить большевикам, с такою энергиею защищавшим свою пролетарскую родину от немцев,

их кровавые преступления перед Россией, чем оправдать Временное правительство, ответственное за срыв революции в большевизм, а тем самым в значительной степени и за Версаль, Гитлера и за Вторую мировую войну. В своих «Воспоминаниях» Керенский сам говорит, что останься Временное правительство у власти, оно не допустило бы Версаля.

Я никогда не был революционером, больше того: во мне никогда не угасал как инстинктивный, так и сознательный протест против тех левых демократов, марксистов и социалистов-революционеров, среди которых протекала моя гейдельбергская жизнь. Несмотря на такое отношение к революции, я принял весть о ней радостно, в чувстве, что над мрачным унынием изнутри разлагающейся войны внезапно воссиял свет какого-то ниспосылаемого России исхода. В безвыходные минуты мы всегда склонны принимать новое за светлое.

В таком, неожиданно для себя самого, светлом чувстве смотрел я на своих солдат, быстро выстраивавшихся на косогоре, с которого в лучах яркого полуденного солнца уже сбегали быстрые весенние ручьи.

Сказав «паркачам» по просьбе больного и неуверенного в себе командира несколько слов о мудром и великодушном отречении государя-императора и о переходе власти к Временному правительству, которое бесспорно сделает все, от него зависящее, чтобы в возможно короткий срок с честью окончить войну, я распустил своих сибиряков с просьбой строже, чем раньше, соблюдать дисциплину, и с угрозой строже, чем раньше, взыскивать за нарушение ее, так как известно, «кому много дано, с того много и взыщется».

Слушали меня очень внимательно, отнеслись к сказанному с полным доверием и после команды «разойдись», весело, с какою-то, как мне показалось,

новою свободою в движениях и голосе, шумно посыпались под гору в деревню. Вечером во всех халупах, как докладывал фельдфебель, только и было разговору, что вернемся домой и, наконец-то, заживем на своей земле полными хозяевами своей новой и вольной жизни.

Об этой будущей жизни я и сам в первые дни после переворота много говорил с солдатами и из этих разговоров вынес твердое убеждение, что жажда «замирения», с неудержимою силою вспыхнувшая в солдатских душах, была не трусостью и шкурничеством, но прежде всего всенародно-творческим порывом к свободе, в смысле оправдания добра в мире. Найдись у революции вожди, которые, во время расслышав этот порыв, сумели бы его политически оформить, все было бы спасено: и правда революции, и честь России.

Несмотря на мое, как стали выражаться впоследствии, «приятие революции», я не испытывал ни малейшего желания принять в ней деятельное участие. Не доложи мне как-то ранним утром мой денщик Се-меша, что за мной прибежали два стрелка, у которых в полку неладно, я, быть может, так до конца и остался бы в стороне от революционных событий.

Введенные бледным от волнения Семеном стрелки, солидные, бородатые мужики в подоткнутых шинелях, потные и растрепанные от быстрой ходьбы, перебивая друг друга, доложили мне, что их полк собирается самовольно уходить из окопов и грозит повесить командира, если он на то не даст своего «приказу». Их ротный (хорошо знакомый мне поручик из прапорщиков) просит меня немедленно приехать и поговорить с бунтовщиками, которые чужого, быть может, скорее послушают,

чем своего.

Велев седлать, я зарядил на всякий случай револьвер и вышел в ожидании лошади на крыльцо.

Перед глазами стояли взбунтовавшиеся роты. Сердце билось, в груди разгоралась непреклонная воля к подавлению бунта. В голове быстро складывались первые фразы обращения к мятежникам…

Переговорив в штабе полка с растерянным командиром, я двинулся к тыловым окопам, где уже с утра кипел митинг.

Встретили меня «заговорщики» безо всякой вражды. Увидев их простые и скорее растерянные, чем угрожающие лица, я даже устыдился, что зарядил револьвер. С первого же взгляда было ясно, что передо мною не злонамеренные бунтовщики, а заупрямившиеся самодумы.

В чем дело, ребята? Говори открыто.

Вместо ответа – типично мужицкое недоверчивое молчание. Я повторил свой вопрос, обращаясь на этот раз не ко всем, а к стоявшему недалеко от меня солдату с умным, серьезным лицом и весьма независимым видом.

Явно ошеломленный моим вопросом в упор, он сначала было растерялся, но через секунду собрался с духом и, встряхнув головой, заявил:

Как же так, ваше благородие, – вышла свобода. В Питере, слышно, вышел приказ о замирении, потому нам чужого добра не нужно. Замирение – значит вертай домой: нас там жены и дети ждут. А его высокоблагородие говорит: «Ничего подобного: свобода – говорит – после войны будет тем, кто в живых останется. А пока надо защищать родину». Мы, ваше благородие, так понимаем, что наш полковник ослушник новой власти и самовольно над нами куражится, потому порешили исполнить новый закон и сниматься с позиции.

Это он правильно говорит, – отозвался поблизости спокойный голос. Затем из глубины толпы послышались уже иные, взволнованные и озлоблен

ные голоса: «К чему нам напоследок в Галиции пропадать, когда дома землю делить будут», «на кой чорт нам еще сопку брать, когда и под сопкой замириться можно», «командиру за сопку Егория дадут, а тебя за его Егория в могилу уложат!..»

Довольно, ребята, – громко оборвал я расходившихся мужиков, – я приехал поговорить по душам с боевыми товарищами, со славными сибиряками, а с забастовщиками и бунтарями мне говорить не приходится. Таким в армиц не место. Бунтовать против начальства вам и новая власть не позволит. Без дисциплины нет армии, а власть без армии – все равно, что

человек без рук. Безрукому же, будь он хоть семи пядей во лбу, всякий, кому не лень, а не то что немец, почем зря морду набить может, поняли?

Так точно, ваше благородие, поняли, как не понять.

Поняли, так слушай дальше: я понимаю, что вам по простоте вашей, а может и по доброте вашей, непонятно, как это так – объявилась свобода, а вас домой не пускают. В Петрограде говорят о мире, а вам приказ и дальше подставлять лоб под неприятельские пули.

Правильно, ваше благородие, в самую точку.

Я знаю, что правильно, но я еще не всю правду сказал. Правда, известно, палка о двух концах. Так вот, повернем ее другим концом – а другой конец – немец, его-то вы и забыли. У немца свобода не объявлена и мира он у нас не просит. Он притаился и только того и ждет, чтобы русская армия, забыв долг и присягу, вышла из окопов и, как стадо баранов, шарахнулось бы домой. И что же вы думаете? Так он и будет смотреть вам вслед? Как бы не так! Знайте, что он так двинет вам в спину, что вы и опомниться не успеете, как все костьми ляжете. Сами знаете, нет страшнее обстрела, как обстрел в походе. Опять по

думайте: немец от чужой земли не отказался, у него своей мало, ему наша нужна; а не защищенную он ее голыми руками возьмет. И вот еще что сообразите: война немцу много денег стоит, эти деньги ему надо вернуть. Кто будет расплачиваться? Никто, как вы, русские крестьяне. Завоевав нашу землю, он заставит вас задарма работать на ней, потечет русский хлеб в немецкие закрома, а вы будете ремень на голодном брюхе подтягивать, да пот со лба отирать.

А потому, ребята, выкиньте дурь из головы, а дураков из роты, заткните горлодерам рты и слушайтесь начальства. Временное правительство только и думает, что о народе, зря вас в атаку не подымет и лишнего часа на позиции не продержит. Обещайте же мне слушаться вашего командира, а, если понадобится, то и сбить немца с сопки. Пахать чужую землю мы не собираемся, но на чужой земле нам надо сейчас отстоять свою землю и свою свободу, иначе мы пропадем. Обещайте же мне, сибиряки, что отстоите.

Отстоим! – раздались со всех сторон радостные и уверенные голоса, «обещаем» подтверждали просветлевшие лица.

Благодарю, стрелки, вашему слову верю.

Я с подчеркнутою, непринятою на фронте между офицерами, отчетливостью откозырял ротному, старшему производством кадровому поручику, который, подняв на меня грустный, но благодарный взор, крепко пожал мне руку, и в очень сложных и

смутных чувствах поехал обратно.

Что в том, думалось мне, что мне удалось уговорить первую роту и что пока еще не надо уговаривать вторую. Завтра не уговоришь третью, или четвертую, зараза мигом облетит весь полк и он, вопреки разуму и совести лучших солдат, хлынет в тыл. Разве можно воевать на уговорах? Конечно, нельзя. Но что же де

лать, когда воевать без уговоров еще менее возможно?

Будь это иначе, начальник штаба корпуса, преданный династии гвардейский генерал Гольмс, вряд ли бы уже на следующий день после моего самовольного выступления во вверенной ему части, вызвал меня к себе и тепло благодарил за оказанную помощь. Очевидно, он, как умный человек, сразу понял, что для того, чтобы продолжать хоть как-нибудь свое дело, ему в новых революционных условиях нужны слова, которых у него самого нет и быть не может.

Так началась моя политическая деятельность.

Весть о том, что к нам на фронт едут думские депутаты, была встречена офицерством с большою радостью. Уже целую неделю, если не больше, мы жили как впотьмах. Выпущенный Петербургским советом рабочих и солдатских депутатов уже на четвертый день революции знаменитый приказ № 1 внес во фронтовую жизнь, несмотря на то, что он был дан только петроградскому гарнизону и к действующей армии никакого отношения не имел, невероятную путаницу: возбудил в солдатах совершенно несбыточные надежды и вызвал вполне справедливое возмущение в офицерской среде. Стояло ли за этим приказом, подписанным никому неизвестными именами, Временное правительство, или нет, оставалось неизвестным.

От живых свидетелей, переворота мы надеялись узнать, каков подлинный курс нового военного министерства, чему надо мирволить и чему надо твердо сопротивляться.

Ко дню приезда депутатов фронт уже внешне являл картину широкого разлива революционной стихии. От штабов к позициям и обратно носились крас-ноофлаженные автомобили и красногривые тройки. Всюду веяли красные знамена и возвышались обтянутые кумачом ораторские трибуны. Повсеместно гремели оркестры и взвивались краснобайные речи.

Неумолчно гудел митинговый трезвон: «за землю и волю», «без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов»… Все было призрачно и двусмысленно: не то Пасха, не то революция.

Депутаты оказались на вид совсем не революционерами. Петербургский приват-доцент Тройский, с живым, несколько

брезгливым лицом, еще мог сойти за лево-либерального интеллигента, Демидов же, Игорь Платонович, печальноокий смуглый человек с пленительною, белозубою улыбкой в небольшой бороде – был типичнейшим барином-помещиком.

Удобно усевшись в глубокой коляске, запряженной тройкою крупных артиллерийских лошадей, мы не спеша двинулись к Шумлянам. Депутаты оживленно рассказывали о петроградских событиях и подробно расспрашивали меня о состоянии фронта.

Растрогало ли меня с детства знакомое вздрагивание и покачивание коляски на податливых рессорах и меланхолическое позвякивание глухарей, совлек ли вид штатских костюмов военную форму с моей души, всколыхнул ли изящно-деревенский облик Игоря Пла-тоновича отроческие воспоминания о старых усадьбах с их цветущими липами, прадедовскими библиотеками и либеральными разговорами за чайным столом, – не знаю. Одно только знаю, что, сопровождая на батарею, в качестве фронтового представителя революции, едущих к нам думцев, я испытывал такой прилив скорбной любви к низвергаемой всеми нами России, что с отвращением смотрел на всюду развевающиеся красные флаги.

Хотя на третьей батарее, как, впрочем, и во всей бригаде, господствовал весьма либеральный дух, наши кадровые офицеры ждали встречи с думскими депутатами не без волнения: одно дело в своей среде будировать против начальства и высшей власти, другое – официально приветствовать революционеров.

Достаточно было однако Демидову и Тройскому обменяться с собравшимися офицерами рукопожатиями и первыми случайными фразами, как сразу же исчезла и тень отчужденности.

– Свои люди, – радостно шепнул мне Иван Владимирович и тут же приказал денщику подать к ужину последнюю бутылку коньяку.

Отдохнув и поужинав, депутаты приступили к своим докладам. Они прекрасно дополняли друг друга. Тройский говорил обстоятельно, с цифрами и фактами, Демидов гораздо живописнее и глубже. В их охрипших, перетруженных, все еще не могущих успокоиться голосах, мы впервые услышали радостный и устрашающий гул петербургских событий, судьбоносных в своей неожиданности и неотвратимых в своей последовательности.

После официальных докладов начались вопросы и ответы. Полилась оживленная, непринужденная беседа, длившаяся до полуночи. Выяснив себе настроение фронта, депутаты решили на следующий день обойти окопы и провести несколько митингов в ближайшем тылу. Я отправился с ними.

Встречали нас всюду с бурною радостью. Петербургский вопрос борьбы между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депутатов еще не волновал фронта. Отношения между солдатами и офицерами были еще сносны. В артиллерии все обстояло по-старому, если не считать того, что офицеры требовали от денщиков, чтобы они не называли их «благородиями», а те упирались, говоря, что без «благородий» неудобно. В пехоте недоразумений было много, но все они носили скорее местный, чем общепринципиальный характер. Борьба велась не против начальства, а против отдельных, давно уже ненавистных начальников. Единственное, с чем депутатам пришлось сразу же начать борьбу – это

была стихийная солдатская тяга к немедленному замирению.

Первым выступал Демидов с изложением Петербургских событий, с драматическим описанием отречения государя-императора и великого князя Михаила Александровича. В его повествовании слышалось больше покорности революции, чем революционного подъема. Говоря о падении монархии, он в сущности говорил на тему: «на то была Господня воля». Офицерам, в особенности старшим, Игорь Плато-нович очень нравился: «если государь-император сам соизволил отречься, то и наш долг присягнуть революционной власти», говорили себе, меняя гнев на милость и успокаивая свою встревоженную совесть, верные слуги монархии.

Совсем в другом тоне говорил Павел Петрович. От слов этого профессора-радикала веяло якобинским подъемом. Доказывая солдатам необходимость продолжать войну, он апеллировад не только к их патриотизму, но и к активной революционности: «Наколите на ваши славные, суворовские штыки красные знамена революции, ворвитесь в немецкие окопы и водрузите в них великое знамя свободы, справедливости и мира», – выкрикивал он, протягивая вперед руки и весь устремляясь ввысь, словно возносясь в пылающее революционною зарею небо.

Несмотря на то, что наступление с красными флагами на штыках улыбалось солдатам отнюдь не больше, чем без них, выступления Тройского, в которых было много внешней риторики и бенгальского огня, производили на наших сибиряков большое впечатление. Как только Тройский кончал свою речь, вокруг него быстро смыкалось солдатское кольцо: сильные руки неловко подхватывали депутата подмышки и под коленки и, раскачав, трижды подбрасывали вверх:

«за землю и волю», «за мир без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов»…

Думцам отвечали начальники частей. Все они клялись до

последней капли крови защищать родину и революцию. Разница была только в том, что офицеры без красных бантиков в петличках обращались и с депутатами, как с начальством, прапорщики же и поручики, носившие революционные эмблемы как распорядительские бантики, обращались как со своими начальниками, так и с депутатами за панибрата.

После начальства выступали представители армейских организаций – офицеры и солдаты. В солдатских речах, косноязычных и нескладных, иной раз звучал какой-то почти священный восторг. Пермские, вятские, сибирские мужики не пылали разрушительным, революционным гневом, а скорее светились радостью дарованного им освобождения. Вскочив на непривычную трибуну и взволнованно оглянувшись кругом, они произносили не политические речи, а разливались в благодарных чувствах; говорили о том, что «вот-мол-дождались светлого празднику». В их безыскусственных, часто даже бессвязных словах разом звучали все наболевшие вопросы их крестьянской и солдатской жизни. Они говорили о помещичьей земле, которую их деды пахали, о непосильных налогах, о взяточниках-урядниках, о своей темноте и серости, но и о своей жажде просвещения, о замирении, о том, что отстоят животами свободу; они воинственно грозили Вильгельму и миролюбиво жалели немецких солдат, таких же, небось, подневольных мужиков, как и они сами. Они трогательно благодарили думцев за весть об отречении царя, но, в противоположность нахлынувшим вскоре на фронт агитаторам, никакой хулы на отрекшегося государя не возводили.

С объезда фронта нашей бригады депутаты вернулись на батарею смертельно усталыми, но вполне удо

влетворенными всем пережитым. Их приподнятое настроение сообщилось даже нашему скептику, Ивану Владимировичу, который за поздним ужином поднял рюмку водки с пожеланием Временному правительству полной победы над большевиками и непостыдного мира. Депутаты мечтали о большем. Они верили в патриотизм революции и в возможность полной победы не только над большевиками, но и над центральными жавами.

Вслушиваясь в их бодрые речи, всматриваясь в оживленные лица, вспоминая все впечатления проведенного с ними длинного дня, я невольно спрашивал себя: откуда у них, помещиков и дворян, такое, как будто бы беспечальное, во всяком случае безусловно положительное отношение к событиям? Неужели нет в их душах острой жалости к той, приговоренной к смерти России, в которой они выросли? Или уже они так героически справедливы, что безоговорочно приветствуют революцию,

которая грозит разрушить всё, чем они жили и что любили? Неужели они совсем не чувствуют неприязни ко грядущей на смену старому миру красной нови? «Чувствуют, – отвечал я себе, – но скрывают». Вечером, когда Павел Петрович Тройский, снимая сапог, вдруг грустно запел:

Чего-то нет, чего-то жаль, Куда-то сердце мчится вдаль…

я окончательно понял, что мои предположения верны.

Да, нам всем было «чего-то жаль», но мы полусознательно подавляли в себе это чувство, не признавались в нем ни себе, ни другим и потому громко трубили на весь мир лишь вторую крылатую строчку: «куда-то сердце мчится вдаль».

Трубил и я. До сих пор не могу без угрызений совести вспоминать свои фронтовые речи, которые я ча

сто оканчивал эффектною фразою: «Петербург дал нам свободу, мы дадим России победу!»

Откуда эти угрызения совести? Ведь, в конце концов, я и поныне думаю, что, служа революционному оборончеству, я делал на фронте единственно возможное и нужное дело…

В небольшой книжке знаменитого испанца 17-го столетия, в «Ручном оракуле» Бальтазара Грациана, есть замечательные по мудрости строки. Говоря о иерархии добродетелей, Грациан первое место отводит «непосредственности и благородной, вольнолюбивой независимости сердца». Ставя это качество выше ума и выше храбрости, он утверждает, что без него красота жизни мертвеет и всякий подвиг умаляется.

Вот этой-то независимости сердца, вольного, прямого и непосредственного излучения своей личности и не хватало мне в моей революционной работе. Неустанно носясь по фронту, защищая в армейских комитетах свои резолюции, произнося речи в окопах и тылу, призывая к защите родины и революции и разоблачая большевиков, я впервые за всю свою жизнь не чувствовал себя тем, кем я на самом деле был.

Месяцы «Февраля», время величайшего напряжения и даже расцвета моей жизни, остались у меня в памяти временем предельного ущемления моего «я», так как, вместо меня, во мне все время жил некий, не во всем сливающийся со мною «субъект действия». Вынужденный ежедневно и даже ежечасно добиваться каких-то необходимых для дела конкретных результатов, этот субъект неустанно требовал от меня, чтобы я подавлял в себе свои сомнения и пристрастия.

Сотни раз повторяя формулу «за родину и революцию», я должен был приглушать в себе ощущение несочетаемости этих слов, из которых первое означало святыню, а второе, смотря по точке зрения, преступление, болезнь, или тяжелую операцию.

Требуя

наступления в защиту «земли и воли», я опять-таки должен был кривить душою, так как ни минуты не верил в то, что наступление действительно необходимо для проведения в жизнь эсеровской аграрной программы: землю крестьяне могли получить и от большевиков, бывших против наступления. Доказывая фронтовикам, что большевики – ставленники немецкого Генерального штаба, издающие свои газеты на немецкие деньги, я знал, что говорю неправду, потому что говорю лишь полуправду, умалчиваю о глубоко народных корнях большевистского пораженчества. Защищая старых офицеров от клеветнических нападок желторотых «маршевиков», еще не нюхавших пороха, я мучительно переживал чувство глубокой вины перед седыми полковниками, которым моя защита офицерства не могла не казаться оскорблением его. Ложась во время армейских съездов спать вместе с солдатами, я не смел подать и виду, что мне было бы много приятнее переночевать в офицерском собрании.

В этом упрощении и снижении своих чувств и мыслей, в этом утаивании своего подлинного «я» не только от окружающих, но и от себя самого, в этом отказе от «независимости сердца», которую, как высшую добродетель требовал Бальтазар, была не только мука, которую я всегда чувствовал, но была, как я сейчас понимаю, и ложь.

Если бы судьбе оказалось угодным когда-либо снова предложить мне ответственный пост, я не ради себя, не по привычке к созерцательному сибаритству, а ради успеха порученного мне дела, отказался бы от него, если бы знал, что мне не сохранить на предложенном посту многомерности своего сознания. Всякая деятельность, требующая от деятеля предательства полноты его личности, не может не разрушать священной тайны жизни тем цивилизаторским варварством

прагматиков-специалистов, от которого ныне гибнет европейская культура.

Была ли исторически дана хотя бы отдаленная возможность повести революцию путями не требующими упрощения и предательства – вопрос очень трудный. Лично я уверен, что память о прошлом и порыв в даль будущего могли бы одинаково сильно звучать в политическом творчестве Временного правительства, если бы оно оказалось независимым и достаточно дальновидным. Слишком легко отказываясь от прошлого и слишком бурно стремясь в будущее, Временное правительство не задумываясь требовало от сочувствующих ему кругов, прежде всего от офицерства и цензовой России, непосильного для них

разрыва с прошлым, ставя себя тем самым в маловыгодное для борьбы с большевиками положение. Конкурировать с большевизмом по линии его упрощенного представления о будущем ему было невозможно, бороться же с большевиками, не опираясь на те круги, которым, несмотря на сознательное приятие революции, было все же жаль старой России, было ему непосильно.

О той, конкретной программе, умелое осуществление которой только и могло, как мне по крайней мере в свое время казалось, правильно сбалансировать печаль о прошлом и радость о будущем, речь будет ниже, в связи с рассказом о моем назначении на пост начальника Политического управления военного министерства.

Вскоре после отъезда депутатов я во главе делегации Юго-западного фронта попал в Петроград. Как, где и кем, по чьему приказу и по чьей инициативе была выбрана эта делегация, я не помню. Не помню и пути с фронта в красную столицу. Такие пробелы памяти мне на протяжении повествования о «Феврале» придет

ся устанавливать довольно часто. «Октябрь» стоит перед глазами со стереоскопическою четкостью, воспоминанья же о «Феврале» разорваны и туманны.

В моей памяти шесть делегатов: два кадровых офицера, один фейерверкер из вольноопределяющихся и три солдата. Несмотря на весьма значительную социальную и партийную разнохарактерность всех нас, мы жили и действовали исключительно дружно. Как я, так и остальные офицеры делегации – капитаны Булюбаш и Звездич были людьми беспартийными. Гвардеец Булюбаш, долго занимавший пост воспитателя в кадетском корпусе, был, думается, в душе монархистом, уже давно разочарованным в режиме Николая И?го. Скрепя сердце, приняв революцию и сознательно решив отдать свои силы политической работе, он держался с тактом и достоинством, – быть может, скрывая свои настоящие чувства, но не изменяя себе и никого не обманывая. Его выступления были всегда дельны. Хорошо и даже красноречиво владея словом, он никогда не вдавался в пространные и отвлеченные разглагольствования. Настоящей близости с солдатскими членами делегации у него не было, но не было и ни одного недоразумения с ними. Работать с ним было легко и приятно.

Капитан Звездич был человеком другого склада. Это был молчаливый боевой офицер с печальным, красивым лицом. В нем всегда чувствовался твердый и честный характер, но у него не

было ни общего, ни политического миросозерцания. Тем не менее, во время своих речей я ощущал его своею совестью.

На левом фланге делегации стояли два социалиста: меньшевик Иванов и большевик-оборонец Макаров. Первый – пехотинец, второй – «моторизированный» кавалерист. Оба рабочие. Обоих вспоминаю не только с приязнью, но с радостью и благодарностью. Если бы политический разум многих знаменитых вож

дей нашего социализма был на уровне осмотрительной разумности этих рядовых солдат-комитетчиков, Россия, пожалуй, и справилась бы со всеми трудностями революции.

Веселый, ловкий, щеголеватый Макаров вскоре после возвращения делегации на фронт исчез с моего горизонта, но с милым Ивановым мы долго работали душа в душу. Мягкий, обходительный, глубокоубежденный человек, Иванов умел влиять на солдат не столько своими речами (он не был большим оратором) сколько тихою, обстоятельною беседою. Перед тем как выступать в какой-нибудь закинувшейся роте, я не раз просил Иванова побеседовать с ребятами и подготовить мне почву.

Последние два члена делегации были типичными новоиспеченными эсерами. Первого из них, милого, но бесцветного помощника присяжного поверенного, мы выбрали в секретари делегации, второго же, народнически настроенного «мелкого буржуа» Николаева, из зажиточных деревенских лавочников, все как-то игнорировали, да и сам он ни в чем не проявлялся. За какие достоинства Николаев попал в делегацию, мне не совсем ясно. Наружностью он напоминал «идиота» Достоевского, как его у нас принято гримировать под Христа; говорил он не очень внятно, но искренне и нервно, странно закатывая кверху большие, белесо-облачные глаза.

Можно по-разному относиться к борьбе русской интеллигенции с монархией. С монархически-синодальной точки зрения ее можно считать безумием и даже преступлением; с либерально-гуманитарной и революционно-социалистической – в ней нельзя не видеть основного смысла новой русской истории. Об одном только как будто бы невозможен спор: о грандиозном

размахе и даже вдохновенности нашего за сто лет до октябрьского переворота начавшегося Освободительного движения.

Глава декабристов, прямолинейно-волевой Пестель, мечтавший на якобинский лад осуществить «русскую правду» и по совершении своего подвига уйти в монастырь; вселенский бунтарь Бакунин, считавший, что для народа не только не надо

выдумывать несуществующего Бога, как думал Вольтер, а надо убить, пожалуй, и существующего (в существовании Бога Бакунин далеко не всегда сомневался); пламенный политик и патетический лирик Герцен, лучшие страницы которого и поныне нельзя перечитывать без волнения; ясный и светлый анархист Крапоткин, которому лишь чрезмерная чуткость социальной совести помешала вырасти в того большого ученого, которым он был создан; народовольцы, выходившие после 25-ти летнего заключения из тюрьмы такими же несокрушимо верующими в революцию юношами, какими они в нее попадали; тысячи юношей и девушек, которые, отказываясь от всех благ жизни, шли в народ, чтобы постичь его правду и принести ему свободу; восторженный, почти святой террорист Каляев, искренне благодаривший суд за вынесенный ему смертный приговор – всё это I люди громадных размеров, еще ждущие для уразумения своих душ и дел второго Достоевского и русского Шекспира в одном лице.

Много разговаривая по пути в Петроград с членами делегации о свершившейся революции, я с нетерпением ждал встречи с городом великого преобразователя, революционера Петра. Я думал, что увижу его гневным, величественным, исполненным революционной романтики. Ожидания мои не сбылись. Впечатление было сильное, но обратное ожидаемому. Петроград и по внешнему виду и по внутреннему настроению являл собою законченную картину разнузданности, скуки и по

шлости. Не приливом исторического бытия дышал его непривычный облик, а явным отливом.

Бесконечные красные флаги не веяли в воздухе стягами и знаменами революции, а никлыми, красными тряпками уныло повисали вдоль скучных серых стен. Толпы серых солдат, явно чуждых величию свершившегося дела, в распоясанных гимнастерках и шинелях в накидку праздно шатались по грандиозным площадям и широким улицам великолепного города. Изредка куда-то с грохотом проносились тупорылые броневики и набитые солдатами и рабочими грузовики: ружья наперевес, трепанные вихры, шальные, злые глаза…

Нет, это не услышанная мною на фронте великая тема революции, не всенародный порыв к оправданию добра свободою, а ее гнусная контртема: мозги набекрень, исповедь горячего сердца вверх пятами, стихийное, массовое «ндраву моему не препятствуй, Аленка, не мешай», это хмельная радость о том, что «наша взяла», что гуляем и никому ни в чем отчета не даем…

Из боковой улицы на Невский выезжает ландо, запряженное парою вороных. С высоких козел ими величественно правит

великолепный, седой бородач. На дверцах ландо и на выпуклых лакированных наглазниках массивные вензеля с короною. В углу экипажа небрежно-важно и как-то глупо сидит одетый в черное пальто бледный человек с правильным, красивым лицом, удлиненным черною бородою. В этом человеке я сразу же узнаю известного петербургского адвоката-большевика Н. Д. Соколова, с которым нашей делегации предстоит объяснение по поводу знаменитого приказа № 1-й.

Я невольно вскидываю на него глаза и смущенно ловлю себя на явно контрреволюционном вопросе: не больше ли во всей этой картине, в лакированном придворном экипаже, в кровных, прекрасно съезженных,

цокающих нога в ногу лошадях, в осанке и достоинстве дородного кучера, властно смотрящего вдоль Невского – красоты, а потому и культуры, чем в солдатне революционного Петрограда, и ее полномочном представителе, Соколове, фамильярно развалившемся в реквизированном экипаже. Как можно, спрашиваю я себя, с такими чувствами везти в революционный Петроград фронтовую делегацию, но тут же успокаиваю себя тем, что эти чувства ни на секунду не отдаляют меня от сидящего рядом со мною в извозчичьей пролетке Иванова.

А скажите, Иванов, – обращаюсь я к своему «классовому врагу», – вы не испытываете ненависти вот к этому обгоняющему нас придворному экипажу, к монархии, к царю?

Нет, господин поручик, я счастлив, что монархия пала, думаю тоже, что бывшего царя надо поскорее куда-нибудь подальше спрятать, чтобы не было соблазна: в деревне еще много темноты. А ненависти во мне нет. Иной раз даже жалко Николая. Как ни как он тоже рыпался, как умел, путался среди своих Распутиных и Протопоповых, и ничего-то у него не вышло, да и не могло выйти. Не его вина, что время царей прошло, а наше время настало.

Я вынул портсигар, мы по-товарищески закурили.

Через несколько минут три пролетки остановились у подъезда Знаменской гостиницы.

Наскоро умывшись и поевши, мы собрались в моем номере для обсуждения предстоящего посещения министров и Совета.

В первую очередь мы решили отправиться на Мойку, где надеялись быть принятыми военным министром Гучковым. Добиться приема оказалось делом не легким; улица перед Сухомлиновским особняком была положительно запружена солдатскими делегациями. Лишь после часового топтания на месте нам удалось

протискаться в переднюю. Но тут встало новое препятствие:

приемом делегаций никто не руководил. Добиться от кого-либо более или менее точного ответа на вопрос, принимает ли министр сегодня, или нет, не было никакой возможности. Одни говорили, что Гучков еще не приезжал, другие – что вызванный по срочному делу, он выехал в Таврический. Изредка через переднюю пробегали замученные, затравленные офицеры с портфелями подмышкой, к которым со всех ног бросались председатели делегаций и всевозможные просители-одиночки, умоляя доложить о них министру. Офицеры на ходу бросали какие-то успокоительные фразы, из которых ничего не следовало, кроме того, что они сами ничего не знают, и исчезали за дверью, ведущею во внутренние аппартаменты.

Солдаты, приехавшие с фронта в гордом чувстве своего нового достоинства и решающего значения армии для судеб революции, недоумевали, волновались и роптали. Особенное нетерпение проявляли так называемые «старики», то есть сорокалетние фронтовики, приехавшие хлопотать об их скорейшей демобилизации.

Поняв, что сиденьем в передней нам ничего не добиться, я решил самовольно прорваться за зеленую портьеру, которою была завешена таинственная дверь, за которой исчезали торопящиеся офицеры, и попытаться, ссылаясь на свое знакомство с Керенским, добиться внеочередного приема. Моя решительность имела успех: через час-другой мы были приняты министром.

Прием произвел на всех членов делегации безрадостное и даже тяжелое впечатление. Наш революционно-патриотический энтузиазм не встретил в Гучкове ни малейшего отклика. Мою речь, которую накануне мы тщательно обсуждали, он слушал с усталым, тяжелым и хмурым лицом, выражавшем, как сформулиро

вал молчаливый Звездич, скоре недоверие ко всем человеческим словам в мире, чем внимание к тем, с которыми к нему обращались его солдаты.

По окончании речи, которую я формально закончил прочтением привезенного нами наказа, Гучков отпустил нас не без любезности и благодарности, но все же без тех особых живых слов поощрения и обнадеживания, которые были так нужны солдатам, гордым тем, что они привезли в революционный Петроград свою безоговорочную преданность Временному правительству, свою готовность до конца защищать Россию и революцию как от внешнего, так и от внутреннего врага.

Недюжинный человек, горячий патриот и монархист, доведенный горьким опытом до сознания необходимости заговорщического низложения Николая П-го, неутомимый

работник, блестящий организатор и настоящий специалист по военным вопросам, бесспорно много сделавший для усиления боеспособности армии, Гучков с первого же взгляда показался мне человеком совершенно непригодным на роль революционного военного министра.

Время прибытия нашей делегации в Петроград (вторая половина марта) было временем резкого перелома в настроении фронта и даже петроградского гарнизона. Поначалу, смятая большевистской пропагандой, армия начала быстро справляться с подступившим к ней соблазном и стала все энергичнее протестовать, по крайней мере в лице сознательных комитетских элементов, против петроградского двоевластия, Самоуправства Петроградского совета депутатов в духе приказа № 1-й и преждевременных пораженческих разговоров о мире. Лозунг «вся власть Временному правительству» становился главным требованием армии. Если бы в это время военное министерство возглавлял человек открытой, веселой души, боевой вы

правки и того особого, непередаваемого очарования, за которое солдаты спокон веков именуют любимых начальников «орлами», то начавшийся в армии процесс оздоровления, быть может, и мог бы быть организационно закреплен.

Гучков «орлом» не был. По своей внешности он был скорее нахохлившимся петухом. Покидая военное министерство, я с тревогою думал, что если приемы у Львова и Керенского пройдут в том же духе, то мне не удержать в нашей делегации того патриотического подъема, с которым мы прибыли с фронта. Тем более, что этому подъему грозила большая опасность со стороны «Совета», в котором в то время безраздельно царили циммервальдские настроения.

Перед Таврическим дворцом, в котором помещалась вся Россия: Временное правительство, Исполнительный комитет Государственной Думы и Совет рабочих и солдатских депутатов, шумела огромная ра-боче-солдатская толпа. В самом дворце, куда мы с трудом пробрались, была все та же теснота.

При входе стояли щитки со вчера еще подпольною литературою и составленные в козла ружья. В этом мирном соседстве не чувствовалось, однако, прочного мира.

У одного из щитков милая девушка со счастливым, светлым лицом, раздавала солдатам тоненькие брошюры. Я спросил ее, как добиться Львова. Она рассмеялась и сказала, что найти министра в Таврическом так же трудно, как найти бутылку в открытом море, но все же посоветовала войти в эсеровскую фракцию Совета и спросить кого-нибудь из комитетчиков.

Оставив своих делегатов у книжных щитков, мы с Булюбашем

отправились на розыски. И двигаться и дышать было трудно. Стоял тяжкий дух пота и махорки. Под ногами скользкий, грязный, заплеванный подсолнухами и окурками пол.

Найдя комнату эсеров, мы вошли в нее и сразу же наткнулись на Года, с которым я не встречался со времени его гейдельбергских выступлений. Взгромоздив на стул свою невысокую, коренастую фигуру и так же потряхивая своими длинными волосами и артистическим бантом, как в 1903-м году, он что-то горячо разъяснял столпившимся вокруг него солдатам.

Получив не очень внятное разъяснение, где искать Львова, мы двинулись дальше. Навстречу нам через толпу с трудом пробирались офицерские кителя и штатские пиджаки с ворохами высоко поднятых над головами бумаг, вероятно это были адъютанты и секретари, поддерживающие связь между отдельными мирами Таврического дворца.

За закрытыми дверьми фракционных комнат, а иногда и в коридорах, то громче, то приглушеннее раздавались аплодисменты, которыми революционные массы приветствовали своих вождей.

По мере нашего приближения к половине Временного правительства, солдатская толпа начала редеть, а Таврический дворец приобретать более благообразный вид.

Открыв массивную дверь в какое-то помещение, где, по мнению Гоца, нам должны были указать как найти Львова, я увидел стоявших поодаль, спиной к нам, председателя Государственной Думы, большого, тяжелого Родзянку и благообразного осанистого батюшку в лиловой рясе. Разговаривающих окружало несколько хорошо одетых, пожилых депутатов.

Эта картина дышала таким бытовым покоем и была в своей привычности для глаза до того не похожа на мир советской половины, что невольно ощущалась не жизнью, а историей…

После долгих расспросов и поисков наша делегация все же была принята министром-председателем. Когда мы в приподнятом настроении вошли в кабинет

князя, он сразу же быстро встал нам навстречу, высокий и худой. По первому же ласковому взгляду, брошенному князем из узких пристальных глаз на солдат, по первым же словам почувствовалось, что этот небогатый трудолюбивый помещик, служивший непременным членом по крестьянским делам, а затем, со скорбью в душе, и земским начальником, выучился говорить с народом так дельно и просто, так по-своему и по-народному одновременно, как это редко умели интеллигенты-политики, в особенности социалисты.

Юрист по образованию и общественник по призванию, стяжавший во время войны громкое имя своею неутомимою деятельностью во главе Союза земств и городов (за редкую в интеллигентской среде деловитость Львова сначала звали американцем, а после 1905-го года – японцем), к тому же политик вполне определенных прогрессивных убеждений, не связанный никакими партийными доктринами, Львов многим, близко знавшим его, казался человеком, как бы специально созданным для поста министра-председателя.

Возлагавшихся на него надежд Львов не оправдал, тяжести павшей на него ответственности не вынес. Поддавшись внезапно нахлынувшему на него чувству, что «мы ничего не можем», «мы обречены» «мы щепки, которые несет поток» и еще страшнее, что «мы погребенные», он уже через четыре месяца подал в отставку.

Чего же при всех его качествах нехватало Львову, чтобы справиться с возложенною на него историей задачей? То, что Львов был глубоко религиозным человеком (в его парижском эмигрантском кабинетике висел образ Великих угодников Ярославских, его не очень даже отдаленных предков) могло бы быть для него большою помощью, если бы в его православном сознании и мирочувствии не отсутствовал тот христи? анский пессимизм, без которого, по мнению умнейше

го французского социолога Сореля, немыслима успешная политика. Кроме «умного пессимизма», нехватало Львову и той любви к власти, без наличия которой историей, к сожалению, не вырабатываются крупные политические деятели, в особенности деятели революционных эпох.

Быть может, в еще большей степени, чем недостающие ему черты, помешали Львову в его политической деятельности свойственные ему особенности характера и миросозерцания: его славянофильское народ олю-бие, толстовское непротивленчество и несколько анархическое понимание свободы: «свобода, пусть в тебе отчаятся иные, я никогда в тебе не усумнюсь».

Ослепленный своею верою в мудрость русского народа, Львов поначалу прекраснодушно принимал разрушительную стихию революции за подъем народного творчества и делал одну ошибку за другой.

Моя характеристика первого министра-председателя Временного правительства не обвинение его. Обвинять Львова было бы уже потому неуместно, что, не в пример многим другим, он до самого своего конца вс всем винил главным образом себя: «Ведь это я сделал революцию, я убил царя и всех… все я»… говорил он в Париже другу своего детства Екатерине Михайловне Лопатиной-Ельцовой.

Быть может, таким острым ощущением своей вины перед Родиной объясняется и отношение Львова не только к Советской России, но и к ее деятелям. Типично эмигрантской ненависти ко всему советскому у него не было. В то время, как многие политические эмигранты отказывались встречаться с советскими служащими, Львов уже в 1923-м году написал Льву Александровичу Тарасевичу, приехавшему из Москвы в Париж в качестве заместителя Наркомздрава Семаш-ки, следующее письмо:

«Мне хочется сказать вам, как я поистине счастлив

был почувствовать в беседе с вами веяние того свежего, росного утра родной земли, которое обещает погожий, радостный рабочий день. За пять лет невольного эмигрантства довелось мне вздохнуть родным, свежим воздухом.

Когда заговоришь здесь о родине, то услышишь одни закостенелые слова о «них», тогда как дело не в «них», а в «ней». Здесь головы и сердца заполнены не «ею», а только самими собою.

Веялка времени отнесла их далеко назад, из озадков не попадешь в посев. Они чувствуют, знают это – и рост новой жизни им понятен поэтому только со стороны утраты в ней места.

Меня душит эта пыльная мякина, а вы, как лопатой, подбросили ее на ветер и мне стало легче.

Вы дали почувствовать личным своим настроением, которое дается только одухотворенною, живою работой, что воистину не даром, не всуе веруешь. Вот уж пробивается, растет. Спасибо вам».

Изумительные строки: редкие по силе любви к родине, по душевной красоте, по беззлобию, но, конечно, недальновидные: о каком радостном, погожем дне можно было говорить, хотя бы и в сравнительно благополучном 1923-м году.

В один из следующих дней мы уже с раннего утра приехали в Таврический. Предстояло разрешение самой трудной задачи: поимки вездесущего и всюду отсутствующего товарища Керенского. Половина нашей делегации дежурила на думской стороне дворца, другая – на советской. От нетерпения мы поочередно бегали в «советский» буфет, где было тесно, душно, накурено, но где всех, если не изменяет память, задаром кормили щами и огромными бутербродами. Еды было много, посуды мало, а услужения никакого.

После долгих часов взволнованного ожидания и непрерывного заглядывания во всевозможные фрак

ционные и комиссионные заседания, нам удалось атаковать Керенского не то в коридоре, не то в какой-то проходной комнате,

через которую он несся со своею свитою, явно боясь как бы его не остановили и не задержали.

Решительно подойдя к нему, я назвал себя, напомнил о нашей встрече у Я. Л. Сакера и попросил назначить день и час для приема нашей делегации. Поручив кому-то сговориться со мною, Керенский, невольно оберегая висевшую на черной перевязи руку и всем телом подаваясь вперед, заспешил дальше. Ему, очевидно, было очень некогда.

В комнате, куда нас на следующий день ввели, было довольно много народу, все больше солдаты вперемежку с офицерами. Очевидно к назначенному нам часу был приурочен прием и других делегаций. Так оно выходило экономнее в смысле времени и убедительнее в смысле впечатления.

Керенский с такою быстротою вошел в комнату, что показалось он вбежал в нее. Одет он был в темную тужурку, рука попрежнему покоилась в широкой черной повязке. Так как русская революция еще не знала весьма удобного для приветствования масс поднятия руки, то Керенскому пришлось обойти всех собравшихся и каждому пожать руку. Как некогда на рауте «Северных записок», он протягивал руку с близоруким прищуром и пожимал с приветливою улыбкой. Его похудевшее, пергаментное лицо было крайне оживлено, почти вдохновенно. Казалось, он вбежал к нам после ответственного выступления, волнение которого еще не отхлынуло от сердца. Новым в Керенском показалось мне некая военизация всего его образа, очевидно, дань революционной эпохе и его роли в ней.

По окончании речей председателей армейских делегаций, заговорил сам Керенский, громко и твердо,

характерно разрывая и скандируя слоги слов. В его речи были стремительность и подъем. Он говорил, как власть имущий, патетически подчеркивая общенародный, миротворческий и демократический характер «великой русской революции». Было ясно, что Керенскому, как единственному среди членов Временного правительства кровному сыну революции (на Гучкове, Львове и Милюкове явно лежала печать адоптации), придется рано или поздно встать во главе ее. В ее центре он уже стоял, соединяя в своем лице власть министра Временного правительства со званием товарища председателя Совета рабочих и солдатских депутатов.

Выступлением Керенского я лично остался вполне удовлетворен. Булюбаша и Звездича речь министра юстиции не оттолкнула, Иванова и даже Макарова очаровала – большего ожидать было нельзя.

В военную секцию Совета я собирался в большом волнении,

боялся что оглашение нашего письменного протеста против приказа № 1-й будет на том основании отведено, что уже четвертого марта в Петрограде, за подписями Керенского и Чхеидзе было расклеено заявление, что приказ № 1-й не исходит от Совета рабочих и солдатских депутатов. Положение осложнялось еще тем, что злосчастный приказ, предлагавший солдатам подчиняться только Совету и вводивший в армию принцип выборного начальства, относился по своему точному смыслу исключительно к петроградскому гарнизону и фронтовых частей не касался. Особая трудность заключалась, наконец, в том, что никто из нас достоверно не знал, откуда появился приказ № 1-й, что, к слову сказать, в точности не выяснено и до сих пор. Милюков связывает появление приказа с происками швейцарского социал-демократа Гримма, уличенного впоследствии в сношениях с германским правительством, а Суханов считает его стихийным проявлением народно-революционного творчества. Боясь не

одолеть всех этих трудностей, я решил начать с приказа № 1-й, но как можно быстрее перейти к вопросу принципиального отношения Совета к фронту и миру. Будучи лично с самого начала уверенным, что благополучная ликвидация революционного развала России возможна только на основе быстрого заключения, если и не почетного, то все же приличного мира, я этого своего положения по тактическим соображениям высказывать не мог. Как фронтовик, я во всех своих выступлениях упорно отстаивал положение, что сохранение боеспособности армии одинаково необходимо как для продолжения войны, так и для заключения мира. Эту линию я решил вести и в Совете. Она не раздражала солдат, жаждавших замирения и не оскорбляла той части офицерства, которая мечтала о победоносном окончании войны.

Делегатов, которых в сравнительно небольшой комнате набилось довольно много, принимал постоянно одетый в торжественный черный сюртук И. Д. Соколов, большевик, но убежденный оборонец. За свою упорную и, надо сказать, мужественную проповедь продолжения войны, он был несколько месяцев спустя жестоко избит на фронте не желавшими идти в наступление солдатами. Вернулся он с белой повязкой на голове и в таком виде долго ходил по Таврическому, «напоминая своим видом правоверного из Мекки».

Человек благородный и как будто бы не глупый, Соколов, как правильно отмечает в своих «Воспоминаниях» Станкевич, как-то странно не попадал в такт и тон событий. Этою психологически-политическою тугоухостью объясняется и то, что наше

объяснение с Соколовым приняло довольно резкий характер. Не чувствуя духа фронта и не учитывая, что его архибуржуазный вид и адвокатский апломб подрывают его авторитет у солдат, он говорил с нами уж очень по-штат?

ски, грубо вбивая клин классовой ненависти между господами офицерами и нижними чинами.

Защищая приказ № 1-й, составленный при его ближайшем участии, он бестактно рассказывал нам о роли, сыгранной петроградским гарнизоном в революции. У него выходило, что вольности приказа были дарованы гарнизону как бы в награду за его особые заслуги. Это раздражало солдат-фронтовиков, среди которых уже давно росло возмущение постановлением Совета о невыводимости петроградского гарнизона из столицы. При таком подходе к вопросу и таком настроении солдат, мне было не трудно вызвать к себе их сочувствие указанием на то, что в Петрограде защищать революцию не от кого, так как на внутреннем фронте у свободной России врагов нет, но что ее необходимо защищать на фронте против германского империализма, который, соблазняя малодушных братанием, готовится к решительному наступлению.

– И мы, – говорил я, – благодарны петроградскому гарнизону за его мощную поддержку восстания, но нам непонятно его желание вознаградить себя за это тыловою безопасностью и дезертирством с главного фронта революции, который находится в окопах. Уставшим фронтовикам нужны сейчас более, чем когда-либо, свежие войска для борьбы против неприятеля и сознательные солдаты-революционеры для борьбы против темных и отсталых элементов фронта.

Протестовал я в своих препирательствах с Соколовым и против его попытки поссорить офицерство с солдатами. Признавая классовую структуру монархической России, я указывал на то, что искусственно вносить это зло в пореволюционную армию, всею своею природой предопределенной к его преодолению – верх безумия, если не преступления. Власть командующего армией над полковым командиром, – доказывал я, – ничуть не меньше, чем власть ротного над про

стым солдатом. Деление армии на приказывающих офицеров-буржуев и безоговорочно повинующихся нижних чинов-крестьян и рабочих не выдерживает потому ни малейшей критики. Среди прапорщиков, правда, много буржуев, но кадровые офицеры в сущности все пролетарии, живущие продажею государству своей рабочей силы, причем по столь низкой цене, что для них совершенно невозможна покупка пролетарского труда в виде

акций и рент. Как и пролетарии, они поставлены в обществе так, что их детям ничего не остается, как из поколения в поколение оставаться как социально, так и материально в тяжелом положении своих отцов и дедов.

Наряду с этой мыслью, убедительной прежде всего для тронутых марксистской пропагандой солдат-партийцев, я особенно горячо развивал свое любимое соображение о том, что в армии все солдаты, независимо от чина, уравнены постоянным стоянием перед смертью, причем процент павших среди офицеров скорее больше, чем среди солдат. Если бы товарищ Соколов по собственному опыту знал, как это знают собравшиеся здесь товарищи делегаты, какую объединяющую силу представляет собою боевое крещение, он, как штатский адвокат, отказался бы от попытки ненавистнически-партийною агитацией поссорить тех, которых братски объединила сверхпартийная, боевая жизнь. Смысл переживаемого нами момента не в том, чтобы нести в армию ту рознь, которая до войны господствовала в обществе, а в том, чтобы преобразовать новое общество по образу того единства, которое выковывается между людьми в действующей армии.

Солдаты дружно аплодировали мне: аппеляция к фронтовому переживанию всегда производила большое впечатление. Я знал, что действующая армия своим, как бы классовым врагом, ощущала не столько буржуя и помещика, сколько тыловика. Признаюсь, что я

пользовался этою враждою к тылу иногда не без некоторой демагогии. Но вполне честная борьба была невозможна.

Открывая вечернее заседание нашей делегации в моем номере, я был почти уверен в общем одобрении моего выступления в Совете. Моя уверенность оказалась не вполне обоснованной. Полное одобрение нашего секретаря и Николаева мало чего стоило, так как оба они были типичными обывателями без всякого личного мнения. Что же касается социал-демократов, то Иванов, после некоторых разъяснений, присоединился ко мне, Макаров же убежденно доказывал, что из того, что буржуй и оборонец Соколов, поддерживающий во внешней политике Милюкова, глупо защищал классовую точку зрения, совсем еще не следует, что сама точка зрения не верна. Он не глупо упрекал меня в том, что отрицание классовой борьбы на фронте таит в себе желание обуздать революцию, только что начинающую развертывать свои великие возможности. Сознательность и явная марксистская начитанность Макарова, главным же образом то классическое презрение, с которым он говорил о мелкобуржуазной тенденции ликвидаторов классовой борьбы, и

поражала, и раздражала моих капитанов, и мне было не легко бороться с их желанием заговорить с товарищем Макаровым «настоящим» русским языком.

Так в малой капле революционного океана, какую представляла собою наша делегация, отражались полностью все трудности того «объединения всех живых сил революции», которое было и пафосом и целью Керенского. Не мудрено, что когда за спиною бесчисленных Макаровых поднялась грандиозная фигура Ленина, а за спиною Булюбашей и Звездичей встал на защиту России прямолинейно-честный, доблестный, но неискушенный в вопросах политики генерал Корнилов, то «Февралю» пришел трагически-бесславный конец.

Вопрос о том, можно ли было избежать этого конца, отнюдь не праздный вопрос, как это думают фаталисты. Наряду с категорией «необходимости», категория «возможности», как о том писал еще Н. К. Михайловский, имеет свое вполне законное место в социологии. Лишь ответом на вопрос, почему и кем были загублены великие возможности «Февраля», можем мы себе выяснить стоящие перед Россией задачи. Последний же смысл всякого историоведения не в невозможном по существу академически-бесстрастном восстановлении картины прошлого, а в покаянном отыскании творческих путей в будущее.

Вернувшись с делегацией на фронт, я вскоре снова попал в столицу, но уже в качестве делегата Юго-западного фронта в Совет рабочих и солдатских депутатов.

Вспоминая бесконечные фронтовые собрания, приведшие меня в Петроград, я с особою живостью вижу перед глазами как мы с командиром Иваном Владимировичем, который после долгих уговоров решился поехать посмотреть на торжество революции, и с Евгением возвращались с многолюдного корпусного съезда в третью батарею. Ехали мы в небольшой пролетке, душевно и физически тесно прижавшись друг к другу. В ушах стоял звон революционных речей и гром дружных аплодисментов. Перед глазами волновалось солдатское море. Был поздний послеобеденный час. Дул резкий, ранне-весенний ветер. Кругом уныло бурели голые холмы. В чужой, австрийской стране машисто бежал под иркутскою дугою огромный мерин убитого солдатами в обозе фельдфебеля Синицына. Всматриваясь в подпрыгивающую в облачном небе дугу и вспоминая черную, дождливую ночь 1915-го года,

которою я ехал с позиции в обоз для расследования убийства, я неожиданно для себя спросил Ивана Владимировича:

Помните Синицына? Что бы он сказал, видя все, что сейчас

происходит?

Еще бы не помнить, – отозвался командир и, словно отвечая на мои мысли, угрюмо прибавил: – хорошо вы сегодня говорили, здорово насыпали большевикам, а все же, дорогой мой, ихняя возьмет и все мы, как Синицын, кончим. Идеалистическая водица отжур-чит и пойдет бушевать кровь.

Я, конечно, что-то возражал Ивану Владимировичу, но без настоящей убежденности. Никогда и ни к чему у меня не было такого сложного и противоречивого отношения, как к Февральской революции.

О своей деятельности в Совете мне рассказывать почти нечего. Как и большинство членов этого бесформенного и громоздкого учреждения, я в нем мало что делал, если не считать делом произнесение речей в комиссионных и пленарных заседаниях. Быть может, мои речи и производили некоторое впечатление, но в ходе событий они, конечно, ничего не меняли. Из моего апрельского безделья у меня осталось лишь одно, притом очень тяжелое воспоминание.

18-го апреля, в связи с внешней политикой Милюкова, между Временным правительством и Советом вспыхнул настолько серьезный конфликт, что генерал Корнилов, командовавший в то время Петроградским военным округом, решил вызвать кавалерийские части для защиты Мариинского дворца, в котором заседало правительство.

Эта мера вызвала страшное негодование весьма амбициозного во всех отношениях Совета. Исполнительный комитет тут же постановил запретить солдатам петроградского гарнизона выходить на улицу с оружием в руках без соответствующего распоряжения

Исполнительного комитета. После принципиального принятия этого бессмысленного решения, Исполнительным комитетом была по обыкновению назначена редакционная комиссия для окончательной выработки текста воззвания к гражданам и солдатам. В эту комиссию попали большевики Стеклов и Каменев и, по предложению спешившего куда-то эсера Гоца, в качестве его заместителя, я. Я пытался было протестовать, но Гоц уговорил меня: речь де идет только о литературном оформлении уже принятого решения.

Будь я в то время искушеннее в политической борьбе, осмотрительнее и энергичнее, я, быть может, и сумел бы добиться более осторожной формулировки воззвания, чем та, которая была принята при моем участии. Но я был не только малоопытен, но и исполнен того, сковывавшего мою волю уныния, которое всегда наводил на меня шумный Совет.

Стеклов, Каменев и я стояли у окна. Близко у моих глаз свисала с жирного, заплывшего лица Стеклова длинная купеческая борода и вздрагивало пенснэ на типично интеллигентском мелком лице Каменева. Я смотрел на своих соредакторов-интернационалистов, вспомнил разбитую в Галиции под Горлицею Корни-ловскую дивизию, защищавшуюся с предельным героизмом и, чувствуя, что сплю наяву, тщетно силился проснуться, чтобы освободиться от жгучего стыда за всё происходящее.

Как известно, генерал Корнилов, несмотря на разъяснение Временного правительства, что воззвание Исполнительного комитета имело, повидимому, целью предупредить и обезвредить попытки вызова войск отдельными людьми и группами и отнюдь не посягало на умаление власти командующего округом, все же вышел в отставку и отправился в действующую армию. Да и как он мог поступить иначе, раз постановление Совета, что каждое распоряжение о выходе воинской

части на улицу (кроме обычных нарядов) должно быть выдано на бланках Исполнительного комитета, закреплено его печатью и подписано не менее, чем двумя его членами, оставалось и после разъяснения не отмененным.

Совет рабочих и солдатских депутатов, каким я его застал в начале апреля, был по сравнению с Советом первых мартовских дней учреждением относительно упорядоченным и организованным. Нестерпимый произвол отдельных членов его Центрального комитета был после появления Церетелли значительно ограничен. Прекратились самочинные аресты «врагов революции» отдельными комитетчиками и анархические захваты помещичьей земли инициативными крестьянскими группами на основании неизвестно кем выданных и подписанных разрешений на комитетских бланках с печатью. Орган ЦИК-а «Известия Совета рабочих и солдатских депутатов» был изъят из ловких рук беспринципного Стеклова и отдан под более или менее строгий контроль редакционной комиссии.

У фракций и комиссий были уже свои комнаты, в них деловито стучали пишущие машинки. В буфете были вилки и ложки. Самое же главное упорядочение заключалось в том, что нужного тебе человека в Совете, хоть и не без труда, но все же можно было найти.

В марте все друг друга искали, но редко кто кого находил, чем отчасти объясняется то, что случайные встречи где-нибудь в коридоре или буфете давали событиям то или иное направление. Встреча Суханова с Богдановым давала право-циммервальдскую реакцию на события, а встреча Стеклова с Сухановым придавала

тем же событиям лево-циммервальдский крен. Всюду царствовали случай и импровизация.

Как известно, самые примитивные организмы размножаются делением. Наши социалистические партии размножались таким же быстрым и примитивным спо

собом. Если считать не только вполне выкристаллизовавшиеся партии, но также и более или менее определившиеся течения, то можно без труда насчитать почти что с дюжину социалистических группировок. У народников: трудовики, народные социалисты, социалисты-революционеры и левые эсеры-полукоммунисты; у марксистов: группа «Единства», меньшевики, распадающиеся на центр и левый фланг, межрайонцы, большевики и бундисты. Главным пунктом расхождения между всеми этими группами был, если и не всегда прямо ставившийся, то во всех прениях неизменно присутствовавший вопрос о взаимоотношении России и революции.

На правом фланге этого многопартийного социалистического фронта твердо стояла, защищая Россию от углубления революции, старая гвардия социализма: идеолог, историк и вождь русского марксизма, Плеханов, анархист Крапоткин и «славные» народовольцы – Брешковская и Чайковский. Никто из них никакой заметной роли в Совете не играл, лишь раз или два первые трое были «выпущены» Центральным исполнительным комитетом по какому-то торжественному случаю. Впечатление было тяжелое: «стариков» слушали как знаменитых, но уже давно безголосых певцов.

Центр занимали трудовики, правые социалисты-революционеры, имевшие крепкие связи в крестьянстве, и меньшевики, предводительствуемые вернувшимся в конце марта из сибирской ссылки Церетелли.

Тактическая линия этого блока народников и марксистов заключалась в верности союзникам, в продолжении войны с немецким империализмом и в условной поддержке буржуазного Временного правительства. Все это в первую очередь, ради спасения революции.

На левом фланге стояли меньшевики-интернационалисты, возглавляемые Мартовым и Сухановым, левые социалисты-революционеры, во главе которых

первое время орудовал Александровский, а впоследствии Комков, и межрайонцы, то есть недоопределившие-ся большевики, возглавляемые до их перехода к большевикам Троцким и Луначарским.

Лица России, души России, судьбы России в этом лагере

никто не чувствовал. Все мысли и все страсти отдавались здесь революции, ее «закреплению» и «углублению». Союзническую демократию и хор ее социалистических подголосков, «товарищей» Тома, Ван-дервельде и Гендерсона здесь ненавидели больше, чем немецкую социал-демократию. Главным смыслом существования Временного правительства здесь считалась самокомпрометация буржуазии в глазах рабочего класса, то есть подготовка перехода власти к Советам. Главною целью пролетарской политики признавался разрыв с союзниками и немедленное заключение мира. На обвинение, что сущность этой программы сводится, в конце концов, к проповеди сепаратного мира, сухановская «Новая жизнь» остроумно, но, конечно, не серьезно, отвечала, что о сепаратном мире не может быть и речи; в случае, если бы Германия после разрыва революционной России с союзническим империализмом не пошла на всеобщий честный мир, «без аннексий и контрибуций», русская революция объявила бы ей «сепаратную войну».

Перечисляя течения левого, циммервальдского фланга в Совете, я сознательно не упомянул Ленина и большевиков на том основании, что прибывший в Петроград Ленин ни минуты не чувствовал себя левым флангом многофракционного социалистического фронта, а с самого начала утверждал себя всеопределяющим центром событий. От своих соседей по фронту, от меньшевиков-интернационалистов, его отделяла непреодолимая психологическая бездна. До прибытия Ленина, Суханов и Мартов развивали в Исполнительном комитете Совета сложнейшие теории; если бы эти тео

рии не носили отвлеченно-кабинетного, не применимого к жизни характера, то можно было бы, пожалуй, говорить об умнейших теориях. Ленин всему этому сразу положил конец. Даже и ближайшим его товарищам по партии его первые петроградские речи показались полною идеологической бессмыслицей, не имеющей ничего общего с марксизмом. Но Ленин знал что делал: его «глупые» речи были вовсе не глупы, так как они были не речами, а парусами для уловления безумных вихрей революции.

Перечисленные фронты не были незыблемыми фронтами: они неустанно ломались и пересекались под влиянием неустойчивых элементов среди революционных вождей. Так, вездесущий в первое время революции Стеклов перед тем, как окончательно пристать к большевикам, долго околачивался около меньшевиков. С ним же шел нога в ногу и большевик Каменев, писавший поначалу в «Известиях» передовицы, которые могли бы принадлежать и перу Чернова. Один из самых крупных и на

марксистский лад образованнейших вождей Совета Дан долгое время твердо поддерживал определенного государственника Церетелли, но потом начал понемногу подаваться в сторону мартовского интернационализма.

Главною особенностью фракционной и межфракционной советской работы было то, что по всякому малейшему поводу неизбежно подымались все принципиальные вопросы социалистической тактики и идеологии. О чем бы ни говорили, в сущности всегда говорили о природе буржуазной и пролетарской власти, о значении русской революции для пролетарского интернационала, об анархии капиталистического производства, о принципе планового хозяйства, о социалистах оборонцах, как об «агентах» мировой плутократии и о Стокгольмской конференции социалистических меньшинств.

Все эти вопросы обсуждались как бы в придаточных предложениях и тогда, когда они не стояли на повестках заседаний. Происходило это потому, что советских деятелей интересовали в сущности только идеологические журавли в небе, с синицами же практических задач они решительно не знали что делать. В этой идеологической исступленности главарей революции кроется одна из главнейших причин перманентного кризиса власти Временного правительства.

Постоянно злостно критикуемое и даже перестраиваемое Советами, Временное правительство не могло твердо и планомерно перестраивать страну. Разрыв же с Советом был для него если и не вполне невозможен, то во всяком случае крайне затруднителен, так как, несмотря на свою практическую беспомощность и свою идеологическую хаотичность, Совет был как для рабочих, так и для солдат наиболее авторитетным органом революции.

Планомерно управлять страною Совет не мог, хотя бы уже из-за отсутствия аппарата управления, но он успешно действовал в качестве некой политической пожарной команды. Всюду, где вспыхивали конфликты между офицерами и солдатами, рабочими и фабричной администрацией, где на революцию подымались уголовные элементы, – сразу же появлялись наиболее авторитетные члены Центрального исполнительного комитета, которым, в этом надо признаться, почти всегда удавалось своими речами залить разгорающуюся стихию. Только этим, в сущности безвластным авторитетом Совета и объясняется то, что председатель Государственной Думы Родзянко обращался, как отмечает Милюков, с просьбою предоставить ему поезд и конвой не во Временное правительство, а в Центральный исполнительный комитет, что с тою же просьбой обращался в

Совет и великий князь Кирилл Владимирович, что арестованные в первые

дни революции царские чиновники не были растерзаны толпою, что революционный Петроград был сравнительно быстро приведен в порядок и снабжен исчезнувшим в последние дни царского режима продовольствием. Сомневаться невозможно: единственною силою, способною проявлять власть, был, над самим собою безвластный, охваченный хаосом Совет.

Объясняется этот загадочный факт скорее всего тем, что человек, как уже в древности учил Гераклит, познает, а потому, вероятно, и признает лишь то, что тождественно ему. Душою революции был хаос, оттого и авторитетом для революционных масс мог быть только хаотический Совет. Подтверждением этого предположения служит то, что по мере организации Совета, массы начали заметно отходить от него. В момент, когда Исполнительный комитет обрел власть над самим собою и Советом, он потерял всякую власть над массами.

Внимательно всматриваясь в первые недели своего пребывания в Совете во взаимоотношения вождей и ведомых ими масс, я не раз подмечал характерную, как мне кажется, для всех революций связь между рационалистической идеологией первых и иррациональной психологией вторых. Характернейшею чертою всех призванных вождей советской демократии было то, что они смотрели на мир не живыми глазами, а мертвыми точками зрения. Эти мертвые точки зрения порождали однако жизнь. Когда вожди в своем агитационном исступлении взвинчивали свои точки зрения до предела, до безумия, глаза масс наливались горячею кровью. Кажется, среди всех отравляющих массовую душу ядов нет яда более сильного, чем яд беспредметного утопизма.

В основе всех социалистических утопий лежало чувство, что революция представляет собою нечто более реальное, чем Россия. Лишь этим чудовищным

смещением основных планов бытия и объясняются, как мне кажется, все непоправимые ошибки и даже преступления наших социалистов ? интернационалистов. В своем безудержном восторге перед гением революции они бесчувственно разрушали живую Россию. Мне их восторг был всегда чужд и непонятен. Для меня суть всех мировых революций заключается в преступлениях отцов и дедов перед детьми и внуками, исправляемых не меньшими преступлениями детей и внуков перед отцами и дедами. Не признавать справедливости революционной расплаты за грехи прошлого нельзя, но восторгаться революциями по меньшей мере излишне.

Такой трезвый взгляд на революцию казался нашим революционерам ее умалением. Они видели в ней некоего светлого архангела, осчастливившего Россию своим внезапным появлением в ней.

Считая такие отвлеченные социологические категории как буржуазия, пролетариат, интернационал, за исторические реальности, Россию же лишь за одну из территорий всемирной тяжбы между трудом и капиталом, наши интернационалисты естественно ненавидели в России все, что не растворялось в их социологических схемах: крестьянство, как народно-этнический корень России, православие, как всееди-нящий купол русской культуры, и армию, как оплот национально-государственной власти. На борьбу с этими силами и была потому сознательно и бессознательно направлена вся их страстно кипучая деятельность.

Крестьянство рассматривалось марксистами-интернационалистами и оторвавшимися от своей народнической базы левыми социалистами-революционерами, как некое сырье, подлежащее переработке в со-циологически-первокачественный, т. е. в интернационалистически настроенный пролетариат. В отношении

православия они ставили своею задачею его разоблачение, как орудия для угнетения масс. В отношении армии они преследовали цель ее перевоспитания в передовой отряд рабочего интернационала.

Те, кому эти слова покажутся несправедливым преувеличением, пусть прочтут умные, интересные и по-своему даже справедливые «Воспоминания» Суханова. «Непосредственное участие армии в революции было, – пишет Суханов, – не что иное, как форма вмешательства крестьянства, форма его проникновения в недра революционного процесса. С моей точки зрения марксиста и интернационалиста, это было совершенно неуместное вмешательство, глубоко вредное проникновение и притом вовсе не обязательное вообще, а обязанное лишь особому стечению обстоятельств. Жадное до одной земли, направив все свои государственные мысли к укреплению собственного корыта, а все свои гражданские чувства к избавлению от земского и урядника, крестьянство, будучи большинством населения, имело все шансы пройти стороной, соблюсти нейтралитет, никому не помешать в главной драме на основном фронте революции. Пошумев где-то в глубине, подпаливши немного усадеб, поразгромив немного добра, крестьянство получило бы свои клочки земли и утихомирилось бы в своем идиотизме сельской жизни. Гегемония пролетариата в революции не встретила бы конкуренции и единственно революционный и социалистический

по природе класс довел бы революцию до желанных пределов».

Как социалисты-интернационалисты не понимали крестьянства, так не понимали они и офицерства. Со словами доблесть, честь, верноподданничество, присяга, подвиг, боевое крещение – они не связывали никаких положительных представлений. Для них это были не только пустые, но и кощунственно-лживые слова. Там, где офицерство переживало величайшую

трагедию, вожди пролетариата видели всего только притворство и ложь. Им и в голову не приходило, что офицер, выняньченный денщиком и просидевший всю войну вместе с солдатами в окопах, способен любить своих солдат с такою глубиною и нежностью, о которой им, чуждым народу специалистам по классовой борьбе, трудно создать себе хотя бы приблизительное представление.

Я уверен, что подсознательная ненависть Совета к офицерству сыграла в разложении армии более отрицательную роль, чем политически непродуманные меры Временного правительства.

Особою ненавистью к офицерству отличался Стеклов. На соединенном заседании Советов он с пеною у рта требовал вызова из Ставки контрреволюционных генералов и объявления их вне закона, «чтобы каждый мог их раньше убить, чем они занесут свою руку для смертельного удара по революции». И такие речи во всеуслышание произносились в дни «бескровного» начала великой русской революции.

Вспоминая заседания Советов, я не вижу ни зала Таврического дворца, ни его фасада, ни окружающего его сада. Черно-серая, рабоче-солдатская масса шумит, волнуется и столпотворит в моей памяти не среди стен, не под крышей, а в каком-то бесстенном пространстве, непосредственно сливаясь с непрерывно митингующими толпами петроградских улиц. В этих туманных, призрачных просторах перед моими глазами плывет покрытый красным сукном стол президиума и неподалеку от него обитая чем-то красным кафедра.

С этой кафедры, в клубящихся испарениях своих непомерных страстей и исступлений, сменяя один другого, ночи и дни напролет говорят, кричат и чрезмерно жестикулируют давно охрипшие ораторы. Жара, как в бане, духота, нагота: во всех речах оголен

ные лозунги, оголенные страсти. А в толпе на стульях и скамьях безвольная разомкнутость душ и тел, которых мучает, гнетет и вгоняет в сонную одурь предельное изнеможение.

То и дело вскакивавшие на красную кафедру вожди

революции были, конечно, весьма различными людьми и весьма разнокалиберными политиками, но все они были связаны друг с другом неким общим, как бы семейным сходством. Пройденный почти всеми ими тюремно-ссыльный стаж придавал их революционному исповедничеству одинаковую ноту нервной озлобленности; к тому же все они говорили на одном и том же специфически революционном жаргоне. На этом жаргоне беспартийный интеллигент назывался «пленником буржуазии», буржуазный политик – «агентом капитала», не верующий в Маркса социалист – «мелко-буржуазным обывателем», крепкий крестьянин – «хозяйчиком», сильный, но правый человек – «бонапартенышем», прокурор святейшего Синода – «святейшим прокурором», левый бандитизм – «волеизъявлением трудовых масс», хозяйственная озабоченность крестьянства – «проявлением черносотенного хулиганства», развал России – «углублением революции».

Среди лево-советских вождей было несколько очень недурных ораторов, но речи их досадно портились специфически революционным штампом. Между цветами красноречия всюду колко торчала проволока мертвой идеологии.

Будучи, как мне кажется, от природы справедливым человеком и сознательно стараясь не изменять этому своему природному качеству при описании советских вождей, я все же должен сказать, что, за исключением архаически-монументального Ленина, импрессионистически-острого и надменно-умного Троцкого и честного, чистого, мужественно-прямого Це

ретелли, типичного белозубого кавказца, с печальными, ланьими глазами, среди советских вождей было очень немного хотя бы мало-мальски значительных людей.

Бессменным председателем ЦИК'а Всероссийского совета сидел за красным столом «старик» Чхеидзе, сутулый, седеющий грузин, не очень образованный теоретик и мало самостоятельный политик, но всеми уважаемый человек, умевший при случае принять проконсульскую позу и дать «достойную» отповедь врагам Совета.

В первое время, в качестве его ближайшего подручного в Совете, «засучив рукава», энергично подвизался очкастый, потный Богданов с шишкою на лбу. Целыми днями, а если нужно и ночами, принимал он делегации с мест и, не задаваясь теоретическими тонкостями, довольно успешно справлялся с революционной неразберихой. Без него Чхеидзе пришлось бы очень трудно.

На эстраде в те дни чаще других появлялся громадный,

громкий, наглый бородач Стеклов, лютый анархо-марксист, автор небрежно написанных, но во многих отношениях все же ценных исследований о Бакунине.

Рядом с ним действовал уже упоминавшийся Соколов в своем благородно-неуместном черном сюртуке и беспартийно-марксистский чистоплюй Суханов, умный созерцатель и никчемный деятель революции, редактировавший талантливую, но непереносимую по духу и тону горьковскую «Новую жизнь».

С приездом Церетелли все эти деятели сразу же отошли на второй план, а на первый вместе с новым вождем Совета выдвинулись у меньшевиков Дан, Ли-бер и Мартов, а у эсеров – Чернов и Абрам Гоц.

Мне кажется, что наиболее значительным теоретиком и человеком среди всех этих людей был

Мартов, не игравший однако в Совете большой роли. Тою тончайшею паутиною, которую умно и последовательно плел в своих речах этот бескомпромиссный меньшевик-интернационалист, нельзя было связать руки Ленину. Впрочем, и независимо от своей теоретической позиции, Мартов никогда не мог бы играть в Совете выдающейся роли. Человек тонкого ума, очень больших специальных знаний и живой совести, Мартов мог иной раз подняться в своих речах до высоты подлинного нравственного пафоса, но он не был человеком тех быстрых и упрощенно-определенных решений, без которых нельзя было вести революционную массу. Не был он и оратором, способным захватить большую и чужеродную аудиторию. Этому мешал и его вид, уныло-скорбного Альт-мановского еврея, косоплече и вислоруко свисавшего с кафедры, его сиплый небольшой голос и дикционная неотчетливость речи.

Гораздо менее существенными людьми были остроглазый, одутловатый хрипун, меньшевик-централист Дан и щуплый, похожий на гнома, темнобородый бундовец Либер, постоянно выступавшие по каждому более или менее важному вопросу.

Одно время популярность этих первопланных, но, как мне казалось второстепенных деятелей была так велика, что враги Совета так и говорили: «А что сегодня опять либерданили в Таврическом?» «Ли-берданить» означало нести ерунду. Ерунды ни Либер, ни Дан не несли, оба были очень неглупыми людьми, но беспредметность их мышления была поистине потрясающа. Лишь по тактическим соображениям поддерживая твердую линию Церетелли, они в тайниках своей души все же тяготели к мартовскому циммер-вальдизму и потому постоянно осложняли все решения ненужными, хитроумными размышлениями и предложениями. Не страшись они Ленина, что особенно

относится к Либеру, они никогда не пошли бы за Церетелли. Ни большого государственного разума, ни внутренней связи с Россией я в их выступлениях никогда не чувствовал. Их речи всегда производили на меня впечатление какой-то идеологической жвачки. Оба были типичными представителями того социалистического «болота», в котором, несмотря на свою прямоту и энергию, в конце концов, увяз долгоногий Церетелли.

В противоположность унылым и при всей своей внешней активности все же скучным «либерданам», вождь эсеров В. М. Чернов представлял собою импозантное и даже красочное явление. На первый взгляд типичная «светлая личность» – высокий лоб, благородная шевелюра – Чернов остался у меня в памяти все же довольно смутным явлением.

Та легкая раскосость облачно-мутного взора, которая появлялась у него в минуты наибольшего ораторского подъема, была не простою мимическою случайностью. В ней явно отражался свойственный этому талантливому вождю дар оппортунистически-артистического приспособленчества. Чрезмерной «пластичности» черновского сознания как нельзя лучше соответствовали его ораторская манера и его полемические приемы. Серьезный теоретик модернизированного под влиянием марксизма неонародничества, Чернов, как оратор, не стеснялся никакими приемами, способными развлечь и подкупить аудиторию. В его самовлюбленном витийствовании было нечто от развеселого ярмарочного катанья: то он резво припускал речь, словно бубенцами звеня каламбурами, шутками и прибаутками, то осанисто сдерживал ее, как бы важничай медленною поступью своих научных размышлений.

Опытный «партийный деятель» и типичный «язык без костей»,

Чернов, среди наполнявших Таврический

дворец эсеров, неизменно имел шумный успех. И все же он ни в качестве партийного вождя, ни в качестве министра не оставил после себя более или менее значительных следов. Для крупного политика ему не хватало принципиальности убеждений, твердости воли и того дара, которым бесспорно владел Ленин: бесстрашия перед временным отливом популярности у масс и приближенных. За Черновым идти было невозможно, потому что оглядываясь во все стороны, он, в конце концов, вращался только вокруг себя.

Я набросал портреты лишь тех лидеров, на долю которых, отчасти вопреки их собственной воле, была самою судьбою возложена задача сохранения в массах тех хаотических сил, которые были необходимы для большевистского углубления революции.

Были во Всероссийском совете и его Исполнительном комитете, конечно, и другие люди, но они или бездействовали, или переносили свою деятельность за стены Совета. Так ушел комиссарствовать в армию приват-доцент уголовного права, честный, дельный трудовик Станкевич. Не играл никакой роли в Совете Зензинов, один из самых скромных и светлых эсеров. Чем он в то время был занят, мне в точности неизвестно. Кажется, своею главною задачею он уже и тогда считал опекание и оберегание Керенского. Остался в тени и Н. Д. Авксентьев, председатель Совета крестьянских депутатов и впоследствии министр внутренних дел. Очевидно ни его барственно-львиная наружность, ни его кроткая и безвольная душа не подошли к Таврическому дворцу.

То же самое можно сказать и о Бунакове. Этот изумительный оратор, насколько я знаю, вообще не появлялся на трибуне. Ему, как он впоследствии не раз говорил мне, с первых же дней революции стало до полной безнадежности ясно, что все усилия окажутся напрасными и что Россия, в своем стихийном

саморазрушении, неизбежно дойдет до конца, до гибели. Назначенный впоследствии комиссаром Черноморского флота при адмирале Колчаке, Бунаков действовал энергично и успешно, но никакие частичные успехи не могли уже спасти России.

Несмотря на то, что наиболее значительные лидеры Совета во главе с Церетелли прилагали все усилия к поддержке Временного правительства, а Ленин по тактическим соображениям долго держался в стороне, как бы примериваясь и присматриваясь к соотношению сил в стране, Совет рабочих и солдатских депутатов только и делал, что расшатывал авторитет поддерживаемого им правительства. В конце апреля он принудил уйти в отставку

Гучкова, в первых числах мая – Милюкова и Львова.

Описание сложной, многоперипетийной борьбы между Временным правительством и Советом не входит в мою задачу, так как за работой Временного правительства я не следил и членов его видел только изредка и издалека: раз на соединенном заседании четырех Государственных Дум, а затем на знаменитом заседании в Мариинском дворце, где обсуждался вопрос коалиционного министерства.

О том впечатлении, которое на меня произвели Гучков и Львов, я уже говорил. Милюков был, конечно, гораздо более искушенным политиком, чем Гучков, и гораздо более твердым человеком, чем князь Львов, но в вожди революции он так же мало годился, как ушедший до него военный министр и министр-председатель Львов.

Хороший скрипач-любитель, Милюков оказался весьма тугим на ухо министром иностранных дел. Дальше я буду подробнее говорить о том, какую роковую роль сыграло в революции то, что Милюков не расслышал отнюдь не только шкурнической, но по существу праведной тоски русского народа по

замирению. Этою глухотою, связанной с безрелигиоз-ностью всего русского западничества только и объясняется, по моему глубокому убеждению, то доктринерское упрямство, с которым Милюков проводил свою верную союзническим договорам империалистическую политику.

Надо ли говорить, что настойчивость Милюкова, пытавшегося и после взрыва революции направить Россию по тому пути, который был им выработан в предположении, что в России произойдет не низовая революция, а дворцовый переворот, не имела ничего общего с тою твердою волею, которая, в связи с даром быстрого учета переменившейся обстановки, отличает прирожденных вождей масс. Таких вождей среди членов Временного правительства не было. Все это были во многих отношениях замечательные люди: честные, жертвенные и талантливые, которых ни один разумный и справедливый историк не сможет упрекнуть в корыстной защите своих классовых интересов – но не вожди.

Люди власти не легко уходят от власти. Профессионалы политической борьбы, они защищаются до конца, прибегая часто и к сомнительным средствам. Временное же правительство первого созыва распустило себя, несмотря на данное народу обещание довести страну до Учредительного собрания, далеко не использовав находившихся в его распоряжении средств борьбы с Советом. Гучков, Милюков, а затем и князь Львов покинули свои посты, не считая для себя возможным нести ответственность за

потакание Совету, а оставшиеся министры пошли по пути сговора с Советом, не понимая того, что всякой, не пар-ламентарно-условной, а революционно-безусловной оппозиции и надлежит бороться не за победу своих взглядов во вражьем стане, а за уничтожение власти своего политического врага.

Декларация Временного правительства, опубликованная в связи с его первым преобразованием, вернее с его развалом в мае месяце, является лучшим подтверждением правильности моей характеристики.

«Основою политического управления страной Временное правительство избрало не принуждение и насилие, но добровольное подчинение свободных граждан суверенитету свободно избранной ими парламентской корпорации. Никогда оно не искало себе поддержки в физической, а всегда только в моральной силе. С тех пор как оно существует, Временное правительство ни разу не изменило этим принципам, а потому оно торжественно слагает с себя ответствен-вость за пролитую кровь. Им не было пролито ни капли народной крови».

Приводя в своих воспоминаниях это «завещание» Временного правительства, низвергнутый большевиками Керенский еще в 1922-м году «открыто» признается, что, несмотря на все пережитое, он не может перечитывать прекрасные слова Временного правительства без «сердцебиения и душевного подъема».

Нет спору, прекрасные слова, но все же вряд ли уместные в устах революционной власти в момент наступления на нее «безответственных элементов», стремящихся – как это прекрасно понимали не только уходившие, но и остававшиеся члены Временного правительства – «разгромить родину и революцию».

Моей душе мало что так претит, как мракобесное издевательство над «либеральною близорукостью», «ителлигентской мягкотелостью» и «красноречивым празднословием нашей интеллигенции», в котором с первых же дней революции состязались наши, только что бездарно выпустившие из своих рук «историческую власть», монархисты с большевиками, без стеснения разжигавшими, ради захвата власти, анархически-шкурнические инстинкты революционных масс.

Осуждая бессилие и безволие Временного правительства, я осуждаю его не за то, что оно до конца пыталось защитить свободу, которую ненавидели его враги, а за то, что оно недостаточно энергично защищало ее от всех свободоненавистников.

То, что Временное правительство не считало возможным

осуществления образа будущей свободной России насилием, с моей точки зрения, только правильно. Образ истины тем и отличается от доктринерских выдумок, что истина не осуществима без доверия к свободе. Но одно дело не принуждать людей к осуществлению добра и совсем другое – не сопротивляться силою тому злу, которое всеми средствами борется против его осуществления.

Гнать солдат пулеметами в наступление на защиту родины и свободы не только нравственно недопустимо, но и практически бессмысленно: они все равно разбегутся. Но при случае, если нет иного выхода, то расстреливать трусов и шкурников, стреляющих в спину наступающим по приказу правительства добровольцам, не только целесообразно, но и нравственно допустимо.

Поскольку с Временного правительства не может быть снята ответственность за то, что оно своею мягкостью и нерешительностью потакало наступающему злу, постольку с него, вопреки его воззванию, не может быть снята и ответственность за пролитую в революцию кровь.

Седьмого мая в Каменец-Подольске должен был собраться армейский съезд Югозападного фронта. Не видя большого смысла в своем пребывании в Совете и надеясь повлиять на течение съезда, я решил отправиться в армию.

Встреча с товарищами, по которым я очень соскучился, была дружественною и радостною, ни в малейшей степени не омраченной моим членством во враждебном офицерству Совете рабочих и солдатских депутатов. Щуря свои калмыцкие глаза, Иван Димитриевич, правда, подтрунивал над моею политическою деятельностью, но в глубине души все же одобрял ее.

В батарее все еще держалась строгая дисциплина. Все офицеры были на местах и солдаты в полном подчинении. У себя в части мне, слава Богу, не пришлось произносить никаких увещевательных речей в защиту воинской дисциплины и командного состава. Некоторая трудность заключалась лишь в том, что солдаты встретили меня не только как своего старого офицера, но и как их нового защитника, с безмолвною, но твердою надеждою в глазах, что и я вместе с ними за скорое замирение.

Разговоров на эту тему я в своей бригаде избегал, но и без разговоров я чувствовал, что понять офицеров, которые по-старому за войну до полной победы, солдаты уже не в силах. «По простоте, по-хорошему, по-человечески, по совести, – как правильно пишет в своих «Воспоминаниях» Станкевич, – у солдат выходило иначе», потому они и от меня ждали, что я, как их

представитель, вразумлю не сдающихся начальников. Все это было очень сложно и трудно, в особенности для меня, который в душе стоял на солдатской точке зрения, внешне же, за полною невозможностью правильной политической проекции солдатского миролюбия, твердо вел оборонческую линию.

Остававшееся у меня до съезда время я проводил в разъездах по фронту, выступая всюду с разъяснениями оборонческого курса Временного правительства и с разоблачениями бессмысленности и пре

ступности большевистских призывов к немедленному миру.

Во всех моих выступлениях меня дельно и мужественно поддерживали армейские комитеты, превратившиеся за время моего отсутствия в очень ценную фронтовую силу. Весьма распространенное среди кадрового офицерства и в право-обывательских кругах мнение, что созданные Всероссийским советом армейские комитеты послужили главною причиною развала дисциплины армии, формально и по существу неверно, ибо, во-первых, комитеты упрочились в армии лишь после того как опубликованное Петроградским советом в марте месяце постановление о их созыве было в апреле по всей форме и безо всяких изменений подписано военным министром, а, во-вторых, не подлежит ни малейшему сомнению, что без буфера комитетов солдатская масса очень быстро вышла бы из подчинения командному составу и пошла бы за большевиками.

Конечно, если бы Комитет Государственной Думы сразу же, еще до образования Петроградского совета, объявил себя Временным правительством и твердо взял бы всю власть в свои руки, пополнив свой состав представителями солдат и рабочих, то быть может и возможно было бы обойтись без армейских комитетов, представлявших собою – кто об этом спорит – чужеродный элемент в армии. Но ведь всего этого не произошло. Выбранный утром 27-го февраля Комитет Государственной Думы не посмел сразу же объявить себя революционной властью. Свою задачу он поначалу скромно определил, как «водворение порядка в столице и сношение с общественными организациями и учреждениями». Решение взять власть, состоялось только поздно ночью, на десять часов позднее образования Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов и пять часов спустя

после открытия его первого заседания. Благодаря этому промедлению – в вихре революционных событий каждый час имел значение дня, а то и целой недели – либеральное Временное правительство сразу же оказалось под фланговым обстрелом Совета.

К моменту образования цензовой власти при

Исполнительном комитете уже работали: продовольственная комиссия, питавшая шатавшихся по городу солдат, военная, готовившаяся дать отпор верным царю войскам, в случае если бы таковые обнаружились, и литературная, уже работавшая над обращением к народу.

Благодаря своей большей решительности, Совет рабочих депутатов сразу же захватил в свои руки водительство революцией и пополнившись солдатами естественно распространил свою власть и на армию. Об отмене армейских комитетов военною властью при таком положении вещей не могло быть и речи. Она кончилась бы избиением лучшей части офицерства и демагогическим переходом на пораженческие позиции наименее ответственных и сознательных начальников. Единственно открытым оставался тот путь, которым Керенский и пошел впоследствии, путь ограничения комитетских правомочий и назначения в армию правительственных комиссаров.

То, что в армейские комитеты, за сравнительно редкими исключениями, попадали далеко не худшие элементы армии, является большою заслугою русских солдат. Постоянно выступая на армейских собраниях против демагогов всех оттенков и направлений, я всегда поражался тою поддержкою, которую мне оказывали солдаты, тою трезвою твердостью, с которою они отводили кандидатуры провокаторов, брехунов и быстро перекрасившихся офицеров-черносотенцев.

В ту делегацию, во главе которой я в свое вре

мя выехал в Петроград, настойчиво стремился попасть щеголеватый молодой капитан с наглыми, светлыми глазами и тщательно нафиксатуаренными рыжими усами. В своих ловких, заливчатых речах он горячо требовал немедленного мира и чуть ли не со слезами изливал перед солдатами свою радость по поводу падения бездушной дисциплины царской армии, мешавшей офицеру обращаться с солдатами так, как от него того требовали любовь и совесть.

Слушали мои сибиряки «товарища» снисходительно, аплодировали ему дружно, но в делегацию не пропустили: «Поет-то он сладко, – сказал мне, когда мы расходились, знакомый пехотный фельдфебель, – но какой от этого может быть толк, когда сразу видно, что только о себе и хлопочет».

Офицеры и даже высшие чины вели себя часто много хуже комитетчиков и даже простых рядовых. Не желающим это признавать кадровым офицерам мне хочется напомнить выступление главнокомандующего Северным фронтом генерала Черемисова, который на вопрос матросов, нужна ли в армии дисциплинарная власть, заявил, что, по его мнению, армия может

драться и побеждать и без дисциплины.

Еще характернее дошедшее в свое время до меня и подробно описанное впоследствии Станкевичем в своих «Воспоминаниях» столкновение председателя Комитета 5-й армии Виленкина с тем же генералом Черемисовым. Когда Виленкин приехал в Псков просить у Черемисова военной поддержки, Черемисов наотрез отказался и разразился упреками по адресу Комитета:

– Вы придерживаетесь слишком правой линии поведения, поэтому вам нужна воинская сила. Будьте немного левее и тогда обойдетесь без всяких броневых дивизионов.

Находчивый юрист, талантливый оратор и поль

зовавшийся большими симпатиями в своей армии политический деятель, Виленкин не полез за ответом в карман.

– Самый правый в комитете, – отвечал он Че-ремисову, – я. Что же касается других, то если сложить года, проведенные членами комитета на каторге за левизну их убеждений, то получится число большее, чем число ваших лет, господин генерал. И если бы задача теперь была в том, чтобы подыгрываться под настроение масс, то я давно сидел бы здесь, на вашем месте, внесенный на руках солдат.

Генерал Черемисов, конечно, исключение, но че-ремисовщины на фронте было гораздо больше, чем принято думать в наших правых кругах. Офицеры, пытавшиеся удержать власть на путях лево-флангового обхода комитетчиков и комиссаров, попадались мне очень часто. На них впоследствии пытался опереться последний военный министр в правительстве Керенского генерал Верховский.

После грязного, туманного, сумбурного Петрограда, в котором мы с женою жили в квартире «по ошибке» растерзанного перепившимися матросами морского офицера (его принесенные с крейсера вещи, до которых несчастная вдова не в силах была дотронуться, так и лежали в передней в мешке), я чувствовал себя в Галиции почти что счастливым.

Пахло весенними полями, весенним солнцем и начинавшими кое-где по долинам распускаться каштанами. В деревнях, по которым в ожидании мира уже давно не стреляли немцы, оживала обычная крестьянская жизнь. Над Шумлянами, в которых все еще стояла третья батарея, жиденько позванивала живописная деревенская церковка. Кругом меня снова были доро-.гие люди: Иван Владимирович, братья Балашевские, Александр Борисович и мой Семеша. Главная забота

Петрограда – «разлагающийся фронт» – казался здесь на месте образцом тишины и порядка.

Поскольку меня не просили члены армейских комитетов, я

старался не собирать больших митингов, а воздействовать на солдат по-ротною и по-батарей-ною беседою. Сидя в окопе и угощая товарищей сибиряков папироской, я обстоятельно рассказывал им о петроградских делах, главным образом о борьбе Керенского против старорежимной внешней полити-ги Милюкова и об уходе последнего.

Вызвав к себе доверие, я осторожно переходил к доказательству, что миролюбивая политика Керенского и Церетелли должна неминуемо сорваться, если в распоряжении свободной России не окажется крепко спаянной, послушной своим начальникам и всегда! готовой к отпору врагу армии. – Поймите, товарищи, – твердил я своим слушателям, – мира без силы не добиться. Почувствовав, что Россия обессилена, наши враги и наши союзники быстро сговорятся друг с другом, поделят промеж себя русские земли с их несметными богатствами и заставят обнищавший русский народ еще тяжелее работать на Западную Европу, чем он до войны и революции работал на царя, помещиков и капиталистов.

Соглашаясь на войну, солдаты всегда протестовали против наступления, которое им казалось нарушением миролюбивой политики. Выяснение мысли, что наступление есть не политическое, а лишь военно-тактическое понятие, стоило мне больших трудов и никогда вполне не удавалось. Быть может, солдаты и были правы, связывая мысль о наступлении с продолжением союзнически-империалистической политики Милюкова.

В пределах своей бригады я подвизался довольно успешно, но на больших митингах, среди чужих солдат и при наличии большевиков, приходилось иной

раз и круто. Особо ярко стоит в памяти один, чуть не кончившийся для меня большою неудачею, митинг.

На лужайке, верстах в пяти позади артиллерийских позиций, собралось несколько сот солдат, представителей полков, батарей, парков и штабов; – было, конечно, много и праздных созерцателей. Я приехал верхом вместе с Евгением Балашевским в бодром приподнятом настроении. Дружественно встреченный армейским комитетом и отрекомендованный солдатам в качестве члена Всероссийского совета, я начал свою речь в твердой уверенности, что справлюсь с большевистской оппозицией, если она решит дать бой.

Впереди, под самою трибуною, стояли верные мне батарейцы и паркачи 12-й бригады, гордые своим поручиком и готовые постоять за него. Искренне веря в солдатскую совесть и зная крестьянские нужды, я легко находил слова, удачно, как мне

казалось, связывавшие воедино праведную солдатскую тоску по миру, справедливую жажду «земли и воли» и долг не посрамить земли русской, – отстоять ее от посягательств открытых врагов и фальшивых друзей.

Поначалу все шло хорошо. Слушали меня с доверием и даже с сочувствием.

Но вот в задних рядах, где в первые месяцы революции располагались обыкновенно большевистские агитаторы, поднялся какой-то невнятный, но явно угрожающий ропот. Окружавшие меня солдаты сразу же обернулись и кто-то из них возмущенно крикнул: «Не таись, не мути, сволочь, а ежели что нужно, то высылайте своего, пусть говорит прямо перед всем народом». Ропот затих. Несколько голосов в отдалении повторило требование, чтобы смутьяны выходили на трибуну. Через несколько секунд толпа чуть ли не силком вытолкнула вперед растрепанного, взъерошенного солдата, нахального, но жалкого. Взойдя

на трибуну, он поначалу растерялся, но вдруг разозлившись на чей-то иронический возглас, зажмурил глаза, подтянул штаны и махом, как в воду, бросился в бой.

Я так полагаю, товарищи, что буржуазия мира никогда не заключит, так как она нашею кровью кормится, а офицеры, как они ни пляшут перед нами, буржуазию поддержат, потому им за нашу кровь чины, кресты и деньги идут. По мне так, товарищи: мир, так мир. Втыкай – немцу для примеру штыки в землю – и айда домой. Какая нам выйдет земля, ежели ее без нас делить начнут. Ни земли, ни воли не будет, а будет один шиш.

Ладно, слышали, – раздались нетерпеливые голоса, – кончай волынку, долой.

Дайте договорить, товарищи, – вмешался ради справедливости председатель митинга.

Чего ему о земле говорить, товарищ председатель, – раздался рядом со мною насмешливый голос взводного Боровикова, – какой он крестьянин, все равно ему на земле только срать, а не сеять.

По первым рядам громко раскатился хохот и снова послышалось «долой».

Казалось, дело оратора было окончательно проиграно, но снова освоившись, он быстро переменил тему и заговорил с еще большим азартом: – Ежели товарищ докладчик действительно из Всероссийского совета, а не самозванец какой, то пусть доложит насчет тайных договоров с союзниками, в Петрограде Совету все известно.

Верно, – начал я свою ответную речь, – что требование об

опубликовании тайных договоров царского правительства с союзниками не раз раздавалось в левых кругах Совета, тем не менее договоры опубликованы не были и в ближайшее время опубликованы не будут; они представляют собою не толь

ко русскую, но и союзническую тайну, оглашать которую, в момент напряженной борьбы союзников с их врагами, Россия не может, не рискуя превратить союзников во врагов и тем самым окончательно подорвать свое военное положение.

Говоря все это, я чувствовал, что мои слова уже не доходят до солдат, только что слушавших меня с доверием и сочувствием. И даже больше: говоря, я чувствовал, что за минуту перед тем по-разному настроенные солдаты начинают сливаться в какую-то единообразно-враждебную мне массу.

О природе массы психологами и социологами написано бесконечное количество книг. В большинстве этих книг особенности массовой психологии односторонне выводятся из законов больших чисел. Недостаточность этого объяснения доказывается уже тем, что дважды говоря перед тою же толпою в 500-600 человек, я только во второй раз говорил перед массою. Верно, что массовая психология окончательно завладевает человеком лишь в толпе, но зарождается она, как все существенное, в уединенной глубине человеческой личности. Ленин, в одиночестве думавший о революции, уже жил массовой психологией.

Сущность личности заключается в совести. Жить по совести – значит жить в послушании добру и истине и в уважении чужой свободы: «познайте истину и истина освободит вас». Совестливая жизнь трудна для всякого человека, ибо она ежедневно налагает новые цепи на наши страсти, желания, корысти и своевольные мечты. Потому временами в людях возникает жажда выйти из подчинения добру, и даже отомстить ему. Но как оправдать эту жажду восстания на свою же совесть, на свою же волю к добру? Вот тут-то и вступают в свои права законы большего числа, т. е. массовой психологии. Если на миру и смерть красна, то на миру и ложь права. Захватывая

стремящегося уйти из-под ответственности добру человека в круговорот своих страстей, толпа сразу же обезличивает его, и лишает всякой самостоятельности. Обезличенные толпою люди легко сливаются в безликую массу и лишенные собственной воли послушно подчиняются воле вождя, от которого однако неуклонно требуют потакания тем своим мечтам и корыстям, ради которых ими был поднят изначальный бунт против своей совести.

Из своей агитационной деятельности я вынес печальное

убеждение, что превращение многоликой толпы в безликую массу может быть иной раз делом нескольких минут. Так оно было и на описываемом митинге.

Слушая мою первую речь и зло высмеивая моего оппонента, предлагавшего сейчас же разойтись по домам, солдаты, – каждый сам по себе, но все же и все вместе – напрягали, быть может, свои последние нравственные силы, чтобы не поддаться соблазну и не погасить своей совести. Но чем больше они «нудились истиной», тем страстнее подымались в них корыстные страсти и жадные мечты: зло всегда растет вместе с добром. При наличии такой раздвоенности брошенная коммунистическим оратором мысль, что я самозванец, не имеющий никакого права навязывать им свои оборонческие требования, естественно должна была подорвать окончательно в моих слушателях их и без того заколебавшуюся волю к исполнению своего долга.

Как бы то ни было, когда я кончил свою вторую речь заявлением, что говорить о тайных договорах я не могу и не буду, со всех сторон раздались резкие требования, чтобы я предъявил свой мандат. Я хватился за набитый всякими документами бумажник, но мандата Центрального исполнительного комитета со мною не оказалось. Когда я объявил об этом, под

нялся победоносный, большевистский шум. Попытка председателя поручиться за меня не только не успокоила солдат, но скорее подлила масла в огонь.

При гробовом молчании тех солдат, которые прекрасно знали меня, которые сами выбирали меня в петроградскую делегацию, а затем и во Всероссийский совет, большевистские агитаторы настойчиво кричали «долой» и требовали предъявления мандата…

Оставалось только одно: обещать съездить на батарею и привезти мандат. Признаюсь, что я скакал в Шумляны с неладно бьющимся сердцем, так как совершенно не был уверен в том, что найду мандат, который только и мог быть у меня в бумажнике.

Когда я, спрыгнув минут через сорок с загнанной лошади, снова появился на трибуне, я почувствовал, что все, может быть, даже и мои батарейцы, уверены в моем самозванстве.

Знакомых лиц у трибуны уже не было, всюду кипела озлобленная, безликая масса.

Предъявление мандата с трибуны не удовлетворило большевистских застрельщиков. Председателю пришлось внести предложение о выборе комиссии для его тщательного осмотра. Представители большевиков придирались почем зря, так что экспертиза затянулась. В конце концов, комиссии все же пришлось заявить с трибуны, что мандат и сопроводительная к

нему бумага Центрального исполнительного комитета, предлагающая фронтовому начальству, комиссарам и фронтовым комитетам оказывать товарищу Степуну всяческую поддержку, не вызывают ни малейшего сомнения.

Как только это заявление было произнесено, началось, почти что глазу видимое, размагничивание массы. Говоря заключительное слово, в котором я безоглядно громил большевиков за их политическую безграмотность и неуместную полицейскую придир

чивость, я всем существом ощущал новый прилив симпатии ко мне. В глаза и души моих сибиряков явно возвращались совесть и ответственность. Попытки отдельных товарищей прерывать меня наглыми замечаниями снова подавлялись дружными окриками. О том, что дело вспыхнуло вовсе не из-за мандата, а из-за тайных договоров, все как-то забыли. По окончании речи солдаты меня качали, не только за удачную речь, но, как мне казалось, и в благодарность за то, что, найдя мандат, я уберег их души от греха.

Все кончилось благополучно, но все могло бы кончиться и иначе, не найди я мандата в шинельном кармане, куда он неизвестно как попал.

В горячей агитационной работе быстро летели заметно удлиняющиеся дни. Незаметно подошло седьмое мая, день созыва Съезда Югозападного фронта. Этот памятный мне съезд длился по крайней мере неделю, а может быть и больше.

Я приехал в Каменец-Подольск за несколько часов до открытия съезда. Маленький, пыльный городишко (где-то внизу мелководный, но быстрый Смот-рич, где-то в отдалении силуэт старинной крепости на высокой горе) шумно кипел напряженною, военно-общественною жизнью. Все улицы были забиты солдатами; среди солдатских шинелей и гимнастерок уже анахронизмом мелькали офицерские погоны. Всюду веяли красные флаги и морщились красные полотнища с революционными лозунгами. На площади, у трактиров и у здания съезда позвякивали бубенцы командирских колясок и казначейских бричек. Пыхтели и гудели штабные автомобили.

В солдатской массе революционной армии царил большой подъем: еще бы, ожидался приезд главно

командующего Брусилова и военного министра товарища Керенского. В глазах и рукопожатиях многих кадровых офицеров чувствовалась тревога и скорбь: как понять, как перенести, что Верховный главнокомандующий будет социалистически брататься с товарищами дезертирами?

Я приехал в Каменец-Подольск вместе с нашим страстным батарейным политиком Александром Борисовичем. В уверенности, что мой мандат и некоторая моя известность на Югозападном фронте откроют двери и моему товарищу, я подкатил с ним прямо к Пушкинскому дому. В дверях мы однако встретили энергичное сопротивление мандатной комиссии, наотрез отказавшейся пропустить в зал безмандатного офицера. Эта строгость была новостью, в которой чувствовалась воля к твердой демократической дисциплине и торжественное настроение большого политического дня. Лишь после длительных увещеваний мне удалось устроить Александра Борисовича где-то в укромном месте, кажется, на хорах.

Момент для съезда был выбран удачно. Волна бездумного пораженчества уже с конца апреля начала постепенно откатываться. Армия была разочарована как в немцах, нарушивших свое братание Сто-ходским наступлением, так и в союзниках, оставивших без действенного ответа правительственную декларацию о мире. Не понравились нашим демократам и приезжавшие в Петроград союзнические социалисты: Тома, Рембо и Гендерсон, показавшиеся эсерам и эсдекам «здоровыми шовинистами». В связи со всем этим в армии крепла мысль, что миролюбивое слово свободной России не будет услышано ни врагами, ни союзниками, если за ним не будет стоять твердая воля боеспособной армии.

Только что состоявшийся уход Милюкова не ослабил, а скорее усилил это оборонческое настроение:

в нем видели гарантию того, что демократическая воля к защите родины и революции не будет использована в империалистическом духе.

Надо ли говорить, что при таких настроениях фронта, как представителям народной власти, военному министру Керенскому и главковерху Брусилову, так и представителям народной воли, членам Центрального исполнительного комитета, Станкевичу и Шапиро, был заранее гарантирован полный успех.

Слова Брусилова, по общему отзыву, весьма удачного, вызвавшего даже восторг у солдат, мне не пришлось услышать. После речи главнокомандующего потянулись бесконечные, однообразные доклады с мест. Хотя докладчиками выступали почти исключительно комитетчики-оборонцы, они все согласно свидетельствовали о падении духа армии и о нежелании солдат наступать. Получалось впечатление, что сознательная воля армии – за вооруженную защиту «родины и революции», бессознательное же и потому особо страстное желание солдат – за немедленный мир. Это характерное раздвоение определило

собою и все дальнейшее течение съезда.

Представителем солдатской тоски по миру в ее низшем, шкурнически-бунтарском аспекте, дважды выступал на съезде популярный на Югозападном фронте прапорщик Крыленко, будущий Главковерх, а впоследствии Верховный прокурор Советского Союза. Первая же гневная речь Крыленко, призывавшая к немедленному осуществлению всех народных требований в тылу и к смелому разрыву с грабительскими началами старой международной политики ради немедленного мира, имела громадный успех. Не только большевики, но и солдаты-оборонцы слушали сумрачного, низкорослого, уже седеющего прапорщика в солдатской гимнастерке с нескладно прицепленной к низко спущенному ремню непомерно длинной шаш

кой, с напряженным вниманием и безусловным сочувствием.

Прося слова для возражения Крыленко, я не был уверен, что мне удастся завладеть вниманием съезда. К моему удивлению, это оказалось гораздо легче, чем я думал. За исключением большевиков, все делегаты сразу же перестроили свои души и пошли за мною, как за своим человеком. Я кончил свою речь под еще более шумные аплодисменты, чем Крыленко.

После перерыва с официальным ответом лидеру большевиков от имени Всероссийского совета и высших учреждений революционной демократии был выпущен Станкевич – справедливый, светлый человек, с милым, встрепанным лицом умного подростка.

Произнесенная без малейшей демагогии и излишних риторических украшений, сдержанная по тону, но решительная по существу речь Станкевича была кульминационною точкою первого дня съезда. Чуть ли не каждая фраза оратора прерывалась дружными аплодисментами. Когда Станкевич кончил, ему была устроена настоящая овация, в которой участвовало и все офицерство с Брусиловым во главе.

Предложенная Станкевичем оборонческая резолюция собрала, несмотря на «непобедимого» Крыленко, девять десятых голосов.

Не думаю, чтобы эта победа линии Временного правительства была случайностью, объясняющеюся предельной неустойчивостью массовой психологии. Верно как раз обратное. Резолюция Станкевича только потому и собрала почти абсолютное большинство, что психология Съезда еще не была массовой психологией. Будь она таковой, ни мне, ни Станкевичу не дали бы и рта открыть. Там, где толпа борется сама с собою, еще нет массы.

Крыленке принадлежали на съезде Югозападно-го фронта только солдатские ладони, но не голоса:

открыто рукоплеща Крыленко, толпа отдавалась своим мечтам, корыстям и соблазнам, голосуя же против него, она мужественно возвращалась в разум истины и трезвость своей совести.

Главным событием второго дня съезда была речь Керенского.

Только что победоносно окончив свою борьбу против Милюкова и приняв военное министерство, Керенский прибыл на фронт в чувстве, что в его сердце, сердце фактического лидера Временного правительства и товарища председателя Всероссийского совета, как в фокусе сходятся все лучи исторических событий. Радостное и даже восторженное ощущение себя, как избранника судьбы и ставленника народа, в нем бесспорно чувствовалось, но «хвастовства» и «замашек бонапартеныша», в чем его постоянно обвиняли враги как слева, так и справа, в нем не было.

Появился Керенский на трибуне съезда все в том же черном френче полувоенного образца, в котором принимал нашу делегацию в Таврическом дворце. Движения его были как будто еще стремительнее, жесты еще повелительнее и страстный, резкий на верхах голос еще необъятнее. Говорил новоизбранный военный министр с громадным подъемом. В его речи чувствовалась живая, всепримиряющая вера в Россию, в революцию, в справедливый мир и даже в возможность наступления. Главным же образом в нем чувствовалась святая, но и наивная русско-либеральная вера в слово, в возможность все разъяснить, всех убедить и всех примирить.

Успех Керенский имел на фронте потрясающий, причем не только на съезде делегатов, но и в отдельных частях, объезд которых он начал сейчас же по окончании съезда. К нему тянулись не только солдаты, но и многие офицеры.

Как сейчас вижу Керенского, стоящего спиною к

шоферу в своем шестиместном автомобиле. Кругом плотно сгрудившаяся солдатская толпа. Среди нее офицерские фуражки и погоны. Неподалеку от меня, у заднего крыла автомобиля, стоит знакомая фигура дважды раненого пехотного поручика. На его груди георгиевский крест, в руке толстая палка. Приоткрыв рот, он огромными, печальными глазами, полными слез, в упор смотрит на Керенского и не только ждет, но как будто бы требует от него какого-то последнего, всеразрешающего слова.

Керенский, как и на съезде, в ударе: его широко разверстые руки то опускаются к толпе, как бы стремясь зачерпнуть живой воды волнующегося у его ног народного моря, то высоко

подымаются к небу. В раскатах его взволнованного голоса уже слышны столь характерные для него исступленные всплески. Заклиная армию отстоять Россию и революцию, землю и волю, Керенский требует, чтобы и ему дали винтовку, что он сам пойдет впереди, чтобы победить, или умереть.

Я вижу, как однорукий поручик, нервно подергиваясь лицом и телом, прихрамывая стремительно подходит к Керенскому и, сорвав с себя георгиевский крест, нацепляет его на френч военного министра. Керенский жмет руку восторженному офицеру и передает крест своему адъютанту: в благотворительный военный фонд.

Приливная волна жертвенного настроения вздымается все выше: одна за другой тянутся к Керенскому руки, один за другим летят в автомобиль георгиевские кресты, солдатские, офицерские. Бушуют рукоплескания. Восторженно взвиваются ликующие возгласы «за землю и волю», «за Россию и революцию», «за мир всему миру». Где-то подымаются и ширясь надвигаются на автомобиль торжественные звуки марсельезы…

Высоко над фронтом медленно кружит зоркий немецкий летчик. Все клянутся победить, или умереть, на летчика никто не обращает ни малейшего внимания. Русской свободе сейчас не до немцев.

Ревет мотор, раздается мелодический гудок, мощный автомобиль медленно двигается сквозь толпу. Усталый Керенский, опустившись на сидение и не отрывая руки от козырька, раскланивается налево и направо. Через час он будет повторять свою речь. Завтра снова и послезавтра опять. И так без конца, вплоть до 18-го июля, до начала политически-бессмысленного и военно-технически безнадежного Брусиловского наступления, которое похоронит последние возможности спасения армии, как послушного орудия Временного правительства в борьбе на внешнем и, что гораздо важнее, на внутреннем фронтах.

Для меня лично наиболее важным событием съезда Югозападного фронта в 1917-м году было знакомство с Борисом Викторовичем Савинковым, бывшим тогда комиссаром 7-ой армии. С первой минуты он поразил меня своей абсолютной отличностью ото всех окружавших его людей, в том числе и от меня самого. Произнесенная им на съезде небольшая речь была формальна, суха, малоинтересна и, несмотря на громадную популярность главы боевой организации, не произвела большого впечатления. Лишь меня она сразу же приковала к себе: как-то почувствовалось, что ее полунарочная бледность объясняется величайшим презрением Савинкова к слушателям и его

убеждением, что время слов прошло и наступило время быстрых решений и твердых действий. Так отчетливо я своего первого впечатления от Савинкова сформулировать, конечно, не мог бы, но я уверен, что инстинктивно я это почувствовал с первого взгляда.

На трибуну взошел изящный человек среднего роста, одетый в хорошо сшитый серо-зеленый френч

с непринятым в русской армии высоким стояче-отложным воротником. В суховатом, неподвижном лице, скорее западноевропейского, чем типично-русского склада, сумрачно, не светясь, горели небольшие, печальные и жестокие глаза. Левую щеку от носа к углу жадного и горького рта прорезала глубокая складка. Говорил Савинков, в отличие от большинства русских ораторов, почти без жеста, надменно откинув лысеющую голову и крепко стискивая кафедру своими холеными, барскими руками. Голос у Савинкова был невелик и чуть хрипл. Говорил он короткими, энергичными фразами, словно вколачивая гвозди в стену…

Познакомившись с автором, глубоко захватившего меня в свое время «Коня бледного», я решил пока что остаться при нем. Из Каменец-Подольска мы отправились с Борисом Викторовичем на съезд 7-ой армии в Бучач.

Офицеры 7-ой армии встретили назначение Савинкова комиссаром с очень сложными и, понятно, мало дружелюбными чувствами. Подчинение долголетнему сотруднику провокатора Азефа, знаменитому террористу, приберегавшемуся партией для убийства самого государя, казалось, даже и приявшим революцию офицерам, делом несовместимым с воинскою честью. Легкость, с которой прибывшему в армию Савинкову удалось в кратчайший срок преодолеть враждебное к нему отношение, достойна величайшего удивления. Работая вместе с ним, я видел, как он, не отказываясь от революционных лозунгов своей партии и не становясь на сторону офицеров против солдат, не только внешне входил в офицерскую среду, но и усвоялся ею; все в нем: военная подтянутость внешнего облика, отчетливость жеста и походки, немногословная дельность распоряжений, пристрастие к шелковому белью и английскому мылу, главным же образом, прирож

денный и развитой в подпольной работе дар распоряжения людьми, делало его стилистически настолько близким офицерству, что оно быстро теряло ощущение органической неприязни к нему.

Действовал Савинков на фронте отчетливо и решительно, в сознании, что лучше два раза ошибиться, чем хоть раз

обнаружить растерянность. В его канцелярии господствовал образцовый, почти бюрократический порядок, ни следа интеллигентского разгильдяйства: «чай пить – говорил Савинков – хорошо, шампанское еще лучше, но чаю на рабочем столе не место». Громадным подспорьем Савинкову во фронтовой работе была его биологическая храбрость. Не по долгу своей комиссарской службы и не в назидание солдатам не склонял Савинков своей головы ни перед немецкими, ни перед большевистскими пулями, которые часто посвистывали вокруг нас во время произнесения призывных и увещевательных речей, а просто потому, что смертельная опасность не только повышала в нем чувство жизни, но и наполняла его душу особою, жуткою радостью: «смотришь в бездну и кружится голова и хочется броситься в бездну, хотя броситься – наверное погибнуть». Не раз бросался Савинков вниз головой в постоянно ма--нившую его бездну смерти, пока не размозжил своего черепа о каменные плиты, выбросившись из окна московской тюрьмы ГПУ.

Свою природную, метафизическим соблазном смерти еще углубленную, храбрость Савинков, как мне кажется, не только хорошо знал, но и любил в себе. Иногда он своею храбростью даже пользовался, как последним аргументом в политической борьбе.

Вскоре после съезда 7-ой армии Савинков был вызван в какую-то взбунтовавшуюся часть. Я поехал с ним. На месте оказалось, что солдаты требуют немедленного отвода в Киев и организации там специ

альных курсов по вопросу, не является ли продолжение войны вредным для развития революции. До выяснения этого вопроса солдаты, «как сознательные революционеры», отказывались занять окопы.

Требование было настолько нелепо, что бунтовщики быстро поддались нашим увещеваниям. Но вот в последнюю минуту, когда части начали уже склоняться к тому, чтобы, не заходя в Киев, занять окопы, на трибуну быстро вскочил окончательно засум-буренный большевистской и черносотенной пропагандой стрелок с хорошо подвязанным языком и начал нагло допрашивать Савинкова, откуда он вдруг явился и на чьи деньги отсиживался заграницей в то время, как сибирские части отмораживали себе ноги в галицийских снегах и голыми руками рвали колючую австрийскую проволоку.

Савинков рассвирепел и, помнится, впервые открыто заговорил о своей революционной борьбе.

– А где были вы, товарищи, где были все вы, до единого, – гвоздил он в толпу, -? когда я, не щадя жизни с кучкою храбрецов

боролся против ваших притеснителей за вашу землю и за вашу волю? Знаете ли вы, слышали ли вы, что, приговоренный царским судом к смертной казни, я с петлею на шее годами скрывался под чужим именем то заграницей, то в России, чтобы вы обрели ту свободу, к защите которой я вас призываю? Нет, не вам упрекать меня в трусости и беспечной жизни. Я чту вашу борьбу и ваше страдание. Но вы страдаете третий год и по приказу, а я за вас своею волею страдаю и воюю уже целых двадцать лет. Давайте же соединим наши силы и защитим единым натиском Россию и революцию, землю и волю! Товарищи, в последний раз спрашиваю вас – займете ли вы окопы, или отречетесь от свободы и предадите защитников ее?

После удачного окончания митинга Савинков направился в канцелярию разбираться в текущих комитетских делах, а я пошел передохнуть к видневшемуся неподалеку кладбищу. Там, под старым деревом, среди низких могильных холмиков с жиденькими белыми крестами, сидел старый боевой офицер с георгиевским крестом и плакал, как ребенок.

Согласились, к вечеру обязательно займут позицию, – попытался было я утешить капитана.

Но он только рукой махнул:

Неужели вам не стыдно, вместо того, чтобы пулеметами гнать эту сволочь не на позицию, конечно, – много чести – а куда-нибудь в глубокий тыл, хотя бы в Киев, часами уговаривать ее занять окопы? Как только Савинков начал хвастаться своими революционными подвигами, я сбежал, чтобы… – голос ему изменил, и рука невольно потянулась к кобуре револьвера.

При этих словах я почувствовал как бы ожог в груди и острый стыд за наши успехи. Не политическая, конечно, и даже не нравственная правда – взбунтовавшиеся солдаты не были сволочью – но правда горячей любви к гибнущей России была вряд ли на нашей с Савинковым стороне…

Не буду подробно описывать фронтовую деятельность Савинкова; все пережитое нами он сам описал в ряде фельетонов, которые, несмотря на напряженную работу, как-то успевал отсылать в петроградские газеты.

Фактическая сторона савинковских описаний мало интересна. Почти все зарисованные им сцены представляют собою разновидности только что описанного} мною уговора взбунтовавшейся дивизии; но все же на савинковских фельетонах (всего только сорок страниц) стоит остановиться несколько подробнее, так как в разительной несхожести подлинного Савин

кова с набросанным в них автопортретом, раскрывается перед нами одна из немаловажных причин того трагического срыва

«Февраля», в котором Савинков сыграл не последнюю роль.

В описаниях своей комиссарской деятельности Борис Викторович рисует себя убежденным народником, демократом, внуком народовольцев и верным сыном партии социалистов-революционеров. Лозунг «за землю и волю», как «звезда утренняя», все время стоит над его яркими описаниями революционного фронта. Даже и штурмовые батальоны смерти, порожденные офицерской доблестью и фронтовым патриотизмом, превозносятся им, как завершение свободолюбивых традиций революционного 1905-го года. Наряду с революционно-социалистическим народничеством в очерках Савинкова звучит еще и славянофильская вера в народ, «в тот многострадальный и истосковавшийся по правде народ, с которым кровно связан каждый из нас и для которого только и стоит жить».

Впервые читая эти очерки в декабре 1917-го года, я сразу же почувствовал явную стилизованность савинковского автопортрета. Ни демократа в русском смысле этого слова, ни народника, ни, тем более, партийного социалиста я, работая с Борисом Викторовичем, никогда в нем не замечал. Впоследствии же окончательно убедился в том, что ко времени нашей встречи он был скорее фашистом типа Пилсудского, чем русским социалистом-народником.

Ложность савинковского самоанализа подтверждается, как мне кажется, и языком его очерков. Афористической жестикуляцией этого языка, его латинской нарядностью и риторичностью, его эффектным, но одновременно и мертвенным блеском, Савинков явно отрывался от той народнически-революционной среды, с которой он сам себя постоянно связы

вал. Насколько язык Савинкова не типичен для русской литературно-публицистической традиции, настолько же он типичен для самого Савинкова. Душа Бориса Викторовича, одного из самых загадочных людей среди всех, с которыми мне пришлось встретиться, была, как и его воинственный язык, так же лишь извне динамична, но внутренне мертва. Оживал Савинков лишь тогда, когда начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю ответственную вещь и тем не менее не могу не высказать уже давно преследующей меня мысли, что вся террористическая деятельность Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чем-нибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную бездну смерти. «Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только одна смерть». В этих словах Жоржа из «Коня бледного» – весь

Савинков, тот подлинный Савинков, которого нет в отчетах с фронта, оправдывающих смерть верою, что не напрасно льется кровь, что смертью созидается цветущее будущее.

Не думаю, чтобы Савинков верил, что в социалистической России зацветет новая, прекрасная жизнь. Красный цвет революционного знамени был для него не символом социалистического рая, а цветом крови, которым во все времена одинаково красно цвела история человечества. Предпочитать будущее прошлому Савинков не имел ни малейшего основания. Презиравший массы не менее последнего русского «византийца» Константина Леонтьева, он в дни нашего с ним знакомства уже не был глашатаем просвещенной веры в прогресс, за которого по привычке еще продолжал выдавать себя в своей социалистической среде.

Кроме темы смерти, Савинкова глубоко волнова

ла только еще тема художественного творчества. Лишь в разговорах о литературе оживала иной раз его заполненная ставрогинским небытием душа.

Как-то ранним туманным утром ехали мы с ним в автомобиле в какую-то восставшую часть: требовать, уговаривать, угрожать… От вечных уговоров все новых дезертиров было скучно и серо на душе. Вдруг раздались резкие ружейные залпы. Очевидно, засевшие в синевшем неподалеку леске большевики решили втихомолку «снять» Савинкова с работы. Хотя пролетевшие над нашими головами пули не могли не произвести на Бориса Викторовича некоторого впечатления, – его храбрость никогда не была тою невосприимчивостью к опасности, которая свойственна только очень молодым, простым и цельным людям, – он, не сморгнув глазом, повернулся ко мне и с каменной улыбкой продекламировал:

Гильотина – это нож, Ну так что ж.

Я сейчас возьму стакан,- Пусть на смерть меня выводят…

После этого он оживленно заговорил о стихах и о том, что он еще не слышит в себе тех слов, которые могли бы выразить то новое и личное, что он знает о жизни.

Хотя у Савинкова не было большого художественного таланта, все написанное им читается не только с захватывающим интересом, но и с волнением. Думаю потому, что Савинкова тянуло к перу не поверхностное тщеславие и не писательский зуд, а нечто гораздо более существенное: чтобы не разрушить себя своею нигилистическою метафизикою смерти, он должен был стремиться к ее художественному воплощению. Не даруя смерти жизнь, жить смертью нельзя.

Чем дальше я работал на фронте, тем очевиднее становилось

мне, что все наши усилия напрасны, если армия не почувствует, что и для Временного правительства высший смысл революции заключается в замирении. Хотя Савинков, Станкевич, я и другие представители Временного правительства и Исполнительного комитета Всероссийского совета все еще одерживали верх над большевиками, меня одолевало предчувствие, что этому благополучию скоро придет конец, что армия неизбежно перекинется на сторону большевиков, защищающих правду, смысл и возможность немедленного мира.

Для того, чтобы этого не случилось, мне казалось совершенно необходимым, чтобы Временное правительство немедленно взяло под свою защиту идею скорого заключения мира. Прекрасно понимая все политические трудности своего плана, я согласно своей сверхполитической установке в политике, все же не считал его окончательно неисполнимым. Как не верно, думалось мне, что история спокон веков и до наших дней творилась не миротворческим словом, а воинствующим мечом, нельзя не видеть и того, что меч всегда искал себе оправдания в слове и побеждал лишь там, где за ним стояла идея. Какой же идеей – спрашивал я себя – можно защитить в глазах русского народа продолжение войны после провозглашения революционной свободы?

Отказавшись в реформации от веры в святых и праведников, протестантская Германия невольно заменила идеал христианского смирения древне-германским идеалом воинской доблести. На этой почве фридрици-ански-бисмарковская государственность взрастила в немецком народе идеал солдата-героя, жертвенною смертью которого и оправдывается для немцев война, независимо от защищаемых в ней политических идей преследуемых ею хозяйственных целей. На эту тему

религиозно-исповеднического милитаризма Германии, имеющего мало общего с «целеустремленною воинственностью» англичан и французов, можно найти много интересного в книге Макса Шеллера «О главных причинах ненависти западно-европейских народов к Германии». По его мнению, германцы отнюдь не молятся мечу, как на них клевещут, а мечом молятся Богу.

В том, что России перед своею совестью на немецкий лад не оправдать войны, сомневаться, конечно, не приходилось. Исстари чтя святых воинов, Россия никогда не считала воинов, как таковых, за святых.

Еще менее возможным представлялось мне и оправдание дальнейшей войны теми политическими идеологиями, что с пафосом проповедовались нашими союзниками. Уже не говоря о

том, что немцы стояли отнюдь не в хвосте той европейской цивилизации, ради защиты которой западные государства будто бы приняли на себя тяготы войны, идеи этой цивилизации сами по себе ничего не говорили русскому народу, хотя и были дороги сердцу передовой западнической интеллигенции.

Чем глубже я думал над создавшимся положением, тем определеннее приходил к заключению, что перед лицом всенародной совести возможно лишь религиозное оправдание войны, которое ей давали наши святые (Св. Сергий Радонежский) и религиозные мыслители (Вл. Соловьев). Но найти такое оправдание дальнейшему наступлению на немцев и внушить его армии, настойчиво требовавшей прекращения начавшейся в 1914-м году явно безрелигиозной бойни, было совершенно невозможно.

Исходя из этих размышлений, я начал все определеннее склоняться к идее сепаратного мира, которую, не видя в этом внутреннего противоречия, во всех своих речах продолжал со страстью оспаривать, по

скольку она исходила из большевистских кругов. Мне было ясно, что одна и та же мысль может фактически означать весьма разные вещи, в зависимости от того, кем она провозглашается и как проводится в жизнь.

К идее сепаратного мира меня впрочем подводили и другие соображения. В связи с грозившими политическими осложнениями, то есть с возможными попытками захвата власти реакционно-монархическими или анархо-большевистскими кругами, мне казалось весьма важным сохранить в руках Временного правительства, вплоть до созыва Учредительного собрания, преданную ему и дисциплинированную армию. Закрепить же за собою армию, всеми помыслами рвущуюся к миру, не гарантируя ей его близкого заключения, мне, ввиду бешеной агитации большевиков, казалось решительно невозможным.

Конечно, Временное правительство пожертвовав Милюковым и обнародовав свой миролюбивый манифест, сделало очень много в этом направлении, но солдатской массе этого не было видно. На постоянно задаваемый солдатами вопрос: «что же нам до тех пор и воевать, пока немцы с союзниками не сговорятся?» у нас, фронтовых деятелей, не было удовлетворяющего солдат точного ответа. Убедить солдат в серьезном («без подвоха») стремлении Временного правительства к миру, могли только две вещи: отказ от наступления и указание срока прекращения войны.

Под влиянием этих размышлений во мне как-то сам собою сложился следующий план правительственных действий: 1)

объяснение союзникам, что Россия, принципиально отказываясь от наступления, держит фронт еще некоторое время (3-4 месяца), после чего, в случае неоткрытия общих мирных переговоров, обращается непосредственно к центральным державам с предложением сепаратного мира; 2) срочный созыв Учредительного собрания, хотя бы и без достаточной

юридической подготовки (быстрое осуществление революционной правды мне представлялось, ввиду положения на фронте и в стране, гораздо важнее тщательной разработки выборного права, тем более, что солдатски-крестьянская масса жила страхом, как бы ей под крики «земля и воля» не прозевать своей земли); 3) мужественная и быстрая ликвидация большевизма путем ареста, а при каких-либо неожиданных осложнениях применение и более строгих мер.

Вполне достаточным для принятия таких крутых мер основанием мне представлялось то, что стреляя, к тому же из засады по правительственным комиссарам и штурмовым батальонам, большевики сами переводили себя из лагеря политических противников власти, которым гарантировалось свободное высказывание мнения, в лагерь вооруженных врагов, с которыми, в условиях гражданской войны, расправляются по-военному.

Об этом своем плане действий я впервые обстоятельно говорил в Каменец-Подольске с кем то из членов Исполнительного комитета, если не ошибаюсь, с Шапиро, выступавшим на съезде с докладом о власти. Думаю, что содержание нашей беседы стало известным стоявшему близко к Керенскому Станкевичу, благодаря чему я и был вызван последним в Петроград в связи с его назначением на должность начальника Политического отделения в кабинете военного министра. Было это, вероятно, в конце мая, или первых числах июня.

Переговорив со Станкевичем, я не без некоторых колебаний решил принять должность заведующего Культурно-просветительным отделом Политического отделения. К этой должности присоединилась и вторая. Второго июня я был назначен редактором политического отдела «Инвалида», который мне, ввиду не

соответствия этого названия той новой роли, которую почтенный бюрократический орган военного министерства должен был играть в жизни армии, представлялось правильным переименовать в «Армию и флот свободной России».

Впоследствии, в конце июля, в связи с назначением Савинкова управляющим военным министерством и уходом

Станкевича на фронт, я занял его должность руководителя всего Политического отделения.

Для понимания дальнейшего должен подчеркнуть, что Политическое отделение военного кабинета к моменту моего назначения его начальником, было преобразовано в целое управление и одновременно выделено из кабинета военного министра, во главе которого Керенским был поставлен близкий ему генерал Барановский, стремившийся к сосредоточению всех важных дел в своих руках.

Благодаря такому положению дел, как будто бы самостоятельное Политическое управление получало характер не то канцелярии при кабинете Барановского, не то какого-то полуакадемического органа при нем. Все это было мне не по душе и не по темпераменту. Быстро принимать ответственные решения я, как начальник Политического управления, не мог, и эта вынужденная бездейственность при напряженной деятельности все время угнетала меня. Время моего пребывания в Политическом управлении я вспоминаю с тоскою, мукою и стыдом за все сделанные и допущенные мною ошибки. Грешный дух уныния за всю жизнь не владел мною с такою силою, как в месяцы моей призванности к активной политической работе.

Придя впервые в военный кабинет на Мойке, я был поражен полным отсутствием всего необходимого для исполнения какой бы то ни было работы. В первом этаже сухомлиновского особняка, затянутом по стенам зеленым шелком и обставленном остатками мяг

кой, будуарной мебели, царили пустота и беспорядок. Станкевича не было. В самой отдаленной комнате одиноко сидел за пишущей машинкой толстенький военный, небольшого роста с лицом грузинского Наполеона. Это был молодой полковник генерального штаба Багратуни, рекомендованный Станкевичу Офицерским съездом в Петрограде. Между нами сразу же завязался оживленный и интересный разговор о будущей совместной работе. Через несколько времени к нам подошел и любезно представился мне очень высокий и очень худой человек с печальными, вопрошающими глазами и мелкими, нерешительными, трепыхающимися жестами. Вошедший оказался графом Павлом Михайловичем Толстым. Юрист по образованию, проведший всю войну на фронте, главным образом, кажется, в штабах, Толстой был привлечен Станкевичем для разработки и кодификации нового военного законодательства. С самого начала он показался мне человеком медленного ритма, мало пригодным к творческой работе в условиях развертывающейся революции. Если не ошибаюсь, я подписал тщательно переписанный на

машинке увесистый том до мельчайших подробностей разработанного Толстым положения о новых правах и обязанностях солдат совсем незадолго до захвата власти большевиками.

Четвертого сотрудника Станкевича я как-то случайно обнаружил в двух занятых им под свой отдел комнатах. Это был только что вернувшийся с каторги капитан Калинин. Угловатый, жилистый офицер с фанатичным энергичным лицом и со спадающим на лоб интеллигентским чубом жестких черных волос. Какой отдел он был призван возглавлять, я сказать не могу. В Политическом управлении я его не помню. Скорее всего он так же, как и Багратуни, вскоре переменил место и род своей деятельности.

В первые две недели нашей работы под руководством Станкевича мы только то и делали, что ожидали Керенского, который должен был, по мысли Станкевича, являться источником нашей воли и мысли, и добывали столы, стулья, полки, машинки и писарей.

Необходимый для проведения революционных идей в жизнь технический аппарат и инвентарь мы через некоторое время добыли и наладили, но с появлением Керенского дело никак не устраивалось. Станкевич целыми днями ловил его, но Керенский постоянно ускользал от него. Помню, что мы ночи напролет ждали Керенского в отделе, но не помню, чтобы он хоть раз появился у нас. О том, чтобы подробно изложить ему план своей деятельности и получить от него санкцию на проведение необходимых мероприятий, нечего было и думать. Неустанно носясь над хаосом революции, он был вездесущ, а потому и неуловим. Заставить его хоть на минуту «снизиться» не было никаких человеческих сил. Слововодя в Совете министров, в Совете рабочих и солдатских депутатов, на фронте и в тылу, он даже и не пытался руководить Политическим отделом своего военного кабинета. Тратя непростительно много времени на прием всевозможных просителей и непрошенных советчиков, он не удосуживался найти хотя бы двух часов в неделю для личного руководства нами. Для того, чтобы добиться переименования «Инвалида», я должен был устроиться в поезде, с которым Керенский спешно отъезжал в Могилев. Лишь за обедом в его салон-вагоне удалось мне изложить сущность дела и получить его согласие. В пути Керенский был в прекрасном настроении, охотно слушал мои рассказы о нашей с Савинковым работе на фронте, но углубления в проблемы избегал. Замученный правительственным кризисом и всею остальною круглосуточною петроградскою суетою, он чувствовал

право на заслуженный вагонный отдых. Доложить ему мой план действия мне не удалось.

Думаю, что если бы Керенский чаще пользовался своим бесспорным правом на отдых, дело революции от этого только бы выиграло. Я глубоко уверен, что большинство сделанных Керенским ошибок объясняется не тою смесью самоуверенности и безволия, в которой его обвиняют враги, а полною неспособностью к технической организации рабочего дня. Человек, не имеющий в своем распоряжении ни одного тихого, сосредоточенного часа в день, не может управлять государством. Если бы у Керенского была непреодолимая страсть к ужению рыбы, он, может быть, и не проиграл бы России большевикам. Руководство людьми, да еще в революционную эпоху, очень большое искусство, требующее, как всякое искусство, точной и предметной интуиции. Интуиция же, младшая сестра молитвы, любит тишину и одиночество.

Не имея возможности лично руководить Политическим отделом своего кабинета, Керенский должен был бы поручить это руководство кому-нибудь из близких ему военных. Но он и этого не сделал, скорее всего забыл, занятый более важными делами. После ухода Станкевича, который, пробыв на своей должности всего только две недели, ушел комиссарствовать на фронт, не успев ничего наладить, Политический отдел совершенно повис в воздухе. Правда, во втором этаже сухомлиновского особняка мы, главные работники Политического отдела, ежедневно встречались за завтраком с ближайшими сотрудниками Керенского, генералом Барановским и товарищами военного министра генералом Якубовичем и князем Тумановым, но от этих, поначалу малодружественных встреч, не получалось ни малейшей пользы для дела.

Якубович, толстый, грузный человек, похожий на гоголевского Яичницу, и миниатюрно-изящный, груст

ноликий князь Туманов, не имели к нам никакого касательства. Барановский же держал с нами, в качестве начальника военного кабинета, лишь самую поверхностную связь (помню, как назначенный политическим редактором «Инвалида», я представлял ему своих сотрудников), но ни в какой мере и степени не руководил нами.

Предоставленные самим себе и не спаянные друг с другом общей идеей, мы поневоле начали действовать каждый сам по себе. Что делал капитан Калинин, я не знаю. Толстой, с выписанными им помощниками, всецело отдался вопросу юридического обоснования уже проведенных в армии реформ. А я, отложив в сторону всякое попечение о тех больших,

принципиальных планах, которые побудили меня войти в Политическое управление, приступил, как умел, к исполнению своей прямой обязанности по организации культурно-просветительной работы в армии.

В этом малом деле я сразу же натолкнулся на все те трудности, в которых захлебывалось Временное правительство. Одним из главных орудий борьбы за душу армии нашим левым партиям представлялась агитационная брошюра и ее широкое распространение через новообразованные армейские комитеты. Ввиду провозглашенной Временным правительством свободы слова и печати в моем распоряжении не было ни малейшей возможности не допускать к обращению на фронте явно антиправительственной литературы. Влиять на общественное мнение в армии можно было только более или менее сложными окольными путями: личным воздействием на приезжавших с фронта делегатов, даровым снабжением их заранее заготовленною литературою и «пристрастным» распределением правительственных субсидий между отдельными партийными организациями. Вести эту работу приходилось, конечно, весьма осмотрительно, не как правительствен

ную, а как общественную, с привлечением к ней представителей Совета, партий, учительского союза и отдельных видных деятелей педагогического мира.

Чтобы хоть как-нибудь влиять на это многоголосое представительство революции надо было иметь не только свою линию, но и хорошо знать партийную литературу, которую я никогда не изучал и к которой никогда не имел больших симпатий. Для быстрого овладения этим бесконечным материалом мне пришлось создать целый штаб лекторов, так как самому читать было совершенно некогда: я целые дни проводил в приемах фронтовых делегаций, в переговорах с представителями партий, на заседаниях культурно-просветительной комиссии Совета, в борьбе с министерством за расширение своего бюджета и в переговорах с авторами, так как новое положение дела требовало, на мой взгляд, создание новой по духу и стилю агитационно-просветительной литературы.

Одновременно мне, в связи с моим положением и духом эпохи, приходилось очень часто выступать на всевозможных митингах и собраниях.

Исполняя свои прямые обязанности наивозмож-но добросовестно и, думаю, не безуспешно, я все же очень тяготился ими. Направляясь в восемь часов утра какими-то тихими улицами и по набережной Фонтанки к месту своей службы, я никогда не радовался предстоящему дню и даже не думал об ожидающей

меня работе, колесо которой меня механически захватывало лишь в ту минуту, когда я садился за письменный стол. Находясь вне службы, я дни и ночи думал не о культурно-просветительных брошюрах, а исключительно о подготовлявшемся наступлении и его неминуемой неудаче, которая, по моему мнению, должна была обернуться страшным усилением большевиков в тылу и на фронте.

Тревога о возможном срыве наступления мучила, конечно, всех, кто словом, делом и сочувствием участвовал в его подготовке. Но моего убеждения, что оно даже и в случае неожиданного успеха будет на руку большевикам, победа над которыми, как я уже говорил, мне представлялась возможной лишь при заключении немедленного, хотя бы даже и сепаратного мира, не разделялась в близких мне кругах решительно никем. Идея «замирения» казалась правительственным партиям настолько чудовищной, утопичной и преступной, что, постоянно мучаясь ею, я говорил о ней лишь с самыми близкими друзьями; официально же и прежде всего на страницах «Армии и флота свободной России» я твердо защищал оборонческую линию Временного правительства. Это было очень тяжело, но иного выхода, за исключением подачи в отставку, я для себя не видел. Трагедия всякой практической, в особенности же политической деятельности в том ведь и заключается, что в ней возможно лишь присоединение к одному из борющихся станов, но не возможна борьба за правильную идею, не имеющую под ногами никакой реальной почвы.

В начале этой главы я вскользь уже говорил, что последнюю причину всего, что случилось с Россией, надо искать в том, что народное понимание революции, как миротворческой силы, долженствующей положить конец безумию и греху войны, не разделялось ни одним из политических лагерей, кроме большевиков.

Возглавляемые профессором Милюковым умные, образованные и деятельные «кадеты», в руки которых сразу же попало министерство иностранных дел, были слишком определенными западниками-позитивистами, чтобы считаться в своей реальной политике с таким невесомым фактором, как нравственно-религиозное убеждение простого народа. Всенародную мечту о ми

ре они сразу же взяли под подозрение, объявив ее печальным следствием успешного воздействия немецкой провокации и большевистской пропаганды на шкурнические инстинкты солдатской темноты. Стремясь к перевороту, прежде всего ради доведения войны до победоносного конца, партия Народной

свободы была уверена, что и народ, обретя свободу, захочет победы.

На той же кадетской точке зрения стояли и социалисты-оборонцы, среди которых было сильно желание разбить вслед за «кнутогерманской» монархией Романовых и «оплот реакции» в Европе, монархию Го-генцоллернов.

В результате такого отношения к миру наших либералов и социалистов, идеей мира естественно завладели большевики. Теряя в большевистском освещении свою чистоту и совесть, она все же сохраняла в нем не только свою горячность, действенность, но даже приобретала и некую раскрещенную и тем демонизированную религиозность.

Ближе всех других к народной идее революции был, конечно, Керенский. Его ощущение революции, как общенародного дела, его бесспорный нравственный пафос, его лишенный шовинистического острия живой патриотизм, его внутренняя свобода, если не от интернационалистических организаций, то все же от тезисов Интернационала, как будто бы предопределяли его к услышанию народных чаяний и исполнению народной воли. Если он этой воли – и прежде всего воли к миру – все же не исполнил, то объясняется это тем, что он был слишком убежденным либерал-демократом, в русском смысле этого термина, то есть общественным деятелем, до мозга костей проникнутым убеждением, что «общая воля народа» не может быть явлена иначе, как на путях свободного волеизъявления свободно выбранных представителей всех слоев и партий.

Тратя бесконечное количество времени и почти все свои силы на создание той партийно-правительственной комбинации, в которой предносящаяся ему общая воля народа ("volonte generale") по возможности полно сливалась бы с волею его представителей во Всероссийском совете ("volonte de tous"), Керенский с каждым днем все очевиднее отставал от темпа событий и все безвозвратнее терял возможность стать настоящим вождем народной революции. Изредка проявляя отрицательные черты «вождизма», он по существу все же до конца оставался пленником неустойчивого советски-правительственного большинства.

Убеждение, что в случае дальнейшей отсрочки заключения мира Ленин одержит легкую победу над Керенским, сложилось во мне уже на первом Всероссийском съезде советов, где военный министр как будто бы одержал блестящую победу над большевиками.

Начавшийся 3-го июня, Съезд длился очень долго, чуть ли не

около трех недель. Только что вызванный Станкевичем с фронта – я с тоскою и тревогою ходил накануне открытия Съезда по классам и за• лам Кадетского корпуса, присматриваясь и прислушиваясь ко всему происходящему.

Момент созыва Съезда внушал революционной демократии большие опасения. Подготовляя наступление, Керенский ощутимо натягивал вожжи. Только что за несвоевременностью был запрещен Украинский воинский съезд и восстановлена статья 129-я старого уголовного положения, угрожавшая тремя годами тюрьмы за подстрекательство к уголовным преступлениям, неподчинение властям и натравливание одной части населения против другой. В армии за неповиновение начальству, братание и сношение с неприятелем вво

дились еще более тяжелые кары в виде каторжных работ, лишения избирательных прав, лишения прав на землю и т. д.

Весьма раздражало демократию и то, что одновременно со Съездом советов в Петрограде заседали Офицерский и Казачий съезды и нарасхват раскупалась простонародьем «Маленькая газета» талантливых братьев Суворины, которая под флагом независимого социализма твердо держала буржуазный курс и не без успеха шопотом призывала к национальной диктатуре.

Приезд делегатов начался задолго до торжественного открытия Съезда. Огромное здание Кадетского корпуса уже к первому июня было запружено чуть ли не двухтысячною толпою, провинциальная часть которой тут же и ночевала. В синих от табачного дыма гулких коридорах стоял неумолкаемый шум. Вокруг бойких ораторов и делегатов с мест жадно теснились возбужденные слушатели. Чтобы понять, какие где ведутся речи, знакомому с советской средой человеку не нужно было прислушиваться к ним. Наметанному глазу издали было видно какого толку жестикулирующий в конце коридора, или в углу класса, оратор. Левых социалистов-интернационалистов окружали потрепанные серо-черные пиджаки; большевиков – те же пиджаки, но с сильною примесью распоясанных и растег-нутых солдатских гимнастерок. Вокруг правительственных партий, блок которых (как впоследствии выяснилось) составлял 5/6 съезда, широко разливался защитный цвет, на фоне которого виднелось много офицерских, главным образом прапорщичьих кителей и вполне приличных интеллигентских пиджаков.

Особенно сильная давка замечалась, как всегда, у книжных киосков и в тесной, мрачноватой столовой, где шла постоянная борьба за стакан чаю и тарелку щей.

Вдали ото всей этой суматохи и суеты, за закрытыми дверями огромных классов, где еще недавно чинно сидели за партами

стриженные машинкой кадеты в своих туго перетянутых ремнями форменных рубашках, шли непрерывные, фракционные заседания. Правые эсеры делали последние усилия, чтобы справиться с возникшей в партии левой оппозицией Ком-кова. Правые меньшевики вели такую же борьбу со своим теоретически сильным, но практически слепым крайне-интернационалистическим крылом. Благодаря такОхму аналогичному расколу в обеих партиях, традиционное разделение революционной демократии на народников и марксистов, осложнялось тактическим объединением правых народников с марксистским центром и левых марксистов-интернационалистов с левыми эсерами интернационалистами, настроенными на большевистский лад.

Этот сложный переплет фракционных точек зрения запутывала еще и скрытая от непосвященных глаз борьба между евреями-националистами и интернационалистически настроенным еврейством. На почве быстро развившегося меньшинственного сепаратизма и той большой роли, которую евреи играли в Совете рабочих и солдатских депутатов, эта внутриеврейская борьба приобретала очень большое значение в политике русских меньшевиков. Гномообразный, желтолицый Либер с ассирийской бородой настойчиво защищал национально-культурную автономию, а бритый, скептически-брезгливый Суханов считал членов, незадолго до Съезда советов собравшейся в Киеве Украинской рады «за безответственных интеллигентов и патриотов несуществующего украинского народа».

Нетрудно себе представить, что при таком положении вещей, всякий, попадавший в советский аппарат вопрос, бесконечно затягивался решением. Обыкновенно он вообще не разрешался, а лишь перетирал

ся на идеологической терке. За редкими исключениями в результате многодневных прений вызревало не решение, а всего только ничего не разрешающая резолюция.

Полагаю, что большинство советских лидеров прекрасно понимало ненормальность создавшейся практики, но отойти от навыков своей работы не могло; просто не знало, что же вообще можно делать в жизни, если не заседать, не обсуждать докладов, не выносить резолюций и, главное, не бороться с правительством. Все несчастье заключалось в том, что годами налаженный, освященный традицией и «кровью героев» партийный аппарат и в новой обстановке продолжал работать по-старому.

Остановить эту бесплодную работу революционная демократия не могла, не рискуя остаться не у дел. Не мог остановить ее, то есть попросту разогнать Совет, как требовали

правые круги и Керенский, так как в мешавшем ему управлять страною многофракционном демократическом аппарате было объединено большое количество преданных ему политических сил, без поддержки которых ему было бы очень трудно вести борьбу против правых элементов. Правда, в победе правых ничего угрожающего не было: революция смела столь многое, что о возврате к старому не могло быть и речи. Страшно было лишь то, что роспуск Совета усилит позицию большевиков, которые, в отличие от правых, с самого начала имели все шансы на победу.

Искренне защищая на этом основании Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов, как необходимый при создавшихся условиях базис власти, я приходил в полное отчаяние при виде того, что творилось на его заседаниях: бесконечно многословные доклады и бесконечные прения по ним, ни малейшего чувства эпохи и темпа событий, болезненный интерес

к тончайшим оттенкам отвлеченных точек зрения и полное отсутствие серьезной озабоченности фактическим состоянием России. Во время немногих деловых докладов – полупустующий зал и зевки на всех скамьях. Общее впечатление то, что для «товарищей» Россия труп, на котором они со страстью изучают анатомию революции.

Занятый организацией своего культурно-просветительного отдела, я не очень часто заглядывал в кадетский корпус и ничего, кроме общего удручающего впечатления, не выносил.

Ярким пятном стоит в памяти лишь появление Ленина. Таинственно скрывавшийся в недрах своей партии вождь, впервые выступил на Съезде после докладов Либера и Церетелли по вопросу о власти, то есть по вопросу об отношении к Временному правительству. В длившихся целых пять дней прениях Ленин говорил одним из последних. Хорошо помню, что время ораторов было уже ограничено 15-ю минутами.

Из 777-и делегатов с установленной партийностью, большевиков было всего только 105 человек. Говорить среди врагов много труднее, чем среди единомышленников. Впрочем, Ленину было на что опереться и во враждебной ему аудитории. Как ни как он был знаменитостью и возбуждал к себе величайший интерес.

Первое впечатление от Ленина было впечатление неладно скроенного, но крепко сшитого человека. Небрежно одетый, приземистый, квадратный, он, говоря, то наступал на аудиторию, близко подходя к краю эстрады, то пятился вглубь. При этом он часто, как семафор, вскидывал вверх прямую, несгибающуюся в локте правую руку.

В его хмуром, мелко умятом под двухэтажным лбом руссейшем, с монгольским оттенком лице, тускло освещенном небольшими, глубоко сидящими глазами, не было никакого очарования; было в нем даже

что-то отталкивающее. Особенно неприятен был жестокий, под небольшими подстриженными усами брезгливо-презрительный рот.

Говорил Ленин не музыкально, отрывисто, словно топором обтесывая мысль. Преподносил он свою серьезную марксистскую ученость в лубочно-упрощенном стиле. В этом снижении теоретической идеи надо, думается, искать главную причину его неизменного успеха у масс. Не владея даром образной речи, Ленин говорил все же очень пластично, не теряя своеобразной убедительности даже при провозглашении явных нелепостей. Избегая всякой картинности слова, он лишь четко врезал в сознание слушателей схематический чертеж своего понимания событий. Был в его распоряжении и юмор, не тонкий, но злой. Самое же главное, что связывало Ленина с рабочей аудиторией, была непосредственно ощущаемая в нем привязанность – не любовь – к рабочему классу. Не даром он заграницей, как рассказывает Крупская, охотно обедал в рабочих харчевнях не ради дешевизны, а потому что в них, по его мнению, готовили вкуснее, чем в дорогих ресторанах.

Содержание ленинской речи произвело на всех присутствующих, не исключая и некоторых большевиков, впечатление какой-то грандиозной нелепицы. Тем не менее, его выступление всех напрягло и захватило.

Прежде всего Ленин заявил, что, вопреки мнению господина министра почт и телеграфов гражданина Церетелли, будто бы в России нет партии, готовой принять всю власть целиком, такая партия в России имеется. Большевики не только в принципе готовы принять всю власть, но готовы сделать это завтра же.

Переходя к вопросу внутренней политики, Ленин удивил всех предложением немедленно же арестовать несколько сот капиталистов, дабы сразу прекратить

их злостную политическую игру и объявить всем народам мира, что партия большевиков считает всех капиталистов разбойниками.

По вопросу о внешней политике, прославленный вождь отделался заявлением, что после принятия власти его партия немедленно выступит с предложением всеобщего мира. Нового в этом ничего не было, так как предложения о заключении мира уже не раз делались, как Временным правительством, так и Советом. О сепаратном мире не было сказано ни слова.

Ленину с большим ораторским подъемом и искренним нравственным негодованием возражал сам Керенский. С легкостью разбив детски-примитивные положения Ленина, он все же не уничтожил громадного впечатления от речи своего противника, смысл которой заключался не в программе построения новой жизни, а в пафосе разрушения старой.

Многочисленные враги Ленина чаще всего рисуют его начетчиком марксизма, схоластом, талмудистом, не замечая того, что, кроме марксистской схоластики, в Ленине было и много Бакунинской мистики разрушения. Быть может, Ленин был на Съезде единственным человеком, не боявшимся никаких последствий революции и ничего не требовавшим от нее, кроме дальнейшего углубления. Этою открытостью души навстречу всем вихрям революции, Ленин до конца сливался с самыми темными, разрушительными инстинктами народных масс. Не буди Ленин самой ухваткой своих выступлений того разбойничьего присвиста, которым часто обрывается скорбная народная песнь, его марксистская идеология никогда не полонила бы русской души с такою силою, как оно, что греха таить, все же случилось.

После обсуждения вопроса об отношении к власти перешли к обсуждению вопроса о войне. Многочасовой доклад скучно читал хриплый Дан-Гуревич.

Снова в многодневных прениях выступали все ораторы от Керенского до Ленина. Благодаря тесной связанности обоих вопросов, во всех речах повторялись все те же мысли и даже те же обороты речи, что и в предыдущих прениях. Казалось, что перед тобою вертится какая-то словесная карусель. Было и безнадежно скучно и предельно страшно: как раз в эти дни на Югозападном фронте шли последние подготовления к наступлению, а по Петрограду расползались слухи о готовящемся выступлении большевиков в целях свержения Временного правительства.

Несмотря на то, что громадное большинство Съезда явно стояло на стороне Временного правительства, оппозиционные течения все же вели страстную борьбу против лидера правительственного большинства, Ираклия Церетелли (нельзя же не использовать всероссийской народной трибуны).

Группа Мартова непонятным образом защищала идею всеобщего перемирия, не вдаваясь в обсуждение вопроса о мире.

Сухановцы хитроумно, но беспредметно ратовали за немедленный разрыв с союзниками и «за сепаратную войну революционной России с империалистической Германией» в случае, если бы последняя и после разрыва Петрограда с Парижем и Лондоном, не отказалась бы от своих «грабительских» целей.

Большевики же шли еще дальше, проповедуя священную войну русской революции против всех европейских империализмов за освобождение всех попранных народностей Азии и Африки.

По сравнению с этими беспредметными программами, правительственный план: восстановление боеспособности революционной армии и оказание дальнейшего давления на европейскую демократию, а через нее и на союзнические правительства, в целях пре

кращения войны, казался верхом политической разумности. Керенский в эту разумность верил.

В июне 1917-го года мало кому было ясно, насколько легге революции входят в логику своего безумия, гем в разум своей истины.

В день наступления 18?го июня работа в Политическом отделе ни у кого не клеилась. Все в страшном волнении ждали первых вестей с фронта. Перед зданием военного министерства на Мойке с утра начала собираться большая и много лучше, чем в те дни было привычно, одетая толпа. На ярком солнце веселого июньского утра живописно пестрели дамские шляпы, светлые зонтики и офицерские погоны. В толпе чувствовались праздничное волнение и патриотический подъем. Около полудня к собравшимся вышел товарищ военного министра, генерал Якубович и прочел телеграмму из Ставки, в которой сообщалось, что «ударники» увлекли за собою полки доблестной 7-мой армии, одержавшей блестящую победу над немцами.

В толпе поднялось непередаваемое ликование, раздалось, давно неслышанное на петроградских улицах дореволюционное «ура», где-то неподалеку бодро и звонко грянул военный оркестр. Стоявший у подъезда извозчик и несколько простолюдинов обнажили головы и перекрестились.

За завтраком в Политическом управлении царило всеобщее оживление. Если и не все верили в дальнейший успех нашего оружия, то все делали вид, что верят.

После окончания занятий в Политическом отделении, я долго бродил по улицам. Все они были запружены тою же взволнованною буржуазною толпою, которую социалистические

газеты презрительно имено

вали «публикой». Часто попадались на глаза еще за несколько дней перед тем немыслимые на улицах столицы плакаты в честь Керенского и Временного правительства.

Вечером всюду шли патриотические митинги. Даже Петроградский совет, несравненно более распропагандированный большевиками, чем Всероссийский, вотировал резолюцию с выражением горячего призета товарищам фронтовикам.

Согласно своему решению всемерно поддерживать Временное правительство, несмотря на свое расхождение с ним по вопросу о войне, я и сам выступал в тот день на каком-то митинге. Говорил я, как и все, уверенно и горячо, хотя сердце холодело от страха, что успешно начатое наступление очень скоро обернется неслыханным поражением.

Так оно и случилось. 9-го июля Временным правительством была получена сводная телеграмма председателя Исполнительного комитета Югозападного фронта Дашинского и председателя Исполнительного комитета И-й армии Киреенко, превзошедшая своим содержанием самые мрачные предчувствия.

«Начавшееся 6-го июля немецкое наступление на фронте Н-й армии разрастается в неизмеримое бедствие, угрожающее, быть может, гибелью революционной России. В настроении частей, двинутых недавно вперед героическими усилиями сознательного меньшинства, определился резкий и гибельный перелом. Наступательный порыв быстро исчерпался. Большинство частей находится в состоянии все возрастающего разложения. О власти и повиновении нет уже и речи. Уговоры и убеждения потеряли силу, на них отвечают угрозами, а иногда и стрельбой. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не дожидаясь подхода противника. Были случаи, что отданные приказания спешно выступить в поддержку, об

суждались часами на митингах, почему поддержка опаздывала на сутки. При первых выстрелах неприятеля части нередко бросают позиции. На протяжении сотен верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых, потерявших всякий стыд, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так отходят целые части. Члены армейского и фронтового комитетов и комиссары единодушно признают, что положение требует самых крайних мер и усилий, ибо нельзя останавливаться ни перед чем, чтобы спасти революцию от гибели».

Почти тождественные по содержанию телеграммы были двумя днями позднее присланы Временному правительству, Центральному исполнительному комитету и Верховному

главнокомандующему комиссарами 7-й и 8?й армий Савинковым и Филоненко. Обе телеграммы кончались требованием немедленного введения смертной казни.

Дни разгрома русской армии сравнительно небольшими немецкими силами были и на внутреннем фронте очень трудными и сложными днями.

Власть снова переживала острый кризис. После того, как даже и те социалистические партии, которые имели своих представителей во Временном правительстве, вышли на демонстрацию в память жертв революции без лозунга поддержки коалиционного министерства, отношения между кадетским и социалистическим флангами власти стали не только натянутыми, но и угрожающими. Кадеты, не без основания, чувствовали, что меньшевистско-асеровское большинство Совета как бы стыдится перед рабочими массами своей тесной связи с представителями либеральной буржуазии и, не желая играть роль бессильных заложников во вражьем стане, подготовляет отзыв своих представителей из правительства.

Большевики, их поддужные меньшевики-интерна

ционалисты и левые эсеры все время раздували этот конфликт. Их пресса изо дня в день издевалась над министрами-социалистами, этими «лакеями буржуазии» и требовала передачи всей власти Советам, очищенным от «лакейского» духа, то есть в сущности большевистскому меньшинству.

После того как на фоне таких натянутых отношений между кадетами и социалистами, один за другим разыгрались два серьезных конфликта: первый по поводу срока созыва Учредительного Собрания, а второй, гораздо более острый, по поводу заключенного Керенским, Церетелли и Терещенко договора с Украинской радой, министры-кадеты подали в отставку.

На следующий же день под вечер на улицы Петрограда вышли вооруженные толпы солдат и рабочих.

В течение трех дней повстанческая волна несколько раз то подымалась до предельной ярости, то растерянно спадала, как бы не зная, что ей с собой делать. Всюду шли митинги; ораторы-большевики и анархисты безудержно громили Временное правительство и советское большинство; от казармы к казарме перебегали какие-то темные подстрекатели, уговаривавшие солдат примкнуть к вооруженному выступлению заводов; но за всем этим не чувствовалось ни центральной руководящей воли, ни заранее выработанного плана. Как-то вслепую носились по городу вооруженные пулеметами грузовики, как-то сами собою стреляли ружья. На перекрестках, как сообщает Милюков,

газетчики без разбору раздавали вооруженным людям патроны. Помню, как по пути в Таврический, я встретил пьяную компанию во все горло оравшую: «Товарищи, айда бить жидов». В разъяренное красное море с разных сторон вливались черносотенные струи. По городу шел откровенный грабеж.

Правительственной руки в июльские дни в Петрограде не чувствовалось. Керенский был на фронте,

по

министры-кадеты в отставке. Министры-социалисты если и действовали, то не как министры, а лишь как руководители советского большинства. О Мариинском дворце и о князе Львове, как о главе Временного правительства, все забыли – он был в нетях.

Борьба шла между Таврическим дворцом и дворцом Кшессинской, где орудовал Ленин, который сознательно не руководил движением, а лишь разжигал и раздувал его, как бы примериваясь к предстоящему захвату власти. В Таврическом гасили пожар бумажными резолюциями, которые быстро сгорали в огне восстания.

Внезапно по Петрограду пронесся кем-то пущенный слух, что на Варшавский вокзал приезжал вооруженный автомобиль с целью арестовать Керенского. Попытка ареста военного министра была, кажется, единственным определенным жестом восстания. Все остальное было скорее какою-то бунтарскою маятою, чем революционным действием.

Поздно вечером к Таврическому дворцу стали собираться усталые от демонстраций и перестрелок с казаками рабоче-солдатские толпы. Не зная, что делать, они то требовали ареста Центрального исполнительного комитета, то выслушивали членов этого комитета, убеждавших их разойтись по казармам и домам. Одновременно с увещевательными речами представителей советского большинства в залах дворца, на дворе шли бурные большевистские митинги, требовавшие немедленной передачи всей власти Советам. Особенно шумный успех имел Троцкий, умный, горячий и смелый оратор, с криво-сидящим на нервных ноздрях пен-снэ и демонически-петушиной шевелюрой. По толпе ходили разные слухи. Успокоительно подействовало вдруг пронесшееся известие, что Временное правительство уже арестовано. Коли арестовано, значит все в порядке, можно и расходиться.

Уже после полуночи открылось заседание Центрального исполнительного комитета. Снова лились бесконечные речи о преобразовании правительства и об усилении борьбы против большевиков. К утру постановили направиться в казармы и

фабрики и открыть митинги в целях предотвращения кровопролития.

Уговоры не помогли. Как будто бы притихшее к вечеру 3?го числа восстание на следующий день вспыхнуло с новою силою. Объясняется это, думается, двуличною политикою большевиков. Отменив ночью призыв к продолжению «мирных демонстраций», они не то забыли отменить вызов в Петроград распропагандированных ими кронштадских матросов, не то не осмелились это сделать. Как бы то ни было, на следующее утро в Петроград прибыло несколько тысяч матросов под командою своих любимцев Рошаля и Раскольникова. Высадившись, они с оружием и оркестрами направились к балкону дворца Кшессинской. Вышедший к ним Ленин, как и накануне, громил Временное правительство и соглашательскую политику советского большинства, призывал к верности большевикам, к которым должна перейти вся власть, но снова не давал своей гвардии никаких определенных директив. В том же духе выступал и вертевшийся при Ленине Луначарский.

От дворца Кшессинской кронштадцы двинулись к Таврическому дворцу. По дороге к ним присоединились рабочие, а затем и озлобленные, разнузданные солдатские массы.

В полдень по всему городу шла случайная, беспорядочная перестрелка между повстанцами и верными правительству отрядами юнкеров, казаков и каких-то воинских частей. В серьезный бой перестрелка однако не переходила: и повстанцы и их против

ники как-то избегали друг друга. Мешал ожесточению боя и проливной дождь.

Для меня нет сомнения, что шатавшимся по Петрограду массам, как фронты борьбы, так и облики противников были совершенно неясны. Для доказательства этого достаточно привести два общеизвестных факта, особенно подробно рассказанных П. И. Милюковым в «Истории второй русской революции». Во-первых: случай с «селянским» министром Черновым, которого пришедшие к Таврическому дворцу с требованием объяснения причин ареста матроса Железняка, кронштадтцы мимоходом чуть не убили за то, что он не решился немедленно же принять полноту власти и передать землю крестьянам. Эта трагикомическая история могла бы кончиться для Чернова весьма печально, если бы подоспевший Троцкий не объяснил своим единомышленникам, «красе и гордости русской революции», что они зря предлагали Чернову власть, так как он министр Временного правительства и представитель соглашательского большинства Совета.

Еще характернее случай с каким-то запасным полком из Красного Села, вызванным большевиками на защиту революции. Не встреченный никем из большевистских вождей, полк выслал в Таврический дворец делегацию для получения инструкций. К делегации вышел хитроумный хрипун Дан, тогда еще верный сподвижник Церетелли. Не растерявшись, он сначала приветствовал делегацию, а затем, подтвердив, что революция действительно в опасности, попросил командира полка принять все необходимые меры для защиты Совета и его Центрально-исполнительного комитета от контрреволюционных банд. Так полк, вызванный большевиками для низложения соглашательского Исполнительного комитета, послушно встал на его защиту.

Это ли не доказательство, до чего слабо разбирались во всем происходящем даже и сознательно преданные большевикам части.

Несмотря на то, что Временное правительство действовало весьма неэнергично, восстание кончилось полным поражением. Перелом настроения наступил в связи с молниеносно распространившимися слухами о том, что Временное правительство перехватило какие-то документы, неоспоримо доказывающие, что Ленин получает деньги от немецкого Генерального штаба. Говорили, что Временному правительству стало даже известно, через кого идут деньги и в каком количестве. Эти детали произвели впечатление. Я прекрасно помню, как всюду поднялся злой шопот и угрожающие большевикам речи. Дворники, лавочники, извозчики, парикмахеры, вся мещанская толща Петрограда только и ждала того, чтобы начать бить «товарищей, жидов и изменников»». В иной тональности, но не менее страстно волновались круги патриотически настроенной буржуазии и либеральной интеллигенции: наконец-то можно будет с фактами в руках доказать другим то, в чем для в сущности зрячих людей не могло быть ни малейшего сомнения.

Важнее всего этого было, однако, то впечатление, которое попавшие в руки Временного правительства документы произвели на делегатов воинских частей, соблюдавших нейтралитет в борьбе между повстанцами и Временным правительством. Ознакомившиеся с материалами Переверзева, преображенцы сразу же заявили, что они немедленно выйдут на подавление мятежа, что они и исполнили. Их примеру последовали и другие части.

Прибывшим на следующий день, то есть 5-го июля, с фронта правительственным войскам было уже не трудно окончательно и

почти бескровно подавить восстание.

Вернувшийся с фронта Керенский мог с гордостью заявить из открытого окна Штаба округа собравшейся толпе, что русская революционная демократия не допустит никаких посягательств, откуда бы они не исходили, на ее священные завоевания: «Да здравствует земля и воля, да здравствует Учредительное Собрание».

Вопрос об отношении большевиков к немецкому Генеральному штабу весьма сложен, но разбираться в его деталях у меня нет ни малейшего основания. Мне важно лишь подчеркнуть, что, никогда не сомневаясь в том, что большевики получали крупные субсидии от немцев, я все же никогда не считал их «продажными агентами немецкого правительства», как их именовала правая и либеральная пресса. Мне они всегда представлялись столь же честными и идейно стойкими, сколь и предельно аморальными революционерами, которые и на немецкие деньги продолжали делать свое собственное дело.

К ненавистному мне аморально-фанатическому облику Ленина-революционера сообщенный прапорщиком Ермоленко факт получения большевиками немецких денег через Стокгольм, решительно ничего не прибавлял, а потому и не вызывал во мне особого возмущения. Для меня он был важен лишь тем, что давал Временному правительству возможность принять против большевиков те меры, дальнейшее откладывание которых было действительно смерти подобно. С этой точки зрения я безоговорочно приветствовал намерение Переверзева опубликовать документы и отдать приказ об аресте большевистских главарей. В этом смысле я и выступал на большом митинге в цирке Чи-незелли.

Я подробно остановился на июльских днях, потому что сказавшимся в них соотношением симпатий и распределением сил определилось все дальнейшее

развитие революции: неудачное восстание Верховного главнокомандующего генерала Корнилова в конце августа и захват власти большевиками в октябре.

Большевикам июльские дни показали, что у них уже в ближайшее время может оказаться достаточно сил для захвата власти. Не победив в открытой борьбе, они все же многого достигли на внутренне-политическом фронте. Очень важным результатом июльских дней было то, что кадеты окончательно разошлись с Керенским и поддерживавшим его советским большинством. Если они, несмотря на это расхождение, все же вошли в новое, образованное 15?го июля и возглавляемое уже не князем Львовым, а Керенским коалиционное министерство, то,

конечно, не затем, чтобы поддерживать окончательно скомпромитировавшую себя в их глазах коалицию, а лишь в рассчете на новый кризис власти, в результате которого им скорее всего мечталась военно-буржуазная диктатура.

На старых позициях оставался в сущности один только Керенский. Чувствуя, что дорогая его сердцу единая, свободолюбивая, всенародная революция с каждым днем все безнадежнее распадается на две партийные, крайне-фланговые контрреволюции, он продолжал настаивать на том, что единственным выходом из трагического положения все еще остается сплочение всех живых сил страны в сильном, коалиционно-надпартийном правительстве, поддерживаемом государственно-мыслящими элементами организованных во Всероссийском совете демократических масс.

Керенский проиграл революцию. И тем не менее я продолжаю, как и двадцать с лишком лет тому назад, настаивать на том, что линия Керенского была единственно правильной. Общая воля России была скорее с Керенским, чем с большевиками, или с правыми. Ненародность большевистской власти должно считать окончательно доказанной тем, что в России до

сих пор царят шпионаж и террор. Беспочвенность военно-буржуазной диктатуры была явно обнаружена тою легкостью, с которой «малоэнергичным и безвольным» Керенским было в три дня раздавлено кор-ниловское восстание, а также и неудачею Белого движения.

Вина Керенского, и очень большая вина, не в том, что он вел Россию по неправильному пути, а в том, что он недостаточно энергично вел ее по правильному. И дело тут не только в некоторых личных свойствах Керенского, а в его принципиальном, уже отмеченном мною убеждении, что «общая воля» народа должна согласоваться даже и в революционные времена с волею его правомочно избранных представителей. Осиль Керенский, оставаясь по духу и программе русским либерал-демократом, то есть свободолюбивым народником-социалистом, решительный отказ от тактики парламентарно-либералистического пристругивания друг к другу непримиримых партийных интересов и точек зрения, и мужественно порви он с «революционной демократией», которая, боясь разрыва с массами, уже начинала предавать своего правеющего вождя, то, может быть, всенародная, национальная и социальная революция и была бы спасена.

В том, что Керенский не пошел таким путем, виноват, конечно, не он один, но и те, которые, поставив себе правильною

задачей помочь ему вступить на этот путь, на самом деле затрудняли его продвижение по нем.

За роковые ошибки «главнокомандующего» Керенского вместе с ним отвечают перед историей заменивший Брусилова на посту Верховного главнокомандующего генерал Корнилов, назначенный 25-го июля управляющим военным министерством Савинков и Верховный комиссар при Ставке М. М. Фелоненко. Виноваты, конечно, еще многие, в том числе и я. Как

начальник Политического управления, я никакой заметной роли играть в событиях не мог, но в личном порядке я мог бы сделать гораздо больше того, что сделал, если бы не снедавшие меня в то время уныние и безволие.

Перед тем, как перейти к делу Корнилова, я должен хотя бы вкратце рассказать о своей работе в Политическом управлении, длившейся около трех с половиною месяцев.

Больше всего меня интересовала ее неофициальная сторона: постоянное общение с Савинковым и обсуждение мер, необходимых для создания сильной революционной власти, что в нашем понимании означало освобождение Керенского от советского пленения и внутреннее сращение его колеблющейся воли с непоколебимою волею нового главнокомандующего.

Об этой главной, неофициальной, стороне моей деятельности мне придется подробнее говорить ниже.

Официальная сторона моей службы состояла в разработке и защите перед Советом военно-преобразовательной программы Савинкова, в центре которой стояло восстановление смертной казни на фронте. Сам Савинков в Совет не ездил, желая этим подчеркнуть свое презрение к «говорильне». С первого дня своего появления в министерстве, он взял тон жестоковый-ного человека дела, презирающего ненужные словоизвержения. По существу он был прав, но он, безусловно, перегибал палку. Так, например, он требовал от меня, чтобы я допускал к нему на прием из 20-ти человек только двоих, а остальным категорически отказывал. Проводить эту меру в условиях революционной действительности было очень трудно, так как невозможность проникнуть к министру даже и разумными людьми считалась первым признаком реакционности.

К уже описанным мною выше отделам: культурно

просветительному и юридическому присоединились еще два: отдел пропаганды и агитации и отдел личного состава; на обязанности последнего лежало выдвижение преданных Временному правительству офицеров и упорядочение института военных комиссаров. Кроме перечисленных отделов, при управлении находилось Бюро печати, в котором меня, в надежде

выудить какую-нибудь сенсацию, постоянно осаждали пронырливые журналисты, и, наконец, прямой провод со Ставкой, так называемый Юз.

В качестве личного адъютанта и штабс-офицера для поручений я привлек в Управление старого приятеля по бригаде, которому и поручил заведывание сейфом секретных шифров. В мою бурную и тем не менее скучную революционную жизнь он вносил поэтический отзвук галицийских походов.

Работа меня не радовала. Я постоянно мучился невозможностью справиться со стоящими передо мною задачами. Не справлялся я, как я теперь понимаю, не только потому, что был недостаточно подготовлен для занимаемой мною должности, но и по ряду других причин, из которых главная заключалась в отсутствии всякой связи деловой работы Управления с политикой министерства и в постоянном торможении этой работы советскими учреждениями, через которые неизбежно проходили все принимаемые Управлением решения. Ввиду этой несогласованности представители революционной демократии постоянно толклись на Мойке, а я значительную часть своего времени проводил в Таврическом дворце. Настроение в Центрально-исполнительном комитете часто менялось, еще чаще менялись члены всевозможных военных, агитационных и культурно-просветительных комиссий. Новые люди, естественно, тормозили уже налаженную работу, в результате чего она постоянно отставала от запросов жизни. Запросам же этим не было конца и края. Я с утра при

нимал делегации с фронта, комиссаров и представителей армейских комитетов, а также настойчивых солдатских ходоков и всевозможных прожектеров.

В центре всех трудностей стояла необходимость примирения тех трех сил, на которых военное министерство строило новую революционную власть в армии: командного состава, комиссаров и председателей армейских комитетов. Работа этого примирения таила в себе большие трудности.

Союз офицеров и союз Георгиевских кавалеров тянули вспять, были против комиссаров и комитетов. Среди комитетчиков были люди весьма разных политических направлений, начиная от кадетов и кончая полубольшевиками.

К классовой борьбе и профессиональной отчужденности присоединялась раздуваемая меньшинствен-ными националистами племенная ненависть. Особенно бурно волновалась Украина, так что у нас в Политическом управлении не переводились «упрямые хохлы», требовавшие создания особой украинской армии. Одно время мне не давал проходу какой-то

лихой, речистый штабс-капитан, требовавший создания особой гвардии для защиты Временного правительства. Со временем его сменила госпожа Бочкарева, создательница женских батальонов, впоследствии героически защищавших вместе с юнкерами Зимний дворец против большевиков.

Кроме россиян, к нам в Управление ходило много иностранцев: секретари союзнических посольств, члены союзнических социалистических делегаций и социалисты враждебных стран, среди которых особенно хорошо помню венского социал-демократа Отто Бау-ера, возвращавшегося из русского плена к себе на родину. У него были какие-то затруднения с выездом, которые мне удалось уладить.

Много и напряженно работая в Управлении, я как

то не заметил, как оно безо всякого с моей стороны усилия превратилось в весьма солидное государственное учреждение.

Штаты служащих были увеличены, начальники отделов получили в свое распоряжение хорошо обставленные кабинеты. В канцеляриях отделов на заваленных бумагами столах деловито стучали машинки. В передней дежурили курьеры. У подъезда постоянно стоял мой автомобиль.

Как и кем все это было налажено, я сказать не могу, знаю только, что с момента моего назначения чья-то заботливая рука начала усердно устраивать не только мою служебную, но даже и мою частную жизнь. Не успел я сесть за свой письменный стол, как мне был кем-то прислан изумительный секретарь, помощник присяжного поверенного, Николай Николаевич Бирюков, идеально точный, быстрый, любезный человек, который всё всегда помнил и всё всегда знал.

Затем из нашего Хозяйственного отдела ко мне явился похожий на артиста красноштанный гусар-вольноопределяющийся и в два счета доказал мне необходимость нашего с женою переселения «в аппартамен-ты» близ лежащей гостиницы «Астория». Зная о моей дружбе с Балашевским, он предложил поселить и его рядом со мною и тут же заодно попросил разрешения и самому переехать в гостиницу. Я поблагодарил благодетеля и подписал какую-то бумагу, с которою он так же быстро исчез, как и появился.

Через неделю мы переехали из скорбной квартиры растерзанного матросами морского офицера в комфортабельный номер реквизированной военным министерством немецкой гостиницы, состоявший из салона, спальни и прекрасной ванной комнаты. Несмотря на начинавшиеся затруднения с продовольствием, нас кормили в Астории еще очень прилично. Иной раз приходилось, конечно, есть котлеты из конины, но они

при

готовлялись настолько хорошо и сервировались столь приглядно, что при некоторой фантазии их можно было принять за говяжьи. Такой игре фантазии способствовали устланный красными коврами зал, обилие прислуги и хорошо одетая, главным образом, военная публика.

Так, безо всяких с нашей стороны усилий, начали мы врастать в весьма непохожий на революционную стихию революционно-бюрократический быт и не без приятности ощущать преимущество моего нового по- 6 ложения. К таковым преимуществам принадлежали и ˆ даровые билеты в театры, которые я часто находил у себя на столе. Исключительно любезен был в этом от- О ношении Народный дом, которым заправлял Максаков – и в котором часто выступал Шаляпин. Одновременно ˆ за мною стали ухаживать газеты и издательства. То, что меня навестил Георгий Чулков, прося об участии Ц в «Народоправстве», было только естественно: хотя 3 мы тогда еще не были лично знакомы, мы были все же 5: друг для друга своими людьми. Характернее было то, •« что одна весьма распространенная коммерческая газе- Ц та убедительно просила меня стать ее постоянным со- ц* трудником, сообщая при этом, что высота гонорара не ˆ играет никакой роли. Показательнее же всего было $ то, что однажды приехал приглашать меня на обед Об неизвестный мне издатель Романов. После роскошного обеда в обставленной старинной мебелью и украшен- 3! ной ценным фарфором столовой, Романов предложил 2 мне издать полное собрание моих сочинений. Это было явно преждевременно, так как тогда мною было напечатано всего только около десятка философских и литературных статей и ряд писем с фронта.

О том, что меня стали все чаще и чаще приглашать на всевозможные митинги, говорить не приходится – это было в духе эпохи. Выдерживая стиль скупого на слова Савинкова, я стал иногда отказываться.

Но все эти внешние успехи нас с Наташей мало радовали. Как раз в те петербургские дни мы острее, чем когда бы то ни было, чувствовали призрачность нашей жизни и потому скорее тяготились, чем соблазнялись ее приятными сторонами.

Странно, что за все время моей службы в Политическом управлении я ни разу не вспомнил, что рядом со мною живут: Блок, с которым мне всегда хотелось ближе познакомиться, Ремизов со своими ужимками и зверюшками, Мережковские, которых я знал еще с фрейбургских времен, Анна Ахматова, Николай Ону-фриевич Лосский и целый ряд других, интересовавших меня людей – весь этот мир словно выпал из

моего сознания. Летом 1917?го года мы жили в Петрограде так, как будто бы я никогда не был причастен миру искусства, литературы и философии. Почему мы так жили, мне и сейчас непонятно. Быть может, я очень уставал от непривычной, внешне напряженной и внутренне мучительной работы; быть может, инстинктивно чувствовал обреченность того мира, в котором жил до войны, и как-то боялся боли прикосновения к нему. Но скорее всего мы с Наташей потому почти никуда не ходили, что как-то хотелось спрятаться от наступающего со всех сторон ужаса. Всего естественнее было нам потому сидеть дома и, смотря через открытое окно нашей комнаты на коленопреклоненного ангела на крыше Исаакиевского собора, беседовать о том, что было и чего уже никогда не будет. Часто к вечернему чаю приходили друзья, фронтовики, некоторые товарищи по службе. Говорили мы о самых разных вещах, реже всего о политике.

От нас Евгений Балашевский и его состоявшие при Савинкове друзья, все молодые офицеры, часто отправлялись в «Привал комедиантов», о котором стоит сказать несколько слов. В этом «Привале», если верить типичному представителю петербургской богемы

и тонкому поэту Георгию Иванову, в 1917-ом году за одним столом сиживали: адмирал Колчак, Борис Савинков и Лев Давидович Троцкий.

Этот, талантливо расписанный Судейкиным, Борисом Григорьевым и Яковлевым, подвальный ресторан, был разбогатевшим, но и опошлившимся наследником знаменитой «Бродячей собаки», скромного, парижски-богемного ресторанчика, в котором в 1913-м году, после театра и публичных лекций, начали соби- .› раться поэты и художники новейшей формации, все- 2 возможные «будетляне», «гилейцы», «акмеисты», «эго- С футуристы», вперемежку с необходимой для рекламы ˆ и денежного оборота разряженной буржуазной публи- (3 кой. !1

Нет сомнения, что в ночной жизни «Бродячей со- 51 баки» было много озорства, хулиганства и рекламы. ‹ Не всерьез же, на самом деле, уверял Бурлюк благо- ¦5 говейно слушавших его светских дам, что он любит]? не их, а «беременных мужчин». Не всерьез выкрикивал ? Алексей Крученых в лицо офраченным «фармацевтам», как футуристы именовали всех буржуев, свое:

Испарь овчины

И запах псины. ? Лежу, добрею на аршины. |ˆ

Все это было, конечно, лишь звуковым выра- ˆ жением тех цветных кофт и цилиндров, в которых про- 5 возвестники нового искусства с намазанными физио- ? номиями появлялись на улицах Москвы и Петербурга.

И тем не менее надо признать, что за всем этим «размалеванным сумбуром» и пьяным смрадом скрывались очень существенные психологические и социологические реальности.

Главною чертою всех разновидностей футуризма, который появился за несколько лет до войны и пышно расцвел в революцию, была борьба против «плато

низма» в искусстве и тем самым против русской темы в символизме. Небо, этот центральный символ религиозного, романтического и идеалистического искусства, было объявлено «трупом», звезды – «гнойною сыпью» (интересно, что сыпью звезды называл уже Гегель). В связи с походом против неба, была возвещена непримиримая война всем его «гнусно-сладкоголосым и лицемерно-продажным» певцам.

Как сейчас помню присланную мне голубовато-серую тетрадку, в которой на оберточного типа бумаге был напечатан манифест футуристов и ряд футуристических произведений Бурлюка, Крученых, Елены Гуро, Велемира Хлебникова и других исчезнувших из памяти поэтов. Назывался этот, кажется, первый сборник русских футуристов «Пощечина общественному мнению». Помещенный в нем манифест призывал к действенной ненависти, к старому поэтическому языку, к безудержному словотворчеству, к низвержению великих поэтов с корабля современности в морскую пучину. Надо ли говорить, что весь манифест был преисполнен совершенно непостижимым самообожанием и самовосхвалением. Помню, до чего я возмущался и до чего недоумевал, читая северянин-ское:

Я, гений Игорь Северянин, Своей победой упоен, Я повсемирно объэкранен, Я повсесердно утвержден.

В свое время все это казалось субъективным бредом сумасшедших, хотя частично и очень талантливых людей (ритм и синтаксис Маяковского меня сразу так же поразили, как и какая-то особенная музыкальность Хлебникова и своеобразная глубокомысленность нежных невнятиц Елены Гуро). Но вот прошли годы и стало ясно, что сквозь искусство футу

ристов пробивалась в жизнь величайшая тема новой истории, страшная тема большевистской революции, с ее футуристическим отрицанием неба и традиции, с ее разрушением общепринятого русского языка и заменой его интернационалистическим рев-жаргоном, с ее утопическим грюндерством, доверием к хаосу и даже с полною возможностью для вождя всемирного пролетариата именовать себя вслед за Велемиром Хлебниковым «президентом земного шара».

Провозглашая свои «благоглупости», как писали ? консервативные литературные критики, футуристы на \ самом

деле зачинали великое ленинское безумие: кре- « пили паруса в ожидании чумных ветров революции. ?

В кубистическом портрете показательно искажал- * ся тот Божий образ в лице человека, над которым впоследствии так жестоко надругалась человеконена- " вистническая, большевистская власть. В кубистиче- 5 ских натюр-мортах и конструкциях явно предвосхи- I щались, как уже было указано Муратовым, формы ц тупорылых броневиков и танков, этих героев рево- « люционной улицы и современной войны. Где-то бро- ˆ шенное Оскаром Уальдом замечание, что туманы Лон- |* дона являются подражанием акварелей Тернера, ко- С нечно, лишь эстетический парадокс, но то, что боль- ? шевизм представляет собою социал-политическое во- С площение того образа новой культуры, который впер- ; вые наметился в футуристическом искусстве, оспари- ¦ вать вряд ли возможно. Готовящиеся в истории сдви- ! ги всегда пророчески намечаются в искусстве.

Профетизм революционно-футуристического искусства звучал в «Привале комедиантов» весьма приглушенно. Бродячая собака в нем не лаяла, а послушно стояла на задних лапах у заставленных водками, винами и закусками столиков, за которыми кутила снобистическая буржуазия. Лишь после Октябрьского переворота она, взбесившись, вырвалась на улицу.

В интересных метрических стихах обращался товарищ Маяковский к красной гвардии, упрекая власть в том, что, ставя к стенке буржуев и белогвардейцев, она все еще щадит Рафаэлей и Пушкиных…

Я уже говорил, что в центре мероприятий, которыми Корнилов, Савинков и Филоненко надеялись восстановить боеспособность армии и порядок в тылу, было полное восстановление смертной казни. Восстановленная сразу же после провала наступления в пределах действующих армий, она, по мысли нового Главнокомандующего и управляющего военным министерством, должна была быть распространена и на тыл.

Данное мною Савинкову при занятии поста Начальника политического управления согласие на защиту фронтовых расстрелов превращалось, таким образом, в готовность защищать «институт смертной казни» и в тылу.

Я знаю, многие меня не поймут, но мне важно сказать, что приятие смертной казни оказалось для меня возможным лишь потому, что незадолго до начала войны в моей личной жизни закончился тот сложный и тяжелый период, из которого я вынес твердое убеждение, что без готовности принесения в жертву своей

и чужой жизни осилить жизни нельзя. Гуманное отношение к жизни тем и отличается от священного, что для первого отделяющая жизнь от смерти черта ни при каких условиях не преходима; второе же не всегда в праве остановиться перед этою чертою. В том ведь и состоит религиозная недостаточность всякого гуманитарного морализма, что он не в силах принять долга греха, как формулы, точно знаменующей трагическую глубину жизни. Осознав на

путях своей личной жизни необходимость преодоления черты, отделяющей добро от зла, жизнь от смерти, я уже без новой внутренней борьбы, хотя и с новою тяжестью в душе, принял пулеметы, как последнее средство защиты России.

И все же проведение в жизнь Савинковской программы стоило мне очень больших нравственных мук. Защищая смертную казнь в военной комиссии Совета, я почувствовал, что одно дело открытие пулеметного огня по самовольно уходящим с фронта большевистским ротам и совсем другое – смертная казнь по суду. Сколько я ни говорил себе, что приговор казнит действительно виновных, а пулемет косит многих и без разбору, мои глаза упорно сопротивлялись урав нению стрельбы и расстрела. На картину стрельбы по вооруженным повстанцам глаза с трудом подымались, но образ обезоруженного солдата, на которого по приказу начальства подымаются ружья, быть может сочувствующих ему товарищей, казался еще страшнее, чем развал армии и поругание России.

Несмотря на такое сопротивление неподкупных С глаз разумной точке зрения, я с отчаянием в душе продолжал проводить Савинковскую программу. О долге греха, как об основе христианской поли- О тики, мне еще придется говорить в последней главе з этой книги. Предваряя дальнейшие размышления, от- 5 мечу пока только то, что небывалое падение общест- ? венной нравственности в наши дни объясняется прежде всего тем, что современное сознание принимает смертную казнь не как глубочайшую трагедию, а бездумно и бесскорбно, как вполне нормальную государственную необходимость.

В прежние времена это было не так. С большим потрясением и нравственным удовлетворением прочел я недавно в «Истории моего современника» Владимира

Короленко страницы, посвященные казни русского офицера, но одновременно польского националиста за участие в восстании против царской власти. Короленко рассказывает, что исполнение смертного приговора, вынесенного его отцом, ожидалось населением небольшого города с непредставляемым ныне

волнением. Черный помост за городом неотступно стоял у всех перед глазами. В утро казни, не знающая, куда деваться от ужаса и отчаяния, мать приговоренного (разве это было бы возможно в современной России?) пришла ожидать двенадцатого пушечного выстрела, с которым должен был умереть ее сын, в квартиру прокурора Короленко. Что могло внушить ей эту мысль, кроме чувства, что постичь ее боль глубже всех может человек, на которого судьба возложила страшный долг – убийство рожденного ею сына.

Я думаю, что лишь при таком переживании смертной казни, как некой, сверхполитической мистерии, таящей в себе сознание трагической вины казнящего перед казненным (это понимал даже и Иоанн Грозный, постоянно мучившийся своими казнями и каявшийся в них), возможно ее нравственно-положительное воздействие на общественно-политическую жизнь: при современном же взгляде на смертную казнь, как на нечто вполне естественное, она неминуемо должна приводить к развращению власти и разложению общества.

Изо всех политических вождей «Февраля» все это, если и не отчетливо сознавал, то все же смутно чувствовал один только Керенский. Насмешливые слова Милюкова, будто бы Керенский, обещая под давлением справа ввести смертную казнь (рассказ об этом еще впереди), «пугал публику погибелью своей души», ничего не доказывает, кроме свойственной Милюкову, как и всему либерально-позитивистическо-му миру, поверхностности и глухоты в отношении

всех религиозно-нравственных вопросов. Но и Керенский всей глубины принятого им решения не сознавал.

В порядке замещения комиссар-верха Филоненко, мне пришлось принести на подпись Керенскому только что вынесенный на фронте смертный приговор. Быстро пробежав бумагу, Керенский как будто бы безо всяких колебаний заменил высшую меру наказания тюремным заключением на какое-то небольшое количество лет.

Помню, что легкость, с которою премьер-министр › принял свое политически непоследовательное реше- (? ние, не только поразила, но и оскорбила меня: без- * думным росчерком пера он сводил на нет все те сом- ˆ нения и муки совести, через которые должны были * пройти представители армейских комитетов – все социалисты и демократы – перед тем, как придти к ре- 1? шению предать смерти своего товарища. :*

Сознаюсь, что гуманный жест Керенского пока- З зался мне неуважением к совести судивших и к судьбе ˆ осужденного. Да и что он мог означать? Объявление ?« смертного приговора

судебной ошибкой, указание на и то, что смертная казнь введена лишь для острастки, * или малодушное дезертирство с политического фрон- * та; боязнь обременения своей души тяжестью им же ? самим возложенной на плечи комиссаров и коми- 2 тетов? 5

Думаю, что, если бы я задал Керенскому эти во- ? просы, он не сумел бы на них ответить. Он просто еде- !Г лал самое для себя легкое, самое для себя, как либерала и политического заступника, привычное. Искренне говоря о готовности погубить свою душу, он всей глубины своих слов все же не понимал, в его устах они означали лишь отчаяние либерального политического деятеля, но не готовность на все решившегося революционного вождя.

Надо ли говорить, до чего мне было трудно от

стаивать смертную казнь на чуждых мне позициях Временного правительства.

Положение, что Керенский, как! глава законного Временного правительства, имеет право казнить своих политических противников, Ленин же, как вождь безответственной политической оппозиции, не имеет права на вооруженную борьбу против власти, мне казалось весьма спорным. Законности власти Керенского можно было и не признавать, так как он не был ни помазанником Божиим, ни всенародным избранником, а всего только ставленником цензовой Думы и самозванного Совета рабочих и солдатских депутатов. Ленин же с каждым днем все очевиднее превращался из лидера большевистского меньшинства в вождя широких революционных масс.

Внешне не без успеха приспособляясь к демократически-правовой аргументации Временного правительства, я про себя отчетливо сознавал, что защищаю смертную казнь не на основании весьма шатких правовых положений, а потому, что не хочу и не смею без боя уступить большевикам своей России, о которой сердцам знаю, что только она и есть Россия подлинная.

От этой подлинной России я ждал расцвета религиозной жизни в освобожденной от синодального омирщения патриаршей церкви, сохранения при деревнях} и селах помещичьих усадеб в качестве рассадников культуры, что мне казалось совместимым с передачей большей части помещичьей земли трудящимся, сращения воедино долго враждовавших у нас между собой культурных традиций и политических тенденций и превращения русской интеллигенции из ордена революционной борьбы в созидательную национальную силу.

Большевистская же Россия без колокольного звона, с немногими церквами, превращенными в музеи,

и с помещичьими домами, отведенными под колхозные

управления, Россия пролетаризированного крестьянства и объинтеллигенченного на плоско-просветительный лад рабочего класса, Россия, ни во что не верящая, кроме как в диалектический материализм и американскую технику, бесскорбно отрекающаяся от своего исторического прошлого и нагло издевающаяся над своими провиденциальными заданиями, о которых ее великими мыслителями и художниками было сказано так много глубочайших слов, казалась мне невыносимою пошлостью. Представление, что Россия, только что вырвав- и шаяся из старческих объятий выродившегося монархизма, отдаст себя разнузданному кронштадтскому ; матросу, у которого за душой ничего нет, кроме сдобренного матерщиной марксистского жаргона и ленин- ‹ ского разбойничьего посвиста, вызывало во мне непоборимое эстетическое и национально-эротическое отвращение. Этим глубинным отвращением и питалась моя готовность идти на все, чтобы не допустить захвата власти большевиками.

Я уже говорил, что в начале июля я был назначен редактором политического отдела «Инвалида», ; переименованного мною в «Армию и флот свободной • России». По прошествии некоторого времени, когда Г выяснилась неспособность главного редактора вести газету, я был назначен ее главным редактором.

Признаюсь откровенно, что я оказался не дурным журналистом, но весьма плохим редактором.

Полным хозяином газеты, впрочем не мешавшим мне писать и печатать какие угодно статьи, до самого конца оставался генерал Димитрий Капитонович Лебедев, впоследствии редактор большевистской

«Красной Звезды», а затем, в эмиграции, видный сановник эстонского правительства.

Лебедев не был идейным человеком и уж совсем не был политиком. Он был дельцом, ловким организатором и крепким на руку хозяином. Как человек быстрой, практической сметки, он сразу же понял, что чем бледнее будет содержание редактируемой им газеты, тем легче ему будет вести свое издательское хозяйство. Его девизом было: «нам не надо, чтобы нас читали, нам надо только, чтобы нам не мешали печататься».

Прослышав, что старому «Инвалиду» будет предложена боевая роль, Димитрий Капитонович не без участия темноватых дельцов мигом реквизнул одну из лучших петербургских типографий. Покончив с типографией, он затеял приобретение соседнего дома, в котором должны были быть отделаны квартиры для редакторов, а может быть и для ближайших сотрудников.

Затея генералу Лебедеву удалась: незадолго до крушения «Февраля» Димитрий Капитонович шумно и торжественно отпраздновал новоселье в своей новой редакторской квартире. В этот день он был трогательно счастлив. Показывая собравшимся гостям свои «шикарные апартаменты», он с балетной легкостью переносил из комнаты в комнату свои по-купечески тучные телеса; его полное бритое лицо так и растекалось в самодовольной улыбке. Помахивая перед своим носом душистой гаванской сигарой и щуря от едкого дыма лукавый глаз (к сигарам генерал пристрастился за свою десятилетнюю жизнь в Пруссии, которую он, в качестве тайного военного агента, исходил вдоль и поперек с шарманкою за спиной и фотографическим аппаратом под полой), он со вкусом и толком описывал все перепитии сложной борьбы за осуществление своего плана.

Женат был Димитрий Капитонович на как будто

бы мало подходящей к нему женщине, на восторженной вечной курсистке, гордой народовольческими традициями своей «интеллигентской» семьи. Супруги, однако, трогательно обожали друг друга как и своих избалованных и перекормленных мопсов, заменявших им детей.

Не менее своеобразен, чем сам редактор, был его редакционный коллектив. До моего поступления он состоял всего только из двух сотрудников.

На роли политика-идеолога при генерале состоял плехановец Гуревич, исключительно умный, вечно клокочущий какими-то собственными мыслями социолог, неряшливо одетый в потрепанную и помятую визитку. Смотря на Гуревича, нельзя было подумать, что он ночевал дома: казалось, что он только что вышел из вагона, в котором провел несколько бессонных ночей.

Вторым сотрудником был Столпянский. Представляя мне Столпянского, Димитрий Капитонович был очень удивлен и даже огорчен тем, что я оказался незнакомым с работами его сотрудника: генералу очень хотелось блеснуть передо мною своим «кладом», как он называл своего ученого хроникера.

С работами Столпянского о Петербурге мне так и не удалось познакомиться, о чем очень жалею, так как думаю, что в душе Столпянского жила большая любовь к «Санкт-Петербургу»; глаз его был зорок и чуток ко всем стилистическим особенностям столицы. Однажды я вез Столпянского на своем казенном автомобиле вдоль набережной на Васильевский остров, где он жил в тишайшей квартире честного труженика, завешанной старинными гравюрами и заваленной книгами не только на полках, но и по всем стульям. Во время поездки Столпянский

много рассказывал мне о своем любимом городе и я чувство

вал, как у меня, москвича, открываются глаза на своеобразную красоту Петербурга.

Поначалу я было думал произвести в лебедевском предприятии некую революцию: собрать кадр интересных сотрудников и придать газете определенное лицо и направление. Но очень скоро понял, что мне это решительно не под силу. Для осуществления такого плана нужно было бы быть занятым только газетой, я же был поглощен работой в Политическом управлении. Но и помимо этого, не мне было обновлять «Инвалид». Это мог сделать старый, опытный журналист, способный в любой час дня и ночи настрочить боевую передовицу, связанный со всею русскою публицистикой и хорошо знакомый с техникой газетного дела, которая в революционное время со дня на день осложнялась не только все растущими экономическими требованиями рабочих, но и их желанием самим редактировать газету.

Тушило мой реформаторский пыл еще и сознание, что вести газету в своем собственном духе было бы невозможно, так как моей философии революции и моей программы действия никто не разделял; вести же ее по официальной линии меня не очень соблазняло, да и линия эта была не очень отчетлива.

Все эти обстоятельства и соображения быстро свели мое редакторство к простому, хотя и очень интенсивному сотрудничеству (я чуть ли не каждый день писал передовицы и другие статьи) и к заботе о том, чтобы не случалось тех «ляпсусов», которыми поначалу грешил «Инвалид», возмущая Керенского и начальника Политического кабинета генерала Барановского.

Нет сомнения, что будущие историки нашей революции, независимо от их направления, будут уде

лять особо большое внимание заговору генерала Корнилова. Значение этого заговора заключается в том, что своею быстрою, полною и неожиданною для всех право-заговорщицких кругов победою над мятежным генералом, Керенский наголову разбил себя самого и тем похоронил «Февраль».

Если верно, что сущность трагедии заключается в том, что добро и зло, жизнь и смерть вырастают из одного корня, то ничего более трагического, чем «заговор» Корнилова, представить себе невозможно. *

Понимание истории, как трагедии, в христианском * сознании неотделимо от веры в свободу человече- ; ской воли: конечно, не в смысле возможности любых ; произвольных действий, а в смысле всегда возможно- | го для человека

правильного выбора из ряда предло- . женных ему жизнью путей. Вне такой веры немые- « лима нравственная ответственность исторического дея• : теля перед истиной и историей.

Не имея никаких шансов стать точною наукой ; в естественно-научном смысле этого слова, историо- 1 ведение, начиная с эпохи Возрождения, неустанно : стремилось стать таковою.

С таким науковерческим стремлением связано типичное для большинства ученых историков нового I времени отрицание таких основных категорий исто- ˆ рического познания, как трагедия, свобода воли, лич- 5 ная нравственная ответственность и соборная народная { вина. »

Нельзя однако сказать, чтобы в своем стремлении очистить историческую науку от остатков «мифических» представлений, современные историки и историософы были бы вполне последовательны. Изучая их труды, замечаешь, что, не допуская откровенно религиозного, в частности христианского, подхода к исторической жизни, они иногда открыто, а иногда контрабандою вносят в свою, будто бы строго науч

ную, работу самые разнообразные полуметафизические и полумифические, во всяком случае сверхнаучные представления. Одни, в особенности консервативные немцы, часто говорят о судьбе, о каких-то анонимных исторических силах, о народных и эпохальных душах, другие же, прежде всего социалисты, говорят о неотменных социально-экономических законах и о господствующих в истории циклических ритмах.

При всей разнохарактерности этих понятий и построений в них все же присутствует единая и весьма характерная для последних четырех столетий европейского развития тенденция отрицания истории как процесса свободного сотрудничества Всемогущего Бога и в Боге свободного человека.

Если встать на особо распространенную в современной исторической науке социологическую точку зрения, характерную не только для марксистских ученых, но и для тех, которых марксисты именуют представителями буржуазной науки, то можно с легкостью нарисовать убедительную картину той неотвратимой необходимости, с которой Февральская революция скатилась, или поднялась – это уже вопрос политической оценки – к большевистскому «Октябрю».

Сущность социологической точки зрения заключается в последнем счете в признании общественных слоев, прежде всего классов за главные силы истории. Закономерная смена этих коллективных сил у руля политической власти оказывается при такой постановке вопроса главным содержанием исторического процесса. В четком чертеже такой упрощенной схемы всякая

революция превращается в борьбу упорствующего у власти класса со своим закономерным наследником. «Значение личности в истории», о котором у нас было так много споров, сводится при со

циологическом подходе к историческому процессу почти что к нулю: историческая личность превращается в орган безличного коллектива; вождь – в ведомого, в покорного массе глашатая ее нужд и требований.

Приложение этой схемы к нашей революции дает как будто бы очень убедительную картину, допускающую к тому же как правый, так и левый варианты.

Сущность правого, кадетски-меньшевистского варианта заключалась в характеристике Февральской ре- « волюции как буржуазной; сущность левого, циммер- 5 вальдского, за которым стояли меньшевики-интерна- $? ционалисты, левые эсеры и большевики, как потен- 5 циально-пролетарской. *

Защитники правого варианта считали, что на сме- а ну феодально-реакционным кругам в пореволюцион- с ной России должны придти к власти прежде всего : буржуазно-либеральные силы и что всякая больше- ? вистская попытка обогнать буржуазию и «узурпиро- ; вать» власть неизбежно приведет к разгрому страны.

Сторонники левого варианта, исходя отчасти из учения Маркса о прыжке из царства необходимости в царство свободы, отчасти же из анархо-славянофиль-ской мысли Герцена, что России не к чему строить › шоссейные дороги в эпоху железнодорожных путей,] твердо шли к диктатуре пролетариата и беднейшего 3 крестьянства. (

При всей противоположности обоих вариантов, они в последнем счете сходились на понимании той роли, которую генералу Корнилову надлежало сыграть в революции. Как кадеты и стоявшие направо от них силы, так и левые социалисты, видели в нем врага советской демократии. Разница была только в том, что правый стан жаждал разгрома революционной демократии, а левый мечтал о разгроме Корнилова и стоявших за ним сил.

Особенность и, как впоследствии, к сожалению, оказалось, безнадежность позиции Керенского, о которой по разным поводам уже не раз шла речь, заключалась в органической неприемлемости для него чисто-социологического подхода к событиям.

Описывая выступления Керенского, Суханов в своих «Воспоминаниях» дважды подчеркивает, что Керенский часто бывал на высоте французской революции, но никогда не бывал на высоте русской, что в устах Суханова значит на высоте

социальной революции. Этой формуле нельзя отказать в некоторой правильности. В той решительности, с которой Керенский защищал надклассовый, то есть всенародный характер Февральской революции, бесспорно чувствовался чуждый социализму 20-го века пафос. Несмотря на то, что гармонизирующая формула свободы, равенства и братства подверглась, в связи с обострением социальных взаимоотношений в 19?м веке, жестокой критике, она все еще переживалась Керенским как некая трехипостасная Истина.

В речах Керенского, как это ни странно, часто звучала какая-то, почти шиллеровская восторженность, какая-то юношеская вера в значение личности (а потому и в себя самого) в истории. В сущности социалист Керенский был гораздо большим либералом, чем либерал Милюков, не совсем чуждый марксистской социологии.

С этой точки зрения заслуживает особого внимания наименование Керенского «главноуговариваю-щим» русской революции. Ленин и в особенности Зиновьев, Троцкий и Луначарский говорили не меньше Керенского, но главноуговаривающими их никто не называл. И это вполне понятно, так как постоянно агитируя, они никогда никого не уговаривали. В отличие от дискуссии, стремящейся к сговору, агитация ни в какой сговор не верит, ее задача – возбуждение своих

и осмеяние инаковерующих. Пользуясь словом, как орудием борьбы, агитация в примиряющую силу слова не верит. Керенский в эту силу верил. Потому он в своих речах постоянно обращался не столько к своим единомышленникам, сколько к тем из своих противников, с которыми ему казалось важным сговориться. Пытался он сговориться и с генералом Корниловым, назначенным им по совету Савинкова на пост Верховного главнокомандующего в сущности против воли революционной демократии, в рядах ко- Ц торой бывший Командующий петроградским военным 5 округом пользовался неважною репутацией.

Почему же этот сговор не удался? Почему Керенскому, Корнилову и Савинкову не удалось сговориться и повести Россию по тому пути, который все трое а считали единственно правильным? Ведь рознь их оздо- : ровительных программ была в сущности совсем незна- : чительна; чем же объяснить, что в узкую щель этой ' розни провалилась огромная Россия? :

Чтобы ответить на этот вопрос надо, как мне кажется, пристальнее вглядеться и глубже вдуматься в психологию Керенского, Корнилова и Савинкова. *

Было бы величайшею ошибкою утверждать, что эти люди

были во всем столь противоположны друг другу, что об общем языке между ними не могло быть и речи.

В лице Керенского революционная демократия ? выдвинула на пост премьер-министра убежденного государственника и горячего патриота. Правильно понимая главную задачу Временного правительства, как задачу «восстановления национального правительственного аппарата для обучения одних управлению, а других послушанию», Керенский, не щадя своей популярности, смело бросает в революционную толпу свои знаменитые слова о взбунтовавшихся рабах. Он же, не считаясь с протестом Совета, восстанавливает смертную казнь на фронте, ограничивает судебною ответственностью права комитетов и, по крайней мере частично, восстанавливает дисциплинарную власть военных начальников. Как бы ни относиться к Керенскому, перед лицом этих фактов нельзя отрицать, что у него мог найтись общий язык с генералом Корниловым, тем более, что нахождение этого языка облегчалось рядом свойств и убеждений Верховного главнокомандующего.

Генерал Корнилов не был барином-аристократом, а был сыном казака-крестьянина. Не был он и заговорщиком-реставратором: генерал Деникин свидетельствует, что на попытку монархистов вовлечь Корнилова в переворот с целью возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича, Корнилов категорически заявил, что ни на какую авантюру с Романовыми не пойдет. Был ли Корнилов и в глубине души республиканцем, я не знаю, во всяком случае он себя за такового считал: выступая перед солдатами, он открыто критиковал старый строй и в своем «Обращении к русскому народу» искренне ставил своею задачею доведение страны до Учредительного Собрания. Армейские комитеты Корнилов, как солдат, приветствовать, конечно, не мог, но он не раз признавал их неизбежность в условиях революции и, в отличие от многих старших начальников, не отказывался с ними работать.

Для роли «генерала на белом коне» Корнилов создан не был и о ней вряд ли мечтал. Для такой роли ему не хватало как блеска и обаяния личности, так и универсальности политического кругозора, – как узколичного честолюбия, так и дара владеть людьми.

Корнилов был простым, честным, доблестным солдатом, ставившим себе очень узкую, политически вполне бесспорную цель, в конце концов ту же, что и Временное правительство: сохранение боеспособно

сти армии, недопущение большевистского переворота и доведение страны до Учредительного Собрания.

Неизбежности столкновения Керенского с Верховным главнокомандующим, ни в характере Корнилова, ни в его программе даже и пристрастному демократу найти невозможно.

Как бы желая облегчить Корнилову и Керенскому политическую встречу друг с другом, судьба выдвинула в качестве посредствующего звена между ними Савинкова.

Старый партийный работник с большим стажем, отдавший всю свою жизнь на борьбу за «землю и волю» и одновременно единственный левый человек, сумевший в качестве армейского комиссара органически войти в доверие армии и самого Корнилова, Савинков казался призванным к тому, чтобы вызвать в Корнилове доверие к Керенскому, а в Керенском доверие к Корнилову.

Почему же он этого взаимного доверия не вызвал? Кто виноват в этом? Керенский или Корнилов? Думаю, что виноваты оба и при том одною и тою же виною. Ни Керенскому, ни Корнилову не удалось преодолеть прежде всего в самих себе той давней вражды между обществом и армией, к преодолению которой оба искренне стремились и в преодолении которой заключался главный смысл их исторической встречи.

Еще раз подчеркиваю – взгляд Керенского на роль армии в революции был правилен, правильны, хотя и замедлены были и его мероприятия. Он имел полное право сказать на Московском совещании: «Все, чем возмущаются нынешние возродители армии, все проведено без меня, помимо меня. Теперь все будет поставлено на место…» Не может быть никаких сомнений в том, что военная дисциплина начала разрушаться при Гучкове и восстанавливаться при Керенском.

И тем не менее Керенский, как изначально был, так до конца и остался глубоко чуждым армии человеком. Офицерство чувствовало, что с какими бы словами признания он ни обращался к нему, сколько бы он ни работал над воссозданием боеспособности армии, он армии, как таковой, не любил и духа ее не понимал. И в этом они не ошибались. Керенский мог с громадным успехом, описанным мною выше, выступать перед революционной армией, или вернее перед вооруженной революцией, поставленный же перед фронтом царской армии, он не нашел бы для нее ни одного искреннего и горячего слова признания.

Об его ненависти к царской армии свидетельствует все написанное о ней в его «Воспоминаниях». На нее он всегда смотрел глазами тех гимназистов, которых он, как свободолюбивых интеллигентов, противопоставляет кадетам, этим «обскурантам затворничества», а также и глазами тех

присяжных поверенных, которые встречались с солдатами и офицерами, главным образом, на политических процессах. / По мнению Керенского, царская армия была насквозь пронизана сетью шпионства, ее солдаты ненавидели своих офицеров и ощущали казарму «рабовладельческим заведением». Все это не только преувеличено, но просто неверно. Разложение монархии, конечно, отражалось и на быте армии, как отражалось на быте всей России, но всей древней правды армии, в последней глубине мало зависящей от политического строя, оно, конечно, не уничтожило. От шпионских задач офицерство всегда уклонялось. Невоздержание на крепкое слово, свойственное, впрочем, всему русскому народу, а иногда и на рукоприкладство (в немецких школах учителя до сих пор не только бьют детей, но теоретически защищают правильность таких приемов воспитания) было среди русского офицерства, к сожалению, не редкостью, но, тем

не менее, надо сказать, что оно в своем громадном большинстве солдата все же любило.

Выняньченные денщиками, воспитанные на гроши, а то и на казенный счет в кадетских корпусах, с ранних лет впитавшие в себя впечатления постоянной нужды многоголовой штабс-капитанской семьи, наши кадровые офицеры стояли к народу, конечно, ближе, чем большинство радикальной городской интеллигенции. Солдатская похвала начальнику: «он нам, как отец родной», была не пустыми словами. Были, конечно, печальные исключения, но в общем война показала весьма крепкую внутреннюю связь между офицерским составом и солдатскою массою. И я уверен, что, несмотря на революцию, многие начальники, даже и на смертном одре, вспоминали, да и сейчас еще вспоминают, своих бравых солдат.

Не чувствуя нравственно-бытовой сущности армии, Керенский не чувствовал и ее эстетики: красоты подтянутого солдата, мерного, пружинного шага рот, проходящих под музыку перед начальством, зычного сигнала трубача, хоровой молитвы солдат на вечерней заре и ловкой, залихватской песни возвращающихся с занятий команд.

Будь этот мир внутренне дорог и близок Керенскому, он понял бы, как много теряло офицерство с разрушением быта и духа старой армии, понял бы, что, уступая часть своих прав и обязанностей комиссарам и комитетчикам, даже и искренне принявший революцию офицер должен был переживать ту же личную трагедию, что переживает каждый любящий свою жену муж, уступая часть своих прав любовнику жены ради сохранения внешнего мира в семье и воспитания детей.

Как чужой, вероятно, даже враждебный армии демократ,

Керенский не доверял корпусу господ офицеров. Идя волей и сознанием навстречу Корнилову,

он подсознательно, конечно, отталкивался от этого типичнейшего солдата.

Нечто подобное происходило и в Корнилове.

Корнилов понимал, что революция переменила все силовые соотношения в стране, понимал, что Керенский – сила и что без Керенского ему, Корнилову, спасения России не осилить. Потому он и решил идти вместе с Керенским. Никакого заговора против Керенского он не замышлял; так называемый заговор Корнилова представляется мне и поныне лишь последней стадией трагического недоразумения между Корниловым и Керенским. В основу этого недоразумения легло не только их охарактеризованное мною взаимное отталкивание, но и нечто большее. Хотя Корнилов и строил свои планы в надежде на высвобождение Керенского из «советского плена», он подсознательно все же боялся, что в последнюю минуту Керенский «закинется» и, предав его, Корнилова, и свои собственные планы по восстановлению сильной власти, пойдет со своими демократами.

По-своему народник, и быть может даже и республиканец, Корнилов вынес из своего пребывания в Петрограде в качестве Главнокомандующего округом глубокое недоверие к духу и деятельности советских демократов, к которым он в минуты раздражения причислял и Керенского.

Даже и протягивая Керенскому руку, он наровил повернуться к нему спиной.

О Борисе Викторовиче Савинкове, на долю которого выпала роль посредника между Керенским и Корниловым, было в сущности сказано уже все, необходимое для понимания того, почему ему не удалось выполнить возложенной на него историей задачи.

Одинокий эгоцентрик, политик громадной, но не гибкой воли, привыкший в качестве главы террористической организации брать всю ответственность на

себя, прирожденный заговорщик и диктатор, склонный к преувеличению своей власти над людьми, Савинков не столько стремился к внутреннему сближению Корнилова, которого он любил, с Керенским, которого он презирал, сколько к их использованию в задуманной им политической игре, дабы не сказать интриге.

До чего глубоко было презрение Савинкова к Керенскому, я понял по совершенно случайному поводу, слушая за завтраком в «Астории» рассказ Бориса Викторовича о том, как Керенский

показывал представителям западных демократий не то петербургский музей, не то одну из летних резиденций Романовых.

– Стоя среди своих иностранных товарищей, – возмущался Савинков, – и что-то горячо доказывая им, – я, конечно, не слушал, было противно, – наш самовлюбленный жен-премьер от революции все время рассеянно теребил пуговицу царского мундира: отвратительно, доложу я вам, царей можно убивать, но даже и с мундиром мертвых царей нельзя фамильярничать.

Последняя фраза, в которой весь Савинков – и подлинный и наигранный, – до сих пор со всеми интонациями звучит в моих ушах и многое объясняет мне в злосчастном развитии дела Корнилова.

Я знаю, произведенный мною анализ причин, помешавших Керенскому, Корнилову и Савинкову, временами веривши, как отмечает и Станкевич, что они стремятся к одной и той же цели, должен многим показаться почти тенденциозным преувеличением пустяков. Не буду оспаривать этого. Скажу только, что в живой истории, в отличие от писанной, пустяки играют громадную роль.

Пусть историки-социологи исследуют едва ли существующие вечные законы всех революций. Мне, как бытописателю-мемуаристу, кажется важным не упу

екать из виду существенных пустяков. Таковыми и были: нелюбовь Керенского к армии, недоверие Корнилова к общественности и демонический нигилизм самонадеянной савинковской души.

Желая точно установить дату рождения Корнилова, я открыл немецкий энциклопедический словарь Брокгауза и к своему величайшему удивлению прочел в заметке о «мятежном генерале» (соответствующий том вышел в 1930-м году), что, двинувшись 12-го сентября 1917-го года вместе с Керенским на Петроград, Корнилов был под Царским Селом разбит большевиками. Та же версия повторяется и в заметке о Керенском. В чем же дело? Каким образом автор обеих заметок мог упустить из виду, что двинувшийся на Петроград Корнилов был немедленно же Керенским отставлен от должности, что, не подчинившись приказу о сдаче командования, Корнилов объявил себя Верховным правителем России, что двигавшиеся на Петроград корниловские войска были разбиты не большевиками, а верными Временному правительству частями, командование которыми Керенским было поручено Савинкову, принявшему, после окончательного разрыва между Ставкой и Временным

правительством, пост Петроградского генерал-губернатора.

О неверном изложении дела в иностранной энциклопедии не стоило бы и говорить, если бы оно не представляло собою путанного отголоска того понимания корниловского восстания, которое с самого начала защищалось в правых кругах.

За правую версию, согласно которой Корнилов двинулся на Петроград, по меньшей мере с ведома Керенского, говорит известная телеграмма начальника штаба Корнилова, генерала Лукомского, мотивировав

шего свой отказ заместить отрешенного от должности Корнилова на посту Верховного главнокомандующего тем, что генерал Корнилов принял окончательное решение идти на Петроград с ведома Савинкова, а тем самым, по его, генерала Корнилова, представлению, и с одобрения Временного правительства. Не думаю, чтобы генерал Лукомский просто говорил неправду. Вряд ли говорил неправду и генерал Алексеев, утверждавший, что «участие Керенского в заговоре бесспорно, что оно доказывается вызовом 3-го корпуса в Петроград, действиями и словами Савинкова и поведением Филонеко в Ставке».

В том же духе об участии Керенского и Савинкова в заговоре против Совета говорил вечером 26-го августа с самим Корниловым и князь Трубецкой. На вопрос Трубецкого, представителя Временного правительства в Ставке, почему Корнилов настаивает на участии в будущем «кабинете сильной власти» Керенского и Савинкова, главнокомандующий дал вполне определенный ответ: «Новая власть в силу обстоятельств должна будет прибегнуть к крутым мерам. Я бы желал, чтобы они были наименее крутыми; кроме того, демократия должна знать, что она не лишится своих любимых вождей и наиболее ценных завоеваний».

Веря в честность Корнилова, я и эти слова, вполне совпадающие с тем, что Корниловым было сказано Савинкову незадолго до похода на Петроград: «передайте Александру Федоровичу, что я его буду всемерно поддерживать, так как это надо для отечества», никак не могу считать за интригантское замечание, за заметание следов подготовляемого заговора.

Но если недопустима мысль, что Лукомский, Алексеев и Корнилов, сговорившись, лгали и притворялись, то, по крайней мере, также недопустима мысль, что говорил неправду Керенский, радикально

и горячо отрицавший в своих показаниях перед следственной комиссией какое бы то ни было участие в планах Корнилова по ограничению власти Советов.

В чем же выход изо всех этих как будто бы непримиримых

противоречий? Для меня лично ответ на этот вопрос не представляет непреодолимых трудностей. Прочтя о деле Корнилова всё, что можно было о нем прочесть, я в общем остался при том же убеждении, что сложилось у меня в корниловские дни. Никакого, заранее задуманного и планомерно-руководимого самим Корниловым заговора против Керенского не было. Началось все со сговора между Корниловым и Савинковым, как представителем Керенского. Благодаря описанному мною недоверию между министром-председателем и Главковерхом, сговор начал быстро запутываться и разрастаться в целую сеть недоразумений. Во все сгущающуюся муть этих недоразумений и заподазриваний начали постепенно вливаться не имевшие поначалу ничего общего с попытками сговора темные провокаторские силы. Лишь в самую последнюю минуту, когда трагическое недоразумение между Главнокомандующим и министром-председателем достигло размеров, при которых Керенскому нельзя было не отрешить «мятежного» генерала от должности, а Корнилову ничего не оставалось, как ответить на это «вероломство» восстанием, изначальный сговор между никогда до конца не доверявшими друг другу союзниками превратился как бы в заговор соперников.

Я не буду подробно рассказывать всего течения корниловского дела с момента назначения генерала на пост Верховного главнокомандующего и до заключения его в Быховскую тюрьму. Не буду также доказывать правильности моего понимания событий; при обилии опубликованного материала это завело бы меня слишком далеко. Для цели, преследуемой мною,

будет достаточно, если я расскажу, каким образом у меня сложилось мое понимание корниловского заговора. Надеюсь, что мой рассказ, как рассказ всякого очевидца, сможет оказать некоторую помощь в деле выяснения полной истины. А впрочем, что есть истина? Со дня Великой Французской революции прошло почти 150 лет, она исследована вдоль и поперек и, тем не менее, о ней все еще появляются якобинские, жирондистские, или католические по духу исследования.

Перед тем, как перейти от лиц к событиям, я должен сказать несколько слов о неоднократно уже упоминавшемся мною комиссар-верхе Максимилиане Максимилиановиче Филоненко, сыгравшем в качестве ближайшего сотрудника Савинкова немалую, хотя и мало ясную мне роль в «заговоре».

Мое первое впечатление от Филоненко было отрицательное. Что мне в нем не понравилось, сказать не легко. Насколько его ум, энергия, распорядительность, работоспособность, дар слова и

дар быстрого освоения любой обстановки сразу же бросались в глаза, настолько же скрыты были в нем его отрицательные черты: какая-то ненастоящность, несолидность и нарочитость всего его существа. Мне этот, • почти фатовато одетый, театрально жестикулирующий, остро и четко говорящий человек, по-кошачьи круглоголовый, круглолицый и круглоглазый, всегда представлялся выходцем из талантливо и умно, но несколько безвкусно написанного криминально-авантюрного романа. Близость с Савинковым, человеком совершенно другого масштаба и другой серьезности, но все же заговорщиком, конспиратором и демагогом, естественно усиливала в Фелоненко свойственный ему авантюризм мысли и чувства. Надо еще отметить, что Фелоненко был человеком не только больших способностей, но и громадного честолюбия, планы

которого шли гораздо дальше комиссарствования при Ставке.

Перехожу к событиям. В первую половину августа, в самый канун задуманного Керенским Московского совещания, между Корниловым и Керенским возникла упорная борьба из-за так называемой «докладной записки» Корнилова, в которой Главковерх в ультимативной форме излагал свою политическую программу и намечал свои мероприятия. Савинков и Фелоненко по существу безоговорочно поддерживали Корнилова и делали все зависящее от них, чтобы заставить Керенского во всем согласиться с Корниловым. Считая, однако, что «записка» Корнилова редактирована в слишком резких, вызывающих тонах, они добились от Главковерха разрешения смягчить по тактическим соображениям ее общий тон и изъять отдельные выражения, которыми могли бы провокационно воспользоваться враги Временного правительства слева. Так получилась вторая редакция «записки», подписанная не только Корниловым, но также и Савинковым и Фелоненко.

В обсуждении корниловски-савинковской программы я принимал живое участие. Разделяя в общем планы Савинкова, я отнюдь не разделял его презрительно-вызывающего отношения ко «Всероссийскому Совету», а потому настойчиво убеждал его не растрачивать своего последнего авторитета в кругах демократии, не бравировать во всеуслышание своим презрением к «Совету рачьих, собачьих и курячьих депутатов», как он называл Центрально-исполнительный комитет совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Но все мои доводы не производили на Бориса Викторовича ни малейшего впечатления.

Позорное бегство революционной армии перед немцами породило в нем непревозмогаемое презрение к «товарищам» и их правомочным органам, о кото

рых он всегда говорил с таким отвращением, как будто бы глотал какую-то кислую мерзость. Ему очевидно казалось – ив этом была его главная психологическая ошибка, – что достаточно как следует прикрикнуть на всю эту «сволочь» и взять ее по-настоящему в оборот, чтобы она и перед ним с Корниловым побежала так же без оглядки, как бежала под Тарнополем.

Такое отрицательное отношение к массам начало у Савинкова, в особенности же у Фелоненко, все больше срастаться с каким-то заговорщицким психозом. Фелоненко и его помощник по комиссариату, великосветский романист фон-Визин, могли часами с упоением говорить о каких-то зреющих заговорах и о том, как их лучше всего выследить, перехватить, а быть может, и переключить в свою пользу. Все это окутывало серьезную работу по сближению Корнилова с Керенским нездоровым туманом авантюристически-дилетантских замыслов.

Керенский и преданные ему люди, в частности, Зензинов, очевидно чувствовали, что в военном министерстве создается глубоко-чуждая интеллигентски-социалистическому пониманию революции атмосфера. Кто-то из ближайшего окружения Керенского так прямо и сказал мне, что Савинков был бы весьма уместен в Италии при дворе возрожденских тиранов, но ему совершенно нечего делать в Петрограде.

Не доверяя Савинкову, Керенский и его советчики не решались однако на то, что одно только и могло внести нравственное и политическое оздоровление в отношениях между правительством и Ставкой. Вместо того, чтобы мужественно взять в свои руки инициативу сближения с Корниловым, программа которого, за исключением сложного вопроса о милитаризации железных дорог и заводов, вполне совпадала с планами Временного правительства, Керенский упорно

уклонялся от изучения «записки» главнокомандующего и обсуждения ее во Временном правительстве.

Это саботирование Керенским политических планов Корнилова было так непонятно и настолько возмущало Савинкова, что он решил подать в отставку. Отставка была Керенским принята.

О том, до чего эта отставка возмутила друзей Савинкова, а в том числе и меня, рассказывает в своих «Воспоминаниях» комиссар Северного фронта Станкевич. Да, я, конечно, жаловался Станкевичу на Керенского, обвиняя его в нерешительности и в тех вечных колебаниях, которыми он мешал более сильным людям делать нужное дело. Тем не менее, я не был глух и к доводам Станкевича, который доказывал мне, что необходимая, корниловски-савинковская реформа должна проводиться под высшим руководством Керенского, который шире и всестороннее понимает русскую жизнь, чем Ставка и Савинков. В конце концов, мы порешили, что я буду стараться «демократизировать» Савинкова, а он, Станкевич, попытается убедить Керенского вернуть Савинкова на его пост.

Вернувшись на пост заведующего военным министерством, Савинков задумал во что бы то ни стало осуществить приезд Корнилова в Петроград в целях прямого воздействия на Керенского. Корнилов то обещал, то отказывался. Когда же он окончательно согласился, Керенский, по непонятным причинам, без уведомления Савинкова, послал в Ставку телеграмму, что Временное правительство Верховного главнокомандующего не вызывало и, ввиду стратегической обстановки, слагает с себя всякую ответственность за оставление Главнокомандующим фронта.

Телеграмма опоздала и приезд Корнилова состоялся.

День этого приезда вспоминается мне, как один из самых тревожных и скорбных дней за все время моей службы в военном министерстве. Я видел Корнилова только мельком, но никогда не забуду его темного, сумрачного лица, его узких калмыцких глаз.

Хотя Корнилов выехал из Ставки для совместного с Временным правительством обсуждения общей программы

действия, он, явно встревоженный ходившими в реакционных кругах Ставки слухами о возможности его отставки и чуть ли не ареста, прибыл в Петроград с совершенно ненужными предосторожностями. В качестве телохранителей его сопровождали текинцы; впереди и позади его автомобиля ехали автомобили с пулеметами. Печальнее всего было то, что весть о вооруженном появлении Главнокомандующего на улицах столицы, сразу же облетевшая весь город, вызвала в самых широких право-монархических, либерально-кадетских и просто обывательских кругах не порицание и тревогу, а успокоение и радость.

Десятого августа, в день прибытия Верховного главнокомандующего, во всем городе чувствовалось, что вся внесоветская Россия ждет от Корнилова не сговора со Временным правительством, а замены скрытой диктатуры Совета открытой диктатурой Корнилова. В Москве эти реакционные настроения были, вероятно, еще сильнее.

На открывавшееся 14-го августа, по почину Керенского, в целях подведения широкой общественно-политической базы под Временное правительство Московское совещание, Политическое управление ехало в специальном поезде министра-председателя. В нем же ехала и «бабушка русской революции» К. А. Бреш-ко-Брешковская, которую Керенский глубоко чтил и у которой привык испрашивать благословение на все свои начинания.

Когда я вошел в вагон, меня поразила его чистота,

сановная комфортабельность широких диванов и кресел, сияние наполированных плоскостей и графическая четкость линий. Все это было совсем не похоже на хаос и грязь революционных учреждений. Я сразу же почувствовал себя в каком-то затонувшем гофмей-стерском мире: было странно, что есть еще руки, которые не только голосуют за и против правительства, но и по-старинному убирают для него вагоны.

В Москве нас ждали автомобили, которые доставили нас в Кремль, где нам были отведены комнаты в Большом дворце. Я был помещен вместе с П. М. Толстым. Толстой очень волновался предстоящим совещанием: перед тем, как лечь спать, он успокаивал себя долгим хождением по комнате в костюме Адама. Но он не молчал, что для успокоения нервной системы было, по его словам, важнее наготы, а все время говорил. Слушая его и смотря то на его длинные, худые ноги, то и дело останавливавшиеся передо мною, то на пустынные кремлевские просторы за окном, я решительно не понимал, кто он, кто я, почему мы ночуем в царском дворце, что мы делаем и что с нами творится. Часто находившее на меня чувство призрачности

революции никогда еще не достигало такой силы, как в памятную ночь с 13-го на 14-го августа. В душе было смутно и нехорошо: пребывание в царских покоях устыжало, словно я кого-то обокрал и не знаю, как бы так спрятать краденое, чтобы забыть о краже.

Как только я вошел в громадный, красно-золотой зрительный зал Большого театра, переполненный представителями правительства и Советов, членами четвертой Государственной Думы, общественными деятелями, профессорами, генералами и адвокатами, я почувствовал предельную напряженность господствовавшей в собрании атмосферы. Все были как в лихорадке, все чего-то боялись, на что-то надеялись, во всяком случае чего-то ждали. Характерною чертою этого ожида

ния было то, что собравшиеся чего-то ждали не от себя, не от своего почина, а от каких-то тайных, закулисных сил. Такое настроение было тем более непонятно, что все ответственные политические деятели и стоящие за ними группы прибыли на Московское Государственное совещание с целью сговора, т. е. с целью всемерной поддержки Временного правительства. Центральным исполнительным комитетом, резко отмежевавшимся от большевиков, были строго запрещены всякие самочинные сборища и манифестации на улицах. Большевистские представители комитета, заявившие о своем желании выступить с особым заявлением, не были вовсе допущены на Государственное совещание. Прочитанная Чхеидзе от имени советской демократии «платформа» была сформулирована в явном расчете на то, что она окажется приемлемой и для буржуазного крыла демократии. Ораторы буржуазных партий, правда, не стесняясь критиковали правительственную нерешительность и откровенно вменяли в вину Керенскому его одностороннюю зависимость от социалистических партий, но отнюдь не предлагали открытого разрыва с Советами.

Кто был на Московском совещании, помнит, а кто не был, может прочесть в любых воспоминаниях, что эта примирительная тенденция неожиданно приобрела к концу совещания как бы символическое выражение в том крепком рукопожатии, которым вождь советской демократии, Церетелли, при оглушительных аплодисментах почти всего зала обменялся с представителем торгово-промышленного класса А. А. Бубликовым.

Несмотря на такой апофеоз двухдневных прений, все члены совещания разошлись с чувством, что настоящего примирения между правым и левым секторами собрания не состоялось и что события в ближайшем же будущем примут новый и скорее всего катастрофический оборот.

Объясняется это противоречие тем, что почти все вожди

совещания ощущали свою примирительную тактику не как ведущий в счастливое будущее путь, а как канат над бездной, уже разделившей Россию на два непримиримых лагеря.

Может быть один только Керенский верил еще в то, что канат, по которому он, балансируя, скользит над бездной, есть тот путь, по которому пойдет революция.

Признаков того, что за стенами Большого театра что-то готовится, было много. В день открытия совещания трамваи не ходили и рестораны оставались закрытыми. Этою частичною забастовкою большевики напоминали совещанию о своей непримиримости по отношению ко всякому примиренчеству. Но так как большевистские подвохи были не новостью, то члены совещания без особого возмущения ездили на извозчиках и обедали у знакомых: в конце концов, так было даже удобнее.

Решающих событий ждали скорее справа. Глаза всех были обращены на Ставку. Прибытие Главковерха ожидалось с величайшим напряжением. По городу ходили всевозможные темные слухи: одни утверждали, что на Совещании будет объявлена диктатура Корнилова; другие – что генерал будет на нем арестован. Корнилов прибыл в Москву лишь на второй день. На вокзале ему была устроена торжественная встреча. Говорились речи. На площадь он был вынесен на руках. Собравшийся народ приветствовал его раскатистым «ура». В сопровождении тех же текинцев Главнокомандующий проехал к Иверской, где отстоял молебен. Хотя Корнилов не мог не знать, что его ожидает министр-председатель, по окончании службы он вернулся на вокзал, в свой вагон, где начался прием делегаций от воинских частей. Одновременно Керенский производил смотр войскам Московского гарни

зона, которым командовал генерал Верховский, впоследствии военный министр.

Демонстративное чествование Корнилова на вокзальной площади повторилось на следующий день и в зале Большого театра. Как только Главнокомандующий появился в ложе бель-этажа, правая сторона партера встала, как один человек и бурно приветствовала генерала, скромно раскланивавшегося во все стороны. За то левая сторона, в которой находились почти все солдатские делегаты, упорно продолжала сидеть. Она поднялась лишь тогда, когда Корнилов скрылся в глубине ложи, а на сцене появились члены Временного правительства с Керенским во главе. В ответ на громкие возгласы левой «да здравствует революция, да здравствует революционная армия» справа неслось «да здравствует генерал Корнилов». Трудно сказать, чем кончилась бы все разгоравшаяся борьба двух демонстраций, если

бы Керенский, со свойственною ему находчивостью, не предложил приветствовать в лице Верховного главнокомандующего «мужественного руководителя за свободу и родину сражающейся армии». Это примирительное предложение было покрыто горячими аплодисментами почти всего зала. Но через несколько часов рознь между правыми и левыми вспыхнула с еще большей силой.

После ряда обстоятельных, критических речей лучших думских ораторов на эстраде, наконец, появилась небольшая фигура генерала Корнилова.

Вся правая часть зала и большинство офицеров, сидевших на местах отведенных для Советов, встает и устраивает генералу грандиозную овацию. Зал сотрясается от оглушительных аплодисментов, каких в его стенах не вызывал даже Шаляпин.

Солдатская масса продолжает однако демонстративно сидеть, несмотря на громкие возгласы: «позор», «встаньте»!.. Керенский без умолку звонит, но отчаян

но болтающегося в его руке звонка никто не слышит. Наконец, ему удается в секунду некоторого затишья резко бросить в залу требование сохранять спокойствие и «выслушать первого солдата Временного правительства с долженствующим ему уважением и с уважением ко Временному правительству».

Корнилов развертывает рукопись и начинает мерным, четким голосом читать свою, просмотренную Савинковым «докладную записку», в которой, как я уже говорил, нет ничего неприемлемого для Временного правительства. Очевидно, что программную речь читает не тот Корнилов, который накануне, игнорируя Временное правительство и Совещание, ездил служить молебен и принимал какие-то солдатские делегации в своем вагоне.

Как все, так двоится в «Феврале» и монолитная от природы фигура Корнилова между сознательною волею к примирению и бессознательным влечением к расколу и борьбе…

Замысел Керенского созвать в Москве нечто вроде земского собора был с самого начала встречен в штыки. В левых кругах шутили, что Керенский едет в Москву, дабы испросить у буржуазии благословения на удушение революции; в правых – что он едет в Белокаменную на предмет социалистического коронования.

Как политическим врагам Керенского, так и его ненадежным попутчикам одинаково казалось, что Московское совещание понадобилось премьеру в качестве пьедестала для его власти и резонатора для его голоса. Пущенное Лениным презрительное словечко «бонапартишка» повторялось далеко не только в

большевистских кругах.

Согласен, что в дни Московского совещания в Керенском чувствовалось желание убедить всех в том, что власть возглавляемого им правительства и есть та,

сильная, всенародная власть, которой жаждет страна. Некоторое уподобление себя «сильному человеку» в жестах, интонациях и терминологии Керенского безусловно чувствовалось. Но говорить о заученной позе актера, как то делает Милюков, и неверно и несправедливо.

Признаюсь, что нападки правой оппозиции на главу Временного правительства не производили на меня убедительного впечатления; как нерешителен ни был Керенский, он был все же решительнее и сильнее своих оппонентов. Июльское восстание было без труда подавлено, если и не самим Керенским, бывшим в то время на фронте, то все же тою революционною демократией, которую он возглавлял: подоспевшим с фронта для защиты Петрограда отрядом командовал, как известно, меньшевик Мазуренко. Что же касается мнения Милюкова, что генералы Корнилов, Каледин и Алексеев представляли собою в дни Московского совещания единственную реальную силу России, то вряд ли надо доказывать его ошибочность. За Корниловым не оказалось никакой силы и восстание этого волевого человека и доблестного офицера было в три дня раздавлено «безвольным» Керенским.

Но если даже игнорируя факты и согласиться с тем, что Керенский был на редкость слабым и не устойчивым человеком, то все же остается открытым вопрос – в чем же проявили свою силу его строгие критики, те представители буржуазии во Временном правительстве, которым история поначалу вручила почти неограниченную власть? Разве только в том, что они последовательно сдавали одну позицию за другой. Разойдясь с демократией по вопросу о внешней политике, ушел в отставку Милюков, из-за разногласий по вопросу о преобразовании армии – Гучков. Неисполнимые требования рабочего класса заставили уйти в отставку Коновалова. Аграрные беспорядки

принудили и Львова покинуть свое председательское кресло. Согласен, что всему этому поведению нельзя отказать в последовательности и упорстве, но упорство не сила: тактика постоянного требования сильной власти при постоянном отказе от нее ради чистоты программы никак не может быть признана за проявление силы. Сильную власть вообще не требуют, ее осуществляют.

Защищая министра-председателя от его врагов, я отнюдь не отрицаю его больших недостатков как главы революции. Вот

очень показательный пример несостоятельности Керенского. Начальником политического сыска эсером Мироновым было Савинкову доложено о заговорщических планах некоторых правых и левых организаций. Ознакомившись с материалами, мы с Савинковым решили добиться от Керенского ареста и высылки некоторых подозрительных лиц. После долгих, длившихся до полуночи разговоров, Керенский согласился с нашими доводами. Но на рассвете, когда адъютант Савинкова принес готовый указ о высылке, Керенский наотрез отказался подписать его.

Бледный, усталый, осунувшийся он долго сидел над бумагою, моргая красными воспаленными веками и мучительно утюжа ладонью наморщенный лоб. Мы с Савинковым молча стояли над ним и настойчиво внушали ему: подпиши. Словно освобождаясь от творимого над ним насилия, Керенский вдруг вскочил со стула и почти с ненавистью обрушился на Савинкова: «Нет, не подпишу. Какое мы имеем право, после того как мы годами громили монархию за творящийся в ней произвол, сами почем зря хватать людей и высылать без серьезных доказательств их виновности. Делайте со мною что хотите, я не могу». Так мы и ушли ни с чем.

На Московском совещании раздвоение между го

лосом совести и сознанием необходимости идти ради спасения России на самые крутые меры, достигло в Керенском наибольшего напряжения.

Когда сообщение Корнилова, что не желавший защищать родину полк, узнав о том, что уже отдан приказ об его истреблении, сразу же занял позицию, было покрыто аплодисментами, Керенский властно потребовал от публики не сопровождать доклада недостойными знаками внимания. Когда же повторные аплодисменты раздались в ответ на заявление самого Керенского о восстановлении смертной казни, то он еще страстнее прервал «недостойные знаки внимания» гневным возгласом: «Как можно аплодировать, когда вопрос идет о смерти. Разве вы не понимаете, что в этот час убивается частица человеческой души?» Видеть в словах, как таковых, проявления слабости и безволия могут только нравственные уроды. К чему ведет бесскорбное одобрение смертной казни апологетами сильной власти, доказывает наше страшное время, ничему не рукоплещущее с такою безудержною радостью, как пролитию крови.

Этою глубокою трагедией раздвоения личности объясняется, как мне кажется, и содержание и тон заключительной речи Керенского, которою как-то неудачно оборвалось Московское совещание.

Начал Керенский свою речь сравнительно спокойно.

Совещание-де выслушало массу противоречивых мнений. Он, Керенский, надеется, что каждый присутствующий понял, что он понимал не все. Правительство, представляющее собою большинство страны, знает и видит всё. Оно и решит, как примирить непримиримое и какие пожелания исполнить. Пусть только его не принуждают к исполнению бессмысленных и преступных замыслов: насильники почувствуют силу власти, которая только кажется бессильной.

Последними словами Керенский снова угрожал тем темным силам, с которыми он все время боролся и от которых искал защиты у собравшихся в Большом театре. Заговорив со своими невидимыми врагами, Керенский, и без того замученный и затравленный, вдруг потерял всякое самообладание. Его сильный, выносливый голос стал то и дело срываться, переходя минутами в какой-то зловещий шопот. Чувство меры и точность слова, которые никогда не были сильными сторонами ораторского дарования Керенского, начали изменять ему. С каждой фразой объективный смысл его речи все больше и больше поглощался беспредельным личным волнением.

Зал слушал с напряженным вниманием, но и с не-одумением. Я сидел на эстраде совсем близко от стола президиума. По лицу Керенского было видно, до чего он замучен и, тем не менее, в его позе и в стиле его речи чувствовалась некоторая нарочитость; несколько театрально прозвучали слова о цветах, которые он вырвет из своей души и о камне, в который он превратит свое сердце… Но вдруг тон Керенского снова изменился и до меня донеслись на всю жизнь запомнившиеся слова: «Какая мука всё видеть, всё понимать, знать, что надо делать, и сделать этого не сметь!»

Более точно определить раздвоенную душу «Февраля» невозможно.

Керенский говорил долго, гораздо дольше, чем то было нужно и возможно. К самому концу в его речи слышалась не только агония его воли, но и его личности. Словно желая прекратить эту муку, зал на какой-то случайной точке оборвал оратора бурными аплодисментами. Керенский почти замертво упал в кресло.

Двадцатого августа пала Рига. Двадцать второго мы с Савинковым выехали в Ставку, где на двадцать

третье было назначено собрание комиссаров и представителей армейских комитетов для заслушания и обсуждения выработанного Политическим управлением нового армейского законоположения.

Открыв заседание и произнеся программную речь, Савинков передал председательство мне, так как сам был занят гораздо более важными для него переговорами с Корниловым. Тема этих переговоров не была для меня тайною, но активного участия я в них не принимал.

Не могу точно сказать, когда Савинков впервые заговорил со мною о необходимости преобразования центральной власти, во всяком случае это было до Московского совещания. По замыслу Савинкова Корнилов, которого он не без задней мысли выдвигал на пост Главнокомандующего, должен был сыграть решающую роль в деле освобождения Временного правительства и прежде всего самого Керенского из-под власти Центрального исполнительного комитета, который представлялся Борису Викторовичу огромною губкою, неустанно впитывающей в себя и разбрызгивающей по всей стране смертельный яд большевизма. Относительно безболезненное проведение этой оздоравливающей операции представлялось Савинкову возможным лишь в том случае, если она будет осуществлена не в поряд-ек военной контрреволюции, а в порядке самообуздания революционной демократии. В конце концов, дело сводилось к осуществлению военной директории – Керенского, Корникова и Савинкова. В своих беседах с Главнокомандующим комиссар-верх Фелоненко так прямо и говорил ему: «Наша политическая окраска для вас тот щит в бою, который так же необходим, как меч».

Я не знаю, был ли Савинков всегда и во всем со мною вполне откровенен, не говорил ли он с Фелоненко в иной тональности. Хорошо помню только то, что

в наших разговорах Савинков всегда защищал мысль, что обойтись без Керенского нельзя, не скрывая, однако, своей боязни, что Керенский и при новом положении будет большою помехой энергичному и последовательному проведению необходимых мероприятий. Корнилов относился к Керенскому, по словам Савинкова, еще отрицательнее. Поначалу он высказывался решительно против Керенского, но, в конце концов, все же примирился с печальною необходимостью идти рука об руку с министром-председателем. Состоялся ли между Савинковым и Корниловым окончательный сговор о составе директории, я сказать не могу, но ручаюсь за то, что в одном из наших частых разговоров с Борисом Викторовичем речь шла о комбинации: Корнилов, Керенский, Савинков и Фелоненко. Этот разговор отчетливо остался у меня в памяти, потому что я не мог не рассмеяться, когда Савинков выдвинул кандидатуру Фелоненко на пост министра иностранных дел. Мой смех явно обидел Бориса Викторовича и между нами произошла легкая размолвка.

Вызволение Керенского из-под власти Советов должно было по плану Савинкова совершиться следующим образом: надлежало вызвать с фронта надежную конную часть, объявить Петроград на военном положении, в два счета ликвидировать большевиков, провозгласить диктатуру директории и немедленно же приступить к проведению намеченных оздоравливающих мер. Вопрос о том, как поступить со Всероссийским советом и его Центральным исполнительным комитетом, оставался, как мне представляется, для Савинкова не вполне ясным. Думаю, что то или другое решение ставилось им в зависимости от поведения самого Совета.

Что касается центрального вопроса всего «дела Корнилова», т. е. вопроса об участии в «заговоре» самого Керенского, то должен сказать с полною опре

деленностью, что разговоры с Савинковым не оставляли во мне ни малейшего сомнения, что предстоящий переворот подготовляется с ведома и согласия министра-председателя. Зная Керенского, я, конечно, понимал, каких мук должно было ему стоить согласие на задуманное дело, но загипнотизированный твердою уверенностью Савинкова, что Керенский наконец-то понял, что, кроме сговора с Корниловым, ему никакого выхода не остается, я выезжал в Ставку с доброй надеждой на благополучный исход.

Неожиданное выступление Корнилова на Совещании комиссаров и комитетчиков сразу же нанесло тяжелый удар моему оптимизму. Главнокомандующего не ждали. Он появился совершенно внезапно. Перед тем, как начать говорить, он несколько секунд молча и зло смотрел на собравшихся. Начав говорить, он прежде всего высказал свое неудовольствие по поводу того, что мы, несмотря на падение Риги и угрозу Петрограду, занимаемся бесплодными разговорами. Перейдя затем к предмету наших занятий, он безапелляционно заявил, что некоторые положения выработанного законопроекта о военных организациях противоречат духу воинской дисциплины и допущены быть не могут. Не пожелав выслушать объяснений, он без одного слова привета и пожелания успеха дальнейшей работе быстро покинул собрание, отнюдь не как союзник Керенского, а как его явный противник.

В своих комментариях к «Делу Корнилова» Керенский заявляет, что «верность Савинкова революции и его непричастность к заговору» были для него, Керенского, несомненны. Я очень сомневаюсь, что это всегда было так. Доказательством того, что поначалу Керенский вовсе не был так уверен в Савинкове, как он впоследствии заверяет в своих

показаниях, является для меня следующая сцена.

Мы с Савинковым сидели за громадным столом

сухомлиновского кабинета. Передо мною лежали бумаги для доклада. Внезапно распахнулась заставленная серыми ширмами дверь в противоположном конце кабинета и к нам вбежал, в сопровождении двух лиц, Керенский. Потрясая какими-то бумагами в поднятой руке, он резко бросил в лицо Савинкову и поныне еще звучащую у меня в ушах полуутвердительную, полувопросительную фразу: «Это ваших рук дело, Борис Викторович?»

Мое убеждение, что Керенский не безусловно доверял Савинкову, доказывается еще тем, что он не сразу обратился к заведующему военным министерством за разъяснением и советом, а только после того, как он при поддержке Некрасова решил идти до конца в борьбе с генералом Корниловым. Будь Керенский безоговорочно уверен в безусловной преданности; Савинкова, он должен был прежде всего обратиться к нему, только что вернувшемуся из Ставки и только что оповестившему все газеты, что «генерал Корнилов пользуется абсолютным доверием Временного правительства» и что «мероприятия Верховного главнокомандующего по оздоровлению фронта и тыла и восстановлению дисциплины в армии будут незамедлительно осуществлены». Да и как мог Керенский совсем не сомневаться в Савинкове, когда в преданных министру-председателю эсеровских кругах не прекращались толки, что Савинков ведет какую-то весьма рискованную собственную игру. Такую игру Савинков бесспорно и вел. Конечно, не в смысле совместного с Корниловым заговора против Керенского (в предательстве я Савинкова не обвиняю), но в смысле насильнической попытки во что бы то ни стало, своею волею и по своему плану связать Керенского с Корниловым. Для меня не подлежит сомнению, что, ведя с Главнокомандующим переговоры о преобразовании власти, Савинков превышал свои полномо

чия, как заместителя Керенского по военному министерству, и тем вводил Корнилова в заблуждение в отношении истинных намерений и настроений Керенского. Нельзя же себе на самом деле представить, чтобы Керенским было Савинкову поручено сговариваться с Главнокомандующим о принятии «самых решительных и беспощадных мер против членов Совета рабочих и солдатских депутатов, в случае, если бы они выступили одновременно с большевиками», а ведь просьба Савинкова о таких мерах определенно зарегистрирована протоколом того, по общему тону весьма осторожного, разговора между начальником военного министерства и Верховным главнокомандующим,

который происходил еще 24-го августа.

Учитывая такую игру Савинкова, которому во всем крикливо и патетически вторил Фелоненко, можно допустить, что, отправляя в Петроград 3-й конный корпус для проведения операции против большевиков, Корнилов имел основание верить в то, что действует в полном согласии с Временным правительством и его главою. Да как ему было быть не уверенным в этом, когда на основании своих постоянных служебных сношений с Савинковым в этом же был уверен и я.

Так обстояло дело в лагере Корнилова-Савинкова. Как же оно обстояло в лагере Керенского?

Для каждого, знающего Керенского, ясно, что на савинковскую программу maximum Керенский своего согласия никогда дать не мог. Я думаю, что Керенский принял лишь те основные положения кор-ниловской программы, которые, по компетентному свидетельству Станкевича, совпадали с его собственными предначертаниями. Думаю также, что ожидая выступления тех вражеских сил, которым он грозил на Московском совещании, Керенский решил вызвать в Петроград надежную фронтовую часть и объявить

Петроград на военном положении. Несомненно для меня, наконец, и то, что Керенский думал о концентрации власти в нескольких сильных руках.

Но на этом, полагаю, кончается все то, на что он был готов. Не думаю, чтобы он был готов на «решительные и беспощадные меры против демократии» и уже совсем не допускаю мысли, чтобы он приветствовал Корнилова как главу нового кабинета или вождя Директории, как выражался Савинков. Такая мысль не могла придти Керенскому в голову уже по одному тому, что он ждал удара не столько слева, сколько справа, и генералов боялся чуть ли не больше, чем большевиков. Такому неправильному пониманию политической обстановки, ускорившему падение «Февраля», способствовали: выжидательная тактика большевиков, инерция привычной для Керенского борьбы с реакцией и атавистическая в русском левом интеллигенте враждебность к армии.

Допуская переговоры Савинкова с Корниловым, Керенский ни минуты не думал о смещении власти вправо, а лишь о том, как при помощи Корнилова утвердить власть подлинной демократии, т. е. свою собственную.

Всем сказанным с достаточною, думается, ясностью вскрыты те полусознательные разноустремлен-ности Керенского и Корнилова, благодаря которым насильнически подготовлявшийся Савинковым сговор между Керенским и Корниловым внезапно

обернулся заговором Верховного главнокомандующего против министра-председателя.

Такого трагического оборота развитие событий могло бы, быть может, и не принять, если бы не внезапное вмешательство нового лица, прокурора Святейшего синода, Владимира Николаевича Львова, который, желая все устроить и всем помочь, всех запутал и всех погубил.

Эпопея Львова началась для меня лично с того, что 26?го августа Политическим управлением была получена телеграмма, в которой все было темно и загадочно: и адрес «Керенскому для Львова», и содержание – «на обратном пути заезжайте за Родзянко» и подпись «Добрынин».

Глухо зная, что за несколько дней до получения телеграммы В. Н. Львов был у Керенского и они о чем-то конфиденциально беседовали, мы в Политическом управлении ломали себе голову над тем, что может означать такая телеграмма. Непонятен был самый факт какой-то связи между лево-либеральным Львовым, недавним членом Временного правительства, и хорошо известным нам Добрыниным, одним из наиболее темных заправил право-заговорческих элементов при Ставке. Непонятно было и упоминание о Родзянко. Неужели и он примкнул к черносотенным заговорщикам? И, наконец, как понять, что отъявленный враг Керенского, Добрынин, шлет телеграмму на его имя, раскрывая тем самым какие-то свои планы.

До позднего вечера не расходились мы по домам. Было снова тревожно и смутно на душе. Одна догадка сменяла другую. Чувствовалось, что надвигается что-то новое и страшное…

Уже в разгар восстания я увидел Львова в кабинете Керенского. Его ввели под конвоем для какого-то дополнительного допроса. Грузный и сырой, с лицом растерянным и недоумевающим, Львов произвел на меня впечатление безусловно добродушного, искреннего человека, но одновременно и человека на редкость неотчетливого, невнятного, быть может, даже и не вполне нормального. Помню, что на неприятно строгий, следовательский вопрос Керенского, как он, Львов, мог то-то и то-то сделать, Владимир Николаевич с безусловно подлинным душевным волне

нием ответил: «Только чтобы спасти вас, Александр Федорович».

Подробное изучение злосчастной путаницы, которую Львов внес в развитие и без того сложных взаимоотношений между Корниловым и Керенским, может привести в полное отчаяние не только социолога, верящего в законы исторического развития, но и всякого человека, не считающего, что мир – сумасшедший дом.

Единственная возможность примирения с тем, что случайный и незначительный Львов бесспорно сыграл роковую роль в развитии событий, заключается в том, что Львов никогда не впутал бы в свои нелепо-благонамеренные планы Керенского и Корнилова, если бы они сами не путались в своих противоречивых чувствах и намерениях.

С одной стороны, Корнилов шел как будто бы легко навстречу Временному правительству. Еще 24-го августа он обещал Савинкову немедленно арестовать каждого, причастного к каким бы то ни было противоправительственным заговорам и даже согласился на то, что все исходящие из Политического отдела Ставки телеграммы и бумаги будут поступать на предварительный просмотр комиссар-верха Филоненко. Но одновременно он допускал, что за завтраком в Ставке велись товарищеские разговоры о том, «нужна ли смерть Керенского, как вытяжка возбужденному чувству офицеров, или нет». Такие беседы велись неспроста, ибо одновременно по рукам ходили, как нам в Политическом управлении было хорошо известно, списки будущего правительства, обращение нового правительства к солдатам и даже какая-то аграрная программа, обещавшая каждому солдату, который поддержит будущего диктатора, по восьми десятин земли. Все эти разговоры велись не при Корнилове, но вокруг него. И вряд ли возможно сомнение, что

какою-то частью своей души он им хотя бы бессознательно сочувствовал.

Войдя каким-то образом на Московском совещании в соприкосновение с темными силами Ставки, Львов пришел в ужас от их замыслов и тут же рассказал заговорщикам о своих собственных планах, вполне совпадавших с савинковскими. «Нужно, – доказывал Львов, – чтобы Корнилов и Керенский, Боже упаси, не ссорились, а действовали бы сообща: Корнилов как начальник всех вооруженных сил, а Керенский, как председатель нового национального правительства».

Через несколько дней собеседники Львова сообщили ему, что его план при Ставке принят к сведению. Окрыленный успехом, Львов предложил съездить к Керенскому, чтобы попытаться убедить его перестроить правительство и успокоить страну. Заговорщики, по своим соображениям, о которых тут распространяться не приходится, ответили, что Ставка согласна. Так доверчивый и неискушенный в политических интригах либерал Львов появился в кабинете Керенского в качестве парламентера черносотенной контрреволюции.

Для разговора между Керенским и Львовым характерно то, что Львова интересовал вопрос спасения России, Керенского же, в

связи со Львовым, исключительно планы заговорщиков, так как он был уверен, что центр заговора надо искать в Ставке; на это указывали секретные сведения о настроениях политиканствующего окружения Главнокомандующего. Не называя себя посланцем Ставки, Львов несколько таинственно все же давал понять, что он таковым является и, не отделяя, по неосведомленности, Корнилова от заговорщиков вокруг него, грозил Керенском} от имени пославших его кровавою расправою, если

он не протянет руки тем, кого он до сих пор отталкивал.

Разговор кончился тем, что Керенский дал Львову, правда в весьма туманных выражениях, некоторое полномочие подробнее выяснить желания и требования его единомышленников. Это скромное задание обернулось в восторженной и миротворческой душе Львова весьма ответственным поручением – вернуться в Ставку в качестве полномочного представителя Керенского для дальнейших переговоров с Корниловым. Такое превратное понимание Львовым своей миссии доказывается показанием брата Львова, которому Владимир Николаевич по приезде из Петрограда говорил, что «Керенский согласен на преобразование правительства в духе желаний военных властей» и что он, Львов, имеет от министра-председателя формальное полномочие на ведение переговоров по этому поводу как с общественными деятелями, так и с генералом Корниловым.

Прибыв в Ставку, Львов доложил Главнокомандующему, что Керенский «не держится за власть и что он готов уйти», (фраза эта в другой связи была Керенским действительно сказана), но лишь при условии законной передачи власти в другие руки; заявил Львов и то, что Керенский готов на совместную работу со Ставкой.

Нарисовав в мрачных красках положение страны и повторив свои обычные обвинения Керенского в бездействии и потакании большевикам, Корнилов высказался за диктатуру, не обязательно свою, и кончил беседу неожиданною просьбою передать Керенскому и Савинкову приглашение прибыть в Ставку, где он обоим гарантирует полную безопасность. Кроме того, Корнилов еще прибавил, что намеревается обоим предложить портфели в будущем правитель

стве: Керенскому – портфель министра юстиции, Савинкову – военного министра.

После этого разговора с Корниловым Львов завтракал в Ставке; за столом заговорщики – Завойко и Добрынин откровенно развивали свой план свержения Временного правительства и установления диктатуры Корнилова, придавая при этом вызову

Керенского в Ставку совершенно иной смысл, чем тот, о котором говорил Корнилов.

Прибыв в Петроград в нервном и взбудораженном состоянии, Львов передал Керенскому следующие требования Корнилова: 1) Объявление Петрограда на военном положении, 2) передача всей власти, военной и гражданской, в руки Верховного главнокомандующего, 3) отставка всех министров, не исключая министра-председателя, и передача управления министерствами товарищам министров впредь до образования нового кабинета Верховным главнокомандующим.

В дополнение к этим, по настоянию Керенского, письменно сформулированным требованиям, Львов, уже в секретном порядке, сообщил Керенскому, что Главнокомандующий просит его и Савинкова немедленно выехать в Ставку. Тон, которым расстроенный разговорами с Завойко Львов передал Керенскому это предложение, был, очевидно, таков, что Керенский имел основание усомниться не только в желании Корнилова видеть его министром в новом кабинете, но и в том, что он действительно будет в Ставке в полной безопасности.

Ясно, что? перед лицом таких требований Керенский должен был придти к выводу, что в Ставке действительно подготовляется переворот. Это не могло не привести его в ярость, тем более, что всего только за два дня до приезда Львова в Петроград, Корнилов через Савинкова передавал ему, что «ми

нистр-председатель может рассчитывать на всемерную поддержку Ставки, ибо это нужно для блага родины». Внезапное вероломство Корнилова должно было внушить Керенскому мысль, что Верховный главнокомандующий сознательно усыплял его бдительность, дабы вернее нанести удар. При таких условиях времени терять не приходилось. Надо было действовать быстро и решительно. Он это и сделал: немедленно арестовал Львова и послал Корнилову телеграмму об отрешении его от должности.

Действуя так, он не знал, что Львов предлагал ему не с неба свалившийся ультиматум Корнилова, а лишь согласие Верховного главнокомандующего на те решительные меры, которые Львов, явившийся в Ставку в качестве посланца от Керенского, самовольно предлагал Корнилову от лица министра-председателя, будто бы готового подать в отставку.

Корнилову все должно было представляться в совершенно ином свете. Уже Савинков, желая во что бы то ни стало объединить Корнилова с Керенским, преувеличивал, как я уже отмечал, готовность министра-председателя идти на все меры, которые Главнокомандующему представлялись необходимыми. Невыдержанный и авантюристический Фелоненко шел в этом

отношении, безусловно, еще дальше. Оба они, как я уверен, говорили с Корниловым не только о ликвидации большевиков, но также и других членов Совета и о преобразовании центральной власти. Что же удивительного в том, что, беседуя со Львовым, Корнилов был уверен, что продолжает все те же переговоры, которые начались с его «докладной записки» Временному правительству?

Ведя те же разговоры, он вел их с беспомощным, растерянным Львовым, конечно, в совершенно другом тоне, чем с умным, бдительным и твердым Савинковым, вел их, как озлобленный, несговорчивый, за

бирающий власть союзник, но, я уверен, не как заговорщик. ˆ

Заканчивается история этого трагического недоразумения двумя поистине чудовищными актами: обращением Корнилова, провозгласившего себя в ответ на отрешение от должности правителем России, к русскому народу, в котором он заявлял, что Временное правительство отрешило его от должности под давлением большевиков и в полном соответствии с планами германского Генерального штаба, и воззванием Савинкова, в котором Корнилов обвинялся в том, что он в грозный час, когда противник прорвал наш фронт, поднял мятеж против Временного правительства и стал тем самым в ряды врагов революции и изменников отечеству.

При всей несправедливости корниловского обращения к народу, оно в ослепленных отставкою глазах Главнокомандующего не было ложью. Отрешение его от должности он не мог объяснить иначе, как новою победою Совета над Керенским. Совет же он привык считать за сборище изменников отечеству.

К сожалению, того же нельзя сказать о воззвании Савинкова. Называя Корнилова «изменником отечества», он, конечно, прекрасно понимал, что клевещет на горячего патриота, с опасностью для жизни бежавшего из немецкого плена. (О том, что симпатии Савинкова во время и после конфликта были на стороне Корнилова, свидетельствуют, как его показания на следствии, так и его воспоминания).

Надо, впрочем, отдать справедливость Савинкову: он не сразу отошел от Корнилова. Даже и после отставки Главнокомандующего Савинков страстно боролся за примирение. Он при мне дважды говорил по прямому проводу с Корниловым, пытаясь вернуть его на путь подчинения, но все было тщетно. Тогда, поставленный перед необходимостью выбора между

Керенским и Корниловым, Савинков, скрепя сердце, выбрал Керенского. Иначе поступить он не мог. Выбор Корнилова,

восставшего на демократа и социалиста Керенского, означал бы для него отказ от всей прожитой жизни.

К тому же Савинков не мог быть уверенным, будет ли ему в правом лагере предоставлена роль достаточно значительная для спасения правды революции. Безусловного доверия к нему в Ставке не было. Было уже пущено крылатое слово, что еще неизвестно, кому Савинков хочет воткнуть нож в спину: Керенскому, или Корнилову.

Решив идти против Корнилова, Савинков предложил Керенскому свои услуги в качестве генерал-губернатора Петрограда, а тем самым и Главнокомандующего всеми антикорниловскими силами.

Первым актом нового генерал-губернатора и было вышеупомянутое воззвание.

Трудно сказать, не был ли историей уготовлен для Савинкова и совершенно иной путь, путь возглав-ления революции. Кое-кто об этом во всяком случае думал.

Предельно утомленный событиями дня, я очень поздно вернулся в «Асторию», где меня, как каждый вечер, ждала с чаем Наташа. Мы только что собрались ложиться спать, как кто-то громко постучал в дверь. Выйдя в коридор, я увидел перед собою бледного, еле стоявшего на ногах Станкевича. Невольно заглянув в открытую дверь и увидав Наташу, о пребывании которой в Петрограде он не знал, он с укоризной посмотрел на меня и смущенно проговорил: «Нехорошо, дорогой, такая страшная ночь, а у вас женщина». (Как жаль, что большинство политических деятелей никогда не предъявляли ни себе, ни другим таких строгих нравственных требований. Предъяв

ляйся они чаще, наша политическая жизнь была бы много выше).

Оправдываться и объясняться было некогда. По виду Станкевича было ясно, что он пришел с чем-то очень важным. Мы присели на белый плетеный диванчик в коридоре и Валентин Борисович в двух словах сообщил мне свой план замены, в случае согласия Ставки, Керенского Савинковым. Я ни минуты не задумываясь отверг предложение, сказав, что Савинков не тот человек, да уже и поздно, дело зашло слишком далеко. Очевидно, Станкевич и сам не очень верил в найденный им выход из положения. Во всяком случае он сразу же согласился со мною и, крепко пожав мне руку, как бы прося прощения за вырвавшееся у него наставление, поспешно зашагал по красному ковру к лестнице.

Вернувшись в номер, я долго думал, правильно ли я поступил. К утру решил, что правильно. Вопрос заключался ведь

не в том, чтобы безболезненно удалить Керенского, а в том, чтобы примирить Корнилова с антибольшевистской демократией и, что было еще важнее, – демократию с Корниловым. На эту роль Савинков был не пригоден, так как его имя даже и в право-демократических кругах было одиознее имени Корнилова. Корнилова считали только врагом, Савинкова, выдвинувшего Корнилова, еще и предателем. Замена Керенского Савинковым и оставление у власти «мятежного генерала», не могло не создать впечатления, что Временное правительство в лице Савинкова сознательно подготовило выдачу демократии на разгром военной контрреволюции. Такой поворот вещей означал бы усиление политической позиции большевиков, давно уже кричавших, что «це-ретелливщина» только и мечтает, как бы задушить рабочего генеральской пятерней.

Сколько я ни думал, я приходил все к тому же

выводу: раз оздоровление революции с помощью Корнилова не удалось, надо, как бы это ни было трудно, осуществлять его иными путями. В том, что за Корниловым нет никаких реальных сил, я был твердо уверен. ВД917ˆмˆˆ справа была исключена: и штыки, и пушки – всё находилось в рабочих и крестьянских руках.

Подавление корниловского восстания происходило на моих глазах. Находясь почти безотлучно при Савинкове, я имел возможность с минуты на минуту следить за развитием событий на фронте и в Петрограде.

Подробно рисовать картину столкновения корни-ловских и правительственных войск на подступах к столице не входит в мою задачу. Меня интересует лишь общественно-политическая и психологическая стороны событий. Победоносное продвижение корни-ловских войск к Петрограду длилось недолго. Как только подходившие к столице войска поняли, что их ведут не на защиту Временного правительства и Центрального исполнительного комитета от большевиков, как им было то разъяснено, а на борьбу с Временным правительством и Советом, они смутились, приостановились и тут же стали быстро «разлагаться». Во всех частях начались митинги, на которых представители армейских комитетов и высланные им на подмогу петроградские агитаторы, не всегда щадя истину, разъясняли растерявшимся солдатам смысл «предательского» покушения Главнокомандующего на завоеванные революцией священные права рабочих и крестьян. «Товарищи, Корнилов изменник России, хочет вести вас в бой на защиту иностранного капитала. Он большие деньги за то получил. А Керенский хочет мира, он за свободу и счастье народа, а генерал за дисциплину и смертную казнь. Неужели вы с Корниловым?» Такие и подобные речи произносились

как социалистами-демократами, так и борщевиками^ кохорьте, прекратив на^время борьбу дротив Керен- л ского, били Керенским по Корнилову. Было бесконеч^ но Скорбно и тошно на душе.

Слушая агитационные речи, некоторые части тут же арестовывали своих офицеров, более умеренные отказывались идти дальше в Петроград, а наиболее справедливые – снаряжали ходоков в Совет для выяснения вопроса: кто же предатель?

Почти так же обстояло дело и в верных Временному правительству войсках. Проливать кровь за Керенского было не слаще, чем за Корнилова. Солдаты обоих станов требовали от своих начальников мира и без дальних разговоров втыкали штыки в землю.

Если Керенский все же одержал легкую победу, то это объясняется тем, что, кроме братающихся солдат, в его распоряжении была непримиримая по отношению к Главнокомандующему и энергично руководимая советскими организациями рабочая армия. Железнодорожники с восторгом разбирали пути, по которым двигались корниловские эшелоны, не давали локомотивов, а иногда угоняли эшелоны в обратном направлении.

В это же время Центральный исполнительный комитет без ведома Временного правительства закрывал газеты и производил обыски и аресты. В одной «Асто-рии» было арестовано до 40?ка человек, главным образом, офицеров, заподозренных в контрреволюции. В Пскове арестовали бывшего военного министра Гучкова.

В лагере Главнокомандующего все обстояло совершенно иначе. В распоряжении Корнилова не было никаких подсобных сил. Вся цензовая буржуазия и часть зажиточного крестьянства были безусловно на его стороне. В случае победы они с радостью присоединились бы к нему, но во время борьбы они, ввиду

своей неорганизованности и невооруженности оставались пассивными.

Правда, в помощь Корнилову собирались выступить какие-то, связанные с контрреволюционными деятелями Ставки подпольные организации, но они не выступили, хотя настроение Петрограда, по крайней мере 27-го и 28-го августа, было скорее благоприятно их выступлению. Почему они не попытались поддержать Корнилова, решить трудно. В своей интересной книге «В плену у обезьян», Записки контрреволюционера, В. Ф. Вейнберг объясняет этот загадочный факт не политическими, а скорее бытовыми причинами, прежде всего тем, что отпущенные на поднятие восстания суммы были прокучены и что глава заговора

Гейманн решающую ночь провел в «Вилла Роде». Сидорин же и де-Симитьер, от которых все ждали выступления, оказались «в нетях». Нравственно сомнительный образ всех этих контрреволюционеров весьма характерно дорисовывается признанием полковника Дутова, что между 29-м августа и 2-м сентября он должен был со своими ребятами выступать под видом большевиков, что ему не удалось, хотя он и бегал в «Экономический клуб» (правая организация октябриста Крупенского) звать народ на улицу. Но никто с ним не пошел.

Надо ли добавлять, что такие помощники могли только скомпрометировать Корнилова. Если верно сообщение Вейнберга, что отпущенные на выступление деньги были ими пропиты, то этому можно только порадоваться. Если бы они были употреблены по назначению, то это, не дав победы Корнилову, стоило бы моря крови фронтовому офицерству…

Победа над Корниловым оказалась для Керенского, как и надо было ожидать, пирровой победой. Разбив, правда не без непрошенной помощи большевиков, Корнилова, Керенский вышел из борьбы «корни

ловцем». То, что его работа над восстановлением боеспособности революционной армии кончилась походом Главнокомандующего на Петроград в целях разгона Временного правительства и Советов, нанесло престижу демократа Керенского такой удар, от которого ему уже не суждено было оправиться. Первым проявлением недоверия со стороны Советов было требование отставки Савинкова, только что одержавшего победу над Корниловым. Уступая Совету, Керенский расстался с Савинковым, но это ему не помогло.

Справедливость требует признать, что советская демократия была со своей точки зрения права. Останься Савинков у власти, он безусловно продолжал бы вести свою прежнюю линию. Глубина симпатий Савинкова не только к Корнилову, но и шире, к корниловщине, окончательно вскрылась для меня в странном чествовании отставленного военного министра офицерами той, особо реакционной «Дикой дивизии», отправка которой в Петроград, вопреки данному Временному правительству обещанию заменить ее другой, вменялась Корнилову в особо тяжелое преступление.

Чествование происходило в подвале уютного кавказского ресторанчика. Под заунывные звуки зурны мы пили терпкое кавказское вино, заедая его традиционным шашлыком.

Савинков был в прекрасном настроении, в несравненно лучшем, чем в штабе военного округа, откуда мы с ним отправляли советские делегации для «разложения» солдат «Дикой

дивизии». Чувствовалось, что здесь он дома, среди своих людей. Он много пил, остроумно шутил и даже произносил приветственные речи. Офицерам «Дикой дивизии» было с ним просто и уютно. Непонятным образом никому из них даже и в голову не приходило, что накануне еще неизвестно чем чреватого суда над арестованным Главковерхом, они, как ни в чем не бывало, пируют с его вче

рашним другом и сегодняшним врагом – демократом, революционером, террористом Савинковым.

Очевидно офицеры «Дикой дивизии» чувствовали, что и после победы над Корниловым Савинков в душе оставался корниловцем.

С заменой Савинкова Верховским кончилось мое активное участие в политической жизни. Присмотревшись ближе к молодому генералу, с которым я раньше лишь мельком встречался, я решил просить об отставке. Человек бесспорно умный, талантливый, энергичный и по своим политическим взглядам кое в чем даже более близкий мне, чем Савинков, Верховский сразу же оттолкнул меня от себя. В его уме было больше выдумки, чем мысли, в его энергии больше натиска, чем стойкости, в его правильных взглядах какое-то искажение правды. К тому же в нем чувствовался честолюбивый карьерист, который в стремлении к своей цели не будет слишком разборчив в средствах. По своему внешнему облику – аристократ, по своему внутреннему стилю – большевик, Верховский начал свою деятельность как типичный демагог. Его план, очевидно, заключался в том, чтобы опираясь на левый фланг революционной демократии, стать тем диктатором, которым Корнилов стать не сумел.

Вернувшись из Ставки, Верховский в начале сентября выступил перед Центральным исполнительным комитетом Совета и его солдатской секцией с программным докладом, в котором мало благородные нападки на несчастного Корнилова сочетались с сентиментальными сентенциями на тему о том, что здоровые начала в армии надо насаждать не пулеметами, а распространением в солдатских массах идей права и справедливости. В связи с этой идиллической программой, Верховский обещал товарищам новую чистку офицерского состава с целью замены всех старорежимных служак, как бы они ни были ценны с про

фессиональной точки зрения, безоговорочно преданными делу революции и демократии начальниками.

В прениях после этого доклада кто-то спросил Верховского об его отношении к смертной казни. Его не мужественное и

хитроумное уклонение от прямого ответа, со ссылкой на свою молодость и малоопыт-ность в политике, возмутило меня. Смотря на красивое, холодное, но одновременно и бредовое лицо готовящегося в Наполеоны якобинца, я ясно чувствовал, что этот молодой генерал или так скоро сорвется, что с ним идти не стоит, или так далеко пойдет, что с ним идти не след.

В ответ на мое прошение об отставке, Верхов-ский вызвал меня к себе для личных объяснений. Час был им назначен весьма неестественный – шесть утра. Смутно помню пасмурное, холодное утро, которым я шел от Исаакия в министерство по еще пустынному городу. На душе были тот же туман и свинец, что и в воздухе. В сердце ныла тупая боль, которую чувствую и сейчас: скорее смертельная скука, чем живая скорбь. Я был в те дни в какой-то летаргии.

Поздоровавшись, Верховский сразу же нервно и гневно обрушился на меня за мое нежелание работать с ним над оздоровлением армии. Он с горечью упрекал меня в том, что я покидаю его, зная до чего мало людей и что у него каждый человек на счету. Все, что он говорил, было правильно, но все же я чувствовал, что во всех его правильностях не было правды. Он говорил горячо, но я оставался холодным. Так мы и расстались.

Быть может, в моей твердости, кроме недоверия к Верховскому, сыграло большую роль то, что трагедия корниловского восстания окончательно раскрыла мне глаза на мою полную неспособность на такого рода политическую деятельность, которою я занимался в Политическом управлении.

Возвращаясь от Верховского в «Асторию», я, к своему стыду испытал радостное чувство возврата к себе самому: в правду и сущность своей подлинной природы.

В последние шесть недель, оставшиеся до большевистского переворота, я уже не принимал никакого участия в революции, а только издали созерцал ее в качестве редактора «Армии и Флота свободной России».

Диктуя по утрам передовые статьи, которые я к пяти часам привозил в редакцию, я отдавал себе ясный отчет в их полной бездейственности, а потому и ненужности: революция, очевидно, вступала в период, когда слова, независимо от их правильности и талантливости, теряли не только всякую власть над жизнью, но и вообще всякий смысл. Наступало время рассекающих решений и решающих действий. Это отвлеченно понимала буржуазия, которая, не действуя, настойчиво требовала действий от «главноуго-варивающего» Керенского. Лучше буржуазии это понимали большевики, с бешеною энергией рвавшиеся к своей цели. Правда, в Петроградском совете, в их главной цитадели, так

же днями и ночами лились многословные речи, как и во всех других учреждениях, но здесь они лились как масло в огонь действия – были настоящим действием.

На заседаниях Петроградского коммунального совета господствовала совершенно другая атмосфера, чем во Всероссийском, где все еще коноводили Цере-телли и его единомышленники.

Назвать заседанием то, что непрерывно творилось в Смольном, впрочем, никак невозможно. Это мирное, спокойное слово здесь неприменимо. Сборища Петроградского совета были не заседаниями, а столпотворениями. Здесь все находилось в движении, куда-то неслось, куда-то рвалось. Это была какая-то

адская кузница. Вспоминая свои частые заезды в Смольный, я до сих пор чувствую жар у лица и помутнение взора от едкого смрада кругом. Воля, чувство и мысли массовой души находились здесь в раскаленном состоянии. С подиума эстрады точно и злостно, словно удары молота на наковальню, падали упрощенные формулы и страстные призывы вождей международного пролетариата. Особенно блестящ, надменен и горяч был в те дни Троцкий, особенно отвратителен, нагл и пошл – Зиновьев. Первому хотелось пустить пулю в лоб, второго – растереть сапогом. Унижало чувство бессильной злобы и черной зависти к тому стихийно-великолепному мужеству, с которым большевики открыто издевались над правительством, раздавали купленные на немецкие деньги винтовки рабочим и подчиняли себе полки петроградского гарнизона. Конечно, задача большевиков облегчалась тем, что заодно с ними действовали и все низменные силы революции: ее нигилистическая метафизика, ее народно-бунтарская психология, требующая замирения на фронте и разгрома имущих классов, ее марксистская идеология, согласно которой задача пролетариата заключалась не в овладении государственным строем, а в окончательном разрушении его. Все это так, но надо все же признать, что в искусстве восстания, изучением которого особенно увлекался Ленин, большевики показали себя настоящими мастерами.

Полную противоположность Петроградскому совету представлял собою открытый Керенским 7-го октября Совет республики, так называемый Предпарламент.

Привлекши сразу же после победы над Корниловым в новое коалиционное министерство не только кадетов, но и представителей крупного промышленного капитала, Керенский не мог рассчитывать на

дальнейшую поддержку Всероссийского совета. Управлять же страной, не опираясь на организованное общественно-

политическое мнение, он не считал для себя возможным. В результате такого положения вещей и возник Предпарламент, созванный на приблизительно тех же основаниях, что и Московское совещание.

В Мариинском дворце, отведенном под новосоз-данное учреждение, был собран весь цвет русской интеллигенции. Направо сидели либеральные профессора, адвокаты, наиболее просвещенные промышленники, военные и духовные лица, кооператоры; налево – представители «государственно мыслящего социализма», правые эсеры и меньшевики-оборонцы – старые советские знакомые: Церетелли, Дан, Либер, Авксентьев, Гоц и др.

Все эти люди отдавали себе ясный отчет в том, что происходит в России, и прекрасно понимали, что нужно сделать, чтобы спасти ее. Но никто из них не знал, как сделать то, что сделать нужно, как найти точку приложения своей, направленной против большевиков, воли. Программные вопросы не вызывали больших разногласий, но вопросы тактики, раскалывая Предпарламент надвое, не давали ни одной из частей устойчивого большинства. Все были согласны, что надо предупредить захват власти большевиками. Но в то время, как цензовая Россия требовала вооруженной борьбы, социалисты все же надеялись сговориться. Большевики же, открыто готовя восстание против буржуазии и «лакействующего» социализма, не отказывались от переговоров с «лакеями», но, как господа положения, сознательно затягивали их.

Так пропускались последние сроки для разрыва с большевиками, с которыми социалистов Предпарламента ничего не объединяло, и для соединения с

либеральной буржуазией, от которой их кроме марксистской идеологии мало что отделяло.

Предпарламент – мое последнее впечатление от скорбной памяти «Февральской революции». Все дальнейшее – непонятный хаос, в котором я не участвовал, который я только претерпевал.

В утро переворота 17-го октября я с какими-то милыми и приятными мне людьми шел в Мариинский дворец. Надо было, перед тем как написать передовицу, посмотреть, что там делается. Хотя на то не было никаких оснований, я чувствовал себя бодро и легко.

Перед нами шло несколько солдат, за которыми, как собачки на цепочках, катились по пятам пулеметы. Ни мне, ни моим спутникам не пришло в голову, что это верные Троцкому Кексгольмцы направляются в Мариинский дворец, чтобы разогнать Предпарламент, демонстративно покинутый

большевистскими представителями уже на второй день после его созыва.

Разгон почтенного учреждения произошел тихо и благородно, так как на его защиту не поднялось ни одной вооруженной руки. К удивлению самих депутатов, они не были арестованы, а просто распущены по домам. Лишь я, не бывший членом Предпарламента, да еще кто-то случайный, были взяты под стражу и препровождены в казарму Кексгольмского полка.

В светлой комнате, в которую меня ввели, сидело человек 15-20 самых разнообразных людей: несколько офицеров, несколько холеных буржуев, бедно, но чистенько одетый старичок, с перепуганными глазами и бороденкой клинушком, и типичная мать-командирша, толстая, кирпичного цвета мещанка-лавочница. Последнюю особо хорошо помню, так как, сидя рядом со мною, она словоохотливо пыталась втянуть меня в свое возмущение: «Скажите, пожалуйста,

и откуда они такие взялись, что против них и слова сказать нельзя?». Я благоразумно отмалчивался.

Хорошее настроение, в котором я был с утра, не покидало меня и в казарме. Зная большевиков, я имел полное основание предполагать, что они со мною церемониться не будут, но это трезвое сознание почему-то не превращалось в неприятное чувство. Предстоящий допрос меня не беспокоил. Я почему-то был уверен, что отверчусь.

Допрос подвигался медленно. Вероятно, арестованных было много и кроме нас. В ожидании вызова я просидел более трех часов.

Когда меня ввели в комнату, сидевшие за длинным столом подвыпившие солдаты, представлявшие собою, очевидно, некий революционный трибунал, встретили меня дружным громким хохотом: «Экого полосатого бобра поймали»…

То, что меня после допроса отпустили домой, а не бросили, как товарища военного министра, князя Туманова, в Мойку, я не могу не считать счастливейшею случайностью моей жизни. Но что есть случай? Быть может только атеистический псевдоним чуда?

Спасшее меня чудо началось с того, что за несколько недель до переворота мне до того опротивела военная форма, что я попросил Наташу съездить в Москву и привезти мне штатскую одежду. Поездка по железной дороге представляла собою в то время величайшие трудности и даже опасности. Наташе только чудом удалось привезти мне вещи. На обратном пути в ее вагоне загорелась ось. Темною ночью, посреди открытого поля ей пришлось перебираться в другой вагон. Лишь с громадным

трудом и волнением, изнемогая от тяжести огромного чемодана, вскарабкалась она с насыпи на площадку уже двигавшегося вагона, где и простояла всю ночь на страшном сквозняке, так как окна были разбиты.

Когда я узнал обо всем этом, я не мог простить себе своей привередливости. Но эта жестокая по отношению к Наташе затея спасла меня от тюрьмы, а может быть и от смерти. Слова, которыми меня встретил трибунал, относились к моей, непривычной для русского глаза, светло-серой английской шубе в косую черную полосу. Рассмешив своим видом моих судей, я тем самым уже наполовину выиграл дело. Остальное довершила моя прибауточная оправдательная речь, в которой моя чудная штатская шуба играла роль вещественного доказательства моего миролюбия. Говорил я что-то о наших черно-белых пограничных столбах, которые революция повырывала, чтобы на земле стало привольно жить, о себе самом, как об остолбеневшем полосатом чорте. Нес я, одним словом, явную недостойную чепуху, но говорил, очевидно, забавно. Солдаты покатывались со смеху и поддакивали мне. Кончилось тем, что со словами: «Иди, полосатый чорт, но смотри, в другой раз не попадайся», меня отпустили на свободу.

За те четыре часа, что я провел в казарме, Петроград окончательно утратил свой мирный, утренний облик. На улицах не было и следа обывательской жизни. Пустынные, они как бы ждали событий. Чувствовалось, что где-то, в каких-то тайных центрах, готовится что-то большое и страшное. Было жутко идти. Не нарушая, а подчеркивая пустынность улиц, проносились набитые солдатами грузовики. Неожиданно появилась какая-то храбрая извозчичья пролетка. В ней сидели: присяжный поверенный Редкозубое и редактор «Утра России», Раевский. Увидав меня, они на минуту приостановились и сообщили, что большевики уже обстреливают «Асторию». Беспокоясь за Наташу, я со всех ног помчался домой.

К счастью, на площади перед «Асторией» были сложены заготовленные на зиму дрова. Пробираясь

между ними под треск пулеметов, я подкрался к гостинице и, выждав тихую минуту, бросился в подъезд.

Большинство постояльцев толпилось в коридорах. Тут же в шляпе и шубе стояла Наташа. Всеми командовал и всем распоряжался офицер «Дикой дивизии», князь Нестор Эристов. Он был бледен, гневен и очень красив. Клялся, что офицеры женщин не выдадут и живыми большевикам в руки не дадутся.

Попортив пулеметным огнем штукатурку гостиницы и разбив несколько окон, большевики внезапно прекратили обстрел

«контрреволюционного гнезда». Мы ждали появления войск, обысков, арестов. Но всего этого почему-то не последовало.

К вечеру этого же дня мы решили пойти в Городскую думу, где, по слухам, организовывалось какое-то сопротивление «захватчикам власти». Пришли и увидали, что оппозиционеров много, а организации никакой – одна суета, растерянность и безголовость. Кому-то пришла в голову нелепая мысль двинуться к Зимнему дворцу, в котором, охраняемое юнкерами, но уже окруженное большевистскими отрядами, находилось Временное правительство. Бессмысленность предложения была всем ясна, но так как оно давало выход общему волнению и жажде действия, то оно было принято. Шли по старой революционной привычке шеренгами, подцепив друг друга под руки. Рядом со мною шагал редактор «Северных записок» Сакер.

На Невском безоружную демонстрацию остановил большевистский патруль и потребовал, чтобы мы разошлись. В ответ на требование кто-то обратился к матросам с укоризненной речью, неужели-де они не понимают, что позорят революцию и предают свободу. В ответ раздалась грубая брань и угроза, что будут стрелять. Солдаты для острастки вскинули ружья. Тогда тот же голос, что стыдил товарищей, с до

191

стоинством произнес ту трафаретно-сакраментальную формулу: «мы уступаем физической силе», которая была сказана и в Предпарламенте. После этого все покорно повернули обратно. Было бесконечно стыдно, точно тебя высекли…

Не могу сказать, было ли в Петрограде достаточное количество сил, чтобы оказать большевикам успешное сопротивление, но во всяком случае их было не мало. Несчастье заключалось лишь в том, что они были не организованы и никем не руководимы.! Штаб округа бездействовал. А действовать можно было без большого^ труда и с надеждой на успех, так как сознательность и стойкость перешедших на сторону большевиков войск были невелики.

Офщеры Политического управления, желая хоть что-нибудь предпринять, решили ночью проверить большевистские посты у мостов на Неве. После поверки они пришли ко мне. По их рассказам, на постах стояли совсем еще неотесанные молокососы, которых им ничего бы не стоило снять с дежурства. Рассказывая это, всегда спокойный Балашевский взволнованно требовал от меня, чтобы я как-нибудь пристроил его с товарищами к какому-нибудь настоящему делу: нельзя же, будучи при оружии, сложа руки смотреть, как большевики захватывают власть.

Я от души сочувствовал Евгению, но ничего другого

предложить ему не мог, как отправиться в только что организованный Комитет спасения родины и революции, рассказать там о своих впечатлениях и попросить у председателя Авксентьева немедленно же дать ему и его друзьям какое-нибудь ответственное задание.

Полные негодования и недоумения вернулись Балашевский с товарищами из Комитета спасения. От Авксентьева, этого «барана с львиной головой», им ничего не удалось добиться, кроме как предложения

оставить на всякий случай свои адреса в секретариате: в случае нужды офицеры будут немедленно вызваны. Мне Авксентьев просил передать просьбу как можно скорее зайти в Комитет для составления какого-то воззвания. Воззваний было и так довольно, и я не пошел.

Этот рассказ – не обвинение Авксентьева. Я и сам в те решающие часы абсолютно ничего не делал. Антибольшевистских сил в Петрограде было довольно, но возможности их применения, благодаря политике Временного правительства, ни у кого не было и быть не могло. Деятельный Станкевич попытался было с ротою юнкеров отбить у большевиков телеграфную станцию, но это предприятие кончилось полною неудачею…

О положении правительства в Зимнем дворце до нас не доходило никаких сведений. По городу ходили самые страшные слухи. Войска, за которыми Керенский уехал на фронт, все еще не прибывали. В том, что они так и не прибудут, людям, убедившимся в корниловские дни в полном нежелании фронтовиков за кого бы то ни было проливать свою кровь, сомневаться не приходилось.

Когда крейсер «Аврора», матросы которого за всю войну не нюхали пороха, вошел в Неву и направил свои дула на Зимний дворец – стало ясно, что всё кончено.

Вскоре ли после этого, или лишь через несколько дней, не помню, время и неслось и ползло одновременно, в «Асторию», которую мы все еще не покидали, несмотря на опасность пребывания в ней, были введены войска. Обыск был произведен неожиданно корректно. У меня отобрали только револьвер и взяли подписку о невыходе из гостиницы. Эта подписка послужила нам последним сигналом. Было ясно, что большевики скоро вернутся за мною. Туго набив

кобуру газетною бумагою и впервые за всю революцию прицепив красный бант, который Наташа наскоро смастерила из какого-то лоскутка, я почувствовал себя достаточно вооруженным для предстоящей борьбы с часовым у входа.

Перед тем, как выйти из номера, мы простились друг с

другом, как перед долгой разлукой, и совсем налегке, без вещей, тихо двинулись по лестнице: казалось, что всюду засады.

Спускаясь с последней площадки, мы увидали стоявшего в вестибюле часового. В дверях, неприятно задрав вверх по лестнице свое злое дульце, угрожающе торчал пулемет.

Вынув из обшлага шинели какую-то бумажку с печатью, долженствовавшую играть роль пропуска, я сознательно замедлил шаги, чтобы с наивозможно независимым видом подойти к часовому. Подойдя, я махнул перед его носом фальшивкой и быстро двинулся вперед. Заградив нам путь винтовкой, совсем еще молодой солдат твердо заявил, что никого выпускать не приказано. Я не знаю, как бы мы выбрались, если бы на меня внезапно не накатилось то бешенство, которое уже не раз спасало меня.

Оттолкнув солдата, я так зверски накинулся на него, так дико и безобразно принялся распекать его, что он опешил и опустил винтовку. В ту же минуту Наташа перепрыгнула через пулемет, я за ней. Выскочив на площадь и пробежав несколько саженей, мы спрятались за те же спасительные дрова, между которыми я несколько дней тому назад пробирался к «Астории». Убедившись, что погони нет, мы с радостным чувством миновавшей опасности, направились на Васильевский остров, где у своих родственников проживал мой приятель по 12-й бригаде.

По Петрограду шли грабежи. Обитатели дома решили организовать самооборону. Так как мы с Паске вичем были единственными военными людьми, то чуть ли не каждую ночь мы и просиживали с одиннадцати до рассвета в воротах нашего небольшого двухэтажного домишки.

Из-за Невы грозил вражий Петроград, уже окончательно отданный большевикам; оставалась еще слабая надежда на Москву, куда мы собирались перебраться при первой возможности. Ходили слухи, что она еще сопротивляется. Поддерживая друг в друге эту последнюю надежду, мы в глубине своих душ этим слухам не верили: слишком много было пережито разочарований.

Когда вдали раздавались шаги, мы выскакивали из дворницкой будки, в которой прятались от непогоды, и с унизительною тревогою всматривались в тускло освещенную далеким фонарем улицу. До чего все было иначе на наблюдательном посту в Галиции: чисто, честно и достойно. Эту разницу чувствовал не только я, но и такой безоговорочный пацифист, как Паскевич. Боже, сколько прекрасных людей, сколько верных товарищей пало в Галиции и под Ригой: и чем же всё кончилось – проиграна война, посрамлена Россия…

У Паскевича оставалась еще вера, что, захватив власть, большевики опомнятся, смягчатся, у меня ее не было. Мысля в политических категориях, он видел в большевиках прежде всего левых социалистов, ˆыс-ля в образах, я видел в них «бесов». Минутами это разночувствие невольно бросало легкую тень на нашу фронтовую дружбу…

В вечер нашего отъезда в Москву, на Николаевском вокзале царил неописуемый хаос. Вся предвок-зальная площадь была залита серо-шинельной солдатчиной; каменной глыбой темнел среди этого моря тяжелый памятник Александру Ш-му.

В дверях вокзала, как в водовороте, крутились

вливающиеся и выливающиеся из него массы. Узнать, какие куда идут поезда, не было никакой возможности. Сквозь густую толпу, над которой висели ругань и вонь, беспрестанно проталкивались то к закрытым кассам, то к запертым выходам на платформу солдатские ходоки, тщетно пытаясь чего-нибудь добиться. Граница между залами и буфетами разных классов была снята, всюду стояла, сидела и лежала одна и та же солдатская толпа. Лишь в буфете первого и второго классов у самой стойки ютилось еще несколько покрытых грязными скатертями столиков, за которыми последние буржуи, мужественно охраняемые лакеями, за громадные деньги доедали последние котлеты из конины.

Толпа нервничала, в ней то и дело возникали слухи, что сейчас подадут состав.

Тогда все со злою решительностью, давя друг друга, начинали протискиваться к выходу. Слухи оказывались ложными и народ опять валил обратно.

Наконец, состав все же подали. Когда солдатская волна вынесла нас на платформу, поезд оказался уже до отказу набитым солдатами, которые штурмом брали вагоны, подсаживая друг друга в разбитые окна и помогая взбираться на крыши.

Нам ничего не оставалось, как вернуться на старое место и ждать следующего поезда, может быть и до утра. Просидев час-другой, я решил отправиться на разведки. Наташа осталась сидеть на чемодане. После долгих поисков мне удалось найти носильщика, который за очень большие деньги обещал тайком посадить нас в следующий поезд: вероятно, у него были свои связи с кассой и с кондукторами.

Когда я в радостном чувстве достигнутого успеха возвращался к Наташе, внезапно погасло электричество. Движение, шум, говор, ругань – все сразу оборвалось и наступила гробовая тишина… Толпа инстинк

тивно чувствовала, что если она не замрет, то наступит

столпотворение.

Эта невидимая, почти неощутимая толпа, в которой я час простоял без движения, была еще более гнетуща и грозна, чем только что шумевшая и волновавшаяся.

Носильщик не обманул меня. Часа через два он внезапно появился у столиков и, не говоря ни слова, повел нас через кухню буфета какими-то задворками на запасные пути; там он посадил нас в еще не освещенный пустой вагон первого класса.

Когда поезд пойдет, носильщик сказать не мог, но нам это было и не важно. Величайшим наслаждением было уже то, что можно было лечь и в тишине отдохнуть от физической маяты и нравственной муки последних дней.

Было, помнится, около полуночи, когда наш таинственный поезд, состоявший из нескольких вагонов первого и второго классов, неожиданно вздрогнул и тихо, как бы с нечистою совестью, без всяких звонков и свистков тронулся в путь.

На следующее утро разнесся слух, что дальше не пойдем. Но, очевидно, какие-то таинственные силы были за нас; после часовой стоянки на какой-то станции нас везут дальше.

Подъезжаем к Химкам. В прозрачном воздухе неожиданно светлого после петербургской хмури и грязи дня, вереницею плывут забитые на зиму подмосковные дачи. За заборами, рядом с уже оснеженной хвоей, кое-где еще краснеет последняя рябина. Мир, тишина, безлюдье.

Я смотрю на все это совсем новыми глазами, словно удивляюсь тому, что все это привычное, милое, тихое еще существует на свете.

Наташа с волнением смотрит в окно: ей очень хочется показать мне дачу, в которой много лет жили

ее родители. «Вот», – торопливо восклицает она и радостно показывает мне на стоящую на высоком берегу реки почти скрытую густым садом дачу.

Смотря на ее просветлевшее и затихшее лицо, я живо представляю себе ее двенадцатилетним подростком, неспешно расцветающим в кругу крепкой дружной семьи. Как мне хотелось бы показать ей Кондро-во, в котором протекло мое незабвенное детство. Образы прошлого с такою силою завладевают душой, что в ней внезапно подымается радостная уверенность, что мы скоро вернемся в свою настоящую жизнь.

Москва. Чья она и как то она нас встретит? Невольно оглядываясь по сторонам и на все готовые, мы с опаскою выходим из вагона. На первый взгляд все как будто бы в порядке. Никаких солдат, постов, никакой проверки документов. Выходим на площадь. Кроме небольшого числа приехавших с нами

пассажиров – ни души. Город как мертвый. Лишь от Казанского вокзала, наискось пересекая площадь, трусит порожний извозчик.

Боясь, что его у нас перехватят, я со всех ног бросаюсь к нему. Сначала старик отказывается везти нас на Тверскую – больно близко к Совету, как бы чего не случилось, но потом, соблазняясь ценою, соглашается. Дорогой рассказывает: «два дня носу нельзя было показать на улицу, до того пуляли, а нонче с утра затихло. Слышно, товарищи одолевают, хотя юнкера в Кремле еще держатся».

Я стараюсь выведать подробности и узнать на чьей стороне народ, но мне это не удается, старик отмалчивается, очевидно он очень перепуган.

Во избежание задержки на Тверской, мы въезжаем с переулка прямо во двор, быстро расплачиваемся и бежим наверх.

Серафима Васильевна вскрикнув и густо покраснев со слезами выбегает в переднюю. За нею, как всег

да медленный и спокойный, но с расширенными от волнения горячими глазами, выходит Николай Сергеевич. Вслед за родителями появляется и вся семья.

После горячих объятий, поцелуев, приветствий, радостных восклицаний, вопросов, идем в столовую, где несмотря на поздний час, все еще кипит самовар. За чаем мы беспорядочно рассказываем о последних днях Петрограда, о которых в Москве достоверно ничего не было известно. Родители страшно беспокоились за нас и бесконечно рады, что мы вырвались… Они тоже натерпелись страху, особенно когда с колокольни Страстного монастыря начали стрелять из пулеметов и вся Тверская была оцеплена большевиками.

Несмотря на все бывшие и ждущие нас в будущем ужасы, мы с чувством давно не испытанного покоя сидели за большим столом. После страшного, призрачного, безбытного для нас Петрограда, после ненастоящей жизни в безличной «Астории», набитой военными и шпионами, здесь, в родном кругу, в своей Москве, все казалось таким надежным и прочным.

Не довольно ли в самом деле великих исторических событий, в которых, быть может, и нет ничего великого? Не пора ли домой: в тесноту и тишину своего быта, в высоту и глубину подлинного бытия. Уже четвертый год, как я не живу среди своих стен, не слышу по вечерам Наташиного рояля, не беседую со своею стареющею матерью, которая все более и более тоскует по мне, ничего настоящего не читаю, ничего не пишу.

Вечером, сидя на сафьяновом турецком диване наташиной девичьей комнаты, на котором уже много раз решались самые важные вопросы нашей жизни, мы долго думали и говорили о

том, как жить дальше. Изредка слышались ружейные выстрелы, иногда сухо трещал пулемет. Все это напоминало о действитель

ности, о той страшной опасности, в которой находилась Россия. Все это обязывало к продолжению борьбы. И все же мы твердо решили, что я от политической борьбы отойду, так как я явно не создан для нее.

Будущее это решение отменило. Помимо моей воли, вся моя дальнейшая жизнь встала под знак борьбы с большевиками.

Разрушители не только политического строя, но и всего духозно-плотяного образа России, провозвестники не только религии социализма, но и воинствующего безбожия, большевики с такою беспощадною страстностью начали борьбу за свой новый мир, что уйти от этой борьбы было некуда. Ни быт, ни бытие не спасали.

18 октября 1943 года.

Глава II ОКТЯБРЬ

Монументальность, с которою неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнимо разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: «да будет так».

Да будут солдаты дипломатами и да заключают они на собственный риск и страх перемирие с неприятелем…

Да будут рабочие контролерами промышленности: пусть раскрывают торговые книги фабрикантов, пусть сами устанавливают размеры производства и цены на фабрикаты.

Да будут бедняки хозяевами земли.

Да перейдут помещичьи земли в распоряжение земельных комитетов.

Да будут народы России хозяевами своей судьбы: если им мало самоопределения в пределах России, пусть отделяются от нее.

Да будут школьники хозяевами школы: пусть их коллективной воле подчиняются учителя и родители: в детях, а не в стариках залог счастья грядущего мира.

Да будут художники глашатаями будущего.

Да здравствуют футуристы, ломающие старые формы искусства, как революция ломает формы старого быта.

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм.

Декреты оглашались один за другим, но коммунизма не получалось.

В ответ на ленинские «да будет так», жизнь отвечала не библейским «и стало так», но всероссийским «и так не стало». Перенесенное в плоскость человеческой воли творчество из ничего не созидало новой жизни, а лишь разрушало старую.

Увидав это и испугавшись сделанного, большевики решительно переменили курс. Как бы вспомнив победоносцевское: «Россию надо подморозить», они отказались от своего анархо-коммунистического за-конодательствования и повели энергичную борьбу за централизацию и бюрократизацию власти.

Под наркозом соответственно измененной агитации началась быстрая демобилизация всякой власти на местах. Рабочий контроль был перемещен в «главки». В Москве появились всевозможные «главбумы», «главлесы», «главсахары» и т. д. Власть

волостных земельных комитетов была сильно урезана. Власть в школах была возвращена учителю-коммунисту, а в армии комиссару и красному офицеру. Национальностям, входящим в состав России, было объявлено, что самоопределяться вплоть до отделения могут только свободные, т. е. управляемые коммунистическими советами народы. Практически это означало, что отделяться от Р.С.Ф.СР. имеют право лишь те национальности, которым и в голову не может придти отделиться от Красной Москвы. За желающими же отделиться нациями это право признано быть не может, так как принцип интернационала не совместим с пережитками мелкобуржуазного национализма.

Под знаком этой своеобразной, но вполне последовательной, с большевистской точки зрения, логики, большевики и начали свое кровавое собирание грозив

шей распасться России, оправдывая своей политикой мудрое слово Жореса, что малая доля интернационализма удаляет от национализма, а большая – возвращает к нему.

Нельзя сказать, чтобы новая, бюрократически-централизованная система управления устраивала бы жизнь лучше анархо-коммунистической. На починку сарая мужику в «Главлесе» было еще труднее получить тесу, чем в «Волисполкоме». Бумага «Главбумом» отпускалась исключительно на партийную литературу. О сахаре в России в те времена никто и не мечтал.

Управу на продолжавшую произвольничать местную власть в высших инстанциях можно было найти только тому, у кого в Москве были личные или партийные связи. Людям без связей лучше было и не соваться в центр, так как вокруг «красных» председателей всевозможных «главков», красных директоров и даже красных писателей и ученых сразу же начала слагаться такая густая атмосфера интриг, доносов, шпионажа и взяточничества, что было трудно дышать и страшно двигаться. Со дня на день креп террор, людей преследовали не только за их деяния и мысли, но и за их бездейственное, немое бытие. Смертные приговоры выносились и приводились в исполнение не в порядке наказания за преступление, а в порядке ликвидации чужеродного и потому не пригодного для социалистического строительства материала. Помещики, буржуи, священники, кулаки, белые офицеры так же просто выводились в расход, как в рационально поставленных хозяйствах выводится в расход одна порода скота ради введения другой.

Под угрозою этого хладнокровного, рационального террора во всей не пролетарской России начался небывалый по своим размерам процесс внутреннего и внешнего перекрашивания в

защитный цвет революции.

Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих помещичьих усадеб, городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой миросозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищалых, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою в качестве служащих, а зачастую даже и руководителей всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные «товарищи» легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других. Нет сомнения, что безликий и вездесущий шпионаж был самою страшною стороною террористической системы большевизма. Сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого «чекиста».

Несмотря на этот ужас, в нашей советской жизни первых лет было нечто, по своей значительности, весомости, а минутами даже и просветленности решительно несравнимое со всем, что мы переживали до революции в России и после нее в Европе. Быть может, В. В. Розанов наиболее точно указал на это ни с чем несравнимое, назвав свои записки о советской жизни «Апокалипсисом нашего времени». Действительно, в первые годы большевистской революции во всех кругах было чувство, что старый мир кончился и что на смену ему идет новое и небывалое.

Для коммунистов кончилась «предистория» и началась история, кончилось царство буржуазии и началось царство социализма, кончилось царство необходимости и началось царство свободы, в которое они, следуя известному слову Маркса, стремились не постепенно перейти, а мгновенно «переброситься».

Антибольшевистской Россией события воспринимались, конечно, иначе. Православному сознанию и ис-поведничеству большевизм представлялся не началом истории, а ее концом, не утреннею звездою грядущего светлого царства, а вечернею зарею запутавшегося в грехах мира. Многие ощущали Ленина антихристом и ждали Божьего суда. В гонимых церквах звучало «покайтесь» и в сердцах, наперекор творящемуся ужасу, крепла вера в новое небо и новую землю.

Неравная борьба этих в духе непримиримых, но в жизни сложно переплетавшихся апокалипсисов определяла собою и внешний быт и внутренний смысл эпохи. Марксистская эсхатология злобно разрушала привычную жизнь и изо дня в день изменяла и перепла-стовывала древний образ России.

Христианская, поскольку у нее хватало сил, осмысливала это разрушение углубленным созерцанием его, неведомого большевикам, сверхисторического смысла.

Насколько страшны были первые годы революции классоненавистническим растлением общества и революционным перекрашиванием России, настолько же значительны они были тем, что все вещи, чувства и мысли начали постепенно обнаруживать свой удельный вес, входить в истину своей сущности, своего подлинного значения. Не только верующим, но и неверующим становилась понятной молитва о хлебе насущном, так как вся Россия, за исключением большевистской головки, ела свой ломоть черного хлеба как вынутую просфору, боясь обронить хоть крошку на пол. Тепло, простор, уют исчезли из наших квартир, но в новых, часто убогих убежищах глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головою. Маленькие железные печурки, по прозванию «буржуйки», вокруг которых постоянно торчали холод и голод, благодарно и первобытно ощущались почти что священными очагами жизни. По всей линии

разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось и тем преображало нашу жизнь. Сквозь внешнюю оболочку вещей всюду видимо проступали заложенные в них первоидеи. Насаждая грубый материалистический марксизм, большевики, вопреки своей воле, возрождали платонизм и прежде всего, конечно, в сфере внутренней жизни.

В свете «красной звезды» всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего.

Распознавание сущности становилось жизненною необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя.

В нашей внешней до убожества упрощенной жизни в те дни на каждом шагу совершались сложнейшие нравственные процессы, руководить которыми не могли ни привычные точки зрения, ни унаследованные нормы. Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания «духов». Жизнь на «вершинах» становилась биологическою необходимостью; абсолютное «бытие»

переставало быть возвышенным предметом философского созерцания и поэтического вдохновения, с каждым днем оно все больше становилось единственно возможною опорою нашей каждодневной жизни. Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою судьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверен

ным, что близкий человек не предаст тебя на допросе и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его.

Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельною серьезностью и первозданным значением.

Это вынужденное восхождение душ – о, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России – к вечным ценностям глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории.

В центре и на окраинах высились недостроенные дома, леса и стены которых быстро разбирались населением на разные домашние нужды, главным образом на дрова и печки. Тут время текло не вперед, а как бы вспять. По-новому ощущались и пространства Москвы. По всему городу, в особенности же в кольце Садовых, просторными пустырями переливались через растасканные заборы, еще Герценом прославленные, московские дворы. По этим просторам в разные стороны разбегались утоптанные тропки, по которым с утра до ночи с оглядкой спешил нагруженный кладью люд. На предвокзальных площадях «древними кочевьями» темнели толпы народа, сутками ожидавшие отхода поезда. Изредка, по заваленным мусором улицам проходили непривычные для городского глаза крестьянские обозы, запряженные мелкорослыми тощими лошаденками. По ночам от всеобщего беспорядка часто горели деревянные окраины города. Тогда казалось, что Москва бежит от француза и спасаясь сжигает себя.

Особенно призрачною бывала Москва зимою: сравненные с мостовой тротуары, суженные снежными заносами улицы, целые сугробы на площадях и особенно на ветреных перекрестках; фонари не горят, окна

темны. В Кремле злой и таинственный враг. В белесой от снега темноте изредка слышатся торопливые шаги запоздалых прохожих.

Помню, как мы с Наташей возвращались однажды ночью с Арбата на Тверскую. Может быть, потому, что уж очень призрачен и мертвенен был лунный свет, идти было страшнее чем обыкновенно. Шли мы озираясь, нет ли где за углом чекиста-

опричника, или просто пьяного хулигана с наганом за пазухой. Вдруг позади послышался скрип полозьев. Мы невольно остановились пропустить сани. Когда с нами поровнялись горой нагруженные розвальни, мы с ужасом увидали, что из-под прикрывающего кладь брезента торчат голые человеческие ноги…

За годы военного коммунизма всего нехватало в Москве. Люди тысячами умирали с голоду, от тифа и «испанки». Очереди на гроба были так же длинны, как на хлеб. Только одного было вдоволь – трупов в анатомическом театре. По свидетельству известного врача, у большинства из них были прострелены затылки.

Таков был апокалиптический круг, в котором протекала наша жизнь. Описывая ее, я в дальнейшем буду сознательно оставлять в тени ее кровавые ужасы. Ужасами теперь никого не удивишь: подлинный, инфернальный ужас нашей нынешней жизни в том и заключается, что мы окончательно перестали ужасаться творящемуся в мире безумию.

Величайшая разница между национал-социалистической и большевистской революциями заключается в том, что национал-социалисты все заранее продумали, большевики же в техническом отношении переворота не подготовили. Национал-социалисты пришли к вла

сти с готовыми списками министров, гаулейтеров (губернаторов) и всех остальных, более или менее важных государственных чиновников и партийных руководителей. В портфелях этих будущих правителей задолго до переворота лежали детально разработанные планы постепенных мероприятий по переустройству либерально-парламентарного государства в однопартийную диктатуру вождя – Гитлера. Революционный беспорядок длился в Германии всего только несколько дней. С тревогою «древнего хаоса», которая охватила Россию осенью 1918-го года, немецкий беспорядок не имел ничего общего. Это был тот простой профессиональный беспорядок, что неизбежен на всякой фабрике во время расширения дела и установки новых машин. Наскоро установив свои идеологические двигатели и повсюду проложив свои узкоколейные организационно-административные рельсы, национал-социалисты так быстро вынесли сор и вымели двор, что приехавшему извне человеку никак нельзя было догадаться, что в Германии только что произошла величайшая революция.

Казалось бы из такого положения вещей должна была бы вытекать гораздо большая, чем в большевистской России, свобода. На самом же деле получилось как раз обратное. По

крайней мере год в большевистской Москве можно было говорить и творить вещи, за которые в Германии тебя сразу же посадили бы в концентрационный лагерь. Объясняется это, конечно, не большею либеральностью большевиков, а тем, что в насквозь проорганизованном гитлеровском государстве властям все до последней мелочи было видно и слышно. В России же, благодаря недохвату пригодных для управления людей, долгое время царил такой хаос, в котором осмотрительному человеку было возможно укрыться от глаз Чека.

Удайся Ленину сразу же на немецкий лад про

зрачно заморозить Россию, никому из помещиков, буржуев и политических противников большевизма не удалось бы пережить первого периода революции. Спасибо марксизму за его теорию необходимого разрушения буржуазно-государственного аппарата. Не последуй Ленин этому учению, ему было бы легче скрутить непокорную Россию. Но он последовал. Сразу же разрушил недоразрушенные Временным правительством учреждения и принялся все строить заново. Наскоро созданный им партийно-государственный аппарат работал решительно, но технически из рук вон плохо. Его беспомощность и была нашею свободою. Каждую минуту можно было быть ни за что расстрелянным, но одновременно было возможно безнаказанно не исполнять прямых приказаний власти.

Вслед за правительством, переехавшим в Москву в феврале 1918-го года, перебрались в нее один за другим и центральные комитеты политических партий. Несмотря на то, что торгово-промышленникам, кадетам и социалистам развертывающиеся события представлялись в весьма разном свете, была сделана попытка создать общий фронт борьбы против большевиков. Уже с ранней весны начал свою деятельность ряд контрреволюционных организаций: «Союз общественных деятелей», «Национальный центр», «Союз возрождения России». Зная по наслышке об этих политических объединениях, я и сознательно и бессознательно держался в стороне от них. Не то, чтобы я отрицал возможность всякой борьбы, возможность как будто была (усиливались слухи, что избалованный большевиками петроградский гарнизон не надежен, что кронштадтцы требуют отставки ленинского правительства, что петроградская конференция рабочих вынесла резолюцию с постановлением передачи власти Учредительному Собранию, что на юге крепнет добровольческая армия), но я уже не верил ни

в себя, как политического деятеля, ни в политические способности разогнанных большевиками сил. Мне казалось, что люди, не сумевшие удержать так легко доставшуюся им власть,

вряд ли смогут вернуть себе ее при гораздо более сложных обстоятельствах. В те дни мною владела уверенность, что чашу большевистского яда России придется выпить до дна.

Даже с Савинковым, появившимся в Москве в качестве представителя добровольческой армии, я решил не встречаться, хотя меня и очень тянуло к нему. Быть может, я инстинктивно боялся влияния этого обаятельного для меня человека, боялся того, что он поколеблет во мне решение уйти от активной политической борьбы.

Избегая Савинкова, я охотно встречался с его помощниками, моими товарищами по фронту, которые часто заходили к нам поесть, переодеться, выспаться. От них я знал, что Савинков держит себя в Москве с вызывающею храбростью: ходит по улицам в черном френче и желтых сапогах, утверждая, что это не очень опасно, так как любой большевистский чекист при встрече с ним первый постарается скрыться.

Летом 1918-го года, когда Савинков собирал свою офицерскую рать для поднятия восстания в ряде окружающих Москву городов, о чем я знал очень глухо, большевики объявили регистрацию бывших офицеров. Вопрос – идти ли мне на регистрацию, или нет, был одним из самых трудных вопросов, что мне пришлось решать за свою советскую жизнь.

Было ясно, что большевики заинтересованы не в пополнении рядов красной армии контрреволюционным элементом, а в прекращении его просачивания в ряды Добровольческой армии и савинковского Союза защиты родины и свободы. В то, что явившиеся будут расстреляны, тогда еще не верилось, но в том,

что все явившиеся будут арестованы, сомневаться не приходилось. Не идя, можно было проскочить, но в случае ареста приходилось считаться с расстрелом за неявку, особенно мне, ввиду той активной роли, которую я играл в министерстве Керенского. Придти к какому-нибудь решению на основе рациональных соображений было невозможно. Но идти было до того противно и стыдно, что я, не долго думая, решил не идти, будь что будет. Наташина интуиция не оспаривала моего решения, а скорее присоединялась к нему. Наше решение оказалось правильным: ни один из пошедших на регистрацию знакомых офицеров не вернулся обратно. Я же в сутолоке событий был забыт. Были ли забыты и другие не явившиеся, мне неизвестно. В то время все жили и действовали в одиночку, на свой личный риск и страх.

В моей памяти, как вероятно в памяти каждого человека, хранятся часы, как будто бы незначительные, на самом же деле

исполненные глубокого значения.

Что было? В сущности ничего, кроме того, что за несколько дней до регистрации офицеров мы с Наташей и Евгением Балашевским пошли в «Эрмитаж» послушать знаменитую шведку Эмми Гистэд, которою в то страшное лето вместе со многими москвичами увлекался и Евгений.

Перед началом спектакля мы ужинали в саду. Был самый обыкновенный летний вечер, как всякий летний вечер в городе, томительно скучный. Над пыльною зеленью сада, над праздно фланирующей по дорожкам серою публикой лениво проплывали бесцветные облака. С открытой сцены, не веселя души, неслись веселые звуки вальса, а с улицы слышались звонки трамваев и ленивое цоканье извозчиков.

По террасе, некогда первоклассного ресторана, привычно суетились половые, разнося по столикам жалкое подобие знаменитого салата «Оливье», названного так по имени его изобретателя, попавшего в русский плен солдата наполеоновской армии. Запивая салат времен Наполеона кавказским вином, мы полушопотом говорили о судьбе великих исторических деятелей. Окажется ли Ленин великим и что останется от него? До сих пор помню острую боль этого разговора. По некоторым темным намекам я догадывался, на какое трудное и страшное дело решился Евгений. Любуясь им, его молодою верою, его готовностью на всякую жертву, я все же с грустью слушал его: веры в то, что поединок Савинкова с Лениным кончится победою Савинкова, во мне не было. Дать это понять Евгению казалось недопустимою жестокостью, утаить же свои сомненья – нечестностью перед другом, с которым было так много пережито на галицийском фронте, просветленные воспоминания о котором и в этот смутный вечер ни на минуту не отходили от нас. Да как им было и отойти? Ведь Ба-лашевский решился на борьбу до конца не как демократ, а как офицер, не ради восстановления прав разогнанного Учредительного Собрания, а ради того, чтобы отомстить большевикам за всенародное поругание чести русской армии.

Театр был полон. Ни проигранная война, ни попранная свобода, ни свирепствующий террор, ни надвигающийся на страну голод, ни даже все это взятое вместе, не было в силах убить в людях древней жажды зрелищ и наслаждений. Остра была эта жажда и в Евгении. Восторженно смотря своими горячими, скорбными глазами на прелестную смуглую женщину в желтом, которая танцевала и пела на сцене, он почтительно ухаживал за Наташей, которая с первой же встречи покорила его нежное и пылкое

сердце. С любовью и мукой смотря на своего друга, я смотрел в ту глубину его души, в которой не чувствовалось ни времени, ни граней, в которой все сливалось воедино: отчаяние, что прошлое безвозвратно погибло, с верою, что оно неминуемо воскреснет; готовность умереть за его воскресение с обостренною жаждою жизни в настоящем; холодное сладострастие мести с горячею мечтою о любви, отчетливое созерцание непереступаемости грани между добром и злом с ее действенным отрицанием ради защиты своего добра от «добра» своих врагов.

Прощаясь с Евгением под сиреневым фонарем ночного «Эрмитажа», целуясь с ним и крепко пожимая его руку, я не чаял, что мы когда-нибудь увидимся. Предчувствия мои сбылись. Не вынеся неудачи Белого движения, Евгений, накануне отплытия остатков армии в Галлиполи, лишил себя жизни.

Приехав в ноябре из Петрограда на Тверскую к Никитиным, мы так и остались у них жить. По весне Серафима Васильевна отправилась хозяйничать в Ивановку. Николай Сергеевич и Лидия Васильевна остались в Москве, лишь изредка наезжая отдохнуть в деревню.

Настроение и в московской квартире и в Ивановке было крайне подавленное: и тут, и там царили безысходная грусть и полная растерянность перед событиями. По внешности наша жизнь была как будто бы еще та же, на самом деле все было уже иным. Прошлое еще присутствовало в нашем домашнем обиходе, но лишь так, как угасающий больной присутствует среди здоровых. Всякое слово о нем было словом прощания с ним.

Несчастный Николай Сергеевич целыми вечерами

ходил из столовой через гостиную в кабинет и обратно, все раздумывал: как быть и что делать. Продавать ли ему дело, или вести дальше? Продать было бы, конечно, спокойнее, даже не будучи уверенным, что полученные деньги останутся в цене. Но, конечно, хотелось продолжать любимое дело. Неизвестно было только, как продолжать, когда расходы с каждым днем росли, а доходы падали, когда нужные материалы исчезали с рынка и не было никакой возможности починить протекающий павильон, когда подмастерья, отбившись от рук, требовали громадной прибавки, а дочь горничной Аксюши желала получить для себя и своей матери лучшую комнату в квартире. Да и Серафиму Васильевну было страшно оставлять одну в деревне, где к ней начинали придираться земельные комитеты.

Не зная, как быть, Николай Сергеевич приглашал к чаю посоветоваться своих старых служащих: гравера по дереву Федорова и заведующего гальванопластикой Щукина.

Тонкие знатоки, любители своего мастерства и преданные Николаю Сергеевичу люди, двадцать с лишним лет помаленьку и по старинке расширявшие вместе с ним дело, они во внезапно создавшемся положении разбирались еще хуже его и посоветовать ничего не могли. Но они утешали Николая Сергеевича своим сочувствием и полным согласием на все его планы. Продавать, так продавать; продолжать, так продолжать. Если нужно для продолжения превратить дело в товарищество на паях, или в трудовую артель, как кто-то советовал, то они конечно и на это были согласны. На этом разговор о будущем быстро обрывался и начинался бесконечный разговор о прошлом.

Нечто похожее на то, что происходило в Ивановке и в доме Бахрушина на Тверской, происходило

и в Малаховке, на даче моей матери, к которой я часто ездил с ночевкой.

Овдовев в 1914-м году, она вскоре после большевистского переворота вторично вышла замуж за того самого элегантного балтийца с польскою фамилией, который изящно прогарцевал на первых страницах этих воспоминаний. Мать решилась на этот шаг только потому, что в жуткие революционные годы стало страшно жить в деревне без мужской защиты. Каких-либо внутренних изменений этот брак в жизнь моей матери не внес, если не считать, что старый друг нашего дома и прежде всего моего отца получил право называться ее мужем.

Павел Карлович, или попросту Панечка, как мы все его звали, был менее кого бы то ни было приспособлен к жизни в советской России. Честный, мало гибкий немец-балтиец по матери и заносчивый, гонористый поляк по отцу, всю свою жизнь прослуживший в качестве инженера-конструктора в больших иностранных, швейцарских и английских фирмах и привыкший к вольному воздуху этих стран, он не представлял себе жизни в большевистской Москве, он физически задыхался в ней.

После опубликования Центральным исполнительным комитетом (в декабре 1917-го года) декрета о независимости Эстонии, Литвы и Латвии, он сразу же принялся хлопотать о возвращении в родную Ригу. С налитым кровью лицом, с рыскающими безумными глазами и высоко поднятым кулаком метался он по кабинету построенной им для матери дачи и требовал, чтобы она решилась на переезд в Прибалтику. Хотя мама и боялась, что Панечка сойдет с ума, если останется в Москве, она своего согласия на переезд дать не могла, так как переезд означал бы разлуку с детьми, для нее равносильную смерти.

Волнения, подобные описанным, происходили в

московских домах лишь до тех пор, пока неналаженность партийно-государственного аппарата создавала иллюзию возможности распоряжаться свою судьбою. В зиму 1919-го, 1920-го года, после жестокого уплотнения квартир, которое в большинстве случаев означало вселение в каждую семью по шпиону, и национализации торговли, жизнь всей внебольшевистской Москвы окончательно замерла: уже никто никуда не рвался и никто ничего не решал. Все, как мыши, сидели в захлопнувшихся мышеловках и с замиранием сердца ждали того часа, когда кухарка, уже ставшая, согласно ленинской формуле, «министром внутренних дел», ошпарит их кипятком и выбросит на помойку.

Говоря о жалком остатке свободы, которым мы первое время пользовались в большевистской Москве, я сознательно не касался вопроса о свободе печати. Этой свободы беспорядком не объяснишь: ведь газеты и журналы не прятались в подполье, а открыто выходили с разрешения, или по крайней мере, с попущения власти. Казалось бы чего проще: взять и запретить всю антибольшевистскую печать. Большевики этого не сделали. Почему?

Ответа на этот вопрос, думается, надо искать в том, что такие мероприятия, как отмена частной собственности, расширение менынинственного права на самоопределение, вплоть до выделения из состава Республики, и демобилизация русской армии в самый разгар германского наступления, с передачей защиты русской революции немецкому пролетариату, ощущались большевиками подлинным революционным творчеством, мужественным «отречением от старого мира». В удушении же печати не было ничего нового, ничего революционного и парадоксального. За

крывая газеты, большевики не могли не чувствовать, что они возвращаются в ненавистный им старый мир и это в глубине души было им, быть может, все же неприятно. Дух творческого радикализма и рассекающей жестокости был им исконно свойственен, скудный же дух реакции завладевал ими лишь постепенно.

Утверждение наших либералов и социалистов, что дух большевизма с самого начала был духом реакции, социологически конечно не верно. Несомненно, большевики войдут в историю наследниками Великой французской революции, а не наследниками романтически-националистической реакции против нее, как властители фашистской Италии и национал-социалистической Германии. В

том, что большевики во Второй мировой войне оказались на стороне западных демократий, есть безусловно своеобразная историческая логика.

Роясь недавно в ящиках своего письменного стола, я натолкнулся на папку с газетными статьями, опубликованными мною между ноябрем 1917-го и августом 1918-го года, и был глубоко поражен ныне непостижимою резкостью их тона. Такого тона, за, быть может, единственным исключением Временного правительства, не могла бы допустить ни одна уважающая себя власть дажб и самая либеральная. Вот выдержки из сохранившихся у меня статей:

«Вчера в Брест-Литовске открылись мирные переговоры. Каковы бы ни были их результаты, армия 19?го ноября большевикам не простит. Не простит потому, что 19-го ноября большевики у каждого солдата и каждого офицера украли их мечту о мире, как о праведном избавлении от ужаса и насилия войны, о мире, как о часе возвращения всего мира в разум истины и справедливости, о мире, в котором согласно забьются все русские сердца, в котором обнимутся на

фронте солдаты и офицеры, в котором безмерное счастье превратит всех людей в друзей и братьев…

Но что за дело некоронованным самодержцам революционной России, наезжим эмигрантам и тыловым прапорщикам, до священной мечты русского солдата о светлом и великом дне замирения. Что им за дело до того, что наша родина уже превращается для многих из нас из родины в чужбину. Что им за дело до того, что час замирения с врагом превращается в час народного раздора, что он восходит над Россией не в благообразии, а в безобразии, не как торжество правды, а как торжество насилия и что он ведет за собою со связанными за спиной руками тех оплеванных и избитых офицеров, что после тяжелых ранений добровольно возвращались на фронт, чтобы защищать родину? Что им за дело, наконец, до того, что вестниками и глашатаями своего мира они вынуждены посылать предателей, убийц и громил, что лицо их мира восходит над Россией с каиновой печатью на лбу, озаренное зловещим заревом пылающих городов и поместий?

Я знаю, до всего этого им дела нет, но пусть они потому и не говорят, что русский народ с ними». («Воля России»).

Еще резче статья от 18-го июля 1918-го года, написанная по поводу Съезда советов:

«Отсутствие на Съезде мысли и совести мы еще могли бы простить большевикам. Но отсутствие всякого масштаба – непростительно. У смертного одра (а кто может сомневаться, что

Россия при смерти) допустимы, в конце концов, и фигура идиота, т. е. безответственного утописта, и фигура палача. Но решительно невыносимы пустословие, перебранка и те краснозвонные шутовские бубенцы, которыми Троцкий цинически пытается развлечь умирающую Россию».

Дальше идти некуда. Такой свободы слова не существовало даже в свободолюбивейшей веймаров-ской Германии. В ней, как известно, существовал закон о защите республики, не допускавший таких прямых призывов к низвержению господствующего строя, которые поначалу встречались на страницах антибольшевистской социалистической печати.

Торопясь использовать эту недолговечную свободу, правые эсеры решили издавать большую политическую и литературную газету. Душою нового начинания был мой старый гейдельбергский знакомый Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков. Ему, влюбленному во французскую культуру, французский язык и французскую журналистику, старому парижскому эмигранту, уже давно начавшему разочаровываться в политике, как таковой, страстно мечталось создать в Москве большую газету нового типа, некий социалистический "Тетрз".

В предварительном обсуждении общего плана и политического направления нового органа, я, не будучи членом партии, никакого участия не принимал. Ко мне обратились, когда все уже было решено, не как к политическому деятелю (в этом отношении мне, часто защищавшему «еретические» взгляды, не очень доверяли), а как к писателю-философу.

Задумывая постановку серьезного культурно-философского отдела, редакция «Возрождения», так было решено назвать газету, предложила мне взять на себя его редактирование, на что я с радостью согласился. Дело окультуривания русского демократиче-кого социализма было мне близко и дорого еще со времен моего сотрудничества в «Северных записках»; к тому же предложение газеты и с внешней стороны устраивало мою жизнь. Идти на службу в какое-нибудь большевистское учреждение было для меня неприемлемо. Зарабатывание же пропитания случайной

публицистической работой было крайне трудно. Вполне достаточное месячное вознаграждение за интересную работу сразу же разрешало все трудности практической жизни.

Вспоминая о своем сотрудничестве в «Возрождении», я с недоумением останавливаюсь перед тем фактом, что из моей памяти почти бесследно исчезли политический образ и политическая борьба газеты. А ведь в лето 1918-го года на всех фронтах революции и во всех концах России происходили исключительно значительные события.

На экономическом фронте спешно ликвидировался введенный по демагогическим соображениям «рабочий контроль» и упорно проводилась национализация не только крупной промышленности, но даже и мелкой частной торговли, что, конечно, означало отказ от социалистического углубления революции и, по крайней мере, временный перевод ее на запасные пути государственного капитализма.

Нечто аналогичное происходило и в военной сфере: разбойничьи красноармейские банды начинали постепенно превращаться в дисциплинированные рабоче-крестьянские части. Большинству из нас, ослепленных справедливою ненавистью к большевикам, это еще не было видно, но такой внимательный наблюдатель, как генерал царской армии Новицкий, отнюдь не закрывая глаз на разнузданность и недисциплинированность большевистских войск, уже писал в «Возрождении», что «критиковать красную армию вне рамок переживаемой нами революции – невозможно; только в революционном освещении можно понять ее и предусмотреть те пути, по которым ей предстоит развиваться и видоизменяться. Да, красная армия – это армия революции и только в революционные дни она возможна. Но зато в это время никакая другая армия немыслима. И потому, когда

я наблюдаю неприглядных, неряшливых красноармейцев, я не прихожу в отчаяние, я не считаю армию погибшей».

В то же лето не только нарастает, но после убийства председателя Петроградского Совета Урицкого идеологически и оформляется большевистский террор. В сентябре 1918-го года в «Правде» появляется статья Оссинского, определяющая красный террор, как «систему уничтожения буржуазии, как класса», а вслед за ним, в ноябре, приобретает широкую известность признание чекиста Лациса, что на путях этого истребления партией будут уничтожаться и ни в чем неповинные люди. «Не ищите в следственном материале доказательств того, что обвиняемый действовал делом, или словом, против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, образования, профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысле и сущность красного террора».

Удивляться тому, что большевики, начавшие с отрицания смертной казни, в условиях Гражданской войны очень быстро пришли к неслыханному в мире террору, было бы наивно. Но не потрястись их чудовищной по своей сознательности, откровенности и жестокости теорией террора, было как будто бы

невозможно. И тем не менее я не могу припомнить этого потрясения ни в себе, ни в редакции.

Быть может, еще важнее этих перемен во взглядах и настроениях партии (по крайней мере для ежедневной политической прессы) были те внешне-политические события, которые за время выхода «Возрождения» совершались на всех фронтах Гражданской войны. Но и о них я, на основании своей памяти не мог бы рассказать ничего более или менее точного. Не встреться я впоследствии с Бунаковым, Авксенть

евым и Зензиновым и не изучай я истории революции, я так до сих пор и не знал бы об отношении правых эсеров, в органе которых работал, к Волжскому фронту, к организованному там комитету Учредительного Собрания, так называемому «Комучу» и его народной армии, к двусмысленной политике Чернова, к отряду полковника Капеля, к чехам, которые боролись на этом фронте рука об руку с добровольцами русской демократии, к союзникам, которые обещали помочь ей, но так и не помогли.

От всех вопросов внешней политики осталось в памяти лишь недовольство Бунакова передовицами заведующего политическим отделом, Сталинского, от которых веяло раздражавшим и меня духом двуличного интернационализма.

Что касается событий, которые происходили на Украине, Дону и Кавказе, где благодаря борьбе союзнических влияний с немецкими и белой идеи «единой и неделимой России» с меньшинственными нацио-нализмами создавался непроницаемый хаос политических домогательств и военных столкновений, то о них я уже совсем ничего не могу сказать.

Объяснить себе этот непростительный провал памяти я могу лишь тем, что вместе с «Февралем» во мне почти совсем погас живой интерес к чисто политическим сторонам революции. Подтверждение этому я нахожу и в случайно сохранившихся у меня статьях «Возрождения». Чисто политической активности в этих статьях нет. Происходящими событиями они не занимаются, на вопрос – как быть и что делать – не дают никакого ответа. Кое-где в них вспыхивает надежда, что большевистская власть падет, но нигде не чувствуется веры в то, что она может быть свергнута: их центр – в анализе прошлого, но не в построении образа будущего. Они с горечью нападают на безрелигиозность русского освободительного дви

жения, объясняя этою безрелигиозностью тот царствовавший в левом стане идеологический утопизм, который привел к победе Ленина. Они призывают к покаянию, к трезвости и конкретности, к тому, чтобы широко раскрыть глаза на мир Божий и отказаться от произвола своих собственных точек зрения. (Первая статья так

и называлась: «Глаза и точки зрения»).

Весь этот строй моих мыслей и чувств был глубоко чужд эсеровской идеологии. Тому, что мои статьи безоговорочно печатались, я вероятно обязан Бунакову, который, судя по тому, к чему он впоследствии пришел, должен был уже и в 1918-м году двигаться в том же направлении, что и я. Сам он в «Возрождении» писал редко, но, что он писал, было веско, просто, четко и очень нравилось мне. ˆ

Насколько я слабо помню идейно-политическую сторону работы в «Возрождении», настолько же отчетливо стоит у меня перед глазами ее профессионально-бытовая сторона, с которой связаны немалые радости моего редакторствования.

Главная радость заключалась, вероятно, в том, что после напряженнейшей деятельности на разлагающемся фронте, в кипящих злыми страстями Советах, в Политическом управлении, где часто приходилось брать на душу непосильные для человеческой души решения, я неожиданно для самого себя был вовлечен в соразмерную человеческой душе, интересную, живую, дружную работу, слава Богу, безвластную над жизнью и смертью людей. В Политическое управление я ежедневно направлялся с тяжелым сердцем, в редакцию же «Возрождения» я шел налегке.

Не то, чтобы я не чувствовал свершающихся в мире ужасов, как было не чувствовать, когда кругом лилась кровь близких тебе людей, да и ты сам мог быть ежедневно расстрелян. Но не будучи связанным с этими ужасами постоянным, лично ответственным

участием в них, я ощущал их совершенно иначе, чем в Петрограде: скорее космическими грозами, чем историческими событиями, скорее чумой, чем безумием. И это ощущение успокаивало душу, возвращало ее в тихую, личную жизнь.

Так проходя в редакцию мимо Страстного монастыря, с колокольни которого в октябрьские дни трещали большевистские пулеметы, я думал уже не о революции, а о тех ранних темных утрах, которыми мы с братом в продолжение многих школьных зим садились в допотопную конку, еле освещенную двумя маленькими керосиновыми лампочками по углам.

Спустившись как будто бы еще своею, но уже и ускользающей от тебя Москвой по Тверскому бульвару к Никитским воротам и миновав церковь Вознесения, где венчался Пушкин, светлое имя которого еще в раннем детстве таинственно прозвучало мне в соседнем с нашим Кондровым «Полотняном заводе» Гончаровых, я с неизменною радостью подымался в редакцию «Возрождения», помещавшуюся в новопо-строенном доме на углу Спиридоновки и Гранатного переулка.

Среди постоянных сотрудников культурно-философского

отдела наиболее интересным человеком был бесспорно Илья Эренбург, который, начав свою политическую карьеру с добровольческой защиты царской России в рядах французской армии, уже давно славословит Советский союз и Сталина. Что толкнуло бесспорно талантливого и очень умного Эренбур-га на этот тяжелый и бесславный путь, мне не ясно. Может быть, обида на то, что его «Еврейских колыбельных песен» русская читающая публика как-то не заметила, а «Молитвам о России», несмотря на его добровольчество, не поверила.

Сколько времени выходило «Возрождение», я чем точно сказать не могу. Думаю, что после ряда не чем приятных столкновений с цензурою, оно было закры ли- то уже к осени. Попытка его возобновить, в качестве «Сына отечества», увенчаться успехом, конечно, не могла. Очень быстро «Сына отечества» постигла та же участь, что и «Возрождение»,

В закрытии нашей газеты сыграл значительную роль Валерий Брюсов, бывший редактор модернистически-аполитических «Весов» и либеральной «Русской мысли». Это обстоятельство в свое время не только удивило, но и потрясло меня. Лишь недавно после прочтения опубликованной в советском «Литературном наследстве» интереснейшей переписки между Брюсовым и Горьким от 1905-го года, я как будто понял, как это могло случиться. В этой переписке утонченнейший эстет, поклонник французского символизма, прилежный исследователь древних культур, большой библиофил и библиограф, Брюсов с пеною у рта проповедует разгром тех самых музеев и библиотек, в которых он, по собственному признанию, привык с наслаждением работать.

«Его, – пишет Брюсов, имея в виду весь дореволюционный строй нашей жизни, – я ненавижу, ненавижу и презираю. Лучшие мои мечты о днях, когда все это будет сокрушено. О, как весело возьмусь я за топор, чтобы громить хоть свой собственный дом, буду жечь и свои книги»… В том же письме находится и переложение этих погромных желаний в типично брюсовские, но не по-брюсовски слабые стихи:

> В руинах, звавшихся парламентской палатой,
> Как будет радостен детей свободный крик,
> Как будет весело дробить остатки статуй
> И складывать костер из бесконечных книг.

|

С чего это? Какой, хочется спросить, белены объелся Брюсов? Ведь он не Блок и не Белый, в Бакунинской мистике разрушения,

в религиозном ико

ноборчестве его не заподозришь. Что же это? Купеческое варварство, российское хулиганство, или головной футуризм? Не знаю. Знаю только то, что, чем больше занимаюсь историей нашей революции, тем больше нахожу в ней скрытых большевиков.

Во что обошелся Брюсову переход от теоретической проповеди скифского погрома к его практически-полицейскому осуществлению в должности советского цензора, решить трудно. Но, что он обошелся ему все же очень дорого, говорит то, что Брюсов-поэт не написал в Советской России ничего достойного себя, а Брюсов-чиновник покончил жизнь самоубийством.

В посвященном Брюсову некрологе Ходасевич сообщает, что в ящике письменного стола советского цензора Брюсова был найден морфий и ржавый шприц, завернутый в окровавленную газетную бумагу.

Моралисты всех эпох и народов всегда призывали к подавлению страстей. В моей душе всю жизнь жили две страсти: лошади и театр. Никогда безоглядно не отдаваясь им, я никогда не гнал их от себя. Раскаиваться в этом не имею ни малейшего основания: если бы не эти страсти, моя жизнь в годы революции вряд ли сложилась бы так удачно, как оно случилось.

Еще на литературных вечерах в доме Гуриных мы с братом познакомились с талантливым учеником Московского театрального училища Михаилом Фран-цевичем Лениным.

В 1904-м году, отбывая лагерный сбор в Клементьеве, я близко сошелся как с Мишей, так и с его женою, окончившею вместе с ним театральное учи

лище, но не ставшей актрисой. В 1914-м году мы с Лениным в одном и том же поезде выехали из Москвы в Сибирь в наши части: он в Красноярск, а я – в Иркутск.

На фронте Ленин пробыл недолго. В Раве-Руз-ской, куда его дивизию отбросило наступление Ма-кензена, он патетически заявил мне, что уходит с фронта в штаб Московского военного округа, где честные независимые офицеры нужнее, чем в окопах. «Бессмысленно, – шипел он мне на ухо, тем театральным шопотом, о котором любил говорить, что его слышно и на галерке, – умирать за отечество, возглавляемое преступным и бездарным правительством. Необходимо проведение радикальных реформ, чему можно содействовать только в центре».

Несмотря на то, что за всеми этими звонкими фразами решительно ничего не скрывалось, кроме утробного бунтарства и элементарного желания разделаться с фронтом и вернуться в

привычную, удобную, веселую жизнь с волнующими рукоплесканиями, бурными романами и ежевечерними ресторанными ужинами, они производили впечатление искреннего и объективного горения.

Как и Несчастливцев Островского, Ленин был всегда готов «рыдать» и проклинать.

Остаться в стороне от революции такой человек, конечно, не мог. Во время ощутив в себе сына простого народа (отец Ленина, по фамилии Игнатюк, был простым лесничим в Полесье), которому, чтобы попасть на сцену, пришлось без гроша в кармане чуть ли не пешком бежать в Москву, Ленин сразу же после переворота сделал отчаянную попытку сломить «тираническую диктатуру» популярного в Москве актера и драматического писателя князя Сумбатова-Южина и стать во главе труппы Императорского Малого театра.

Попытка не удалась. Умный, образованный и дипломатически выдержанный князь пошатнулся, но все же устоял.

Тогда Ленин решил создать свой собственный театр. Привыкший за долгие годы нашего знакомства обсуждать со мною свои роли и свои планы, он, естественно, пришел ко мне с просьбой взять на себя идейное возглавление затеваемого им театра.

Первое «Учредительное собрание», которое Миша созвал у себя на квартире, прошло с большим подъемом. Среди собравшихся я хорошо помню только двоих: товарища Ленина по Малому театру, Худоле-ева, большого мастера на маленькие роли, которого за изящный, холеный вид и исключительное умение носить фрак, в труппе звали «Ванькой-листократом» и несравненную Варвару Массалитинову.

Актриса огромного дарования, но чуждая по стилю своего таланта всем московским театральным направлениям, во всем своезаконная и своевольная, Массалитинова к моменту своего вступления в труппу Государственного Показательного театра, как впослед-ствие было названо ленинское предприятие, только еще искала своего пути, только что ждала своего расцвета. Встретив ее у Ленина, я был очень обрадован предстоящей совместной работой, так как всегда ценил совсем особый, пророчески-метафизический звук мас-салитиновского дарования. Как ни изумительно играла Ольга Осиповна Садовская «Пошлепкину» в «Ревизоре», Массалитинова была в этой роли все же ближе к тому подлинному Гоголю, которого открыли символисты. Мне кажется, что вполне найти себя Массалитинова могла бы только в Достоевском. Будь у нее другие внешние

данные, она могла бы сыграть изумительную Настасью Филипповну («Идиот»). Родись она мужчиной, она была бы недосягаема в ролях Мити Карамазова и Парфена Рогожина.

В основу прочитанного мною у Ленина доклада была положена мысль, что задачею создающегося театра не может быть служение пролетарской культуре за полною бессмысленностью этого словосочетания. Всякая культура, утверждал я, творится нацией, а не классом, что в достаточной степени доказывается тем, что у пролетариата нет и не может быть своего языка, этой ничем незаменимой плоти духовного творчества, а есть, в лучшем случае, своя идеология, своя терминология и свои интересы в сфере устроения социально-экономической жизни страны.

Театру, выросшему, как показывает его история, из религиозных глубин человеческой души и издревне стремившемуся к тому, чтобы «глаголом жечь сердца людей», с безрелигиозно-науковерческой идеей «пролетарской культуры» делать нечего.

Отмежевываясь таким образом от марксистского понимания революции, я отнюдь не отмежевывался от нее самой. Наоборот, я убежденно доказывал, что театр в большей степени, чем все остальные искусства, должен чувствовать себя связанным с текущим моментом исторической жизни. В дни, когда, очевидно, навсегда отходит в прошлое веками слагавшийся быт России и меняется народная психология, мы не можем удовлетворятся ни утонченным психологизмом Художественного, ни бытовым натурализмом Малого, ни западническим артистизмом Камерного театров. Вместе с развертывающимися событиями и мы в предстоящей нам работе должны будем смело восходить от вчерашнего быта к вечному бытию. В момент, когда на исторической сцене действуют не отдельные люди, а Бог, дьявол и народы, нельзя предлагать зрителю пьес, в которых серые люди в серых пиджачках обывательски мучаются не существующими перед лицом вечности вопросами и безысходно томятся в растлевающих душу настроениях. Необходимо создать костюмно? ге

роический театр, театр больших идей и пламенных страстей, театр возвышенного жеста и трубного судного гласа, театр вечного слова, с которого начался мир, а не театр лукавых словес, театр жизни, а не переживаний. Намечая репертуар, я рекомендовал прежде всего обратиться к Шекспиру и к античной трагедии.

На возможный вопрос партийных инстанций, почему мы решили идти таким путем, я предлагал отвечать, что рассматривая пролетария будущего, как некого «сверхчеловека»,

мы ничем достойнее не сможем приветствовать его прихода к власти, как сверхискусством прошлого. Я говорил с актерами и потому невольно говорил в несколько приподнятом, декламационном тоне.

Доклад мой лишь отчасти понравился Мише Ленину. Защищаемой мною формулы – «от быта через событие к бытию» (Вячеслав Иванов) – он' в отличие от Массалитиновой, понять не мог, зато мое требование костюмно-героического театра, театра как «страшного суда» принял с восторгом.

После доклада, мы долго не расходились по домам, чуть ли не до утра обсуждая связанные с будущим театра вопросы: кого, кроме Худолеева, пригласить в качестве режиссера, каких привлечь к делу художников, какими крупными актерами пополнить труппу и кому идти в театральный отдел и к Луначарскому, чтобы окончательно оформить дело.

Когда все уже было налажено, надо мной внезапно нависла гроза. В связи с развивающейся Гражданской войной была объявлена мобилизация, которой подлежал и я. Игнорировать приказ военного комиссариата на этот раз было уже нельзя. Надо было идти на осмотр во врачебную комиссию.

Сняв за сутки до осмотра ортопедический бинт со своей раненой ноги, я предъявил доктору вместо нее столь страшное на вид, багрово-лиловое в кровоподте

ках бревно, что он тут же признал мою полную непригодность к несению фронтовой службы и дал мне «категорию», согласно которой я мог быть назначен только на тыловую должность. Самое страшное и нравственно неприемлемое что могло случиться: необходимость воевать против Белой армии, идеологии и надежд которой я не разделял, но с которой был связан многими нитями глубоких, личных отношений, миновало меня. Но этого мне было мало; я и в тылу не хотел защищать большевиков; почему и решил отстаивать себя до конца. Продумав свое положение, я остановился на плане пойти к Луначарскому и откровенно переговорить с ним. В связи с весьма доброжелательным приемом, оказанным комиссаром народного просвещения Мише Ленину, Худолееву и мне, во время аудиенции по вопросу о задуманном театре, мой рискованный план не казался безнадежным.

Добыть пропуск в Кремль по личному, да еще весьма деликатному делу было не легко. Все же я его как-то получил. Уже при входе в круглую белую башню у Александровского сада у меня были затребованы пропуск и документы. На другом конце моста, в воротах Боровицкой башни контроль был повторен с еще большею строгостью. Лишь после телефонного запроса в

канцелярию Луначарского, действительно ли комиссаром ожидается такой-то, я получил разрешение войти в Кремль. Идя через мост, я спиною чувствовал взоры не спускавших с меня глаз чекистов.

Быть может, оттого, что при вторичном посещении Кремля я был один, меня резко поразила господствовавшая в нем особая атмосфера. Здесь не было ни грязи, ни тесноты, ни беспорядка. Здесь все было чисто, чинно и просторно. Чисто и бело от нетронутого снега на площадях, четко и порядливо от желтого песка на тротуарах и по-старинному подтянутых солдат. Менее чем в любом ином месте Москвы, была здесь видна

революция. Здесь, откуда она исходила, еще царило старинное благообразие. В Кремле большевизм ощущался не разнузданным произволом революции, а твердою революционною властью.

Анатолий Васильевич Луначарский, рыжеватый, козлообразный мужчина в пенснэ – смесь русского интеллигента с парижским bohemien, встретил меня не без напускного величия, но и не без прирожденной любезности.

Я не таясь рассказал ему, что призван на военную службу и что, ввиду ранения, буду назначен на какую-нибудь тыловую должность, что мне не по вкусу и не по силам. Стрелять меня в царской армии, с грехом пополам, выучили, но ведению батарейного журнала обучить не смогли. Практическая жизнь мне чужда, администратор я плохой и потому очень прошу устроить меня в Советском союзе на какую-нибудь более соответствующую моим дарованиям работу. Мне кажется, что на культурном фронте я смог бы принести Союзу гораздо больше пользы, чем на военном. Я был бы очень благодарен и счастлив, если бы меня назначили литературным руководителем того нового театра, о котором мы недавно беседовали с товарищем комиссаром.

К моему величайшему удивлению, Луначарский очень быстро согласился с моими доводами. Очень тактично, то есть без тени миросозерцательного допроса, побеседовав со мною на разные литературно-философские темы, он вызвал из соседней комнаты свою секретаршу и, привычно приняв не лишенную изящества позу власть имущего человека, бегло продиктовал письмо товарищу Троцкому, в котором просил военного комиссара предоставить тяжело раненого и потому не пригодного к фронтовой службе товарища Степуна в распоряжение Комиссариата народно

го просвещения для назначения его на соответствую щую должность.

Подписав письмо, Луначарский сказал мне, чтобы я через

неделю пришел за ответом. Просьба Луначарского была удовлетворена и я в мобилизационном порядке был назначен на должность идейного руководителя Государственного показательного театра.

Так часто мешавшие моей научной работе страсти – лошади и театр, спасли меня от службы в красной армии, в которой я был бы безусловно или убит, или расстрелян.

Покойному Луначарскому за его внимательное отношение ко мне приношу искреннюю благодарность.^/

Как только театр встал прочно на ноги, было при-ступлено к окончательному формированию труппы. Из известных на всю Россию артистических сил было приглашено всего только два человека: служившая в театре Корша, Мария Михайловна Блюменталь-Тама-рина, лучшая после несравненной Садовской «комическая старуха», надежная, правдивая, актриса с большим природным юмором, теплым сердцем и прекрасным русским говором и Илларион Николаевич Певцов, стяжавший себе громкую славу главным образом исполнением роли Павла 1-го, в одноименной драме Мережковского. В сущности Певцов не был актером того типа и репертуара, который был нужен нашему героическому театру, но он был свободен, известен, а главное настолько талантлив и своеобразен, что не пригласить его было бы большой ошибкой.

Начиная новое дело, Ленин обязательно хотел испросить благословения глубоко чтимой им и протежировавшей ему Федотовой, которая была особо крепко спаяна с традицией Малого театра.

Попасть в дом к уже давно сошедшей со сцены больной старухе, которую и по дому возили в кресле, было трудно. Силы Федотовой уходили, боли мучали

и она мало кого принимала, хотя все еще горячо интересовалась всем, что касалось сцены, в особенности ее театра.

Нам посчастливилось. В назначенный для приема день Гликерия Николаевна чувствовала себя исключительно хорошо. Она по-старинному поцеловала в висок Ленина, благоговейно склонившегося над ее изуродованною болезнью рукою и ласково поздоровалась со мною. Ленин подробно рассказал ей о задуманном театре, подчеркнув, что он уходит из нынешнего Малого театра в целью возродить в своем новом театре славные традиции, хранительницей которых Москва считает прежде всего ее, Гликерию Николаевну Федотову.

Разговор сразу же перешел на доброе старое время. Федотова была еще совсем молоденькой, но уже с большим успехом

сыгравшей несколько ролей актрисой, когда со словами: «молись и постись» Самарин вручил ей роль Катерины в «Грозе» Островского. Слова обожаемого артиста и режиссера она поняла и исполнила в точности. С благоговением и страхом Бо-жиим работала над ролью. На первую репетицию шла в невероятном волнении. Играя чувствовала, что всею душою входит в роль. Ждала похвалы. Но вот, по окончании репетиции, Самарин, все время сидевший в партере за суфлерской будкой уткнувшись в газету, подходит и говорит: «Мало молилась, плохо постилась, но не унывай, трудись дальше».

«Домой, – рассказывала Федотова, – я шла, как с похорон. Поститься было легко: с горя все равно кусок в горло не лез. Наплакавшись, опять принялась за роль. То читала про себя, то в голос и вот опять пришла на репетицию. Во время большого монолога с ключом, мельком взглянула на Самарина. Вижу, газета на коленях, очки в руках, а глазами весь ко мне тянется. Меня словно на крыльях подняло. Как кончи

ла роль – не помню. После занавеса со слезами вошел ко мне в уборную, обнял, поцеловал, перекрестил: «Можешь, деточка, играть»…

Конечно, одно дело пост и молитва, другое – вино, но все же рассказ Федотовой, произведший на меня незабвенное впечатление, защищает ту же теорию сценического творчества, что и признание Певцова. Не оформляя постоянно теми или другими средствами своей души и даже своего тела (у Федотовой – пост, у Певцова – алкоголь), нельзя выработать из себя настоящего актера, ибо материал творчества для всякого искусства так же важен, как и его оформление. Актер же, в отличие от скульптора или живописца, творит свой образ не из внешнего материала, камня, глины, красок, а из себя самого, из своего одушевленного тела.

Приходя в театр, я поначалу каждый день заставал в нем кого-нибудь из вновь приглашенных актрис и актеров, в большинстве случаев совсем еще зеленую молодежь. Беспечная и горячая, полная веры в свои силы и надежды на будущее, она вносила в новое дело тот энтузиазм, без которого невозможен театр, и заставляла нас забывать о творящемся кругом ужасе. Впрочем, мы все были еще не стары. Мне было 34 года, Ленину 36 лет; Певцов, Массалитинова и Худолеев были немногим старше.

Еще до начала репетиций я начал свои лекции по философии и психологии театра, которые должны были спаять труппу и ввести молодежь в дух нашего «героического театра всенародной революции». Слушали по-разкому: одни с большим интересом, другие – с упрямым протестом. Миша Ленин часто отсутствовал,

занятый всевозможными техническими делами и хлопотами, но горячо поддерживал меня, рассматривая мой курс, как оправдание своей главенствующей роли в труппе. Мятущаяся, бурлящая, вечно алчущая

нового слова и высокого звука в искусстве, Массалитинова была всею душою за меня. Певцов восставал против всякого умствования. Проповедуя Божью искру, наитие минуты и, главное «нерв», он не без злорадства намекал мне, что моими теориями интересуются, главным образом, бездарности, по недоразумению попавшие в труппу.

Начались репетиции «Меры за меру» Шекспира. Чем дальше они шли, тем все более изящно одетым и все менее бритым появлялся на них Худолеев. Все удобоносимые костюмы уходили понемногу в обмен на масло и крупу, а бриться было трудно из-за холода в квартире и из-за невозможности согреть воду. Вспоминая милого «Ваньку-Листократа» к концу сезона, я вижу перед собою одетого в шикарную визитку поверх рваного свитера человека в лаковых штиблетах под грязными бежевыми гетрами, покрасневшие глаза слезятся, посиневшие губы и заросшие рыжею щетиной щеки трясутся мелкой дрожью.

Несмотря на полную неустроенность своей холо-стецкой жизни, на вечный голод и холод, Худолеев с восторгом работал над постановкою Шекспира. Я помогал ему, занимаясь с отдельными актерами. Мише Ленину очень не нравилось, что центральною фигурою пьесы я считал не наместника Анджелло, которого играл он, а короля-философа, но я примирил его с моим толкованием, сказав, что при его таланте он с легкостью превратит любую роль в главную.

Бороться с актерским самолюбием – невозможно: это стихия; но при некоторых дипломатических способностях им можно владеть.

День открытия театра был уже назначен, но у нас еще ничего не было готово, даже нельзя себе было представить, как справимся. Но ничего – поналегли и справились. Дня за четыре до премьеры Жорж Яку-лов, тот самый художник-армянин с лицом фавна, с

которым читатель знаком по описанию Литературно-художественного кружка, и спал и ел в театре. Ночи напролет дописывал он со своими учениками талантливо задуманную декорацию: все четыре акта шли в разных углах и даже этажах одной и той же композиции. Актрисы сами дошивали костюмы. Несмотря на прекрасное настроение и подъем, в воздухе стояли крики и брань. В театре было неуютно, холодно: грелись коньяком и мимолетными объятиями. Премьера опоздала всего

только на полчаса.

Я не помню, как к спектаклю отнеслись пресса и партия. Но у публики, состоявшей на добрую половину из «революционной демократии», он имел безусловный успех. Особенно живо рабочие и солдаты реагировали на диалоги палача с шутом: может быть, они чувствовали современность этих образов.

Одновременно с репетициями «Меры за меру» началась работа над «Нитью Ариадны» Метерлинка и над «Собачьим вальсом» Андреева. Обе пьесы, под которые было весьма трудно подвести идеологический фундамент, ставил Василий Григорьевич Сахновский.

С Сахновским, которого до начала совместной работы я знал лишь поверхностно, мы впоследствии сошлись близко. Могу сказать, что я от души привязался к этому богато одаренному человеку, с очень своеобразною, несколько римскою внешностью: бритый череп, прямая переносица и тяжелая нижняя челюсть. Я не знаю, стал ли бы Сахновский режиссером, если бы не революция. Его влекло и к науке и к писательству. В Народном университете Шанявского он читал лекции по истории русской литературы. Не задолго до нашей высылки заграницу, осенью 22-го года, вышла его талантливая книга об Островском, которую я еще успел просмотреть.

Мечтая о новом театре, Сахновский мечтал и о новом актере. Трафаретность второстепенного русско

го лицедея, заштампованность его чувств, жестов, всей повадки выводили его из себя; особенно его раздражали молоденькие актрисы, которые играя, не переставали с кем-то кокетничать. «Запомните, – кричал он на них, прерывая репетицию, – что настоящая актриса похожа в жизни на учительницу. Те же, которых и в бане ни за кого, кроме как за актрис принять нельзя, всегда бездарности. Не актрисничайте, mesdames, – играйте, творите».

Спектакль «Ариадны» на меня большого впечатления не произвел. То, что Сахновский хотел показать, зритель увидеть не мог, замысел остался не осуществленным.

«Собачий вальс» Андреева прошел с громадным успехом, но это был, главным образом, успех Певцова. Я с нетерпением ждал «Леса»: мне казалось, что в Островском Сахновский окончательно найдет и осуществит себя. Его мечтою было показать всю поэзию уходящей России: ее дали, ее дороги, неприметно цветущие в ней тихие, но горячие девичьи души, подпоч-венно кипящие в ней благородные страсти.

Несчастливцев, – проповедовал Василий Григорьевич, – не только актер, но и русский Карл Мор, творящий с высоты своего

актерского призвания нелицеприятный суд над окружающим его миром лжи и несправедливости.

Не то, не то, – останавливал он Ленина-Не-счастливцева, выходящего в первом акте навстречу Аркашке. – Прежде всего опустите ваши генеральские плечи. Увидя вас, зритель должен увидеть дорогу и березы, под которыми часами шагал Несчастливцев… И потом больше усталости в коленях и глазах. Посмотрите, как ходят богомольцы, загляните им в глаза. И глаза и походка не только от молитвы, но и от дороги.

Ленин выходил и раз, и два, и три. Но того, чего добивался Сахновский, у него не получалось. Да при

данных его торжественной фигуры получиться и не могло. Помню, как выведенный из терпения, Ленин запальчиво заявил Сахновскому, что актер может играть только людей, а не пейзажи: «изображать пейзажи – дело живописцев»…

Не говорите, – замахал на него Василий Григорьевич из-за своего режиссерского столика и взбежав на сцену с вдохновением, которого я никогда не забуду, рассказал нам о своей недавней встрече с Садовской у Страстного монастыря.

Стоит, одета в старую шубенку, повязаная белым платком, как будто неприметная а все же во всем особенная и ото всех отличная; кругом народ, ждет трамвая, усталый, раздраженный. Смотрю и вижу, стоит не комическая актриса Малого театра, а сама согбенная, замученная Россия.

С детства знакомого, мелко-подвижного бабьего лица не узнать. Такой в нем покой и важность. Выцветшие глаза широко раскрыты и подняты к серому, скучному небу. Невольно и я посмотрел вверх и вдруг увидел синее надднепровское небо своего детства и острый треугольник высоко летящих журавлей, я даже их трубный клекот услышал. И все это без слов сыграла Садовская: – чем – предсмертной тоской об ото-• шедшей России и своей молодости. А вы, Михаил Францевич, говорите, что актер не может сыграть пейзажа: дайте мне фигуру бродяги-странника, дайте лицо актера-бунтаря, исполненного чувства своего высшего призвания, и фантазия зрителя сама дорисует остальное. Если же вы этого не дадите, декорация не поможет.

Рассказ о Садовской был не совсем ясен; ясность вообще не была сильной стороной Сахновского, но в его устах он был и убедителен и прекрасен.

Так шла наша работа, своею горячею напряжен

ностью отвлекавшая нас от голода и холода и от более страшных ужасов советской жизни.

Изо всех постановок театра я своею, как по замыслу, так в значительной степени и по исполнению, могу считать только

постановку «Царя Эдипа». Показ трагедии Софокла приурочивался М. Ф. Лениным к созыву первого съезда 3?го Интернационала в марте 1919-го года, в связи с чем нам было предоставлено право привлекать к спектаклю все необходимые для постановки силы, где бы они ни были заняты. Эдипа играл, конечно, Ленин. Роль Иокасты была предложена Наталии Николаевне Волоховой, имя которой мне было давно знакомо и дорого по тем магическим стихам, что были ей посвящены Александром Блоком:

Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас, И я одна лишь мрак тревожу Живым огнем крылатых глаз.

При всем своем очаровании действительная Во-лохова показалась мне не на высоте блоковского образа. Может быть, я и сам был виноват в этом: избранная и воспетая большим художником женщина мне всегда представлялась таким же священным и таинственным существом, каким убежденному монархисту представляется богопомазанная особа Государя-императора. Таких ожиданий Волохова оправдать не могла" уже по одному тому, что была замужем за рыжеватым комиком Сашей Крамером и жила не в снежных далях, а в самой обыкновенной квартире с ребенком и гувернанткой.

Продумав постановку «Эдипа», я предложил нашему художественному совету следующее:

– Никакой архаизации – наша задача не показ древней Греции, а показ современной России. Мы раскрываем нашу трагедию в трагедии Софокла лишь потому, что современная русская драма недостаточно

монументальна и глубока, чтобы в ней можно было отразить всю глубину наших дней. Над Россией, как и над древними Фивами, тяготеет непроницаемый рок. Даже мудрейшие из нас не знают что делать. Тиф, как чума, косит людей, во всей стране стоит стон. Как и Фивский царь, мы не знаем, в чем наша вина, но мы чувствуем ее тяжесть на наших плечах. Ослепшие, с лицом, залитым кровью, идем мы в черную ночь… Господи, что будет с нами? Вот что надо довести до зрителя.

Как внешне оформить спектакль? Не стремясь дать историческую Грецию, нельзя сооружать натуралистический античный дворец и жертвенник у храма. Надо дать отвлеченно конструктивную декорацию с легким намеком на архитектурные мотивы древней Эллады -¦ таков был выработанный мною принцип постановки. Якулов с тактом, как мне в свое время по крайней мере казалось, разрешил эту трудную задачу. На авансцене он дал интересную конструкцию из лестниц и площадок, а задний план заполнил круто восходящим вверх

архитектурным построением, представлявшим собою стилизованную вариацию античного театра. При открытии занавеса по лестницам и мостикам заднего плана, символизируя смертоносное шествие чумы, спускалось под траурную музыку к ступеням дворца торжественно печальное шествие горожан. Музыку к Эдипу писал Глиэр. Она, как и декорация, представляла собою современно-вольную транскрипцию античных мотивов.

Дольше всего не удавалось разрешить проблемы хора. После долгих сомнений и обсуждений, мы решили построить с обеих сторон сцены по большому, выходящему в зрительный зал выступу, затемненно расположить на них хор и лишь в минуты особого его волнения прожектором вырывать из полумрака лица протогонистов.

Внутреннюю сущность хора и его назначение в трагедии я свел к упрощенной формуле, что он есть и глас народный и глас Божий. Исполнение хорических песнопений легко разнообразилось приближением то к одному, то к другому полюсу этого мистического двуединства.

Труднее всего было найти новый и правильный стиль речевого исполнения трагедии, уйти от традиционной ложно-классической декламации 18-го века, одним из крупнейших представителей которой был знаменитый Моннэ-Сюлли. Как ни блестящ был Сюлли как раз в Эдипе, идти по его стопам мне представлялось невозможным. Его псевдо-патетический стиль казался мне одинаково чуждым как религиозной сущности античной трагедии, так и духу русской речи, не переносящей, в отличие от французской, никакой условной патетики. Гастролировавший накануне войны в Москве берлинский театр Рейнгарта, сумел, правда, в лице Моисеи преодолеть ложно-классическую декламацию, но это преодоление было делом личной гениальности итальянского актера, игравшего на немецком языке. Мне же хотелось не импровизации, а открытия нового речевого канона для исполнения Софокла.

В поисках такового я и пришел к мысли о возможности применения к исполнению античной трагедии метрической схемы православного богослужения. Речь шла, конечно, не о простом перенесении этой схемы из церкви на сцену, а об ее вольном переложении, различном для героев и хора. Мне хотелось прежде всего уйти от произвола психологического индивидуализма, чуждого религиозной сущности трагедии и добиться чтения свободного от всякой аффектации, искреннего, глубокого и простого, лишь изредка прерываемого гневными, скорбными и ликующими возгласами изнутри страстными, но извне столь же строго закован

ными в канонически напевную схему, как протодиа-конские возглашения в церкви.

Актеры, в особенности молодые, с увлечением работали над поставленной им задачей; Ленин же, Эдип, временами приходил в отчаяние от моей «обедни», так как по своим данным – необъятный, благородный голос и от природы величественный жест – он был создан для риторической декламации Моннэ-Сюлли, которого он видел в Париже и который произвел на него неизгладимое впечатление. Тем не менее и он с интересом работал над осуществлением нового трагедийного стиля.

Продав за гроши московское дело, Никитины переехали в Ивановку. Им казалось, что на нескольких десятинах земли, обрабатываемых своими руками, будет легче не умереть с голоду, чем в Москве. О большем тогда никто не думал. Мы с Наташей остались жить в родительской квартире на Тверской. С нами осталась ничего не понимающая и ничего не принимающая тетя Лида, не любившая деревни.

Зима 191819?-го года была ужасной. В квартиру по всевозможным ордерам въехали неизвестно что собою представляющие жильцы. Самую лучшую комнату заняли наша бывшая горничная со своею дочерью, быстро превратившейся из скромной, услужливой, некрасивой девушки в развязную, напудренную «сов-барку», чувствующую себя не только хозяйкой квартиры, но и всей России. У мамаши с дочкой завелся какой-то шофер, который доставал им всё, чего у нас уже давно не было: сахар и пшено, сало и дрова. Дочка стала одеваться как барышня, ей не хватало только «мехового боа», но она была уверена, что шофер и это для нее достанет.

В бывшей столовой поселилась какая-то хромая,

растрепанная армянка, вылитая ведьма с Лысой горы. Жить ей было не на что; голодая, она у всех нас воровала припасы и жаловалась, что ее обворовывают. Очевидно, она была не совсем нормальна.

В задней комнате изнурительно кашляла неизвестно откуда взявшаяся немка.

Ввиду расхищенное™ кроватей жильцами, мы с Наташей спали на турецком диване. По ночам в нем пищали крысята. Их старая обалдевшая от голода мать на рассвете подолгу дежурила перед нашим ложем; я бросал в нее башмаками – она скрывалась, но вскоре снова появлялась на том же месте: казалось, она ждала нашей смерти, желая накормить нами своих детей.

«Испанка» немки осложняется воспалением легких. Испанкой же в легкой форме заболевает Наташа и в тяжелой – тетя Лида.

Сама больная, Наташа ухаживает за двумя больными. Доктор прописывает лекарства, но достать их нет никакой возможности. Наконец, после бесконечных хлопот, знакомые знакомых добывают кое-что в кремлевской аптеке. Но важнее лекарств – тепло. Дров у нас нет, наш сарай реквизирован. Приходится ночью в страхе взламывать свой собственный сарай и выкрадывать из него свои собственные дрова, чтобы спасти умирающих. Спасти их не удается: сначала умирает немка, а через несколько недель и тетя Лида.

И тут выясняется, что быть похороненным в Советской России гораздо труднее, чем быть расстрелянным.

Чтобы похоронить безродную немку, надо было получить удостоверение о ее смерти у председателя домового комитета, которого никогда не было дома. С удостоверением надо было идти в какие-то учреждения и простаивать там часами для получения разрешения на покупку гроба и права на рытье могилы. Но кто ее

будет рыть? Бывший дворник требует или полбутылки водки, или пять фунтов хлеба. Хлеба достать не удается, но через знакомого бактериолога, заведующего лабораторией, достаем спирт. Все это длится несколько дней. В наконец-то добытый гроб мы кладем покойницу с выжранными крысами щеками и обглоданными ступнями…

Когда умерла тетя Лида, гробов уже не было. Гроб смастерили сами из нескольких досок, оторванных от коридорной перегородки и сами же отвезли покойницу на маленьких салазках по голым камням, залитым осенней грязью на далекое Ваганьковское кладбище.

Вспоминая всё это, я и поныне, несмотря на то, что живу в Германии, на города которой ежедневно падают сотни тысяч бомб, продолжаю не понимать, как мы могли в зиму 1918-19-го года часами биться над расстановкою статистов в массовых сценах и многократно переставлять эмоциональные ударения в со-фокловском хоре…

Очевидно, ставя людей перед непосильными как будто задачами, жизнь отпускает им необходимые для их преодоления силы.

Удивительнее всего было то, что мы в театре не только с увлечением работали, но подчас шумно и беспечно веселились, устраивая литературно-музыкальные вечера на манер знаменитых капустников Художественного театра, кончавшиеся иной раз даже и танцами. На этих вечерах бывал Луначарский. Появлялся он в весьма великолепном виде: в роскошной, очевидно, только что полученной по ордеру, меховой шубе. Надо отдать

справедливость Анатолию Васильевичу, барственная шуба весьма шла ему: распахнутая, она складно свисала с его плеч, придавая своим темно-бурым воротником колоритную интересность его рыжеватой голове. Комиссар хорошо сознавал это и явно

любовался собою. Сие невольное самоупоение делало его счастливым, а потому и мягким в обращении с нами, его подчиненными. В театре Луначарский чувствовал себя, что называется, вполне в своей тарелке, если не считать того, что сан комиссара социалистического правительства, побуждавший его ко всякому женскому имени прибавлять нелепое «товарищ» – «товарищ Нина, товарищ Белевцева», явно мешал пышности его цветения на наших вечерах. Было комично, но и трогательно видеть, как этот «сан» холодящим изолятором не во время прослаивался между нежно розовеющей щечкой актрисы и козлиною бородою комиссара. Луначарский не только ухаживал, но и ораторствовал. Надо сказать, что речи и беседы этого типичного bohemien были остроумны, а часто и содержательны. В них чувствовались природная артистичность, большая для советского сановника терпимость и разносторонняя начитанность. Как ни как Анатолий Васильевич переводил «Олимпийскую весну» Шпиттелера. Кто из русских интеллигентов, даже и среди писателей, читал это скучноватое, но все же замечательно произведение?

Помню, как на диспуте в театре Корша, разбирая только что прошедшую «с блестящим успехом» пьесу Луначарского, я откровенно говорил о том, что, как ни старался автор внушить публике любовь к выведенной им идейной женщине пролетарского происхождения, ему это не совсем удалось и, конечно, лишь по той причине, что его бессознательная симпатия была на стороне ее буржуазной соперницы.

– Смотря пьесу, – говорил я не без ядовитости, – публика безусловно чувствовала, с какой радостью автор-социалист забежал бы к буржуазной прелестнице, перед тем как, ввести в ее будуар своего героя.

То, что, отвечая мне, Луначарский, которому я был, в конце концов, обязан и своею должностью и

своим освобождением от военной службы, не позволил себе ни малейшего комиссарского нажима на мою совесть, я ему ставлю в большую заслугу. Ничего подобного Геббельс никогда не позволил бы драматургу своего берлинского театра. Но, конечно, толерантность и мягкость Луначарского не распространялись на политические вопросы. Это угнетало меня и заставляло избегать встреч с ним вне служебной обстановки. Лишь раз ужинали мы с ним вместе у талантливого человека и незадачливого драматурга,

Волькенштейна. Вечер прошел мирно и оживленно. И все же я возвращался домой с чувством стыда за совершенное мною предательство своей сущности. От вторичного приглашения на вечер с Луначарским я потому отказался. ˆ

Как почти все революционные министры, Луначарский интересовался лишь идейным руководством своего министерства. Для технического управления им, а в частности и нашим театром, ему не хватало ни времени, ни навыка. Выплата ассигновок на художественные и хозяйственные нужды театра постоянно опаздывала. Заведующий административной частью, изворотливый, провинциальный антрепренер, целыми днями метался по всевозможным инстанциям и советским заведениям, выклянчивая холст для декораций, материю для костюмов, дрова и жалование для труппы, которое, запаздывая на месяц, непрерывно уменьшалось, ввиду возроставшей инфляции. В конце концов, все мы жили почти что на собственном иждивении и собственным изворотом. Спасибо спекулянтам-мешочникам, которые, постоянно откупаясь от милиционеров и большевистских агентов, целыми таборами жили в Замоскворечье, Грузинах, у Немецкого рынка и Павелецкого вокзала. Скупая с ежеминутным риском для жизни, пшено, муку, масло и сало, главным образом, у прислуги приходивших с фронта санитарных поездов, эти герои вольного рынка оборотисто обменивали скуплен

ные продукты на обувь, одежду, мебель или продавали их за баснословные деньги.

Пронюхав о прибытии поезда, можно было, конечно, и самим съездить за продуктом, но это было много труднее и опаснее. Раз съездив, чтобы уже не очень переплачивать, я от дальнейших поездок отказался.

Указания, полученные мною от верного человека, были весьма приблизительны. Надо было в заборе, тянущемся вдоль полотна железной дороги, нащупать две, лишь на одном гвозде державшиеся тесины, отодвинуть их, прошмыгнуть в этот лаз, спуститься правою тропкою по откосу к красному фонарю и, найдя на пятом, или шестом запасном пути, приблизительно в полуверстве от вокзала облупленный классный вагон санитарного поезда, спросить товарища такого-то.

Никогда не забуду, с каким чувством стыда, злобы и страха подымался я на глазах у подкупленных милиционеров с пудом пшена и муки в чемодане вверх по откосу к дожидавшемуся меня неподалеку извозчику. Веры в честность продажных милиционеров у меня не было. Получив мзду с продавцов санитаров, они могли захотеть получить ее и с покупателей.

Рассказывали и о более сложных операциях: сначала милиционеры брали вторую взятку, а потом отбирали провиант, да еще с угрозою отправить на Лубянку за попытку подкупить неподкупную пролетарскую власть…

Мои старания зайти в тыл пролетарской культуре и создать при комиссариате народного просвещения не театр марксистской агитации, а «театр трагического действа», увенчаться успехом, конечно, не могли. Сознавая это, я не очень удивился, когда вскоре после постановки «Эдипа» в нашем театре в качестве полуофициального представителя комиссариата появился Всеволод Эмильевич Мейерхольд и, собрав труппу, при

нялся сплеча разносить нашу «реакционную идеологию и эклектически-упадочный репертуар».

Речь этого талантливейшего режиссера, всю жизнь горевшего желанием являть собою последнее слово эпохи, была типичнейшим образцом революционного футуризма!, который в то время вел наступление по всему культурному фронту «Октября». Перед нами про-дефелировали если и не все понятия, то все же все слова кубистически-преломленной марксистской идеологии. Обвинительно-программная речь была произнесена с большим, но чисто актерским подъемом.

В результате выступления Мейерхольда последовало радикальное преобразование театра. В новом театре мне места уже не было. Так, не успев расцвести, была оборвана моя театральная деятельность.

Рассказывая в своих воспоминаниях о борьбе нового искусства с традиционными течениями в русской культуре, я мимоходом уже говорил, что встреченный прогрессивной печатью в штыки, футуризм был впоследствии признан большевиками за единственно полноценное художественное выражение духа октябрьского переворота. Для уразумения основной сущности большевистской стихии, этот факт имеет очень большое значение. Ни с социализмом, ни с пролетариатом, ни с интернационалом русский футуризм никогда не имел ничего общего. Это революционно-художественное течение было всегда вне политики и потому с самого начала таило в себе опасную возможность приспособления к любому, лишь бы радикальному политическому течению. В 1914-м году его вождь, Владимир Маяковский, громыхал стихами, в которых похвалялся вытереть окровавленные русские штыки о шелковые юбки венских кокоток.

Если футуристы все же стали не то, чтобы придворными певцами, но все же весьма преуспевающими агитсотрудниками новой власти, то объяснение этому

факту надо искать не в социалистических убеждениях

футуристов, а в общей большевикам и футуристам бакунинской вере, что страсть к разрушению есть подлинно-творческая, то есть созидающая страсть. Крайность большевистских точек зрения, неумолимая последовательность в их развитии и осуществлении, предельное бесстрашие и безоглядность большевистских декретов и действий – все это было глубоко созвучно футуристической стихии.

Послав к чорту лиры и свирели и засучив рукава, они наглою, молодою толпою высыпали на революционную улицу и самотеком влились в комиссариат народного просвещения.

Ни одна советская выставка, а выставки шли одна за другой, не обходилась без их участия. Устраивал ли наркомздрав выставку по борьбе с сыпняком, или союз народного хозяйства выставку сельских машин – с выставочных стен свисали все те же расписанные квадратами, треугольниками и кубами футуристические плакаты. По красным, протянутым под потолком из угла в угол, полотнищам пьяно и пестро плясали врассыпную буквы, как бы предлагающие сложить их в звучные социалистические лозунги. От этой абстрактно-геометрической иероглифики и шарадооб-разной эмблематики нельзя было укрыться даже и на улице: по капитальным стенам домов, по уцелевшим заборам, по охотнорядским палаткам, по холстам грузовиков, по вагонам агитпоездов – всюду, утомляя мозг и раздражая нервы, несся все тот же заумно красочный кордебалет футуристического конструктивизма.

Оскорбительнее всего эта назойливая декоративность была там, где ее обезформливающая страстность посягала на формы старого искусства, а то даже и самой природы. В октябрьские торжества в Петрограде «стройно-монументальный Александрийский столп

был, – как рассказывает Эфрос, – уродливо расчленен какими-то пришпиленными к нему разноокрашен-ными холстяными квадратами и секторами». В майские же торжества 1919-го года в Москве газон и кусты в цветниках театральной площади были, в целях вовлечения их в общую праздничную конструкцию, густо выкрашены фиолетовой клеевой краской. Очевидно «формовщиков» новой жизни одинаково возмущало как «невозмутимая величественность подлинного искусства», так и самодавлеющая жизнь вечной и равнодушной к революциям природы.

Недаром футуристы и их многочисленные соратники, как я уже писал, рассказывая о «Бродячей собаке», именовали небо трупом, а звездную россыпь гнойною сыпью.

Войдя в доверие власти, футуристическое искусство само

превратилось во власть. Засев в отделе изобразительного искусства народного комиссариата просвещения, в так называемое «Изо», футуристы немедленно же организовали во всех провинциальных городах его подотделы, по которым неустанно растекались распоряжения из центра: «К первому мая, – приказывало Изо, – украсить город формами нового революционного искусства… Представителей старого искусства к этому делу не допускать… пролетариату не нужна реалистическая жвачка».

В ответ на такие декреты, подкрепляемые весьма пристрастным распределением пайков, провинциальные города то по одному, то по другому поводу украшались все тою же футуристическою иероглификою разрубленных на слога и перемешанных с разноцветными геометрическими фигурами агитлозунгов. В некоторых из них, на поросших травой милых провинциальных площадях возникали, кроме того, футуристически деформированные фигуры гипсовых Марксов и Лениных. В Витебске, возведенный в чин комиссара

талантливейший Марк Шагал расписал, как рассказывает тот же Эфрос, все вывески характерными «шага-лесками» и поднял над городом стяг, изображавший его, Шагала, верхом на зеленой лошади и трубящим в рог: Шагал – Витебску.

Триумф футуристов длился недолго. Когда прошел первый пыл, глубоко реакционная и малограмотная в вопросах искусства партия поняла, что ей с футуристами не по дороге. Удалить футуристов было трудно: уж очень их поначалу вознесли. А потому решили уравнять их в правах со всеми иными течениями. Втайне большевики, вероятно, надеялись, что здоровый художественный инстинкт простого народа сумеет справиться с «последышами разлагающейся буржуазной культуры», как снова начали именовать футуристов, и поможет пролетариату открыть среди старых художников-реалистов более близких ему по духу глашатаев социалистической революции. Мечтая о поражении футуристов, наркомпрос раздал их врагам, натуралистам, громадное количество заказов на сооружение памятников русским писателям и революционным вождям. Обрадованные переменою ветра в верхах, старые мастера со рвением принялись за работу. Чуть ли ни каждую неделю бегали мы смотреть на вновь открываемые памятники. Но, увы, среди них не оказывалось ни одного, подлинно монументального по духу и стилю сооружения, хотя бы приблизительно соответствующего размаху революции. Все было безразмерно и комнатно, все дышало безнадежною вчерашностью, а частично даже и глухим провинциализмом. Если в футуризме и не было искусства, то в

нем все же была революция; в привлеченном же к революции старо-идейном натурализме не оказалось ни искусства, ни революции, а всего только ремесленная рутина и идеологическое приспособленчество.

Порвав с Государственным показательным теат

ром, я некоторое время еще продолжал преподавать в театральных школах и студиях: у Корша, в Студии Лебедева и в Студии молодых мастеров. О последней сохранил наиболее приятное воспоминание. Несмотря на ее задорное, как будто бы даже рекламное название, и на чрезмерно большую ловкость, с которой ее юный руководитель маневрировал среди бесчисленных политических и финасовых трудностей, в ней все же господствовал не практически-карьерный, а товарищески-идеалистический дух. Работа велась с большим подъемом, с горячею верою в великое будущее русского театра. Настоящими праздниками среди ежедневной работы были редкие уроки Станиславского.

Окружив обожаемого Константина Сергеевича тесным кольцом, студийцы, затаив дыхание, ловили каждое его слово и напряженно следили за каждым его жестом, а он, наивный, сереброголовый шестидесятилетний ребенок, не чувствующий ни своей единственности, ни веса своей мировой славы, как-то уютно и почти смущенно стоял среди них и, не зная, чем дарит, одарял их и присутствовавших на его уроках преподавателей неоценимыми сокровищами своего гения и своего опыта. Обучал Станиславский тому, чему, кроме него, обучать никто не мог: умению вслушиваться в себя и различать в себе подлинное художественное творчество от его поверхностной имитации. Пользовался он при этом своими собственными, долгою практикой выработанными приемами.

– Вот диван, – говорил он, улыбаясь своею очаровательною улыбкою и своими солнечными агатовыми глазами, – вообразите, что в него воткнуты булавки, обшарьте его и постарайтесь вынуть их, но так, чтобы не уколоться. (В опубликованной впоследствии «Системе» этот пример развернут Константином Сергеевичем в более сложный драматический сюжет).

Ученики и ученицы по очереди подходили к ди

вану и делая вид, что боятся укола, как будто бы осторожно шарили по нему руками.

Не видно, друзья, чтобы вы верили в булавку, – говорил он юным мастерам, вкалывая в диван несколько вынутых из отворота пиджака булавок. Ученики снова шарили по дивану. Руки их, однако, уже иначе двигались по подушкам. Это, почти неуловимое для невнимательного глаза «несколько иначе»,

Станиславский и вскрывал ученикам в тех простых, ему одному свойственных намеках, которые сразу же вводили актера в живую правду сценического творчества.

От таких простых задач Станиславский переходил к более сложным. Молодой талантливой ученице он предложил съимпровизировать какую-нибудь немую сцену. Актриса решила сыграть радостное ожидание свидания, мучительные сомнения и, наконец, горечь, боль и гнев обманутой надежды. Сыграно все это было на поверхностный взгляд хорошо. На любой провинциальной сцене актриса была бы награждена бурными аплодисментами. Но Станиславский только нахмурился, весь как-то непроницаемо занавесился.

Ну, хорошо, – сказал он после общего недоуменного молчания, – вот я вам сам дам тему.

При этих словах он вынул записную книжку и начал ее листать: медленно, задумчиво, о чем-то сам с собою рассуждая и что-то как будто прикидывая. Выражение его лица все время менялось: то оно просветлялось улыбкою, то хмурилось, все равно, мол, ничего не выйдет, трудно.

Вместе с ученицей и мы все ждали решения и не спускали со Станиславского глаз: перед нами стоял настоящий актер, то есть человек одним своим видом приковывающий наше внимание к происходящим в нем душевным движениям.

Продержав всю студию в таком напряжении несколько минут, Станиславский вдруг захлопнул книжку и лукаво улыбаясь обратился к ожидавшей темы ученице со словами:

– Ну, вот, ожидание темы вы сыграли гораздо лучше любви. Новой темы вы действительно ждали, а «его» нет. С самого начала решили, что не придет. В чем тут дело?

И Станиславский начал медленно, как бы со скрипом вращать перед нами свою сложную теорию актерской игры. Все, что он говорил, было совершенно замечательно, быть может, логически не вполне ясно, но зато интуитивно потрясающе точно.

В Студии Лебедева вместе со мною преподавал князь Сергей Волконский: итальянец по виду и француз по своим взглядам на сценическое искусство. Ближе познакомиться мне с ним не пришлось. По сравнению с педагогическим творчеством Станиславского, уроки этого знаменитого теоретика театральной речи были бесконечно сухи и беспредметны, не чувствовалось в князе и никакой любви к своим ученикам.

У Лебедева моя деятельность не ограничивалась одним преподаванием истории и философии театра. Вместе со студийцами я должен был еще разъезжать на размалеванном грузовике по заводам и фабрикам и произносить перед поднятием

занавеса наставительные речи о новых задачах театра. Делал я это и с неудовольствием и со смущением в душе: с неудовольствием потому, что рабочие в ожидании спектакля не были расположены слушать рассуждение о театре, со смущением же потому, что на фабриках мне уже нельзя было развивать свои теории, а надо было произносить не совсем свои слова.

Но что было делать? Переехав во время подготовки «Эдипа» в Ивановку, мы с Наташей, ввиду частых поездок в Москву, не могли по-настоящему там работать; питаться же за счет только что налаживаемого, еле прокармливающего своих постоянных работай

ков, хозяйства мы не хотели. При таких условиях казенный паек был единственным спасением: как ни как он давал в месяц 7 фунтов мяса, обычно конины, 10-12 фунтов хлеба, немного крупы, полфунта сахару, соли, пачку махорки, коробку спичек и маленький кусочек мыла.

Частые зимние поездки из Ивановки в Москву были сплошною мукою. Хотя поезд со станции уходил только в 10 утра, вставать приходилось уже в пять. Быстро одевшись в холодной комнате (градусов пять по Реомюру) и наскоро напившись при свете ночника – ни керосина, ни свечей не было – свекольного кофе с кусочком хлеба, я выходил часто с лопатой для расчистки снега в конюшню. За отсутствием воды на дворе, лошадь надо было вести к проруби в пруду. Запрягать приходилось ощупью в совершенно темном каретном сарае. Пока я запрягал, Наташа окончательно допаковывала уже накануне собранные вещи. Так как в Москве достать ничего было нельзя, то мы везли с собою не только необходимые вещи и съестные припасы, но и дрова в мешке и салазки для доставки всего нашего добра с вокзала на Малую Никитскую, где за нами была оставлена комната в квартире моей сестры.

Зима 1918-19-го года стояла на редкость суровая: снежная и вьюжная. На особо ветреных перекрестках иной раз почти до верху заметало телеграфные столбы. Плуг уже давно не расчищал шоссе. Встреча с обозом была несчастьем: свернуть было некуда, тощие лошади в объезд по целине не брали. Двадцать верст до станции мы тащились больше четырех часов.

Особенно запомнилась одна февральская поездка. Не проехав и часа, мы замерзли почти до бесчувствия: разламывало череп, рвало и жгло пальцы рук и ног. Все хорошие теплые вещи были уже давно обменены на продукты. На Троицкой горе, где над озером

всегда особенно зло выл предрассветный ветер, выбившаяся из сил лошадь стала останавливаться и, наконец, совсем

остановилась. Пришлось бросить ей охапку сена и дать хоть с четверть часа отдохнуть. На востоке забрезжило. В сереющем мраке зачернели сучья кладбищенских деревьев, за ними белесым пятном обозначалась церковная колокольня. Вспомнилось, как мы ехали мимо нее, отправляясь на войну: легкой и светлой стояла она тогда на зеленом откосе. Теперь в ней чувствовались скорбь и обреченность. Охлопывая плечи ладонями, чтобы хоть как-нибудь согреться, я с трудом шел в гору рядом с санями и, смотря на закутанную, неподвижную в санях Наташу, тщетно силился уловить хоть какой-нибудь смысл во всем происходящем.

В Москве расстреливают людей, деревня пухнет от голода и мрет от тифа. Люди думают только о куске хлеба и о том, как бы спасти свою жизнь, а я целую ночь мучаю Наташу, себя и лошадь, чтобы рассказать двадцати девицам и юношам об Элевзинских мистериях и о ложных принципах французского театра восемнадцатого века. Кому это нужно? Не сплошное ли это безумие?..

Уже и раньше со мною бывало, что в иные призрачные, преимущественно ночные минуты я настолько отчуждался от себя самого, что произнося вслух свое имя, не узнавал его звука и не связывал с ним своего бытия. В революцию эти уходы от себя самого, эти почти болезненные размыкания личности, быть может, связанные с голодом и заболеванием сердца, стали все чаще повторяться со мною. В то утро я подъезжал к станции почти что душевно больным человеком.

Перед станцией у розвальней суетилось и шумело множество народу. Протискаться в зал можно было только с величайшим трудом. Приехавшие спозаран

ку мужики вповалку спали на лавках и на полу. К кассе тянулся длинный хвост.

На основании всевозможных пропусков и бумаг с магическою подписью «Ленин» (о том, что в Москве могут быть несколько Лениных никто не догадывался), главным же образом, благодаря огарку и нескольким антоновским яблокам для кассирши, мы, как всегда, добыли билеты с задняго хода, вне очереди. Поезд, как обычно, опаздывал на несколько часов. Во время он ушел лишь однажды, опоздав ровно на 24 часа…

Звонок – спящие вскакивают, толпа стеною валит на платформу. С нечеловеческими усилиями, под ругань и насмешки «товарищей», втаскиваем мы наши пожитки в высокий, нетопленый товарный вагон без ступенек и, с риском заразиться тифом, или по меньшей мере набраться вшей, неподвижно вклиненные в толпу, едем два, а то и три часа 30 верст до Москвы.

Небольшой, типично московский особняк, второй этаж которого занимал женатый на моей сестре химик Дмитрий Николаевич Аксенов, тихий, болезненный человек и талантливый ученый, был, как и наша московская квартира, тесно набит нахлынувшим в него в первые же дни октябрьской революции случайным народом.

Первый этаж был реквизирован шоферами не то высокопоставленных сановников, не то советских учреждений, сытыми, наглыми парнями, все время грозившими распространиться на весь дом. Домовый комитет был всецело в их руках.

Во втором, кроме Аксеновых, за которыми остались две небольшие комнаты, и нас, жили преимущественно актеры, долго спавшие по утрам и бесцеремонно шумевшие по ночам.

В бывшей столовой жила красавица-актриса Камерного театра, со своим мальчиком; ее часто навещал бросивший ее супруг по внешности жестокоглазый

ястреб, по прозвищу «Синее божество». Рядом с нею теснились две ее приехавшие из провинции сестры с матерью. Одна из сестер тоже собиралась на сцену. В последней по фасаду комнате целыми днями до бесчувствия упражнялась на рояле молодая армянка-консерваторка. Против нее, в самой большой, выходившей на двор комнате, проживал со своею женою молодой режиссер, убежденный пропагандист «театрального экспрессионизма и театрализации жизни». Рядом с ними в небольшой каморке ютилась его первая жена, очень красивая, бойкая женщина. Какие отношения связывали эту троицу никто из обитателей нашей квартиры разгадать не мог. Первая жена часто ездила на юг и привозила много муки, масла, сахару. Всеми этими благами, с отвращением оплаченными, по ее же собственным словам, романами с проводниками поездов, она щедро делилась с бывшим мужем и его женой. После ее приездов в угловой комнате всегда происходили какие то ночные пиры, распространявшие вкуснейшие ароматы по всему коридору. По утрам режиссер со своими дамами подолгу занимал ванну, мотивируя эту бытовую простоту необходимостью экономить топливо.

Сестра очень страдала от беспорядка и грязи в квартире, но сделать ничего не могла. Прибиваемые ею всюду записки с просьбами не ссориться в кухне из-за мест на плите, не пользоваться без спросу чужими примусами, не засорять уборной и убирать ее за собою, не занимать ванну больше чем на полчаса, не плевать и не растаптывать в коридоре окурков, вызывали лишь смех молодой богемы.

Заканчивая повествование о театральном периоде своей жизни, я не могу не рассказать о праздновании

пятидесятилетнего служебного юбилея Марии Николаевны Ермоловой. Кажется это событие было последнею – лицом к лицу – встречею старого московского общества с коммунистическою

партией.

Уже задолго до торжественного дня в театральных кругах стало известно, что Красный Кремль намерен преподнести Марии Николаевне звание «народной артистки», закрепить за нею в собственность ее собственный дом по Тверскому бульвару и подарить ей экипаж для поездок в театр. Более осведомленные люди, а может быть только более горячие головы утверждали, что лошади будут белые из царской конюшни. Все эти «великие милости» не радовали москвичей, так как ощущались попыткою «экспроприировать» у старой Москвы ее любимую актрису.

Старшее поколение, еще живо помнившее триумф молодой Ермоловой в роли Лауренции в «Овечьем источнике» Лопе?де? Вега, по поводу которого профессор Стороженко писал в рецензии, что игра Ермоловой достигла как раз в этой роли небывалой трагической силы потому, что в ней с особенною страстностью вылилась любовь Ермоловой к свободе и ненависть к тирании, было особенно возмущено. «Как, -- говорили старые театралы, – тираны и душители народной свободы осмеливаются жаловать Ермоловой, этой «Татьяне» славного, вольнолюбивого Малого театра, нашего второго московского университета, звание народной артистки? Это ли не насмешка над Россией, свободой, народом и Ермоловой?»

Этот глухой протест искал хоть какого-нибудь выхода: нельзя же было на празднике своей Ермоловой и своей свободы так до конца и слиться с большевиками. Идеологический протест был, конечно, невозможен, оставался лишь внешний, стилистический. Поэтому юбилейным комитетом и было постановлено, что старая артистическая Москва и ее гости будут

размещены на грандиозной сцене Большого театра и явятся на торжество в своем дореволюционном облике: мужчины во фраках, дамы в соответствующих туалетах. Я должен был приветствовать юбиляршу от имени нашего театра. Фрак у меня еще был, но хотя бы сколько-нибудь соответствующих штиблет уже давно не было. Что-либо подходящее можно было достать только на Сухаревке.

Забрав в небольшой чемоданчик кое-какие вещи: венецианские бусы, вазочку для варенья, большой граненый флакон из-под духов, головную щетку с зеркалом и, наконец, в качестве главного козыря, светлые, фланелевые брюки, мы отправились в воскресенье на рынок к знаменитой петровской башне.

То разрешаемая, то запрещаемая, то открыто, то из-под полы в подворотнях торгующая, постоянно угрожаемая милиционерами, но и постоянно откупающаяся от них,

мужественно несущая тяжелые жертвы не только товарами, но и жизнями, Сухаревка, которой многие из нас обязаны своею жизнью, являла в день нашего первого ее посещения на редкость оживленную картину.

В немногих еще стоявших главным образом в районе Шереметьевской больницы палатках по-старому торговали заправские торговцы поношенным платьем, рваною обувью, какими-то последними, неизвестно откуда добываемыми отрезами сукна и всякою, уже совсем непотребною рухлядью и ветошью. Откинувшись назад, с лотками на животе, важно расхаживали по рынку разносчики, снисходительно отпуская голодным покупателям за дикие деньги зеленоватую колбасу, подозрительный студень и прогорклое масло.

Сторонясь и побаиваясь этих старых хозяев рынка, в самой грязи под башней, на принесенных с собою складных стульях, а то и просто на перевернутых дырявых ведрах, гнездами ютилось новое торговое со

словие: интеллигенция, буржуазия, главным же образом, беспомощная знать: замученные, землисто-серые, пергаментно-желтые лица, покорно потухшие или озлобленно суетящиеся глаза, породистые руки с грязными ногтями, с болью и нежностью касающиеся продаваемых вещей, на многих мужчинах изящные пальто, на дамах костюмы «тайер», но под ними уже валенки, в дыры которых проглядывают пальцы.

Торгуют «бывшие люди» всем, чем угодно: лампами, люстрами, картинами, мелкой мебелью, платьями, книгами, марочными альбомами, лайковыми перчатками, душистыми «сашэ», кружевами, вазами, растениями, зонтами и палками с серебряными набалдашниками.

Новые властители жизни с жадностью осматривают и ощупывают всю эту обветшалую, но своею не-виданностыо все же поражающую роскошь, но, узнав цену, с независимым видом кладут вещи обратно. У всех одна и та же мысль: пусть еще поголодают «господа», через неделю за четверть цены отдадут. Но господа уже к концу дня отдают за бесценок: трудно нести домой, да и поиздержались, с голоду уже несколько раз брали колбасы и сопливой пшенной каши, которую из обмотанного тряпьем ведра продает сидящая на том же ведре, чтобы каша не стыла, бойкая спекулянтка. Впоследствии и я не раз соблазнялся этим основным советским блюдом. Сначала было противно, но потом привык, только блюдце и ложку приносил свои.

Кроме открытой мелкой торговли, в ближайших к рынку домах процветала недурно законспирированная крупная спекуляция валютой, драгоценными камнями и опиумом. Вдруг

пробежит подозрительный субъект, быстро, словно спичкой на ветру, чиркнет перед тобою бриллиантом в чуть приоткрытом кулаке и сипло шепнув на ухо «есть и доллары» – смотрит,

пойдешь ты за ним или нет. Пойти страшно, может быть, тут же и арестуют, а не пойти, если нужны деньги и надо продать что-нибудь ценное – нельзя: ведь покупают ценности лишь те, что и продают их. С этим чекистски-воровским миром мы впоследствии ближе познакомились, когда пришлось продавать драгоценности, чтобы купить лошадь для нашего ивановского хозяйства.

Но я не буду забегать вперед, пока что мы покупаем штиблеты, а не лошадь.

Долго рыщем мы в поисках подходящих – все нет и нет. Всюду либо ужасная работа, либо совершенная рвань. Но вот в руках типичного хитровца болтается то, что мне нужно: почти новые шевровые башмаки с лаковым носом, американской работы. Примерил – сидят как перчатки. Спрашиваем сколько стоят. Товарищ заламывает безумную цену. Торгуемся, уступает какие-то гроши, рублей тридцать. Нечего делать надо платить. Подсчитываем деньги: принесенных с собою и только что вырученных от продажи мелочей не хватает. Даю задаток, оставляю бедную Наташу сторожить явного жулика и с грустью в сердце отправляюсь продавать брюки. Чтобы привлечь к себе внимание, кричу во все горло: «Товарищи, кому нужны брюки? Английской фланели, с ручательством; крепки, как буржуазные предрассудки».

Вокруг меня быстро собирается народ, я по дешевке спускаю брюки, спешу к Наташе. Слава Богу, оборванец еще стоит рядом с нею. Мы расплачиваемся и, забрав штиблеты, спешим домой.

К сожалению, Наташа на празднестве быть не могла: в хозяйстве было много неотложной работы. Нагруженная тяжелым мешком за плечами, она с рассветом отправилась на вокзал. Со станции она должна была идти пешком, ввиду постоянного опаздывания поездов, скорее всего ночью. В то время по дорогам

не только грабили, но и убивали. Как раз за неделю убили и ограбили Знаменского кооператора, который вез товар в лавку.

Всё это очень мучило и волновало меня, но все же я одевался на юбилей так же тщательно, как к венцу.

В театр я пришел рано, зрительный зал был еще совсем пуст. Лишь за кулисами и по сцене за спущенным занавесом расхаживали группами и оживленно разговаривали артисты и московские театралы: много хороших знакомых и в новой обстановке особенно милых лиц. На женщинах светлые платья, шали, еще не проеденные последние меха и камни. Рядом с дамами белые фрачные груди и галстуки. У стариков даже белые

перчатки в руках. Сквозь пыльный, клеевой запах кулис пробивается тонкий аромат французских духов.

Я чувствую себя на каком-то волшебном острове, внезапно выступившем из кровавого, взбаламученного революционного моря. При входе на сцену меня шумно приветствует неистовая Варвара Массалитинова: «Вот кому бы Чацкого играть, и лицо старинное и волосы длинные и душа восторженная. Эх, дорогой мой, ровно на сто лет запоздали мы с вами рождением». Что касается последних слов Массалитиновой, то она была безусловно права: я действительно родился романтиком и не «буржуй» во мне радовался сбору дореволюционной Москвы, а любитель старины. Смогу ли я когда-нибудь религиозно преодолеть в себе романтика, я не знаю; в том же, что мне никогда не освоить просвещенски-социалистической цивилизации, – я не сомневаюсь. Не тот это воздух, не мой.

Рассаживаемся, медленно подымается занавес. Ярко освещенная рампа проводит резкую черту между серо-пиджачною массою партера в чуждом ей красно-золотом обрамлении роскошного зала и нарядною,

амфитеатром размещенною театрально-художественною Москвою на сцене.

В царской ложе правительство. На авансцене, окруженная своими близкими, Мария Николаевна Ермолова в закрытом белом платье. Взволнованная, растроганная, немного растерянная, но без малейшего следа усталости от предшествовавшего торжественному акту сборного спектакля, в котором она, после долгого перерыва, снова появилась на сцене.

Ни того, как играла Ермолова, ни того, как ее принимали, я описывать не буду: было много восторженных оваций и много тихих слез. Чествуя давно сошедшую со сцены и уже уходящую от жизни шестидесятивосьмилетнюю актрису, старая Москва, сама стоящая на пороге смерти, не только оплакивала свое прошлое, но с верою и надеждою передавала свои заветы и свои идеалы грядущим поколениям.

Первым приветствовал юбиляршу Луначарский. Ермолова слушала народного комиссара со свойственным ей достоинством позы и взора. Покорно благодаря власть за оказанные ей милости и пожалованный ей титул «народной артистки», она в своей краткой ответной речи сумела тонко отметить, что всегда служила народу и свободе. Это не звучало унизительным признанием: «я всегда была с вами», а гордым утверждением: «вся свободолюбивая Россия уже давно даровала мне звание народной артистки».

После Луначарского говорил директор труппы Малого театра

князь Сумбатов-Южин, все еще грузный, изящный и великолепный. Несмотря на свойственную этому актеру ложно-классическую преизбыточ-ность внешней выразительности, он до глубины души тронул меня своею речью, в которой было много живой любви к прошлому Малого театра и много искреннего преклонения перед юбиляршей, не раз на наших глазах захватывавшей его своим вдохновением и воз

носившей его игру на те высоты, на которые ему своими силами никогда бы не подняться.

За Южиным потянулись к юбилярше один за другим представители других театров, университета, консерватории, всевозможных, еще не разогнанных старых обществ и новых советских организаций.

Хотя я накануне тщательно продумал и в общих чертах даже набросал свою речь, я, как никогда, волновался, боясь, что мне не удастся кратко, осторожно и все же понятно выразить свою мысль. Сказать же мне хотелось приблизительно следующее: Все, кто ныне чествуют Ермолову, невольно склоняют свои головы перед тем верховным трибуналом истории, что представляет собою искусство. Будучи самосознанием народа и его вечною памятью, искусство является и высшим судом народа над самим собою. Бескровные приговоры этого суда неумолимы и неотменимы. Лишь то, что оказывается достойным художественного преображения, становится вечным достоянием народной истории. Остальное же, как бы значительно оно ни казалось современникам, отпадает в небытие. Да будет суд будущего русского искусства милостив ко всем нам и к новой власти, которая, чествуя вместе с нами великую трагическую актрису, заранее отдает свои помыслы и деяния на суд художественного гения России.

Произнося свою речь, я не сводил глаз с Ермоловой, с ее благородного, сурового старушечьего лица, тепло освещенного ласковыми, еще совсем молодыми глазами. Кончив, я с благоговением подошел к ее руке. Она гибким движением склонилась ко мне и поцеловала меня в лоб. В тот день я был счастлив.

Да, все относительно. Кто бы мог думать, что о страшных годах военного коммунизма, в продолже

ние которых было расстреляно около двух миллионов людей и десятки миллионов погибли от голода, тифа, в ссылке и в гражданской войне, пережившие «ежовщину» советские граждане будут вспоминать, как о сравнительно легком и даже чуть ли не счастливом времени.

Наслушавшись рассказов подсоветской интеллигенции, попавшей в Германию уже во время Второй мировой войны, о том, что творилось в СССР во время «ежовщины», я и сам начал смотреть на свою жизнь в Советской России до 1923-го года несколько иными глазами.

Ужасов в ней было достаточно, но все же она не была сплошным мраком. В ней еще горела напряженная духовная жизнь, еще дышала вера, что все, быть может, скоро сгинет, в ней еще ходило по сердцам и устам слово возмущения и протеста, во многих еще жила надежда на Белую армию.

Те литературные и религиозно-философские круги, о которых я рассказывал в 6-й главе, еще держались вместе, а частично даже пытались отстоять себя и свой мир в новой обстановке.

Ставя на футуристов, как на разрушителей буржуазной эстетики и глашатаев новой революционной культуры, власть инстинктивно понимала, что футуристы в учителя и педагоги не годятся. Создав в столицах очаги пролетарской культуры, так называемые «пролеткульты», она пригласила потому в качестве преподавателей лучших поэтов предшествующей эпохи. В стихотворном отделе Московского пролеткульта преподавали – Вячеслав Иванов, Андрей Белый и Владислав Ходасевич. Вячеслав Иванов, кроме того, работал поначалу еще и в театральном отделе нар-компроса. Попытка разъять символическую поэзию на приемлемую для пролетариата методику стихосложения и на неприемлемое для него содержание и

механически перенести выработанные символизмом литературные приемы в мир революционно-пролетарских сюжетов удастся, конечно, не могла. Все же пока эта неудача выяснялась, «приявшие» по своему революцию поэты-символисты жили в какой-то иллюзии свободы творчества. Некоторые из них, как например Белый, имели среди молодой пролетарской аудитории определенный успех. Хорошо помню рассказ Белого о том, как горячо молодые пролеткультцы пытались защитить его от нападок узкоколейного марксиста Лебедева-Полянского.

Это подземное просачивание живой воды со временем, как известно, прекратилось. С зимы 1929-30-го года в наркомпросе начался период литературного террора. Писатели и поэты подвергались преследованиям и опале решительно за все, так как под категорию контрреволюционности начали подводить не только вредные для пролетарской революции произведения, но и мало для нее полезные. По сравнению с гнетущею скукою этого завершенного безумия мы жили еще богатою духовною жизнью.

В 1922-м году в книгоиздательстве «Шиповник» вышел под моей редакцией первый номер одноименного журнала. Выпустить

его мне стоило больших усилий. Каждую статью и каждый рассказ приходилось зубами выдирать у цензуры, но зато и результат получился исключительный. В конце концов мы с цензором Мещеряковым, старым большевиком, умным, внимательным и мягким человеком – спасибо ему – выпустили литературно-философский сборник, ни одним словом не свидетельствовавший о том, что он вышел в советской Москве, а не в эмигрантском Париже.

Интересно отметить, что, пропустив относительно легко статьи таких, с большевистской точки зрения, контрреволюционных авторов, как Бердяев, Му

ратов и я, а также и лучшие беллетристические вещи сборника: «Бурыгу» Л. Леонова и «Письма из Тулы» Пастернака, Мещеряков, несмотря на все мои старанья, не пропустил недурно написанного натуралистически беспристрастного рассказа Лидина из провинциально-революционной жизни. На мои доводы, что в статьях сборника гораздо больше «ереси», чем в рассказе Лидина, Мещеряков не без иронии ответил мне, что наши мудрствующие статьи ни до кого не дойдут и души революции не отравят. От правдивого же рассказа Лидина веет такою скукой, такой революционно-бытовой обывательщиной, что даже ему, старому борцу, стало как-то тошно после его прочтения. Ощущения же скуки в революционное время надо бояться как огня.

Может быть, в этом замечании надо искать объяснение тому, почему поэтам-символистам до поры до времени разрешались некоторые «вольности дворянства». Конечно, власть поначалу многое разрешала философам и символистам только потому, что она глубоко презирала всякое духоверческое отношение к жизни.

Одною из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы был вплоть до нашей с ним высылки, Николай Александрович Бердяев. Большевистский вихрь не только взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно клокотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве.

Гневно критикуя интеллигенцию и в особенности народников всех эпох и видов, начиная со славянофилов и кончая коммунистами, Бердяев не щадил и русского народа, не выдержавшего, благодаря слабо

развитому в нем чувству чести, тяжелого испытания войны и оказавшегося «банкротом».

Хотя Бердяев в эмиграции и не примкнул к евразийцам (его

бескомпромиссное свободолюбие отталкивалось от фашистских элементов их государственного учения), он уже в 1920-м году развивал евразийскую теорию, обвиняя интеллигенцию в том, что она насильнически соединила восточную по своей стихии душу русского народа с западническим сознанием и тем помешала оформлению России в тот своеобразно-синтетический Востоко-Запад, каким она была задумана Господом Богом.

С этою центральною со времен спора славянофилов с западниками историософскою темою у Бердяева сливалась вторая: тема правильного соотношения мужского и женского начал в государственном и культурном творчестве народов.

Объяснение неорганического, сверх всякой меры разрушительного характера нашей революции Бердяев искал в том, что Россия не сумела своевременно пробудить в себе мужское начало и им творчески оплодотворить народную стихию. Уж очень долго она невестилась, ожидая жениха со стороны: то призывала древнего варяга, то современного немца и кончила чужеплеменным Марксом.

Явлением одновременно и своим, и мужественным был в России только Петр Великий. Но этот муж оказался насильником, изуродовавшим женственную душу России. Народ нарек его антихристом и даже порожденная его реформами интеллигенция сразу же подняла знамя борьбы против созданного им на западный лад государственного механизма.

На почве такого неблагополучного взаимоотношения мужского и женского начал в России и развилась, по Бердяеву, своеобразная «метафизическая истерия», склонность к одержимости, кликушеству.

К сожалению, православная церковь оказалась не в силах уврачевать этот недуг, так как в ее собственных недрах шла аналогичная борьба между чужеродным византийством и народной хлыстовщиной. Питая подвигами своих святых православную веру, она дала русскому народу возможность вынести его трудную историю, но закала личности, самодисциплины души и культуры она в нем выработать не смогла.

Теряя догматическую укрепленность веры, тонко подмечает Бердяев, французы становятся скептиками; теряя глубину мистической жизни – немцы становятся критицистами; русские же, утрачивая апокалиптическое чаяние царствия небесного, – становятся нигилистами. Большевизм, – формулирует Бердяев, – есть не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством.

Исходя из такого понимания большевизма, Бердяев налету

переустраивал и переоценивал все основные понятия своей социальной философии. Идейно он все определеннее склонялся в сторону христианского консерватизма, но по темпераменту оставался революционером, а потому и насильником как над историческими фактами, так и над чужими учениями.

Переоценка ценностей происходила в те дни не в одном Бердяеве. Хорошо помню очень показательное по своей тенденции выступление одного из «му-сагетских юношей», Сергея Николаевича Дурылина, принявшего весьма для меня неожиданно священнический сан. В старенькой рясе, с тяжелым серебряным крестом на груди, он близоруко и немощно читал у Бердяева доклад о Константине Леонтьеве. Оставшись, очевидно, и после принятия сана утонченным эстетом, отец Сергий Дурылин убежденно, но все же явно несправедливо возвеличивал этого, в глубине души скептического аристократа и тонкого

ценителя экзотических красот жизни, лишь со страху перед смертью принявшего монашество, за счет утописта, либерала и всепримирителя Соловьева.

Соловьевской веры в возможность спасения мира христианством в докладе Дурылина не чувствовалось. Речь шла уже не о том, как обновленным христианством спасти мир, а лишь о том, как бы древним христианством заслониться от мира.

Имена Жозефа де-Местра, Шатобриана и Бональ-да становились с каждым днем все популярнее. Я сам засел за перечитывание «Философии мифологии и откровения» Шеллинга.

Если бы в моей памяти не темнел небольшой кабинет Николая Александровича и не светилась бы красными бликами шелковая обивка его гостиной, мне было бы много грустнее вспоминать нашу подсовет-скую жизнь. В те годы насильнического попирания свободы и личности с особою силою ощущались «первозданные» реальности жизни и общение в духе становилось такою же неотъемлемою потребностью, как еда и сон.

Всех, кто собирался за чайным столом Бердяева, освещенным керосиновою лампой (чай брусничный, пирог, по размерам символический, по субстанции ржаной), не припомню. Из старых членов Религиозно-философского общества многих уже не было в Москве. Князь Трубецкой был на белом юге, Вышеславцев жил где-то под Москвой и кормился при каких-то бывших помещиках, которые, как и Никитины, еще ковырялись на нескольких десятинах оставленной им земли.

Как и встарь, неугомонно бурлил на собрании седой, пунцоволикий Рачинский, как и встарь, радовал глаз своею внешностью и пленял дух богатством мыслей и изысканностью

речи горько бедствовавший Вячеслав Иванов; бывал у Бердяева и Айхенвальд, пе

реживавший тяжелую трагедию в связи с небезопасными для семьи коммунистическими настроениями сына. Жалкою тенью себя самого, но все же милым сердцу образом праздной, никчемной, но и богатой талантами дворянски-помещичьей России захаживал мой старый гейдельбергский знакомый – Базилевич. Из новых лиц наиболее живое участие в академии принимали: приехавший из Саратова профессор Франк, один из самых значительных русских философов, и два доцента Московского университета – юрист Гольдштейн и экономист Букшпанн. На многих докладах бывали снедаемые в серой, грязной Москве тоскою по синей, светлой Италии редакторы «Софии» Грифцов и Муратов, а также, конечно, Гер-шензон и Андрей Белый. Последний, впрочем, реже других, так как он частично жил в Петербурге, где вместе с Ивановым-Разумником руководил Вольной философской академией.

Всего на дому у Бердяева собиралось человек 20-25 активных участников общей работы. В Мерзляковский переулок на большие собрания приходило человек 100, а на доклады более известных лекторов и много больше: в большинстве все знакомые по прежним философским собраниям лица.

На всех докладах и прениях неизменно присутствовала Ольга Александровна Шор, племянница известного в Москве пианиста Давида Шора, исключительно умная, многосторонне образованная и очень талантливая девушка, с большим успехом читавшая лекции по истории искусства на всевозможных рабочих курсах.

Гостеприимный дом ее родителей, в котором мы, приезжая из деревни в Москву, постоянно бывали, я вспоминаю с глубокою признательностью. У Шоров дольше чем у других держались кое-какие последние запасы, которые они, не заглядывая в будущее, ра

душно и беззаботно скармливали всем, кто попадал к ним: и старым друзьям, и случайным знакомым. У них, в относительно еще комфортабельной обстановке, мы довольно часто встречались с Вячеславом Ивановым, со Шпетом, с семьею редактора «Русских ведомостей» Игнатова и со многими «бывшими людьми». Бывали у Шоров изредка и иностранцы, главным образом, любознательные немцы, пытавшиеся разгадать душу России, а попутно и выяснить, будет ли для Германии какая-нибудь польза от революции. Среди них наиболее интересным мне показался доктор Ионас, основавший впоследствии вместе с профессором русской истории Гешем

Кёнигсбергский научный институт по исследованию Восточной Европы, а в частности России.

Как памятны мне поздние летние вечера на небольшом балконе у Шоров. Летняя Москва была по-старому полна своею милою провинциальною грустью. Пахло пылью, нагретым за день железом крыш и увядающим жасмином. Изредка доносились поспешные одинокие шаги. В гостиной о чем-то несбыточном раздумчиво пела виолончель Юрия Шора и было до полной утраты ощущения своего собственного «я» непонятно, почему засевшие в недалеком Кремле большевики творят в этом тихом, печально-прекрасном мире свое злое, громкое, бесскорбно-мажорное дело и почему, творя его, они приглашают в Кремль трио «Шор, Крейн и Эрлих» и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах.

Играя в Кремле, Давид Соломонович Шор не раз пользовался сентиментальными слезами «великих мира сего», чтобы выхлопотать помилование для невинно осужденных.

Удивляться чувствительности большевиков знающим историю людям впрочем не приходится. Биографии великих революционеров учат нас тому, что

жестокость и сентиментальность – родные сестры. Перед тем как начать подписывать смертные приговоры «неподкупный» Робеспьер старательно писал чувствительные стихи. До опубликования своего кровожадного коммунистического манифеста Марат работал над слащаво-сентиментальным романом и даже Наполеон, увлекавшийся гётевским «Вертером», сочинил любовную новеллу. А Дзержинский? Разве размышления и стихи его дневников не верх лунатической слезоточивости? Да, Достоевский прав, слишком широким создан человек, надо бы его сузить. Но в революцию он не сужался, а все безудержнее разливался во всю свою и смрадную, но и вдохновенную ширь.

Через Ольгу Александровну дошли до нас слухи, что в Германии появилась замечательная книга никому раньше неизвестного философа Освальда Шпенглера, предсказывающая близкую гибель европейской культуры. Почти одновременно возник таинственный слух, что эмигрировавший заграницу сын князя Сергея Трубецкого выпустил в Германии небольшую, но очень содержательную работу в защиту культур примитивных народов от наступающей на них неправомерно претенциозной европейской цивилизации.

Помню, как в ограде Румянцевского музея, нервно оглядываясь по сторонам, шопотом и весьма доверительно рассказывал о Трубецком один из мало знакомых мне доцентов Московского университета. Слушая молодого ученого, о котором

ходили вряд ли обоснованные недобрые слухи, я, стыдясь и за него, и за себя, ловил себя на мысли, что не вполне доверяю ему. Шел мелкий осенний дождь и было невыносимо скучно и пусто на душе.

Через некоторое время я неожиданно получил из Германии первый том «Заката Европы». Бердяев предложил мне прочесть о нем доклад на публичном

заседании Религиозно-философской академии. Я с радостью согласился и с чувством пещерного жителя, к которому через узкую щель чудом проник утренний свет, принялся за изучение объемистого тома. Волнение, с которым я работал над Шпенглером в своем деревенском кабинете, и поныне каждый раз оживает во мне, как только я открываю «Закат Европы».

Стояли ясные, осенние дни. В риге с утра до вечера стучала молотилка. Мы спешили с молотьбою, чтобы поскорее освободить машину для крестьян, которые уже считали ее общественной. В саду над облетевшей, багряно червонной листвой печально высился наш старый клен. Под окнами большого дома грустно никли головки белых и лиловых астр. Перекрученные, узловатые сучья обобранных старых яблонь казались исполненными какой-то первозданной муки. На террасе стояли приготовленные для отправки в волисполком ящики с яблоками. Пахло соломой и кисловатым духом прозрачно-восковой антоновки.

Обдумывая доклад, я медленно ходил по саду и подолгу просиживал на скамейке в конце парка, смотря на побуревшие ильневские холмы…

Неужели, – спрашивал я себя, – Шпенглер действительно прав, неужели к Европе и впрямь приближается смертный час? Но если так, то кто спасет Россию?

Вместе с болью о России (повсюду горели имения, со злобою изничтожался сельскохозяйственный инвентарь, бессмысленно вырезывался племенной скот и растаскивались на топливо и цыгарки бесценные библиотеки) – росла в душе и тоска по Европе. Самый вид, самый запах полученной из вражеской Германии книги волновал каким-то почти поэтическим волнением. В памяти невольно возникали образы Флоренции и Рима, Фрейбурга и милого Гейдель-берга с его замком, университетом и улицей Звеня

щего пруда, на которой я жил 1000 лет тому назад. Почему-то к вечеру с одурманивающей силой всплывали европейские запахи: эвкалиптов и мимоз Ривьеры, осыпающихся чайных роз у прогретых солнцем каменных стен во Фрейбурге, чуть пыльный запах университетских библиотек и даже сигарный дым международных вагонов-ресторанов…

«Нет, – возражал я мысленно Шпенглеру, – подлинная, то есть христиански-гуманитарная культура Европы не погибнет, не погибнет уже потому, что, знаю, не погибнет та Россия, которая, по словам Герцена, на властный призыв Петра к европеизации уже через сто лет ответила гениальным явлением Пушкина. Самый факт быстрого расцвета русской культуры 19-го века, в результате встречи России с Западом в годы Отечественной войны, представлялся мне неопровержимым доказательством таящейся в Европе жизни.

Даже и большевизм не подрывал моего оптимизма, так как казался не столько русскою формою того рационального маркистского социализма, в котором Шпенглер усматривал симптом гибели Европы, сколько скифским пожарищем, в котором сгорал не семенной запас европейской культуры, а лишь отмолоченная солома буржуазно-социалистической идеологии.

Не верил я в неизбежную гибель Европы еще и потому, что ощущал историю не царством неизбежных законов, а миром свободы, греха и подвига. От нашей скифской реализации безбожно-рационалистического европейского социализма я ждал отрезвления Европы; от сопротивления русской церкви большевизму – оживления христианской совести Запада. Признаюсь, что минутами мне даже верилось, что после срыва большевизма в Европе начнется руководимое Россией духовное возрождение.

Волнуемый такими мыслями, я по вечерам писал свой доклад. С дороги, проходившей через нашу усадьбу, налетала даже и в ночной час крикливая деревенская песня. Поравнявшись с нашим флигелем, парни отпускали весьма смачные словечки и откровенные издевки. Хотя я и знал, что это озоруют «чужие», форсят перед девками, было все же жутковато слушать наглые угрозы пустить красного петуха и выгнать нас взашей.

Прочитанный мною доклад собрал много публики и имел очень большой успех. Очевидно, в скудной советской духовности, отравленной марксистской верою, что история начинается с организации пролетариата, а философия с осознания им своей политической миссии, нарастал такой острый голод по новому слову, по живой творческой мысли, по смелому созерцанию истории, что простое изложение исключительно богатой всеми этими достоинствами книги не могло не вызвать чувства радостного выхода в какие-то океанские просторы западно-европейской жизни.

Прочитанный в Религиозно-философской академии доклад я повторял дважды. Сначала по приглашению профессора Тарасова для членов Пироговского съезда, а затем, уже не помню по чьей

инициативе, в большой богословской аудитории Московского университета. К этому времени весть о мрачном пророчестве Шпенглера уже широко разнеслась по интеллигентской Москве. Громадная аудитория была переполнена слушателями, эстрада тесно заставлена приставными стульями. Несколько женщин, не получивших билеты, прорвались в зал, назвавшись моими сестрами и женами.

Книга Шпенглера, многими нитями связанная с русскою философией, с раздумьями славянофилов, Соловьева, Достоевского и Данилевского и дошед

шая до нас в самый острый момент духовно-политического кризиса, с такою силою завладела умами образованного московского общества, что было решено выпустить специальный сборник посвященных ей статей. В сборнике приняли участие: Бердяев, Франк, Букшпанн и я. По духу сборник получился на редкость цельный. Ценя большую эрудицию новоявленного немецкого философа, его художественно-проникновенное описание культурных эпох и его пророческую тревогу за Европу, мы все согласно отрицали его биологически-законоверческий подход к историософским вопросам и его вытекающую из этого подхода мысль, будто бы каждая культура, на подобие растительного организма, с неизбежностью переживает свою весну, лето, осень и зиму. При таком подходе к истории, настаивали с особою убедительностью Бердяев и Франк, решительно обессмысливается понятие и ощущение исторической судьбы человечества. «Судьба цветка – не человеческая и не историческая судьба, – вторил нам в своей рецензии на наш сборник Б. П. Вышеславцев, – это вообще не судьба, ибо при таком понимании, судьба теряет свое трагическое значение».

Распространение сборника по всей России было по тем временам совершенно невозможно. Он продавался в Москве и в небольшом количестве в Петербурге. Тем не менее, за две недели разошлось десять тысяч экземпляров. Распространялась небольшая серенькая книжечка главным образом через книжные лавки писателей. Было их две, а может быть и три. Какие доходы получали писатели со своих лавочек, я не знаю: вряд ли дела велись рационально и успешно, но в духовном обиходе Москвы эти книжные лавки играли большую роль. Приезжая из деревни я каждый раз заходил на Большую Никитскую, где торговали Бердяев, пристрастный поклонник Флобера и

несправедливый хулитель его друга Тургенева, Гриф-цов, милый Борис Зайцев, нежный беллетрист с душою поэта и профилем Данте, эстетически обесцененным жиденькою бородкою земского врача, и профессор истории Дживелегов.

Когда, бывало, ни придешь в лавочку, она всегда полна народу. Беседа идёт много живее торговли, так как продавать в сущности нечего. Меньше всех торгует и горячее всех философствует Бердяев. Требуемые покупателями книги отыскивает чаще всего Гриф-цов. Он легко взбирается по приставной лесенке к верхним полкам и близоруко выискивает там то редкий антикварный том, то тоненькие книжечки стихов. Сидя на лестнице под потолком, он вмешивается в наш с Бердяевым разговор о святой ненависти, в отсутствии которой Бердяев в большевистские дни постоянно упрекал меня. Покупатель покорно ждет, а то и сам робко вступает в спор. Чаще всего это студент, курсистка, кто-нибудь из членов Религиозно-философского общества или посетителей Литературно-художественного кружка. Здесь все, кроме неизбежных «шпионов», свои люди. Вероятно и неизбежные шпики были здесь из своих, но с этим обиходом большевистской жизни все как-то сжились и он не очень нарушал общий дружественный тон той катакомбной атмосферы, в которой мы тогда жили.

Спустя год или два после нашей высылки, я в громоздком берлинском ландо медленно ехал узкою Фридрихштрассе по направлению к вокзалу. Было людно и шумно. По обоим тротуарам черными машинными ремнями двигалась под закопченный железнодорожный виадук и выбегала из-под него озлобленная проигранной войной и инфляционным разорением берлинская толпа. Сверху гремели поезда, ревели паровозные свистки, а кругом коротко тявкали автомобильные гудки.

У меня было по-берлински пусто и уныло на душе. Так же пусто и уныло, как в вечер моей первой прогулки по Унтерденлинден.

Но вот в этот мрак с внезапною силою ударил откуда-то свет. Я еще не успел понять в чем дело, как из обгонявшего меня автомобиля ко мне на ходу перескочил один из частых посетителей «Лавки писателей». Постылая Фридрихштрассе мгновенно исчезла из моего сознания и в него, словно новая пластинка волшебного фонаря, вдвинулась Большая Никитская.

Несколько взволнованных перекрестных вопросов, несколько дружеских приветов в Москву и Париж и милейший Димитрий Васильевич, озабоченный тем, как бы нас не выследили, крепко расцеловал меня и, к удивлению своего шофера, опять перескочил в свой автомобиль.

Смотря на его вздрагивающую удаляющуюся шляпу, я, хоть и благодарный судьбе за нашу высылку из России, сгорал страстным желанием вернуться вместе с ним в Москву.

Не все московские лекции проходили так благополучно, как далекие от интересов и волнений широкой публики, доклады в Религиозно-философской академии. Однажды я лишь с большим трудом устоял на кафедре и с еще большим унес ноги из аудитории Политехнического музея, где, по приглашению Екатерины Димитриевны Кусковой-Прокопович и Веры Фигнер, выступал в пользу Общества политических каторжан.

Моя тема («О героях, лицедеях и лицемерах») была мне подсказана шумным петербургским празднованием годовщины октябрьской революции. Сам я на этом празднестве не был, да и вполне точных све

дений о нем не имел. Все, что знал, я знал из газет и по противоречивым рассказам очевидцев. Этих сведений было, однако, достаточно, чтобы вызвать в моей душе непреоборимое отвращение к петербургским торжествам. Ноту особой горечи моим чувствам придавало еще и то, что «народный спектакль» ставил талантливый молодой режиссер Радлов, сын историка русского славянофильства и близкого друга Владимира Соловьева.

Зная Радлова по наслышке, я не допускал мысли, что петербургская постановка представлялась ему в чисто политическом плане; скорее всего, казалось мне, молодой режиссер задумал ее в порядке несвоевременной и неуместной попытки осуществления модных накануне войны мечтаний о грядущем театре, как о театре «соборно-всенародного действа».

Следуя этим теориям, Радлов и ввел в свой грандиозный спектакль, изображавший перед многотысячными зрителями низложение Временного правительства, наряду с профессиональными актерами, не только рабочие массы, митингующие перед Зимним дворцом, не только полки, берущие дворец штурмом, но даже и крейсер «Аврора», гремевший холостыми вы-. стрелами вдоль Невы.

Мною, в котором память о последних днях «Февраля» была еще мучительно свежа, вся эта громоздкая постановка ощущалась кощунственным издевательством не только над судьбою Временного правительства, но и над трагедией русского народа.

Во время работы над лекцией ее петербургский повод как-то сам собою отошел на задний план. В качестве центральной темы выдвинулась мысль, что трагические события наших дней, в которых жизнь становится подлинною жизнью, велики не тем новым, что они рождают в социально-политической жизни, а тем, что открывают нам возможность восхождения

от быта через события к бытию. Лишь на путях этого восхождения возможны спасение религиозного смысла

революции и искупление ее страшных преступлений. Искать этого восхождения в большевистском «оформлении» революции не приходится. Оно осуществимо лишь на путях пореволюционного искусства. Ныне мои тогдашние формулировки, вошедшие впоследствии в напечатанную в сборнике «Шиповник» и уже цитированную мною статью «Трагедия и современность», кажутся излишне заостренными, чрезмерно патетическими и неприятно эффектными, но в свое время они вполне соответствовали моему духонастроению и потому не мешали искренности моей антибольшевистской проповеди.

Протискиваясь с Наташей в двери Политехнического музея, я сразу же почувствовал, что валом валящая в него толпа находится в весьма приподнятом настроении. По лицам и взорам я ясно различал тайных друзей и явных врагов. Многосмысленное и неотчетливое заглавие лекции, очевидно, будило в одних какие-то надежды, а в других подозрения.

В лекторской, где меня ждало несколько друзей и знакомых, среди которых был и приглашенный в качестве оппонента Айхенвальд, царило большое волнение: кем-то был пущен слух, что милиция уже оцепляет музей. Озадаченные устроители по телефону выясняли положение. Из зала слышались аплодисменты, топот и даже свистки, знаки недовольства запозданием и жажды скандала.

Когда я вышел на кафедру и увидел, круто подымающийся к потолку, до отказа набитый публикой амфитеатр, мне стало страшно, что своими метафизическими размышлениями о политике, трагедии и религии я не только не захвачу, но и сразу же восстановлю против себя почти тысячную массу, в кото

рой лишь кое-где опорными пунктами виднелись знакомые, надежные лица.

Страх мой оказался напрасным. Весь строй моих мыслей был для публики, которая только и ждала, чтобы обрушиться на меня, как на классового врага, до того непривычен, что она поначалу растерялась. Как «буржую», мне полагалось защищать войну и злопыхательствовать против революции. Я же, переоценивая все привычные ценности и перетасовывая карты, утверждал: «Если бы война не окрылилась революцией, если бы она благополучно докатила свой кровавый груз по заранее предусмотренным путям до предуказанной цели, это было бы прямым доказательством величайшего религиозно-эстетического бессилия народной души. Но этого не случилось. Русская жизнь неожиданно вознеслась на свои вершины. На театре военных действий появился трагический герой – русская революция. Разноцветные знамена войны с начертанными на них лживыми лозунгами были в одно

мгновение заменены новыми: черными знаменами немой трагической музы. Так началось святое безумие первых революционных дней, явное безумие во имя несказуемого, тайного смысла».

Слушая такие слова о революции и пропуская мимо ушей, что знамена революции у меня не красные, а черные, мои враги как будто бы начали примиряться со мною. Но уже через минуту я продолжал совсем не в их духе: «К сожалению, развитие революции оказалось сплошным предательством ее идеи. Ее идея – взрыв всех исторических смыслов жизни, ее развитие – замена одних смыслов другими; ее идея – взлет на вершины бытия, ее развитие – бытовая суета у подножья этих вершин: ее идея – вся о невозможном, ее развитие – сплошное приспособленчество; ее идея – вещие зеницы, ее развитие – борьба слепых точек зрения; ее идея – шум

бездонного моря, ее развитие – искание брода в нем».

Правильно чувствуя в моих противопоставлениях жестокое снижение только что пропетого гимна революции, большевики и их приверженцы все же не улавливали в них привычного им звука контрреволюции. Раздалось лишь несколько не подхваченных массою возмущенных возгласов, и я благополучно окончил свою лекцию, награжденный дружными аплодисментами сочувствующей мне части аудитории.

Начались прения. Первым говорил Айхенвальд. Его речь была защитою «ее величества жизни», простой, обыкновенной и незаслуженно мною «охаянной» во имя отвлеченных идей и эстетических конструкций. Вторым выступал, если не ошибаюсь, Грифцов; что он говорил – не помню, но во всяком случае он не взволновал аудитории.

Но вот на кафедру поднялся кто-то вульгарный и злобный, ныне для меня безликий, ничего в лекции не понявший; ловко жонглируя марксистскими терминами, он стал с гнусным чекистским подмигом хлестко разоблачать мой «приправленный боженькой тухлый эстетизм». Во время его речи в аудитории сразу же возникло и быстро начало расти озлобленное раздражение против меня: «Так вот в чем дело, а мы-то не сразу сообразили».

Ругань моего оппонента все чаще стала прерываться аплодисментами и сочувственными возгласами. Мои сторонники шикали, председатель звонил. Но, как всегда, протесты и призывы к порядку только разжигали страсти.

Взойдя на кафедру для заключительного слова я долго не мог начать говорить: часть аудитории свистит и топочет, часть аплодирует. В первых рядах я вижу взволнованную Наташу и

нервное, в красных пятнах, лицо Екатерины Димитриевны Кусковой. На самом верху начинается какое-то подозрительное дви

жение. Кто-то распоряжается группою красноармейцев, которые проталкиваются к кафедре. С председательского стола мне подают записку с предложением отказаться от заключительного слова, но я не сдаюсь: где-то в душе еще таится наивная вера в разум и совесть людей. Пользуясь минутным затишьем, я громко и решительно начинаю свою речь, но меня сразу же грубо прерывают солдаты, на мое счастье вопросом: «Да ты не крути, а отвечай товарищу – буржуй ты или нет?»

– Раз спрашиваете, – кричу я, – так слушайте ответ. Да, буржуй – у отца имение было и фабрикой он управлял, таиться мне нечего, да себя и не утаишь.

Мой неожиданный откровенный ответ поражает крикунов и на минуту они растерянно стихают.

Пользуясь данной мне передышкой, я обращаюсь к социалистической интеллигенции и пытаюсь, не нападая на моего большевистского оппонента, а лишь уточняя на свой лад марксистскую идеологию, защитить свою, отнюдь не контрреволюционную точку зрения на революцию, но моя тактика терпит быстрое поражение. Атмосфера накаляется до предела; говоря я чувствую, как безнадежно испаряются в аудитории и разум моих слов и очертания мыслей. Меня все чаще начинают прерывать злостные возгласы и свистки; наконец сверху раздается какое-то угрожающе-сигнальное: «Да что его слушать, товарищи, долой… долой…»

Несколько человек, как по команде, срываются с места и устремляются к кафедре. Им навстречу вскакивают какие-то люди. Начинается форменная свалка. Аудитория неистовствует, председатель звонит беспрерывно и, наконец, покидает зал, а за ним и я. В лекторской кто-то напяливает на меня шубу и подает шапку. Мы с Наташей быстро прощаемся с «политическими каторжанами» и какими-то темными проходами через задние двери выходим на улицу.

Весной 1919-го года мы решили порвать с Москвой, окончательно перебраться в Ивановку и войти в трудовую коммуну. Везти с собою в маленький флигель всю обстановку, которая, ввиду предполагавшегося отъезда заграницу, была перед войною сдана на хранение в мебельный склад, не представлялось возможным. Потому мы решили продать один из моих кабинетов. Но какой? Старинный ли, красного дерева, который стоял в наташиной девичьей комнате и служил нам в Москве гостиною, или подаренный нам с Аней ее родителями кабинет «модерн»,

зеленого дуба. Несмотря на гибель того мира, в котором были еще спокойные квартиры, большие библиотеки и творческий досуг, этот вопрос долго мучил меня. Чем оглушительнее гремела история своими мировыми событиями, тем существеннее становился каждый полутон той мелодии личной жизни, вслушиваться в которую меня выучила война. В октябре 1916-го года я, после тяжелых боев и больших потерь, писал с фронта Наташе: «Мимолетное – как вечное, интимное – как вселенское, лирика – как космогония – вот волнующие меня сейчас темы».

Попросив у покойной Анны прощения, мы не без тяжелых борений, решили продать зеленый кабинет и отдали его с этою целью на комиссию в какой-то мебельный магазин.

Его выставили в большой зеркальной витрине где-то около Кузнецкого моста, отягчив правый угол письменного стола, где у меня всегда стоял портрет Владимира Соловьева, бронзовым бюстом Карла Маркса. Так кабинет стоял несколько недель. Сколько раз я ни заходил наведаться, ответ был все тот же: «охотники находятся, но надо сбавить цену», я на сбавку не соглашался: очевидно, мне подсознательно не хотелось рас

ставаться с комнатою, в которой было так много пережито. Но вот пришла открытка: «можете получить деньги». Перед тем, как войти в магазин, я долго стоял перед окном. Не знаю, смогу ли передать свои чувства? Нет, это не только мебель, не только светло-зеленый дуб и светло-зеленая пенька обивки, по которой бежит такой знакомый глазу лиственный узор, это еще и зеленый шатер нашей светлой, но и мучительной, как всякая весна, любви. Я смотрю в стекло витрины и вижу бегущую мне навстречу сквозь молодую зелень гейдельбергского сада Анну. До вершины жизни она, бедная, не добежала. В зеленый рай ее весны внезапно ворвался ветер с Немана. Я слышу его шум – как больно. Хоть на дворе и светлый день, у меня перед глазами темнеет. В окне, вытесняя зеленый шатер, появляется Нинин дом в церковной ограде. Под оградой чуть колышется ночной Неман- как холодно было Ане лежать в нем – а над Неманом светятся печальные Нинины глаза…

Эти, почти не поддающиеся слову чувства и образы и раньше поднимались во мне, в особенности, когда я поздними ночами работал у себя в кабинете, а Наташа приглушенно играла на рояле в своей комнате. Но с такою силою, как в час прощания с Аниным приданым, в час вынужденной передачи его в какие-то чужие, враждебные руки (из своих людей в те дни никто мебели не покупал) они меня еще никогда не мучили. Становилось даже страшно, не потревожит ли тот темный человек, который через несколько дней войдет в наш кабинет, загробного покоя Анны.

Через несколько дней после получения денег за проданный кабинет, мы с Наташей пошли покупать обои, для чего, непонятным образом, еще не требовалось ордера. Выбор был небольшой, а у нас было вполне точное представление о стиле и колорите комнат ивановского флигеля под еще более старым се

ребристым тополем, чем тот, что высился перед окнами нашей московской квартиры на Новослободской. Долго думая, что купить, мы прекрасно понимали до чего мы похожи на тех неосмотрительных воробьев, что каждую весну начинали вить гнездо на одной из ставен большого ивановского дома, которые ежевечерне закрывались на ночь. Но сознание не помогало. Привезя в Ивановку обои, серые с краснотцой и золотом для кабинета, и светлые, с голубыми венками ампир для спальни, мы с радостью начали оклеивать стены «Известиями», бездумно пробегая при том одним глазом напечатанные в них ужасы, в том числе и списки приговоренных к расстрелу, среди которых часто попадались знакомые имена. В наше оправдание могу только сказать, что мы, вероятно, с не меньшею радостью устраивали бы свой флигель даже и в том случае, если бы знали, что и нам уже вынесен смертный приговор и что мы не долго проживем в своем гнезде. Противоречивость человеческой души, отнюдь не исключающая ее цельности является, как известно психологам, одною из главных причин ее прочной устойчивости в жизни.

Покончив с оклейкой, мы принялись за окраску пола и дверей. Для просушки топили хворостом большую печку с лежанкой. В открытые окна струился влажный весенний воздух. Под нашими окнами часто появлялся уютнейший Николай Сергеевич в старенькой куртке, которую мы привезли ему в подарок из Фрейбурга, посмотреть, как спорится работа.

Когда все было кончено, мы пошли кланяться соседу Туманову. Кроме него, никто привезти нашей мебели из Москвы не мог. Он милостиво снизошел и обещал привезти, как только просохнет проселок.

В деревне революция развертывалась гораздо медленнее, чем в городе. Чуть ли не год спустя после гнусного убийства министра земледелия Временного пра

вительства Шингарева, у нас в волости не только существовали, но даже и действовали так называемые шингаревские земельные комиссии. Помню, как члены такой комиссии, степенные, зажиточные крестьяне, описывая наш живой и мертвый инвентарь, хозяйственно ходили по двору, по-цыгански дергали лошадей за хвост, щупали «колодцы» у коров, тщательно прикидывали завидущими глазами, на сколько пудов наш новый сенной сарай, сколько примерно лет еще простоит

ветхая рига и явно раздумывая, как бы всё это половчее прибрать к рукам (господам все равно не удержаться), лицемерно причитывали: «Что деется, барыня, что деется, глаза бы не смотрели»…

Ко времени нашего переезда в Ивановку, в деревне уже народилась новая психология. Марксистская теория расслоения крестьянства на кулаков, середняков и бедноту была одинаково популярна как на кулацких верхах, так и на бедняцких низах.

Зажиточные мужики и тяготеющие к ним середняки, возмущенные безвозмездным отобранием лошадей в красную армию (вместо денег выдавали талоны), непомерными штрафными обложениями и запретом вольной покупки хлеба, что для нашей местности, промышлявшей главным образом сеном и углем, означало голод, молчали, но затаенно готовились к отпору.

Поначалу среди верхушки кулаков были надежды на Белое движение, но после многих возмущенных рассказов отпускных красноармейцев, что Деникин не только «против коммунистов и жидов, но и за помещиков, которым возвращает землю», наступило горькое разочарование. Такой оборот дела никому не нравился и ни в чьи расчеты не входил. Оставалось надеяться на свои силы, но все сознавали, что сил нет и куражились разве только в пьяном виде. По мнению разоткровенничавшегося со мною в пьяном виде ку

лака Туманова, восстание можно было бы сразу поднять, если бы не была отменена винная монополия.

– Дайте мне, – горячился он, – перепоить наш уезд и я вам всех товарищей в три дня топорами перебью, да и ружьишки найдутся… Ну, а в трезвом виде не осилить. Малодушен народ, темен, да и согласия в нас нету. Беспортковая сволочь вся к товарищам тянет, и кругом шпики. А впрочем мы еще посмотрим, чья возьмет. Потягаемся… Вот с нас, кулаков, по десяти тысяч единовременно содрали, а мы опять обернулись, не хуже людей живем.

И, действительно, наши знаменские и ивановские богачи, несмотря на образовавшиеся впоследствии комитеты бедноты, до самой нашей высылки – в ноябре 1922-го года жили много лучше своих классовых врагов. Даже после раскулачивания многие ухитрились не пойти ко дну. Знаю наверно, что в 1938-м году Туманов и Фокин заправляли крупными совхозами и, распевая новые песни, по-старому жили припеваючи.

Присматриваясь к нашим кулакам, я не мог не любоваться их кипучею энергией, работоспособностью, мужеством, смекалкой и тою особою русскою ловкостью, с которою они играючи

справлялись со своею трудною и опасною жизнью.

В большевистских кооперативах нельзя было достать ни капли керосина, ни щепотки соли, в лавке же Фокина, кроме птичьего молока, всё было, конечно, лишь для своих. Сколько ни реквизировала власть лошадей, Колесников, как из-под земли доставал новых. «Да откуда ты их берешь, Козьма Алексеевич?» – спрашивал я его. -• «Как откуда, – отшучивался он – очень просто: у меня по весне кошка ожеребилась»…

Как ни преследовала власть за самогон, трактир Лукана процветал на славу; да как ему было и не цвести, когда в чистой горнице ночи напролет кутили ставленники власти. Тут были и водка, и вина, и колбасы,

и сардины. Тут же работала и черная биржа. За шубу или кольцо Лукины в любое время могли отпустить мешок муки, или завернуть несколько фунтов масла. Пользовались лукинским посредничеством и окрестные помещики, и голодающие горожане.

Туманову было труднее держаться. 35 десятин мелкого леса, который он жег на уголь, у него, как и у нас, сразу же отобрали; торговли он никакой не вел, трактира никогда не держал, но и он оборачивался. Экономически обескровленный и политически ошельмованный, он все же словчился получить извозный подряд на доставку леса и кирпича на Воздвиженскую фабрику. Платила фабрика не только обесцененными деньгами, но и мануфактурой. Имея в своем распоряжении такие блага, Туманов не только спокойно откладывал в шкатулку солидные сбережения, но и властвовал над деревенской беднотой: за несколько аршин ситцу и овес на прокорм лошади и социалист Муравьев ломал перед ним шапку, стараясь попасть в обоз.

Совсем инопородными людьми были два сидевшие неподалеку от Знаменки латыша фермера. С той же не очень плодородной земли они снимали овса, сена и хлеба в 3-4 раза больше, чем наши крестьяне. Коровы у них давали по ведру в день и ходили «промеж молока» не в пример короче. Куры неслись у них как по заказу; их чуланы были всегда полны колбасами, окороками, медом и наливками. Придя в чайную, наши латыши с нескрываемым чувством своего человеческого превосходства вынимали из домотканных пиджаков туго набитые бумажники и важно клали их перед собой на стол: смотрите, мол, как мы преуспеваем и учитесь. Но вот грянула революция и эти, выпестованные немецкой культурой узкоколейные «спецы», сразу же растерялись. Лишенные дара выдумки, неспособные на риск и размах, они сразу же разорились и смылись в свою Латвию.

Состав первого «волисполкома» (волостного исполнительного

комитета), с которым нам пришлось иметь дело, был в социальном отношении невероятно пестр, но в психологическом – своеобразно однороден. Тут были и бедняки, и богатеи, и свои люди, и пришлый элемент. Но всех этих людей объединяла одна черта. Все это были горячие, беспокойные души, которым по разным причинам было одинаково тесно в жизни. Среди них мне вспоминаются, кроме Колесникова, желтолицый слесарь, вылеченный толстовцами от запоя, какой-то татуированный матрос, вероятно, ставленник уезда и весьма странный городской человек с пронырливым, бритым лицом старого капельдинера.

Возглавлял эту своеобразную компанию брат нашей бывшей горничной, хорошо мне известный Свистков, любивший выпить и поиграть на гармонии. До войны Свистков считался последним человеком в деревне, но с фронта вернулся героем, с двумя Георгия-хми на груди. Лицо у Свисткова было самое обыкновенное, только глаза были необыкновенно грустные и «с сумасшедчинкой», как у того красноармейца толстовской «Аэлиты», что летал на Марс.

То, что, приехав в Стассовский Совет, я застал там Колесникова, было для меня большим утешением. В превращение этого, хорошо мне знакомого барышника в заправского большевика, мне решительно не верилось, и я был убежден, что так, или иначе, а мы с ним споемся. Но как Колесников попал в волисполком?

То, что его кандидатура была выдвинута зажиточным крестьянством и кулацкою верхушкой, было ясно: крепкой деревне был нужен свой человек в Совете. Но как кандидатура Колесникова могла пройти в уезде, оставалось для меня загадкой. В ответ на мое, осторожно высказанное недоумение, Колесников и рассказал мне в чайной, куда мы зашли с ним после за

седания, историю своей обиды на господ, которая открыла ему двери волисполкома.

В зиму 1916?17?го года, он, как и многие подмосковные крестьяне, подрабатывал легковым извозом в Москве. Барышник и бывший кавалерист, он ездил, конечно, лихачом. Лучших саней под медвежьей полостью, лучших коней и лучшей бобровой шапки с бархатным дном ни у кого не было. Зарабатывал он уйму. Денег гулящая Москва никогда не считала, а под конец войны и тем паче: все катилось под гору. Жил Колесников широко и примечталось ему как-нибудь самому кутнуть у Яра, куда он каждый вечер возил влюбленные парочки: на самом деле, чем он хуже господ? Смущало только то, как бы негр в красной ливрее не признал в нем мужика-извозчика и не указал бы на дверь.

Когда пришли Февральские свободы и все стали равны,

Колесников решил исполнить свою заветную мечту. Надев праздничную черную пару и взяв на прокат у знакомого официанта лаковые штиблеты, которые отчаянно жали (почему-то ему казалось, что без лаковой обуви нельзя), Кузьма Алексеевич с восторгом подлетел на нанятой паре к Яру; как в чаду вошел в огромный, наполненный шикарной публикой зал и, хоть и не был новичком в кутежах, сразу же словно охмелел от великолепного убранства, ослепительного света, зазывной музыки, а главное, от исполнения своей мечты…

Поначалу все шло хорошо. К Колесникову подсели барышни-хористки, которых он таровато угощал шампанским, закусками и фруктами, конечно, и себя не забывая. Особенно подзадаривало его, что сидевшая за соседним столом в мехах и бриллиантах красавица, за которой ухаживали два блестящих офицера и штатский во фраке, то и дело поглядывала на него. Ему это льстило, но внове не было, а потому и в голову

не могло придти, что соседку занимает не он, а тот возмутительный факт, что социальная революция в образе этого стриженого в скобку цыганистого красавца уже ворвалась в еще вчера недоступный ей мир.

Счастливо начавшийся вечер кончился величайшим позором. Уже далеко за полночь, когда Колесников напился до того, что перестал соображать, где он и что с ним происходит, он вдруг снял весь вечер жавший башмак и, поставив его на стол, стал лить в него шампанское. Возмущенные его поведением господа подозвали лакея, который под всеобщее негодование и громкий хохот вывел вместе с красноливрейным негром расходившегося «товарища» из зала… Этого смеха над своею мечтой Колесников не мог простить господам, в особенности красавице в мехах.

Бросив лихацкий промысел, он вернулся в деревню и стал на собраниях все чаще поддакивать большевикам в их ненавистнической агитации против господ и помещиков. Так он и попал в Совет.

Еще более показательна история возвеличения и падения Свисткова. Ко времени нашего переезда в Ивановку он уже слыл грозою всей волости. Никитины с волнением ждали его к себе: помилует ли как трудовой элемент, или погонит, как господ? Посещение сошло благополучно. Прискакав как-то под вечер на реквизированной в Муратовских «Холмах» кобыле, Свистков лишь для «проформы», как он выразился, обошел наши поля и огороды и, явно наслаждаясь своею властью и великодушием, милостиво заявил, что нас не тронут, так как мы «поняли знамение времени».

Через несколько недель мы узнали, что Свистков повышен по

должности и переведен в уезд. В Знаменке пошли совершенно невероятные, как нам казалось, слухи о фанфаронстве, самодурстве и садистической жестокости Свисткова, в частности об его расправе в Ракитине с приговоренными революционным трибуна

лом к расстрелу кожевенниками и хлеботорговцами.

Прибыв во главе красноармейского отряда в Ра-китино, уже выпивший Свистков распорядился согнать на площадь не только осужденных, но и их родственников. Когда перепуганные люди были собраны, он приказал размостить часть площади и вырыть могилы. С воплем бросившимся к ногам его лошади людям он заявил, что зароет их живьем, если они не перестанут выть и причитать. Оторопелый народ молча принялся за работу.

Когда казнь была закончена и площадь снова замощена, Свистков выстроил родственников в шеренгу, форсисто подъехал к ним с поднятым револьвером и, прокричав какой-то коммунистический бред, медленно отъехал со своим отрядом к трактиру, откуда до утра слышались гармоника и песни.

Это было позднею осенью. А раннею весною, возвращаясь порожняком из Москвы, куда ездил продавать солому, я повстречался с каким-то, показавшимся мне знакомым мужиком, бившимся над тяжелым возом дров. Мартовское шоссе было уже в просовах и тощая, выбившаяся из сил лошаденка не могла сдвинуть воза. Я слез помочь и увидел Свисткова.

Здравствуйте, Свистков.

Здравствуйте, товарищ Степун.

Никак опять крестьянствуете?

А что прикажете делать?

Да ведь слышно было, вы в большие люди выходили?

Выходили, да не вышли: не нашего это ума дело.

Что так?

Да без ума то я немножко неловко проворовался, да и столько греха за службу на душу взял, что и не знаю, как отмаливать. Про Ракитино чай слыхали?

Как не слыхать.

Мы сдвинули воз и расстались. Подавая Свисткову руку, я странным образом не испытывал особой неприязни к нему. Спровоцировала жизнь, и потерял человек свое подлинное лицо; вкрутился в какую-то дьявольскую фантасмагорию. Мало ли что может случиться с душою человека, в особенности в революционную бурю?

К чести наших крестьян должен однако сказать, что Колесниковы и Свистковы, пришлые матросы и случайные толстовцы не долго верховодили в волости. Сравнительно скоро

на первое место выдвинулся Лука Антонович Стулов, еще молодой, умный, спокойный и хорошо грамотный человек. Думаю, что Стулов знал о социалистических убеждениях молодых Никитиных и о моей работе в Петербургском Совете; относясь ко всем нам с большой симпатией, он насколько мог покровительствовал нашему трудовому хозяйству.

Я не раз заходил к Стулову поговорить о наших нуждах, а заодно и о текущих вопросах переустраивающейся России. Лука Антонович ценил наши откровенные беседы и часто подвозил меня в помещавшийся в усадьбе графа К. волисполком.

Здесь больше, чем в других имениях, чувствовалась жестокая несправедливость, с которой большевики проводили свою социальную революцию. Тут все дышало подлинной культурой и заботой помещика о крестьянах: неподалеку от барского дома стояли, построенные на графские деньги, хорошие здания школы и больницы. Крестьянские избы были в большем порядке, чем в других деревнях, очевидно, господа не скупились на помощь деньгами и лесом. На всем лежал свежий отпечаток того общественно-нравственного подъема, которым была отмечена эпоха великих реформ.

Приехав как-то в Совет, я попросил Стулова показать мне графский дом. От этого посещения остались

горечь на сердце и несколько случайных деталей в памяти: светлый, в больших цветах кретон мебельной обивки, раскрытая на круглом столе у окна брошюра Ильина «Смысл войны» и большой масляный портрет Льва Толстого в темноватой от прикрытых ставен комнате, где Толстой работал, если не ошибаюсь, над «Воскресением».

Проходя по двору со Стуловым к воротам, чтобы ехать домой, я увидел набитый всякою домашнею утварью сарай, посреди которого несколько ражих мужиков рассекали и тут же делили окровавленную коровью тушу. Стулов подошел узнать, по чьему приказу реквизирована корова и между кем ее делят. Стоявший над тушею на широко расставленных ногах человек что-то весело ответил Луке Антоновичу и тут же подняв топор со зверским лицом и характерным для всех мясников громким стонущим выдыхом сраз-маху рубанул по ребрам.

Вместе с торчащими вверх обрубками коровьих ног вздрогнули и расставленные на полках сарая стаканы. В ответ на хряск топора раздался нежный хрустальный звон. За годы войны и революции я видел и слышал много страшного. Казалось бы вид ободранной коровы среди сваленной за ненадобностью в сарае мебели, бронзы, картин, посуды этот тихий, жалобный звон давно можно было бы забыть, а вот нет, – не забывается…

На обратном пути, под мелким осенним дождем (по обеим сторонам шоссе сиротливо догнивали неубранные стога хлеба) мы со Стуловым вполне откровенно беседовали о незаслуженной судьбе графа К., которого он знал и уважал. Сын небогатого крестьянина, своим умом и своим трудом выдвинувшийся на первое место в деревне и волости, Стулов в глубине своей смущенной души хорошо понимал несправедливость и бессмысленность советской уравниловки, ко

торая завтра же могла ударить и по нем. Но в своем социалистическом сознании (с эсеровской земельной программой Стулов познакомился еще в молодости, когда работал в кооперации), он как ни искал, не находил достаточных для защиты себя самого аргументов. Теория «поравнения земли», хоть и мешала ему богатеть, все же прочно держалась в его голове.

Желая помочь Стулову разобраться в мучительном для него вопросе, а попутно и склонить его к возможно мягкой политике в волости, я тут же под дождем принялся развивать ему свою теорию справедливого социального уравнения.

– Я не против равенства, – говорил я Луке Антоновичу, – и если бы мне сегодня пришлось делить никому не принадлежащую землю между желающими на ней трудиться, то я, конечно, разделил бы ее поровну и весь социальный вопрос разрешился бы весьма просто – арифметически. Но в том-то и дело, что вождям революции, а потому и вам в нашей волости, приходится заниматься не арифметикой, а историей; ведь земля то уж давно поделена. Никто не спорит – весьма несправедливо. Переделы потому, конечно, необходимы. Но перераспределяя землю, надо иметь в виду не только то, чтобы каждому трудящемуся досталось одинаковое количество земли, но еще и то, чтобы каждый мог быть на своей земле хоть сколько-нибудь счастлив. Требование «наивозможно большего количества счастья для наивозможно большего количества людей» тоже ведь должно быть принято во внимание. Несправедливо, а потому, конечно, и не социалистично перераспределять землю так, чтобы одним выходило сплошное счастье, а другим разорение и печаль. Скажите, положа руку на сердце, не думаете ли вы, что такого помещика, каким был граф К., можно было бы – конечно, отобрав у него большую часть земель – оставить в его насиженном гнезде? Ведь

и для крестьян важно постоянно соприкасаться с людьми большой культуры, иметь перед глазами образ той жизни, к которой стоит стремиться, ради которой стоит работать. Я лично уверен – убеждал я Стулова, – что с окончательным уничтожением помещичьих усадеб посереет и крестьянская жизнь. А могла бы после революции и подняться.

При расставании Стулов сердечно благодарил меня «за разговор». Думаю, что мои слова произвели на него некоторое впечатление, что-то сдвинули в нем.

Быть может, этим сдвигом отчасти объясняется и то, что в нашей волости революция была довольно милостива к помещикам. Ни одно из имений не было сожжено и никто не был не только убит, но даже и арестован. И это, несмотря на то, что среди наших ближайших соседей было много реакционной знати.

Стуловское отношение к помещикам, бесспорно редкое среди представителей власти, было вполне обычным у крестьян старшего поколения.

На основании личного опыта мне трудно сомневаться в том, что при менее радикальном развитии революции помещики, пожертвовав значительной частью пахотной земли, могли бы удержаться в деревне, в которой остатки сословной психологии еще не были вытеснены зачатками классовой ненависти.

Ожидая от помещиков даровой уступки нужной им для сытой жизни земли, помощи в нужде – деньгами, лесом и советом, и уважения к себе и своему труду, которого у нас было мало (даже и гуманные граф и графиня К. отсылали приехавших за своими деньгами мужиков обратно, если у них в это время были гости), крестьяне никогда не оспаривали помещичьих прав жить в хорошо обставленных домах с цветниками перед террасой и под окнами, собирать библиотеки, обучать дочерей играть на рояле, ездить на тройках и держать прислугу. Все это, по мнению разумных и степенных

крестьян, помещикам полагалось, на то они и образованные господа.

Такое доброжелательно-справедливое отношение к помещикам держалось в деревне некоторое время даже и после революции. Помню, как по какому-то поводу у нас собралось много гостей. Приехали Тарасовы из Москвы – Анна Васильевна в белом кружевном платье, Лев Александрович в очень шедшей к нему паре из белой чертовой кожи военно-морского образца, управляющий советским домом отдыха на основании бумаги, свидетельствовавшей об отсрочке смертной казни, граф Николай Васильевич, на котором простая сатиновая рубашка сидела, как сшитый в Англии фрак, мой брат с женой, любители принарядиться, и еще несколько соседей.

Мы долго, «с чувством, толком и расстановкой» пили чай на террасе, а под вечер устроили домашний концерт: пели, играли и даже танцевали.

Выйдя со Львом Александровичем в сад, я увидел, что весь забор облеплен крестьянской молодежью. Тарасов с молодости

полусоциалист и полупомещик – был у него на Волыни хутор – заинтересовался отношением революционной деревни к помещикам и со свойственною ему живостью тут же вступил с крестьянами в разговор, из которого, к его большому удивлению, сразу же выяснилось, что крестьяне смотрят на барский праздник не только безо всякой неприязни, но даже с удовольствием.

Веселая, смышленая Фенька, дочь безземельной вдовы-мещанки и невеста красноармейца, весьма далекая ото всякой патриархальной психологии девка, так прямо и сказала, что ей очень даже приятно смотреть на настоящих господ и их чистую жизнь. «Вот граф, хоть и пожилой, а каким красавцем ходит, а в деревне что: грязь, темнота, скука».

Я знаю все, что можно сказать против моей иде

ализации народа и отнюдь не собираюсь ни оспаривать, ни извинять совершенных им жестокостей. Но снова настаиваю на том, о чем говорил раньше: по своей сущности простой русский человек совестлив, справедлив и даже мягок. Страшным он становится лишь в исступлении, когда выходит из себя. Столкновения с разнузданной стихией народа нам за время нашей ивановской жизни, слава Богу, удалось избежать. Соприкосновение же с его подлинной природой оставило у меня отрадное впечатление. К нашим ивановским крестьянам я никаких иных чувств, кроме приязни и даже благодарности, не испытываю.

Главным содержанием первого периода нашей деревенской жизни было ожидание землемера. До передела земли мы висели в воздухе, то есть жили милостью крестьян, которые, без спросу рубя наш лес, и по-маленьку выпрашивая у Серафимы Васильевны нужные им запашки, не мешали нам пахать, сеять и косить. Держали мы себя мягко, но твердо, не допуская в общении с крестьянами даже и мысли, что нас могут выселить: мы-де, трудовое хозяйство, и будем наделены землею наравне с вами.

Долгожданный землемер приехал неожиданно. Будучи по какому-то делу в Знаменке, я увидел на крылечке трактира группу крестьян и сидящего среди них на лавочке молодого человека в зеленой фуражке межевого института. Сразу же догадавшись, что это и есть землемер, я подошел к беседующим послушать и приглядеться к человеку, в руках которого находилась наша судьба. Человек беседовал дельно и независимо; было ясно, что он деревню знает и революции не боится. Это было уже хорошо. Но еще лучше было то, что в нем не чувствовалось большевистского аги

татора: ни слова против помещиков и кулаков и полное

отсутствие марксистской терминологии. Лицо у землемера было простое, толстоносое и припухшее, но в мимике, в лиризме грустных глаз, в подергивании без-бровицами, было что-то артистическое. Если бы не форменная фуражка, землемер мог бы сойти за провинциального актера.

За полчаса оживленного разговора с Иваном Федоровичем Спасским я вполне выяснил себе его сущность. Это был типично русский человек, широкий, беспечный и талантливый, происхождения скорее всего духовного. До поступления в Петровско-Разумовскую академию, которую он, конечно, не кончил, он обучался пению в консерватории. В его комнате, куда он пригласил меня зайти, висела гитара. Не долго думая, я предложил Ивану Федоровичу переехать к нам в Ивановку: у нас будет удобнее и веселее.

Несмотря на то, что ему, как представителю коммунистической власти было вряд ли правильно переезжать в помещичий дом, Спасский с радостью принял мое предложение. Уже к вечеру я не без гордости привез землемера в Ивановку. После ужина Иван Федорович сразу же подошел к пианино, эффектно пробежал по клавишам и профессионально откинув назад голову, не без слезы, сипловатым, но красивым голосом запел под Плевицкую, «По старой Калужской дороге». Спев еще несколько вещей, землемер предложил спеть что-нибудь и Елене Никаноровне, на что та охотно согласилась.

К сожалению, к концу вечера Иван Федорович, как бы для облегчения своей социалистической совести и оправдания своего пребывания у нас, лихо грянул какую-то революционную частушку с гнусным припевом: «Буржуй-чики-чики, буржуй-чики-чики». Как ни противно было, а пришлось подпевать, не могло же «трудовое хозяйство» находить недопустимым по

срамление буржуазии, как класса. Да и важно было во всех отношениях безоговорочно ублажить землемера.

К моменту появления у нас Спасского вопрос о наделении нас землею был как будто бы уже решен в положительном смысле. Так, по крайней мере, нас успокаивал Стулов. Но мы на принципиальное решение вопроса не очень полагались и поверили нашему счастью лишь после заявления Спасского, что в числе хозяйств, наделяемых землею, находится и наша трудовая артель. Открытым и всецело зависящим от Спасского вопросом оставался, таким образом, лишь размер нашего надела. Разрешение этого, весьма важного для нас вопроса, зависело от того или иного толкования применительно к имению весьма спорного понятия усадьбы.

Дело в том, что крестьянская усадьба никогда не

запахиваемая, но часто употребляемая под огород или в качестве подсобного пастбища, земля между избой, ригой и сараем при переделе не учитывалась: каждый крестьянин оставался при своей усадьбе, у одного большей, у другого меньшей. При неблагоприятном для нас толковании понятия «усадьбы» Иван Федорович мог потому признать за таковую лишь наш большой двор между конюшней, каретным сараем и амбаром; при расширительно же благоприятном – он мог отнести к усадьбе и парк, среди которого находилась одна из наших лучших полян и большую, именуемую «старым садом», обсаженную елями луговину, на которой еще стояло несколько одичавших яблонь.

Привязавшись к нам, а вдобавок еще влюбившись в нашу Лизу, Иван Федорович, естественно, склонился к распространительному толкованию, благодаря чему мы на одиннадцать душ получили целых четырнадцать десятин: немного, но достаточно, чтобы обернуться, то

есть прокормить себя и скотину. После передела земли нам был вручен, тщательно начерченный Спасским план нашего нового владения. Согласно советской конституции, земля предоставлялась нам не в собственность, а лишь в пользование на 99 лет. За этот план и сопроводительную к нему бумагу нам пришлось заплатить довольно большие деньги. Наш лес – тридцать пять десятин – отошел к государству; сорок десятин пахотной земли и лугов – крестьянам, для психологии которых весьма характерно, что не будучи уверены в прочности советской власти, они, получив нашу землю, прислали к Серафиме Васильевне делегацию с просьбой выдать им нотариальное удостоверение в том, что помещики Никитины согласны на безвозмездную передачу своей земли Ивановскому «обществу». Желая быть деликатными, делегаты предлагали оплатить гербовой сбор и нотариуса.

Николай Сергеевич и Серафима Васильевна объявили крестьянам, что официально они бумаги выдать не могут, так как, по советским законам, все помещики лишены права распоряжения своей землей, но что на словах они согласны обещать, что ни они, ни их наследники ни при каких условиях не предъявят своих прав на отошедшую крестьянам землю. Данному слову делегаты поверили. Поблагодарив своих бывших «господ» за сочувствие, они с радостью пошли успокаивать недоверчивую деревню.

Главная трудность ивановского хозяйствования заключалась в том, что поначалу у нас не было собственного хлеба. Так как его во всей округе сеяли очень мало, то и у крестьян его почти что невозможно было добыть. За три пуда ржаной муки приходилось отдавать енотовую шубу, или еще что-либо столь же ценное.

Спускать одну за другой последние вещи было невозможно. Оставалось питаться главным образом овсом. Но, съедая последний овес, мы не могли кормить

ни лошадей, ни птицы, ни наших привыкших к овсянке сен-бернаров.

Тощие, обросшие к зиме длинною, как у коз, шерстью лошади, немощно шатались в оглоблях. Куры, которым давали одну картофельную кожуру, одна за другой околевали в курятнике. Своих любимиц, разных хохлушек и рябушек, Серафима Васильевна то и дело брала в теплую кухню на подкорм, но и это спасало немногих. По нескольку раз в день, проходя кухней, я с грустью замечал, как все ниже спускалась над круглым куриным глазом тоненькая пленка синего века. Перед смертью курица падала на бок, протягивала когтистые ноги. Тут ее прирезывали. Разлив по тарелкам (большая редкость) куриный бульон, Наташа тщательно всем поровну делила обтянутые кожею кости. Двадцать голодных глаз со вниманием следили за движением ее рук.

Мучительнее было смотреть, как умирали собаки, Потап и Самба, к которым все за революцию крепко привязались. Чуткие сторожа и непримиримые враги всякого непрошенного гостя, они ревностно охраняли нашу усадьбу. Могло случиться злое, но не могло случиться ничего неожиданного. Собак кормили, как могли, но чем их было кормить?

Первым перестал бегать громадный молодой Потап. С трудом волоча свои словно парализованные задние ноги, он с опущенной головой и поджатым хвостом целыми днями тоскливо ходил между большим домом и флигелем, подолгу простаивая под кухонными окнами.

Окончательно обессилев, он покорно лег умирать у заднего крыльца большого дома. Каждый раз, когда открывалась дверь, красавец сен-бернар медленно поворачивал свою добрую квадратную морду, подымал вверх свои скорбные глаза в кровавых веках и молил о помощи. Трогательнее и мучительнее всего в этой бес

помощной, собачьей смерти было то, что Потап до конца пытался исполнять свой долг. Почуяв идущего мимо дома чужого, он и перед самой смертью еще лаял на него. Но в голосе уже не было ни злобы, ни звука, только жалоба и преданность своим господам.

Вскоре после смерти своего сына той же смертью и с той же покорностью издохла и Самба.

В дни, когда в Ивановке подыхали собаки и куры, газеты, как и всегда, были полны сведениями о вынесенных и приведенных в

исполнение смертных приговорах. Как понять, что эти сведения о где-то происходящих казнях иной раз и отдаленно знакомых тебе людей, не причиняли большей муки, чем страдания подыхающих у тебя на глазах животных? До чего же странно и страшно смешаны в нашем сердце черствость и чувствительность.

Голодали мы, главным образом, не по нашей хозяйственной неопытности, а благодаря правительственным поборам, особенно непомерным в эпоху военного коммунизма. Хотя мы и научились у крестьян не только подсовывать в сдаваемые на лидинском «ссыпном пункте» воза с сеном тяжелые камни, но и подмешивать к нему порядком намоченную листву, львиная доля покоса все же уходила в Совет. Еще хуже дело обстояло с овсом, так как надувать советского сторожа Герасима, обслуживавшего весы, на овсе было много труднее, чем на сене: своей лошади он не держал, сам же, как и все, питался овсяной мукой. До чего же обидно было ссыпать овес, который в поте лица своего, не разгибая спины, жало наше «трудовое хозяйство», в казенные амбары, не имея уверенности, что он не будет разворован до раздачи беднякам на посев.

Перед Рождеством с продовольствием стало совсем плохо. Узнав, что мой Знаменский приятель, сапожник Лисицын, собирается за хлебом и маслом к родственникам в Тверскую губернию, я решил попро

сить его взять меня с собой. Лисицын охотно согласился.

Набрав всяких вещей на промен – больше мелочей, так как все ценное было выменено – скатертей, простынь, кофточек, бус, кружев, брошек, булавок (прихватил и Наташин японский маскарадный костюм), я тщательно записал, кто что мечтает получить за свои сокровища. Когда солнечным морозным утром Лисицын заехал за мной, я зарыл для безопасности свой !емодан с вещами в сено розвальней и, удобно устроился на нем. Сочувственно напутствуемые всем домом, мы с предпринимательским волнением тронулись в путь.

Протрусив верст двадцать по Ракитинскому шоссе, мы свернули на еле видный проселок. Временами дорога совершенно пропадала в снегах, лишь вороньи перелеты по подснежным навозным кучам указывали на то, что мы еще не сбились с пути. Встречных становилось все меньше. Зато все чаще попадались заячьи и лисьи следы, вызывавшие детский восторг в страстном охотничьем сердце моего спутника.

Смотря на искристые снежные дали и слушая оживленный рассказ Лисицына о том, как он в доброе старое время охотился в этих местах «с хорошими господами», я с нежностью вспоминал покойного отца… Особенно таинственным казался он мне, когда

собираясь на волчью охоту с поросенком, он в белом поверх короткого полушубка халате и в белых валенках рассеянно прощался со взволнованною матерью в нашей большой кондровской передней у старинных часов с кукушкой… Под вдруг услышанный глуховатый бой этих, давно забытых часов, в моей душе со сно-видческой таинственностью всколыхнулись и быстро – событие за событием, образ за образом – понеслись светлые дали моего невозвратного детства.

Окрестные снега сливались с калужскими, по ко

торым я в день моего рождения мчался с мамой в «Полотняный завод», в один необъятный солнечно-синий простор, отчего в душе становилось бесконечно печально, но и бесконечно блаженно… Наши вершинные переживания все связаны с выступлением жизни из теснящих ее берегов настоящего, с разливом души по бескрайным далям прошлого и будущего.

Завернув часам к двенадцати к старому Лисицын-скому заказчику, державшему трактир, подкрепившись чем Бог послал и накормив лошадь, мы часа через два тронулись дальше (оставалось верст 30). Родственники встретили нас очень радушно: Лисицыну от души обрадовались, а мне ничуть не удивились: очевидно, побирающиеся господа становились обычным явлением в деревне. Нас сразу посадили за стол, налили горячих щей, отрезали хлеба и поставили крынку молока. Мы вынули свои остатки и принялись за ужин. На печи лежал больной дед (он страдал старческой гангреной, горячо молил о смерти и печалился, что Бог не посылает ее) лохматый, с колтунами на голове и худой как Кащей. Внучка налила ему щей, забелила молоком, накрошила в них хлеба и подала миску на печку, но дед есть не стал, говоря, что перед отходом можно и попоститься. О докторе он и слышать не хотел: человека, которому не к чему жить, незачем и лечить. Заросшее до скул сивою бородою лицо деда было с кулачок и всё иссечено мелкими морщинами. Жизнь оставалась только в глазах, неожиданно ласково смотревших из-под мохнатых, нависших бровей.

Спать меня положили недалеко от печки. Деду не спалось и, хотя разговаривать с ним мне приходилось не вынимая трубки изо рта, чтобы не задохнуться от тяжкого духа, мы проговорили с ним чуть ли не до полуночи. До сих пор жалею, что в свое время не записал исполненного редкой житейской мудрости рассказа рожденного еще в крепостной неволе старика

о его долгой, внешне однообразной, но богатой опытом и наблюдениями жизни. Для подлинно народной мысли характерно то, что она всегда цветет своими собственными словами. Забыв слова, пожалуй лучше не передавать народных мыслей.

Мы только что начали обсуждать с Лисицынскими родственниками, на что и как выгоднее всего менять привезенные вещи, как за мной прибежал посланный учительницей паренек с просьбой пожаловать в школу, где при участии прибывшего представителя Московского Театрального отдела сейчас начнется обсуждение предстоящего спектакля.

Я не без любопытства отправился на заседание. Поджидавшая в прихожей учительница встретила меня и тут же заговорчески попросила оказать ей поддержку в борьбе с представителем власти, который навязывает ей безграмотную и тенденциозную пьесу из эпохи аграрных беспорядков 1905-го года. Она же уже с неделю репетирует «Бедность не порок», отводя много места старинным народным песням, пляскам и скоморошьим играм, одним словом «фольклору».

Я обещал милой, культурной и, очевидно, энергичной женщине всяческую поддержку и прошел с нею в класс, где среди членов местного культурно-просветительного комитета и актеров-любителей уже ораторствовал представитель Москвы.

Присмотревшись и прислушавшись к полуграмотному типу, я решил подавить его намеками на свое близкое знакомство с Луначарским, прикинуться выдержанным марксистом и обойти его слева.

План вполне удался. Моя богато украшенная марксистскими цитатами речь об идеологической невыдержанности крестьянского сознания, еще не способного к восприятию подлинных достижений пролетарской культуры, хитро переплетенная с вскрытием марксистских элементов в психологии Любима Торцова, про

извела желаемое впечатление на моего противника. Постановка комедии Островского, последний акт которой был тут же прочитан труппой с моими идеологическими замечаниями, была спасена. Дружески простившись с учительницей и по-товарищески пожав руку представителю «Т. О», я с двойною радостью удачно разыгранной роли и оказанной правильному делу помощи отправился обратно.

Проведенный в школе вечер обернулся для меня весьма приятными последствиями. Учительница и ее помощники по моей просьбе быстро разнесли весть, что в село приехал какой-то московский человек, по дешевке меняющий всякие вещи на муку и масло. Поинтересоваться привезенным и посмотреть на меня пришло уже ранним утром много баб. Я затеял нечто вроде аукциона и, с веселыми шутками и прибаутками, довольно выгодно выменял свои безделушки на съестные припасы. Кое-что у меня правда оставалось на руках, но я надеялся обменять и это

на обратном пути. Надежды оказались тщетными. Неизвестных людей крестьяне, боясь советского контроля, встречали угрюмо и подозрительно. В одной избе я даже нарвался на злостного солдата-большевика, сразу же опознавшего во мне «бывшего человека». Обложив меня крепкою руганью, он пригрозил донести в Совет: «нечего-де вам, буржуям, по деревням шататься и народ мутить».

Осторожного Лисицына, везшего домой выменен-ные на солидные товары (подошвы, подвертки, оголовья, ременные вожжи) пуды муки и кадушку с мас-слом, такой оборот дела весьма встревожил и он наотрез отказался заезжать к незнакомым людям. К тому же он боялся заносов и ночи: выехали мы в обратный путь с опозданием на два часа. Свинцовое небо и сильное за ночь потепление обещали непогоду. Верные признаки не обманули. Часа за два до выезда на Ра-китинское шоссе, на котором все было знакомо и по

тому ничего не страшно, поднялся резкий ветер и повалил крупный косой снег. В несколько минут исчезли из глаз дальний горизонт и близкий лес вдоль которого шла дорога. Небо слилось с землею в серый снегопад, внутри которого ничего не двигалось кроме пляшущего на месте лошадиного крупа. Даже дуги не было видно.

Несмотря на то, что Лисицын всё время дергал вожжами и махал кнутом, мерин шел всё медленнее и медленнее. Боясь, что он совсем станет, мы решили не понукать его, ехать шагом. Разговор сам собою прекратился, каждый молчал, уткнувшись в свой бараний воротник и в свои мрачные думы. Светлые тени детства не возвращались ко мне.

Приехали мы в Знаменку поздно. Хотя Лисицын и предлагал довезти меня до Ивановки, я отказался. Жаль было и старика и лошадь. Оставив привезенное у Лисицына, я налегке двинулся домой. Метель прекратилась. Было довольно светло. В небе стоял только что народившийся месяц. Промерзший и уставший от долгого неудобного сидения в розвальнях, я с удовольствием шел пешком. Увидев при спуске к реке светящееся за сучьями сада окно столовой, я почувствовал, как красноватый огонь висящей над столом лампы теплом и уютом разлился по душе и телу и еще быстрее зашагал вверх по нашей березовой аллее. Кажется никогда в жизни не приближался я к своему дому с таким радостным нетерпением, как после своей поездки в Тверскую губернию. Так хотелось поскорее укрыться и от ночи, и от стужи, и от солдата-большевика, грозившего доносом за попытку выменять у его жены пяток яиц на венецианские бусы.

Войдя в кухню, я с благодарностью понял, что у меня в

сущности есть все, что нужно человеку для счастливой жизни: любящая жена, тесный круг близ

ких и родных людей, теплая комната, горшок каши и чистая постель.

Насколько приятна и даже поэтична была моя поездка в Тверскую губернию, настолько же страшною и жестокою оказалась экспедиция наших крестьян на юг за хлебом, в которой участвовал и мой зять Андрей. На долю этого нежного душою и хрупкого здоровьем человека выпадали все время самые трудные задачи и испытания; конечно, потому, что он проще и легче остальных брал их на себя.

Двинулась Ивановка на юг на основании советского декрета о разрешении каждому крестьянскому двору привезти себе по два пуда муки из хлебородных губерний. Втайне каждый мечтал, конечно, привезти побольше: два пуда на семью в шесть-восемь душ не спасали положения. О поездках ходили самые устрашающие рассказы. Лишь немногим счастливцам удавалось попасть в тифозные неотопленные товарные вагоны, неудачникам приходилось совершать путешествие на площадках и крышах вагонов. К тому же в случае контроля можно было с легкостью угодить в Чека.

Серафима Васильевна провожала своего любимца в эту рискованную экспедицию с большим страхом и волнением, чем меня на войну. Предчувствия ее материнского сердца оказались пророческими. На обратном пути Андрей попал в жестокую свалку, почти что в сражение между народом, везшим домой закупленный хлеб (кое у кого оказались в мешках спрятанные винтовки) и заградительным красноармейским отрядом, отбиравшим не только излишки, но в штрафном порядке и разрешенные два пуда на семью. Бой был неравный, так как за хлебом, кроме городских спекулянтов-профессионалов, ездили в большинстве случаев старики и девки: хозяевам-мужикам было трудно отлучаться со двора; молодежь воевала против белых.

Тем не менее «мешочники» дрались храбро. Помогал им тайный союзник: сочувствие красноармейцев, в глубине души понимавших, что они делают неправое дело, так как не может быть такого закона, чтобы народ помирал с голоду.

Свои законные пуды Андрей каким-то чудом до Ивановки довез, но вернулся домой до того замученным душою и телом, что «хозяйство» решило за хлебом больше никого не посылать.

О небывалом в истории России голоде 1921-го года, бывшем в гораздо меньшей степени следствием неурожая, чем аграрной политики большевиков, писалось бесконечно много, как в иностранной, так и в эмигрантской прессе. Подробно

рассказывать о нем, а в частности о попытке антибольшевистской общественности придти на помощь власти в ее борьбе против постигшего Россию несчастья, быстро окончившейся ссылкой членов Общественного комитета помощи голодающим, не входит в мою задачу, так как всё это происходило за горизонтом нашей замкнутой Ивановской жизни.

Лишь раз, не поддающаяся никакому описанию, картина голода, летом 1920-го года на Нижнем Поволжье, вплотную придвинулась к моим глазам. Было это в кабинете только что вернувшегося с Волги врача.

Кто помнит первые революционные годы, знает до чего измучены и испиты были все окружающие тебя люди. Мертвенностью своего вида никого нельзя было удивить. И все же мне на всю жизнь запомнилось лицо, с которым Александр Сергеевич скупо, безо всякой живописи, одними фактами и цифрами рассказывал о голоде. Такого страшного, землисто-серого лица, таких потухших, оловянных, ежеминутно, словно навек, закрывающихся глаз, я еще никогда и ни у кого не видел. Да и как у старого общественника могло быть другое лицо, когда на его письменном столе лежала кипа телеграмм из голодающих губерний, среди кото

рых была и та, в которой сообщалось, что голодающие, съедавшие раньше только покойников, поставили капкан сытому американскому врачу, которого ночью убили и съели.

Прочитав эту телеграмму, Александр Сергеевич взял со стола вырезку из газеты, в которой какой-то чувствительный большевик возмущался жестокостью русского народа, хлебавшего покойницкий навар.

Отложив в сторону прочитанные документы, Александр Сергеевич закрыл лицо ладонью и откинулся в кресло. Когда! он отнял руку, на нем, в точном смысле слова, не было лица, вернее его лицо было лицом мертвеца.

Хоть и очень страшна, голодна и холодна была наша Ивановская жизнь, она во многом была интересна и значительна. Далеко не все вокруг было разрушением; многое было сумбурным и уродливым творчеством. Творила не власть, творил сам народ, далеко не во всем согласный с властью, но все же благодарный еЙ^за то, что она отодвинула в сторону господ и вплотную подпустила его к жизни. Втягиваясь в управление уездом, входя в органы местного самоуправления, не привычный к общественной работе, народ естественно чудил, озорничал и попросту делал глупости. Тем не менее, присматриваясь к его работе, нельзя было не видеть, что он во всех областях жизни напряженно ищет

какой-то новой и своей правды – жестокой, безбожной, но по своему принципиальной. Так первым делом Знаменского больничного комитета, в который наравне с медицинским персоналом вошли, конечно, и больничная прачка и больничный сторож, было вынесение постановления о немедленном разделе поровну всех имеющихся съестных запасов между служащими

больницы. Мотив постановления: поддержать силы служащих, самоотверженно несущих непосильную работу, все же можно, помочь же тифозным, число которых все растет, все равно нельзя. Скармливать им сахар и рис все равно, что бросать добро на ветер.

Еще парадоксальнее были два решения народного суда, который, согласно инструкции власти, руководился не мертвыми параграфами кодефицированного права, а внутренними велениями пролетарско-бедняцкой совести.

В соседней деревне внезапно умер крестьянин, живший последние годы не со своей престарелой женой, а с молодой батрачкой. Похоронив своего мужа, вдова, считая себя законной наследницей всего движимого и недвижимого имущества, попыталась было отпустить ненавистную соперницу, но та объявила себя полноправною хозяйкой двора и предложила старухе самой убираться по добру по здорову. Лишь из милости она согласилась дать ей телку, гнездо кур и часть хлеба.

Старуха пришла ко мне посоветоваться. Я написал ей прошение и мы подали жалобу в народный суд. Постановление суда было столь же принципиально, как и просто. Законною наследницей объявлялась батрачка. Мотивировалось это решение тем, что женой в социалистическом государстве должна считаться та женщина, с которой мужчина живет, а не та, с которой он был в молодости обвенчан. Церковный брак никакой роли не играет.

Не менее своеобразно было решение народного суда в деле об отравлении подряд трех собак на нашей Ильневской мельнице. Присудив уличенного в отравлении собак и в краже ржи солдата к тюремному заключению на совсем пустяковый срок, суд приговорил, однако, и мельника к довольно большому денежному штрафу за то, что тот не мог своими силами

справиться с охраной вверенного ему хлеба и не постеснялся обеспокоить перегруженный важными делами социалистический суд своим собачьим делом. В этом фантастическом постановлении сказалось, конечно, желание содрать еще одну шкуру с кулака-мельника, естественно жившего при крестьянском хлебе богаче большинства крестьян и тем мозолившего глаза бедноте.

Решения больничного комитета, постановления суда и других учреждений своим коммунистически-атеистическим духом глубоко волновали степенных крестьян, особенно же богобоязненных стариков. В избах и чайных шли оживленные споры. Трактир Лукина, в котором велись до войны мирные беседы о ценах на уголь и сено, превратился в настоящий дискуссионный клуб. Как-то зайдя в него узнать, что делается в уезде, кого оштрафовали, кого арестовали и кого из бывших помещиков выселили, я застал в нем много народу. Ожидался агитатор из уезда, который должен был говорить по религиозно-церковному вопросу.

Встав под образа, рядом с которыми висели портреты Ленина и Троцкого, молодой, развязный, судя по лицу не глупый «товарищ» бойко повел свое заученное наступление.

– Возьмем, товарищи, к примеру хотя бы вопрос о бессмертии души. К чему попы, верные слуги помещичьего царя и кровавого империализма, забивают вам голову этим несовместимым с наукою и социализмом учением? Неужели не понимаете, что они только потому и утешают вас небесным раем, чтобы вы не рыпались в вашем земном аду, а покорно, как быдло, работали бы на буржуев-кровопийцев и аграриев-ла-тифундщиков. (Этим последним выражением товарищ марксист был, очевидно, особенно горд). Так вот объявляю вам – согласно науке и нашей программе, -

что бессмертие души надо понимать материалистически, в смысле обмена круговращения. Вот если где умрет человек или скотина – это все одно, и сгниет, удобрит, значит, землю, то на этом месте пышнее вырастет, к примеру сказать, куст сирени. В кусте этом ты и будешь продолжать свою жизнь. Вот и все наше бессмертие души. Другого не ищите, попам не верьте и за свои права боритесь.

Экий дурак, – не выдержал сидящий подле меня старик, кузнец Иван. – Да скажи ты мне на милость, причем тут душа? Ведь в кусте-то сирени не душа цвести будет, а твоя тухлая плоть. Для души же человеческой нет разницы, сиренью ли цвести в палисаднике, или навозом под ногами моей старой кобылы лежать. Ведь для души-то, для бессмертной и сирень навоз. Нет, знать вынули из тебя душу, что такую ахинею несешь.

Часть чайной весело хохочет и явно одобряет кузнеца: «Ловко дядя Иван поддел, сразу видать – силен в писании».

Агитатор, очевидно, не улавливая правильной мысли Ивана, что вопрос о бессмертии души не имеет ничего общего с законом сохранения энергии, но смутно чувствуя, что что-то в самом деле в его доводах не вяжется, быстро, не возражая кузнецу, бросает

свою сложную тему и уверенно, заранее торжествуя победу, переходить к более простой. Его задача компрометировать попов.

Вот, говорят, святая церковь, а какая она, товарищи, может быть святая, когда каждый третий поп – пьяница. Ведь был же в уезде случай, сами знаете, что пьяный поп, крестя младенца, выпустил его под водой из своей десницы, так что из купели трупик вынул.

Пример этот явно выдуманный, для большей убедительности, вызывает всеобщее возмущение. У од

них попом, у других агитатором. В трактире поднимается неистовый шум.

Дядя Иван с решительным лицом встает из-за стола и, очевидно, опасаясь, что после его первого выступления ему не дадут говорить, по всей форме просит слова. Товарищ председатель пытается отказать ему, но он настаивает на своем праве. В Совете, мол, свобода слова, и кому же и говорить, как не пролетарию-кузнецу? Аргумент действует. Дядя Иван получает слово, протискивается вперед, вплотную подходит к оратору и говорит ему в упор:

– Священники у нас разные бывают – и праведные и грешные. Но не твоей совести дело судить их. За бессовестный же твой поклеп, хотя ты и неверующий, все равно перед Богом ответишь потому, что крещеный ты. Это тебе первый ответ. А вот и второй: хотя бы и твоя правда была, против святости церкви она все одно ничего не доказывает. Ты вот во что вникнуть должен: кто в попе пьет – человек или сан? Если батюшка по человеческой слабости иной раз лишнее и выпьет, это ему на исповеди простится, ну а святой сан не пьет. Мы же в священнике не грешного человека чтим, а рукоположенного иерея. Затем ведь священник поверх портков и рясу носит, – хитро улыбается дядя Иван, – чтобы она трезва оставалась, когда портки напьются.

Этот веселый поворот умной речи производит особо сильное впечатление -- кузнецу аплодируют не только свои, но даже некоторые большевики, эти не за твердую защиту церкви, а за легкую словесность, за ухватку. Народная аудитория очень чутка к полемическому мастерству и умеет ценить удачное слово.

Второе выступление кузнеца сильно подорвало авторитет нерасторопного пропагандиста, не нашедшего, что ответить деревенскому самодуму. Обещав разбить стариковские глупости в заключительном ело

ве, он быстро перешел к социальному вопросу, в котором мог рассчитывать на более широкое сочувствие деревенской аудитории. Но и тут ему не повезло, потому что он подошел к вопросу издали и не с того конца.

Неожиданно для всех он начал с Толстого и стал рассказывать мужикам о том, что яснополянский учитель нажил на проповеди социального уравнения имя, почет и деньги, в то время, как на Ленина, вождя мирового пролетариата, и помещики, и буржуи, и кулаки, и писатели за ту же проповедь всех собак вешают.

– А отченно даже просто, – поднялся в третий раз со своего места все тот же неугомонный Иван, на этот раз уже в полном сознании своего значения, как признанного вождя оппозиции. – Ведь когда граф Толстой говорит, что всех поравнять нужно, то он, небось, знает, что ему отдать прйдется. А когда вы, товарищи, (имени Ленина кузнец назвать все же не осмелился), то же самое горланите, то про себя держите, что отдать вам нечего, а взять есть что. Правда-то она одна, да только она о двух концах, с твоего же конца она не правдой, а того гляди кривдой выходит.

Это была в точности та мысль, которую я сам развивал Стулову, когда мы с ним ехали из Стасова. Слушая старика Ивана, я не переставал удивляться расторопности его головы и точности его слов. Хотя я давно знал нашего кузнеца, я такой прыти от него все же не ожидал. Может быть, ее раньше в нем и не было. Почти у каждого человека бывают в жизни минуты, в которые он перерастает себя. Такой творческой минутой не только в жизни Знаменского кузнеца, но и всего простого народа были первые два года большевистской революции: в эти годы деревня впервые глубоко думала над многим, чем раньше мало интересовалась.

Привлеченный Екатериной Дмитриевной Кусковой

к просветительной работе какого-то нового издательства, я взялся написать популярную книжечку о Владимире Соловьеве. Задача представлялась мне столь же увлекательной, сколь и трудной. Хотелось написать нечто совсем не похожее на те популярные брошюры, которые я сотнями просматривал служа в культурно-просветительном отделе «Политического кабинета». Главный недостаток всех этих брошюр заключался, с одной стороны, в том, что все они обращались менее к народу, чем к умному и оппозиционно настроенному гимназисту, с другой же, в том, что большинство из них упрощало не только изложение предмета, но и предмет изложения. Мне мечталось дать образ Соловьева во весь его рост и все же написать книжку, понятную каждому умному крестьянину. Для этого надо было найти не только особый язык, но и оттолкнуться в своем изложении от близких народу понятий. Тут сразу же возникало почти непреодолимое затруднение в определении философа – понятия не существующего в народном сознании. Думая над тем, как бы приблизить идею философа к глазам и душам крестьян, я решил

начать с уточнения трех все же живых в народном сознании понятий святого, пророка и ученого, в смысле ученого доктора, ученого агронома, ученого инженера, работающего на фабрике или на постройке железной дороги. Уверенности в том, что мои размышления дойдут до народа, у меня не было; потому я решил проверить себя – прочесть все в том же трактире Лукина доклад о Соловьеве. Опыт оказался вполне удачным. Рассказанное мною «житие» великого человеколюбца и пророка было выслушано с большим вниманием. Особо сильное впечатление на собравшихся произвели три момента: 1) публичное требование Соловьева, чтобы Александр Третий, как христианин, простил убийц своего отца, которые подняли руку на Царя-Освободителя не ради личной ко

рысти, а в защиту ложно понятых народных интересов, 2) пророчество о желтой опасности, верность которого вскрыла впоследствии Японская война и 3) его проповедь объединения церквей.

Ободренный успехом, я решил прочесть второй доклад, о Толстом. Сделать это было много легче: о Толстом понаслышке многие все же знали, он часто бывал у своих друзей в нашем уезде, да и его социальная философия была все же гораздо доступнее народу, чем Соловьевское «оправдание добра». Оба доклада вызвали горячие споры и разговоры. Дяде Ивану Соловьев нравился гораздо больше Толстого: «Соловьев глубже забирает, – ораторствовал он, – а граф напрасно народу во всем мирволит».

Рассказывая ныне о своей просветительной деятельности в Знаменке, я удивляюсь, что она вообще была возможна. В 1918-1919 годах мне и в голову не приходило этому удивляться. Очевидно, мысль, что государственной власти естественно запрещать народу всякую духовную жизнь, обжилась в моей голове лишь за последние годы, в которые большевизм упрочился не только в России, но на свой лад и в фашистской Европе. Вера в двуединство истины и свободы все решительнее исчезает из совести и сознания человечества.

Лекции нашей просветительно-театральной комиссией устраивались сравнительно редко.

Гораздо успешней процветало театральное дело. У нас быстро подобралась труппа из крестьянской молодежи и интеллигентов-любителей. Для начала мы сыграли несколько Чеховских миниатюр, а потом перешли к Островскому.

Впервые работая с малограмотными, почти ничего не читавшими и никогда не видавшими театра парнями и девками, я был поражен тою легкостью, с которой они входили в свои роли.

Не умея грамотно

прочесть текста, не зная, куда девать руки и ноги, не владея дыханием, а потому и голосом, они – что самое главное – без остатка растворялись в изображаемых ими лицах.

Русский театр, в частности московский Дом Щепкина, вырос, как известно, из крепостной сцены. Быть может, этим объясняется тот исключительный дар перевоплощения, который отличает даже и среднего русского актера от его западно-европейских коллег. Пусть князь Волконский тысячу раз прав, утверждая, что французский актер много совершеннее владеет логикой и фонетикой сценической речи, чем русский; пусть психологический рисунок роли у больших итальянских трагиков и самых крупных немцев, по своей глубине и отчетливости иной раз и превосходит русские проникновения в тайны человеческой души, самого нерва театра, детского дара перевоплощения, на западе бесконечно меньше, чем у нас. В этом еще не растраченном детстве мне чудится великое наследие тех крепостных лицедеев, которые играя в барских театрах, ощущали свою игру не профессией, не забавой, а вполне реальным для них выхождением из своего темного, бесправного жития в новую и светлую жизнь, как бы неким художественным предвосхищением своего социально-бытового и душевно-духовного освобождения. Быть может, и та страсть к театру, что залила Россию в первые революционные годы, объясняется той же народною жаждою быстрого социального восхождения. За правильность этой гипотезы говорит, во всяком случае, и нелюбовь деревни к пьесам из крестьянского быта и бесспорное пристрастие деревенских лицедеев к ролям из господской жизни. Нет, не только зрелищ, наряду с хлебом, жаждет революционная масса, но и игры. Быть может, игры даже больше чем зрелищ.

Ради воспитания труппы и развлечения зрителей

и Знаменского комитета, я решил пригласить настоящего актера. Мой выбор пал на известного комика Малого театра, блестящего рассказчика Владимира Федоровича Лебедева. Он без труда мог заполнить собой весь вечер и показать в доступной народу занятной форме образцы настоящего искусства. Я тут же написал Лебедеву, который весьма охотно согласился приехать к нам. В качестве гонорара ему было предложено: фунт русского масла и баранья ножка.

Со станции я привез Владимира Федоровича прямо к нам, в Ивановку. Для редкого гостя мы, не щадя нашего небольшого запаса сухих дров, хорошо натопили столовую. Серафима Васильевна сварила мясные щи и большой горшок крутой гречневой каши (обыкновенно мы ели только жиденькую

размазню). Масла мы не пожалели – жертвовали все, кто сколько мог. В то время как Серафима Васильевна готовила обед, Николай Сергеевич, у которого оставался еще маленький запас спирта (подарок знакомого бактериолога) таинственно ворожил в спальне.

Войдя после нетопленного вагона и двухчасовой езды в розвальнях в теплую комнату и увидя накрытый безукоризненно белой скатертью стол, посреди которого красовался графин с красновато-лиловатой жидкостью, Владимир Федорович пришел в самое прекрасное настроение. Серафима Васильевна разлила щи и щедрою, материнскою рукою разложила по тарелкам кашу, Николай Сергеевич наполнил рюмки. Чокнулись – выпили. Поднеся ко рту первую ложку каши, Лебедев вдруг точно замер от удивления: «с маслом, с маслом» воскликнул он так, как разве только утопающий мог воскликнуть: «берег, берег».

– Благодарю вас, благодарю, – подошел он, с ему одному свойственным комизмом жеста и мимики, к ручке Серафимы Васильевны, – благодарю всех, – обвел он стол своим умным, соколиным глазом, – за

радушие и гостеприимство. Сегодня Аркашка действительно «Счастливцев».

Каша была и впрямь на редкость вкусна, мы уже давно не ели такой. Это была не каша, а музыка, вальс «Невозвратное время». Все мы знали, что легкомысленный пир будет нам стоить неделю сухоедения. Но это никого не смущало. В дни революции мы все тосковали по праздничным выходам из серых буден.

Вечер прошел оживленно и уютно. Владимир Федорович, которого все знали только по сцене, оказался весьма умным и зорким наблюдателем жизни и очень интересным собеседником.

Был он в тот вечер, что называется, в большом ударе. Оно и понятно. Попасть в зиму 20?го года из нервной, тесной, грязной Москвы, опозоренной человеконенавистническими плакатами и декретами, в тихие, чистые снега, в просторный деревенский дом, в дружеский круг сплоченной интеллигентной семьи, было все равно, что во сне очутиться в старой дореволюционной России.

Характерно, что как раз в Ивановке не столько теоретически, сколько практически «приявшей», как стали говорить впоследствии, революцию, живее и дольше сохранялся облик дореволюционной России, чем где бы то ни было по соседству. Те из помещиков, что упорно отказывались хоронить старый мир, лишались и возможности наследовать ему.

Особенно был поражен духом и обиходом нашей деревенской жизни мой сослуживец по Государственному показательному театру Василий Григорьевич Сахновский.

Времени его приезда я точно не помню. Помню только, что это было летом и в большой праздник. Скорее всего Сахновский был у нас на Троицу в 1921-м году. Ждал я Василия Григорьевича, с которым очень сдружился, с радостью и нетерпением. Часто погля

дывал на барометр. Хотелось, чтобы Ивановка как раз ему, тонкому ценителю скромной красоты среднерусской природы и любителю деревенской жизни, улыбнулась своею самою милою улыбкой.

На счастье утро приезда Сахновского выдалось на редкость душевное: влажное после ночного дождя, с золотистым туманом в ложбине над речкой. Запрягая уже отъевшуюся в ночных лугах лошадь в нашу самодельную двуколку, я хозяйственно наслаждался починенной Николаем Сергеевичем сбруей и новыми вожжами, которые я ради торжественного выезда принес с чердака.

В широко разъезженных колеях и еще не просохших лужах лежали плотные куски бирюзового неба. Молодая, недавно вымененная на бриллиантовое кольцо, лошадь чувствовала себя так же счастливо, как и я. Бодро пофыркивая, она весело оглядывалась по сторонам. Ей очевидно нравилась ее новая деревенская служба.

Было условлено, что Сахновский со станции пойдет пешком, а я выеду с таким расчетом, чтобы встретить его на полпути. Подъезжая к Троицкой горе, я уже издали увидел его широкоплечую фигуру, бодро шагавшую мне навстречу. Когда я подъехал к нему, он с веселым лицом человека, оставившего позади себя все свои заботы и волнения, вскочил в двуколку и мы покатили под гору.

– ? Более, как у вас хорошо в деревне и как непостижимо спокойно, будто нет ни Москвы, ни революции.

Хотя мне, как деревенскому жителю, и было ясно, что совершающиеся в деревне процессы, по своей революционной глубине, скорее превосходят изменения городской жизни, чем отстают от них, я не стал возражать. Со времени нашего переезда в деревню я и сам как-то успокоился: потерял городское ощуще

ние окончательной захваченности всей видимой и невидимой жизни, всех душ и вещей революционным кошмаром. В городе некуда было уйти от революции; в деревне же, выйдя за ворота нашей, быть может и обреченной топору и огню, Ивановки, и пройдя мимо горластой сходки, можно было задами выйти все в те же, что и сотни лет тому назад, ржаные поля, все к тому же над дальним лесом закату и оставшись наедине с неподвластной мятежной человеческой воле природой, почувствовать себя в

мире с миром и вечностью.

По случаю приезда Василия Григорьевича, мы все, в особенности «дамы», старательно приоделись; выйдя к столу не в нашей обычной будничной замызган-ности и заплатанности, а в приличном, дореволюционном виде, мы все радостно ощутили свое право на заслуженный отдых и праздничное благорастворение душ и телес.

Василию Григорьевичу все были очень рады: как редкому в деревне гостю, интересному человеку и, главное, как представителю того театрально-научного мира, которым все мы до революции жили и увлекались.

Чуткий человек и наблюдательный режиссер, Сах-новский тонко чувствовал асмосферу, в которую попал и, очевидно, наслаждался ею.

– Никак не думал, что у вас будет так хорошо, – говорил он нам с Наташей за послеобеденным чаем на маленькой террасе нашего флигеля, – куда ни придешь, всюду одно разрушение, а у вас нет – у вас на старом корню молодым цветом новая жизнь цветет. Такого единства традиции и революции я еще не видал. Я думаю, вы и сами не понимаете, до чего новы дух и стиль вашей жизни.

Этого мы и на самом деле не понимали. Нам было не до стилей. Мы просто жили мечтой удержать Ива

новку, есть свой собственный хлеб и не служить в советских учреждениях, что нам, по нашим убеждениям, было бы очень трудно. Конечно, и хозяйствовать нам было не легко, так как жена Андрея была певицей и гимнасткой, Наташа была курсисткой, двоюродная сестра Ольга – ученицей школы живописи, младшие – Лиза и Коля только что кончили гимназию, Андрей был педагогом, я – философом, – но тут вывозила исключительно большая практическая одаренность всех Никитиных. У них ничего не валилось из рук.

Играло в нашем, столь удивившем Сахновского процветании и еще одно обстоятельство – большие симпатии Никитиных к социализму. Я социалистом в партийном смысле никогда не был, но и не был никогда защитником крепкого капиталистического строя и буржуазной психологии.

Мы долго сидели за чайным столом и говорили о том, что в недалеком будущем в душах наиболее передовых людей должно неизбежно наступить не только разочарование в современной технократической цивилизации, но даже и отвращение к ней. Василий Григорьевич связывал это свое предчувствие со все усиливающимся обездушением западно-европейского прогресса.

– Техника, – говорил Сахновский, – была рождена наукою.

Расцвет естественных наук был порожден громадным подъемом духа, он имел своих мучеников и святых, был правдою, быть может религиозною правдою своей эпохи. Всего этого современный мир давно не помнит. Техника становится все сложнее, а современный человек – все грубее. Через сто лет американизированный город превратится в огромную фабрику, населенную и управляемую варварами и идиотами. Вот тогда-то и начнется бегство в деревню, в которой по нашим стопам, я это серьез

но говорю, начнется возрождение человека, создание новой элиты. Да и впрямь, что может быть лучше: просторный, просто обставленный дом, сад, под садом река, за ней поля – зори вечерние и утренние – хорошая библиотека, рояль или скрипка. Приезд друзей, разговор… Честный хлеб и светлый дух – вот моя пореволюционная платформа – конечно, не для масс, но для новой аристократии духа.

Ветхозаветного рая на грешной земле люди никогда не построят, о таком рае мог мечтать лишь такой сентиментально-утопический социалист, как Руссо. Но в то, что земля подлинно Богородица есть, я вместе с Достоевским и всеми моими предками крепко верю.

Я не спорил, всё это было близко и моим собственным мыслям.

На другой день я отвез Василия Григорьевича на последний московский поезд. Возвращался я поздно, моросил дождь. Продолжая под поднятым верхом пролетки про себя разговор с Сахновским, я не предчувствовал, что скоро и впрямь настанет страшный час саморазрушения сложнейшего аппарата современной цивилизации. Страшно подумать, что будет с нами, если заседающая сейчас в Москве конференция министров иностранных дел не справится с проблемой атомной бомбы. Но как поверить, что она справится, когда и люди и народы все усиленнее ненавидят друг друга и все менее друг другу верят.

Первою задачею, которую нам пришлось разрешать, была задача бытовой ассимиляции жены нашего, попавшего в немецкий плен, работника Петра. Умная, дельная, но обидчивая и взбалмошная женщина, служившая до нас у генеральши, которая не позволяла крестьянам пользоваться проходившей через ее усадьбу дорогой, Екатерина органически недолюбливала господ и не доверяла им. К тому же она

страшно боялась, как бы ей в отсутствии мужа не сделать какой-нибудь непоправимой ошибки. По нашему предложению, она вошла вполне равноправным членом в нашу артель (прокормить себя и двух девочек без нашей помощи она никак не

могла бы), но войдя, всем своим поведением казанской сироты, сознательно подчеркивала, что в сущности ничего не изменилось, что она, как была работницей, так и осталась ею, а что дальше будет – муж решит.

Петр вернулся из плена с взбаламученной душой и с головой забитой немецкой коммунистической пропагандой. Работая последние месяцы плена в батраках у богатого немецкого крестьянина, он мечтал о том, что по возвращении домой сам заведет такое же усовершенствованное хозяйство. Нас, как и всех помещиков, он надеялся не застать в деревне. То, что мы еще жили в Ивановке, разочаровало и раздосадовало его. К тому же и деревня встретила его, моги-левского «чужака», отнюдь не с распростертыми объятиями. Все складывалось так, что и ему ничего не оставалось, как, скрепя сердце, войти в наше «трудовое хозяйство».

Для урегулирования и смазывания, как в бытовом, так и в политическом отношении весьма сложного механизма нашего «коллектива», мы решили каждый месяц устраивать общие заседания всех членов нашей артели. На этих заседаниях Петр и Екатерина, ради приручения которых мы главным образом и играли в демократию, чинили нам величайшие трудности не по злой воле, а просто потому, что сами не знали, как себя держать и куда подаваться. Амбиции их были велики, но и старые, рабьи инстинкты, были в них еще живы. Отобрать у нас Ивановку они, конечно, не постеснялись бы, но запросто сесть с нами за стол для равноправного обсуждения текущих вопросов хозяйства было им неловко. Если бы

мы их почти что насильно не сажали, они охотнее всего стояли бы у двери. Заставить их говорить было еще труднее. Первое время они упорно молчали, заставляя нас разгадывать, о чем они молчат и чего от нас ждут. Когда это нам удавалось, их лица светлели и дело налаживалось, когда не удавалось – они мрачнели и дело запутывалось.

Со временем Мельниковы выделились, поставили себе на нашей, то есть на оставленной за нами землемером земле просторную избу, получили от нас по доброму сговору часть семенного запаса, корову и право пользоваться нашим инвентарем и лошадьми. Успешное проведение этого раздела потребовало с нашей стороны много психологической зоркости и политической осмотрительности.

Построившись, Мельниковы праздновали новоселье. Мы с Наташей были приглашены особо. Стол был накрыт по-господски. Обед (помню только зайца под сметаной, которого Петр убил в качестве советского лесничего) был приготовлен по-поварски.

Видно было, что Екатерина прошла у генеральши хорошую школу и что постаралась не ударить лицом в грязь. Кудрявый, тщательно расчесанный Петр в канареечной рубашке и плисовых шароварах ел с нами, а сияющая Екатерина прислуживала у стола. Было очень приятно смотреть на них и чувствовать, что наконец-то в их неустойчивые и завистливые души вошли покой и удовлетворение.

Крестьяне с насмешливым недоверием следили за первыми шагами нашего хозяйства. Однажды, когда я с усердием и тщательностью, которые в свое время требовал от солдат, чистил отощавшую лошадь, во двор вошел Туманов, посмотрел с минуту на мои старания и громко рассмеялся:

– Бросьте «ваше благородие», деревня не казарма, что ее голодную чистить; скребница по овсу

берет, а без овса – дерет. Да и некогда вам такими пустяками заниматься.

В хозяйстве я никакой регулярной физической работы не нес, а исполнял, как надо мною шутили, функции министра иностранных дел, то есть налаживал отношения с крестьянами и советами.

Относились ко мне как в деревне, так и в вол-исполкоме, очень хорошо, считали меня человеком прямым, откровенным и верили мне больше, чем Андрею, которого заподазривали в скрытности и хитрости. Хитрости в Андрее никакой не было, но он был от природы до того прост и откровенен, в общении с людьми, до того уступчив и услужлив (бывало со станции крестьянские мешки или каких-то старух везет, а сам подхлестывая лошадь шагает рядом), что крестьянам, не видавшим таких господ, невольно казалось, что все это неспроста, что здесь кроются какие-то свои расчеты и замыслы.

Разгадывать эти замыслы была большая мастерица вдовая мещанка Марина. То она утверждала, что Андрей поехал в волость доносить на самогонь-щиков, то нашептывала мужикам, что «тихоня» собирается вступить в партию, чтобы вернуть себе имение. Однажды я из-за подобных вздорных сплетен крепко поругался с Мариной и при народе зверски накричал на нее. Результат получился неожиданный: Андрей всерьез обиделся на меня за Марину, Марина же прониклась ко мне большим уважением и временно притихла.

Как бы я кончил свою удачно начатую в пореволюционной деревне карьеру, если бы не был выслан из России (одно время я был даже председателем ивановского сельского схода), сказать трудно, но все же думаю, что менее печально, чем Андрей, которого затравили доносами и, в конце концов, все же

выкурили из нашей Ивановки, как кровопийцу и крепостника.

Роли в нашем хозяйстве с самого же начала распределились легко и отчетливо. Николай Сергеевич, всегда имевший склонность к изобретениям и ремеслам, естественно взял на себя столярное и шорное обслуживание Ивановки. Его мастерская – летом в каретном сарае, зимой в бывшей комнате для прислуги, – была всегда завалена порванной сбруей, хомутами, расшатанными колесами, дырявыми мешками и всякими иными, требующими спешной починки вещами.

С изумительной ловкостью исполняя все эти работы – не было ни настоящего инструмента, ни починочного материала – Николай Сергеевич временами мечтал о каком-нибудь более творческом задании. Мечта эта привела его к затее соорудить из валявшегося в сарае лома новую двуколку: ездить в телеге было мучительно, трясло, а в дрожках по осени холодно и грязно. Двуколка, построенная на передке старой коляски, удалась на славу. Выкрашенный в черную краску, обитый красным бобриком и выстланный клеенкою кузов был не только удобен, но и наряден. Модель, созданная Николаем Сергеевичем, производила по деревням большое впечатление и служила как бы подвижною вывеской нашего хозяйства. Скромнейший Николай Сергеевич был горд и счастлив.

Полевым и молочным хозяйством руководила, постоянно обо всем советуясь с сыном, Серафима Васильевна. Она же и готовила на всю артель. Ей по очереди помогали все женщины. Охотнее всего Серафима Васильевна готовила с Наташей, но «коллектив» строго следил за тем, чтобы отдых на легкой работе в теплой кухне равномерно распределялся между всеми. Как ни как психология и социология эпо

хи накладывали свою печать, даже и на наши индивидуалистические души.

Наиболее трудные и ответственные работы исполнял Андрей: он пахал, сеял, управлял молотилкою, следил за всем инвентарем и был единственным, который умел косить на нашей допотопной косилке.

Коля оказался нашим лучшим косцом. Было ве- | село смотреть, как дочерна загорелый в расстегнутой спортивной рубашке он легко и размашисто клал ровные ряды душистого клевера. Наташа и Лиза делали все хорошо, но особенного совершенства достигли в трудном искусстве жнивья. Наташа славилась еще тем, что ее слушался скот, даже бедовая молодая Дочка, которая у всех постоянно опрокидывала подойники, стояла у нее во время дойки как вкопанная. Скот любит тихие души.

Прилежно, но нервно работала наша кубистка Ольга.

Не менее усердно старалась наша певица Елена. Особенно она любила навивать возы с сеном и разъезжать при всяком удобном случае по деревням: в знаменский кооператив, на почту, в Михеево менять какие-нибудь вещи на масло и яйца.

В этом смысле мы с нею были два сапога-пара, с тою только разницей, что мне постоянная гоньба разрешалась, так как это входило в мои обязанности, на Елену же смотрели иногда косо, ничего ей впрочем не говоря, так как все знали, что все прогуленное с избытком возместит Андрей.

Среди однообразно-монотонных, все тем же при-родно-календарным колесом вращающихся работ особняком стоят в памяти ноябрьские утра, которыми мы рубили дрова для Совета (за лето и осень с этою

работою не справлялись) и осенние ночи, которыми мы сторожили наш яблонный сад. Об этих, порою злых и тревожных, порою поэтических ночах, я уже несколько раз упоминал на страницах этих воспоминаний.

Сторожили мы нашу яблочную «валюту», на которую выменивали хлеб и масло и которой оплачивали все деревенские расходы, с восьми вечера до восьми утра. Львиная доля наиболее ценных зимних сортов шла стассовскому волисполкому, который ради своих интересов даже выдал нам винтовку. Эта, хотя и справедливая, но в представлении деревни все же контрреволюционная мера, естественно, крестьянам не нравилась и осложняла наше отношение с ними. Дабы задобрить наших ивановских мужиков, мы настойчиво внушали им мысль, что они, свои люди, не станут участвовать в ограблении сада вместе с дальними деревнями и щедро раздавали им за соседскую честность не только падалицу, но и снятые с дерева яблоки.

Ивановцы с добродушным лукавством охотно соглашались на эту игру в добрых соседей, но тем не менее подсылали ребятишек стрясать наши яблоки. Когда мы дружественно указывали им на недопустимость нарушения сговора, они без зазрения совести, все как один, отвечали, что ребята народ маломысленный, за ними-де не уследишь. Впрочем, обещали надрать вихры, а то и выпороть.

Атаки на сад велись по всем правилам военного искусства. При наступлении темноты, где-нибудь в дальнем углу, обыкновенно за забором, чтобы было легче отступать, внезапно поднималась ложная тревога. Ломались сучья, раздавались детские голоса, свистки. Расчет этого маневра заключался в том, чтобы отвлечь внимание сторожащего от одновременно совершавшегося, по возможности в полной тишине,

наступления великовозрастных парней на лучшие яблони в другом конце сада.

Поначалу мы раза два попались на эту незатейливую удочку, но потом стали действовать осмотрительнее: выстрелив по направлению шума горохом и натравив на ребятишек собаку, мы сами прокрадывались в тихие углы сада, напряженно вслушиваясь не хрустнет ли где-нибудь ветка, не упадет ли яблоко.

Руководил партизанами сын все той же Марины, добродушный, некрасивый и все же как две капли воды похожий на красавицу-мать, девятнадцатилетний Степочка, который несколько раз в неделю приходил к нам на скотный двор помогать чистить коровник. Как-то раз выведенный из терпения нашею сторожевою бдительностью, он, изменив голос, начал неприлично ругаться и даже грозить поджечь нас, если мы будем стрелять.

Когда я на следующее утро, придя на скотный, принялся стыдить его, он густо покраснел; поначалу долго отнекивался, но потом признался и стал объяснять, что пошутил. Чувствуя себя все же виноватым, он был особенно любезен с Наташей и даже предложил ей, улыбаясь во весь свой губошлепый рот, чтобы она выносила из-под коров, а он будет чистить вонючий телятник.

Так велась между нами и деревней революционная игра в казаки-разбойники. Бывало, впрочем, что эта игра внезапно оборачивалась настоящей революцией. Поздние осенние ночи, в которые к изгороди сада, не таясь, подъезжали решительные мужики из дальних деревень, я до сих пор вспоминаю с недобрым чувством.

Слава Богу, таких ночей было немного. В общем длинные часы сторожевок сливаются в памяти скорее в череду созерцательных раздумий, чем человеконенавистнических страстей.

Вскочив на стук предыдущего дежурного с постели, я с еще притуплённым ночным сознанием, быстро выходил в спящий сад и, перекинув ружье через плечо, сразу же направлялся в первый сторожевой обход. По зябнущему позвонку пробиралась в душу осенняя сырость, тяжесть не досланной ночи свинцом давила на глаза. Собака послушно шла у моих ног, загадочная, как все в ночной природе и все же по-человечески близкая. Проходя под окнами дома, я с тою же повышенною чуткостью, что бывает только в предутренних снах, ощущал и теплынь спален за плотно закрытыми ставнями и теплоту своей любви ко всем усталым людям, что спят в них в ожидании окончательного приговора судьбы над их трудом и жизнью.

Обойдя дорожки и обследовав все лазы в заборе, я или забирался в шалаш под нашей самой старой и самой плодовитой яблоней «бабушкой», или садился в плетеное кресло на террасе.

Во всех ночах, в особенности же осенних ночах русской деревни, где человек больше рабствует природе, чем властвует над ней, есть нечто устрашающее душу. Никогда в жизни не испытывал я этой мистической жути с такою' силою, как в памятную мне непроглядно-черную октябрьскую ночь. Ветер то стихал, то с порывистою злобою налетал на беззащитный сад; древними потопными шумами шумел низвергающийся на землю ливень; беспрестанно падали сотнями срываемые ветром яблоки.

Обрывочно, как бы сквозь сон, думая под эту космическую музыку свою неотвязную думу о революции, я – иначе чем днем, – ощущал ее некою пер-возданною зловещею ночью, единою в природе и в подсознательных недрах темной человеческой души.

Боже, с какою тоской ждал я в ту ночь рассвета. Крик петуха у нас на дворе и ответный в деревне, мы

чание оголодавшей коровы – эти привычные деревенские звуки воспринимались благостными обещаниями трезвого, рабочего дня, светлого избавителя от ночных мороков.

Когда я с корзиной антоновки возвращался в наш флигель, восходящее солнце, нежно румяня омытые дождем верхушки деревьев, уже пригревало скудеющий осенний мир своею родительскою лаской.

Дома у большой, заново выбеленной печки был накрыт чайный стол с увеличенной за сторожевку порцией хлеба и молока, в печке весело трещал сырой хворост. Еще чувствуя в себе гнет космической ночной тоски, я с радостью смотрел на хорошо выспавшуюся, свежую, как утро, Наташу, по-бабьи повязанную пестрым платком, в обжимке и широкой юОке.

?,) Если я за что-либо по гроб жизни благодарен ; ивановской жизни, то прежде всего за то, что она | раскрыла мне исконную связь между родящей «на-| сущный хлеб» землей, честным «в поте лица своего» \ трудом и таинством брака. Думаю, что без уразумения этой связи переутоньшенному современному человеку невозможно дорасти до светлой старости и покорного приятия смертного часа. " Совсем иная картина встает перед глазами, когда вспоминаю заготовку дров для Совета. Бледно-голубое зимнее небо, тонкие еловые кресты и четкие узоры оголенных ветвей в нем, желто-бурая листва под легким слоем первого снега, острый спиртной запах распиленных стволов, румяные на морозе щеки, выбивающиеся из-под цветастых платков волосы, Лизины красные варежки, бодрое тявканье топоров, звонкие, как всегда в лесу, голоса, смех, громкое

карканье встревоженных ворон. Сколько кубических сажен полагалось нам срубить, распилить и сложить, я уже не помню. Знаю только, что даже такие

опытные «лесозаготовщики», как Тумановы, с трудом справлялись с советскою нормой.

Осложнялась наша задача и без того неопытных дровосеков еще и тем, что у нас не было ни удобной одежды, ни подходящих инструментов. Рваные перчатки (кожаных варежок на всю артель была только одна пара), дырявые валенки, то и дело слетающие с топорищ топоры, тупые пилы – все это досадно затрудняло и без того трудную работу. Приступали мы к работе лишь после всестороннего взвешивания целого ряда обстоятельств: наклона дерева, его выгодного или невыгодного расположения среди соседних деревьев, направление ветра. Иной раз дело доходило до горячих, но всегда веселых споров.

Так как мы рубили деревья не подряд, а выбирая те, что похуже, то часто случалось, что подпиленное дерево запутывалось макушей в соседних деревьях. Тогда гимназист Коля, скинув куртку, с обезь-яней ловкостью лез по срубленному дереву к запутавшейся макуше и накинув на нее петлю спускал конец веревки, за который мы и тянули дерево книзу. Почему мы жалели хорошие деревья, хотя лес был уже не наш, объяснить трудно. Может быть, это все же была подсознательная надежда, что он будет нам возвращен.

Пощадили ли до конца эти деревья советские топоры – мне неизвестно. Знаю только, что при сносе нашего флигеля (волисполком перенес его, кажется, в Знаменку, где расширялась школа) был заодно срублен и наш вековой тополь.

Несмотря на успешность нашего хозяйства, жить исключительно доходами с земли и сада было невозможно. Приходилось искать какого-нибудь подсобного заработка. Со временем таковой для всех нас нашелся. Андрей стал преподавать в Знаменской земской школе, где занятия велись только зимой. Мне

посчастливилось получить в долларах небольшой аванс в Госиздате, которому я запродал свой роман и наладить через Красный крест получение нескольких посылок «Ара». Женщины стали шить куклы, которые за очень хорошие деньги сбывались в Москве. Своими добавочными достатками мы все дружно делились, но не в принудительном порядке пополнения общего котла, а на началах добровольного угощения, благодаря чему социалистическая уравниловка нашего «коммунистического» питания по временам приятно разнообразилась анархией капиталистического индивидуализма. Угощали мы друг друга не

за общим столом, а у себя: мы во флигеле, Андрей с Еленой в своей комнате, Ольга, самая бедная – в своем «ателье» то есть в новой, пристроенной ко флигелю избе для работника.

Чаще всего собирались у нас и не только потому, что последние два года мы жили несколько богаче и теплее обитателей большого дома (дрова по дорогой цене нам потихоньку доставлял наш бывший работник Петр, устроившийся лесничим при Стассов-ском волисполкоме), но главным образом ради того «старозаветного» духа, который в нашем флигеле держался дольше, чем в большом доме, где не только в коридоре, на стульях, но и в холодной гостиной лежали мешки с семенным запасом.

Над моим письменным столом висел большой портрет Владимира Соловьева, в простенке между окнами, над полкою с книгами – портрет Шеллинга в старости, прекрасная гравюра середины 19-го века. Над большим глубоким диваном красного дерева, между двумя бронзовыми стенными лампами с молочными шарами, так же загадочно, как некогда в Париже, улыбалась Наташе таинственная Мона Лиза.

Хотя те суровые времена, когда мы по-настоящему голодали, мерзли и, не имея ни капли кероси

на, сидели по вечерам при чадивших в рюмках гарного масла фитилях, были уже преодолены, мы зажигали наши любимые старинные лампы лишь в особо торжественных случаях.

В ожидании гостей я в праздничном настроении любил ходить по хорошо натопленным, мягко освещенным комнатам, вслушиваясь в тихий разговор наших старых вещей.

Книги на полках, Анина карточка в саду зоологической станции в Вилльфранш, сартский ковер, подаренный мне отцом в Коканде за два года до его смерти, серебряный бокал, – подношение «благодарных» нижегородских слушателей, фотография га-лицийского окопа с сидящими перед ним товарищами по батарее, прабабушкин кипарисовый ларец, – все эти вещи и карточки так бесконечно много говорили сердцу о дорогом прошлом. В этом разговоре щемящая боль о том, что все уходит, сливалась с врачующим чувством, что уходящее из жизни навсегда остается в душе. Вера в бессмертие потому и неискоренима в человеке, что вспоминать – значит воскрешать умершую жизнь.

Собираясь к нам на Рождество, на Пасху, на На-ташины именины – все радовались пойти не только в гости к Степунам, но и на свидание с «мирным временем», как Николай Сергеевич упорно называл всю добольшевистскую жизнь, не без основания включая в нее и три года мировой войны.

Так как всякая сентиментальность и жалостливое оплакивание были трезвому духу Никитиных еще более чужды, чем мне, то наши свидания с «мирными временами» неизменно протекали в светлых и бодрых тонах. Все приходили принаряженными, оживленными, благодарными, с тем легким дыханием на сердце, что дается только отдыхом от тяжелых и праведных трудов.

После длительного чаепития (крепкий настоящий чай, который мы заваривали только по большим праздникам, поднимал настроение) я обыкновенно читал что-либо вслух: иногда Тютчева, иногда Блока. Чаще же всего только что законченные главы «Николая Переслегина», которым все очень интересовались. После чтения возникали принципиальные споры, часто по поводу моей философии любви, так как каждый из нас по-своему переживал так или иначе связанный с войной и революцией духовный кризис.

Проблематика и колорит романа, естественно, вырастали, как из материала собственной жизни, так и из наблюдений над той литературно-философской средой, в которую я попал после Гейдельберга. Накануне Великой войны все мы жили кризисами – кризисом религиозного, политического и эстетически-эротического сознания. В эпохе было много беспредметной проповеди, артистической позы и эротического снобизма.

Писал я «Переслегина» с раздвоенным сердцем, то благодарно радуясь растущему во мне новому человеку, то впадая в лирический соблазн и интеллектуальные грехи моей романтической юности. Наташа в беседах и спорах о Переслегине, никогда не участвовала. В глубине души веря в окончательность начавшегося во мне духовного перерождения, она суеверно охраняла его от чужих взоров. Если же и восставала против «переслегиновщины» во мне, то всегда лишь косвенно и издали, то нападая на беспредметную мистику и вольноотпущенную эротику символистов, то на идущую во вред художественной четкости, сомнамбулическую музыкальность блоковско-го стиха, с его произвольно ломающими строки скользящими цезурами, то на враждебный ей лунный свет.

До сих пор помню спор о луне, разгоревшийся у нас по поводу бальмонтовского гимна этой измен

чивой царице ночи: «Наша царица вечно меняется, будем слагать перепевные строки ей, славьте ее». Все были в восторге от бальмонтовских строф. Да как будто бы и нельзя было иначе, до того таинственно прекрасна была стоявшая за окном, как полдень, светлая ночь. Только Наташа с несвойственной ей горячностью настаивала на том, что в лунном свете нет ни

подлинной красоты, ни настоящей поэзии, так как в нем нет ни жизни, ни правды.

Есть в нем, – говорила она, – нечто мертвенное и даже покойницкое, он призрачен и вероломен, он произвольно ломает формы и искажает облик вещей. В его сиянии чувствуется какая-то нездоровая экзальтация, в бросаемых им тенях, неприятная жесткая четкость и чернота.

Слушая эту, даже и для меня неожиданную импровизацию, я не возражал. Мне было ясно, что защищая солнечный свет от «лирников» и «исповедников» ночи, она подсознательно защищала светлые горизонты нашего будущего от романтически-мистических теней моего прошлого.

Тихий и внимательный ко всякой человеческой душе Андрей, немногословно, но твердо поддерживал Наташу. Единственно в чем мы с ним существенно расходились, был вопрос христианства. Революция, подорвавшая в Андрее социалистическую веру юности, лишь упрочила его атеистические убеждения.

Как же можно верить в вочеловечившегося Бога, в историю, как богочеловеческий процесс, – сопротивлялся он мне, – когда зло повсюду явно торжествует над добром.

Оставаясь во вне ровным и светлым, Андрей внутренне все более мрачнел. Его трагедия заключалась, как мне по крайней мере в то время казалось, в том, что он не мог назвать ни принципа, ни имени доста*

точного для обоснования своего страстного протеста против творившегося в России зла, его атеистически-научному сознанию это страшное зло представлялось как бы законным этапом исторического развития.

На большие праздники и к родительским именинам к нам обыкновенно приезжала Наташина сестра Марина со своим мужем скульптором. В отличие от Андрея, Виктор был горячим спорщиком, по тону не всегда приятным, но по существу всегда интересным. Присутствие Виктора на «приемах» во флигеле придавало нашим беседам особую остроту, так как между мною и ним уже с 1910-го года шла полемика не только по вопросам политики, но и по вопросам искусства.

Начал Виктор с наивного реализма, но вскоре попал под влияние Родена, после чего стал быстро леветь. В 1912-м году он был уже на пути к отвлеченному конструктивизму.

Я, по мере сил, звал Виктора на новые пути религиозно-монументального искусства, одинаково далекие как от направленческого натурализма старого поколения, так и от мозговой игры скорее экспериментирующего, чем творящего

конструктивизма. Теоретически Виктор как будто бы соглашался, но связать с моими теориями живого представления о своем будущем творчестве не мог и потому иной раз невольно раздражался на меня.

В наших спорах с Виктором, как и в обсуждении «Переслегина», всегда участвовали, хотя бы только в порядке выражения своих симпатий, все члены нашего хозяйства. Марина, как жена, и Оля, как ученица Машкова, естественно сочувствовали Виктору. Мягкий Андрей понимал и меня и Виктора, но его всепо-нимание не предрешало ничьих путей.

Гостившая как то у нас Олечка Шор, большой знаток искусства Возрождения, твердо и учено под

держивала и развивала мои идеи о пореволюционном искусстве. Она же была и постоянным защитником «Переслегина», от чрезмерно прямолинейных обвинений его в позерстве и эгоцентризме.

Родители активного участия в наших теоретических спорах не принимали, но от души радовались, что Ивановка не только всех кормит и поит, но и духовно объединяет под своей кровлей.

Наряду с оживленными «приемами» в нашем флигеле мне вспоминаются тихие вечера в столовой большого дома после помолвки Лизы Никитиной со старшим сыном профессора Тарасова, на редкость талантливым и пленительным юношей.

Как-то сразу возникшая и быстро окрепшая, в атмосфере всеобщего сочувствия, любовь молодых людей осчастливила не только родителей, но и всех нас, в особенности же Наташу, не без тайной надежды познакомившую Лизу с Сашей. От этой любви и в доме, и в саду, и на работах в поле стало как-то светлее и радостнее. Все были счастливы тем, что, вопреки козням и ужасам революции, неотменно торжествуют первозданные реальности жизни.

И снова будут свежи розы, И первой, первая любовь. Людьми изведанные грезы Неведомыми станут вновь.

Особо радовали родителей и нас милая простота Лизиного девичьего облика и сдержанная целомудренность Сашиного отношения к ней. Хотя и невеста и жених были твердо стоящими в жизни людьми, – отнюдь не кисейная барышня и сентиментальный воздыхатель, – в их влюбленности была та старинность,

которая как-то особенно шла к нашему старому дому с мезонином в яблонном саду.

Сочетание лирической дореволюционности Лизи-ного романа с бодрой деловитостью ее работы в условиях социальной

революции укрепляло надежду, что мы не пропадем, как-нибудь да свяжем прошлое с будущим.

В последнюю неделю перед свадьбой Серафима Васильевна, Наташа, Лиза, Андрей и я подолгу засиживались в столовой. На столе уютно кипел постоянно подогреваемый самовар. То затихая, то оживляясь шел тот житейски-душевный разговор о том, о сем, а больше ни о чем, который всегда ведется между близкими людьми в тихие, но значительные часы жизни.

Женщины прилежно шили. Наташа мастерила подвенечное платье из розового кавказского шелка, каким-то чудом уцелевшего от промена на провиант. Благодарная невеста угощала овсяными лепешечками и ржаными пампушками с мятой.

В глубине души счастливая, но все же и опечаленная уходом дочери из дому, Серафима Васильевна изредка отрывалась от шитья и поднимала на дочь полный нежной заботы вопрошающий взор. Лиза краснела и вопрос невысказанным потухал в глазах матери. Серафима Васильевна не обижалась: она знала, что это не черствость, а лишь свойственная всем ее детям стыдливость. Внимательная Наташа приходила на помощь, затевала какой-нибудь более внешний разговор. Самовар пустел и потухал. Часы били 12. Все расходились с ощущением, что вот прошел еще один из последних прощальных дней.

Не знаю, почему так случилось, что Лиза за день до свадьбы отправилась на станцию пешком, отправилась спозаранку с увесистым мешком за плечами. На станции она узнала, что еще неизвестно, пойдет

ли поезд в этот день в Москву, или нет. Не долго думая, Лиза решила идти пешком, до Москвы оставалось немногим больше, чем было пройдено: 25 верст до заставы, да верст 5 городом; с отдыхом часов 10 ходу – к вечеру можно было придти.

За ужином, после венчания (в церкви все стояли в шубах и дрожали от холода и страха, как бы религиозный обряд не повредил профессору, которому никак не подобало венчать сына церковным браком) шел полушутливый разговор о том, как состарившаяся Лиза будет рассказывать своим внучатам о «недобром» старом времени и о том, как она одна, с венчальным платьем в мешке, шла почти 60 верст пешком и как внучата будут этому удивляться.

Со времени этого разговора прошло почти 25 лет. Уже давно овдовевшая Лиза (несчастный Саша погиб в 1927 году от сыпняка во время научной командировки в Туркестан), быть может, уже бабушка. Через несколько лет она, как всякая бабушка, начнет рассказывать своим внучатам о своей молодости. Слушать милую

бабушку внучата будут, конечно, с большим удовольствием, но вряд ли с удивлением. Фантастика первых лет нашей советской жизни не только не отошла в далекое прошлое, но наоборот – стала нормальным явлением не только русской, но и всей европейской жизни. С год тому назад к нам в Дрезден приехала бежавшая вместе с немецкими войсками из-под Киева закадычная подруга Наташиного детства с мужем и двадцатилетним сыном. То, что им пришлось пережить в годы «ежовщины», изничтожившей последние остатки интеллигенции и во время бегства, где пешком, где на подводах, по минным полям, под разрывами бомб, среди кровавой неразберихи партизанщины, полно такой фантастики, наряду с которой бледнеют все страхи и трудности нашей подсоветской жизни, а Лизино поломничество на

свою свадьбу по подмосковному шоссе, на котором грабили, насиловали и убивали, кажется почти что идиллическою прогулкой.

Да, в 1920-м году никто из нас еще не думал, что мы стоим только еще в начале целого цикла революций и войн, а потому и все нарастающих омрачений наших судеб. Предчувствуй мы это, мы вряд ли могли бы так горячо спорить о будущем русской культуры, как мы спорили в нашем флигеле и с тем доверием к Лизиному счастью собирать ее на новую жизнь в Москву, с каким мы ее собирали; во всяком случае мы не могли бы так веселиться, как мы веселились встречая 1920-й год.

Веселье родилось не сразу. Поначалу было решено не встречать Нового года, а по-будничному разойтись по своим комнатам и лечь спать. Но за вечерним самоваром обыкновенно молчаливый Николай Сергеевич неожиданно начал рассказывать, как он в первые счастливые годы после женитьбы работал вместе с «Симуней» в Обществе распространения полезных книг и о том, как вместе с антрепренером Лентов-ским устраивал новогоднее гулянье в городском манеже. Его живой и трогательный рассказ о старой московской жизни вызвал в каждом из нас воспоминание о своем прошлом – у всех разное и все же у всех в самом главном одинаковое.

Мне вспомнились встречи Нового года в гали-цийских окопах и более ранние, довоенные, начинавшиеся дома и продолжавшиеся чуть не до утра сначала на Тверской у Никитиных, а потом под Девичьим у сестер Миракли.

В связи с рассказом Николая Сергеевича возник, помнится, горячий спор о визитах. Общее мнение молодого поколения было против них, как против совершенно бессмысленных условностей. Только я поддерживал Николая Сергеевича, бывшего в свое вре

мя большим франтом и выезжавшего с визитами всегда в шубе с бобровым воротником и в модном в те времена фетровом полуцилиндре.

– Не знаю почему, – задумчиво вспоминал свою молодость Николай Сергеевич, – но только первого января спокон веков бывала самая прекрасная погода – морозная и солнечная. Извозчики, в особенности же лихачи, выезжали на отдохнувших лошадях, в новых поддевках и шапках. Захудалые «Ваньки» отсыпались на «нарах». От резвой езды по чистому, как будто по заказу из год в год выпадавшему к Новому году снегу на душе становилось как то хорошо и весело. Весело бывало и во всех домах, куда ни приедешь: прислуга встречает радостно, в ожидании щедрых чаевых, барышни-невесты рассказывают о счастливых предсказаниях своих полуночных гаданий, мамаши слушают и умиляются. Все, даже старики чего-то ждут: во всех домах легкое настроение, особая новогодняя беспечность. Может быть оно и впрямь, как говорит Андрюша, под Новый год нечего праздновать, но только Новый год всегда был в Москве большим праздником.

Произнесенная Николаем Сергеевичем не без поэтического волнения речь переубедить наших оппонентов, конечно, не могла, но все же создала настроение в котором никак нельзя было идти спать.

Лиза первая предложила не расходиться, а по старой традиции встретить Новый год. Все сразу же согласились. Шел уже одиннадцатый час. Наташа с Лизой поспешили в кухню печь, не щадя последней пригоршни белой муки, старорежимные блинчики. Николай Сергеевич затворился в спальне и с вдохновением принялся сооружать новогодний напиток. В его распоряжении были: жидкий чай, искусственный клюквенный сок, сахар, немного спирту и три гвоздички – по его мнению вполне достаточное количество

припасов для приготовления великолепного пунша образца 1921-го года.

Пока одни готовили угощения, другие прибирали комнаты. К половине двенадцатого столовая и гостиная были приведены в свой дореволюционный вид: чехлы с мебели сняты, мешки с семенами вынесены.

Когда все было готово, все разошлись по своим комнатам – переодеться. Наташа, Лиза и Елена, будто сговорившись, появились в столовой в светлых летних платьях ампир. Я, под стать Наташе, оделся Онегиным: светлые брюки в клетку, желтый жилет и черный сюртук, вместо галстука – кружевное жабо. Когда все были в сборе, Николай Сергеевич внес свой пунш.

Он тоже нарядился: на нем были фрачные брюки и жилет и белый полотнянный пиджак. Под мышкой официантская салфетка. Со своими горячими карими глазами и тщательно подстриженной седеющей эспаньолкой он живо напоминал гарсона южно-французского кафэ.

Подняли стаканы. Я произнес короткую речь о смысле празднования Нового года. В отличие от всех церковных празднеств, защищал я празднование 1-го января – мы славим под Новый год не какое-либо религиозное событие, а неугасимую в нас веру в то, что наша быстротечная жизнь непрестанно жаждет встречи с вечностью, жаждет укрепления в новом духовном здоровье и жаждет окрылений новым счастьем. Подымая новогодний бокал, мы как бы отрекаемся от несовершенных обличий прожитых нами лет и желаем себе и другим их преображения в совершенные облики вечности.

Символические явства, как мы ни старались растянуть наслаждение, были скоро съедены и выпиты. Все в самом веселом, в самом новогоднем настроении, перешли в гостиную.

Не успела Елена подойти к роялю, чтобы по общей просьбе спеть свою любимую песню: «Степь да степь кругом расстилается»… как в кухне раздался сильный стук в дверь. Все переглянулись – первая мысль у всех была одна и та же – «обыск». Андрей бросился в кухню: «Кто там?» – «Не бойтесь, ряженые». Мы с облегченным сердцем впустили гостей: в кухню с шумом и гамом ввалилось несколько деревенских парней в вывороченных тулупах, с бородами из пакли, с лицами, вымазанными сажей и свекольным соком и с длинными, вырезанными из редьки зубами между растопыренными губами.

За парнями появились более благообразные ряженые в черных масках. Среди них нетрудно было узнать вероятных зачинщиков поездки – нашего певца-землемера и напудрившего свои длинные черные волосы доктора с его милой женой.

Счастливое «избавление от опасности» и привезенная землемером бутылка контрабандного спирта, тут же переработанная в две с половиной бутылки сладкой наливки, до того подняли наше и без того прекрасное настроение, что пению, пляскам и смеху не было конца.

Так текла наша, хотя и полная трудов и лишений, но не лишенная своеобразных радостей и духовных интересов жизнь. Считать ее характерной для того, что в годы военного коммунизма происходило в большинстве помещичьих усадеб средней полосы России, никак нельзя; у нас были особо благоприятные условия: мы были молоды, трудоспособны, умны и

смелы в обращении с советской властью; кроме того, мы пользовались, как демократы и социалисты,

симпатиями и защитой председателя волисполкома, бывшего эсера и кооператора.

Несмотря на сравнительно хорошее отношение к нам местных властей и постепенное усовершенствование хозяйства, жить становилось все труднее, так как из окружающей жизни все заметнее исчезало все нам близкое и нам подобное: последние люди и облики добольшевистской России.

В 18-м, а может быть даже и в 19-м годах, мы еще всем домом ездили к пасхальной заутрене. В церкви было много народу, еще пел деревенский хор – нескладно, но старательно. Староста Иван Алексеевич в новой синей поддевке стоял у свечного ящика, никого не боясь и ни от кого не таясь. В Крещение батюшка с причтом были у нас со святой водой. За чаем, после молебствия, шел откровенный «контрреволюционный» разговор. Рабская психология еще не владела деревней: уста еще не были запечатаны. Да и сама власть еще надеялась переубедить мужиков, устраивала митинги по революционным вопросам, на которых еще можно было высказываться относительно свободно.

Как то раз, зимними сумерками, после описанного мною выше богословского поединка между уездным агитатором и кузнецом, перед нашим флигелем остановились легкие санки, из которых вышло трое батюшек. Отцы приехали посоветоваться, какую им вести линию: выступать ли на фабричном митинге безбожников, или лучше воздержаться – не подвергать своего сана осмеянию и глумлению. Впоследствии такой, хотя и осторожный, под вечер, но все же открытый приезд сразу трех священников к бывшим помещикам был бы, конечно, невозможен. Даже и Троицкий батюшка, который поначалу повел было православно-социалистическую линию и организовал под своим председательством швальню, в которой

бабы шили рубахи и белье для красноармейцев, был заподозрен в контрреволюционных замыслах и быстро скручен по рукам и ногам. На него, которого я по пути со станции в Ивановку часто навещал не без расчета поесть запеченной в молоке картошки, которой меня всегда гостеприимно угощала матушка, как по заказу, со всех сторон посыпались доносы. Он спал уже не раздеваясь, с узелком, собранных на случай ареста вещей у кровати. Когда прекратились службы, я сказать не могу. Помнится только, что белая Троицкая церковь, с которой было связано так много светлых и скорбных воспоминаний, стояла в последнее время с выбитыми стеклами и забитыми досками окнами. Колокола безмолствовали.

Одновременно с ликвидацией церкви ликвидировались в волости и последние остатки помещичьего класса. Происходило это у нас довольно тихо, как-то само собою. Поначалу за престарелыми сестрами Медведевыми выезжал на станцию их старый рабочий. После того как он отказался гонять «за дармоедками» отобранную им у «барышень» лошадь, сестер стал возить Ильневский староста. Когда же это и для него стало рискованно, сестры подрядили почтаря. Но и это было вскоре запрещено волисполко-мом. Обреченные на безвыходное сидение в деревне (ходить пешком по тридцати верст на станцию и обратно они по старости не могли), Медведевы принуждены были переехать в Москву, уступив свое именьице обнаглевшему, «верному, старому», как они всегда говорили, слуге Гавриле.

Мы еще ездили на своих лошадях, но уже не паре в коляске, а больше на дрожках, а то и на телеге.

Добыть хоть какие-нибудь подсобные руки, чтобы распахать полдесятины под картошку, или наколоть дрова, стало после того, как крестьяне оделись в господские пиджаки и шубы, обзавелись помещичь-

ей мебелью и поняли полную бесценность денег, окончательно невозможно. Держаться же работою только своих рук почти никто не мог. К тому же все тяжелее чувствовался чекистский надзор и политически-хозяйственный нажим новообразованных комитетов бедноты. Сидеть по своим усадьбам становилось при таких условиях все непосильнее и рискованнее. После выселения сыновей одного из последних царских министров за слишком крепкую дружбу с деревенскими кулаками, началось почти поголовное переселение в Москву и дальше, бегство на юг. Держались только еще генеральша Болотникова с дочерью, которые не крестьянствовали, а жили скорее дачниками (их поддерживали американские посылки «Ара») и мы, которым после обмера земли московским губ-исполкомом, была даже выдана бумага, согласно которой мы становились арендаторами нашей собственной земли на целые 99 лет.

Чем быстрее шло вокруг нас изничтожение помещичьего класса и барского самочувствия, тем окон-чательнее совершалось и в нас самих как внутреннее, так и внешнее приспособление к крестьянской жизни и среде. Увидя кого-нибудь из нас в поле, на скотном дворе, в розвальнях на шоссе, вряд ли бы кто мог догадаться, что перед ним не природный крестьянин, а по нужде крестьянствующий интеллигент. Одежда, обветренные, погрубевшие лица, мозолистые, дочиста не отмывающиеся руки и дальше, глубже, круг общих забот, интересов и разговоров – всё

это с каждым днем все плотнее объединяло нас с окружающей средой.

Конечно, в последней глубине наших душ потаенно продолжал существовать прежний мир, но он был железным занавесом так прочно отделен от каждодневной жизни, что мы совершенно забывали о нем, как бы теряли чувство самих себя. Кое-что, впрочем,

начало постепенно меняться и за железным занавесом, в самой сущности наших душ. В жене Андрея, дочери обедневшего дворянина и властной крестьянки, понемногу стало исчезать то поэтическое, что поначалу было в ее милом, несколько провинциальном облике, в ее широко расставленных Ботичеллиевских глазах и порою так призывно звучало в ее низком, церковном голосе.

Еще глубже перепахала трудовая жизнь душу нашей художницы Ольги. Пережив два неудачных богемных романа и разочаровавшись в людях своей среды, она решила отказаться от личного счастья и творчества. Усыновив крестьянского мальчика, круглого сироту, она сразу же страстно привязалась к нему. Приемыша, взятого по совету Троицкого священника, часто приходила навещать его бабка. Вид этой новой родни, жадно пьющей чай в Ольгином «ателье», заставленном кустарной посудой и увешенном экспрессионистическими актами и натюрмортами, живо свидетельствовал о бытовом перепластовании и социально-политическом сдвиге, которые происходили по всей России.

Кое-что начало понемногу меняться и во мне самом. Взрощенное нашею помещичьею жизнью в Кон-дрове и русскою литературой поэтическое ощущение народа, как некого душевного пейзажа (вот мы – семья, родные знакомые, няня; а вот они – деревенские, в полях, на поденной работе в саду и на дворе) стало незаметно заменяться чувством социальной однородности и человеческой близости.

Беседы с Лисициным, Фокиным, Корчагиным или Колесниковым интересовали меня уже не менее, чем довоенные разговоры с московскими философами и писателями. Малая культурность моих новых собеседников не отделяла меня от них, так как культура уже не играла в нашей жизни главенствующей роли. Про

должая в свободное время заниматься философией и даже писать, я внутренне жил другими мыслями и чувствами: заботою о хлебе насущном и страхом за жизнь своих близких и за свою собственную. Это внутреннее сближение дополнялось и внешним, бытовым. Тяжелый запах в избе уже не мешал беседе: ведь от

меня самого пахло смазными сапогами, кисловатой овчиной и махоркой. А потому мне было вполне естественно, занеся Лисицыну сапоги для починки, просидеть у него на низенькой табуретке среди груды вонючей обуви час-другой за дружеским разговором обо всем происходящем вокруг нас, или заглянуть под вечер к старику Фокину, крутому, убе-жденнейшему кулаку, который, невзирая ни на какие угрозы, каждую субботу зажигал перед своею тяжелою божницей рублевые свечи и, встав перед ней рядом со своей женой на красный коврик, подолгу молился о погибели проклятых большевиков. Деревня до революции недолюбливала Фокина, но после большевистского переворота начала видимо уважать его за смелость поведения и крепость нрава. Не скажу, чтобы Фокин был приятным человеком, но в цельности этого глубокого старика, помнившего еще крепостное право, было свое очарование и мне было очень интересно слушать его, хоть и пристрастные, но яркие рассказы о старых временах и настоящих господах.

Чаще, чем к другим крестьянам, заходил я к Димитрию Муравьеву. Это был умный, желчный, еще молодой, но уже обремененный многочисленной семьей, крестьянин-интеллигент. С ранних лет он находился в непримиримой оппозиции ко всем небесным и земным авторитетам, начиная с Господа Бога и кончая своим соседом Тумановым. Как грамотей и человек очень бойкий на язык, Муравьев уже в самом начале войны приобрел некоторую популярность среди ма

логрaмотной деревенской бедноты. Во время революции он долго оставался в тени. Выдвинулся он позднее в связи с организацией комитетов бедноты. Выбранный председателем ивановского комитета, Муравьев мог оказаться для нас очень опасным и нужно было напряжение всех сил, чтобы, отдавая ему повод, вести его на поводу. К нашему счастью, Муравьев был предельно честолюбив: хоть он и сознавал себя нашим классовым врагом, ему все же льстило товарищеское общение с господами.

Не по сознательному расчету, а по живому инстинкту самосохранения, я держал себя с Муравьевым, как «товарищ социалисту другого, правда, оттенка, чем он, но дело ведь не в оттенках, а в принципах: при доброй воле и честном отношении друг к другу можно всегда сговориться. Главная мысль, которую я внушал Муравьеву, заключалась в том, что все несоциалистические правительства всегда стремятся к власти государства над обществом, идея же социализма состоит в защите общества от посягательств государства. Развивая эту, конечно, антибольшевистскую теорию, я старался удержать Муравьева от вступления во всевозможные исполкомы, то есть

правительственные органы, где он нам мог бы быть гораздо опаснее, чем в комитете бедноты. Обида Муравьева на Стассовский волисполком, куда прошли его враги, ставленники кулацких элементов, помогла мне в моем воздействии на классового врага.

Уже в годы моих лекционных разъездов по провинции, люди интеллигентски направленческой психологии часто нападали на меня за свойственную мне легкость общения с представителями самых разнообразных миросозерцательных лагерей и политических группировок. Выслушивая эти нападки, я никогда не испытывал ни малейших угрызений совести, так как никогда не сомневался, что широкая откры

тость моей души навстречу самым разнообразным людям не имеет ничего общего с идейной беспринципностью. С годами я окончательно убедился в том, что непримиримо строгим человек должен быть только с самим собою. Могу по совести сказать, что там, где жизнь ставила меня в необходимость защиты исповедуемых мною идей, я всегда проявлял бескомпромиссную твердость. Когда на торжественном спектакле (исполнялись «Зори» Верхарна) оркестр заиграл Интернационал и весь зрительный зал, во главе с Луначарским, встал, как один человек, мы с женою, хотя это могло очень дорого обойтись мне, не поднялись со своих кресел в ложе бель-этажа. Так же никогда не пел я, будучи до 1937 года профессором в Дрездене, и нацистского гимна: "Horst Wessel Lied".

Такая принципиальность поведения вполне естественно уживалась во мне с даром перевоплощения в души инакомыслящих людей. Ни от кого не скрывая своего лица, я общался и с советскими заправилами, и с бывшими помещиками, и с коммунистическими коноводами. Ни под кого не подделываясь и ни с кем не лукавя, я как-то естественно поворачивался к каждому человеку наиболее близкой ему стороной моего существа, что по закону сокровенной связи между всеми положительными началами жизни давало мне, да и всем нам весьма приятные практические результаты. Лисицын по-приятельски шил мне сапоги из особо хорошей кожи, старик Фокин, инстинктивно чувствуя, что я по-своему любуюсь им, как исключительно цельным представителем сходящей с исторической сцены православно-черносотенной России, охотно давал свою молодую лошадь проехать на станцию. Генеральша Болотникова, получив американскую посылку «Ара», радушно поила меня настоящим кофе со сгущенным молоком, не в последнюю очередь, как она сама говорила, за то, что я осмели

вался себя держать помещиком, приезжал к ней верхом, да

еще в офицерском френче, а Муравьев, ненавидевший генеральшу лютою ненавистью и воевавший в качестве председателя Комитета бедноты с вол-исполкомом из-за того, что ее все еще терпят в уезде, охотно обсуждал со мною вопросы социализма и своей политической карьеры.

В последний раз я видел всех своих деревенских друзей и знакомых почти что в полном сборе на богатой свадьбе лисицынского сына.

Изо всей нашей Ивановской компании приглашения на свадьбу удостоились только мы с Наташей.

Как только начали сгущаться ранние зимние сумерки, к нашему крыльцу, оглашая деревенскую тишину давно не слышанным «помещичьим» звоном колокольчика и бубенцов, подкатила запряженная в легкие санки пара. Сытыми лошадьми, в гривы и хвосты которых были вплетены разноцветные ленты, правил сам Лисицын – особенный нам почет. Мы быстро собрались и понеслись в Знаменку.

Вокруг ярко освещенного дома Ивана Алексеевича толпилось много народу. По-деревенски не завешенные окна были облеплены любопытными бабами и взобравшимися на заваленку мальчишками: и не приглашенным хотелось посмотреть на свадьбу.

В просторной комнате, куда нас с поклоном ввел хозяин, за составленными покоем столами, покрытыми домотканными скатертями и уставленными бутылками с самогоном (очищенной достать не удалось) чинно и даже несколько жеманно сидели наиболее уважаемые гости. За столами по стенам в два ряда стояли менее почетные люди, все более молодежь. Молодые – он в черной паре, она – в белом городском платье – сидели в красном углу под образами. Направо от них ильневский батюшка с церковным старостой, налево посаженые родители, рядом с ко

торыми было накрыто для нас, перед нашими приборами стояла бутылка мадеры.

Прочесть молитву и благословить явства и пития уже коротко подстриженный батюшка не решился. На свадьбе он, очевидно, присутствовал уже не в качестве духовного лица, каким был в церкви, а лишь в роли рядового гражданина. Как только Иван Алексеевич усадил нас, началось беспрерывное пение и подача свадебных угощений, не столько впрочем подача, сколько их показ. Явствами, и то не всеми, угощали только сидевших за столом гостей, которые, чванясь своим достатком, несмотря на недоедание, почти ничего не брали. Стоявшие у стены с любопытством и не без зависти смотрели на мимо проносимые блюда. Мне этот стиль деревенского хлебосольства, за которым,

очевидно, стояла мужицкая жадность (по местному обычаю, все не съеденное на свадьбе доедали целую неделю ближайшие родственники жениха и невесты) и мужицкое тщеславие (смотрите, чего только у нас нет) был внове, и я, по-новому осмысливая известную присказку: «и я там был, мед, пиво пил: по усам текло, а в рот не попало», с любопытством следил за хозяйкой и прислуживавшими за столом женщинами, которые, ласково улыбаясь, медленно и плавно, словно картонных лебедей на балетных пирах, проносили мимо гостей многочисленные блюда с пирогами, студнями, лапшей, телятиной, бараниной, рыбой и птицей. У Лисицына к свадьбе любимого сына все нашлось. Не удивительно: сапоги Лисицын шил и чинил на всю волость, за работу же брал исключительно натурой, боясь, что ленинские деньги пропадут так же, как «керенки», которыми у его жены Оыли изнутри оклеены все сундуки.

Крепко пахнущего политурой самогона было вволю и им радушно спаивали всех без исключения: и старых, и малых, и мужиков, и женщин. Несмотря на

уже многолетнюю привычку к самогону (водка была запрещена с самого начала войны), не очень сытый народ быстро хмелел. Напившихся до бесчувствия старик Лисицын, сам красный, как рак, ласково но непреклонно выпроваживал во двор. До полуночи пели еще довольно стройно, хотя в репертуарном отношении по-подмосковному пестро. От того прекрасного и глубокого чина предсвадебного пения, который до сих пор сохранился на окраинах России, главным образом на севере, в нашей местности не было и помину. У Лисицыных пели всё подряд: и старинные свадебные величания, и фабрично-деревенские песни из тех, что распевались в наше время на чайных местах в Сокольниках, и хлесткие частушки советского образца.

Шел уже поздний час. Молодые, которые под непрерывный крик «горько», поначалу лишь целомудренно «ликовались», уже вполне откровенно целовались друг с другом, столы были отодвинуты к стенам: посреди горницы шли танцы. Вдруг за окном послышались бубенцы. «Не иначе, как Кузьма Алексеевич», – радостно воскликнул Лисицын и суетливо заспешил к дверям. Через минуту в сенях послышались громкие голоса и в комнату быстро и весело, с приплясом в плечах, вошел младший сын известного на всю волость барышника Колесникова, бывший взводный лейб-гусарского полка, красивый статный человек лет тридцати с чем то древне-русским в лице и повадке.

Приветливо поздоровавшись с деревенской знатью и свысока кивнув мелкоте, восторженно смотревшей на него из дверей

соседней комнаты, он с величественною грацией подошел к нашему столу и, задорно подмигнув мне, решительно подсел к Наташе.

На нем была канареечного цвета рубашка, очень

шедшая к его смуглой красоте и темно-синяя, тончайшего сукна поддевка. Он был слегка навеселе и в том повышенном, почти что восторженном настроении, в котором четыре года тому назад несся Петровским Парком к Яру.

Эх, Федор Степуныч, хороша у тебя жена, – сверкнул он мне через стол своими горячими глазами, – если бы продавалась на конной, никаких бы тысяч не пожалел – была бы моя.

Не продается, Кузьма Алексеевич, – весело ответил я в тон его барышнической шутке, – сам резвых люблю.

Знаю, знаю, потому сегодня на конной другую купил. Не лошадь – мысль. В три часа с Москвы пригнал. Одним не хороша – вислокрупая. Я этого ни у баб, ни у кобыл не люблю.

Будет тебе озорничать, – по-дружески, но всё же наставительно прервал его Лисицын, – неужто тебе последнего уроку мало. Смотри, красавец, допляшешься, в другой раз не отвертишься… (Намек Лисицына относился к событию, недавно взволновавшему всю округу: оставленная Колесниковым девушка, поднесла ему на своей свадьбе (выходила она для прикрытия греха за немилого, хворого парня) стакан вина со стрихнином. Несокрушимый Колесников выжил чудом).

Танцы в обеих комнатах становились все раз-битнее и веселее. Городскую польку и чинную деревенскую метелицу уже не танцевали. Плясали только русскую; одна за другой выходили из толпы все новые и новые пары. Без умолку заливалась гармония и десятки красных ладоней дружно хлопали в такт плясовой. «Во са-ду ли в огороде девица – гуляла… Тра-та, тра-та тра-та-та-та, тра-та, тра-та та-та…

Во мне самом тоже все плясало: ноги сами невольно вытаптывали песенный ритм под столом. Я не

выдержал, поднялся с места, подошел к жене Кузьмы Алексеевича, слегка полной, но легконогой женщине с бледным лицом и печальными серыми глазами (по всему было видно, что ей не очень легко жилось) и мы вышли на середину круга…

Плясали мы, вероятно, не плохо: Колесникова в ранней молодости славилась своим искусством. Мы с Аней на студенческих вечерах в Гейдельберге не раз получали призы за русскую. Но Колесникову что-то не понравилось в нашем искусстве. Внезапно сорвавшись со скамьи, он коршуном налетел на меня и крикнув: «не так пляшешь, барин» – встал против своей жены.

Я много видел русской пляски и все же Колесников поразил и восхитил меня. Особенность его танца заключалась в искуснейшем чередовании замираний и взлетов всего его существа. Пока женщина, опустив взор и медленно помахивая платком в манящей руке, широким полукругом плавно удалялась от него, он, словно каменный, стоял на месте. Жили только одни глаза. Но вот она останавливается вдали от него и, опустив платок, улыбается ему. Тут Колесников мигом сбрасывает с себя сковавшее его оцепенение и, ухарски подбоченясь, весь накренясь вперед, стремительно несется к ней. Настигнув женщину, он внезапно останавливается и снова застывает в своей истуканьей неподвижности. Женщина лукаво уплывает вдаль. Фигура эта с разными вариантами повторяется много раз. В заключение Колесников встает перед своей женой на колени, кланяется ей в ноги и почтительно ведет ее к нашему столу.

Чокаясь с Кузьмой Алексеевичем угарным денатуратом и хваля за искусство, я по-простецки, но не без задней мысли спросил его, с чего это он, забубённый сердцеед и лихой кавалерист, ни с того ни с сего при всем честном народе повалился в ноги же

не: может быть, во время пляски заново влюбился в нее и, влюбившись, почувствовал, до чего виноват перед нею?

– Может оно и так, – весело встряхнул кудрями Колесников, улыбнулся и задумался. – Чужая душа потемки, а своя и совсем ночь. Но только все это должно с пьяных глаз. Во хмелю, как говорится, и курица птица и жена царица. Вот завтра протрезвлюсь и, того гляди, опять начну ее учить.

С каждым месяцем всё глубже сливаясь с крестьянской массой, мы совсем было уверовали в прочность нашего положенья в волости, как вдруг нежданно-негаданно получили из уезда приказ о немедленном выселении чуть ли не в трехдневный срок. На родителей этот гром из только что прояснившегося неба (незадолго до приказа мы получили удостоверение о праве владения остатками Ивановки сроком на 99 лет) произвел потрясающее впечатление. Они сразу осунулись, побледнели, постарели. Андрей тоже впал в уныние: да и в самом деле – куда и с чем ехать? О получении квартиры в перенаселенной Москве не могло быть и речи. Последние драгоценности и последние деньги были давно израсходованы на хозяйство; уже выделение бывшего работника Петра Мельникова обошлось нам очень дорого.

Особенно неприятно было то, что приказ исходил из уезда. В волисполкоме мы были до некоторой степени своими людьми. В

земельном отделе Московского губисполкома можно было рассчитывать на случайную встречу с кем-нибудь из только что по нужде перекрасившихся земцев, в уезде же верховодили какие-то совсем темные, безграмотные, безыдейные, а потому и особо жестокие, люди. Рассчитывать

на отмену приказа было невозможно; можно было лишь попытаться добиться отсрочки его выполнения и перенесения дела в Москву. Решено было, что я на следующий день отправлюсь в уезд попытать счастья.

Собирая нужные бумаги, подмазывая в каретном сарае дрожки, засыпая лошади лишнюю осьмушку овса (все равно все пропадет), я каждым ударом сердца и каждым движением руки навсегда прощался с Ивановкою. С восторгом отчаяния прислушивался я к той прощальной музыке, которою в тот вечер для меня звучали и тихие вечерние небеса и розовеющая в них крыша нашей старенькой риги, и запахи отходящего в ночную тишину сада, и светлые перезвоны отбиваемых на деревне кос, и жалкое блеяние нашей только что вымененной овцы…

Выехал я чуть свет: над нашей речёнкой стоял густой туман, на дворе, блестя и как-то ртутно лоснясь, лежала обильная роса. Ставни большого дома были еще закрыты. При выезде со двора я случайно взглянул на высокий столб с «вечевым» колоколом у нашего флигеля и с болью в сердце подумал о тех тяжелых чувствах, с которыми сегодня все члены хозяйства, а в особенности родители, услышат его призыв на работу.

Проезжая мимо Стассова, я не рукою, конечно, как в Спасских воротах в Кремле, а внутренним жестом благоговения снял шляпу перед портретом Толстого, который все еще висел в господском доме, где теперь помещался волостной исполнительный комитет.

Миновав Голицыно (светло-желтый с классической колоннадой дом на пологом зеленом холме, спокойные воды озера, одинокий, пышно-барочный лебедь над ними и в них, уже давно не стриженная живая изгородь вокруг огромного парка), я выехал на мой любимый, в четыре ряда обсаженный березами,

Екатериненский большак, по которому до войны, то сдерживая, то поощряя стремительную энергию Красавчика, я скакал, бывало, в наш уездный город.

Сейчас мне не приходилось ни сдерживать, ни поощрять тощую лошадёнку, а только благодарить ее за то, что без отказу трусит под низкими, березовыми ветвями. Да я и не спешил, скорее радовался тому, что до живописно расположенной на высоком холме последней перед городом деревни, с которой дорога круто спускалась к белому с золотыми куполами пригородному монастырю, оставалось еще целых пять верст.

Но вот и монастырь. Бесконечными огородами выезжаю на главную мощеную улицу, как-то по-игрушечному уставленную разноцветными домиками с золотыми подсолнечниками и нежными серебристыми березами в палисадниках.

Мимо старинного собора, если не ошибаюсь 15-го века, мимо базарной площади, окруженной лавками, постоялыми дворами и трактирами (до злосчастной войны 14-го года здесь кипела горячая, горластая, провинциальная жизнь) подъезжаю к земисполкому.

При виде бесконечных декретов в жиденьких из лучинок рамках и бесконечного числа засиженных мухами желтоватых бумажек на дверях и стенах во мне сразу вскипает острая ненависть к враждебной моему . миру и моему душевному строю советской власти и в сердце подымается то вдохновение борьбы, которое уже не раз спасало меня в опасные минуты жизни.

Не без труда узнаю, что председатель земельного отдела может принять меня не раньше как часам к пяти вечера. В былое время это известие не очень опечалило бы меня. Можно было бы пойти проведать известного на весь уезд барышника, молодого цыгана Фуфаева с печальными, верблюжьими глазами и посмотреть на его рысаков и битюгов, а от него за

глянуть к ветеринарам, пообедать у них на низко сидящей в лопухах террасе, выходящей в старый Яблоновый сад, в дальнем углу которого весело пестреют разноцветные ящички ульев…

Но что мне делать в советском центре? К кому пойти? К разоренному Фуфаеву не тянуло: его вольнолюбивая цыганская душа была, я знал, озлоблена; конюшни уже давно пусты. На ветеринарном пункте, понаслышке, бездельничали какие-то новые, мне незнакомые люди, которых одинаково приходилось бояться и как убежденных коммунистов и как продавшихся большевикам шпиков. Думал я было пойти к двум сестрам учительницам, с которыми случайно встретился и разговорился на каком-то собрании, но они, как бывшие эсерки и почитательницы Иванова-Разумника, были на подозрении у советской власти: пойти к ним – значило подвести их.

Поразмыслив, я поехал на постоялый двор, распряг лошадь, а сам отправился отдохнуть в земскую «учительскую» квартиру. Там, в большой, пахнущей канализацией комнате, скучая, валялись на смятых койках и устало сидели за длинным, покрытым прожже-ною клеенкою столом, хмурые молодые люди, вызванные из волости в уезд отчасти по школьным делам, а больше по политическим доносам. Несмотря на ликующий летний день за окном, настроение в комнате было удручающе мрачное. Меня, как никому не известного, а тем самым уже и

подозрительного человека, встретили с нескрываемою неприязнью.

Напившись земляничного чая с морковным пирогом и с час крепко проспав на грязноватой койке, я вышел на улицу с намерением зайти в книжный магазин просмотреть последние газеты и новейшую агитационную литературу. Просторное, светлое помещение, которым мог бы гордиться любой губернский город, было завалено книгами, журналами, главным же

образом, брошюрами. По всем стенам висели статистические таблицы и схемы, изображающие политическое, административное и хозяйственное устройство союза и злые, частично очень меткие и талантливые каррикатуры, среди которых мне запомнилось изображение толстейшего англичанина в цилиндре и сюртуке, с громадной сигарой в сосисчатых пальцах, того самого Винстона Черчилля, который дружественно заседал вместе с Рузвельтом и Сталиным в Потсдамской междусоюзнической комиссии. Кто в 1920-21 году мог бы подумать о таком повороте вещей?

Просматривая какую-то юмористически-идейную брошюру, в которой небезызвестный советский автор всерьез развивал мысль о социалистической природе Кольцовского «Леса» и о буржуазном одиночестве Пушкинского «Дуба у лукоморья», я вдруг увидал у прилавка как будто бы знакомого человека. Порывшись в памяти, я через несколько секунд узнал в опрятно, но бедно одетом благообразном покупателе всемирно-известного создателя своеобразной анархо-социалистической системы этики и социологии. Обрадованный неожиданной встречей, я было приподнялся со стула, чтобы подойти к старцу, проживавшему в нашем городе на положении арестованной иконы революции, как мне в голову ударила мысль, что это может мне повредить. Заведующий магазином непременно заинтересовался бы моим знакомством с мировою знаменитостью и обязательно донес бы об этом знакомстве председателю земисполкома. На разбирательстве моего дела мне мог бы быть поставлен вопрос, при каких обстоятельствах я познакомился с «предателем революции», и мне пришлось бы или глупо отмалчиваться или признаваться в том, что меня познакомил с ним Борис Викторович Савинков, свою служебную и человеческую связь с которым я, конечно, тщательно скрывал. О том, что повсюду минированная шпионской

сетью советская действительность помешала мне возобновить и углубить мое лишь поверхностное петербургское знакомство с великим революционером, нравственный облик которого мне всегда представлялся исполненным исключительной чистоты и

благородства, я до сих пор глубоко жалею.

Насколько я хорошо помню поездку в уездный город, настолько смутно вспоминается мне посещение земисполкома. Тут все детали съедаются каким-то злым, темным пятном, среди которого ядовито желтеет надменно враждебная физиономия председателя зем-отдела, настаивающего на немедленном исполнении присланного по его распоряжению приказа о нашем выселении.

Видя, что логическими доводами и просительным тоном мне ничего не добиться, я решил изменить тактику. Приняв независимый вид, я с непостижимым для себя самого апломбом заговорил о своих связях в центре (которых у меня, конечно, не было) и тут же с таким возмущением принялся на типично советском жаргоне разносить председателя за то, что он саботирует распоряжение центральной власти и тем вносит путаницу в дело построения социализма, что наглый, но безграмотный и не уверенный в себе комиссар растерялся и неожиданно выдал нужную мне бумагу с отсрочкой нашего выселения впредь до окончательного выяснения нашего вопроса в Москве.

С этим документом в кармане я в самом бодром настроении вернулся домой и на следующий же день с ранним поездом выехал в Москву.

За три года нашей жизни в деревне психология советской Москвы претерпела ряд существенных изменений. Не входя в подробности социологического анализа, можно, думается, все же сказать, что все они в конечном счете объясняются двумя причинами: крушением надежд советского правительства на близость

коммунистической революции в Европе и полной победой советских армий над Белым движением,

При таком положении вещей большевикам ничего не оставалось, кроме временного приспособления к буржуазной Европе (в партии, вероятно, уже назревала мысль о Нэпе), а подсоветским гражданам – кроме окончательного приспособления к большевикам. Этой психологией вынужденного приспособленчества как в рядах коммунистической партии, так и в рядах ее непримиримых врагов, быстро разлагались последние остатки героического периода революции и одновременно провокационно выращивался тленный дух лицемерия и предательства своих убеждений. Всюду начиналась игра в поддавки с циничной улыбкой и камнем за пазухой.

Пока еще длился бойкот советской власти со стороны антисоветской общественности, каждому из нас было до

некоторой степени ясно, кого он имеет перед собой: тайного союзника, или открытого врага. С прекращением бойкота эта ясность начала постепенно затемняться. После победы красной армии над генералом Врангелем она совсем исчезла из жизни, повсюду разлилась муть. Самым стойким людям, которые в надежде, что скоро все же что-то изменится, не шли ни на какие компромиссы, не оставалось ничего, как идти на службу к «товарищам»: «кто не работает, тот не ест», а работать, кроме как в советских учреждениях, было негде.

Самою тяжелою стороною советской служебной монополии было то, что, в отличие от буржуазных «кровопийц», большевики экспроприировали не только физическую силу человека, но и все его верования и убеждения: находясь на советской службе, все должны были притворяться убежденными коммунистами. Все это и делали, но за быстро и небрежно нацепленной коммунистической маской скрывались очень раз

ные люди, а потому и разные способы приспособления.

Не дай Бог было в Совете нарваться на честного ренегата, на вчерашнего социал-демократа, эсера, или монархиста, перешедшего к большевикам. В прошлом человек цельных и честных убеждений, такой ренегат не переносил лицемерной раздвоенности сознания, а потому не за страх, а за совесть старался как можно плотнее присосать к своему честному лицу по нужде надетую маску. Занимая ответственный пост, такая, окончательно потерявшая себя «светлая личность» всем своим бытием и поведением старалась себя и других убедить, что в переходные эпохи человеку необходимо менять свои убеждения, так как нет ничего более бессмысленного, как, проиграв битву, воинственно размахивать бутафорским мечом.

Добиться от такого человека каких-либо послаблений было совершенно невозможно, так как всяким послаблением он ослаблял себя.

Живя в Советской России, я понял, что в смутные и лживые эпохи всякий принципиальный морализм, всякая законническая честность ведет прямым путем к жестокости и даже подлости.

Еще опаснее, хотя иной раз и выгоднее было попасть в руки «оборотня». Ренегатов было в России немного: примитивный морализм не в русской природе, зато оборотни вертелись повсюду. В противоположность ренегату, оборотень – человек многомерно-артистического сознания. Поклонение новому не требует от1 него отречения от старого. Разнообразные жизненные обличил он так же легко совмещает в себе, как актер разные роли. С большевиками он большевик, с консерваторами – консерватор. С первыми он проливает кровь, со вторыми – слезы.

И то и другое в одинаковой степени лживо, но искренне. В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир правым глазом, а ныне смотрящего левым, оборотни всегда смотрят на мир с пе?

ремигом: левым глазом подмигивают правому, а правым – левому. Двоя своей раскососостью мир, оборотень, двоящимся у него перед глазами миром всё глубже раздваивает свою душу. Он легко обещает просителю всякое содействие и может при случае показаться душевным человеком, но верить ему нельзя: придя в назначенный срок за ответом, ты иной раз рискуешь нарваться в твоем вчерашнем покровителе на стопроцентного большевика, который не преминет выместить на тебе минуту безответственной снисходительности.

Войдя в набитый народом земельный отдел Московского губисполкома и чувствуя всю тяжесть лежащей на мне ответственности за судьбу всей нашей семьи, я, перед тем как начать действовать, принялся тщательно изучать сидящих за столами товарищей-чиновников. Решительность момента обостряла мою интуицию. Увидав за дальним столом пожилого человека со внушающим доверие умным и спокойным лицом, одетого в типично советскую защитного цвета тужурку, на рукаве которой я вдруг заметил пуговицу нашего старого судебного ведомства, я тут же решил, что этот человек поможет нам. Затруднение было только в том, что по наведенным мною тут же справкам, его стол не имел прямого отношения к нашему делу. Подумав, я решил подождать конца приема и атаковать «своего» человека при его выходе из присутствия.

Тщательно обдумывая свое обращение к нему, я внимательно наблюдал за своим чаемым заступником. Все яснее представлял я его себе кадетом-земцем щеп-кинского направления с большими связями в помещичьей среде, а теперь честным советским чиновником, лояльно служащим советской власти, но не холопствующим перед ней. Вероятно, и он был человеком раздвоенной души, но двоедушного лицемерия в нем не чувствовалось; мне верилось, что он меня внимательно выслушает и если убедится в нашей правоте,

то не побоится помочь нам, поскольку это будет в его силах.

Я не ошибся. Как только я, прося извинить мою смелость, дружественно протянул ему руку и в нескольких словах объяснил суть нашего дела, а также и причину моего обращения именно к нему, между нами двумя, нашими глазами, руками, и даже между его добротною пуговицей с колонкой и короной и моим старинным кольцом с камеей сразу же установилось полное понимание друг друга; может быть, даже проскользнула и легкая заговорщицкая тень.

Обсудить дело на улице было, конечно, невозможно. Быстро просмотрев наши бумаги и документы, мой благожелательный «товарищ» назначил мне внеприсут-ственный час и при прощании намекнул, что, может быть, всё еще уладится.

На следующий день после детального разговора со мною о нашей жизни и работе в Ивановке, мой покровитель вручил мне письмо к своему «коллеге по земотделу». Последний, прочтя письмо и не входя в подробности, выдал мне для представления в уезд бумагу с предписанием задержать наше выселение ввиду того, что постановление о выселении трудового коллектива Ивановки будет пересматриваться в Москве в индивидуальном порядке.

Через некоторое время Земельная комиссия губ-исполкома назначила слушание нашего дела. В Москву вызывались Андрей и я. Все члены хозяйства с большим волнением провожали нас в Москву. Все наперебой давали советы и указания, как держаться и что отвечать. Выдумывались самые каверзные вопросы, которые, быть может, будут нам предложены. На всякий случай Серафима Васильевна собрала и привела в порядок старые счета и документы, могущие нам понадобиться для доказательства того, что и до войны Ива

новское хозяйство велось не в эксплоататорском, а скорее в полуфилантропическом порядке.

Андрей надел в дорогу свой обычный деревенский костюм: суровую блузу и брюки в сапоги. Мне подумалось, что в таком же костюме я буду чувствовать себя в Москве неестественно и потому я надел приличный пиджак и даже крахмальный воротник и галстук.

День разбирательства нашего дела в Москве был на редкость тихий, мягкий, какой-то человеколюбивый. В большой комнате земельного отдела пахло не советской общественностью, а, странным образом, утренней свежестью. На скамьях перед столом членов комиссии уже сидело несколько неустрашимых искателей справедливости. Лица председателя комиссии и его товарищей были обыкновенными человеческими лицами. Мне сразу стало легко на душе: поверилось, что нас оставят.

Допрос длился недолго. Комиссию интересовали два вопроса: во-первых, она старалась выяснить политическую физиономию по возможности всех членов хозяйства и их отношение к служащим и крестьянам в прошлом и настоящем; во-вторых, степень нашей трудоспособности и серьезности нашего намерения кормиться с земли.

Допрашивали нас, конечно, как людей самим фактом своей принадлежности к буржуазному классу виноватых перед народом

и революцией, но допрашивали не оскорбительно, без издевательства и желания унизить.

От природы бесконечно деликатный, почти что робкий, Андрей старался быть в своих ответах очень точным и добросовестным. Он говорил потому медленно, с обдумкою. Я, наоборот, давал свои показания легко и быстро, как будто ничего не тая и ничего не обдумывая. Дурные психологи, члены комиссии решили потому, что глава нашего хозяйства, Ан?

дрей лукавит, прикидывается тихоней, я же человек открытый, что в душе, то и на языке. Быть может, этому способствовал и мой откровенно буржуазный вид.

Когда Андрей на какой-то предложенный ему вопрос стал отвечать что-то уж очень обстоятельно, справляясь с записной книжечкой и беспричинно краснея, председатель прервал его просьбой не заниматься бесполезной дипломатией и обратился с тем же вопросом ко мне. Поняв, что меня считают за простачка, готового все выболтать, я решил прикидываться таковым.

На поставленный председателем вопрос, как до войны оплачивались в Ивановке служащие и поденщицы, я уверенно отвечал, что, по-моему, слишком высоко; вынужденные беречь каждую копейку крестьяне не уважают людей нехозяйственно бросающих деньги на ветер. Не уважали они и Ивановских господ, считая их не помещиками, а дачниками, и это, несмотря на то, что крестьяне с самого начала безвозмездно пользовались всем инвентарем, в особенности единственной в ближайшей округе молотилкой.

Не без удивления переглянувшись с членами комиссии, председатель спросил меня, пользовались ли приказчики и прислуга, наравне с помещиками, молоком и маслом, или все излишки молочных продуктов продавались на сторону. Отвечая на вопрос, я с иронией рассказал, что по зимам, когда все жили в Москве, от четырех молочных коров, на которых не жалели корму, еженедельно доставлялось из деревни всего только 2 бутылки сливок к кофею. Что же касается масла, то его целиком съедала дворня, даже и летом, говорил я, масло на всю семью привозили из Москвы от Чичкина, не желая входить в препирательства с ловким и хитрым приказчиком.

По существу я говорил почти то же самое, что

и Андрей, и если в моем изложении верили тому, чему в его устах не верилось, то лишь потому, что я не выгораживал Андрея и его родителей, а наоборот, порицал их за сентиментальное народолюбие, малую деловитость и интеллигентски-дачное отношение к хозяйству. Порицание это отнюдь не было всего только тактическим приемом. Выросший в нашем рационально поставленном Кондровском имении, я не раз осуждал родителей жены и Андрея за чрезмерную скромность их помещичьей жизни и неуместную осторожность в обхождении с крестьянами, которым ни в чем не было отказа. Один вид выезжавшей на станцию покосившейся линейки, запряженной парой старых рабочих лошадей, наводил на меня уныние, депоэтизиро-вал мои воспоминания о помещичьей жизни. Но ко всем моим советам и на все мои жалобы Наташины родители оставались глухи. «Эх, Федор, – отвечал мне мой beau pere, – не те теперь времена». И действительно, времена были совсем не те. Мой отец продал свое имение в Калужской губернии в 1896-м, а Ивановку Никитины купили в 1911-м году. За это время много переменилось в России. После 1905-го года в помещичьих руках оставалось всего только 15 процентов пахотной земли.

Покончив с выяснением нашей политической физиономии, комиссия перешла ко второму вопросу. Тут у нас на руках были все козыри. За три года хозяйничанья без наемного труда мы регулярно уплачивали непосильные налоги и, всегда в срок выполняя продразверстку, значительно подняли производительность Ивановки, в чем у нас было удостоверение Стассов-ского исполкома.

В результате наша Ивановка была оставлена за нами. Мы с Андреем триумфаторами двинулись в обратный путь. На станции нас в страшном волнении

ожидали Наташа и Коля (поезд пришел с опозданием на два часа).

За версту до Ивановки при свороте с шоссе мы увидели идущих нам навстречу родителей. От приехавшего раньше нас со станции крестьянина они узнали, что поезд пришел и что мы должны скоро быть. Услышав, что мы не выселяемся, родители как-то даже растерялись от радости: Серафима Васильевна заплакала, а Николай Сергеевич перекрестился. Начались объятия, поцелуи, у всех посветлело в душе. Коля один поехал впереди на дрожках, все остальные шли пешком к нашему старому, как тогда казалось, уже навсегда обретенному дому.

После ужина мне пришлось со всеми подробностями рассказывать, как все было. Не думаю, чтобы когда-нибудь стоял на сцене актер, которого слушали бы с таким же вниманием и с таким же восторгом, как в тот вечер слушали меня. Андрей, со свойственной ему скромностью, приписывал наш успех всецело мне. Я же доказывал ему, что мы выиграли дело лишь благодаря его левым социально-политическим взглядам, мало пригодным для ведения «хищнического» помещичьего хозяйства и весьма подходящим для постановки трудовой социалистической коммуны. Какой это был незабвенно прекрасный вечер: как мы все были счастливы, как любили друг друга и с какой новой радостью услышали на утро, после короткой бессонной ночи, призыв к работе нашего, иной раз чуть ли не проклинаемого колокола.

После нашей высылки в 1922 году заграницу, Серафима Васильевна некоторое время еще довольно часто писала нам. Потом стала писать все реже и реже, наконец, замолчала. Через некоторое время пришло

известие о ее смерти. За нею через год последовал осиротевший Николай Сергеевич. После смерти родителей трудовое Ивановское хозяйство начало быстро распадаться. В конце концов, в Ивановке остались только Андрей с женой и двумя дочерьми. Справляться одному со всем хозяйством становилось все труднее: годы непривычно тяжелой работы подорвали здоровье. В уставшем теле поднялась тоска по своей настоящей жизни ученого и педагога. Да и подросших девочек надо было учить в Москве. За переезд говорили и начавшиеся после смерти двух-трех влиятельных стариков неприятные осложнения с крестьянами.

О том, что Андрею удалось продать Ивановку и устроиться в Москве, мы только случайно узнали от вывезенного немцами сына университетского товарища Андрея. Сама же Москва уже давно молчала.

Как хотелось бы знать, что за люди живут сейчас в

Ивановском доме, что они чувствуют и что думают, что говорят, сидя, быть может, за тем же столом, за которым я рассказывал о нашей победе в земельном отделе; знают ли они что-нибудь о нас и о первом владельце Ивановки, генерале Козловском, чувствуют ли они поэзию старой России, или только ненавидят ее тяжкие грехи и темные стороны? Но узнать этого нельзя.

Быть может, новая Россия, с которой мы постоянно сталкиваемся в лице новой эмиграции, более Россия, чем та, которую мы, постаревшие на Западе, все еще благодарно храним в своей памяти? Но и более настоящая она не совсем наша Россия. Значит ли это, что и мы уже не настоящие русские люди? Не думаю.

А как живут те, что работали вместе с нами в Ивановке? Думая о них, я вижу перед собой выкорчеванные пни. Но может быть я ошибаюсь? Как знать – не вросли ли покинутые в Москве родные и друзья крепко в новую жизнь? Все неизвестно: ни до кого не

дотянешься, ни с кем не перекликнешься. Иной раз душу охватывает непереносимое отчаяние.

И все же мы с Андреем недаром спасли Ивановку. Свое главное назначение она исполнила: родители умерли не на улице, не под чужой крышей, а в своем собственном, бесконечно ими любимом доме.

В начале этой главы я упоминал о том, что моя мать, несмотря на настойчивые мольбы ее второго мужа, переехать с ним в Латвию, а оттуда, быть может, и заграницу, твердо решила не покидать своих детей, не искать для себя одной лучшей участи. Хотя Панеч-ка, как мы все с детства звали нашего отчима, Павла Карловича Леппевича, скрепя сердце и подчинился маминому решению, он внутренне осилить его не мог. Его вулканической душе, его балтийской неспособности к освоению России, его либерально-капиталистическому миросозерцанию, наконец, его больной нервной системе Советская Россия, как в своем национально-народном обличьи, так и в своей интернационалистически-социалистической идеологии была до того чужда, противна и по гроб жизни неприемлема, что жить в ней для него только и могло значить: быстрыми шагами приближаться к смерти.

Жадно глотая за ужином суп и неряшливо, злыми рывками сдирая кожу с подгнившей картошки, Па-нечка каждый вечер мучил мать своими безудержными проклятьями советской власти, отчаянными жалобами на бессмысленность своей службы в Главбуме, главное же упреками за то, что она своим отказом

покинуть Москву губит и свою и его жизнь.

Поняв, что логические аргументы в пользу выезда для матери неубедительны, он пытался соблазнить ее воспоминаниями о их путешествиях по Европе. Мама

от этих попыток страдала еще больше, чем от бурных проклятий миру и своей судьбе, но помочь ничем не могла. В ответ на нежные воспоминания Панечки и его несбыточные планы, она или молчала, или осторожно намекала на то, что, решив оставаться в Советской России, надо не мечтать о Европе, а смиряться и попытаться как можно лучше устроиться в Москве. Эти разумные речи не успокаивали Панечку, а скорее усиливали его ненависть. Атлас, над котором он ежевечерне мечтал о Европе, шумно захлопывался, свечи тушились, громадные красные кулаки угрожающе взлетали к потолку. Словно затравленный зверь по тесной клетке, метался Панечка по своей скудно освещенной маленькой кухонной лампочкой комнате, проклиная судьбу за то, что он родился в варварской России.

Человек атлетического сложения и редкого, несмотря на свою предельную нервность, здоровья, Панечка сразу же после водворения большевистской власти, начал прихварывать и быстро сходить на нет. От недоедания появилось истощение, от истощения и постоянного волнения – расширение сердца и ослабление сердечного клапана. Совсем еще молодое для его 55-ти лет лицо вдруг состарилось: виски поседели, страшно похудевшая шея обвисла грустными мешками. В глазах появился типичный для сердечных больных испуг. Мать, с болью в сердце, отмечала все эти признаки приближающегося конца, настойчиво уговаривала лечиться, не раз вызывала нашего земского врача, милого, умного, замученного непосильной работой Лионенко, но заставить Панечку серьезно заняться своим здоровьем не могла. Да и какой смысл было лечиться человеку, умиравшему от ненависти к жизни, уйти от которой он не имел возможности?

В последний раз я виделся с Панечкой осенью 1920-го года. Сидя в столовой, мы с матерью с волнением ждали его возвращения из Москвы, куда он с

утра поехал продавать фрак, смокинг и визитку, весь свой ненужный в советской жизни гардероб. Шел злой, настойчивый дождь. Мать знала, что на Панечке рваные штиблеты и страшно беспокоилась, как бы он не простудился. Поезд, очевидно, опаздывал. Но вот, наконец, послышался протяжный паровозный свисток. Минут через двадцать резко, как всегда, хлопнула калитка и на террасе послышались тяжелые шаги.

Выбежав в переднюю и взглянув на Панечку, мы сразу поняли, что с ним случилось что-то недоброе: бледное лицо было

в красных пятнах, большие испуганные глаза кипели злобой, челюсти и руки тряслись.

Что с тобой? Оказалось, что спровоцированный каким-то подстрекателем Панечка крепко поругался и чуть даже не подрался с двумя покупателями пролетарского вида, предлагавшими ему за его почти новые вещи явно издевательское количество ржаной муки и русского масла.

Выросший как из-под земли милиционер тут же не только конфисковал все вещи, но и пригрозил отправить в Чека за оскорбление трудового элемента. Вся эта типичная для Сухаревских нравов история была, конечно, подстроена и, как по? писанному, разыграна милицией и Сухаревскими завсегдатаями.

Вскоре после возвращения в Ивановку, я получил письмо от матери, в котором она сообщала, что, простудившись на Сухаревке, Панечка заболел воспалением легких. Вслед за письмом, шедшим чуть ли не целую неделю, пришла телеграмма с извещением о его кончине.

Было уже совсем темно, когда, выйдя в Малаховке из переполненного вагона, мы среди глухо и сурово шумевших сосен пешком двинулись к Касимовке.

Дверь нам открыл брат Липочка. Он был взволнован и растерян. На мой вопрос – как мама – он сообщил, что она находится в каком-то странном и не

понятном ему настроении и внешне и внутренне неожиданно спокойна. В хлопотах о похоронах не принимает никакого участия. Почти все время сидит одна в своей комнате. Часто заходит к Панечке и подолгу остается у него. Всю жизнь мучивший ее страх перед покойниками как-то вдруг отошел от нее, а был еще во время тяжелой агонии столь непреооборим, что, почувствовав близкий конец, она попросила ни в коем случае не беспокоить ее и заперлась у себя в спальне. Павел умер на руках у сестер. Слава Богу, он был без сознанья и перед смертью ни разу не произнес ее имени.

Больше душевного состояния матери брата беспокоили неожиданные осложнения с похоронами. Несмотря на то, что со смерти Павла прошло уже трое суток, он всё еще лежал на смертном одре, так как получивший аванс и бутылку водки плотник всё не нес гроба. Только что бегавшая к нему Маша вернулась с известием, что он запил, жена говорит: «надо обождать, когда проспится и начнет работать». К этим трудностям с гробом присоединилось еще то обстоятельство, что приехавший из Москвы пастор не соглашался оставаться до следующего дня, боясь, что ночью его могут вызвать к кому-нибудь из умирающих. В Москве свирепствовала злостная испанка, по мнению многих

врачей – выродившаяся средневековая чума.

Брат очень просил пройти прежде всего в столовую, где сестра Маруся поит пастора кофее!м, и помочь ей уговорить его остаться до следующего дня.

Уладив дело с пастором, я один, без Наташи, с мучительным ощущением холода в сердце, пошел наверх к матери. Тихо приоткрыв дверь, я увидел ее сидящую в кресле у письменного стола; на столе, мягко освещая ее всюду заметную, с тридцати лет начавшую седеть голову, горела та самая керосиновая лампа под зеленым абажуром, при которой мы еще школьниками готовили с мамой уроки. Одного взгляда на этот, несмот

ря на все изменения неизменный образ, было достаточно, чтобы почувствовать, что в матери действительно происходит нечто необычайное. Лицо ее было исполнено глубокой скорби, но в этой скорби не чувствовалось никакой угнетенности: лицо было устремлено вдаль и скорее просветлено, чем омрачено происшедшим. Она поднялась мне навстречу. Мы, как всегда, обнялись и трижды поцеловались. Она по-детски положила голову ко мне на плечо и тихо заплакала. Вытерев слезы сильно надушенным платком ?- мне сразу же пришла в голову мысль, что без такого платка у лица нельзя дышать в комнате покойника – она с нежностью посмотрела на меня и как-то торопливо сказала: «Пойдем, пойдем к нему, ты не поверишь, до чего он красив. Если бы хоть раз в жизни увидала его таким, каким увидела его после смерти, то, может быть, наша жизнь сложилась бы совсем иначе…»

Я зажег оплывший огарок в павлином подсвечнике, мама крепко взяла меня под руку и мы стали осторожно спускаться по узкой крутой лестнице.

В комнате усопшего было почти совсем темно. Лишь на комоде у изголовья неровно горела, заставленная от приоткрытого окна любимым павлиным атласом, толстая восковая свеча.

На стене у постели жутко шевелилась тень недвижной павлиной головы. Его при жизни постоянно искаженное чрезмерным волнением и почти всегда покрытое багровыми пятнами лицо, было спокойно, светло и величественно. За легко, как будто бы даже блаженно опущенными веками чудился нездешний свет. Он действительно был прекрасен.

Сидя у кровати усопшего, мама с такой просветленной печалью, с такой преданной нежностью смотрела на него, что я вдруг ясно почувствовал, что для нее он не умер, а впервые родился, впервые вошел в

ее жизнь в том образе своего совершенства, которого она

раньше не видела в нем…

Протрезвившийся под вечер и покаянно проработавший всю ночь, Петр Бочкин часам к десяти утра все же принес гроб.

От Бочкина пахло спиртом и политурой, от кое-как выструганного гроба – свежею сосной. Довольный собой, своей совестливостью, Петр попросил прибавки за любовь и почтение к покойному.

Брат отсчитал щедрую прибавку и очень просил Бочкина вернуться через час с кем-нибудь, чтобы помочь нам донести гроб до кладбища, которое находилось в полуверсте от дачи. Петр согласился и тут же попросил опохмелиться.

Переложение многодневного покойника в гроб требовало большого навыка и больших сил. У нас ни того ни другого не было. Приподнятое с постели тело оказалось непомерно тяжелым и сильно тронутым тлением. Голова запрокинулась. Нездешний свет под векам погас, окоченевшие локти долго не укладывались в узкий и мелкий гроб. Все это было таким страшным посрамлением таинства смерти и вчерашнего величественного покоя на лице умершего, что меня до сих пор как огнем жгут эти воспоминания. Слава Богу, что мама всего этого не видала.

Когда стали выносить гроб, выяснилось, что вынести его невозможно: слишком узок был коридор, в который выходила маленькая дверь павлиной комнаты. Выносить же покойника стойком даже и в революцию постеснялись. Пришлось выставлять раму. Тяжелая рама громадного окна, выходившего в сад, была тщательно забита, замазана и сверх того заклеена бумагой. Опохмелившийся сверх меры Бочкин как нарочно двигался и действовал крайне осторожно и медленно, многословно хваля свою работу и дотошливо

го покойника барина, который во все сам входил. Пастор нервничал, боясь опоздать на поезд.

Наконец, рама выставлена и гроб на веревках спущен в сад.

На дворе стоял один из тех влажных пасмурных дней, которые часто бывают перед обильным снегом.

Обувшись в павлины высокие валенки и надев на голову бархатный берет, пастор мужественно зашагал впереди по глубокому снегу, расчищать который в последние дни ни у кого не было времени. За ним на шести разнокалиберных плечах тяжело, толчками, поплыл гроб с двумя самодельными венками из сосновых и еловых веток.

За гробом первыми пошли мы с мамой, за нами все остальные. Мама снова глубоко ушла в себя. Вероятно, она ничего не видела перед собой, кроме прекрасного лица покойного Павла и ничего не чувствовала кроме моей, крепко ведущей ее руки у

сердца.

Более унылого кладбища, чем то, на котором нам пришлось похоронить бедного Павла, представить себе невозможно. Начало ему положил безвестный самоубийца, неподалеку от могилы которого, за время войны начали хоронить умиравших в соседней Крас-ковской больнице безродных солдат. В революцию к этим чужакам присоединилось несколько местных жителей, скончавшихся в тифозных бараках. Кладбище это находилось у самого шоссе за канавой: ни дерева, ни куста, ни ограды. Неглубоко врытые кресты то и дело расхищались дачниками на растопку: заборы покинутых дач были уже давно сожжены.

Вечером в темной даче царила та страшная, все заполняющая собою пустота, которая бывает в человеческом жилище только после похорон. Со смертью человека в его дом входит смерть; после похорон из дому уходит жизнь. Это еще страшнее.

Брат с женой уехали вместе с пастором. Наташа

ушла к сестрам в кухню. Мы с мамой уединились в столовой. Маша наскоро мыла и топила павлину комнату. Маме очень хотелось, чтобы кто-нибудь из нас переночевал у Павла, ей было страшно оставить его одного. В комнате стоял очень тяжелый дух, но мы с Наташей все же решили исполнить мамину просьбу. Это была очень тяжкая ночь.

На следующий день Наташа поехала обратно в Ивановку, а я остался еще на несколько дней: надо было решить, как маме жить дальше и что предпринять, чтобы прокормить себя, младшую сестру и Машу. Никаких средств после Павла не осталось. Я ничего не зарабатывал, а у брата на руках была своя семья в пять человек.

Продумав и тщательно взвесив все немногочисленные возможности, мы решили, что самым разумным будет открыть пансион. Жить, как мама поначалу было хотела, переводами, казалось мне, несмотря на бесспорный литературный талант мамы, делом весьма ненадежным. Уж очень большое количество не получивших специального образования женщин занималось в те годы этим трудным искусством. Более надежным заработком пансион казался мне еще и потому, что тут у матери была замечательная помощница, служившая у нас уже более 20 лет в прислугах, Мария Афанасьевна, в некоторых отношениях трудный, но на редкость верный и надежный человек.

Года три тому назад до нас дошло известие, что Маша умерла. Царствие ей Небесное, она его заслужила.

После того, как красная армия так непотребно бесчинствовала на занятой ею территории Германии, мне все живее вспоминаются наша кондровская людская, мои солдаты

сибиряки и наша Маша. Очевидно, душа не хочет верить тому, что Россия в корне переродилась, и потому она все чаще призывает светлые

образы прошлого для защиты себя от страшных впечатлений настоящего.

Маше не было и 25-ти лет, когда она, только что приехавши в Москву из своей северной деревни, поступила к нам в прислуги. В ее на редкость опрятном, не по годам солидном облике – черная шубка, черный головной платок – было нечто строгое, почти что монашеское. С этим видом как-то не вязались ее безудержный заливчатый смех, которым она сразу же подкупила мать, и ее веселые, минутами даже задорные глаза: в этом смехе и в глазах чувствовалась первая в деревне затейница, плясунья и песельница.

Маша сразу же полюбилась матери и заинтересовала ее. Вскоре Маша «доверила» своей барыне, что она привезла в Москву разбитое сердце, брезгливое отвращение к мужчинам и горячую память-мечту о монастыре, под стенами которого протекло ее детство. Называть родителей иначе как барыня и барин, Маша, по тем временам, конечно, не могла, но сознательная крестьянка и бессознательная демократка, она ухитрялась произносить эти обращения с тем чувством своего человеческого достоинства, с которым несла свою трудную работу по дому. В этом ее самочувствии не было никакой революционной неприязни к господам, скорее в нем было нечто от раскольничьего достоинства и казацкой вольницы, хотя ни к расколу, ни к казачеству, Маша, по своему происхождению, никакого касательства не имела. В годы большевистской революции Маша жила у нас уже не прислугой, а как бы сотрудницей по дому.

О своей любви к пению Маша часто и словоохотливо вспоминала, но с переездом в Москву петь перестала. Монахиня в миру, она, штопая по вечерам чулки в кухне, иногда вполголоса напевала или акафист Богородице, или постом «Иже в девятый час», а на Пасху «Христос Воскресе».

Желая доставить ей удовольствие, мама взяла ее как-то на духовный концерт Синодального хора. Концерт произвел на Машу громадное впечатление. Она вернулась восторженная, умиленная и бесконечно благодарная своей барыне.

Пораженная и увлеченная Машиной восприимчивостью, мама, которая сама страстно любила музыку, решила серьезно заняться Машиным музыкальным образованием. Она сшила ей простое, но изящное черное платье и стала брать ее на симфонические концерты и в оперу. Опера, вопреки маминому

ожиданию, не произвела на Машу большого впечатления: «уж очень много целуются и непонятно поют». Но к симфоническим концертам она пристрастилась, хотя переживала их далеко не с той глубиной и непосредственностью, как духовное пение.

Отрекшись от личного счастья и семейной жизни, для которой только и была создана, Маша сохранила в своей горячей душе неутомимую жажду любви и заботы. Был у нее племянник – тихий, хворый паренек, для которого она во многом себе отказывала, упорно копила деньги и которому к праздникам покупала ценные подарки. Но он жил не в Москве, а в деревне и потому всецело заполнить ее сердце не мог. Ее деятельная любовь требовала постоянной заботы о любимом существе, его постоянного присутствия, возможности ежеминутно взглянуть на него, дотронуться до него. В качестве такого существа насмешливая судьба и подбросила Маше вскоре после маминого переезда из Москвы в Касимовку голодного больного котенка. Выпестовав и откормив его, превратив жалко мяукающий комочек в гладкого дымчато-рыжеватого кота, похожего на богатого купца в енотовой шубе, Маша так привязалась к нему, что Барсик стал не только неограниченным повелителем ее сердца, но и полным хозяином нашей кухни: чтобы ладить с Машей,

нельзя было не только согнать Барсика с кухонного стола, на котором он любил сидеть и смотреть, как Маша готовит, но даже и сказать о нем какое-либо недоброжелательное слово. Барсику прощалось все: не только неопрятные следы на полу, не только постоянное воровство мяса и масла из чулана, но даже и весенние похождения по соседским дворам и крышам.

Иной раз Маша за полночь ждала своего Барсика, чтобы накормить и уложить спать утомленного похождениями дон-жуана. Не дай Бог было на следующее утро преждевременно потревожить сладко спящего в своей корзине у печки лежебоку. «Не троньте его, – со страхом и почтением в голосе говаривала в таких случаях Маша, – он поздно вернулся и очень утомился, пускай как следует отдохнет».

После отъезда в 1926 году мамы и младшей сестры в Германию, Маша еще некоторое время ревниво охраняла добро своей барыни от неряшества и нечестности въехавших в дачу жильцов, но после того, как выяснилось, что мама не вернется, сняла поблизости сарай, в котором отгородила себе коморку, купила на скопленные деньги корову Дуняшу и занялась продажей молока по знакомым дачникам.

Поначалу были трудности: доносы соседей, придирки совета, но понемногу все уладилось. И вот тут-то на Машину голову чуть было не обрушилось непоправимое несчастье: заболела, очевидно

перекормленная прелым клевером, Дуняша. По совету нашего бывшего дворника Михайлы, Маша бросилась в Люберцы к ветеринару. Ветеринар за глаза прописал глауберову соль и сказал, что хорошо бы было промыть желудок, но он этого сделать не может, так как у него нет резиновой кишки.

Не достав ни в Люберецкой, ни в Малаховской аптеках глауберовой соли, Маша в отчаянии опять побежала к Михайле, где застала каких-то двух комсомоль

цев. Те, выслушав ее рассказ, обещали, не то и впрямь желая помочь ей, не то издеваясь над потерявшей голову женщиной, сейчас же придти со старой велосипедной шиной и насосом и промыть корове кишки.

Обнадеженная Маша понеслась домой и принялась, в ожидании комсомольцев, растирать раздутое брюхо тяжело дышащей коровы соломенными жгутами.

Комсомольцы, конечно, не пришли. Тогда Маша решила прибегнуть к последнему испытанному средству – отслужить заздравный молебен. Поначалу это ей показалось естественно и просто. Но когда она начала медленно выводить на записке привычные слова «за здравие рабы Божией», она вдруг усумнилась, является ли Дуняша рабою Божией, или нет. Мелькнувшую мысль утаить от священника, что рабою Божией является корова Дуняша, честная Маша, конечно, отвергла. Бросив писать, она побежала к отцу Григорию просить разъяснения и совета. Выслушав Машу, отец Григорий сказал ей, что служить молебен за здравие рабы Божией коровы Дуняши, конечно, невозможно, но что он с радостью помолится вместе с нею о том, чтобы Господь Бог услышал молитву рабы своей Марии, не лишил бы ее насущного хлеба, сохранил бы ей любимую скотину.

Кончив молитву, отец Григорий дал Маше святой воды, велел спрыснуть Дуняшу и не сомневаться, что молитва будет услышана.

На другой день Дуняше стало легче, живот спал, она подняла голову и принялась за сено.

Эту трогательную историю мы узнали в 33-м году из письма старшей сестры, которая очень любила Машу и часто навещала ее в осиротевшей Касимовке. К письму сестры была приложена написанная детским Машиным почерком записочка с обильными традиционными поклонами и кратким сообщением о своей жиз

ни. Мама дважды вслух прочла мне записочку: в третий раз внимательно прочла ее про себя, а затем, тщательно сложив, заботливо убрала в правый ящик письменного стола, где у нее хранились самые ей дорогие письма и фотографии.

Такова была наша Маша, в компании с которой мама решила открыть пансион.

Приступая к новому делу, мама боялась не справиться с ним; боялась, что самолюбивая Маша не согласится готовить на «экономических» началах и что у нее самой не хватит необходимой для успешного ведения дела практической сноровки. Все эти опасения оказались неосновательными. Маминому тонкому пониманию людей и большой Машиной работоспособности удалось быстро создать солидное и доходное дело. Кормила мама своих пансионеров не очень обильно (у нее всегда было отвращение к обжорам), но, благодаря машиному искусству, очень вкусно. Мы в Ивановке ели во всяком случае несравненно хуже.

В 1926?м году, спустя четыре года после моей высылки, маме, после долгих хлопот, удалось получить разрешение на выезд заграницу. Ждали мы ее к себе в Дрезден в большом волнении, в очень сложных и противоречивых чувствах. Старшая сестра сообщала из Москвы, что дальнейшее пребывание матери в разлуке со мной грозит тяжелыми нервными последствиями. Сама же мама в своих, изумительных по легкости стиля и по графической четкости неразборчивого почерка, письмах упорно отказывалась от переезда в Европу, считая себя не в праве бросить пятерых детей в Москве, которым она была, по ее мнению, необходима. При всей сложности и даже хаотичности своих природных глубин (изо всех образов русской литературы она пожалуй больше всего любила Парфена Рогожина, которого замечательно читала) мама отличалась

пуританской строгостью своего нравственного сознанья.

После долгой переписки, в которой мне пришлось взять ответственность за переезд на себя и написать, что мне без нее гораздо труднее жить, чем остальным детям (ей это только и хотелось услышать), мама быстро решила двинуться в путь. Ехала она не навсегда, а в мечте о падении советской власти и с твердой верой в то, что мы еще вернемся в Москву и будем все по воскресеньям собираться у нее в Касимовке.

Разрушение этой мечты было одной из главных причин трагического омрачения последних месяцев ее жизни.

Обстоятельства маминого отъезда складывались весьма удачно. Ехала она не одна, а в сопровождении младшей сестры. Ехали они по тем временам с большими удобствами, в спальном вагоне и с остановкою в Берлине.

Мы с Наташей очень радовались, что ко дню маминого приезда у нас в Дрездене еще будет гостить мой брат Липочка с женой. Предчувствуя возможность «надрыва» в нашей встрече и

боясь не справиться с ним, мы очень надеялись, что присутствие брата облегчит нам первые минуты свиданья.

Все произошло совершенно иначе, чем мы предполагали, так как телеграмма с извещением о дне и часе приезда почему-то опоздала. Недоумевая, почему нет телеграммы, мы с Наташей безвыходно сидели в нашей приспособленной для жилья конюшне при старинном офицерском особняке, который занимал мой товарищ по Гейдельбергскому университету, профессор Кронер.

Резкий захлебывающийся колокольчик у ворот, в котором я сразу же узнал мамину властную и нетерпеливую руку, раздался совершенно неожиданно. Я бросился к воротам.

Мы обнялись и мир пропал… Через секунду он опять возник: я как во сне обнимал сестру, мама – брата, его жену, сестра – Наташу, Наташа – маму и так далее, пока не исчерпались все возможные сочетания. По окончании бесконечных объятий, сопровождавшихся возгласами радости и удивления, сразу же наступили исчерпанность души и некоторое недоумение: что же делать дальше? Я взял маму под руку и повел в наш флигелек.

Посидев со всеми несколько минут, Наташа, извинившись, пошла в большой дом, чтобы наскоро приготовить более или менее парадный обед. Приехавшую сестру Маргу и жену брата она попросила помочь ей на кухне, а брата послала за покупками. Все это она сделала, конечно, сознательно: Наташа прекрасно понимала, что маму надо оставить наедине со мною.

Когда мы остались вдвоем, мама снова крепко обняла меня.

– Знаешь что, – вдруг с каким-то школьническим задором в глазах, шепнула она мне, – совсем не хочу обедать со всеми вместе, не поехать ли нам с тобою в хороший ресторан, как помнишь, мы обедали в нашей «Праге», в Ермолаевских номерах в Нижнем, или у Шварца в Риге?

Я, конечно, сразу же согласился: не согласиться было невозможно. Забежав к Наташе, которая ничуть не удивилась, я наскоро подсчитал деньги в бумажнике, которых было очень мало, принарядился и, подав маме руку, вывел ее за ворота. Пройдя несколько шагов, мы взяли автомобиль, что мне было совершенно не по средствам, и, миновав небольшой бульвар, в конце которого стоял памятник Августу Сильному, очень напоминавший фальконетовского Петра, оказались по ту сторону Эльбы на одной из совершеннейших в архитектурном отношении площадей Германии, особо милую мне тем, что на нее с Брюл

ловской террасы изящно и устало спускался несчастный Павел Кирсанов, один из наиболее очаровательных героев Тургенева.

Подъехав к старинной гостинице "ВеИеуие" и пройдя через

вестибюль, в котором, развалясь в тяжелых клубных креслах, за низкими столиками, в полудреме сосали сигары холеные старики и за чашкой кофе привычно флиртовала уже снова элегантная после недавной инфляции молодежь, мы под руку вошли в только что реставрированный обеденный зал с громадными окнами на Эльбу.

Пробежав карту, мама быстро заказала одно из наших классических меню: бульон, рейнскую лососину с голландским соусом, цыпленка по-венски и полбутылки шампанского. Зная, что у меня мало денег в кармане, она на свой лад сделала все, что могла: заказала два прибора, но по одной порции каждого блюда.

Пока мы обедали, маму не покидало ее бодрое, приподнятое настроение. Она много говорила о нашем с ней прошлом, расспрашивала о нашей с Наташей жизни в Париже и Фрейбурге и особенно живо интересовалась судьбой моего «Николая Переслегина», последних глав которого она еще не знала. О Москве и России, обо всех оставшихся там, она явно избегала говорить. Это ее желание было так сильно и определенно, что и я не решался начать главного разговора о том, как же там все живут, надеются ли в связи с Нэпом на длительное улучшение положения, или уже окончательно отчаялись, похоронили свою жизнь.

После обеда в маленькой полутемной гостиной, куда мы попросили подать кофе, спущенный мамой над пережитыми в России ужасами занавес начал, вопреки ее воле, видимо подыматься: прислушиваясь к чему-то в себе, она почти совсем перестала говорить и очень рассеянно отвечала на мои вопросы. Лицо ее

сразу постарело, в глазах появилась предельная усталость, но одновременно и страшное беспокойство. Я чувствовал, что оставаться в гостинице нам дальше нельзя; быстро расплатившись, я предложил пойти погулять на Брюлловскую террасу, откуда раскрывался широкий вид, вплоть до гор саксонской Швейцарии.

Солнце стояло уже совсем низко, а мы с мамой все еще сидели в самом дальнем углу сквера: она подробно рассказывала мне о налете на Касимовку, о котором, боясь цензуры, писала мне лишь в самых общих чертах. Вот что я узнал из ее взволнованного рассказа.

В нашей даче во время налета жили одни женщины: мама с младшей сестрой, Маша и еще одна жилица с дочерью, носившая весьма неподходившую ко времени дворянскую фамилию. Так как брат ее, бывший конногвардеец, был недавно арестован, то и она ждала ареста.

Было уже около 11-ти часов ночи, когда в кухне внезапно раздался сильный звонок. Сестры, которая одна только и могла с необходимым присутствием духа встретить ожидавшихся чекистов, дома не было.

Мама встала, «взяла себя в руки» и со свечкой в руках пошла отворять дверь. В переднюю, молча мотнув ей в глаза ярким электрическим фонарем, вошли два человека, от которых сильно пахло самогоном. Один был губастый верзила, со скуластым зверски-детским лицом и золотыми зубами. Наружности второго мама как-то не заметила: очевидно, все дело было в губастом, которому безликий только помогал.

Налетчики заперли всех женщин в маминой спальне и, пригрозив застрелить в случае крика о помощи или попытки побега, пошли обыскивать остальные комнаты.

Сидя на своей кровати, мама замирала от страха, как бы сестра, которая должна была ежеминутно вер

нуться от соседей, наткнувшись на громил, не испугалась бы и не вскрикнула. Несмотря на свою сложную «карамазовскую» тяжбу с Богом, мама, по ее словам, в ту ночь горячо, «по? машиному» (Маша в слезах, крестясь, сидела на полу) молилась Богородице. Беспокоила ее и жилица, упрямая Ксения Александровна, которой во что бы то ни стало хотелось спасти старинный браслет, память матери. Сняв браслет с руки, она то спрашивала, нельзя ли его спрятать в золу в печке, то пыталась засунуть его внутрь матраца. Маме с трудом удалось отговорить ее от этих попыток: ведь громилы могли уже заметить видный браслет на руке.

К счастью, вернувшаяся сестра не растерялась, притворилась будто верит, что происходит законный обыск, и была немедленно приведена «безликим» в спальню.

Появление сестры мама пережила как чудо: «ведь если и не убить, то могли бы совершить какую-нибудь гнусность». После этого ей поверилось, что Божия Матерь спасает всех и она успокоилась.

«Обыск» производился, очевидно, весьма тщательно. До возвращения громил в спальню прошло, по маминому расчету, не менее двух часов. Вернулись товарищи явно довольные: в гостиной лежали ценные персидские ковры, в буфете было еще много серебра. На радостях они, повидимому, и выпили. Рассчитывая на ослабленность их внимания, Ксения Александровна решила попытаться спасти свой браслет. Прикрыв его рукой, она начала потихоньку передвигаться по кожаному дивану к умывальнику, у которого, покрытый полотенцем стоял кувшин с водой, в который она очевидно собиралась осторожно

опустить свою драгоценность.

Делала она все это очень хладнокровно и незаметно, двигалась лишь тогда, когда занятые обыскиванием комнаты громилы поворачивались к ней спи

ной. Но у них, очевидно, и на спине были глаза. Когда Ксения Александровна была уже совсем близко от умывальника, золотозубый чуб, рывшийся в комоде, вдруг быстро обернулся к ней и прокричав: «Ты что, сволочь, ерзаешь? Мужика тебе надо или пули захотелось?» -• зверски сорвал ее с дивана и отшвырнул к стене.

– Ты можешь себе представить, что мы пережили, чего натерпелись – с ужасом рассказывала мама, -? и все же, поверишь ли, родной, когда все было кончено и налетчики, напившись чаю в кухне и погрузив на кем-то из леса поданную подводу все наше добро, съехали со двора, меня охватило такое чувство благодарности судьбе за чудесное избавление от смерти и такая радость освобождения от ненужных земных благ и пут, такой восторг беспредельной свободы, возможности которых я раньше и не подозревала в себе. Я вышла в сад, он был по-утреннему свеж и непостижимо прекрасен, над кореневскими полями тихо плыли розовеющие облака, птицы пели на редкость громко а разгромленная дача с настежь открытыми окнами, через которые выбрасывали наше добро, была так легка и духовна, что я даже усомнилась, можно ли в ней будет дальше жить. Я вернулась на дачу совершенно новым человеком. Маша готовила в кухне чай, мы с Маргой сидели у большого окна в столовой и разговаривали о налете. И вдруг я как бы свыше услышала и в первый раз по-настоящему поняла, столько раз петые мною лермонтовские слова:

И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога…

Да, все это было. Поверь, я рассказываю тебе без всяких преувеличений, скорее в чувстве, что не могу выразить, как все было высоко, прекрасно, радостно.

Но не прошло и недели, как душа снова замкнулась и очерствела. Вот я тебя и спрашиваю: почему, почему же луч столь нужного мне примирения с миром и Ьогом только мимолетно скользнул по душе, но не остался в ней вечным светом?

Ты лучше меня знаешь мое крамольное сердце. Ты философ, верующий в смысл жизни, ты христианин: так объясни же мне, объясни – я за этим только и приехала – кто я, и что во мне происходит.

Она крепко взяла меня под руку, крепко прижалась к моему плечу и горько беспомощно заплакала.

Говорить с ней в таком состоянии было невозможно. Я как мог успокоил ее и сказал, что обо всем этом мы с ней еще поговорим, когда она отдохнет и придет в себя. Встав со скамейки, мы медленно пошли домой, где все уже беспокоились о нас.

Поначалу мама чувствовала себя в Дрездене ужасно, упрекала себя в том, что бросила московских детей, страдала от невозможности ежедневно, ежечасно видеть меня, опасалась, что сестра исполнит свое изначальное намерение и вернется в Москву, боялась педантичной аккуратности и бездушной красоты своей хозяйки, шумных улиц, бесконечных автомобилей и больше всего того, что она потеряет ключ от своей квартиры.

Несмотря на то, что Германия в 1925-м году жила вполне благоустроенной, быстро входящей в свои берега жизнью, мама находила эту жизнь ужасной – скучной и убогой. Все женщины казались ей безвкусно одетыми мещанками, а мужчины – переодетыми в штатское фельдфебелями; она постоянно возмущалась западно-европейским педантизмом и поголовной жадностью к деньгам и с нежностью вспоминала своих русских бессеребреников: парикмахера Ивана Ильича (работавшего у Орлова на Тверской), который всегда стеснялся брать начаи, а в революцию не

раз выручал маму, когда у нее нехватало денег на добывание провизии для пансиона, свою портниху Марью Константиновну и нашу верную Машу. Находила она также, что во всем Дрездене нет белых телячьих котлет, а в дрезденской опере от природы поставленных голосов. Спорить с ней не приходилось: после всего пережитого в России ее нервы находились в явно расстроенном состоянии.

Через некоторое время ее настроение начало постепенно меняться. Успокоение началось с того, что, случайно познакомившись с известной в Дрездене учительницей пения, весьма своеобразной и талантливой женщиной, венгерски-цыганского облика и неукротимого темперамента, сестра решила брать у нее уроки и пока что не возвращаться в Москву. Вторым утешением было то, что, освоившись с профессурой, я стал почти ежедневно, хотя бы только на час, заходить к ней и часто бывать с ней в концертах и театрах. На моих лекциях она познакомилась с рядом интересных молодых людей. Эта талантливая молодежь сразу же заинтересовала ее и вскрыла ей новый для нее облик послевоенной Германии. Очень скоро в ее двух комнатах (она уже жила с сестрой на знаменитом курорте Weisser Hirsch) стали появляться милые, духовно тонкие девушки, молодые женщины и юноши, иногда с томом Рильке, иногда с только что вышедшим

немецким переводом моего «Николая Пе-реслегина» в руках.

Оторванная войной и революцией от буржуазного благополучия и христиански-фарисейского миросозерцания своих родителей, сложно взволнованная Россией и коммунизмом, зачитывающаяся «Бесами» Достоевского и «Двенадцатью» Блока, отравленная героизмом войны и не находящая себе места в бездейственной веймарской демократии, жаждущая личного счастья, но не могущая надеяться на него,

ввиду страшных потерь на фронте и общей бытовой и хозяйственной разрухи страны, готовая на свободные сожительства, но не согласная на отделение пола от любви и духа, молодежь эта искала у мамы, много пережившей, перестрадавшей и передумавшей, утешения и совета, а то и просто уютного чаепития и живой непринужденной, непривычной для них в их родительских домах беседы.

Исключительная мамина чуткость ко всему происходящему вокруг нее, свойственный ей дар проникновения в чужие души, ее живой, почти беллетристический интерес к сложным человеческим судьбам, ее твердость в ведении шатающихся сердец и, главное, ее юношеская, почти революционная горячность в общении с людьми и идеями, с невероятной быстротой сближали ее с жаждущими верного водительства и не находящими своего пути душами.

Следя за подъемом маминой жизни, за расцветом ее третьей молодости (вторую она переживала в годы нашего с братом студенчества) я не раз недоумевал, как она, внутренне раздвоенная, сама с собой не справляющаяся, в сущности ни во что твердо не верящая, могла с недоступной мне уверенностью, а подчас с самоуверенностью «раскрывать людям глаза» и вести их «по единственно правильному пути». Может быть, объяснения надо искать в том, что она только до тех пор верила себе, пока чувствовала веру людей в себя: своею постоянною горячею проповедью она спасла себя от холода своего одинокого неверия и, быть может, даже и отчаяния.

От того же одиночества спасалась она музыкой: как-то раз мы были с мамой на большом симфоническом концерте. Дирижировал не только знаменитый, но и вдохновенный Фуртвенглер. Последним номером программы значилась Шестая Симфония Чайковского.

Никогда не забуду, с какой предельной потрясен-ностью слушала мама «исповедь своей души», как она еще в Москве, после концерта Никиша, назвала предсмертное творение несчастного Чайковского.

Сначала она сидела с опущенной головой. Ее лицо было

исполнено скорби и страсти. Изредка она вскидывала свою по-мужски остриженную, тщательно завитую серебряную голову. Временами начинала, сама того не замечая, дирижировать лежащей на коленях правой рукой в белом кружевном рюше, которым заканчивался узкий рукав ее сознательно старинного черного шелкового платья.

После минутного перерыва Фуртвенглер снова гипнотически простирает руки к оркестру и с его нервных тонких пальцев магически льется в зал знакомая мелодия почти сентиментального вальса, не кажущегося таковым лишь потому, что душа еще полна предшествующих трагических звуков.

Я смотрю на маму и не узнаю ее: у нее совсем молодое, просветленное лицо, скорбные глаза полны мечты об обманувшем ее счастье.

– Нет, никак не думала, сидя под револьвером громил, – говорила мне после концерта мама, – что в душе окажется столько неизжитых сил. Если бы ты знал, как меня сегодня взволновал мой любимый Чайковский. Объясни мне, что со мною происходит? Ведь тогда, в Касимовке, я реально пережила смерть. Как же понять, что, пережив это, я снова влекусь к каким-то романтическим призракам? Как я завидую твоей зрелости. Ты еще совсем молодым писал мне с фронта, что романтики лишь знают муку о вечности, но, в отличие от верующих, не знают спасения в ней. Но что же мне делать, родной, когда близость к вечности я чувствую лишь в искусстве, главным образом, в музыке, причем в Бетховене, Шумане, в Реквиеме Верди и в Чайковском в гораздо большей сте

пени, чем в Бахе и Генделе; в церкви же, в особенности когда пытаюсь молиться, начинаю спорить с Богом и удаляться от него.

Она тяжело вздохнула и замолчала. Потом, как-то не в тон своему самобичеванию и даже с некоторым вызовом, тихо стала напевать своим все еще изумительным по тембру голосом еще звучавший в ней вальс Чайковского.

Несмотря на неожиданный подъем души и жизни, мама не переставала тосковать по Москве, вернее по оставшимся в ней детям. Из Москвы писала только одна сестра и то очень скудно и безлично. О происходящем в России из ее писем нельзя было ничего узнать. Это молчание очень удручало маму, так как она выехала в уверенности, что скоро вернется вместе с нами домой. В том, как все произойдет, она не отдавала себе отчета, но в своей безотчетной вере была решительно непоколебима. Только эта вера давала ей возможность без больших угрызений совести жить в Дрездене тою жизнью, которою она жила.

Начатая Гитлером против России война в первый раз в жизни

серьезно разъединила нас Я, вместе со своими парижскими друзьями, оказался в лагере убежденных оборонцев; мама – в противоположном пораженческом лагере; правда не надолго. Как только она поняла, что «погромщику» Гитлеру, «фантазеру и истерику», как она со временем стала называть его, никогда не освободить России, она со свойственной ей решительностью, окончательно отвернулась от него и, навсегда похоронив свою мечту о возврате в Москву и о свидании с детьми, с горечью перешла на мои позиции.

Кончив работать, я каждый вечер часа на два заходил к маме (она уже давно жила с нами, так как лишенный, по политическим причинам, кафедры и права устных и печатных публичных выступлений, я

не мог оплачивать отдельной квартиры для нее, выпить традиционную чашку чаю и поговорить о самом для не близком и дорогом: о нашем с ней далеком прошлом.

Грустной нежности и горькой боли этих вечеров у круглого стола, перед большим диваном с целой галереей семейных портретов и Касимовских фотографий над ним, мне не передать никакими словами.

Грустно и больно было мне оттого, что, слушая мамины рассказы о пятилетнем Феденьке в синем полушубке, отороченном серым барашком, с которым она гуляла в Кондрове, о Феденьке-гимназисте, с которым слушала пасхальный звон на террасе в Малаховке, о Федоре-студенте, которого она навещала в Гейдельберге, и о лекторе Федоре Степуне, которого она сопровождала в Нижний Новгород и в Пензу, я всем своим существом чувствовал и понимал, что ее надо спасать от обуревающих ее воспоминаний, которые, как вампиры, высасывают из сердца последние соки жизни и ссорят ее с настоящим, которым она еще так недавно полно и заинтересованно жила. Но что я ни говорил, что ни делал – все скорее раздражало, чем успокаивало ее. Как я ни убеждал ее прекратить неравный бой со временем, колеса которого не поворачиваются вспять, и вернуться в настоящее, она на все отвечала упреком в том, что я хочу лишить ее последней радости, ради которой она готова на любые муки.

Вспоминая последние годы нашей московской жизни, мы как-то вспомнили выступление Вячеслава Иванова в Литературно-художественном кружке, после которого мама, одно время увлекавшаяся поэтом, учинила чуть ли не настоящий скандал будущему советскому послу в Париже Потемкину за его тенден

циозное и неуважительное возражение великому ученому и гениальному поэту.

А знаешь, – сказал я, постоянно озабоченный маминым душевным состоянием, – что Вячеслав Иванов в своей поэме «Деревья» высказал, быть может, наиболее глубокие мысли на тему, о которой мы с тобой так часто говорим: на тему о двоякой памяти – созидающей и разрушающей жизнь.

Нет, не знаю, – заинтересованно ответила мама, – прочти пожалуйста.

Я принес «Записки мечтателя» и прочел всю поэму, начинавшуюся строфой:

Ты, память, муз вскормившая, свята. Тебя зову, но не воспоминанье…

Мама с изумительной для почти восьмидесятилетнего человека быстротой и точностью поняла трудное ивановское различие между памятью, прохладной усыпальницей наших изъятых из времени и уже вовеки нетленных в своей преображенности переживаний, и тревожащими душу воспоминаниями-привидениями, требующими возвращения в жизнь и тем грозящими ей разрушением. Но тут же, не щадя своего Вячеслава Иванова, со страстью обрушилась на его «мистическую гигиену», на его «музей-санаторий», где по стенам благообразно развешаны картины прошлого для безболезненного наслаждения и вящего назидания потомству.

Нет, ей вечной, да еще светлой памяти не надо; она хочет воспоминаний живых, горячих, трепетных и даже разрушительных. Разрушения своей души ей бояться не приходится, так как она только тогда и живет, когда умирает от тоски по прошлому.

Этот, во всех своих подробностях навек запомнившийся мне страшный разговор, был моей последней попыткой спасти маму от наступающего на нее

душевного недуга, наследственной тяжелой меланхолии. После этого разговора я подчинился маме, отказался от всякой педагогики и питал ее тем разрушительным счастьем, которого она только и жаждала. Наши вечера воспоминаний превратились для нея в наркотики; прав ли я был, я не знаю, но в те трудные и скорбные дни я не видел иного исхода ни для нее, ни для себя.

Втайне души своей мама все же ждала Божьей помощи: на ночь подолгу читая Евангелие, пыталась молиться, но не могла, так как не могла прекратить своей тяжбы со Всемогущим Богом, в любовь которого к человеку она не верила. Мои богословские размышления о связи зла со свободой воли она по-прежнему называла богословски-юридическим крючкотворством.

Несмотря на такие настроения, она охотно беседовала со священниками. Никогда не лечась, она также всю жизнь любила

разговаривать с врачами. У нее часто бывал очень тонкий человек, глубокий богослов, горячий приверженец литургического движения в протестантизме, пастор де-Гааз. Кроме него, заходил к ней и священник нашей дрезденской церкви, отец Михаил, человек светлой веры и горячей души, которого мама очень любила за то, что он, не пытаясь переводить ее в православие, искренне старался облегчить ее душевные муки и благотворно действовал на ее бунтарскую душу.

О глубине и таинственности маминой связи с отцом Михаилом мы узнали уже после ее смерти. Почувствовав на утреннем молитвенном поминании, что для «дорогой Марии Федоровны» приходят последние сроки (отец Михаил был к тому времени переведен в Берлин), он прислал к нам приходскую сестру справиться о мамином здоровье и передать ей пакетик

настоящего кофе, очень по тому времени ценный подарок.

Узнав о маминой смерти, о. Михаил немедленно приехал к нам и тут рассказал, что мама взяла с него слово быть на ее похоронах.

Вероятно, то тяжелое, временами явно больное душевное состояние, в котором мама находилась в последние четыре месяца до своей смерти, носит у психиаторов вполне определенное латинское название. Меня это мало интересовало. Для меня мамина ненормальность заключалась в ежедневно возрастающем в ней и в сущности вполне мне понятном нежелании жить, а потому и в нежелании считаться с надоевшими ей правилами неискреннего человеческого общения. Наблюдая за ней, за ее замыканием в себе, я иной раз думал, не есть ли полное одиночество корень всякого безумия? Мамино одиночество выражалось главным образом в том, что она стала вдруг со всеми абсолютно откровенна и тем всех отпугивала от себя; так призванному мною врачу психиатору, который, считая ее истеричкой, неожиданно повысил на нее голос, она совершенно спокойно посоветовала бросить медицину и поступить в полицию; другому, милому, тихому, лирическому психиатору, который в таинственном полумраке своих успокоительно обставленных комнат, лечил ее смесью психоанализа и гипноза, она с лукавой улыбкой заметила, что охотно ходит к нему и понимает, что главный двигатель его практики деньги, а основной метод – шарлатанство. Доктор так опешил, что откровенно признался мне, что мама как пациентка ему не под силу. Такие же вещи говорила она и мне и Наташе.

За последние месяцы маминой жизни между нею и мною начали складываться какие-то совсем новые отношения. Предчувствуя близость смерти, мама все нежней, все ревнивей

относилась ко мне. Но несмот

ря на эту растущую любовь, она все ощутимее отходила от того пятидесятисемилетнего человека, которым я жил рядом с ней, и все горячее привязывалась к тому мальчику, студенту-подростку Феденьке, которого она постоянно искала, но, как ей казалось, все реже находила во мне. Иной раз в разговорах с нею я с болью чувствовал, что она скорбит о том, даже сетует на меня за то, что вот я вырос, что изменил свой внешний облик и свой внутренний мир. В такие минуты она даже и мне могла говорить вещи, в которых потом горько каялась.

Нет чувства более тяжелого, чем чувство полной беспомощности перед страданиями бесконечно дорогого тебе человека. При всей своей любви, при всем своем жизненном опыте, я ничем не мог помочь ма? ме, а вот пятилетний Феденька, если б он только мог, верхом на палочке, неожиданно вбежать в ее дрезденскую комнату, сразу вылечил бы ее от всех бед.

Недель за шесть до смерти мне удалось уговорить маму пройтись прогуляться: уж очень хорош был осенний день, уж очень давно она не дышала свежим воздухом. По дороге я предложил зайти к соседям, милым людям, которые ей нравились и к которым она до болезни охотно заходила. Хотелось хоть на самое короткое время развлечь ее, снять с ее души постоянно лежащий на ней гнет. К моему удивлению, мама сразу же согласилась.

При входе в переднюю мы услышали приглушенное радио. Низкий женский голос пел по-французски старинную песенку, очевидно, последний куплет. «Постой, постой, – внезапно оживилась мама, передавая горничной шляпу и перчатки, – это что-то очень, очень знакомое». Войдя в гостиную, она наскоро поздоровалась с хозяйкою дома, очаровательной французской швейцаркой, известной в молодости певицей, и ее мужем, датчанином, и быстро подошла к роялю.

Ее тяжелое, уже омраченное болезнью лицо неожиданно порозовело, скорбная глубина глаз вдруг просветлела и с губ слетела пленительная улыбка. Опустив руки на клавиатуру, как будто в забытье она быстро подобрала аккомпанимент и совершенно очаровательно, игриво и грустно спела, не пропустив ни одного слова, все четыре куплета старинной французской песенки, которую она десятилетней девочкой слышала, взобравшись на дерево у забора Летнего сада, где пела знаменитая французская шансонетка.

Хозяева были в восторге, как от маминого пения, так и от живости, с которой она, после своего неожиданного выступления, рассказывала за чайным столом о своем сиротском детстве, о

бесшабашных старших братьях, о старой Москве и особенно почему-то подробно о том потрясающем впечатлении, которое на балу у Сухотиных, во время мазурки (ей шел уже двадцатый год) произвело на всех присутствовавших внезапно пришедшее известие об убийстве Александра Второго.

Провожая нас, хозяева поздравляли меня с очевидно наступившим переломом болезни, с начавшимся выздоровлением. Это было, конечно, большой ошибкой. Признаком выздоровления могло бы быть лишь проявление хотя бы малейшего интереса к настоящему и будущему, а никак не полное погружение в прошлое. Ведь в этом погружении и состояла, личными мамиными свойствами предельно обостренная общебеженская болезнь – ностальгия, особенно опасная у активных политических эмигрантов, не понимающих, что мечтательный вальс «Невозвратное время» не превратим в воинственный марш «Счастливое будущее».

Умерла мама в сущности без диагноза. Пользующие ее врачи не находили никакой определенной болезни. Лишь за три дня до смерти поднялась тем

пература, начиналось как будто бы воспаление легких.

Вспоминая во всех подробностях историю маминой болезни, я не мог отрешиться от мысли, что она своим нежеланием жить сама погубила себя. Сначала она наотрез отказалась выходить из дому, говоря, что ей опротивели человеческие лица, потом отказалась выходить из своей комнаты и принимать людей у себя. Докторов она встречала страшным протестом, не отвечала на их вопросы и не разрешала выслушивать себя, говоря, что ей выздоравливать не за чем.

Сильное ухудшение началось с отказа принимать пищу. Лишь хитростью и ловкостью удавалось Наташе питать ее. Изнурив себя недоеданием, мама без признаков физической болезни легла в постель. Ее расстроенный долгой жизнью, многими родами и болезнями, но от природы очень сильный и здоровый организм, длительно не подчинялся ее разрушительной воле, но постепенно начал сдаваться. Одновременно с убылью физических сил, шла убыль и душевных – не сдавались только три чувства: безумная любовь к детям, в особенности, ко мне, упорное нежелание жить и непередаваемый ужас перед смертью.

Тех замученных, испуганных глаз, с которыми она умоляла меня не засыпать, когда я на ночь устраивался у нее на диване (сестер милосердия мама к себе не допускала) мне никогда не забыть, разве только перед смертью, когда и у меня, быть может, будут такие же глаза. Самое страшное в смерти – это предсмертное прохождение через полное одиночество.

Сидя у постели умирающей матери и навсегда прощаясь с ней, я с беспредельной тоскою смотрел на ее прекрасную голову, на ее лихорадочное лицо в высоких подушках. Спала ли она, или только делала

вид, что спит, бредила ли во сне, или в тяжелой полудремоте разговаривала сама с собой – я сказать не могу.

Ничего смутного, бредового в ее последних словах не было. Но не было странным образом ни одного слова о детях и о Москве. Очевидно, мама умирала в полном отрешении от прожитой жизни, умирала в напряженном созерцании последнего, еще предстоящего ей на этой земле события: своих собственных похорон. Она шопотом кому-то рассказывала об этом – ей виделся яркий, осенний день, обилие цветов вокруг гроба. Вероятно ей слышалась и музыка – изредка она приподнимала голову и как будто к чему-то прислушивалась.

Последние три дня мама уже ничего не говорила, только тяжело дышала; мы думали, что она находится в бессознательном состоянии. Но это оказалось неверным: когда Наташа нагнулась к ней, чтобы поправить подушку, по ее лицу пробежала тень недовольства, как бы скорбная досада, что ей помешали в чем-то большом и важном. Мне вспомнились торжественные слова Жуковского на смерть Пушкина:

Что-то сбывалось над ним…

И спросить мне хотелось: что видит?

Хотелось спросить и мне, – я и спрашивал несколько раз – но мама молчала, быть может от того, что предсмертные видения невыразимы на нашем человеческом языке.

Отошла мама без последнего взгляда, без последнего слова, даже без последнего вздоха, незаметно перестала дышать и погасла.

Я всем говорил и писал о тихой, безболезненной кончине, но была ли эта кончина такой – я не знаю. Ведь мы, остающиеся, переживаем смерть, как спускающийся над жизнью занавес; того же, что поды

мается за ним в душе умирающего нам постичь не дано. В этой непостижимости смерти и коренится наш неизничтожимый страх перед ней…

Несмотря на полицейские законы, покойница целых трое суток оставалась у нас в квартире. Со стен опустевшей комнаты на нее, без малейшего изменения лиц, смотрели портреты детей и друзей.

Сообщить о маминой смерти в Москву во время войны было невозможно, осталось невозможным и после окончания войны.

Я и днем и ночью подолгу просиживал у гроба, внимательно

всматриваясь в непрерывно меняющееся лицо умершей, от которого исходил ни с чем несравнимый потусторонний холод. Эти быстрые изменения были не только разрушением знакомого лица, но и созиданием нового, более молодого, светлого и как будто бы даже более живого. Хотелось верить, что умершая уже видит перед собою тот кроткий, любящий Лик Божий, в который при жизни, как ни старалась, не могла поверить.

Большой помощью в эти тяжелые дни было присутствие отца Михаила; он приехал на следующий же день после смерти мамы и целую неделю прожил у нас. Не знаю, как бы я дожил до похорон без его тихих панихид и полуночных чтений.

День похорон выдался таким, каким он предчувствовался мамой: теплым, светлым, поздне-осенним днем. Просторная кладбищенская часовня была полна народу: присутствовала почти вся русская колония и все наши немецкие друзья и знакомые – профессора, художники, музыканты и очень много молодых женщин и девушек. Все были искренне тронуты, взволнованы, многие глубоко потрясены. Безразличных посторонних лиц и обычных оживленных разговоров в конце траурной процессии на маминых похоронах не было. Это было ее большой и личной заслугой.

Хоронил я маму по протестантскому обряду, стараясь придать ему тот утраченный современностью строгий характер, за который Тютчев так любил богослужения лютеран:

Я лютеран люблю богослуженье, Обряд их строгий, чинный и простой-Короткое органное вступление, виолончельное соло Баха, проповедь бледного, строгого, узколицого пастора на душевно-близкую мне тему «Верую, Господи, помоги моему неверию» и снова Бах в исполнении органа.

Особенностью маминых аскетически-строгих похорон было то, что у изголовья утопающего в цветах гроба стоял весь просветленный, светловолосый отец Михаил.

Так как для меня всегда было нечто непреодолимо грустное и тревожное в том, что протестантизм не знает молитвы об усопшем, я испытывал большое утешение от присутствия отца Михаила. В то время, как пастор глубокомысленно говорил о трагедии маминой религиозной психологии, отец Михаил про себя молился о ее упокоении со святыми, прося Бога сотворить ей вечную память.

По окончании службы покрытый венками гроб медленно выплыл из прохладно-мрачной часовни в яркий, багряно-синий ноябрьский полдень. Перед гробом сосредоточенно шел в черном облачении пастор де-Гааз, – а за гробом светлый восторженный отец Михаил. За ним мы с Наташей и самые близкие мамины и

наши друзья, не всегда одни и те же. За нами шли густой колонной все остальные.

Стоя на песчаном холмике перед открытой могилой, в которой виднелся гроб, де-Гааз сказал несколько напутственных слов, прочел еще раз «Отче наш» и первым протянул руку к плетеной корзиноч

ке, в которой находилась та сезонная смесь осенних цветов, елочьих лапок и иммортелей, которую, в оскудевшей символическим мышлением Европе, легковесно бросают в могилу, не замечая, что падающие на крышку гроба веточки не порождают отзвука могилы на наш последний обращенный к умершему прощальный привет.

За пастором стали подходить все остальные. Немцы, вслед за пастором бросали в могилу цветы и веточки, русские нагибались и бросали на крышку гроба по три пригоршни земли.

Вдруг на ярко залитом солнцем молодом дубе, под которым была вырыта мамина могила, внезапно раздалось смелое и громкое пенье какой-то неизвестной мне по имени, но с детства знакомой по мелодическому посвисту, птицы. Папа, вероятно, сразу же назвал бы ее.

Это было настолько неожиданно, что все переглянулись и стали прислушиваться к пению.

– А знаете, это ведь не спроста, – подошел ко мне отец Михаил. – Недаром Мария Федоровна родилась под Благовещение и с детства любила выпускать пташек на волю, сколько раз она мне это рассказывала. Вот она и прилетела за всех поблагодарить покойницу.

Я с глубокой благодарностью посмотрел на отца Михаила и живо увидел перед собой шумно торгующую Трубную площадь, а на ней, рядом со своими озорными братьями, страстно увлекавшимися голубиной охотой, турманами и чужаками, тихую, круто-плечую девочку с высоким умным лбом и большими печальными глазами, взволнованно покупающую на подаренный полтинник двух жаворонков и тут же выпускающую их на волю: «летите, летите». Она никого и ничего не видит и в восторге хлопает в ладоши…

О своей любви к птицам, к их песням и крыльям, мама не раз рассказывала мне, в последний раз в день своего восьмидесятилетия, причем мне всегда казалось, что ее страстная любовь к птичьей воле была лишь обратной стороной ее ненависти ко всяческого рода угнетению. Она была не только свободолюбивым, но и анархически своевольным человеком. Всякое подчинение претило ее душе. Быть может она и Бога не принимала потому, что боялась подчиниться Ему.

Хотя мама умерла на 81-м году жизни, за четыре года до изничтожения Дрездена английскими бомбами и захвата его большевиками, то есть умерла по человеческому разумению – во время, ее смерть вечным мраком легла на мою душу.

Пожилой человек, теряющий мать, сразу же вплотную приближается к смерти.

Большие события часто подкрадываются неслышною поступью; вдруг пересекают дорогу. Так случилось и с нами. Отстояв в Московском Земотделе Ивановку, мы с Наташей рассчитывали на первую, после революции, спокойную зиму.

Но вот кто-то случайно принес с почты письмо от моей сестры из Москвы. Сестра писала, что в нашей комнате был обыск, но, что кроме журнала с портретом Керенского и моей статьей, ничего предосудительного не нашли; после обыска ее и некоторых жильцов допрашивали о том, у кого мы с Наташей бываем, приезжая в Москву и кого принимаем у себя.

В приписке сестра сообщала, что такие же обыски были за последние дни произведены у целого ряда философов и писателей, что по Москве ходят слу

хи, будто бы «религиозников» и «идеалистов» будут в ближайшее время высылать за границу, скорее всего в Германию.

Через несколько дней пришел вызов в Чека. Сразу же почувствовалось: что-то переломилось в жизни, что-то кончилось и что-то началось, но что? Как ни заманчива была высылка в свободную Европу, она все же не радовала. За годы революции душа крепко привязалась к Ивановке, к дому, к саду, ко всем ее обитателям, с которыми было столько пережито тяжелого и страшного, но и радостного, светлого. Был я также почему-то уверен, что если вышлют, мы по возвращении не застанем в живых ни моей матери, ни Наташиных родителей.

Возникали и другие вопросы: разве можно верить Чека? Разве можно знать, не сознательно ли пущен слух о высылке, чтобы вынудить откровенные признания; да и зачем высылают? Быть может, предложат взять на себя некоторые обязательства по научно-философской защите Советов перед общественным мнением Европы? Да и всех ли выпустят? Быть может, Бердяева, Булгакова, Франка в самом деле отправят заграницу. При своем ярко антисоветском настроении, они все же никогда действенно не боролись с большевизмом, только писали против него; но выпустят ли меня?

По приезде в Москву я в первый же день случайно встретился с Николаем Александровичем Бердяевым. Наскоро поздоровавшись, он взволнованно, но скорее радостно, чем

устрашенно, сообщил мне, что подготовляется высылка за границу целого ряда религиозных философов, экономистов-кооператоров и еще некоторых, в наших кругах мало кому знакомых лиц. Лично ему известно, что, кроме него, на допрос в Чека уже вызваны Сергей Николаевич Булгаков, профессора Франк и Ильин, Букшпанн и Гольдштейн, но

что последние два, кажется, не хотят ехать и возможно добьются разрешения остаться в Москве. О том, что вызываюсь, а потому, вероятно, высылаюсь и я, Николай Александрович еще не знал. Когда я сообщил ему, он посоветовал зайти к приват-доценту Мише Гольдштейну, который располагает, как он слышал, некоторыми дополнительными сведениями. Идти за этими сведениями, однако, не понадобилось. На следующее утро уже вся Москва знала все подробности: и то, кто высылается, и то, что в немецком посольстве уже получены визы, и даже то, какие высылаемым будут предложены вопросы на допросе в Чека. Отправляясь на Лубянку, я таким образом, уже знал, что буду, по всей вероятности, спрошен: 1) о моем отношении к советской власти, 2) к учению Карла Маркса и Ленина, 3) к смертной казни и 4) к эмиграции. Сведения эти были весьма утешительны: анкетно-идеологический допрос был лично для меня гораздо менее опасен, чем расследование моего социального происхождения и политического послужного списка в годы войны и революции: тут я мог бы легко попасть в очень затруднительное положение.

На допрос мы с Наташей двинулись пешком: спешить было некуда, да и хотелось как можно дольше побыть вдвоем. Как всегда в трудную и опасную минуту жизни, Наташа была вполне спокойна и сдержана, но внутренне очень взволнована. Дорогой мы почти не говорили друг с другом. За ночь все уже было продумано, решено и сказано.

В переднюю Чека, куда, странным и по нынешним временам непонятно либеральным образом, впустили вместе со мной и не вызываемую на допрос Наташу, мы просидели, может быть, час, а, может быть, и два. Помнится, за нами никто не следил и мы вполголоса разговаривали друг с другом. Какой-либо особой зловещности в атмосфере не чувствовалось.

По истечении каких-то сроков, ко мне подошли два вооруженных человека и предложили последовать за ними. Наташина просьба, нельзя ли ей присутствовать при допросе, была отклонена. Все же ей было разрешено ждать моего возвращения в передней.

Меня вели очень долго. Мы из третьего этажа спускались во второй и из второго снова подымались в третий; мне казалось,

что мы по нескольку раз в разных направлениях, проходили мимо одних и тех же дверей. Очень хотелось спросить, с чего это мы крутим по лабиринтам, но я воздержался: лица моих спутников не располагали к интимной беседе.

В конце концов, меня привели в небольшую комнату, из которой я не раньше, как часа через два, попал в соседнюю, где за канцелярским столом сидел довольно простоватый человек лет тридцати, с вялым лицом, слегка вьющимися волосами и, как впоследствии выяснилось, с раненою на войне ногою. Какой-либо неприязни он ко мне, видимо, не испытывал. После обыкновенного установления дат рождения, происхождения и образования, он подал мне лист, на котором были напечатаны три вопроса, мне уже известные: 1) каково ваше отношение к Советской власти, 2) каково ваше отношение к смертной казни и в 3) каково ваше отношение к эмиграции?

Дух, стиль и, до некоторой степени, даже содержание ответов мною были уже продуманы. Я решил отвечать вполне откровенно, но мягко, без задора и каких бы то ни было резкостей, не как политический борец, каким я себя после провала Февраля уже не считал, а как пассивный, но честный и неподкупный созерцатель происходящих событий.

Придерживаясь такого решения, я и написал: 1) как гражданин Советской федеративной республики, я отношусь к правительству и всем партиям безоговорочно лойяльно; как философ и писатель, считаю

однако, большевизм тяжелым заболеванием народной души и не могу не желать ей скорого выздоровления;

Протестовать против применения смертной казни в переходные революционные времена, я не могу, так как сам защищал ее в военной комиссии Совета рабочих и солдатских депутатов, но уверенность в том, что большевистская власть должна будет превратить высшую меру наказания в нормальный прием управления страной, делает для меня всякое участие в этой власти и внутреннее приятие ее – невозможным;

Что касается эмиграции, то я против нее: не надо быть врагом, чтобы не покидать постели своей больной матери. Оставаться у этой постели естественный долг всякого сына. Если бы я был за эмиграцию, то меня уже давно не было бы в России.

Не помню, чтобы мои ответы вызвали какое-либо неудовольствие, или удивление со стороны следователя, если он вообще таковым был. Кажется, лишь по долгу службы он предложил мне без всякого внутреннего участия в деле, два дальнейших, уже устных вопроса – о моем отношении к марксизму и о задаче русской интеллигенции.

Как помнится, ответ мой сводился к тому, что я уже и тогда думал о марксизме и что и сейчас о нем думаю: «Капитал» Маркса представляет собою остро продуманный и в общем верный социологический анализ капиталистического строя Европы, но, превращать социологическую доктрину марксизма в применимую ко всем временам и народам историософскую доктрину, нет никакого смысла и основания. В России марксизм победил, впрочем, не как отвлеченная философская доктрина, но как захватившая народную душу лжевера. Задача русской интеллигенции распутать эту путаницу. Верить надо в Бога, а не в Карла Маркса; марксистским же анализом исторических грехов капи

талистического строя надо пользоваться для построения свободолюбивого социалистического общества.

Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что мои мысли пришлись по вкусу моему следователю. Что-то промелькнуло между нами, что-то сблизило даже и, к концу допроса, мы уже довольно дружелюбно беседовали о фронте и о трагедии солдатской революции. Расстались мы настолько «дружественно», что следователь попросил меня прислать ему мою, только что вышедшую книгу: «Письма прапорщика-артиллериста», что я и исполнил, ради предосторожности за несколько часов до выезда заграницу. Книжку свою я даже надписал.

Кто был мой следователь – я не знаю, но что в Советской России были когда-то возможными такие следователи, мне теперь почти что не верится. Если бы я прочел описание моего допроса в книге неизвестного мне автора, я, наверное, подумал бы, что автор скрытый «болыневизан».

По окончании допроса, мне были для подписи предъявлены два документа. В одном говорилось о том, что в случае нелегального возвращения в РСФСР я подлежу высшей мере наказания. Во втором ставился вопрос: предпочитаю ли я ехать на свой счет, или, как говорилось в старину, на казенный. Над первым документом думать было нечего и я его сразу же подписал. Второй таил в себе ряд подводных камней. Хотелось, конечно, ответить, что поеду на свой счет, так как не было твердой уверенности, что казна благополучно довезет меня до Берлина, а не затеряет где-нибудь по пути. Но, как написать «на свой счет», когда в кармане нет ни гроша? Подумал, подумал и написал: «на казенный». Прочитав мой ответ, следователь деловито сообщил, что ввиду моего решения ехать на средства государства, я буду пока что препровож

ден в тюрьму, а впоследствии по этапу доставлен до польской границы. Услыхав это, я взволновался: ,

Простите, товарищ, в таком случае – еду на свой счет. Я думал, что вы повезете меня на средства государства, а вы хотите так устроиться, чтобы моя высылка не стоила вам никаких средств. Это дело совсем другое.

Ну, что же, – благожелательно отозвался следователь, – если хотите ехать на свой, то так и пишите. Вот вам чистый бланк, но только знайте, что, собираясь ехать на свои деньги, вы должны будете подписать еще бумагу, обязующую вас уже через неделю покинуть пределы РСФСР.

Делать было нечего и я подписал. После этого следователь сообщил мне, где и когда будут вручены мне заграничные паспорта и я с тем же караулом, который вел меня к следователю, но, кажется, более коротким путем, был возвращен в переднюю, где меня уже четвертый час дожидалась, бледная как смерть, Наташа.

Узнав, что все оказалось правдой, что я, действительно, высылаюсь заграницу, что мы может быть уже через две недели окажемся в Берлине, она, странным образом, не обрадовалась, а лишь успокоилась: что высылают – грустно, но что не ссылают, конечно, счастье; заграницей не надо будет ежедневно бояться доносов, тюрьмы и ссылки. В таких раздвоенных, почти что растерянных чувствах, пришли мы к себе на Никитскую, попили чаю, отдохнули и, вооружившись бумагой и карандашом, стали считать, сколько нам необходимо денег на выезд и сколько мы можем выручить от продажи вещей, которые все равно нельзя будет везти. Разрешалось взять: одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок. Вот и все. Золотые вещи,

драгоценные камни, за исключением венчальных колец, были к вывозу запрещены; даже и нательные кресты надо было снимать с шеи. Кроме вещей, разрешалось, впрочем, взять небольшое количество валюты, если не ошибаюсь, по 20 долларов на человека; но откуда ее взять, когда за хранение ее полагалась тюрьма, а в отдельных случаях даже и смертная казнь.

Как мы ни считали, как дорого в мечтах не продавали что можно было продать, (мою и Наташину шубы, пары три стоптанных валенок, сажень сухих дров) было ясно, что обернуться своими силами нам будет невозможно, что надо занимать деньги, но где и у кого? Вопрос казался почти неразрешимым, во всяком случае, неразрешимым в тот короткий срок, который нам оставался до обязательного выезда. Надо было прежде всего, во что бы то ни стало, продлить этот срок. Сообразив, я решил на следующий же день отправиться в

немецкое посольство, рассказать все как есть и слезно просить, чтобы мне до тех пор не давали визы, пока я не скажу, что могу ехать. В посольстве меня очень любезно принял некий доктор Г. (с благодарностью храню в памяти его имя). Выслушав меня, он тут же вызвал начальника канцелярии и отдал ему распоряжение о задержке моей визы. В случае запроса со стороны комиссариата внешних дел о причине задержки, он просил немедленно доложить ему, дабы он ссылкою на Берлин мог уладить дело.

Прощаясь с доктором Г. и сердечно благодаря его за сочувствие, я вдруг увидел за его спиной зеленые холмы Оденвальда и стены Гейдельбергского замка. В эту же минуту доктор Г. превратился в молодого, студента корпоранта, с которым мы встречались на лекциях историка Маркса. За минуту совсем чужие друг другу, мы вдруг стали старыми знакомыми: начали вспоминать знаменитых профессоров и отыскивать общих знакомых среди студентов. Оживившийся

доктор Г. предложил мне на следующий же день зайти поужинать и побеседовать о Гейдельберге.

Войдя в сопровождении почтительного лакея в теплую, светлую, заново отделанную гостиную, я не без некоторого удивления почувствовал, до чего я отвык от того, что некогда было и моей жизнью, до чего опростился и даже опустился за долгие годы окопного сидения и революционной неприкаянности в холодных, часто угарных комнатах вместе с голодными крысами и деревенскими тараканами. К простому, но показавшемуся мне в то время невероятно роскошному ужину было приглашено человек 5-6, из которых я никого уже не помню, кроме доктора Г. и красивого молодого барона фон-Бибра, ездившего курьером между Берлином и Москвой.

За столом прислуживала очень опрятная, благообразно-кроткая пожилая фрейлейн Кант, отдаленный потомок Кенигсбергского философа, что было и приятно и все же как-то неловко. После ужина мы перешли в кабинет. Появились вино, сигары, по комнатам поплыл синий, ароматный дым, в камине затрещали дрова и у всех до некоторой степени обострились мысли и развязались языки. Меня обо многом расспрашивали, что иностранцам казалось необъяснимым и даже невероятным. Я отвечал не без некоторой, уже вошедшей в плоть и кровь осмотрительности, но все же честно и откровенно, удивляясь тому, что где-то в мире есть еще такие люди, которым, не зная их ближе, можно без опаски высказывать свои мысли, веря, что они на тебя не донесут. Это было для меня совершенно новое и очень значительное переживание. За оживленными разговорами в немецком посольстве я впервые за свою советскую жизнь понял,

что живу в тюрьме, где перешептываются и перестукиваются лишь близкие друг другу родственники и друзья, есте

ственно считающие всех остальных людей за потенциальных врагов и предателей.

Прийдя домой, я подробно рассказал Наташе о проведенном в посольстве вечере. Снова проговорив всю ночь, мы под утро решили, что, как ни грустно покидать свое и своих, Россию и Ивановку, нам надо все же искренне благодарить судьбу за то, что перед нами распахнулись двери тюрьмы, что мы уже дышим воздухом свободы, без которого жить нельзя. С таким переломом в настроении, с таким, если и не обрадованным, то все же утешенным сердцем, я на следующий день с новыми силами приступил к отысканию средств на выезд.

Первым делом я направился к Шорам, рассказать как обстоят дела и посоветываться, как быть дальше. Пришел я к милым, радушным, всегда готовым каждому помочь и каждого выручить людям, довольно рано. Все еще сидели за утренним чаем. Олечка просматривала свои лекционные конспекты, а Александр Соломонович, известнейший на всю Москву настройщик и брат пианиста Давида Шора, собирал адреса своих клиентов. Клиенты эти были в большинстве случаев советские сановники, так как советские обыватели денег на настройщика уже давно не имели и играли, поскольку у них сохранились рояли и пианино, на безбожно расстроенных инструментах. Встречаясь запросто с женами сильных мира сего, Александр Соломонович никогда не упускал случая замолвить где можно доброе слово за невинно оговоренных и присужденных; иногда его заступничество имело успех. Мать Олечки, Роза Моисеевна, сидела за самоваром с какою-то книжкою в руке и прислушивалась к виолончели Юрия за стеной. Она души не чаяла в своем сыне и очень любила бархатный звук его инструмента.

Моему приходу в непривычно ранний час все изу

мились: на лицах появилось смешанное выражение радости и испуга.

Я быстро рассказал о допросе и об интересном вечере в немецком посольстве, заключив свое повествование как будто бы риторическим вопросом: «Можно ли у кого-нибудь достать необходимые на выезд 30 долларов?»

Вопроса моего, не в пример тому, как это часто бывает, когда заговариваешь даже с друзьями о деньгах, никто не испугался. В живых глазах Ольги Александровны сразу же заиграли какие-то соображения. Она подсела к матери и подозвала отца, который уже собирался уходить. Все трое сгруппировались на дальнем от меня краю большого обеденного стола и принялись полушопотом

обсуждать мое затруднение. Я же занялся своим кофе (такого вкусного мы дома не пили) и пододвинутою мне тарелкою с весьма солидными бутербродами. Через несколько минут, очевидно, наметилась возможность какого-то решения; Ольга Александровна без шляпы и пальто быстро вышла на лестницу. Я понял, что она пошла к своей, жившей этажем выше, тетушке, Анне Моисеевне Ковалевой, очень «вуаянтной», как говорили в семье Шоров, вдове генерала Ковалева и матери очаровательной Лелеч-ки. Похожая на своего русского отца, но и на мать, Лелечка производила впечатление прелестной неаполитанской цветочницы.

Вернувшись со светлым и торжествующим выражением лица, Олечка взяла меня под руку и повела наверх к тетке, в ее хорошо обставленную, всегда чисто прибранную, светлую квартиру. Анна Моисеевна встретила меня так же радушно, как час тому назад ее сестра, и тут же просто, ни минуты не кичась своей добротой, предложила, безо всякой заботы о скором возврате, взять у нее 50 долларов, иметь которые в те времена строго запрещалось и давать которые че

ловеку, только что заявившему на допросе, что денег у него нет, было большим риском, уак как Чека могла всегда заинтересоваться вопросом, откуда добыта валюта.

Сговорившись с Анной Моисеевной, что я через два дня зайду за деньгами и горячо поблагодарив ее и всех Шоров за чудодейственно-быструю и щедрую помощь, я, не теряя времени, побежал в посольство сообщить, что самое позднее через неделю приду за паспортом, а оттуда домой.

То, что Анне Моисеевне с дочкой удалось вскоре после нас выбраться в Берлин, а мне – вернуть ей долг, да еще в минуту, когда ее материальное положение было не блестяще, а доллары в инфляционной Германии стояли очень высоко, принадлежит к большим утешениям моей жизни.

Когда все, подлежавшие продаже вещи были наскоро за бесценок спущены на Сухаревке, а деньги и паспорта лежали уже в кармане, мы с Наташей поехали в Ивановку. Ярко помня до сих пор все мелочи нашего отъезда из Ивановки на войну, я лишь смутно вспоминаю прощание перед отъездом заграницу. Может быть это объясняется тем, что образы, наполняющие душу, вытесняются из нее лишь другими, и более яркими образами. Со словом «война» я не связывал никаких конкретных представлений; войны, идя на войну, перед собою не видел, она была не образом перед глазами, а мелодией. Забытое же слово «Европа», вдруг громко произнесенное судьбою, с такою силою всколыхнуло в душе спавшие в ней образы, что настоящее как-то

побледнело и рассеялось.

Боль разлуки, конечно, была, но не очень сильная. В те годы можно было еще переписываться с оставшимися и посылать им пакеты; оптимисты надеялись, что мы скоро вернемся, кое-кто из домашних даже со

ветовал Наташе не раздавать заготовленных на зиму запасов муки, крупы, дров – самим пригодится, когда вернемся, ведь самый длинный срок административной высылки, – указывали оптимисты, – три года. Когда я на это отвечал, что при большевиках мы вряд ли вернемся, а они могут продержаться еще очень долго, надо мной смеялись. Один только Николай Сергеевич в тон мне с горечью сказал: «Когда вас вернут, Федор, не знаю, знаю только одно, что я вас больше уже не увижу, мы с вами прощаемся навсегда». Вспоминая эти слова, я живо вижу идущего рядом с медленно тянущейся в гору пролеткой, милого Николая Сергеевича. Его небольшая рука лежит на заднем крыле экипажа, а все еще горячие, блестящие, не только от природы, но уже и от склероза, глаза с вопрошающею грустью смотрят на дочь и на меня…

За несколько дней до нашего отъезда (точный срок отъезда нам сообщили почему-то лишь в последнюю минуту), Наташа написала в Ивановку матери, что мы пока еще в Москве и срока отъезда не знаем. Встревоженная Серафима Васильевна вдруг собралась и бросилась в Москву. Подъехала она к подъезду на Никитской час спустя после нашего отъезда. Как ни спешила на вокзал, она все же опоздала. Читая в Берлине ее первое письмо я увидел ее, стоящую на платформе, растерянную, заплаканную, несчастную, с безответным вопросом в душе, куда же и к кому теперь идти?

День нашего отъезда был ветреный, сырой и мозглый. Поезд уходил под вечер. На мокрой платформе грустно горели два тусклых керосиновых фонаря. Перед неосвещенным еще вагоном второго класса уже стояли друзья и знакомые. Помню мучительную сложную боль этого прощального часа. Хорошо, что не было матери. Как и восемь лет тому назад, когда я Москвою проезжал из Сибири на Запад, она не реши

лась приехать проводить меня на вокзал. Мы простились с ней на даче, в Касимовке, без «свидетелей» и без «соболезнователей». Этого она не вынесла бы. Будь она на вокзале, я был бы крепко прикован не только к ее душе, но и к ее руке; не смог бы никому из пришедших сказать последнего слова, обменяться последним прощальным взглядом.

Но, если и не было мамы, то все же были все Сте-пуны, братья и сестры, все как и она, сложные и ревнивые. Особенно нежен и

взволнован был брат Липочка, спутник и друг студенческих лет.

Стоя среди своих, я вижу подходящую ко мне Нину Миракли. Тихая, бледная, в черном, она передает мне небольшое Евангелие. Перед глазами всплывают Неман, Вильно и ее небольшой дом в церковной ограде. Тема краткой Аниной жизни и смерти сразу же захватывает душу, но вот к вагону под руку с неистовой Варварой Массалитиновой бежит Миша Ленин. Варвара бурно целует меня и преподносит бутылку красного вина. От души благодаря ее и Мишу, я вижу, что ко мне уже приближается вольноопределяющийся 12?й Сибирской бригады. Душа сразу же наполняется воздухом галицийской компании. Мы горячо обнимаемся.

Чувствуя молча стоящую рядом со мной и молча зовущую меня к себе Нину, я все же не в силах оборвать разговора с товарищем по фронту. Он дружески жмет мне руку, просит, если случится встретить где-нибудь в Париже, или в Праге нашего общего друга по батарее, ушедшего с Белой армией, крепко расцеловать его.

Наконец, я подхожу к Нине, чтобы, быть может, навсегда проститься с ней, образ которой, как я тогда еще думал, никогда не покинет моей души. Сказать Нине на прощание то, что хотел сказать, я не успел, так как ко мне уже подходила Людмила. Я знакомлю Нину с Людмилой, которые, не зная друг друга, все

знают друг о друге. Они приветливо пожимают руки, но, я чувствую, что каждой хотелось бы, чтобы другой здесь не было.

Наташа внимательно следит за мной и, чувствуя всю трудность и сложность моего положения, старается помочь мне.

Когда я отхожу от своих, она переходит к Липочке и сестрам; с покинутым мною товарищем по батарее она вспоминает лагерную жизнь в Куртенгофе под Ригой, где наша бригада отдыхала и чинилась в 1915 г. Массалитинову с Мишей она, чтобы они не мешали мне, быстро уводит в вагон, посмотреть, как мы устроились. Только Нине она не в силах помочь…

Раздается второй звонок. Последние объятия, поцелуи, рукопожатия. Мы уходим в вагон и подходим к нераскрывающемуся окну. За грязноватым стеклом в уже густом вечернем сумраке лишь смутно виднеются знакомые лица. Еле различая их очертания, я все же как-то угадываю выражения их лиц и даже слышу, как мне по крайней мере кажется, слова прощания…

Быть может, мы на том свете будем без уст говорить друг с другом и без глаз смотреть друг на друга…

Третий звонок, свисток. Поезд вздрагивает и трогается. За окном тянутся цепи облезлых товарных вагонов; они скоро

кончаются, вот уже плывут дома, улицы. Поезд ускоряет свой ход; мимо нас бегут поля, дачи, леса и, наконец, деревни одна за другой, близкие, далекие, черные, желтоглазые, но все одинаково сирые и убогие в бескрайных осенних полях…

Под окном мелькает шлагбаум. Куда-то вдаль, под темную лесную полосу отбегает вращаемое движением поезда, черное, среди только что выпавшего первого снега, шоссе… Вдруг в сердце поднимается страшная тоска – мечта, не стоять у окна несущегося в Европу поезда, а труском плестись по этому, неизвестно куда ведущему, шоссе…

22-го ноября закончился 26-й год пребывания заграницей высланных из России ученых и общественных деятелей. Несколько человек из нас уже умерло на чужбине. В лице отца Сергия Булгакова и Николая Александровича Бердяева «первопризывная» эмиграция понесла тяжелую утрату.

Вернется ли кто-либо из нас, младших собратьев и соратников, на родину – сказать трудно. Еще труднее сказать, какою вернувшиеся увидят ее. Хотя мы только то и делали, что трудились над изучением России, над разгадкой большевистской революции, мы этой загадки все еще не разгадали. Бесспорно, старые эмигранты лучше знают историю революции и настоящее положение России, чем иностранцы. Но, зная прекрасно политическую систему большевизма и ее хозяйственное устройство, ее громадные технические достижения и ее непереносимые нравственные ужасы, ее литературу и науку, ее церковь, мы всего этого, по-настоящему, все же не чувствуем; зная факты и статистику, мы живой теперешней России перед глазами все же не видим. В голове у нас все ясно, а перед глазами мрак.

За последние годы из этого мрака вышли нам навстречу новые, взращенные уже Советской Россией люди. Будем надеяться, что они, если мы только не оттолкнем их от себя и поможем им преодолеть свою «окопную» психологию, помогут нам разгадать страшный облик породившей и воспитавшей их России.

Каюсь, иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия большевизмом, в душе подымается непреодолимая тоска и возникает соблазн ухода в искусство, философию, науку.

Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда.

20 декабря 1948 г.